

Валерий Борисов

Децимация

18+

Валерий Борисов

Децимация

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67318932

SelfPub; 2022

Аннотация

События романа охватывают период с ноября 1917 года по май 1918 года. Революцию автор называет децимацией. В центре романа – история семьи Артемовых из Луганска. Судьба четырех братьев в революции сложилась по-разному. Центральная рада захватывает территории, принадлежащие раньше России: восточные – Донбасс, и юг – Новороссию. Галицийцы, показаны как чуждая украинскому народу сила. В результате – страдания народа и кровь, обильно полившая эту землю. События разворачиваются в Луганске, Харькове, Киеве, Херсоне, Крутах и других местностях Юга России. Народ противостоит завоеванию галицийцев... Гражданская война показана многопланово, на широком историческом фоне. Глубокое проникновение в суть проблемы, тонкий психологизм в описании личности, умелый показ массовых сцен позволяет роман «Децимация» считать продолжением лучших традиций великой русской литературы.

Книга стала дипломантом Всероссийского литературного конкурса имени генералиссимуса А.В. Суворова в 2016 г.

Содержание

Часть I.	8
1	16
2	23
3	44
4	75
5	93
6	105
7	126
8	138
9	147
10	169
11	188
12	204
13	224
Часть II	231
14	231
15	271
16	289
17	309
18	324
19	332
20	350
Часть III	358

21	358
22	373
23	397
24	416
Часть IV	431
25	431
26	441
Часть V	450
27	450
28	468
29	488
30	502
31	531
3	540
Часть VI	552
33	552
34	569
35	592
36	609
37	621
38	647
39	662
Часть VII	681
40	681
41	694
42	715

43	743
44	768
Часть VIII	785
45	785
46	818
47	837
48	861
Часть IX	876
49	876
50	890
51	906
Часть X	923
52	923
53	935
54	961
55	986
56	992
57	1011
58	1019

Валерий Борисов

Децимация

...Иисус сказал:

«Блаженны нищие,

ибо вам принадлежит царство Божье.

Блаженны голодные ныне, ибо будете сыты.

Блаженны плачущие ныне, ибо будете смеяться.

Блаженны вы, когда вас ненавидят,

когда вас изгоняют, оскорбляют,

когда поносят ваше имя и отвергают вас из-за

Сына Человеческого.

В тот день радуйтесь и веселитесь,

потому что велика будет награда ваша на небесах,

ибо предки их поступали с пророками так же,

как сейчас эти люди поступают с вами.

Но горе вам, богатые, ибо вы уже получили утешение.

Горе вам, кто пресытился сейчас,

ибо голодны будете.

Горе вам, смеющиеся сейчас,

ибо плакать и горевать будете.

Горе вам, когда все люди говорят о вас хорошо,

ибо так с лжепророками поступали предки их.

Но говорю вам, слушающим Меня:

любите врагов своих, делайте добро ненавидящим вас

*благословите проклинающих вас,
молитесь за обижающих вас».*

От Луки святое благовествование. Гл.6, ст.20–28.

Часть I.

Луганск – как птица в полете, раскинувшая крылья для очередного взмаха. Склоны двух меловых гор – крылья, а в середине, между ними – спокойная, на поворотах шустрая речка Лугань-Луганка. К ней, как к живому телу, прильнули заводы, давшие жизнь этому городу. От реки вверх, по склонам поднимаются улочки – кровеносные сосуды заводов и фабрик, по которым снуют люди, давая заводам жизнь и получая взамен от них физиологическую силу для работы.

Посмотришь на Луганск со стороны Каменного Брода – полностью увидишь его вторую половину, называемую Гусиновкой. А взглянешь из Гусиновки, увидишь, что Каменный Брод далеко еще не дотянул до вершины меловника. Весь Луганск как на ладони – в разломе Донецкого кряжа. Каждая его часть не спрятана за обратными склонами, а глядит в глаза друг другу – честно и доброжелательно. А как же быть иначе городу, расположенному на самой границе Новороссии и Всевеликого Войска Донского – он открыт для всех, откуда бы ни пришел человек, с какой бы то ни было стороны света, независимо от национальности и благосостояния. И люди называют себя по имени города или местности. Например – луганчане.

Люди приходили, селились, строили себе дома из мергеля, – благо его много, весь город стоит на этом меловом кам-

не, – и обживались. Луганск представляет собой сложный конгломерат, составленный из различных народов, переваренных вековой историей в котле судеб и традиций, и создавалась какая-то новая народность, впитавшая в себя самые лучшие черты культуры и сознания многих народов. И мирно уживались православные, католики, мусульмане и многие другие верующие, и всем хватало места. Но люди все приходили, селились, город рос и был пронизан каким-то особым духом, отличавшим его от других южнорусских городов – великим человеческим терпением. Но даже такое терпение не бывает вечным.

Федор Артемов пришел в Луганск в середине восьмидесятых годов из Тульской губернии. Имея специальность кузнеца, устроился на литейно-пушечный завод, который вскоре был переименован в патронный. Вскоре он женился, взяв в жены крепкую, недавно пришедшую из села в город девку – Аньку, – или Ганку, как называли ее родители. Она работала здесь же, на патронном заводе, стерженщицей в литейном цехе. В течение зимы Федор с молодой женой, недалеко от завода, в районе Гусиновки, построил из мергеля небольшую хибару, – одну комнатку с кухней, и к лету перешел в нее жить. Было пора обзаводиться собственным домом. С завидной периодичностью, через два-три года, у них появились четыре сына: Петр, Иван, Сергей и Аркадий.

В душную летнюю ночь у Анны начались первые роды. Пока растерявшийся Федор бегал к соседке, чтобы она сроч-

но позвала повитуху, жена родила сына. Не зная, что делать, Федор кинулся ей помогать. Схватив своими грубыми руками кузнеца захлебывающегося криком ребенка, он неосторожно помял ему шейные позвонки, и на всю жизнь оставил своего первенца с искривленной шеей и постоянно наклоненной влево головой. Сыну дали имя Петр, и Федор все время чувствовал вину перед сыном. Петр рос болезненным и молчаливым ребенком, стеснявшимся своего, хоть и небольшого, но уродства. Из-за этого его в начальной школе считали недоразвитым и туповатым, хотя это было совсем не так. С тринадцати лет он пошел работать. Сначала учеником слесаря – на недавно открывшийся паровозостроительный завод Гартмана, потом перешел на работу в железнодорожные мастерские, стал кочегаром на паровозе, а позже – помощником машиниста. Эта работа ему нравилась, и он ее любил. По роду работы ему приходилось по несколько дней отсутствовать дома. После первой революции он неожиданно для родителей, – а ему не было тогда и двадцати лет, – привел в дом темноглазую худую семнадцатилетнюю девчонку по имени Антонина, сказав родителям только одно – он на ней женится. Трудно у него было вырвать лишнее слово, узнали только, что Антонина работала стрелочницей на одной из станций, и у нее недавно умерла мать. Потом Тоню выгнала из дома хозяйка, где они квартировали с матерью, и приходилось ей ночевать или в будке стрелочника, или просто у добрых людей, в постоянной боязни, что ее кто-то может обидеть. Петр

знал ее раньше и, движимый жалостью к живому и несчастному, как и он, существу, предложил Антонине жить у него. Посадил ее к себе в паровоз и отвез в Луганск. Видимо, почувствовала Антонина отчужденность Петра от окружающего мира и была благодарна ему за его молчаливую нежность. Они стали жить вместе. К родительскому дому пристроили еще одну комнату с кухней и отдельным входом, в которой поселились Петр и Антонина. Вскоре у них родилась дочь, которую в честь бабушки назвали Аней, а через три года появился мальчик – Виктор. Тоня работала на гартмановском заводе, благо он находился недалеко от их дома, в инструментальной кладовой одного из цехов. Жили они с Петром дружно и тихо, и свекровь любила свою скромную невестку.

Через два года после Петра у Артемовых родился еще один мальчик, которого назвали Иваном. Невысокого роста, русоволосый, он был мастером на все руки: мог сам себе сшить рубашку, починить сапоги, но более всего любил торговать. Свои детские поделки носил на рынок и продавал их там, подолгу торгуясь с покупателем за каждую копейку. Когда подрос, то покупал в лавках, что было – дешевые шелковые нитки для рыбалки, крючки, колокольчики, грузила, игрушки и ездил в близлежащие села продавать их местным хлопцам. На вырученные деньги обычно покупал себе красивые рубашки, штиблеты, какие носили дети иностранных инженеров. Старался одеваться хорошо и выглядел всегда аккуратно. На торговые операции Ивана обратил внимание

владелец хлебных складов и магазина «Оптовая и розничная торговля для крестьян и кустарей», – Крапивников. Он взял его себе на работу, – вначале посыльным, а позже стал доверять ему торговлю в сельской местности. Потом двадцатидвухлетний парень женился на перезревшей в девках единственной дочери Крапивникова – Павлине, которая была старше его на пять лет. С этого времени он стал приказчиком в магазине и первым помощником тестя в хлеботорговых делах. Он стал наследником дела купца. У родителей бывал редко, больше в разъездах. В годы мировой войны постоянно ездил в центральные и северные губернии России, где выгодно продавал муку и хлеб, зарабатывая на этих операциях хорошие деньги. У Ивана с Павлиной была дочь – Зинаида, – упитанная, остроглазая девчушка, которой мать посвящала все свое время, в основном потому, что муж большее время их совместной жизни отсутствовал дома. Так жил второй сын – Иван.

В морозную декабрьскую ночь у Анны родился третий сын – Сергей. Рос он крепким, здоровым ребенком, любил физическую работу и в школе учился неплохо, любил читать книги о приключениях, путешествиях и героях. Был организатором ребят в налетах на сады и огороды крестьян, расположенных по Луганке и Северскому Донцу. Часто ему попадало за это и от чужих, и от отца. Молча переносил наказание и снова становился во главе ватаги хлопцев по налетам на огороды. В четырнадцать лет поступил учиться в ра-

бочее училище и стал токарем. Как и отец, работал на патронном заводе, был неплохим токарем. Налеты на огороды и сады прекратил, но в нем все более явственно проявлялась неприязнь к богатеям, о чем он говорил открыто. Посещал какую-то тайную организацию. Когда 21 февраля тринадцатого года день празднования трехсотлетия дома Романовых объявили нерабочим, то он с некоторыми товарищами вышел на работу. А вечером того же дня, в трактире Шкильмана, он крепко выпил с этими товарищами, и в завязавшемся с другой компанией споре ударил официанта, пытавшегося их примирить. С пришедшими полицейскими тоже чуть не завязал драку, но с помощью половых был связан и провел в примирительной камере десять дней, уплатив за это еще и штраф. В июльские дни шестнадцатого, когда в Луганске бастовали многие заводы, во время демонстрации Сергей попался с полицейскими и снова попал в кутузку. Несмотря на то, что на него распространялась броня от воинской службы, как рабочего оборонного предприятия, он так же, как и еще несколько десятков рабочих был отправлен на фронт. Сначала находился в маршевой роте, а потом его отправили служить на Западный фронт. Был там ранен, лечился в госпитале Смоленска. Весной семнадцатого продолжил службу в пулеметной команде, но уже на Юго-Западном фронте. Во время неудачного июньского наступления русских войск был ранен вторично, – уже серьезно, и до осени валялся в госпиталях различных городов, а потом был переведен слу-

жить в украинский полк, квартировавший в Екатеринославе. Анна и Федор переживали в это время за него больше, чем за других детей. По праздничным дням, тайком от мужа, – он демонстративно не верил в Бога, – мать ставила свечку за спасение третьего сына.

После рождения Сергея Анна во всеуслышание заявила соседкам, что с нее детей хватит. Но уже через два с половиной года после Сергея в семье появился еще один мальчик, нареченный при крещении в Преображенской церкви Аркадием. Мальчик рос тихим и застенчивым. Как и Сергей, много читал, но редко участвовал в мальчишеских шалостях и играх. Любил подолгу сидеть один и о чем-то, известном только ему, мечтать. В семь-восемь лет увлекся музыкой и стал ходить на репетиции духового оркестра в воинскую часть, находящуюся в Каменном Броде, и быстро научился играть на духовых инструментах. Зимой пел в церковном хоре. Его музыкальные способности были замечены, и он стал бесплатно учиться в музыкальном классе местной гимназии. В игре на фортепиано он достиг больших успехов. В четырнадцатом году в Луганск приезжал профессор Харьковской консерватории – Гардинский. Аркадий поразил его своей игрой на рояле и особенно тем, что исполнил свои собственные произведения. Профессор заявил, что Аркадию необходимо совершенствовать свои музыкальные способности в солидном музыкальном учреждении, и тот с осени, когда началась мировая война, уехал жить и учиться в Харьков. Летом он

ненадолго приезжал домой, к родителям. Жизнь и тревоги семьи его трогали мало. Аркадий жил в собственном, придуманном им мире высокого искусства, не замечая тех бурных процессов, которые будоражили народ, приводили в движение многомиллионную Россию.

Так жила семья Артемовых до революции. Еще до войны Федор вынужден был уйти с должности кузнеца по состоянию здоровья, – у него открылась чахотка, – и он продолжил работать в том же цехе, но уже слесарем. В последние годы он стал сильно выпивать. В хмеле бывал буен, припоминал жене какие-то обиды, что-то хотел о нею выяснить. Но сыновья, ставшие взрослыми, всегда вставали на защиту матери, обрывали отца и насильно укладывали спать. Анна к этому времени уже не работала на заводе, а была уборщицей в церковно-приходской школе. Все чаще и чаще жаловалась на ноги, которые к старости стали подводить ее.

Наступил семнадцатый год. Революция властно захватила своим черным крылом всех членов семьи Артемовых, вовлекла их в свой мощный водоворот, невиданный еще человечеством по своим грандиозным масштабам и чудовищным катаклизмам.

1

1 ноября, в четверг, 1917 года, Сергей Артемов возвращался домой в набитом битком пассажирском вагоне поезда, шедшем из Екатеринослава. Уже темнело, когда поезд подошел к железнодорожному вокзалу Луганска. С шумом и гвалтом пассажиры с мешками на спинах и с узлами в руках стали вываливаться на перрон. Взяв свой потрепанный вещмешок, Сергей также вышел из вагона. Было темно, только у входа в вокзал тускло светилась лампочка, и в ее неярком свете стояли люди с винтовками. Накануне прошел дождь, и лужи глянцево блестели в осенней темноте вечера. Сергей, оглядев затихающую привокзальную площадь, решил идти домой пешком по железнодорожному полотну.

Минут через десять он вышел на Петербургскую улицу. Магазины были закрыты, окна в них задернуты железными шторами. Из некоторых окон жилых домов, зашторенных вроде бы надежно, пробивался свет. За стенами домов была жизнь. На улице было тихо, только холодный ветер редкими порывами шумел в пустых кронах деревьев. Луганск казался притихшим и поникшим. Ранее он таким не был – до полуночи ходили прохожие, сновали пролетки. Война изменила все, заставив жить город настороженно и тревожно, но все-таки в синематографе «Экспресс» было слышно, как стрелочет аппарат – показывали кино. Из-за темных, тяжелых пор-

тьер ресторана «Пальмира» слышалась музыка. Город ушел как бы сам в себя, – жизнь продолжалась не на виду, а затаенно, не на улицах, а в полуосвещенных комнатах.

Сергей поднялся на Казанскую улицу. Вдали, у освещенного здания городского земства, стояли извозчичьи повозки, слышалось лошадиное ржание и отдельные голоса, отдававшие приказания. Это была новая, советская власть. По тротуару Сергей быстро пошел в сторону паровозостроительного завода, – домой. Но недалеко от центральной проходной патронного завода навстречу ему вышли трое, с винтовками на плечах, но в гражданской одежде.

«Не солдаты. Видимо, рабочие из дружины», – отметил про себя Сергей.

Вооруженные, заметив одинокого прохожего, направились прямо к нему. Сбавив шаг, Сергей шел к ним навстречу. Не доходя метров семь, один из патрульных громко приказал хриплым голосом:

– Стой!

Сергей остановился, держа правую руку в кармане, сжимая рукоятку револьвера.

– Кто такой? – снова спросил хриплый голос.

– Солдат, – ответил Сергей и добавил. – С фронта.

«Пусть знают, с кем имеют дело, – подумал он, оскорбленный таким обращением к нему, – и пусть побаиваются».

– Видим, что солдат... куда идешь?

– Домой.

– А почему так поздно?

– Только с поезда. Приехал с Катеринослава.

– Оружье есть?

– Есть, – и Сергей повернул дуло револьвера в сторону троих, пока не вынимая руки из кармана.

– Сдавай оружие, – хриплым голосом продолжал распоряжаться все тот же человек, – видимо, старший патруля.

– Много хочешь! – Сергей начинал злиться, но надо быть осторожным, время опасное. Или сразу сдаваться, или давать отпор до конца. Он принял второе решение.

– Давай, а то сейчас продырявим тебя получше, чем на фронте! – пригрозил старший и стал снимать с плеча винтовку, остальные двое – пацаны лет семнадцати-восемнадцати – начали делать то же самое.

«Не служили в армии», – подумал Сергей, увидев их неумелые движения по изготовке к бою. Резко выхватив их кармана револьвер, он как можно четче произнес:

– Отставить винтовки!.. А то я так точно продырявлю вас лучше, чем это делал на фронте! – повторил он слова старшего патрульного, добавив немного своего.

– Ты шо! – удивленно закричал старший, перестав стаскивать винтовку с плеча. – Ты нам угрожаешь, контра! Плюешь на советскую власть? – в его губах вдруг оказался свисток, и он пронзительно засвистел в него.

Послышался топот ног и из-за угла выскочили еще двое. Один был с винтовкой, другой, одетый в кожанку, с кобурой

на боку.

– Что случилось?! – спросил тот, что в кожанке.

– Да вот, задержали солдатака... – ответил хриплый. – А он револьвером грозитя. Шустрый...

Человек в кожаной куртке, не вынимая оружия из кобуры, обратился к Сергею:

– Ты зачем размахиваешь наганом?

– Чтобы не отобрали его эти пацаны...

– Документы есть?

– Есть, – ответил Сергей, поняв, что сейчас ему ничто не угрожает. В кожанке мужик, по всему видно, понимающий. Он спрятал револьвер в карман шинели, а из внутреннего кармана достал солдатскую книжку и удостоверение о том, что отпущен в отпуск на пятнадцать дней, и протянул документы человеку в кожанке. Осветив лучом фонарика бумаги, тот внимательно стал читать их. Хриплый, получив поддержку, с угрожающим видом двинулся к Сергею.

– Ты думаешь – шустрый... я тебе сейчас сделаю за это такое... – выпятив вперед острый подбородок, он медленно пошел на Сергея.

– Отстань... а то прибью, мокрого места не останется, – как можно спокойнее произнес Сергей, нарочно не глядя на него, но готовый к отпору.

Хриплый остановился, видимо, сравнивая свои и чужие физические возможности. Но Сергей был повыше ростом и пошире в плечах, что и успокоило патрульного. К тому же в

кожанке сказал:

– Успокойся, Федоренко! – и, обратившись к Сергею, спросил: – Ты не сын ли Федора Артемова, с нашего завода?

– А как же! Его! – неожиданно гордо ответил Сергей.

– А куда сейчас держишь путь?

– Домой. Я уже говорил им.

– Ладно, задерживать тебя не будем, беги быстреей домой. Наверное, давно там не был. А о тебе я слышал, мне рассказывали, – в кожанке удовлетворенно хмыкнул и протянул Сергею его документы. – Нам сейчас такие, как ты, нужны. Приходи завтра на завод. А ты слышал, что в Петрограде революция?

– Слышал. Поэтому и приехал сюда. Раньше бы так просто из армии не отпустили. Надо и в Луганске буржуев гнать в шею!

– Уже погнали. Город в наших руках. Ты, Федоренко, – обратился он к хриплому, – бери хлопцев и иди дальше, до управы и обратно. Подозрительных задерживай и ко мне.

– Хорошо, – ответил Федоренко и, обратившись к Сергею, с угрозой произнес: – Ну, а с тобой еще встретимся и поговорим.

Он не мог успокоиться от полученного только что отпора и считал себя оскорбленным. Сергей не стал отвечать на его угрозу, и Федоренко, кивнув сопровождающим, пошел с ними по неосвещенной мокрой улице. В кожанке снова обратился к Сергею:

– Завтра придешь на завод и найдешь меня. Фамилия моя Нахимский. Еще раз тебе повторю, что нам нужны сейчас такие люди, как ты, – боевые, знающие дело. А то видишь, кого приходится посылать на охрану города? Молодняк. Старики и семейные не хотят. Оно и понятно – им дома лучше и спокойнее. А этим дашь винтовку, так они считают себя выше околоточного, на кого угодно оружие поднимут. Опасно с этими пацанами – все хотят стрельнуть в кого-нибудь или куда-нибудь. Что с них возьмешь? Революцию понимают, только чтобы задержать, арестовать... – Он замолчал, и без всякого перехода спросил: – Табачок имеется?

– Есть! На дорогу выдали, – Сергей вынул из кармана кيسет с махоркой и протянул Нахимскому. Тот взял тонкими, длинными, явно не рабочего человека пальцами солидную щепотку махорки и завернул в носовой платок.

– Попозже покурю, – пояснил он. – Ну, а ты давай быстреей домой, а то, авось, уже не терпится туда попасть. Если еще кто-нибудь из патруля встретится, скажешь, что идешь от меня. Помнишь фамилию? Иди, а завтра буду тебя ждать.

– Завтра буду, – уверил его Сергей. – До свидания.

Они пожали друг другу руки, и Нахимский сказал на прощание:

– А наганом сильно не размахивай, но завтра приходи с ним – может, пригодится, а то у нас с оружием плоховато.

Он повернулся и со своим спутником, который за время разговора не проронил ни единого слова, пошел вниз к за-

воду. А Сергей пошел дальше. Больше ему никто из патруля не встретился, и вскоре он подошел к родительскому дому.

2

Построенный почти тридцать лет назад дом как бы врос в землю и стал ниже. Сергей, насколько было видно в темноте, заметил, что углы дома подмазаны глиной, и он побелен. Мать следила за его состоянием. Маленькие оконца подслеповато глядели на улицу, и света в них не было видно – мать с отцом, видимо, уже легли спать. Черепичная крыша увенчивалась двумя трубами – родителей и брата. Рядом с расшатанными, давно не крашеными воротами прилепилась калитка. Сергей подошел и толкнул ее. Она была закрыта изнутри и, нащупав рукой на противоположной стороне засов, он тихо отодвинул его, открыл калитку и вошел во двор, в центре которого росло большое абрикосовое дерево. У дверей залаяла собака, и Сергей вначале подошел к окну и постучал в него. Вскоре послышался скрип открываемой внутри двери и женский голос опросил:

– Кто там?

Сергей узнал голос матери и хотел в шутку уже обмануть ее, спросить, а нельзя ли прохожему переночевать у них. Но знакомые, родные интонации материнского голоса сдавили грудь, приостановили на мгновение дыхание, и он голосом, неожиданно задрожавшим от волнения, ответил:

– Мам, это я. Открой?

– Кто? – переспросила мать, открывая дверь. Видимо, она

чувствовала, что за дверями не враг.

– Я, Сергей.

Дверь открылась, и мать охнула:

– Сереженька! – она протянула дрожащие руки и приподнялась на цыпочки, чтобы достать своими губами до лица сына. Он наклонился и поцеловал увядшие материнские щеки и поднял голову, чтобы мать не заметила его повлажневших глаз. Ему не хотелось показывать свою минутную слабость.

– Заходи, сынок, заходи в дом...

Наклонившись, чтобы не удариться о притолоку двери, Сергей прошел в сени и открыл дверь в кухню. Там отец уже чиркал спичкой, пытаясь зажечь керосиновую лампу. Наконец, каганец загорелся и осветил кухню рваными, неестественно колеблющимися тенями. Отец шагнул к сыну, молча обнял и трижды расцеловал его. Сергей тоже чмокнул отца в колючие небритые щеки.

– Ну, раздевайся, проходи, садись... – у отца от волнения дрожал голос. – Ань, сбегай к Петру, скажи, что брат приехал, – приказал он матери.

Та, накинув на голову и плечи потертый теплый платок, торопливо вышла из дверей и по двору пошла к старшему сыну, вход в дом которого был со стороны огорода.

– Садись, сынок, садись, – снова повторил Федор, пододвигая Сергею табуретку, а сам присел на топчан, который стоял возле печи. Он внимательно, в колеблющемся свете

неяркой лампы смотрел на своего третьего сына и видел, что он у него красивый и ладный. В армии он вырос еще немного, и в бараньей солдатской шапке чуть ли не задевал низкий потолок кухни, плечи стали шире, мозолистые лопаты рук – крупнее. Широкоскулое лицо с небольшим носом и крупными губами заострилось, стало рельефнее в мужской красоте, морщины стали глубже и придавали лицу четкое законченное выражение полностью сформировавшегося внешне и внутренне человека. Серые глаза смотрели строго и напряженно, будто бы всматриваясь куда-то вглубь, вперед. Перед отцом сидел совершенно другой человек, – не тот, который был полтора года назад – задиристый и недисциплинированный, а человек, прикоснувшийся к глубине жизни и знающий себе цену. Это был его сын, и чувство удовлетворения, а, может, и гордости переполнило душу Федора – такие дети могут быть только у него.

Он снял с сына шапку, потрепал его по волосам. От неожиданности встречи у Федора не было никаких, даже ласковых слов, и он только и смог предложить:

– Давай закурим?

Не дожидаясь, пока Сергей откроет свой кисет, он взял с каменка печки тряпку с рассыпанным на ней табаком, подал сыну и стал своими негнушимися пальцами скручивать себе козью ножку. Сергей свернул себе и, глядя на отчего-то неумелые в этот момент действия отца, предложил:

– Я тебе сейчас сделаю сигарку.

Но Федор махнул рукой и уже взял в зубы прямолинейно скрученную самокрутку и, наклонившись к печи, где еще тлели уголья антрацита, прикурил. То же сделал Сергей. Теперь можно было и говорить. Но слова при первой встрече почему-то не вырывались из горла. Хлопнула дверь, и в кухню вбежал старший брат Петр.

– Здравствуй, брат! – он обнял Сергея. – Наконец-то тебя дождались.

– Здравствуй, брат! – ответил, также обнимая его, Сергей. Зашла в дом мать, а следом Антонина.

– Добрый вечер! – тихо произнесла она и присела на скамейку, на которой стояли ведра с водой.

Мать засуетилась, достала кастрюлю, стоявшую у порога, и стала расставлять посуду на столе. Антонина встала со скамейки и стала помогать матери.

– Ты, наверное, исты хочешь? – не обращаясь ни к кому конкретно, заботливо проговорила мать. – Я зараз зрблюю.

Мать у Сергея была украинкой, и дома говорили на двух языках. Мужчины сидели и молча курили, вопросов к друг другу было много, но от неожиданности прибытия третьего брата и волнения никто не решался заговорить первым. Наконец отец спросил:

– Сергунь, расскажь. Где был, что видел? – он глубоко затянулся самокруткой. – Как был ранен? Не молчи.

– Везде был, – как-то устало ответил Сергей. – Много видел. Он задумчиво замолчал. – Везде одинаково! – продол-

жил он. – Война всем надоела... хуже горькой редьки. Всюду люди страдают. Вон, дожились, жрать уже нечего. И кто голодает? Простой люд. Кого гонят на фронт? Нашего брата – рабочего, а еще больше – крестьянина. Селянин разоряется, рабочий получает паек, а по городам ходят умытые, чистенькие барышни с такими же откормленными на убой мужикам. На митингах кричат о патриотизме, готовности сдохнуть за родину, а самих на фронт не выгонишь.

– Ну, ты, сынок, не прав. Говорят, на фронте полное равноправие. Офицеры челомкуются с солдатами.

– Было и такое. Керенский отменил, взамен ввел смертную казнь. Помню, выстроили нас, и генерал говорит: мы, мол, братья с солдатами. А сам морду в сторону воротит. Противно ему от того, что мы с ним братья. Правда, генерал храбрый был, в атаку с нами ходил. Немецкие офицеры не ходят в атаку. Сидят в блиндажах. А наши генералы и офицеры с нами шли под пулемет. А против него идти страшно – всех вырубит. А наши генералы шли с нами... действительно – как братья. Но так было только во время атак. Генерал, когда отменили высокоблагородие и ввели только «господин» офицер, целовал переднюю шеренгу солдат, а некоторым, кто награжден крестом, совал в руку трояк или пятерку. Вот была демократия! Потом Саша Керенский сказал: «Хватит в армии демократии, бегом в атаку». Сам грозился идти в первых рядах атакующих. Но не пошел. Видимо, испугался... урод азиатский! – закончил Сергей.

– Ну, ты, сынок, не рассказал – как люди живут-то там? – перевел разговор на другое отец.

Петр молча курил, не вмешиваясь в разговор, склонив голову набок, и нельзя было подумать – есть ли у него физический недостаток или просто он так внимательно слушает.

– Везде народ... – убежденно сказал Сергей, – стонет от войны и нищеты. Где прошла война – в десяток раз хуже. Видел Галицию. Вся разбита. А в тылу, в Киеве, живут нормально. Если бы не куча солдат там, то город выглядел бы, как рай. Там сейчас Центральная рада воду мутит. То митинги, то молебны, то украинских вояк в гурт собирают. И меня туда же хотели. Но я сказал им, что я с Донбасса, из Луганска и от меня отстали. Там не любят наших...

– Правильно им сказал. Ты ж русский, как и я! – удовлетворенно ответил отец. – Но как это мы, такая страна, проигрываем войну какой-то малой Германии?

– Было бы ума побольше у наших царей, давно бы войну выиграли. И уже не было бы никакой Германии, Австрии и других. Генерал Брусилов уже разбил австрияков. Ему бы немного дать помощи, и он бы взял Берлин и Вену. А царь не дал. Зато немцы поднабирали сил, и так дали, что пришлось катиться обратно в Россию. Так старые солдаты, да и офицеры рассуждают. Все наши правители – предатели народа! – закончил резким выводом свое рассуждение Сергей.

– Мы это тоже чуем, – ответил отец. – А там еще какая-то новая киевская власть образовалась. Чего они хотят?

– Оторвать украинцев от Расеи – вот, что они хотят. Каламутят воду в мутное время. Давно их надо разогнать! А ты, батя, знаешь, что большевики пришли к власти?

– Слыхал.

– Вот сейчас рада попляшет! Мы им не Керенский. Долго торговаться не будем. Они и Донбасс считают своим. Но мы – расейские. А то ходют чистюли, балакают, что русские их всю жизнь угнетали. Обещают дать украинский язык, вернуть нам старую культуру. А лишь потом рабочий день восемь часов, селянам землю... и вообще все. Но они забывают, что земля нужна сейчас, а не потом. А мы, большевики, все это уже дали народу.

– А ты большевик? – неожиданно спросил до сих пор молчавший, Петр.

– Да! – твердо ответил Сергей.

– И вы все сможете сделать для рабочих?

– Уже сделали. Я говорил, что установили восьмичасовой рабочий день, крестьянам отдали землю бесплатно. Всю, без выкупа. Все, что награбили богатеи, теперь принадлежит трудящимся. Вот какие мы! – удовлетворенно закончил Сергей.

– Вот это правильно! – ответил отец. – Что они имеют, то теперь наше. На наших костях их богатство построено... – но его, видимо, сейчас больше интересовал другой вопрос: – А как же быть с матерью? Ведь она у нас хохлушка. Куда ее девать? То ль она будет с украинцами, то ли с нами?

– Мама есть мама. Она всегда с нами, – ответил Сергей, раньше не задумывавшийся над этим вопросом.

Анна, прислушавшаяся, хоть и за семейными хлопотами, к разговору мужчин, откликнулась:

– Щось вы не то балакаете. Радуйтесь, что сын вернулся живой и здоровый. А вы все про политику.

– А куда денут большевики меньшевиков и эсеров? – вторично вмешался в разговор Петр. – Они же тоже за социалистическую революцию. Их у нас на железной дороге много.

– Они за революцию, но за медленную, а большевики, как видишь, сразу же все решили. Раз и навсегда! – резко ответил Сергей. – Кто из них будет поддерживать советскую власть, пусть идут с нами, а кто против – сотрем в порошок. Революция – она такая, что всех поделит на своих и чужих.

– Правильно говорят большевики! – поддержал сына отец. – Всех буржуев и помещиков мы прижмем к ногтю. А если потребуется – можно и в порошок. Щас рабочие в силе, и все будет по нас.

– С этим я согласен, – торопливо ответил Петр, не желавший, чтобы отец и брат его неправильно поняли. – Но у нас на железке говорят, что нужно всем социалистам быть вместе, чтобы не наделать ошибок. Так, говорят, лучше для России.

– Вон, Керенский... эсер! – наобещал огромную кучу реформ народу, а что сделал? – возразил брату Сергей и сам же коротко ответил на свой вопрос: – Ничего! Выступал у нас

на фронте, все обещал – и землю селянам, и рабочим что-то. Единственное только просил – воюйте, хлопцы. А потом мы вам все дадим. Ну, у хлопцев и раскисли уши... хлопают ему. Единственное свое обещание выполнил – воевать. Пошли мы в июне в наступление, а снарядов нет, патронов дали – кот заплакал и сказали, мол, больше, ребята, на штыки надейтесь. А немец, он так просто под штык не идет. Он воевать умеет. Пока нашего брата артиллерией не выкурит из окопа, в атаку не идет. А мы бегаем и прячемся от ихних снарядов от ямки к ямке. Упадешь в нее, а там уже какой-нибудь солдатик или скрутился в калачик – мертвый, значит, или еле дышит, просит помочь ему, санитаров позвать, попить дать... и это было в наступлении, не в обороне! Голову бы за это Саше Керенскому оторвать! Если бы еще раз приехал после этого наступления на фронт, мы его бы порвали на куски, как собаку паршивую, за подлость к солдатам.

Хотя Сергей внешне говорил зло, на душе его злобы не было. Он был спокоен, только чувство горечи отражалось в его глазах, а фигура выражала непомерную усталость. Было видно, что годы разлуки с семьей сильно изменили его. Это был уже не тот рубаха-парень, готовый при первой возможности побузить, поспорить ни за что ни про что. Сейчас в нем чувствовалась целеустремленность, готовность сознательно идти куда-то в новое неизвестное. Это была сложившаяся, несмотря на молодость, личность со своими взглядами и оценками, которые уже сложно было поколебать ко-

му-то другому, даже родителям.

– А как тебя ранило? – наконец прямо решился спросить сына отец.

– Так же, как и всех. Мы в атаку – а немцы нас шрапнелью, да с пулеметов. Так мне осколками левый бок развалило. Думал – конец. Никому не нужен. На мое счастье, выходили из атаки донские казаки. Они дальше нас прорвались к немцам, но те их прижали, и они обратно. Сначала не хотели меня брать, у них самих полно раненых... да и убитых они с собой забирали. А один спросил меня – откудава я? Говорю, с Луганска. Ну, тот и говорит – земляк, мол, наш. Хочь солдат, но из Войска Донского. Ребята, возьмем его с собой. Бросили меня в телегу и поехали. Спасибо им, а то бы уже лежал и земле и тлел.

– Не говори так, сынок! – вмешалась в разговор мать. – Бог послал тебе на спасение казаков.

– Они хороши везде, – ответил отец, имея в виду казаков. – Как погонять нашего брата рабочего, они тут как тут. Как врежут нагайками – так неделю, а то и больше болит. Они и сейчас рядом с Луганском стоят. Как потребуется, они в городе наведут порядок, чтобы никакой революции не хотелось. Они твердяки, все делают на совесть. Им революция до одного места... – тут отец назвал конкретное место. – Они живут богато.

– Не все, – возразил Сергей. – Я на фронте видел, как богатые казаки – а они все у них командиры – изгалялись над

простыми казаками. У нас и то проще было. А у них все по ранжиру.

Пока мужчины курили и вели неспешный разговор, женщины накрыли стол. Мать из заначки достала только ей известно где хранимую от отца литровую бутылку водки и обратилась к мужу и сыновьям:

– Сидайте до столу.

Все расположились за столом плотно друг к другу. Антонина наложила в общую миску вареной картошки, поставила тарелки с солеными огурцами и салом, тонкими кусками нарезанный хлеб. Вот, собственно, чем исчерпывались закуски. Мать, словно стыдясь за скудость стола, извиняясь, сказала:

– Все дорого нынче в магазине и на рынке. Сегодня пусть так, а завтра что-нибудь куплю получше. Ни отцу, ни мне еще не отоварили продовольственные книжки. Неизвестно, когда получим за октябрь.

Федор открыл бутылку, не обращая внимания на слова жены, и стал разливать водку в стаканы. Сергей молча взял свой вещмешок, развязал его и вынул две пятифунтовые банки мясной тушенки, завернутые в чистую тряпку кусок сала и хлеб, – вещмешок сразу же вполовину стал меньше.

– Чуть не забыл, – пояснил он. – У меня тоже есть, чем перекусить. Немного дали в Екатеринославе на прощание, как суточное довольствие.

Сергей вытащил из-за голенища широкий нож, сделанный

им самим на фронте из штыка австрийской винтовки, вынул его из кирзовых ножен и быстро вскрыл банку.

– Нам такое не выдают, – сказал отец. – А вот Петр иногда получает.

– Угу, – подтвердил Петр. – Наш профсоюз берет продуктами за перевозку продовольствия и дает на паек нам, – и он снова замолчал.

– Ну, сынки, берите стаканы, – сказал отец. – И ты, мать, тоже подыми за приезд сына.

– За приезд треба выпить, – торопливо согласилась Анна, не переносившая водку за то, что ее неумеренно пил Федор. – Тоня и ты...

– Да я уже взяла, – ответила невестка.

– За встречу, за то, что возвратился домой живой и... – но дальше отец почему-то не добавил необходимое в этих случаях слово, и мужчины крупными глотками выпили почти по стакану спиртного. Мать отпила немного, а Антонина только пригубила.

Картошка была горячей, тушенка вкусной, сало как масло таяло во рту, и Сергей, который был голоден, все это стал торопливо есть.

– Кушай, Сереженька, – с нежностью говорила мать, глядя на него счастливыми глазами, – казалось, забывшая о других. – Завтра куплю мяса на рынке и приготовлю что-нибудь получше, – она почти не притрагивалась к еде. – Ты, поди, давно не ел домашнего. Завтра приготовлю чтось смачного.

А то мы со старым, – она имела в виду отца, – уже ничего толком не готовим, – продолжала извиняться мать за бедный ужин.

– Теперь будем, – подтвердил ее слова Федор. – Сын приехал, надо будет тебе, мать, готовить хорошо. Ты, Сергей, в свой цех пойдешь, там токаря требуется. Им хорошо платят, на продовольственную книжку больше дают. У нас не то, что на Гартмане – побольше платят. Там у них рабочие стонут, но работают.

– Да я еще не знаю, где работать. Я с армии не уволен, можно считать – самовольно пока ее покинул. Да и время сложное, надо эксплуататоров поприжать.

– Эксплуататоры, – еле выговорил это слово отец, – сами убежуют. Власть же наша теперь, рабочая, а значит – и сила наша, – размышлял захмелевший отец.

– Пока нет. Это в Питере и Москве большевики молодцы, быстро все делают, а у нас хламья всякого много. Они и за рабочих вроде, а делают против. В Киеве почему-то считают Донбасс украинским, и не слишком расположены к России.

– Как? Донбасс? – удивленно спросил отец. – Мы ж с Расаи пришли и построили здесь все, на пустом месте. Так нельзя.

– Они говорят, что в селе живут украинские крестьяне, а в городах русские и переделанные на русский лад украинцы. Если коротко – раз земля за украинцами, то это ихняя территория, а города расположены меж этих сел. В Киеве со-

брались выходцы из австрийской Галиции и командуют. Им Россия, как бельмо на глазу, – хотят отделить от нее Украину. Не понимают, что украинцы тоже рабочие и крестьяне, и им советская власть даст и землю, и все остальное, а те же не дадут.

– Вот приезжал твой дед из деревни, – вмешалась мать, – он вот это сало привез... так балакает так – ежели зимой земли им не дадут, то они ее к весне сами поделят. Сколько ж терпеть народу без земли? Он ще сказав, что селяне этот годок терпели, но больше не будут.

– Большевики им уже дали землю. Пусть теперь крестьяне по закону забирают землю. По большевистскому закону, – подчеркнул Сергей.

– Я слыхала об этом, – вздохнула мать. – Но как-то не верится...

– Верь, Анна, – удовлетворенно проговорил запяневший Федор. – Это твоя крестьянская душа не верит новой власти. А большевики – молодцы! Они не украинские политики, не тянут – раз-два и наше.

– А может можно договориться всем... и Киеву тоже... и вместе революцию двигать? – проговорил молчаливый Петр, вернувшийся к своему прежнему вопросу.

– Вряд ли. Особенно с Киевом. У них национальные интересы, а у нас – рабоче-крестьянские. Мы хотим справедливости для всех, независимо от их национальности, а они наоборот – свободу только украинцам... к тому же галицийцы

хотят командовать Украиной без участия наших губерний и городов. Это в корне нас различает.

– Кого?

– Большевиков и раду.

– Но эсеры и меньшевики тоже за социалистическую революцию! Вон, они возглавили наш профсоюз, и мы живем не хуже, чем рабочие с патронного. Они тоже за рабочих.

– Ты, брат, не до конца понимаешь это. Я уже говорил тебе и снова повторяю, а ты своим расскажи. Меньшевики и эсеры хотят все сделать постепенно, вместе с буржуями да с помещиками. Но вместе с буржуями мы далеко в революции не пойдем. Мы от них должны нашу страну очистить, а потом и мир строить, и коммунизм. А вместе с ними мы не построим, они будут мешать. А чтобы не мешали, надо часть их сделать рабочими – пусть понюхают, как живут эксплуатируемые... а других, если потребуется, уничтожить.

– Так много уничтожить-то придется.

– Пусть. Но с ними ничего общего не получится. Это вам они мозги законопатили, что они революционеры. Но с ними будешь ты свой горб гнуть на буржуев, как и гнул. Понял? – и сочувственно добавил: – Нет в тебе, Петр, классового чутья.

– Может быть, – неуверенно согласился Петр.

– Хватит спорить, – сказал отец, разливая водку. – Давайте еще за встречу.

Мать сказала, что ей хватит, отказалась и Антонина. Отец не возражал. Но отказался и Петр, объяснив, что ему рано

утром идти на работу, и он себя плохо чувствует с похмелья. Когда выпили по второй, в дом осторожно вошли дети Петра. Ане было уже одиннадцать лет. Худая, с тоненькими косичками и большими черными, как у матери, глазами, выделявшиеся крупными каплями на бледном лице. Виктор был меньше ростом, наоборот – коренастый и круглолицый, со светлыми волосами. От открывшейся двери огонь в лампе заколебался, и причудливые тени пошли гулять по стенам.

– Я вам сказала спать! – возвысила на них голос Антонина. – И чтобы сегодня не приходили к деду с бабой.

– Подожди, Тоня, – ответила мать. – Им же тоже интересно побачить своего дядьку. Посмотри, Сережа, какие у тебя племянники.

– Вижу! – он обнял их сразу обоих. – Если бы встретил их на улице – не узнал. Аня совсем красавица. А Витька, смотри-ка, богатырь. Ну, садитесь к столу.

– Да места нет. Я им сейчас отдельно дам. Садитесь на лавку.

Мать в отдельную тарелку положила картошки, тушенку, сала и хлеб и поставила на лавку. Дети молчаливо смотрели на взрослых, сели напротив друг друга и стали есть осторожными движениями. Когда кусали хлеб, то подставляли под него руку, чтобы ни одна крошка не просыпалась мимо. Как бы медленно они ни ели, но миска скоро опустела. Разговаривая с отцом, Сергей искоса бросал взгляды на детей. Выпили с отцом еще по одной. Дети доели и молчаливо смот-

рели на взрослых.

– Что вы такие неразговорчивые? – шутливо обратился к ним Сергей. Он подошел к Вите и обнял его рукой за плечи. – Вырос, сильно вырос... – как-то грустно произнес он. – Ты меня помнишь?

– Помню, – прошептал мальчик. – Ты с полицейскими дрался. Дедушка об этом рассказывал.

– Не совсем так. Но было дело, – согласился Сергей. – Еще кушать хотите?

Дети заколебались и поглядели на мать. Антонина устало сказала:

– Вы уже ели сегодня, не приставайте к взрослым.

– Хотят, – сказал Сергей и, взяв со стола оставшуюся картошку и банку с тушенкой, поставил их перед племянниками. – Рубайте и не стесняйтесь.

Дети снова взялись за ложки, а Антонина, словно оправдываясь, пояснила:

– Нам тоже за октябрь по продовольственным книжкам не дали. Так они не наедаются. А на рынок ходить денег не хватает. Петя, когда уже вас отоварят?

– Отоварят, – хмуро и неясно ответил тот, и Сергей понял, что на каждом заводе и предприятия такие трудности, несмотря на то, что Петр и отец хвалили свои места работы. Сергей сел за стол и, не обращая ни к кому конкретно, стал говорить:

– Стояли мы в Подолии. А там полно беженцев из Гали-

ции. Они семьями стояли возле нас. Ихни дети приходили к нам худые, грязные, голодные, неодетые... с котелками, глечиками... так мы с солдатами брали по неполной миске, а остатки кашевар разливал детям и стариками. Ели мы во дворе, а дитё стоит молча ждет, что ему останется от нас. Другие прямо просили: «Дядько оставь? У мэнэ matka хворая, сестричко другой день не снедала». Кусок в горло не лез. Посмотришь на них, отдашь свое и голодный ходишь. Убил бы тех, кто войны развязывает.

Антонина посмотрела на него с материнской благодарностью. Видно, не очерствел Сергей на войне. А мать просто сказала:

– Горя-то везде полно, а невинные страдают.

Петр с Антониной стали собираться уходить с детьми на свою половину.

– Мне завтра рано вставать, мы пойдем, – сказал Петр. – Мы еще увидимся, раз ты приехал и будешь здесь жить.

Наклонив голову влево, Петр с женой и детьми ушел. Стало тихо. Задумчиво сидел опьяневший отец. Молча глядела на сына мать. Куда-то вдаль, на колеблющуюся паутину смотрел Сергей. Наконец отец оказал:

– Ну, давай допьем остатки и будем ложиться. Завтра на работу, надоть выспаться.

Они выпили по последнему разу, и отец заплетающимися ногами пошел в другую комнату, но мать его остановила:

– Давай, старый, мы ляжем на топчане на кухне, а Сережа

в комнате, на его старом месте.

Но Сергей возразил, заявив, что он ляжет на кухне, и родители согласились. Федор ушел и сразу же захрапел, на что мать сказала:

– Напился. Слаб стал. Нехай спит.

Она убрала посуду, постелила свежую цветастую простынь, взбив перед этим подушку и тоненький матрас.

– Ты ложись спать, а я помою посуду и на тебя посмотрю.

Сергею хотелось спать. Водка расслабила его. Но он смотрел, как мать накрыла остатки картошки тарелкой, видимо – на утро, завернула в рушник хлеб и смахнула крошки со стола. Мать чувствовала, что сын наблюдает за ней и хочет еще с ней поговорить. Она подошла и молча присела на край топчана. Своей мозолистой, шершавой рукой она погладила сына по голове.

– А волос у тебя мягкий. Значит, ты добрый.

– Нет, злой я, мама.

– На што?

– На всех. На эту проклятую Богом жизнь.

– Не надо злиться, Бог велел терпеть. А ты правда – большевик?

– Да, мама.

– Тяжело приходится большевикам. Но как же без царя жить? Нам нельзя без него. России все равно нужен царь.

– Народ будет управлять государством. Ты, я, другие. Все будем трудиться и руководить.

– Бог с тобой. Мне ли царствовать! – испуганно ответила Анна. – Мне полы мыть да на кухне быть – и больше не надо. А кто сейчас командует, что будет о ними?

– Кто захочет – будет работать с нами, кто не хочет пусть уходит.

– А богатых куда большевики денут?

– Их не будет, все они станут работать, как рабочие и крестьяне. То, что они награбили, народ у них заберет себе.

– Это неправильно. Вон, многие люди, – крестьяне, – копили годами деньги, у вы хотите у них забрать.

– И заберем.

– Тогда будет война. Вот представь, ты накопил, что-то имеешь, а у тебя пришли и отбирают. Конечно, каждый будет воевать за свое добро. Отбирать все нельзя, а то начнется война, и будем же своих убивать. Крови будет много. А мало ли ее пролили в России? Вся земля на крови русской замешана, – мать рассуждала как бы сама с собой, и чувствовалась в ней крестьянская душа, пришедшая в город из деревни и не до конца понятная Сергею.

Ему очень хотелось спать, глаза слипались сами, но ему было приятно, что мать сидит рядом и согревает его своей доброй теплотой, и он не мог прервать ее простые, житейские рассуждения, не замешанные на политике.

– Революции без жертв не бывают, мама.

– Так тебя могут убить. Когда у человека разоряют гнездо, то он становится не как птичка, которая жалобно чирикает, а

как зверь, – ничего не понимает и убивает всех без разбору. Страшное вы дело заварили, кровавое... не по-христиански.

– Не убьют меня, мама. Раз немцы не убили – значит, буду жить долго. И ты посмотришь, как еще жить будем! – Сергей зевнул во весь рот, и мать, увидев это, заторопилась.

– Ну, ты спи, спи, а то, чай, устал. Я тебя не буду утром будить. Спи, отсыпайся.

Она подошла и в какой уже раз погладила его по голове. Но Сергей уже спал, подложив одну руку под голову, а вторую бессильно свалив с топчана, чуть-чуть не доставая ею до пола. Он чувствовал себя не на фронте, в постоянной тревоге, а умиротворенно, находясь в родной семье, и вся его спящая фигура выражала спокойствие и покорность. Мать подняла тяжелую руку сына и аккуратно положила ее ему на грудь. Что-то шепча про себя, она перекрестила сына. Потом прикрутила лампу, сняла с нее стекло и пальцами придавила огонек фитиля, – чтобы не было чада, и пошла в другую комнату. Но сон к ней не шел, и так – без сна – она проворочалась возле храпящего Федора до утра.

3

Время шло к полудню, когда Сергей подошел к патронному заводу. Спал он долго, без снов, и чувствовал себя бодрым, уверенным и спокойным. Домашняя обстановка, родные лица заслонили тревогу фронтовых будней.

Возле директорского корпуса толпилось много вооруженных людей. Такого раньше не было. Обычно в корпусе и вокруг него царили порядок и тишина. А сейчас в воздухе витала напряженное нервное возбуждение. Сергей подошел к толпе.

– Привет, товарищи! – обратился он к ним, немного запнувшись в обращении.

– Здравствуй!.. – раздались в ответ разрозненные голоса.

Вооруженные рабочие – красная гвардия – настороженно смотрели на него. Но вид солдата в шинели и яловых сапогах внушал доверие.

– Ты кто? Из совета?

– Нет. Мне Нахимский нужен. Не знаете, где он?

– Внутри он. Разбирается... буржуи объявили забастовку.

– Чего они хотят?

– Работать не хочут, вот что.

– Я пройду внутрь... можно?

– Валяй.

Еще с прошлых лет Сергей знал, что начальство завода

занимает кабинеты на втором этаже. На первом размещались различные службы. Было тихо, только навстречу один раз прошел представитель новой власти с наганом на боку. Сергей поднялся на второй этаж и направился к кабинету генерального директора завода. Войдя в приемную, увидел секретаршу, и спросил:

– Вы не скажите, Нахимский не там? – и указал на дверь директора.

– Не знаю никакого Нахимского! – резко ответила секретарша. – И вообще я ничего не знаю.

Она демонстративно отвернулась, словно показывая, что и она участвует в забастовке руководителей. Поняв, что от нее ничего не добьешься, Сергей осторожно открыл дверь в кабинет директора. Там сидело человек двадцать руководителей завода, одетые в форменные костюмы и двое – один в кожанке, другой в демисезонном пальто. В кожанке был Нахимский. Он удивленно посмотрел на Сергея и обратился к нему с тем же вопросом, как и рабочие внизу:

– Из совета? Что Ворошилов сказал с ними делать?

– Да я не с совета...

– А кто ты?

– Не помнишь? Мы сегодня ночью встречались с тобой. Арестовать меня хотел Федоренко. А ты освободил.

– А, Артемов. Вспомнил... как тебя звать?

– Сергей.

Только теперь он смог рассмотреть Нахимского побли-

же, ночью не удалось. Это был худощавый, смуглый человек невысокого роста, с небольшой бородкой и впалыми щеками. Блестящие черные глаза смотрели остро и колюче-подозрительно, но умно. Кожаная куртка скрадывала худобу тщедушного тела. Таких людей Сергей встречал раньше. По их внешнему и внутреннему виду всегда можно было понять, что они постоянно находятся в конфликте с властью, – до революции им пришлось побывать и в тюрьмах, и в ссылках, не говоря об арестах. Сутью их жизни была борьба против любой существующей власти за победу именно своей идеи. В своей борьбе они доходят до фанатизма, проводя только одну, – по их мнению, необходимую в данных условиях, – линию. Их мужество граничит с упрямством, и для достижения своей цели они способны на все; сжигая себя в борьбе, они жертвуют не только собой, но и своими близкими и окружающими. Нахимский относился именно к такой категории идейных революционеров.

– Видишь? – обратился к Сергею Нахимский. – Они, – он кивнул в сторону начальства, – хотят передать все руководство и управление заводом рабочим. А умеют ли они руководить? Вот я им и говорю, сначала научите рабочих руководить. Мы к каждому из них прикрепим по умному рабочему, – научите, а потом идите на все четыре стороны. Ты, Сергей работал на заводе, знаешь его. Если завод остановится, то у нас не будет ни патронов, ни снарядов. Где взять патроны для революционной армии? А контрреволюционеры

только ждут момента, чтобы начать наступление. И вот они – с ними. Вот ждем распоряжение Клима об их аресте.

Его перебил человек в пальто.

– Подожди, Абрам Семеныч, не говори так резко.

Сергей удивленно посмотрел на Нахимского. Фамилия и имя не вязались друг с другом. Позже он узнал, что человеком в пальто был большевик Лутовинов, рабочий этого завода.

– У них есть правильные претензии, – продолжал Лутовинов. – Надо же выслушать, поговорить, а потом решать. А то мы не даем им по-сурьезному ответить, – и вдруг без всякого перехода обратился к Сергею: – А ты, товарищ Артемов, мне известен. Слышал о тебе, хоть и не видел. Вот послушай и помоги разобраться, на свой свежий ум. Вот руководство, инженера заявляют, что они не будут подчиняться рабочему контролю. Это плохо или хорошо? Может, они хотят выйти из подчинения советской власти?

Сергей не успел ответить, как генеральный директор скрипучим голосом произнес:

– Не надо переиначивать наши требования. Нам все равно, какая власть. Завод государственный, а не гартмановский, и мы за него отвечаем перед правительством, а не перед различными комитетами и советами.

– Правильно, – вмешался Нахимский. – Революционный комитет – представитель советской власти в городе и на заводе. Он и есть государство. Ему вы должны подчиняться!

– Вы снова заводите старую пластинку, – ответил директор. – Советская власть, предположим, установилась в Петрограде, а как с остальной Россией? Не везде советская власть, а обязательства остались старые.

– У нас уже как месяц назад совет большевистский, – произнес Лутовинов. – Мы новую власть установили в городе раньше, чем в Питере. И мы хотим, чтобы завод работал на нашу власть, тем более – такой важный для революции завод.

– Завод не стоял и, надеюсь, стоять не будет. Вы правы, что никакая власть не допустит его остановки. Давайте подождем, пока не разойдется этот политический туман, и тому правительству, которое станет основным, и будем подчиняться. А пока мы просим не вмешиваться в производство.

Молчавший до сих пор Сергей неожиданно для себя сказал:

– Вы, наверное, думаете, что Центральная рада станет у нас властью. Народ о ней толком ничего и не знает. Я проехал всю Украину и знаю, что люди такую власть не знают. Это вы ее знаете потому, что читаете разные газеты.

– Вы, молодой человек, – спокойно ответил директор, – не правы. Если о ней не знают внизу, то нам приходят ее указы. Вот, например, о переводе делопроизводства на украинский язык. Как его выполнить не знаю, но жду более серьезных распоряжений.

Нахимский вдруг резко взорвался, и на его чахоточных щеках появился румянец:

– Вы, господа, не путайте экономические и национальные вопросы! Автономию, по своей буржуазной глупости, Временное правительство дало Правобережной Украине. А Донбасс и Новороссия остаются в составе России. Поэтому наше правительство в Питере. В сегодняшних газетах написано, что Луганск подчинится Совету Народных Комиссаров, во главе с Лениным. Слышали о таком?

Присутствующие неохотно кивнули,

– Вот вам и власть! Ей надо подчиняться, а не искать другую. А то завели контрреволюционные разговоры.

– С вами невозможно говорить, – сказал директор. – Неужели в совете нет более выдержанного и понимающего человека?

Теперь смуглые щеки Нахимского побледнели, бородка затрепетала от внутреннего гнева, глаза сузились и стали черными до синевы.

– Иван Хрисанфович! – крикнул он Лутовинову. – Давай не будем много разговаривать! Арестуем сначала директора, как главную контру, а позже остальных, и не будем ждать решения Клима.

– Не торопись, Абрам Семенович, – рассудительно ответил Лутовинов.

– Своей нерешительностью ты губишь революцию! – Нахимский продолжал кипятиться. – Видишь, не успела революция победить, как рядом нарождается контрреволюция. Ее надо давить, пока не разрослась, – в зародыше! Револю-

ции гибли из-за мягкотелости руководителей. Ты, член совета, принимай решительные меры.

Обстановка накалилась, и чем закончится разговор никто предположить не мог. Руководство завода сидело молча, и в них чувствовалась растерянность. Лутовинов, видимо, тоже не мог принять конкретного решения. Нахимский бросал злые взгляды на генерального директора. Сергей молчал, не в силах оценить сложившуюся обстановку. Но тут, обратившись сначала к директору, потом к Лутовинову, слово попросил главный конструктор завода – Шнейдер. Сергей знал его с довоенного времени. Тогда он еще не был главным конструктором и часто бывал в их станочном цехе. Он всегда вводил какие-то новшества, и на одном из токарных станков, который модернизировал Шнейдер, пришлось работать Сергею. Инженер в то время несколько раз подходил к нему и интересовался, как идет работа, что-то чертил и записывал в своем блокноте. Может быть, Сергею посчастливилось бы работать на еще более совершенном станке, но произошли уже известные события, и его отправили в армию, на фронт. Сдержанный и подтянутый Шнейдер пользовался уважением и управленцев завода, и даже рабочих.

Лутовинов махнул рукой, как бы разрешая говорить своему бывшему начальнику. Шнейдер встал, поправил костюм и, тщательно строя предложения, начал говорить:

– Граждане из совета не вполне ясно представляют себе ситуацию, которая сложилась на заводе. Руководство совета

требует безусловного подчинения себе завода. Это правильно. Раз совет подчиняется Петрограду и осуществляет руководство городом, то мы, естественно, должны подчиняться ему, а не той власти, у которой нет своих органов в городе. Мы же просим не вмешиваться в наши производственные дела. Собственно говоря, мы сегодня собрались здесь, чтобы решить именно этот вопрос, а не спорить сколько в стране властей и какая из них главная. В разговоре мы ушли от сути разбираемой проблемы. Нельзя смешивать политические и экономические вопросы. И это тоже правильно, — как подчеркнул в разговоре представитель совета. Из разговора мы выяснили, что сами рабочие не могут осуществить руководство таким сложным и большим заводом, это не мастерская. Как я понял, совет хочет установить контроль за распределением патронов. Это правильно. Патроны становятся не только боевой, но и политической силой в руках любой власти. Я считаю, что директорат должен пойти в этом желании навстречу власти и дать возможность распоряжаться продукцией завода. Я уверен, что она не хочет зла своей родине. Если мы этого не сделаем, то конфликт будет углубляться и затягиваться, и из этого противостояния ничего хорошего не получится. Это очевидно. Но мы, в свою очередь, просим заводской комитет не вмешиваться в производственные вопросы. А то получается так, что комитет просит для тех, кто трудится на тяжелой работе, сократить рабочий день, убрать некоторые вредные рабочие места, устроить незапла-

нированные выходные, не слушается не только мастеров, но и начальников цехов и так далее. Если дирекция выполнит все эти требования, то нам надо остановить завод. А он имеет важное оборонное значение. Поэтому мы с вами решили встретиться и договориться о наведении порядка на заводе, а не так, как вы представили все дело – будто мы объявили забастовку... волнуете этим рабочих. Вот в чем конфликтная ситуация. Давайте договоримся так: комитет не должен вмешиваться в производственные и технические вопросы и мешать нам работать. Мы предоставим вам всю документацию о том, куда направляется наша основная продукция, и вы внесете необходимые коррективы: куда и кому что направлять. Завод в это сложное время обязан работать. Это, я считаю, будет разрешением вопроса нашего противостояния.

Нахимский зло бросил:

– Так вы все-таки хотите отстранить рабочих от производства?

– Нет, это не так. Мы просим, чтобы комитет не вмешивался в производство, а только контролировал, – если новой власти этого так хочется. А проще сказать, – согласно вашей логике, – не мешали нам работать.

Лутовинов согласно кивнул головой. Директор, пощипывая бороду, видимо, также был согласен с этим предложением:

– Предложение господина Шнейдера не решает всех проблем взаимоотношений с новой властью, но на данном от-

резке времени оно приемлемо.

– Да, – ответил Лутовинов. – Давайте порешим так, как предложил господин Шнейдер. Нам сейчас важнее установить контроль за распределением патронов. Согласны?

Генеральный директор кивнул головой в знак согласия и сказал:

– Да. Но только давайте составим соглашение о ликвидации конфликта. Вы от имени совета, я от имени администрации, и также пригласим подписать его председателя заводского комитета.

– А может быть, не нужно никаких бумаг? – запротестовал Лутовинов, превращаясь на глазах из равноправного представителя в разговоре в суетливого заводского рабочего.

– Нет, давайте зафиксируем, – настойчиво сказал директор. – Господа, приступайте к работе, будем считать конфликт с новой властью исчерпанным.

Все поднялись и потянулись к дверям. Неуспокоившийся Нахимский выговаривал Лутовинову:

– Ты поторопился согласиться, они ж нас обманули! Ворошилов же сказал не идти ни на какие уступки, а если требуется – арестовать директора. Завод должен быть нашим.

– Он и так нашенький. Ты не работал рабочим, а я им есть. Рабочие не дадут им что-то лишнее сделать. Я здесь работаю и знаю настроение рабочих. Пойми ты, сейчас главное – сохранить производство и не допустить развала. А если бы они и мы не пошли на уступки, что – завод закрывать? Нель-

зя этого допустить. Сохраним завод – укрепим революцию; не сохраним, значит – не будет рабочих, а у тебя – гвардии. Крах революции будет. Сейчас капиталисты своей работой помогают революции.

Лутовинов остался в кабинете составлять документ, а Нахимский с Сергеем вышли.

– Пойдем на свежий воздух, познакомлю тебя с ребятами, будешь командиром у них, обучишь владению винтовкой. Да и на довольствие тебя поставить надо. Пойдем, – говорил Нахимский, не спрашивая согласия Сергея, – как о деле, давно им решенном.

На первом этаже они зашли в одну из дверей, и Нахимский обратился к находившемуся там мужчине:

– Яковлич, поставь Артемова, бывшего заводчанина и солдата, а сейчас красногвардейца, на довольствие, – и предупреждая его вопрос, продолжил: – Он будет служить у нас в отряде.

Яковлич недовольно проворчал:

– Много и так вас служит в отряде, рабочим нечем пайки давать.

– Не ворчи, делай, что тебе говорят. Я пойду на улицу, а ты как все оформишь, выходи, – сказал Нахимский Сергею.

Сергей протянул Яковличу солдатскую книжку, – как документ, удостоверяющий его личность; тот что-то отметил в толстом журнале и сказал:

– Ну вот, с этой карточкой зайдешь в кладовую, – она на

заводе возле термического цеха, – пусть тебя зафиксируют, а в субботу, – значит, завтра, – приходи, получай продукты. Только сегодня туда зайди, а то завтра будет поздно, – Яковлич неодобрительно покачал головой. – Много ж вас развелось, неработающих и служащих. Скоро работать некому будет.

Сергей вышел в коридор, навстречу шел Шнейдер. Узнав Сергея, он остановился и поздоровался, протянув руку. Сергей обрадовано смутился и торопливо пожал ее. Ему было приятно, что такой человек, как Шнейдер, помнит его.

– Сергей Иванович, вернулись с фронта?..

– Я Федорович.

– Извините, я просто не знал вашего отчества, сказал наобум. А имя называли ваши коллеги, и я его запомнил, как, собственно, и вас, когда вы работали токарем. Вы были молоды, и уже были хорошим токарем. У вас есть все возможности стать классным специалистом и получать высокую заработную плату. Хорошо, что вы вернулись с фронта здоровым и невредимым.

– Я два раза был ранен.

– Тогда хорошо, что вы живы. Вы снова пойдете в цех? Нам нужны хорошие токари.

– Еще не знаю. Хотелось бы снова постоять за станком, но пока мне предложили службу в социалистическом отряде. Надо обучать рабочих, как держать винтовку.

– Это хорошо, – видимо, Шнейдеру как иностранцу нра-

вилось это простое и емкое русское слово, выразившее любые оттенки настроения, и он его постоянно употреблял: – Плохо, что мало остается хороших рабочих на заводе. В отряд-то в основном идут чернорабочие. Они не стремятся стать хорошими специалистами. Давайте, обучайте их военному ремеслу.

Сергей неожиданно почувствовал острую тоску по родному механическому цеху, пахнущему машинным маслом токарному станку, и он торопливо произнес:

– Господин инженер. Я вернусь к станку, – хочу работать, а не стрелять. Вот, только закончится революция, так сразу...

– Ну-ну... – раздумчиво произнес Шнейдер. – Будем ждать... если не затянется революция. До свидания, Сергей Федорович. Успехов вам в революции.

Шнейдер протянул ему руку на прощание и пошел дальше по коридору. Сергей вышел на улицу. Небо было обложено грязно-лиловыми тучами, из которых в любой момент мог хлестануть холодный осенний дождь. Было прохладно и сыро. Рабочие отряда так же, как и час назад, стояли во дворе и беседовали между собой. От проходной завода подошел Нахимский и крикнул Сергею:

– Что ты задержался? Иди сюда! – и, обращаясь ко всем сказал: – Ребята, вот, видите этого солдата? Хоть молод, но уже прошел войну. Был на фронте. Опыт военный у него имеется. Он вам покажет, как работать по-хорошему с вин-

товкой и вообще драться. А за революцию надо драться! – веско добавил он. – Я пойду в совет, а вы – в завод, и там позанимайтесь. Договорились?

– Да. Но мне надо зайти в кладовую отметитья.

– Ребята покажут. Иваненко, ты остаешься старшим, веди отряд заниматься военным делом, – обратился Нахимский к парню лет двадцати пяти, который был вооружен револьвером, – в отличие от других, у которых были трехлинейные винтовки.

На территории завода Сергей зашел в кладовую, где ему дали продовольственную книжку, а потом в пустом складском помещении начались занятия по военной подготовке. Красногвардейцы были молодыми ребятами и не имели серьезных навыков в обращении с винтовкой. Сергей, который после первого ранения стал пулеметчиком и прошел соответствующие курсы, с удовлетворением отметил про себя, что он не разучился ружейным приемам. Ребята занимались с удовольствием. В перерывах много беседовали. Сергей рассказывал о фронтовой жизни и, когда узнали, что он пулеметчик, то прикатали неисправный пулемет. Сергей достаточно быстро его исправил – разобрал и собрал на глазах у всех. Иваненко довольным голосом произнес:

– С пулеметом нам не только буржуи, но и казаки не страшны!

Сергей снисходительно улыбнулся:

– Кроме пулеметов еще есть страшнее оружие.

Красногвардейцы, не имевшие фронтового опыта, рассуждали по этому поводу достаточно просто: от артиллерии можно закопаться в землю и пережить налет, а вот когда идешь в атаку, то от пулемета не спрячешься.

– В атаку же не все время ходишь, – отвечал Сергей. – А вообще-то все оружие страшно, особенно газовое, которое использовали немцы против нас. Там спасения нет.

На него налетели с расспросами. Попадал ли он под химическую атаку? Сергей не стал врать и ответил, что нет, но видел тех, кто уцелел и стал трясущимся калекой, разговаривал с ними. Солдаты говорили – лучше под газы не попадать.

Пришел Федоренко и хриплым голосом поздоровался со всеми. Сергей узнал его, но не стал напоминать ему о знакомстве. Но Федоренко, который занимал какую-то командирскую должность, сам подошел к Сергею.

– А это кто?

Иваненко объяснил, что Артемова в отряд назначил Нахимский, пока – для обучения красногвардейцев, и что он отремонтировал пулемет. Федоренко говорил неприятным, низким, хриплым голосом:

– Не тебя я вчера вечером встретил?

– Меня. Теперь узнал?

– Узнал. Это тебе повезло, что мы вчера были мирно настроены. А то бы уже висел, нанизанный на штык. А то больно шустрый. Не хочешь признавать революционных порядков. А таких мы...

Сергей почувствовал, как закипает в нем злость против Федоренко. Наклонив голову и глядя узкими от злости разрезами темных глаз, он сквозь зубы вытолкнул:

– Заткнись. Если я тебе вчера пулю в лоб не вогнал, то сейчас это сделаю!

Федоренко опешил и отступил от Сергея:

– Ты шо взбесился? Контуженый?

– Да, – подтвердили окружающие красногвардейцы. – Дважды ранен.

– Ну, тогда прости, – голос Федоренко обмяк перед таким отпором. – Сейчас время не для ссор, надо революцию продолжать, – и, обратившись к отряду приказал: – Собирайтесь на вокзал. Надо пошерстить поезд из Полтавы. А ты, Артемов, брось обижаться и пойдем с нами. Там мешочники едут, да и буржуи будут. Они сейчас перебегают с места на место. Они с деньжатами. Идем? – выпятив вперед острый подбородок, говорил Федоренко.

– Не пойду. Зайду в свой цех, хоть поздороваюсь со знакомыми.

– Жаль. Такие как ты пригодились бы нам на вокзале.

Отряд собрался, и Федоренко ушел вместе с ними. Сергей пошел в механический цех, где работал до фронта. Закопченное, с болтающимися под ветром в углах стен черными паутинами, большое здание цеха вызвало в сердце Сергея теплоту. Он вошел в цех и отметил про себя, что такой грязи и пустоты раньше здесь не было. Когда-то за каж-

дым токарным и фрезерным станком стоял рабочий, – сейчас около половины станков не работало. Осторожно обходя линии трансмиссий, он подошел к станку, на котором когда-то токарил. Видимо, им давно не пользовались – на станине и в корыте застыло машинное масло, лежала пыль. На соседнем станке пожилой рабочий обтачивал крупную деталь. Железная стружка, свертываясь спиралью, падала в корыто. Присмотревшись, Сергей узнал токаря. Это был Фрол Литвин, который, немного сгорбившись осторожно крутил ручку суппорта станка. Сергей подошел к нему сзади и окликнул. Фрол повернулся и его лицо, местами замаранное окалиной, заулыбалось. Он сразу узнал Сергея, тем более когда-то он помогал ему осваивать нелегкое, но интересное дело токаря.

– Здравствуй! Уже с фронта?

Все почему-то сразу же упоминали при встрече с ним о фронте.

– Привет. С фронта.

Резец проточил болванку до патрона, и Фрол отключил станок.

– Пойдем, покурим.

Они прошли в угол цеха, где четырехугольником стояли скамейки, – специально для курящих. Сергея многие узнавали и тоже поспешили на перекур. Последовали расспросы, и завязался оживленный разговор. Сначала Сергей ответил, где воевал, что видел. Но к главному моменту разговора

все как-то боялись прикоснуться, пока Фрол не разрубил эту недомолвку вопросом:

– Вот, ты много ездил, везде был, скажи – как народ относится ко всему этому в стране?

– В целом, поддерживает советы. Все кругом, особенно последнее время, ругали Временное правительство последними словами. Когда стало известно о революции в Питере, простой люд отнесся к этому, как будто так и надо.

– Ну, а советская власть надолго? – спрашивали рабочие, увидев свежего человека и жаждавшие расспросить как можно подробнее о происходящем.

– Навсегда, – ответил Сергей. – Революцию сделал народ, – вдруг заговорил он прописными, когда-то заученными в революционном кружке фразами, и поэтому немного злился на себя, что не может сказать ярче и душевнее. – Сколько веков гнул свою спину народ на помещиков и буржуев? Много. Теперь все, что забирали капиталисты, будет наше. Большевики все отдают народу.

– И это все поделим между собой? – спросил восхищенный молодой голос.

– Конечно.

– Так будем жить не хуже буржуев?

– Лучше. Потому что все теперь будет наше.

– А сумеем ли руководить? – с сомнением спросил Фрол. – А то вот захотели, а силенок и знаний нет. А конторские тоже не хотят, чтобы мы вмешивались. Да и насто-

ящих рабочих мало осталось, все сейчас из деревни. Нужда крестьян гонит в город, будто здесь молочные реки. А нам тоже несладко, уж год живем впроголодь.

– Если дирекция возражает против рабочего контроля и руководства над ними, значит – замышляют саботаж, – ответил Сергей, вспомнив свое недавнее пребывание на разборе конфликта. – И надо их заставить работать.

– На станок? – спросил озорной голос. – А самим стать начальниками.

– Кто уж слишком не хочет идти с рабочими, можно поставить за станок или подносить заготовки, а может, и ямы послать копать. Но я уверен, что рабочие должны взять завод в свои руки, крестьяне – землю... – Сергей запнулся, что не ускользнуло от внимания собеседников.

– А куда кустарей, лавочников?

– Их... – Сергей раздумывал. – Их тоже надо как-то переделать в духе рабочих и крестьян... как – пока не знаю.

– Ты, Сережа, большевик? – как-то утвердительно спросил Фрол.

– Да, на фронте стал.

– А разве не у нас?

– Нет. Там. Большевики правы, что дальше так жить нельзя. Вот поэтому и я стал большевиком, потому что тоже считаю – так, как мы живем, жить нельзя. Должно быть коммунистическое общество трудящихся. Все будут равно работать и равно получать. Не будет эксплуатации.

Сергей замолчал. Он чувствовал, что запутался в своих знаниях о будущем обществе, да и нынешнюю программу большевиков знал туманно, и заключил:

– Грабили нас эксплуататоры, теперь мы говорим народу: «Грабь – награбленное», «Бери, все твое». Сейчас это самый важный лозунг для нас. Надо уничтожить буржуев и помещиков, поломать их угнетательское государство, а там новое строить. Это я вам честно говорю. Что-то надо делать с этой жизнью...

Раздался одобрителный шумок. Сергей видел, что многие его слова воспринимались собеседниками с сомнением, но решил, что плохо объяснил им, – не хватило у него нужных знаний. Пора было расходиться, тем более уже несколько минут, в ожидании окончания их беседы, у курилки стоял подошедший мастер участка, как бы приглашая всех на работу. Все пошли по рабочим местам, перекур закончился. Фрол сказал Сергею:

– Подожди меня с полчаса, зайдем в кабачок.

– Хорошо, – согласился Сергей.

Он еще походил по цеху, поздоровался со знакомыми, в который раз рассказал о своей фронтовой жизни, потом пошел к Литвину. Тот уже убирал станок.

– Закончил свою норму. У нас сейчас так – выполнил свою норму, можешь идти куда хочешь. Вчера это решение приняли на собрании, – Фрол говорил об этом неодобрительно. – А работа же есть. Мог бы еще заработать. Но зачем много

работать – паек останется старым. Нет интереса работать. Но раз работяги решили так, пусть будет по-ихнему.

Через проходную завода они вышли на Петроградскую, зашли в кофейню Келльева и сели за столик. Людей было немного. Подбежал официант с прилизанным чубом, смел со стола мелкие крошки и, видя перед собой рабочих, с издевкой спросил:

– Чего-с пожелаете, товаришки? Кофе, пиво, водки?

– Какое пиво есть? – спросил Фрол.

– Все шесть луганских сортов лучшего пива Юга России: Баварское, Венское, Шата-Брай...

– Давай два стакана водки и баварское, с раками на закуску.

– Будет сделано-с. Только раки, – предупреждаю, товаришки, – последние в этом году и дорогие-с, – угодливо ответил официант, хотя в глазах его светилась брезгливость к людям, одетым в фуфайку и шинель. Фрол внимательно посмотрел вслед официанту.

– У, гад. Раньше нашего брата отправлял пить пиво на улицу и внутрь не пускал, если одет для работы. А сейчас все его нутро выкручивается от злобы на нас, но молчит. Все равно презирает нас, а я – его. А разобраться – он тоже рабочий, захочет Келльев – выгонит его. Бесправен, как и мы, но гонор буржуйский. Нахватался за время прислуживания. Как революция случилась, так они стали перед простым людом хоть немного шапку ломать... – Фрол замолчал, а по-

том глубокомысленно произнес: – Вообще-то, нашему брату нельзя давать власти. Сразу же начнет давить слабого.

– Почему? – удивленно спросил Сергей.

– Потому что хам, всегда останется хамом, сколько ни учи его благородству. Вот он, половой – и ломаного гроша не стоит, но считает, что оказывает нам большую услугу – подаст нам, низким по званию, делает одолжение, и мы его тоже должны нижайше благодарить. А я ж за это деньги плачу! Припрятал я их от своей бабы, но с тобой можно их и пропить, тем более жизнь тяжелая нонче. Вот разве я не хам – денег дома нет, а я последние пропиваю?

– Неправ ты, Фрол. Вот окончательно укрепимся с новой властью, по-настоящему будем равны. Никто никого унижать не будет и завидовать.

– Что ты все тарыхтишь о будущем... надо сейчас жить. Люди всегда будут заниматься разной работой. Поэтому между ними всегда будет разница.

У столика стоял официант и с подноса ставил на столик заказанное. Водка прозрачно светилась в стаканах, в бокалах еще не осела пивная пена, раки казались изготовленными из красной огнеупорной глины.

– Четыре-с рубля сорок-с копеек, – сказал официант.

– Потом отдадим, – ответил Фрол.

– Я говорил-с – раки дорогие, – словно не слыша слов Фрола, ответил официант. – У меня заканчивается смена, – намекнул он на необходимость оплаты.

Стало понятно, почему Фрол не хотел платить сразу – у него в кармане было всего три рубля с мелочью. Раки все ж оказались для него дороговаты, и Сергей сказал:

– Я добавлю.

И сунул в руку официанта еще трояк. Тот тщательно отсчитал сдачу, положил ее на столик и с презрительной улыбкой, – чтобы они видели, – отошел.

– Не хамло ли? – спросил Фрол.

– Нет. Просто торопится домой.

– Ладно, Серега, давай выпьем за тебя. За твое возвращение.

– И за тебя тоже.

– Идет.

Сергей не хотел выпивать сразу же весь стакан, но, увидев, как Фрол медленно, крупными глотками осушал свое, тоже выпил все. Крепкая водка заставила их сморщиться и внутренне съежиться, поэтому запили ее баварским, и стали с хрустом ломать панцири раков. Немного погодя захмелевший Фрол продолжил разговор.

– Революция для нас праздник... так сейчас говорят. Только нельзя нам все-таки давать много свободы и прав.

– Почему? – прихлебывая пиво и чувствуя разливающееся в теле тепло, спросил Сергей.

– Да хотя бы потому, что нужна нашему брату дисциплина. Вот узнали про революцию, и уже вчера на собрании стали вести речи, чтобы устроить не только восьмичасовой

рабочий день, но и семичасовой, а другие вообще предлагали сделать сегодня или в субботу выходной. Объясняют – мол, устали работать на войну. Дело ли это?

– Конечно, нет. Может быть, просто от радости, что скинули буржуев? Ты ж сам говоришь, что революция – праздник.

– Да мне не до праздника! Его хотят те, кто недавно пришел на завод и толком работать не умеет. Им работа не в радость, а в мученье. Показали, как включать станок, проточить болванку, потом отключить станок и поставить новую болванку и все. Вот от надоедливости работы они и хотят выходного. А кто умеет работать – ему праздников не надо. А для этих тягость. Редко кто из них научится настоящему мастерству. Я вот с четырнадцати лет токарю, почти все понял. А этим учиться не хочется, лишь бы немного денег заработать и опять в деревню.

– Так научи их работать. Как когда-то меня.

– Я же сказал, что у них руки не оттуда выросли. Они не для станка. Им лошадь нужна, здесь они специалисты. А сюда их нужда выгнала, а не стремление обучиться. Земли-то всем им не хватает. А старых рабочих все меньше и меньше остается. А у новых работяг из деревенских только дети смогут этому обучиться, но не они. Я этого насмотрелся и сделал вывод – каждому Богом дано заниматься своим делом. Вот ты был неплохим токарем, а почему? Потому, что у тебя батька рабочий. У тебя в крови есть рабочая сноровка. А у

кого ее нет, он должен не один десяток лет проработать на заводе. Понял?

– Что-то ты, Фрол, контрреволюционно настроен.

– Да не я... а тот, кто по-хорошему не хочет работать. Ты, Серега, давно у нас не был и не знаешь теперь нас, ты от нас отстал, живешь другими мыслями, военными. А настоящие рабочие чувствуют своей шкурой революцию, но не хотят, чтобы все время шли собрания, давали рабочим винтовки, посылали охранять город, совет. Пусть это делают другие. Вот, например, солдаты. Их сейчас так много. Пусть охраняют нас, а мы будем работать и кормить их.

– Вообще-то, есть правда в твоих словах, – размышлял захламевший Сергей. – Я посмотрел, езда по стране, на людей. Многие из них действительно не понимают – для чего революция. Но мы, большевики, сделали революцию для всех, и в первую очередь – для народа. А они пускай разбираются хорошо это или плохо и все-таки поймут, что мы им сделали хорошо. Надо только время, чтобы люд осмотрелся, и все станет на свои места.

Фрол сидел, сгорбившись, седые волосы были растрепаны, и Сергей с тоской подумал, как быстро стареет человек. По рукам Фрола пробегала дрожь, но не только от частого употребления алкоголя, а от напряженной работы. Но тот, тем не менее, упрямо повторял:

– Все-таки рабочий должен заниматься своим делом и этим поддерживать революцию.

Сергей заказал еще по сто грамм водки и пива, но уже венского. Тот же официант уже не с презрением, а равнодушно обслужил пьянеющих клиентов. Фрол заметно охмелел и предлагал выпить еще, но Сергей отказался, и вскоре они вышли из кофейни Келльева и расстались.

Сергей пошел домой. Темнело. Из долины реки Луганки поднимался синеватый, смешанный с заводскими дымами, туман. Ветер относил его вверх, в Каменный Брод, на лепившиеся по склону домишки. Заводы, с чернеющими массивными зданиями цехов, трубами, лениво cedящими дым, казались мрачными. На улице лежали кучи пожухлых листьев. Изредка проезжающие пролетки разбрызгивали воду из тяжелых холодных луж. Осень уверенно вступала в свои права, захватывая над Луганском полную власть. Но ей были недоступны процессы, кипящие внутри города, которые контрастировали с собиравшейся на покой природой. Вертеп революции только набирал силу, пока только втягивая в себя немногих, – как ветер играл одинокими листьями, не в силах выдуть из углов их скопившуюся, разлагающуюся кучу, но вырывая оттуда самые легкие и высохшие частицы. Природа хотела покоя, хотела отдыха после плодоносного лета, набраться сил для будущей щедрости. Но людская жизнь неслась не по природному правилу и вносила в отдыхающее естество свой нечеловеческий жар раскаленных страстей, бушующей крови, фантастических мыслей, недоступных пониманию самой природе. Они не сливались во-

едино, а наоборот – отталкивались друг от друга, словно показывая, что у них сейчас разошлись пути, и каждый должен показать, кто из них сильнее и на чьей стороне правда. И на месте их соприкосновения возникали идеи: с одной стороны – безумные, разрушительные, как молнии, с другой – кроткие, естественные, как сама природа. Но дальше была неизвестность. И только ночная тоска на короткое время примиряла их.

Дома мать приготовила ужин, отец ждал сына. У них двоих, – что давно не случалось, – было единственное желание: быстрее увидеть сына.

– Садись за стол, я купила мяса и натушила картошки, и соленых огурчиков с погребца достала.

Сергей с отцом сели за стол. Мать хлопотала возле печи и рассказывала:

– Заходила сегодня к Ване, твоему брату, – его нет. Уехал то ли в Москву, то ли еще куда-то. Скоро должен приехать, – сват сказал. Он передал тебе привет и бутылку водки. Может, налить?

Но Сергей отказался. Отец, не спрашивая никого, налил водку в рюмки и сказал:

– Давай по одной пропустим и хватит.

Поужинали. Было слышно, как вошла во двор вернувшаяся с работы Антонина и, не заходя к свекрам, прошла к себе. Мать рассказывала сыну об Иване и Аркадии, как они живут, о соседях. Сергей слушал невнимательно, не переби-

вал, изредка задавая вопросы. Он чувствовал, что сегодня устал, да и выпитое располагало к дремоте. Но пришла соседка, живущая напротив, через улицу – Полина. Сергей ее хорошо знал с детства, был дружен с ее мужем. Тот был старше Сергея лет на пять, и в детстве они часто совершали налеты на огороды и сады, вместе ходили на уличные потасовки. Муж Полины погиб еще в шестнадцатом, в Карпатах, во время брусиловского прорыва. Было у Полины на руках двое детей – мальчик и девочка. Работала в цехе паровозостроительного завода уборщицей, и в последнее время соседи замечали, что у нее стали ночевать незнакомые мужики. За это Анна не любила Полину, но жалела детей-сироток. Да и что с Полины взять – молодая, еще нет и тридцати, здоровая да и, надо сказать, симпатичная баба. Правда, в последнее время углубились морщинки вокруг глаз, взгляд порой бывает отрешенный, но все еще привлекательная. Поздоровавшись, Полина сразу же завела разговор с Сергеем:

– А мне сяводня сказали, что ты с войны вярнувся. Так я уж третий раз забягаю к вам. Тете Ане примелькалась своей надоедливостью. Хочу с тобою погутарить, раз ты здесь.

– Здесь, – согласился Сергей.

Полина молча теребила концы платка, накинутого на плечи, а потом нерешительно спросила:

– Ты не встречался на фронте с моим Иваном?

Видимо, существует какая-то женская потребность услышать о муже от других. Хотя она твердо знает, что мужа уже

нет на свете, погиб и неизвестно где похоронен. Но так хочется насладиться сладкими воспоминаниями с чужих слов о когда-то самом близком человеке. Полина с неуверенной надеждой в глазах смотрела на Сергея.

Комок жалости у Сергея подкатился к горлу. Он видел эти бесконечно ожидающие лучшего глаза у беженцев, покинувших свой кров, раненых, уповающих на быстрое выздоровление и не ведающих в своей счастливой надежде, что им осталось жить совсем немного. И эти тщетно ждущие глаза всегда выворачивали его душу наизнанку. Он не стал обманывать женщину наивными воспоминаниями, что где-то мельком виделся или кто-то передавал от него ей привет, а коротко сказал:

– Нет, не встречал. Я же в шестнадцатом служил на Западном фронте, а твой Иван – на Юго-Западном. Мы с ним просто не могли встретиться.

Полина продолжала теревить углы платка.

– Не видел, так не видел, – как можно бесстрастнее, что было заметно всем, произнесла она, на что Сергей виновато повторил:

– Правду говорю, что с ним не встречался с тех пор, как он ушел в армию.

Полина согласно кивнула головой:

– Ладно, что есть, то и есть.

Она стала разговаривать с Анной, не обращая, чтобы не бередить свою душу, внимания на Сергея.

Сергей вышел во двор покурить. Было темно. Продолжал дуть холодный ветер. Из дома вышла Полина и подошла к нему. Кутая голову в платок, произнесла:

– Куришь?

– Ага.

Они замолчали. Сергею не хотелось вести с ней никакого разговора, потому что он чувствовал себя виноватым – он живой, а Иван где-то в далеких, чужих горах сложил свою горячую голову. Полина подошла к нему вплотную и прижалась грудью. Шепотом сказала:

– Бедный солдатик, как вас всех жалко... приходи сегодня ко мне? Побольше тебя расспрошу о войне... а?

Сергей вначале непроизвольно отшатнулся, не ожидая от нее такой откровенности, но это длилось какое-то мгновение и, обняв ее за плечи, прерывающимся шепотом спросил:

– Зачем?

– Я ж сказала, поговорим... а там видно будет. Придешь?

– Хорошо. Только попозже.

– Да, – так же, как и он, шепотом ответила она. – Я сейчас детей уложу спать и буду ждать тебя.

Полина пошла через улицу домой, а у него стало муторно на душе, будто уже совершил подлый поступок – ведь с Иваном они были друзьями. Он вернулся в хату и сказал матери:

– Ну, я буду спать, а то что-то сильно устал.

Мать поправила матрац на топчане, взбила подушку и мозолистыми руками разгладила простыню. Сергей лег и

неожиданно для себя быстро заснул. Также неожиданно проснулся и, прежде всего, подумал: «Сколько ж я спал? Сколько времени?» Но в хате было темно, мать загасила лампу. Взял свои трофейные карманные часы, вышел во двор. Прикурил и при свете огонька посмотрел на часы. Было почти одиннадцать. Значит, он спал более двух часов. «Идти или не идти», – колебался он. Докурив самокрутку, посмотрел на темные окна своего дома, вышел со двора, пересек улицу и осторожно постучал согнутым пальцем в окно дома Полины. Послышался скрип открываемой двери, и он услышал шепот Полины:

– Заходи. Что так поздно?

– Спал.

– Я так и думала. Все солдаты после фронта гаразды спать. Она в темноте провела его в маленький закуток за печкой.

– Снимай шинель... раздевайся.

И, словно боясь, что он передумает, обхватила его шею, стала торопливо-бесстыже целовать его в губы, щеки, шею...

– Намаялся на фронте, теперь отдохни...

...Анна слышала, как Сергей вышел во двор и ждала, когда он вернется, но сын не приходил. Мать встала, вышла на кухню и села на неостывший от сыновнего тепла топчан. «Уговорила все-таки Полина. Ни одного солдата не пропустит, – недовольно подумала она. – Вот сучка!»

4

Петр находился в Лутугино – шахтерском поселке недалеко от Луганска. На паровозе, вместе со своим постоянным старшим напарником машинистом Максимом Корчиным, им предстояло взять двадцать вагонов угля. Подогнали паровоз к погрузочной площадке шахты и остановились – пути занимал порожняк и его надо было перегнать на другие пути. Максим – пожилой машинист лет пятидесяти с седыми, перепачканными угольной пылью волосами, торчащими из-под замасленной форменной фуражки, сердито сказал Петру:

– Куда все пропали? Сбегай в диспетчерскую и узнай, где уголь, и пусть освободят пути.

Петр пошел к пропыленному угольной пылью, черному от грязи, – что было обычным для шахт, – зданию диспетчерской. Через дверь изредка входили и выходили люди, внутри слышался шум. Петр вошел в комнату и увидел, что в ней находятся человек сто, одетых, в основном, в шахтерские робы. Некоторые сидящие за столом были одеты, как конторщики. Большая часть присутствующих стояла. Было душно от мажорочного дыма и вспотевших тел. Шел какой-то серьезный разговор, все были разгорячены. Пока Петр осматривался, пытаясь понять, что здесь происходит, к нему обратился человек, ведущий это собрание, в чистом, но уже достаточно

потертом костюме:

– Товарищ, ты с какого участка?

Петр непонимающе смотрел на него. Все повернули головы к нему, ожидая ответа.

– Ты голову не отворачивай! – раздался голос. – Говори, кто тебя прислал?

Петру стадо обидно до слез за то, что люди увидели его физический недостаток и обратили на него внимание. Он понимал, и это было не раз, что сказано было не с целью, чтобы подчеркнуть его уродство, а просто лишь бы выделить его из присутствующих. Но он обиделся. Всю жизнь ему приходилось слушать сознательные или товарищеские насмешки по поводу наклоненной головы, и он никак к этому не мог привыкнуть. Внешне он старался не проявлять своего недовольства, но в душе саднило от обиды. Петр внешне спокойно, но внутренне зло, ответил:

– Я ни с какого участка. Я из Луганска, и мне нужен диспетчер.

– Откуда вы? Вы не один? А кто вас из Луганска прислал?

– Никто. Мы на паровозе, и у нас наряд на получение угля.

Поэтому мне нужен диспетчер.

Раздались голоса, в которых звучало неодобрение, что из Луганска не прибыл представитель новой власти с разъяснением нынешней обстановки. Председательствующий, а это был Ряжский, обратился к Петру уже на «ты»:

– Вот ты, железнодорожник, расскажи нам, как у вас от-

носятся к власти на Украине! – и, видя, что Петр не понимает вопроса, пояснил: – Читал третий универсал Центральной рады. Нашу Екатеринославскую губернию включили в состав Украины. Какую власть признают в Луганске?

С Петра тяжело было выдавить лишнее, и он совсем растерялся, не зная, что ответить.

– Луганск рядом, езжай и узнаешь, какая там власть.

Председатель укоризненно произнес:

– Товарищ, не уваливай от вопроса. Нам надо знать, какая власть у нас главная, и чьи приказы выполнять.

Петр осмотрелся и увидел, что на него глядят вопрошающие взгляды шахтеров, собравшихся для того, чтобы решить важнейший вопрос о власти, и решился ответить:

– В Луганске все рабочие поддерживают Советскую власть... Петроградскую, – уточнил он.

– А киевскую?

– О ней у нас не знают. Я тоже. Мы всегда были – Россия.

Председательствующему, видимо, не понравились слова Петра, и он снова напал на него:

– Так ваши же железнодорожники выступили против питерского правительства! Ваш же профсоюз против большевиков! А ты, товарищ, говоришь – весь Луганск за большевиков. Этого не может быть. За нами, социалистами, идет много рабочих, а крестьяне – все. Мы за революцию и поддерживаем питерское восстание. Но сейчас большевики, захватив власть, не хотят ее делить ни с одной партией. Пра-

вильно ли это? Мы тоже, как большевики, сидели при царе в тюрьмах, пухли от голода в ссылках. Поэтому наша партия должна войти в новое правительство. Вот вы все знаете, что в Лутугино мы, социалисты, помогли вам, шахтерам, создать общественные огороды, чтобы сегодня ваши семьи не умирали от голода. А могли это сделать большевики? Нет. Они сильны только на митингах кричать да призывать все разрушать. А мы созидаем, договорились с крестьянами о выделении руднику земли, и нам ее дали, и сейчас у нас хоть немного продуктов, но они есть. Понемногу всем хватит. Поэтому я считаю, что надо послать представителей нашей партии в большевистское правительство для улучшения его работы.

Раздался шум, одобрительные и неодобрительные возгласы слились воедино. Председатель хотел еще что-то сказать, но был не в силах перекричать толпу, и замолк. Петр с удивлением смотрел на волнующихся людей, и постепенно до него доходил смысл сбора рабочих. Вместо председателя в костюме вышел новый, одетый по-простому в свитер, но привычкам, взмахам рук, горделивому повороту головы видно, что человек интеллигентный. Он начал выступать.

– На заседание рудничного комитета мы пригласили представителей всех участков и служб, но люди еще подходят и пусть включаются в разговор. А вопрос один. Какую нам власть признать: в Петрограде или в Киеве? Вот я зачитываю вам еще несколько пунктов из универсала рады, которая включила наши земли в состав Украины. У меня текст на

украинским языке, и я буду сразу же его переводить. Если где-то ошибусь, то извините. Вот. Украина не отделяется от России, и это главное для нашего района, где много русских, много украинцев и других инородцев. Этот пункт – я верю – поддержат все. Земля отныне переходит в руки тех, кто ее обрабатывает. Для рабочих устанавливается восьмичасовой рабочий день. Что нам и вам еще надо? Рада немедленно вступит в переговоры с Германией о перемирии, а потом – для заключения окончательного мира. Великорусскому, еврейскому, польскому и другим народам дается право на национально-персональную автономию...

Здесь зал зашумел. Раздались крики: «Нам не надо никакой автономии! Шо такое персонал...! Посчитать в Донбассе кого больше – украинцев чи русских, и других не забыть! Мы разные, но живем дружно! Не надо нас ссорить!». Оратор, напрягая голос, старался перекричать зал, и это ему удалось.

– Я с товарищем Ряжским полностью согласен, – на время он отошел от своего предыдущего выступления, – что все партии – социалистические и демократические – должны войти в состав новых правительств. Большевики отказали всем и хотят узурпировать власть. Но мы тоже вели народ на революцию, и хотели бы с ними разделить власть и управлять страной. А вот, что говорит Центральная рада... – выступающий продолжал гнуть свою линию. – Короче, рада приглашает к совместному сотрудничеству все партии, ко-

торые хотят строить новую Украину. Поэтому я предлагаю поддержать раду как законное правительство украинского и всех других народов, проживающих здесь, и объявить бойкот российской советской власти!

Но тут шум поднялся больший, чем в предыдущий раз, и оратор, не в силах перекричать толпу, сел, вытирая вспотевшее лицо платком. Петру были непонятны крики, сливавшиеся в единый, как гудок паровоза, вопль. К столу президиума прорвался человек, одетый, как рабочий. Размахивая руками, он заговорил. Вначале его было не слышно, но шум постепенно затихал, и Петр стал различать слова:

– ...все ваши партии, – кричал новый оратор, – хотят власти! Хотят нажиться за счет народа! Революция сделана для народа, а не для партий! И все партии должны уйти от руководства государством! Мы, анархисты, призываем всех рабочих правильно понимать ситуацию! Если будет государство, оно будет давить, прежде всего, рабочих и крестьян! Даже если в парламенте будут одни рабочие, то они рано или поздно примут решения, чтобы зажать вас как можно крепче! Они выступят, те рабочие-интеллигенты, против вас – это закон государства! Оно не сможет жить иначе без доказательства своего превосходства над простым людом, поэтому – государство враг трудящегося народа! Нам, рабочим, не нужно правительство ни на Украине, ни в Донбассе! Все правительства продажны и заботятся только лично о себе, а на вас им наплевать! Надо создавать свободные трудовые

ассоциации и брать руководство производством в свои руки! Только сам трудящийся может спасти себя, никакое государство не поможет! Центральной власти не должно быть потому, что она – как паразит – пила и будет пить кровь трудового народа! Власть рождает паразитов – это закон истории. Надо нам снизу создавать свои органы управления – по фабрикам, заводам, деревням, но без выхода на центральную власть. Только тогда рабочий станет по-настоящему свободным! Анархисты, – а нас здесь много, – согласны, что революцию должны делать заговорщицкие партии, но потом они должны уступить место трудящимся. Пусть те сами решают все вопросы, в своем кругу. Поэтому призываю своих братьев по лопате отказать во власти всем партиям и правительствам! Давайте на шахте сами наведем до глянца революционную власть! Так мы, снизу, быстрее построим социализм, о котором извечно мечтал наш черный народ! А сверху построенное государство – не для нас, а для тех, кто его строит, пусть даже это будет и рабочая партия. Поэтому я еще раз призываю всех братьев своих по забою и лопате сказать наше «нет!» всем-всем правительствам и властям! Власть – свободным трудовым ассоциациям народа!

Он ушел с ораторского места. Одновременно раздались свист и одобрительные возгласы. Чего было больше – Петр не мог определить, но публичное действие народа его захватывало все больше. Ему даже самому захотелось высказаться, и он чувствовал, что может сказать самое лучшее и со-

кровенное. Но, взглянув на предыдущих ораторов, сидящих в президиуме и увидев их ехидные улыбки в адрес выступающего анархиста, он поник и понял, что никогда ему не придется выступать перед аудиторией, – он не вожак и даже не трибун. У него не хватит слов, чтобы выразить то, о чем он думает.

Председатель вновь обратился к волнующемуся собранию.

– А сейчас выступит интернационалист – китайский шахтер.

Петр знал и видел, что за годы войны с далекого Востока привозили в Донбасс китайцев для работы в шахтах. Это были трудолюбивые, дисциплинированные и смирившиеся со своей судьбой люди, оторванные от своей теплой, но такой неблагодарной к ним родины. Маленький китаец стал говорить.

– Нася революся васий революси... – он долго набирал воздух в легкие так, что узкие глаза округлились, и вдруг, словно аварийно выпустив пар, прокричал: – Привета!!

Зад радостно всколыхнулся.

– Спасибо, Ваня! Молодец, китаёза! Привет!!!

Петр слышал, что все его называли Ваней, иногда ласково – Ванюше. То ли от прилива дружеских революционных чувств, то ли это было общее русское имя для китайцев, но явной насмешки или пренебрежения к китайцу не было. Такова русская душа, желающая чужих людей сделать свои-

ми, более близкими. А китаец продолжал под одобрительные крики собрания:

– Вася революся лютше нася революси! Она шанго! Хоресё!

Многие знали слово «шанго», которым постоянно пользовались китайцы в разговоре и означающее – хорошо. Но трудолюбивые китайцы почему-то не могли выучить русского языка и, кроме пары десятков обиходных русских слов, остальные не усваивали.

– Вася революся хоресё! И мы остаться в России. Мы сделаем помочь вам! Шанго!

И все присутствующие дружно захлопали китайцу, впервые на собрании не проявив недоброжелательности к выступающему. Вроде бы ничего значащего китаец не сказал, но напряжение зала было сбито ласково-шуршащим словом «шанго». Китаец, широко улыбаясь, ушел с трибуны.

Тем временем к столу подошел высокий, немного сутуловатый рабочий и, подняв крупную мозолистую руку, вроде бы призвал собрание к тишине. Раздались крики: «Пусть Филимоненко скажет! Как об этом думают большевики!». Видимо, он был хорошо известен рудничным рабочим, и шум постепенно стих. Филимоненко начал говорить:

– Вот сейчас выступали разные люди от различных партий и говорили умно и хитро. Они этим только и занимались все время, и мне, работяге, не сравниться с их речами... но скажу, как думаю, как мыслит моя партия. Вот, го-

ворят, большевики узурпировали власть. И нашли ж такое словечко! А я вас и их спрашиваю – как? Наоборот мы говорим – все ваше сейчас, рабочее и крестьянское, берите и руководите сами собой. Мы сделали революцию, чтобы отдать все вам: власть, шахты, землю и все остальное. Но вы же только слушаете всяких болтунов, а палец о палец не ударите, чтобы изменить жизнь. Берите все и умно руководите, не ждите, что кто-то придет и поможет. Есть только вы – рабочие, а остальные – враги, и поэтому они нас охаивают. Скажу честно, что я еще толком не знаю, что делать и как, но знаю точно одно – что-то надо делать, не сидеть, сложа руки. Может, на первый случай отстраним старую администрацию рудника и сами возьмемся за руководство? Давайте все вместе думать. Вот меньшевик и эсер обвиняли большевиков, что они такие-рассякие. А сами что сделали? Да ничего! Выступали против революции, а сейчас вас обманывают, что и они помогали нам брать Зимний в Питере. Может, там и были простые эсеры, но руководителей не было. Там были большевистские вожди. Так же нечего говорить о помощи шахтерам. Распахали общественные огороды, а потом вы же с селянами из-за земли дрались – они ее вам не давали. Забыли, как все лето огороды охраняли? Да и продуктов-то собрали всего – чтобы губы помазать. Нельзя так было делать, отбирать у наших крестьян землю! Нас на руднике больше половины, кто живет по прирудничным деревням. Ладно об этом. Сейчас надо наводить порядок и созда-

вать сильную народную власть. Врагов много у нас – на Дону казаки, совсем под боком, подальше какая-то рада мутит воду против народа. Как окончательно у них все отберем, они сразу же пойдут на нас. Поэтому надо вооружаться и создавать Красную гвардию. Вот, когда раздавим эксплуататоров, тогда нам, может, и не нужно будет государство. Давайте выступим за советское государство и его правительство. А наш Донбасс входит не только в Екатеринославскую губернию, а в район, который называется Малороссия. Значит, мы являемся частью России, – закончил Филимоненко и хотел уйти, но раздались крики: «А как с Киевской радой?» Филимоненко стал снова говорить.

– А никак. Просто не обращать на нее внимания. В ней сидят выходцы из Австро-Венгрии. Там у них район Галицией называется. У себя не смогли сделать отдельное государство, – в войну перебежали к нам и хотят на чужой земле галицийскую Украину создать. Это шебуршатся националисты. А мы с вами – интернационалисты. Там у них, я слышал, руководят профессора и писатели, а они не знают нашей жизни и ничего не сделают для нас. Будут скубстись, мешать нам строить новую жизнь – и все. Они так же тихо разойдутся, как когда-то втихаря собрались. А вы, еще раз говорю, должны стоять за большевиков. Они ваша власть.

Снова поднялся шум. Петру не совсем понравилось выступление Филимоненко по сравнению с анархистом, но серьезная мысль в нем была – самим строить свою жизнь. Из

зала выскочил шахтер и, не дожидаясь, когда его представят, начал говорить:

– Товарищи! Давайте не торопиться с никакой властью. И советская и украинская что-то обещают для нас сделать. Вот в войну при царе нас снабжали, как солдат, я хочу сказать – по военным нормам. Временщики тоже пытались нас поддержать, но хуже, поэтому и слетели. А сейчас обе власти ничего не делают, чтобы нам жилось лучше. Зачем нам эти власти нужны, которые нас прокормить не могут? Прошлые нам больше давали! Мы и сейчас проживем, чай не бедные, – у нас у каждого есть хатенка и огородик... но и власть нас не должна забывать. Забудет – откажем им во всем, а без угля все пропадут. Так я говорю: давай посмотрим, кто нам больше даст, а не пообещает – того и поддержим. Я говорю: посмотрим, какая власть лучше.

Снова поднялся шум, и Ряжский пытался навести порядок – поднимая руки вверх, кричал, но его голоса не было слышно, и он, напрягая глотку, заговорил; шум стал стихать.

– А знаете, в предложении шахтера есть рациональное зерно. Давайте признаем оба правительства и пошлем им обоим телеграммы?

Петр напряженно думал: «А ведь шахтер не говорил о признании обоих правительств, Ряжский это выдумывает от себя, перевирает слова выступающего», но продолжал слушать:

– Кто сейчас больше стоит за советскую власть? Большие

города. Им действительно тяжело приходится. А в маленьких, как у нас, где рядом крестьяне, мы переживем трудные времена. Будем продавать селу уголь – вот и будут деньги, и хлеб. Вы ж, шахтеры, все из крестьян, с ними договоритесь. Нам нечего бастовать, это удел рабочих заводов – им действительно тяжело, и они все хотят переустроить. А мы должны стоять за шахту, за нашу деревню, за себя. Тогда с нами будут считаться все власти, а мы, – как сказал предыдущий товарищ, – посмотрим кого и какую власть выбрать.

Но уже встал Филимоненко и пытался перекричать толпу, которую обманывали, но Ряжский, видя это, заключил:

– Так признаем оба правительства?! И пошлем телеграммы им обоим!

Наконец Филимоненко, используя небольшое затишье в зале, напрягая вздувшиеся жилы на шее, начал говорить грубо и резко.

– Вы, сукины дети, знаете же, что почти везде советская, ваша власть. Где нет – она вот-вот установится. А вы, как свиньи, вспоминаете корыто с пойлом, и какой хозяин туда больше дерьма налил! Снова хотите хозяина занять? Тогда я вам ярмо принесу! Вы никогда, сволочи, не поддерживали забастовки рабочих в городах, все трусливо пережидали, когда вам просто, без труда, подсыпят дранки в кормушку. Вот вы как жили, подземные холопы! И сейчас ими остаться хотите! Чья власть лучше? Как будто сами не видите! Да, советская власть опирается на народ, а рада – на иноземных

солдат. А солдаты – это еще не народ, а служивый люд. Как одели – все равно, что приказали – правильно. Но мы ж с вами понимающие, и не должны позволить обмануть нас. Поэтому только за советскую власть и никакую больше, – она ж ваша кровная, а не националистическая! Поэтому давайте пошлем телеграмму в Питер и больше никуда. Заявим, чтоб Питер видел – мы с ним!

Не успел Филимоненко закрыть рот, как начал говорить Рязский. Наклонив голову и как бы приблизившись к залу, он негромко, но со значением произнес:

– Слышали большевика? Не успел власть установить, а уже оскорбляет вас... а что будет дальше! Он и сам не знает. Говорит, что-то надо делать. А мы предлагаем вам конкретно: как жить, чтобы не умереть с голоду. Ему, видите, жалко рабочих заводов, – вот они революционеры, мол, а мы нет. Потому они революционеры, что у них ничего нет. А у нас как? Закроют шахту, вернемся в деревню и переживем потихоньку все смутные времена. Действительно, не надо нам бежать сломя голову, надо осмотреться, и поэтому я предлагаю признать и советское, и украинское правительство, – хоть оно и несерьезное, но может нам поможет. Текст телеграммы у меня имеется, он почти одинаков. Я читаю.

Рязский торопливо, пока публика не опомнилась, стал быстро зачитывать телеграмму, где говорилось о признании новой власти и выдвигались требования, сводящиеся в основном к улучшению снабжения горняков. Рязский закон-

чил читать и сказал:

– Точно такая же телеграмма другому правительству, – какому не уточнил. – Только адрес и обращение разное. Принимаем?

Зал загудел, как огонь в топке паровоза, с резкими взлетами, напоминающим выпускание пара из раскаленного котла, – так показалось Петру. Выкрики, вопли, кряхтение слились в единый гул, в котором едва различались отдельные, словно идущие из глубины колодца, неосмысленные до конца фразы и слова.

– Даешь советскую власть!

– Эсеров и меньшевиков в правительство!

– Долой буржуев!

– Шахтерам особые права!

– Ганьба!

Кому позор не уточнялось, как и все остальное. Господствовала толпа, готовая пойти за кем угодно и делать все, что ей прикажут, повинуюсь первобытному инстинкту уничтожать все, что попадет на пути. Петру стало даже немного страшно. Душный зал был пропитан эфиром всеобщего неподчинения, густо замешанным на терпком человеческом поте и смраде никотинового дыма. Казалось, еще немного – и толпа начнет разносить здание и самое себя. Со стороны президиума неслись крики.

– Принимаем телеграммы?!

– Да!

– Нет!

– Ура!

– Не надо телеграмм!

– ...у-у-уйня все!

Председательствующий поднимал руки вверх и старался перекрыть зал.

– Я вижу – большинство за принятие телеграммы! Голосуем!

– А-а-а! – раздалось нечленораздельное в ответ, и вверх взметнулись грязные, ничего не понимающие в этом хаосе, руки.

– Нет!!! – стоял отчаянный вопль. – Обманули! Гады!

Ряжский удовлетворенно улыбался.

– Тогда, товарищи, расходись по рабочим местам. Собрание закончено, но своим товарищам, кто здесь не был, расскажите о нашем решении. Собрание закрыто! На работу!

Шахтеры стали выходить, кто улыбаясь, кто явно недовольный, но все озадаченные. Какой вопрос решался? Что приняли? Зачем собирались? Но, вздохнув, понимали – они исполнили свой и еще чей-то долг. Петр слышал, как Филимоненко говорил кому-то.

– Видишь? Шахтеров ничем не проймешь. Только то, что их касается, а судьба революции – сучке под хвост! Только мне, мне, мне... и эти... – он кивнул в сторону меньшевика и эсера, – как сумели зал настроить и всех облапошить, что никто не разобрался, что к чему. Заигрывают с каждой вла-

стью на всякий случай. Но и выйдет же им все это боком, ох и выйдет!

Он чуть ли не скрежетал зубами. Петр в конце концов отыскал диспетчера, и тот распорядился взять уже груженные вагоны. Когда Петр пришел к паровозу, Корчин недовольно спросил:

– Где ты так долго был? Я уже устал поддерживать огонь в топке... угля сколько даром сжег.

Петр сбивчиво рассказал, что происходило в нарядной рудоуправления, на что машинист хмуρο ответил:

– Всегда шахтерам больше надо – хотят на нашем горбу устроить себе жизнь, а самим отсидеться в сторонке. Видимо, нам, работягам, придется и дальше революцию двигать.

Уже стемнело, когда они, взяв вагоны с углем, двинулись в сторону Луганска. Корчин о чем-то думал, казался недовольным и молчал. Может, устал. Петр же никогда не отличался словоохотливостью, – открывал шуровку и подбрасывал уголь в топку. Так подъехали к Луганску. На крутом повороте возле железнодорожных мастерских состав притормозил, и они увидели, как на вагоны с углем стали запрыгивать взрослые и детские фигурки, которые торопливо сбрасывали уголь на железнодорожное полотно и обочину. Корчин высунулся из окошка паровоза, сквозь тьму взгляделся в хвост состава, потом сказал Петру:

– Шахтёрят люди... вот жизнь убогая! Как началась война, так и пошло такое. Сегодня чтось их много. Петро, сбавь

скорость, а то еще попадет кто-нибудь под колеса. Не надо брать греха на свою душу.

Петр сбавил скорость. Поезд медленно шел среди города, который был тих и молчалив. Только кое-где в заводах шла жизнь – в вагранках пробивалось красное пламя, и издалека казалось, что эти сполохи, отбрасывающие огненные тени, являются угольками будущего огромного пожара.

Со вторым братом – Иваном – впервые после возвращения Сергей встретился в середине ноября. Уже начались заморозки, выпадал и сразу же таял небольшой снежок. Грязь то смерзалась в ледяные куски, то снова становилась жижей. Ветки покрылись инеем, и при малейшем колебании осыпали на землю и прохожих острые, холодные иголки. Ветвистый абрикос во дворе гнулся под тяжестью еще небольшого снега. Все отдыхало, только возбужденные люди при встрече расспрашивали друг друга о новостях, будто бы не наблюдали за ними воочию. Но это потому, что каждый хотел убедиться – живется ему трудно, как всем, или хоть немного лучше, чем у знакомого, – и это доставляло маленькую тайную радость – он не в самом еще плохом положении.

Иван за время отсутствия Сергея изменился. Немного постарел, хотя ему не было и тридцати, погрузнел, в движениях появилась спокойная уверенность сытого человека и даже солидность. Но, в то же время, в нем чувствовалась внутренняя напряженность зверя, готового к немедленной борьбе за свое существование, проявляющаяся в мгновенной реакции на внешние изменения. Голубые глаза смотрели прямо и немигающе, и временами казались застывшими. Он был коротко подстрижен, отчего уши казались большими и чересчур оттопыренными. Одет он был просто, но во все доб-

ротное: холстяная белая косоворотка, пиджак из-за борта которого поблескивала белая цепочка карманных часов, черные шерстяные брюки были заправлены в хромовые сапоги. Иван дожидался Сергея у родителей. Отец, придя с работы, наводил порядок в сарае, перекидывая дрова поближе к двери, мать прибиралась по дому и разговаривала с сыном. Сергей пришел поздно, и Иван, изнывавший от безделья и недоброжелательного отношения отца к нему, как к буржую, сразу же шагнул навстречу брату, как только тот переступил порог и не успел снять шинель.

– Братка... – искренне и взволновано произнес Иван и поцеловал Сергея в щеку. Они крепко жали друг другу руки. Братская любовь всегда оставалась в их душе, несмотря на все перипетии судьбы.

Мать расстелила на столе выцветшую скатерть и поставила закуску, состоящую из картошки, селедки, сала и солений, заготовленных летом и осенью. Потом она сбегала к Петру, позвала его, и вскоре три брата сидели за столом вместе с отцом и матерью. Антонина не пришла, сославшись на стирку. Вначале беседа не вязалась, но после выпитой водки, принесенной Иваном, разговор окреп, и в него втягивались все. Мать несколько раз вполголоса говорила:

– Вот бы еще Аркашу сюда, тогда бы все были на месте.

Но Аркадий был далеко, в другом городе, и мать с тихой радостью наблюдала за тремя сыновьями. Сначала Иван попросил Сергея рассказать, где он воевал, что видел и, хотя

последнему надоело рассказывать за эти дни о военной службе, он все же кое-что рассказал. Потом, в свою очередь, спросил, где был Иван и почему долго отсутствовал. Иван сначала неохотно, а потом все более увлекаясь стал рассказывать, где он был в ноябре. По его словам выходило, что он собирался вначале поехать в Москву – продать хлеб, который они закупили здесь, но из-за боев в Москве он туда не доехал, а остановился в Туле. Оптом продать не смог – купцы боялись покупать в связи со сменой власти и действовавшим законом о разверстке хлеба. Раньше еще проходили операции со свободной продажей хлеба, а кто знает, как поведет себя новая власть – может, все реквизирует, не как Временное правительство, которое смотрело на свободную продажу хлеба сквозь пальцы. Пришлось Ивану сильно переволноваться.

– Цены, – рассказывал Иван, – в Туле, конечно же, ниже, чем в Москве. Но я продавал в среднем за пуд по тридцать рублей. Муки у меня было немного, пошла по сорок. А потом остатки отдал оптом купцу из столицы, подешевле. Опасно стало. Красногвардейцы реквизируют продукты у мешочников направо и налево. Вот из-за этого пришлось задержаться. Но что там происходит – аж страшно, а что дальше будет – неизвестно.

– А ты представь, что все будет хорошо, – съязвил отец, который стал недолюбливать сына за то, что он стал торговцем, а не рабочим. – Возьмут рабочие везде власть, и всех буржуев к ногтю. И тебя с тестем в том числе. Хватит вам

грабить и мытарить народ. В войну ваша братия много попила крови у народа.

– Папа, ты не злился на меня и тестя, – ответил Иван. – Какие мы буржуи? Вон, Каретников и Шуйский – действительно буржуи. Разве мы буржуи, если вкальваем больше, чем рабочий на заводе. Да я и говорил, что сейчас опасно ездить и торговать хлебом – пришьют к стенке комиссары, суда ждать не будут. Хоть мы и дорого берем, но не даем народу с голоду помереть. Вон, при царе был накормлен народ? Нет. А мы хлеб возили и в Иваново, и в Москву – и торговали им. А то было, как в конце прошлого года. Какие-то враги России загоняли под Петроградом и Москвой вагоны с хлебом в тупик, – народ голодает, а хлеб и мясо пропадают. Кто-то устроил великий голодный заговор для России, чтобы скинуть царя и сделать революцию. Мы, торговцы хлебом, это видели. Это делали на самом верху. Так вот, в то время мы спасли народ от голода тем, что понемногу провозили хлеб в столицы, хотя нам запрещали это делать. А при Временном правительстве, с его хлебной монополией, кто-то греб деньги лопатами на повышении твердых цен. И сейчас выжидают, когда цены поднимутся, зажимают хлеб, а люди с голодудохнут. Мы с тестем мелкая сошка в этом деле – себе немного и людям добро. Не устраивали бы голода, кто хотел царя скинуть, не пришли бы большевики к власти. Сами не удержались на троне из-за жадности и привели чужих к власти.

Но Федор остался недоволен рассуждениями сына:

– Это ты вместе с ними, о ком рассказываешь, пил народную кровь. Рабочая власть скоро найдет на вас управу. Так, Петя, так, Сережа?

Петр молча утвердительно кивнул, Сергей раздумывал над словами брата, а потом сказал.

– Ты знаешь, Иван, хоть ты и утверждаешь, что делаешь людям добро, но эти добро омыто слезами этих людей. То, что делают сейчас мешочники – неправильно, и ты сам слышал, как вашего брата ругают, но пока не благодарят. Вот, если бы всем дать равное количество хлеба, тогда бы не было ни зла, ни слез народа. Но пока мы этого сделать не можем, но скоро...

Неожиданно вступил в разговор Петр.

– Вот это ты правильно говоришь, Сережа. Никто не должен иметь больше, все должны получать одинаково. Я вот недавно был на собрании и видел, как шахтеры хотят урвать себе больше, выгадать на нашей шкуре. Им больше давай, а то они остановят заводы и паровозы – не дадут угля. У них же труд тяжелее нашего. Может не получится всем поровну.

Петр смущенно замолчал от такой длинной для него речи. Федор, поддержанный двумя сыновьями, в ответ похвалил их:

– Правильно говорите, детки. Надоело на своем горбу возить всяких баров, пора и самим братья за вожжи и погонять их.

Но Иван с этим был не согласен и возразил:

– Вот вы так говорите, как будто жизнь прямая, как линейка, без углов и поворотов. Но кто произведет столько хлеба? Если всем давать равно, человек облениться и вообще не станет работать. Рабочие дадут свои товары крестьянам – а как? Им нужен посредник. Вот я им и буду при Советской власти. От этого никуда не денешься... жизнь она такая, что все люди, как шестеренки, двигаются от одного мотора. И каждой, даже маленькой шестереночке, отведено свое место.

Сергей думал: «Снова я не знаю, как будет дальше при рабочей власти. Вроде, Ваня, и прав. Надо что-то почитать... может, Маркса? Говорят, он все это описал давным-давно – как и что будет». И ответил Ивану:

– В новом обществе не будет людей-шестеренок и посредников. Из рабочих и крестьян будут созданы комиссии, и они-то и договорятся, что к чему. Все будет делать сам народ, – подчеркнул Сергей.

Петр, внимательно прислушивавшиеся к разговору, сказал:

– Вот недавно слушал анархиста – он как раз об этом говорил, что будут созданы трудовые организации и они сами будут решать, кому продавать свой товар, и станут рабочие хозяевами. А раз будут созданы рабочие союзы, то не надо государства, – говорят анархисты. Действительно, зачем оно нужно, если рабочие сами собой будут управлять? Вот я, например, знаю свой паровоз до последнего винтика, и мне не нужно указывать, что ремонтировать и когда. Бригада сама

знает. Поэтому нам не надо буржуев для руководства. А ты, Иван, все-таки стал буржуем, хотя и не хочешь признавать этого, – неожиданно заключил он.

Иван обиделся, и это было видно по его надутым губам, но глаза напряглись и стали холодными, – он готовился дать ответ. Сергей же думал: «О чем рассказывает Петр, о каких анархистах? Я тоже так думаю. Но я ж большевик, не анархист! Не хватает мне грамоты, учиться надо...»

А Иван ответил:

– Вот и договорились – я буржуй. Да я ж сказал, что работаю, как вол! Да и нынче стало больше опасностей в нашей работе. Поэтому если вы – заводские рабочие, то я – торговый рабочий, и не надо мне такое, что сейчас Петр сказал, говорить.

Сергей, покачав головой произнес:

– Нет... ты уже не рабочий – ты мелкий буржуй. Пока у тебя мысли близки к рабочим, но в тоже время уже не рабочие. Ты и сам видишь, но упрямисься признать. Но ты наш брат, и давай не будем спорить на эту тему, – заключил он.

Тут и мать вмешалась:

– Хватит спорить. А то родные братья – и еще поссоритесь. А ты, старый, – накинулась она на Федора, – вместо того, чтобы перевести разговор, масла в огонь подливаешь. Сам не смог выбиться в люди, так не мешай сыновьям!

– А я не хотел выбиваться в люди! – захорохорился отец. – Если бы я стал буржуем, мне было бы стыдно жить на свете.

Это твоя крестьянская душа не успокоится никак, что ты не хозяйка имения.

– Да ты и был никчемным, только работа да питье для тебя главное дело. Таким и на старости лет остался, – ответствовала мать.

Федор не мог снести публичного оскорбления, хотя и семейного:

– Замолчи! – пьяно закричал он. – А то я тебе...

Но что он хотел дальше сказать не сказал, только посмотрел на сыновей, которые молча улыбались, глядя на них, как три глыбы их семейного торжества. Федор замолчал и произнес совершенно другое:

– Давайте еще по одной выпьем, – и стал разливать водку.

– Вот, что ты и умеешь делать, – не унималась мать. – И детей этому учишь.

Отец снова исподлобья посмотрел на мать, а сыновья расхохотались. Раньше отец мог и ударить Анну, а сейчас, в присутствии взрослых сыновей, чувствовалась смешная неуместность угроз в ее адрес, а это придавало матери уверенность в разговоре с пьяным мужем. В конце концов Федор тоже стал смеяться, отчего огонек в лампе заколебался в разные стороны. Анна уже спокойно, но все же ворчливо сказала:

– Допивайте уже, и надо-ть отдыхать.

После этой сцены разговор пошел действительно братски-доверительный. Иван рассказал о своей дочери, что ску-

чает о ней в частых поездках. О жене и тесте ничего не говорил и стал избегать разговора о своих делах. Пригласил в гости всех, особенно Сергея. Тот пообещал зайти к нему, но так и не зашел. Потом Сергей пошел провожать брата домой и по дороге продолжали разговор. Иван признался, что такого переворота, который произошел в октябре, никто не ожидал, что торговые люди ждут, куда пойдет новая власть, но если у них будут забирать нажитое, то они возьмутся за оружие, – а их в России много, и может развязаться кровавая война. На что Сергей ответил:

– Иван, можешь не сомневаться – все отберем у богатеев, так как наша власть рабоче-крестьянская. Нас во много раз больше, чем капиталистов. Поэтому, сам понимаешь, война будет не в их пользу.

Так шли и рассуждали братья, уже находившиеся по разные стороны классовых баррикад, но пока каждый из них просто не представлял, что все это может случиться в действительности и они вполне возможно станут врагами. А пока – это были родные братья.

– А ты, Сережа, какую должность занимаешь?

– Мы формируем сейчас Луганский социалистический отряд из рабочих и солдат. Мне пока поручено подготовить пулеметное отделение и обучить рабочих пользоваться пулеметом.

– Ну и получается у них?

– Да. Правда, желания больше, чем умения, но научатся.

Молодежь же идет. А она быстро все схватывает.

– Да, ты тоже молодой. Раз ты уже небольшой начальник, то защищай семью. Время сейчас сложное и неизвестно, когда наступит спокойствие.

– Скоро будет спокойно, – уверил его Сергей. – Вот только укрепим власть, так и заживем мирно.

Ошибался в своих расчетах Сергей. За укрепление и победу этой власти пришлось ему долго бороться, и кровь пролить. Возле Преображенской церкви братья расстались. Иван запротестовал, чтобы брат провожал его дальше, если только он немедленно не зайдет к нему в гости. Сергей, в свою очередь, спешил к Полине. Расстались доброжелательно, по-братски.

Подойдя к дому, Сергей увидел, что в окнах темно, лампа потушена. Петр, конечно же, ушел на свою половину. Потоптавшись немного перед своим домом, Сергей пошел в дом напротив, – ему не хотелось встречаться с матерью, которая не одобряла его встреч с Полиной и считала, что молодой и красивый парень должен найти себе хорошую, красивую, а главное – порядочную девку, а не такую, как Полина. Сергею было стыдно перед матерью. Но ничего не мог поделать с собой, и уже с полмесяца специально приходил домой поздно и, чтобы не тревожить домашних, – как он объяснял, – ночевал у Полины. Часть своего продовольственного пайка и денег отдал Полине, не сказав этого матери. Полина вначале отказывалась, но потом согласилась взять для детей. Сергей

осторожно открыл дверь в домик, навстречу бесшумно вышла Полина и, обняв его, поцеловала.

– Ужинать будешь? – спросила она, зажигая масляную коптилку.

– Я уже поел.

– А я видела, что пришел Иван, и догадалась, что у вас будет ужин.

При свете коптилки в старом, штопанном-перештопанном платье, полноватая, с раскинувшимися по плечам густыми темными волосами она выглядела красивой и какой-то домашней. Ее большие, серые глаза с тревогой следили за Сергеем, как бы убеждаясь, что он снова здесь, пришел, не бросил ее еще, не нашел себе другой девахи. Встречаясь с Сергеем, она как бы расцвела заново, следила за собой, за лицом и телом – все же не простой солдат, пришедший переночевать, а свой, постоянный. Но в ее взгляде была непрестанная тревога, что когда-нибудь Сергей не придет к ней, а найдет другую – молодую и красивую. И она внутренне была к этому готова, понимая, что с двумя детьми, да с такой репутацией, – о чем несомненно рассказала Сергею мать, – ей не выдержать соперничества с молодой девушкой.

В свою очередь Сергей привык к ней. Свободного времени у него было мало, сильно уставал от постоянных дежурств и патрулирования, и он был рад забыться в объятиях Полины. Он испытывал к ней достаточно нежные чувства, и она была необходима ему, как что-то обычное в жизни. И сейчас

он ей сказал просто:

– Давай, Поля, спать, устал я сегодня страшно.

– Хорошо. Раздевайся и иди спи.

Сергей снял шинель, сапоги, размотал портянки. На лавке, как когда-то в казарме, аккуратно сложил гимнастерку и брюки, и в кальсонах и нательной рубашке бухнулся в постель. Полина, прибрав на кухне, затушив фитиль коптилки, легкой тенью легла рядом. Сергей лежал молча и не шевелился. Полина старалась бесшумно дышать. Потом, протянув мягкую руку, обняла его поперек груди и прижалась всем телом. Сергей почувствовал ее горячие большие груди, мягкий жаркий живот и обнял ее. Словно ожидая этого нежного ответа, Полина приподнялась и стала его целовать – губы, лицо, грудь... осторожно, чтобы не мешать ей, Сергей тоже поцеловал ее в грудь. Полина хрупко, почти неслышно застыла и медленными ласковыми движениями стала гладить его спину, задерживая кончики пальцев на бугорке его раны. Ему были приятны эти мягкие прикосновения, снимающие онемелость кусочка тела вокруг раны, он надолго и накрепко прижался к ее губам...

Во второй половине ноября обстановка в Донбассе обострилась. Киевская рада упорно отказывалась признать советскую власть, а ее устанавливали и провозглашали повсюду, не признавая за власть раду. Положение новой власти в Луганске было достаточно прочным, но и не простым. Вроде бы Луганск самочинным указом рады относился к Украине, а Донское правительство во главе с Калединым считало восточные районы Донбасса своей землей на том основании, что эта территория Дикого Поля отвоевывалась и заселялась русскими людьми, несколько веков здесь жили и несли сторожевую службу донские казаки. Когда здесь стали добывать уголь и строить заводы, то казакам пришлось потесниться и даже слиться с приезжими людьми со всей России. Но все равно казаки считали эту территорию своей, хотя она уже относилась в Екатеринославской губернии. Поэтому казачьи отряды частенько наезжали в городки Донбасса и разгоняли там существующие власти, какими бы они ни были – советскими или украинскими. Луганск испытывал сильное давление и с запада, и с востока. А это заставляло советскую власть маневрировать, чтобы не быть уничтоженной этими внутренними российскими силами, которые, как ни парадоксально, были враждебны друг другу. Одни за единую и неделимую Россию, другие за создание своего собственно-

го, в конечном итоге – национального государства.

Совет Луганска располагался в здании городской думы. Заседания по различным вопросам проходили каждый день: от создания красногвардейских отрядов, до уборки улиц, которые в последнее время стали почему-то менее ухоженными. На одном из таких заседаний Сергей познакомился с Ворошиловым поближе, до этого видел его мельком. Невысокого роста, начинающий полнеть, в зачесанными на косой пробор волосами и с короткой щеточкой жестких рыжеватых усов, Ворошилов, на первый взгляд, не производил впечатление человека, отчаянно боровшегося против царизма, сидевшего в тюрьмах и находившегося в ссылках – боевика большевистской партии. А он был именно таков. Но в последнее время он проявил себя, как умелый политик. Злые языки связывали его перевоплощение с ролью его жены-еврейки, которая как тень находилась рядом с ним и давала ему необходимые, на данный момент и перспективу, советы. Когда Ворошилов начинал говорить, в его словах чувствовалась жесткая логика, умение держать аудиторию во внимательном напряжении. Но Сергей не мог отделаться от чувства, что Клим говорит как-то боязливо, с оглядкой, стараясь в случае непредвиденных обстоятельств или неудачи оставить себе путь отступления или, в крайнем случае, двойного толкования своих слов. Доклад читал он энергично, отвлекаясь от текста, взмахивая часто правой рукой и изредка приглаживая свои и без того гладко зачесанные волосы.

Обрисовав сложную обстановку в стране, Ворошилов подчеркнул, что сейчас вопрос стоит ребром – кто кого и поэтому, чтобы не допустить расправы над революционными рабочими со стороны казаков, необходимо еще более увеличить количество красных отрядов, привлечь в них рабочих, и за службу в нерабочее время выдавать им дополнительный паек. «Только так можно защитить советскую власть, иначе гибель, особенно старых революционеров, неизбежна», – подчеркнул он. В отношении Центральной рады он высказался определенно – это не власть; и Донбасс – часть России, а также предложил рассмотреть на одной из конференций рабочих советов, которая вскоре должна состояться в Харькове, вопрос о создании Донецко-Криворожской республики.

– Но, – подчеркнул он, – надо по этому поводу посоветоваться с вышестоящими товарищами.

Его последние слова вызвали недоумение, и командир первого социалистического отряда Пархоменко прямо спросил:

– Клим, но прежде, чем посылать своих делегатов в Харьков, надо им дать конкретную инструкцию, как голосовать по всем вопросам. Это же наше дело – создание республики, а не вышестоящих товарищей.

Ворошилов уклончиво ответил:

– Сейчас в Харькове собирается руководство нашей партии, оно предложит нужные решения, и наши представите-

ли их поддержат. Сейчас необходима железная дисциплина в партии, без нее нам не победить.

После выступали другие и общий мотив был такой – Луганск должен остаться под властью советов, и город нельзя отдавать ни казакам, ни раде. Кто владеет Луганском – тот контролирует весь Юг России. Было решено построить несколько укрепленных пунктов на окраинах города, а паровозостроительный завод Гартмана срочно выпустит несколько бронепоездов. Патронный завод обеспечит боеприпасами в первую очередь своих красногвардейцев. Эти предложения были приняты, и Ворошилов попросил всех присутствующих, у которых нет срочных дел в совете, разойтись по боевым местам. Это он подчеркнул дважды, а у кого неотложные дела к совету – пусть обращаются немедленно. Нахимский сказал Сергею, чтобы он остался и присутствовал при дальнейшем разговоре. Они зашли в кабинет к Ворошилову, который он занимал вместо бывшего головы городской думы. Вся обстановка осталась от прошлого хозяина – тяжелый, покрытый зеленым сукном стол, рядом – два полированных стола для посетителей, вдоль стен шкафы и стулья, а в углу двухметровой высоты напольные часы с боем. Нахимский сразу же задал Климу, сидящему за главным столом, вопрос. Тот уже обжил кабинет, умело пользовался ручками, карандашами, чернильницей и пресс-папье, лежащими на столе.

– Клим, – обратился к нему Нахимский. Но Ворошилов

пока его не слушал, раздавая поручения командирам отрядов, уполномоченным совета. В первое время новой власти это допускалось руководителями, – они были в гуще масс, в центре событий. Наконец он повернул голову к Нахимскому.

– Извини, Абрам Семенович, что на тебя сразу не стал обращать внимание. А то знаю – как ты придешь, так буду заниматься твоими делами, а остальным придется ждать. Что ты хочешь?

– Вот, вначале, Клим, хочу представить тебе командира нашей пулеметной команды – Артемова.

– Рад познакомиться, – он протянул руку Сергею, которую тот пожал, с удивлением ощутив, что ладонь Ворошилова небольшая и мягкая, – не как у бывшего слесаря, а как у интеллигента. – Будем знакомы. Я уже слышал, что на патронном пулеметы готовы к бою. Молодцы у тебя ребята, Абрам. Фронтовик?

– Да.

– Большевик?

– Да.

– С какого года?

– С шестнадцатого.

– Молодец! – похвалил Ворошилов. – Нам такие, как ты, ох, как нужны. Не хватает преданных людей, иногда приходится опираться на разную шваль. Но это временно, временно...

Нахимский перешел к делу:

– Клим, мы хотим поставить пулеметы на окраине города, при дороге на Острую Могилу. Как ты смотришь? Там прямая дорога на Дон.

– А где мы возьмем людей для дежурств?

– Вот, Артемов подготовил команду неплохих ребят.

– Сколько у тебя человек?

– Четырнадцать, – четко по-военному ответил Сергей.

– А пулеметов? – Ворошилову понравился такой ответ Сергея.

– Два. Если бы вы помогли еще пару достать, то была бы полная команда.

Ворошилов насупился:

– Ты почему меня называешь на «вы»? Я что, чиновник какой-то? Я тебе товарищ, и ты мне товарищ, так давай на «ты» друг с другом. Пора кончать с унижением самих себя. У нас равенство и чиновников нет. Понял?

– Понял, товарищ Клим. Буду на «ты»! – и Сергей улыбнулся.

– Пулеметы давай там поставим, не ровен час могут казачки нагрянуть. Действуй, Нахимский. А пару пулеметов для вас попрошу у саперного полка. Может, дадут.

В кабинет из двери, которая вела во внутреннюю комнату для отдыха, вошла невысокая черноволосая женщина в красивой цветастой блузке и, поздоровавшись с Нахимским и Сергеем, мягко обратилась к Ворошилову:

– Климущка, пора кофе пить, а то я уже столько времени

жду, когда ты освободишься, а у тебя все посетители и посетители...

Она мягко улыбнулась Ворошилову, и он в ответ расцвел улыбкой.

– Сейчас, Катюша, подожди немного, – ответил ей мягко Клим.

– Гита, – усмехаясь, обратился к ней Нахимский, видимо, знавший ее давно. – Ты так и хочешь, чтобы у тебя муж был похож на настоящего руководителя. И в ссылке ты его учила культурным манерам, и сейчас. Вижу, получается у тебя. Обтесываешь мужика в аристократа. Извини меня за эти слова, Клим.

– Получится, Абрам, он податливый и хороший ученик, – она засмеялась и что-то сказала Нахимскому на другом языке. Тот, улыбаясь ей, ответил также не по-русски, на что Ворошилов прореагировал:

– Не обсуждайте меня на непонятном мне языке! А то обижусь.

Женщина снова засмеялась и предложила пройти всем в другую комнату, выпить кофе. Но Нахимский и Сергей отказались. Ворошилов попросил Нахимского.

– Абрам Семеныч, я тебя попрошу – сходи в продуправу и разберись с ихним председателем Осадчим...

– Их, – мягко поправила Ворошилова жена и снисходительно улыбнулась.

– Извини, – виновато произнес Ворошилов. – Иногда за-

бываю, как правильно говорить, – и, обратившись к Нахимскому, с деланно-сокрушенным видом добавил: – Всё учит и учит, откуда у нее такое терпение? Так вот, сходи в управу и разберись с Осадчим. Он там разгоняет своих работников, а в городе и так трудности с хлебом, а секция в совете по продовольствию пока толком не работает, – все не знает, с какого края подступиться. Потолкуй там и прими меры, какие считаешь нужными, от моего имени. Прихвати из нашей продсекции толкового товарища, пусть его там поучат делу, чтоб потом он мог руководить продовольствием. Ну, до свидания. Заходите, всегда буду рад. Катя! – обратился он к жене. – А сейчас пойдем пить кофе, только ненадолго.

Они вышли из кабинета Ворошилова и нашли комнату, – на дверях висел листок, на котором было написано «Продсекция». Один из работников согласился идти с ними в продовольственную управу. По дороге Сергей спросил Нахимского.

– Абрам Семенович, а кто это был в кабинете Ворошилова?

– Его жена, Гитель Давыдовна.

– А почему он ее Катей называл?

– Ее так в ссылке все называли, и Клим привык к этому имени. Она перешла в православие и взяла это имя. Знай, за это ее проклинали родители. Сам понимаешь, к еврейским именам относятся недоброжелательно. Поэтому многие евреи в повседневной жизни пользуются славянскими

именами.

– Ты знаешь еврейский язык. Ты еврей? – напрямую спросил Сергей.

– Да, я еврей... или попросту – жид.

Сергей сконфузился:

– Я так не говорю.

– Я понял. В Донбассе народ терпим к евреям, да к другим национальностям. Луганск входит в черту оседлости евреев... не так, как в других районах. Там к нам относятся плохо. Слышал об еврейских погромах?

– Слышал, да и видел евреев-беженцев из Галиции. Рассказывали о еврейских погромах там. Да и по дороге их грабили свои беженцы – галицийцы. Они к ним жутко плохо относятся, ненавидят до глубины души. Я раз вступился за еврейскую семью, не позволил галицийцам отобрать последние горшки,

– Спасибо, Сережа. Ты добрый по натуре человек. Спасибо тебе от того незнакомого еврея. Вот поэтому приходится в обиходе пользоваться другими именами. Я ведь тоже не Нахимский.

– А кто?

– Как-нибудь узнаешь.

– Абрам Семеныч, ответь мне честно на вопрос: почему евреев не любят во всем мире?

– Это очень сложный вопрос. Кто-то объясняет наши успехи пронырливостью – это у нас есть. Жизнь предъявила

нам жесткие условия, поэтому у нас развита взаимовыручка, поодиночке погибнем. Мы трудолюбивы, от нас этого не отнимешь. Скупы – копим по копейке, чтобы выбиться из нужды и открыть собственное дело. Было бы хорошо, если бы нас только за это не любили и ругали... но вы, простой народ, не знаете, что нас, прежде всего, не любят правители. Вы позлитесь на нас и отойдете, а верхушка нас унижает постоянно и целенаправленно. Дело в том, что мы подбросили всему миру христианскую религию с ее жесткими требованиями: не убий, не укради, будь честен... а сами мы от этой религии отказались. Вот и представь – рабочий и крестьянин живет по законам христианства. Хотя справедливости ради надо отметить, что славяне никогда искренне и фанатично не верили в Бога, почему и сохранили чистоту души и свежесть чувств. От этого вы тоже страдаете. Были, конечно же, и фанатики. Но народ принял эту религию и хочет, чтобы все, в том числе и богатые, также выполняли заповеди Христа. А могут они выполнить? Конечно, нет. Стремление к деньгам и христианская мораль несовместимы. Когда много соблазнов – здесь не до заповедей. Правители на виду, и их эти постулаты сдерживают. Вот поэтому правители всех стран, какими бы добропорядочными ни были, ненавидят евреев, которые выдуманной ими христианской религией спутали их по рукам и ногам в большой степени, чем что быто ни было еще. Они хотят полной свободы, без всяких ограничений. И когда видят, что евреи их обошли, то начинают ругать и из-

бивать нашу бедную нацию. И там, где религия крепче держит народ в своих объятиях, там и сильнее ненависть к евреям. Вот ты говоришь – галицийцы к нам плохо относятся. Так им католики так голову задурили. Стоит сказать «Евреи распяли нашего Христа», они готовы не только евреев, но и всех повыврезать. Не глядя на нацию. Есть вера – а есть фанатизм. К сожалению, в народ правители вбрасывают не веру, а фанатизм. Это им нужно, чтобы удобнее было управлять народом. Грамотным народом сложнее управлять. Поэтому надо все время оглуплять основную массу населения. А правды правители боятся пуще огня.

– Но и богатые тоже верят в Бога, и ходят молятся, как и все.

– Сережа, милый мой человек, тебе просто не хватает знаний. Вот закончим революцию, и пойдешь учиться. Тогда тебе многое станет яснее. Богатому все равно, кому молиться – Христу, Аллаху, Будде или стать язычником, лишь бы пить человеческую кровь полным ртом, лишь бы его деньги не отобрали. Независимо от убеждений – атеист, даже большевик, заимевший большой пост, а значит – и деньги, встанет на этот путь. Правда, частью денег он поделится с народом. Но выпьет крови он больше, чем даст. Вот поэтому я ненавижу богатство. Оно приводит человека в нечеловеческую сущность. И для них, не бедняков, нужна революция, чтобы привести их в чувство. А для нас, бедняков – революция есть глоток воздуха, когда мы можем почувствовать

себя равными. Но это иллюзия – все вернется на круги своя, и богатый будет править, а бедный снова мечтать о лучшей жизни. Такова эволюция жизни. И ее будут все время сопровождать революции как стимул развития человечества, ибо если не будет революций – мир превратится в бессловесных рыб... в лучшем случае, а то и в червей.

– Но революция уничтожит богатых и евреи останутся торговать?

– Это ты тонко заметил. Но представь, мой отец имел, да и сейчас имеет небольшую меховую мастерскую...

– Так ты из буржуев?

– Какие там буржуи, Сережа! Жили – никогда до живота не наедались, а семья-то большая – одних детей шестеро душ... а рядом бабки, деды, тетки и дяди – и всех их надо кормить. А отринуть их нельзя, кодекс еврейской общины это запрещает. И я с детства сидел в душевой камерке и чистил шкурки, и расчесывал облезлый мех. Так я с детства возненавидел окружающий мир, хоть он нравился моим братьям. Видишь, какой я худой и малый, – и это оттого, что все детство вдыхал запах и пух мертвых пушных зверьков. Я это возненавидел, и захотел дышать чистым воздухом и пить если не кровь животных, то выпить кровь тех, кто мешал мне в детстве жить достойно. В основе нашей революции лежат, если хочешь, Сергей, знать, христианские, а точнее – иудейские постулаты. Мы ваш народ взяли оружием воплощения наших идей – равенства, братства, любви и красоты. Поэто-

му нас так много в этой революции. Мы хотим воплотить эти идеи на русской земле. А потом, когда я получил свидетельство на собственное жительство, бросил все – милую патриархальную еврейскую семью, мать, отца, братьев, сестер. Я хотел учиться, но меня арестовали. Тюрма, сырость, блохи, клопы, а потом ссылка и голод, – все было. Поэтому я против той жизни, в которой жил, я не хочу ломаться перед другими, которые меня унижали, пусть теперь они ломаются передо мной. Может, я погибну в этой борьбе, но я заставил себя уважать всех – от царя до рабочего. И я жалею, что революция произошла только в России, а не во всем мире. Что, Сережа, задумался? Думай, это полезно. Вот мы и пришли.

Они вошли в дверь продуправы и прошли в приемную. Секретарь хотел их остановить, но Нахимский с каменным лицом отворил дверь, и они оказались в кабинете. За столом сидел председатель продовольственной управы – Осадчий, мужчина лет сорока пяти, худощавый, с резко выделяющимися вперед скулами и густыми бровями, нависшими над глубоко сидящими глазами. Вначале он начальнически-удивленно посмотрел на вошедших и хотел что-то сказать, но Нахимский опередил его:

– Мы из совета. По распоряжению Ворошилова. У нас чрезвычайные права. Разъясните, почему в городе перебои с хлебом?

Он жестко буравил черными глазами председателя. Тот снисходительным жестом руки пригласил их сесть:

– А что, совет не знает, почему в городе плохо с продуктами? – задал Осадчий встречный вопрос.

Но Нахимский молчал, уставившись на него тяжелым взглядом. Выдержав паузу, Осадчий начал говорить, поняв, что первым отвечать придется ему.

– Уважаемые товарищи, – издевательски обратился он к ним, – видите ли...

Но дальше он продолжать не смог. Нахимский его резко перебил:

– Если ты будешь объяснять так, я тебя здесь и прикончу, – сделав паузу, продолжил зловещим тихим голосом: – Если ты сейчас не объяснишь по-людски, чем ты здесь занимаешься, почему допустил голод, я тебя как контру отправлю в тюрьму... или порешу здесь... на месте. У меня чрезвычайные права. Понял?..

Сергей стал вынимать револьвер из кобуры. Это получилось как-то непроизвольно, как реакция на слова Нахимского. Кровь мутной жидкостью хлынула ему в голову. Он находился до сих пор под впечатлением разговора с Нахимским и произнес:

– Давай, рассказывай быстрее, как ты довел людей до такого состояния?

Все получилось настолько неожиданно, что даже Нахимский удивленно взглянул на Сергея и поощрительно улыбнулся ему. Осадчий сразу же испугался, впалые виски его повлажнили, трясущимися руками он одел очки и, взяв со

стола бумаги, немного заикаясь, начал говорить. Спесь слетела с него мгновенно.

– Вот, товарищи, видите – поступление продуктов в город. Я ничего не хотел скрывать, и вы меня неправильно поняли. В октябре получено муки только пять с половиной тысяч пудов, а городу нужно восемь тысяч. Вы еще раз меня извините, я только хотел вам все объяснить... в ноябре, пока получили две тысячи пудов. Вот, смотрите, мы ничего не скрываем! – он угодливо поднес книгу с записями под глаза Нахимскому, враждебно взглянув на Сергея.

Они стали смотреть на листы, разграфленные на мелкие клеточки, с цифрами. Сергей ничего не мог понять в записях. Нахимский вроде смотрел понимающе, листая страницы.

– Так, это книга прихода продуктов, а где расхода?

Осадчий подал ему еще несколько более толстых книг. Нахимский не стал их смотреть, понимая, что для изучения их потребуется много времени. Осадчий, не раскрывая, положил их снова на свое место.

– Вот, товарищи, я вам честно показал и рассказал, как снабжается город. Не обессудьте, если что-то не так.

После показа книг председатель почувствовал себя уверенней и спокойней. Он понимал, что разобраться с бухгалтерскими данными этим товарищам из совета не под силу.

– Нет, ты еще не все сказал, – проговорил Нахимский, и от этих слов Осадчий снова сник. Было заметно, как ему непри-

ятно, когда к нему обращались на «ты». – На какую мельницу отправляете зерно на помол?

У Осадчего забегали глаза в предчувствии неприятностей:

– К Раскину... – он выжидательно посмотрел на Нахимского. Но тот вел себя уверенно, будто бы всю жизнь занимался продовольственным делом и знал все его тонкости.

– Потом куда Раскин отправляет хлеб?

Осадчий стал перебегать глазами с Нахимского на Сергея, думая, что ответить, потом решил.

– У меня есть приказ Центральной рады из Киева, – он достал бумажку из папки. – Вот. Согласно распоряжения от седьмого ноября сего года, подписанного генеральным секретарем продовольственного дела Ковалевским, мы не подчиняемся Петрограду, а выполняем указы из Киева.

Сергей не выдержал:

– Так вы исполняете приказы контры в нашем городе, где давно установлена советская власть, и который не признает никакой рады?.. Ну и дает! – он обратился он к Нахимскому. – У нас власть советская, а он выполняет контрреволюционные указы.

Нахимский одобрительно кивнул Сергею, довольный своим учеником, но Осадчий, опережая их, стал говорить:

– Товарищи, вы поймите – не знаешь, какие приказы выполнять. Вот бы полюбовно договорились с Киевом...

Но, увидев направленный на него враждебный взгляд На-

химского, исправился:

– Я согласен – в Луганске власть советская, в Киеве украинская, на Дону калединская, и все командуют.

– Говоришь, полюбовно договориться... этого не будет! Мы раду, как продажную бабу, наденем на штык! Вот и вся любовь. А скоро будет везде наша власть. Понял?!

– Понял.

– А теперь скажи, куда отправлял муку Раскин?

– В распоряжение Румынского и Юго-Западного фронтов.

– Прямо туда?

– Нет, к посреднику, в заготовительную контору Гербеля, снабжающего фронты.

– Ясно, – подытожил Нахимский. – Гербель одного с вами цвета, и хлеб до солдат не доходил. Это ты знаешь?

– Не могу знать. Я исполнял приказ. А потом куда хлеб пошел – никто передо мной не отчитывался.

Сергей вмешался в разговор:

– Я зато знаю! Им интенданты торгуют в тылу с буржуями, сплавляют в частные пекарни и магазины. Ворочают деньжищами, а солдатам остаются крохи.

Осадчий кивнул:

– Может быть, и так, но это уже не мое дело. Я выполняю наряды по снабжению фронтов.

– А вот в магазине Редькина и Прагина всегда есть булки, калачи, пирожное... – продолжал Нахимский. – Вы им муку тоже продаете?

– Да, они покупают у нас из общих запасов. Но немного, – осторожно ответил Осадчий. – Им же надо торговать, не закрывать же магазины!

– Им надо торговать, а рабочий этой булки не может купить. Цены кусаются. Вот видишь, Сережа, не дает проку права умереть буржую, по-всякому поддерживает его. Если бы им не давали муки, то и жителям хватило бы.

Осадчий стал возражать:

– Это не совсем так. Вот за этот год созданы в Луганске продовольственные комитеты патронного, гартмановского заводов и другие. Они стали сами себя снабжать хлебом, и они выхватывают из-под носа у нас зерно. Вы не верите? У нас мануфактуры для обмена мало, а у них есть железо, – делают крестьянский инвентарь и меняют. У них крестьянин берет товары, а у нас их нет. На деньги деревня плюет, не ценит их. Раньше в имениях можно было купить, а сейчас их пограбили крестьяне, а сами продавать не хотят. Поэтому совету надо продкомитеты все объединить и наладить общее дело, чтобы каждый не тянул на себя одеяло, точнее – хлеб.

– Вот так и сделаем, – ответил Нахимский. – А сейчас марш отсюда, контра недобитая и чтобы твоего духу здесь не было!

У Осадчего удивленно поднялись вверх брови, видимо, он не ожидал такой концовки разговора. Нахимский немного смягчился:

– Ладно, не сейчас. Сдашь все дела нашему товарищу, ко-

торый ждет в приемной. Он проверит записи и решим попозже, что с тобой делать.

– Как же это! Я подчиняюсь Киеву! Я пошлю туда телеграмму!

– Посылай куда хочешь, но с сегодняшнего дня – за свой счет.

– Понимаешь, – удовлетворенно говорил Нахимский как человек, выполнивший задание, – скоро мы всех твоих дружков прижмем. Вот пройдем по складам, магазинам – все возьмем на учет. Кстати, у тебя нет родственников, которые торгуют хлебом?..

Осадчий утвердительно кивнул.

– Кто? Браиловский?

– Нет.

– Крапивников?

– Нет.

– Хаимов?

– Да... он мой тесть.

– Передай тестю, – благодушно сказал Нахимский, – что мы к нему явимся в первую очередь и тряхнем его амбары хорошенько. Видишь, Сережа, я как чувствовал, что у него кто-то из родни торгует хлебом. Эти люди всегда своего поставят на нужную им должность. Как товарищ примет все дела, явишься ко мне в совет, я с тобой еще поговорю о том, куда хлеб разбазарил. Мы пошли, а тебя жду.

Осадчий проводил их до двери, – видимо, зауважал силу,

повторяя на ходу:

– Буду рад сдать это проклятое место. Буду рад.

Они вышли на улицу.

– Понял, Сережа, как надо делать революцию? Больше силы и твердости. Буржуи только ее уважают.

– Революции без силы не бывает, – весело, подражая Нахимскому, ответил Сергей. – На то и революция.

– Я пойду в совет, доложу Ворошилову, как мы решили эту проблему. А может, ты возьмешься за продовольственное дело? Все равно кого-то назначать... никто толком работать не умеет. Научишься!

– Нет, – смеясь, ответил Сергей. – Да и мне, знаешь, дали задание – установить пулеметный пост. Пойду сейчас на завод и отберу команду.

– Иди. Я слышал, у тебя не складываются отношения с Федоренко. На-ладь. Он парень злой, но преданный революции. Без разговоров пойдет туда, куда прикажешь. Возьми его на пост.

Они попрощались. На улице, несмотря на пасмурную погоду, было много людей. Очереди стояли у государственных лавок, где должны были выдавать хлеб. На Ярмарочной площади лениво-простуженно гудел базар. В нем уже не было той веселости, как несколько лет назад. Сергей остановился возле магазина, на вывеске которого было написано «Модно-мануфактурный магазин Грудинина К. Д. /Петербург/» и после некоторого колебания вошел в него. Ему вдруг за-

хотелось сделать Полине какой-нибудь подарок. Долго и издалека присматривал товар и, выбрав цветастый шерстяной платок, купил, не торгуясь, за двенадцать рублей. «Зима ведь, – подумал он. – Подарок будет кстати». Потом – тоже на двенадцать рублей – взял ситца три метра, решив, что пацану будет рубашка, девчонке – платье.

На другой день, рано утром, Сергей вместе с шестью рабочими-красногвардейцами патронного завода вышел на окраину города. Пулемет привезли на телеге, и возница уехал. Решили установить пост возле последнего дома. Веревка служила шлагбаумом. Пропускать можно было всех, но только не казаков – таков приказ Ворошилова. Подозрительных арестовывать и отправлять в совет. Федоренко настаивал на том, чтобы установить пулемет прямо возле шлагбаума, выкопав небольшой окоп, но Сергей решил разместить его в сарае, метрах двадцати от шлагбаума. Федоренко был недоволен, считая, что пулемет для устрашения должен быть на самом видном месте. Но остальные поддержали Сергея. Было холодно, а в сарае можно было обогреться. Пулемет поставили на сколоченный сейчас же в сарае помост, в стенке выбили доску для обзора и стрельбы. Из сарая открывался хороший обзор местности вплоть до Острой Могилы – высокого кургана, насыпанного много веков назад то ли скифами, то ли еще каким-то кочевым народом. По пологому скату холма виднелись удаляющиеся соломенные крыши крестьянских хат. Из-за туч было пасмурно, небольшой мороз сковал грязь на дороге в скользящие бугры и полосы, в серо-желтой траве белел иней. Сергей, поеживаясь от холода, с удовлетворением вспоминал, как вчера Полина радовалась подарку, сра-

зу накинула платок на плечи и долго гляделась в маленькое зеркальце. Детям решила немедленно сшить рубашку и платье, сказав, что рисунок очень красивый, и подойдет им полностью. Она хотела отнести материю к соседке, но Сергей не разрешил и, взяв детей – десятилетнего Романа и восьмилетнюю Нюрку – пошел к матери. У нее была швейная машинка, на которой она когда-то обшивала всю свою большую семью, а теперь шила в основном внукам. Мать сразу же согласилась пошить и, сняв мерку с детей, отправила их домой. А потом заговорила с Сергеем, посетовав, что он редко бывает в родительском доме. Сергей отшутился, мол, сейчас время такое, не до отдыха. Та осторожно спросила:

– Ну, а с Полиной думаешь одружиться?

– Пока не думал.

Мать помолчала, пожевала бледными губами и снова, как бы про себя, сказала:

– Ты ж молодой, красивый... уже и должность имеешь, мог бы найти и девчонку. Вон их зараз сколько. Мужиков-то поубивало, а девок – много. Мог бы и пошукать кого-нибудь.

Мать часто в семье говорила по-украински, и Сергей знал этот язык. Он давно ждал этого разговора, но, как всегда бывает, именно этот разговор застал его врасплох, поэтому, не зная, что ответить, сказал:

– Нет времени. Вот освобожусь и поженемся.

– Мужикам всегда некогда, – ворчливо проговорила мать. – Идете туда, что ближе лежит и легче достать. Где про-

ще. Не пара она тебе, Сергунь.

– Почему?

– Дети у нее, зачем они холостому нужны... да и мало ты ее знаешь!

Мать не могла сказать сыну в глаза того, что знала про Полину. Но неожиданно вмешался отец:

– Мы вот с матерью думали и хотим тебе сказать так – или женись, или заканчивай спать у нее. А то от людей стыдно. Пришел солдат, революционер говорят... и тоже туда полез, непутевый. Быстрее решай.

Сергей обиделся на отца за такие слова и ответил:

– Сам решу, что делать. Не надо мне советовать.

Попрощавшись, он вышел из дома. В начинающихся сумерках на улице играли дети Полины и его брата Петра. Играли дружно, и их звонкие голоса светлыми лучами пронизывали сумерки.

«У них нет таких проблем», – подумал Сергей и пошел к Полине. Ей он ничего не сказал о разговоре с родителями, но, видимо, Полина чувствовала своим бабьим нутром о неприятном для Сергее разговоре, и старалась во всем угодить, поливая ему на руки водой перед ужином, вытирая ему лицо и шею полотенцем, подавая постные щи, положила в тарелку лишний кусочек мяса, который предназначался ей, и с ласковой грустью смотрела на неожиданно свалившегося ей, перестарке, молодого мужика, привыкающего к простой неграмотной бабе...

Из воспоминаний его вывел голос Иваненко:

– Казаки!

Из-за холма по дороге поднимались верхом на конях с десятков казаков. До этого проходили крестьяне и жители города, недоуменно глядевшие на приготовления красновардейцев. Федоренко заскочил в сарай и хрипло выдохнул прямо в лицо Сергея:

– Давай их подпустим поближе и шарахнем из пулемета.

Сергей вложил в пулемет патронную ленту и обратился к Иваненко, которого обучил пулеметной стрельбе:

– Если казаки полезут на рожон, дашь очередь вверх, над головами. А потом смотри по обстановке. Но вначале пуганешь. Понял?

– Понял, – хриплым от волнения голосом ответил Иваненко.

Федоренко суетливо хрипел:

– Ты что, хочешь их отпустить? Глупо делаешь. Это ж живая контрреволюция лезет на нас! Надо им врезать!

– Нельзя. Потому, что она живая!

Сергей потянул Федоренко за собой из сарая, чтобы он ничего не натворил. Тот неохотно пошел следом.

– Зря ты, Артемов, их близко подпускаешь. Потом не справимся, порубят они нас.

– Ты думаешь, они хотят с нами драться? Это им, как и нам, не нужно. Сначала выясним, что им нужно.

Федоренко недовольно сопел, изредка выбрасывая через

рот невнятные ругательства. Они подошли к месту, где долбили в мерзлой земле ямы для столбов шлагбаума, и Сергей распорядился одному остаться, а двоим отойти метров на десять и внимательно наблюдать, как будут развиваться события и, если что-то будет разворачиваться неприятное, прийти на помощь.

Казаки медленно приближались, у всех за спиной были винтовки. Федоренко хрипло шептал:

– Нельзя этим сукиным детям близко давать подъезжать. Давай с пулемета! – и косился на Сергея огненно-черным глазом.

Чтобы сбить напряженность Федоренко, которая передавалось ему, Сергей спросил:

– Ты лучше скажи, где ты голос потерял? В церковном хоре или по пьянке?

– Смеешься! – зло бросил Федоренко. – Вот если бы ты двенадцать лет простоял в воде на Алчевском заводе, веничком бы брызгал на чугунные чушки и обратно вдыхал пар и гарь, то ты бы совсем без голоса остался! А ты толком еще и не работал! И ты по сравнению со мной – молокосос, только с пулемета научился стрелять!

– Заткнись! – успокаиваясь, ответил Сергей, и Федоренко послушно замолк.

Подъехали казаки и остановились перед веревочным шлагбаумом. Моложавый усатый урядник, поздоровавшись, спросил:

– Шо вы, робята, тут делаете?

– Сторожевой пост, – ответил Сергей.

– А на што?

Но тут резко вмешался Федоренко и с хриплой ненавистью в горле крикнул:

– Чтобы вас не пущать!

Урядник и сопровождавшие его казаки рассмеялись, видимо, они были в добром расположении духа.

– Так мы, ребята, едем не только в гости, а и трошки по делам. Надо в магазин братьев Экслер, по шорному делу. Да навестить знакомых.

Сергей дернул за рукав Федоренко, чтобы молчал, и ответил:

– Приказ совета. Казаков в город не пускать.

– Надолго приказ?

– Пока обстановка не прояснится.

Но снова вмешался Федоренко:

– Покуда Каледина не скинем, вас не пропустим!

Федоренко била крупная дрожь от возбуждения при виде врага, каковым он считал казаков. В любую секунду он мог сорваться и натворить беды. Глаза его ненормально блестели, руки лихорадочно бегали по прикладу и цевью винтовки. Урядник миролюбиво сказал:

– Хватит, робя, спорить, пустите нас. Мы с донбасскими никогда не ссорились. А Каледин ссорится не с вами, а большевиками. Нам нечего с вами делить.

Но Федоренко хрипло закричал:

– Пошел вон, брат вонючий!

Казаки удивленно посмотрели на красногвардейцев и сразу же подтянулись в седлах, исчезла веселость и лица приобрели серьезное выражение, показывая, что они готовы ко всяким неожиданностям.

– Он шо, дурной? – с деланным удивлением спросил урядник.

– Я дурной?! Собаки бешенные! В пятом году как пороли нас в Алчевске! Забыли? Гады ползучие!.. Я тебе сделаю! – кричал Федоренко, взяв винтовку наизготовку и шагая к уряднику.

Тот смотрел на него уже с настоящим удивлением и ничего не предпринимал. Но между ним и Федоренко выдвинулся на коне, перекрывая путь к уряднику, молодой усатый, с торчащим из-под папахи кудрявым чубом, казачина. Все произошло мгновенно. Федоренко, пытаясь увернуться от коня, взмахнул винтовкой, и штык резанул по шее лошади. Та испуганно скакнула в сторону, и на шее выступила кровь. Урядник посерьезнел и, сунув от злости глаза, сказал:

– Назад, ребята. Позже разберемся.

Казаки начали разворачивать коней. Молодой казак, наклонившись вперед, рукой прикрывал рану лошади, из которой текла кровь, и успокаивал ее ласковыми поглаживаниями. Рана была пустяковая, но обидная для казака – не смог уберечь коня. Казаки развернулись и поехали назад. Неожиданно.

данно казак на раненной лошади выпрямился в седле, выхватил саблю, подскочил к растерянному стоявшему Федоренко и со всего плеча нанес удар по голове. Федоренко пытался защититься, подняв навстречу удару винтовку, но сделал это поздно и неумело. Острое лезвие сабли, тускло сверкнув в морозном воздухе, опустилось на его голову. Шапка слетела, раздался треск лопнувшего черепа, и мозги белой с оранжевым оттенком массой стали вываливаться наружу. Федоренко выпустил винтовку, пытался руками схватиться за голову, но они не поднялись выше груди, рухнул на землю и больше не шевелился. Казачина развернул лошадь и, на ходу засовывая саблю в ножны, начал догонять своих товарищей, которые, увидев происшедшее, резко прибавили в скорости, пустив лошадей рысью. Молодой, отстав от них метров на двадцать, догонял товарищей.

– Огонь! – закричал Сергей, но пулемет молчал. Двое красногвардейцев, стоявшие позади, стали стоя стрелять по казакам.

«Не попадут же! – мелькнула мысль у Сергея. – Стрелять не умеют, тем более стоя».

Он подбежал к лежащему Федоренко, поднял его винтовку и, встав на колени, стал прицеливаться в отставшего казака, который находился уже в метрах ста от него и, прильнув к шее лошади, догонял остальных. Спокойно, совместив мушку с прицелом, Сергей нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, и он увидел, как, дернувшись всем телом,

казак повалился набок из седла, потом, выпустив поводья, упал головой вниз. Лошадь на полном скаку протянула его еще несколько метров по замерзшей земле, пока его нога не выпала со стремени, и казак не остался лежать лицом вниз к земле. Другие казаки остановились и хотели повернуть обратно, на помощь товарищу, но раздалась очередь из пулемета, и они поспешили скрыться за холмом. Сергей приказал двоим взять тело Федоренко и отнести в сарай. Эти двое осторожно, с брезгливостью хотели поднять убитого, но не успели – спешившиеся казаки начали стрелять по посту, и пришлось бежать в сарай. В сарае Сергей накиннулся на Иваненко:

– Почему не стрелял, когда казаки зарубили Федоренко?!

– Пулемет что-то заклинило, – виновато оправдывался Иваненко.

Сергей встал за пулемет, прицелился и очередью прошел по гребню холма. Казаки перестали стрелять, красные тоже. Наступило затишье, заставившее жителей близлежащих домов, непонимающих откуда и зачем идет стрельба, попрягаться в ожидании большого боя. Потом из-за холма появился белый флаг, привязанный к палке.

«Хотят забрать убитого», – подумал Сергей.

Оставив у пулемета Иваненко, Сергей вышел из сарая, не думая о последствиях, встал во весь рост и, сняв шапку, помахал ею. За холмом встал урядник и, не бросая флага, пошел к ним. Сергей подошел к трупку Федоренко и, на-

клонившись, взглянул в его бледно-жёлтое лицо. Оскалившийся рот, испуганные застекленевшие глаза, напряженное от страшной предсмертной боли лицо выражало ненависть и умиротворение одновременно. «Почему у него такая ненависть к казакам? – подумал Сергей. – Правильно говорил Нахимский, на все он был готов». Он на фронте неоднократно видел смерть, но эта смерть была неприятна, потому что это не фронт. Сергей поднял с земли шапку и прикрыл лицо Федоренко.

Подошел урядник. Он глубоко и прерывисто дышал от быстрой ходьбы:

– Убили Тишку, – произнес он. – Племяш мой...

Сергей молчал. Урядник в присутствии врага, видимо, не мог пустить слезу. Лицо его из молодежового стало каким-то смятым и одновременно невидящим.

– Ты убил?

– Я. А, может, ранил?

– Нет. Я посмотрел... сразу... насмерть... метко стреляешь!

Урядник внимательно посмотрел на Сергея, словно запоминая его. Потом спросил:

– Солдат? Где воевал?

– На Западном и Юго-Западном.

– Я тоже на Юго-Западном, – урядник задумчиво посмотрел на Сергея и продолжил: – Вместе воевали, друзьями были. А сейчас – враги?

Сергей промолчал, ему было все неприятно, особенно воспоминание, что его раненного спасли вот эти донские казаки. Урядник словно сам себе сказал:

– Ведь русский русского убил. Што ж дали будет? – Его, видно, мучили какие-то серьезные размышления.

– Он тоже убил русского.

Урядник согласно кивнул:

– Оба горячие... глупые, а кровь одна – русская. Шо еще станется! Разреши забрать Тишку, – попросил он. Согласно старому казачьему обычаю тело убитого принадлежит врагу. Если убитого не смогли свои забрать в ходе боя, то его надо или выкупить, или мирно договориться о передаче тела. – Пусть ребята не стреляют. Отвезу хоть то, что осталось, сеструхе. Отдашь Тишку? – капли слез выкатились из глаз и спрятались в усах. – Кто знал, что так получится?

– Забирай, – коротко ответил Сергей.

Урядник повернулся в своим и замахал рукой, из-за холма вышли четверо и пошли к убитому казаку. Потом урядник повернулся к Сергею и внимательно посмотрел на него:

– Но тебя, солдат, я еще встречу... пожалеешь, шо меня узнал.

Он говорил об этом, как о само собой разумеющемся, не пытаясь немедленно свести счеты. В войне всему свое время. А сегодня время мести не наступило.

– Может и встретимся, – согласился Сергей. – Только не угрожай, – таких, как ты, я много видел... через прицел пу-

лемета.

– Вижу. Опытен... дюже хорошо стреляешь. А шо мне дома говорить? – слеза снова скатилась по лицу и, не дождав-шись ответа урядник сказал: – Ну, прощевай, до встречи... спасибо, шо отдал Тишку... без спору.

Казаки несли тело за бугор, урядник шел следом по доро-ге, ссутулившись, и Сергей ощутил к нему жалость – не сбе-рег он мальчика. И, чтобы скрыть эту слабость, распорядился:

– Хлопцы, ищите подводу, отвезем Федоренко.

Нахимский, узнав о смерти Федоренко, выругал Сергея, что не сберег красногвардейца, и сказал:

– Какой революционер был! В огонь, в воду – без разду-мий. А как ненавидел буржуев! Таких немного... но револю-ция не бывает без жертв.

Потом на фронтах гражданской войны пришлось Сергею убивать и русских, но сомнения его тогда уже не мучили. И всегда болезненным воспоминанием стоял перед его гла-зами этот бой, точнее – небольшая стычка, где он впервые убил русского. От назойливой памяти некуда деться, и вспо-минался плачущий урядник, который с болью, идущей отку-да-то изнутри, говорил: «Ведь русского убили... шо я сест-рухе скажу».

Но с урядником они больше не встречались... по крайней мере, с глазу на глаз.

8

Крапивников держал склад и магазин по продаже зерна и муки на Ярмарочной площади. На стене склада, выше входной двери, находилась вывеска, на зеленом фоне которой желтой краской было выведено – «Хлеб-Зерно». Из пяти контор по закупкам и продаже хлеба, расположенных в Луганске, Крапивников был не самым крупным дельцом. Ему было далеко до Гросмана, который имел прямые связи с Москвой и Петроградом, но он вполне конкурировал с Браиловским, Хаимовым, Радзиковским. За годы войны оборот хлебов упал, но доходы возросли. Хлеб стал дороже, залоговые цены на его покупку и реализацию выросли, и это давало постоянно возрастающую прибыль. В последние годы Крапивников проводил операции по продаже хлеба в промышленных, потребительских губерниях центральной России, где своего хлеба не хватало, и это приносило ему хорошие деньги. Но месяц назад, после октября, торговая деятельность резко сократилась. Дальние связи оказались нарушенными, да и Луганский совет переписал имеющийся хлеб, что внесло растерянность в ряды хлеботорговцев. Но Крапивников пришел к выводу, что торговлю не следует сворачивать, грядет голод, а это значит, что барыши будут не просто хорошими, а великолепными. Как действовать, Крапивников уже продумал, но следовало соблюдать осторожность

– не ровен час, нарвешься на неприятности, а новая власть не шутит, – в этом он убедился лично.

Сегодня, в своем двухэтажном доме на Английской улице, Крапивников вместе с Хаимовым обсуждали положение дел, сложившихся в торговле. Водка и закуска стояли на столе, и купцы беседовали пока не о деле, а о положении в России. Оба была согласны, что новая власть долго не продержится потому, что сознательно подрывает торговлю, а без нее не будет хозяйственной жизни, останутся заводы, село не даст хлеба, и наступит паралич в жизни государств. Поэтому, только исходя из этого, должна прийти новая власть. Жаловались друг другу, что доходы упали, но одновременно зорко глядели друг другу в глаза, выясняя, кто кого больше обманывает, вспоминали прошлые годы, когда торговля шла весело и было интересно и жить, и работать. Но оба понимали – сейчас необходимо предложить что-то новое и неординарное в торговле, а то можно разориться. Но никто не начал конкретного разговора, выжидали и, только когда была допита бутылка, – а у купцов это было обычным в деловых встречах, – Хаимов осторожно начал говорить конкретно.

– Зиновий Зиновьевич, – говорил Хаимов, – ты знаешь, как я удачно провернул одно дельце полгода назад. Думаю тогда – твердые цены, которые ввели в марте, недолговечны. Закупил в Таврии зерна в июле и придержал его месяц. А в августе цены вдвое увеличили, – так я его продал. Хороший куш сорвал. Повезло, будто в рулетку. Но это было все-таки

не везение, а коммерческий расчет.

– Марк Шлеймович, – глядя в тщательно выбритое лицо Хаимова, поддержал разговор Крапивников, поглаживая небольшую бородку, – я почти так же сделал, но тогда продал не все зерно, а придержал часть до октября. Тоже неплохо вышло. Вот как сейчас развернуться – не знаю. И хочется, и колется...

Конечно, купцы многое не договаривали в «откровенном» разговоре, но они знали друг о друге все, и большей откровенности было не нужно. Крапивников первым вызвал Хаимова на конкретный разговор, ведь не зря тот зашел к нему в гости, не просто же поболтать за бутылкой Смирновской. Хаимов встрепнулся, его расплывшееся толстое тело подтянулось, он принял приглашение хозяина о ведении делового разговора. Но в начале серьезной беседы Крапивников открыл новую бутылку. Прислуга во время таких разговоров не присутствовала. Разлили в стопки, дружески взглянув в глаза другу, выпили, закусили, помолчали, собираясь с мыслями, и после паузы Хаимов продолжил:

– Зиновий Зиновьевич, ты, конечно, в курсе, что в последнее время я сбывал хлеб Гербелю, вроде бы для армии. Но моего олуха, – я говорю о зяте, – большевички выгнали из продкомитета, и сами там сели. Вот я вроде не у дел оказался. Не знаю, что делать сейчас.

Хаимов внимательно смотрел в бородатое лицо Крапивникова – вроде друг, но все же конкурент, и старался опре-

делить реакцию собеседника на свои слова. Но Крапивников просто, по-обыденному продолжил начатый купцом разговор:

– Да, и для меня трудные времена наступили. Ездил Иван, – тоже говорю о зяте, – так немного хлеба продал, а муку совсем за бесценок, чтобы большевики не конфисковали. Прямо не знаю, что и делать сейчас, – повторил он слова Хаимова.

Замолчали, и Крапивников, взяв бутылку, снова налил водку в стопки. Закусывая соленым огурчиком, внимательно смотрел на Хаимова. Тот тоже выпил, глубоко продыхивая и занюхивая выпитое душистым хлебом, а следом отправил в рот огурец и сказал:

– Хорош хлебушек. Недаром он – основа жизни людей. Водочка крепка, но хороша... тоже из хлеба. Так вот, что я хочу сказать, Зиновий Зиновьевич... киевская рада распорядилась, чтобы торговля хлебом была подчинена только ей, а не комиссарам. Пока власти спорят, нам надо работать и этим моментом воспользоваться. Я открою тебе небольшой секрет. Мне шепнули, что рада хочет продать хлеб Румынии и заплатит почти по свободным ценам. Глядишь, будет рубчиков двенадцать-пятнадцать пуд. И хлеб нужен срочно. Рада тоже хочет на этом нажиться. Что ты на это скажешь?

– Это хорошее дело. Но не перехватят хлеб большевики? Боязно. А сколько надо хлеба?

– Думаю, тыщ сорок-пятьдесят пудов, чтобы на два пол-

новесных состава было. Я уже прикинул, как это сделать. Отправим хлеб в воинских эшелонах, как на фронт. А в Киеве и Житомире наши агенты его встретят и решат вопрос с радой.

– Все равно опасно. На раду надежды нет, это не правительство, а болтуны... большевики и то уверенней руководят, чем те интеллигентишки. Но попробовать надо.

– Волков бояться – в лес не ходить!

– А что ты от меня хочешь, Марк Шлеймович?

– Сам знаешь, я работаю в Славяносербском уезде и южнее. А там большевики с рабочими крепко наложили лапу на хлеб. Мне трудно сейчас много закупить, а надо это сделать быстро. Ты ж работал в северных уездах и в Харьковской губернии, там большевиков меньше потому, что мало рабочих. Там легче купить хлеб. Можешь тысяч тридцать пудов дать?

Крапивников подумал, потом решительно ответил:

– Давай попробуем. У меня должно быть возле Сватовой Лучки тыщ восемь пудов, а может и десять... да в других местах. Часть можно прикупить.

– Делаем!?! – обрадовано спросил Хаимов. – Впереди хорошая прибыль.

Купцы ударили по рукам – принципиально согласны. По старому купеческому обычаю никаких бумаг не составляли – купеческое слово крепче всяких печатей. Потом обсудили конкретные вопросы, и Хаимов поехал домой, сказав на прощание:

– Нам безделье – хуже пьянки. Без работы сгнием, а с ра-

ботой расцветем.

Крапивников позвал Ивана. Он его ценил как хваткого и надежного помощника, но считал безродным зятем и командовал, не считаясь с его мнением и занятостью. Иван привык к роли исполнителя решений тестя и никогда не мог серьезно возразить ему, робея перед личностью Крапивникова и его деловой хваткой. Дочку свою Крапивников считал ничемной девкой, жена давно умерла, а вторично он не женился. Сын, увлекшийся в свое время революционными идеями, учительствовал где-то в России. Купец очень любил свою внучку, которой дал имя созвучное своему – Зина. Наследников, по сути, не было и выходило так, что, как ни крути ни верти, продолжателем его дела оставался Иван.

Иван прошел в кабинет, откуда горничная вынесла посуду и навела порядок. Крапивников подошел к зятю. Он был выше его почти на целую голову и, когда Иван смотрел на него снизу вверх, то невольно внутренне сжимался как человек не только более физически слабый, но и как робеющий перед сильной личностью. Крапивников посадил Ивана напротив себя. То, что много им выпито, было незаметно, лишь легкий водочный перегар выходил изо рта.

– Ваня, – сказал Крапивников, – тебе завтра с утра надо будет выехать на недельку по местам и быстро решить один важный вопрос. Приказчика послать не могу. Задание не для огласки.

Иван молчаливо кивнул в знак согласия. Он недавно при-

ехал и толком не отошел от той поездки, но послушаться теста не мог. Крапивников пояснил, куда ехать, что делать, дал деловые бумаги, а насчет денег сказал:

– Возьмешь наличными десять тысяч в ссудо-сберегательном товариществе, но если будет возможность – оплачивай не наличными, а чеками Азовского банка. Не будет хватать наличных денег, возьмешь у компаньонов в Сватово и Старобельске. Заедешь к Тихоцкому в его имение, у него должно быть достаточно хлеба. Заберешь его должок нам и если что – купишь у него весь хлеб. Понял?

– Да, – коротко ответил Иван.

Крапивников дал еще несколько указаний, отпустил зятя и подумал: «Что ж я с ним как с приказчиком говорю... ведь не чужой, чай уж родной. Сын не вернется, все достанется ему. Надо бы быть с ним поласковой, по-отцовски. А может, он сам виноват? Да, сам, – облегченно вздохнул купец. – Ну, почему же он не возразит... пусть даже и закричит? Ох, как бы я обрадовался. Не может. Это рабство перед сильным и богатым у него впиталось в кровь – ни спины разогнуть, ни рта не раскрыть. А без меня он хорош – и прикажет, и умно все сделает. А при мне нет. Робеет. Подлая человеческая душа – давить слабых, сильным подчиняться. А я был не таким? – Крапивников задумался. – Нет. Тридцать лет назад таких, как я сейчас, еще не было. Все были бедны и равны, только стремились к богатству. Все стремились. Рвали друг друга, но не унижались. А сейчас и я стал подобострастно

относиться к сильным. Эх, душа человеческая, все ж ты подлая», – заключил купец и пошел к себе в спальню.

Он зашел в комнату к внучке, что делал всегда. Зиночка еще не спала. Поцеловал ее в щечку и, несмотря на то, что маленькая тезка, – как он ее называл, – просила его посидеть с ним и рассказать сказочку, пошел в свои покои. Надо было еще обдумать многое из разговора с Хаимовым.

Иван сказал жене Павлине, что завтра он на несколько дней уезжает по делам. Павлина, привыкшая к его частым отлучкам, не выразила удивления или трогательной заботы о муже, что было неприятно Ивану. Рано располневшая, с веснушчатым одутловатым лицом, она воспринимала происходящее не нутром, а кожей – в себя лишнее не впускала, сосредоточив все свое внимание на дочке. Больших планов не строила, улетать подальше от отцовского гнезда не собиралась. К Ивану относилась, как к житейской необходимости, но никогда не укоряла, как безродного мужа. И сейчас она просто посоветовала:

– Вань, ты будь нынче осторожен – времена-то смутные.

Вот и все, что больно укололо душу Ивана. У него была любовница в городе, и он иногда посещал ее. Часто не мог – не было времени, да и боялся, что семья узнает. Но он не мог представить себе, что Крапивников все об Иване знал и не осуждал его за посторонние связи, считая, что мужику кроме семьи нужна и отдушина в жизни.

Иван любил торговое дело. Считал, что никакие полити-

ческие или житейские передряги не должны это дело приостанавливать ни на минуту. Торговать, покупать, иметь хоть небольшую прибыль ему нравилось, и работал он по мере возможности честно, что очень сложно в торговле, а главное – с большой охотой.

В Сватову Лучку Иван добрался к вечеру и сразу же пошел к Пономаренко, который жил недалеко от станции и являлся компаньоном Крапивникова. Хозяин был дома и тот час же распорядился накормить гостя и приготовить ему комнату. Иван с Пономаренко обсудили дела. У того, неучтенных новой властью запасов хлеба, оставалось около трех тысяч пудов. На остальное совет наложил свою лапу, без их разрешения он не мог распоряжаться хлебом. Пообещал еще десять тысяч, но в течение месяца. Такие сроки не устраивали Ивана. Да и Пономаренко понимал, что все надо делать быстро. Но возможности на сегодняшний день были небольшими. Объявлена хлебная монополия, запрещена продажа на сторону – продавать только новой власти.

– Слушай, – говорил Пономаренко Ивану, – надо проехаться по имениям и посмотреть. Сейчас дворяне не знают, что будет дальше, и продают хлеб по дешевке. Селяне берут землю, а что с помещиками делать – не знают. Забирают у них все и напрочь гонят хозяев. Я завтра свяжусь с некоторыми, предложу продать зерно, чтоб не пропало зря в селянской утробе.

– Мне отец сказал, – ответил Иван, для солидности называя тестя отцом, – чтобы я заехал к Тихоцкому. Он наш должник, может, и других помещиков уговорит продать нам

хлеб.

– Все может быть, – уклончиво ответил Пономаренко. – Но у них в Дувановке очень сильный совет крестьян и, кажется, он уже наложил свою лапу на все имущество Тихоцкого. Я ж ему говорил – продай хлеб, а он – нет, подожду. Дождался! Съездить к нему надо. Я пока здесь покручусь, а ты по уезду погоняй.

На том и договорились. Пономаренко сказал, что в ближайшие дни он даст самому Крапивникову знать, сколько ему удалось закупить зерна, а Иван сначала поедет в Дувановку к Тихоцкому, а потом дальше по имениям и в Старобельск. Пономаренко давал на все время пути бричку с кучером.

На другой день, еще затемно, Иван выехал в Дувановку. Было холодно, сырой стылый ветер пронизывал до костей. Бричка была открытой, и Ивану предстояло промерзнуть основательно. Ехать предстояло верст пятнадцать, и Иван, повернувшись спиной к восточному ветру, который в этих местах дул всю зиму, завернувшись в поношенный тулуп, данный ему Пономаренко, стал подремывать. Возница, закутавшись в драный овчинный тулуп, также, кажется, дремал на облучке. Две лошади, выпуская на сыром морозе густой пар из ноздрей, шли неброско, понунив головы. Изредка проснувшийся возница стегал их кнутом, и они некоторое время бежали, постепенно переходя на ленивый шаг.

Иван окончательно проснулся, когда красное, будто рас-

крашенное охрой морозное солнце встало над восточной кромкой земли затухающим, как угли в костре, огненным шаром, освещая не лучами, а своим бордовым, еще не живым светом заснеженную бескрайнюю южнорусскую степь, по снежному панцирю которой низовой ветер носил жесткие шары перекасти-поля да пригибал до самой земли бес-телесные островки желтого ковыля. Далекие околыши леса колебались в сумеречно-синей туманной дымке. Белая хол-мистая степь вливалась в безмолвное пространство и было непонятно – где же горизонт. В далекой тиши степь и небо сливались в единое целое. Казалось, что природа создала замкнутое целостное пространство, где в гармоническом един-стве слились свет, перспектива и палитра неброских и одно-образных зимних красок. Тишина рассвета была хрусталь-ной и звонкой, как бы одухотворенной, наполненная чистой свежестью. Это чудо природы проникло в самое сердце Ива-на, не замечавшего прекрасного раньше в суматохе дел. Он зачаровано смотрел в бездонное белесовато-голубое утрен-нее небо, устремленное своими краями к земле, бескрайнюю степь, которая своими кромками, в свою очередь, стреми-лась в небо. Из созерцательного оцепенения его вывел воз-ница, который в очередной раз нукнул лошадей и, обернув-шись к Ивану, сказал:

– Вон, сколько зайцев и лис развелось, – он указал на мно-гочисленные дорожки витиеватых звериных следов вдоль дороги, представляющих причудливое кружево на снегу. –

Некому их нонче бить. Мужиков мало в селах. А много ли-
сиц и зайцев – это признак к болезням. Много будет болез-
ней у нас. Много... – повторил он сам для себя и ударил ло-
шадей вожжами.

Солнце встало достаточно высоко, превратившись из мед-
ного в золотое, когда они подъехали к Дувановке – большо-
му зажиточному селу. На окраине расположилось усадьба
Тихоцкого – большой двухэтажный дом, крытый черепицей;
вокруг дома, во дворе усадьбы, за изгородью – амбары, са-
раи, хлевы. Проехав по узким улицам села мимо домиков,
сложенных из саманного кирпича под соломенными крыша-
ми, бричка подъехала к усадьбе помещика. У ворот встрети-
ли двое, вооруженных винтовками, по виду крестьяне.

– Тпру! – прокричал один из них. – Куды прешь! Откедо-
ва?

– С Луганска, – объяснил Иван. – К хозяевам надо.

– Гы-гы! – осклабился крестьянин. – Зараз их побачишь.
Сходка собирается. Вишь, народ идет. Судить кровососов
будем.

Иван понял, что в селе происходят нешуточные дела. Он
решил расспросить селянина, что же здесь произошло и что
будет дальше.

– За что их судить будут? Они убили кого-то? – прики-
нувшись наивным, спросил Иван.

– Ни. Паны не хотят нам виддать землю и усе остальное.

– Так возьмите, а зачем их судить? – притворялся удив-

ленным Иван.

– А он не хочет отдавать. Гроши и золото приховал где-то, може зарыл, и не сознается. От мы и караулим, щоб не убиглы баре.

События надвигались серьезные. С улицы выходила толпа крестьян, во главе которой шел человек в затертом от времени пальто и, по виду, не деревенский.

– Дай-ка я проеду к хозяину, – попросил Иван. – Мне с ним надо перекинуться двумя словами.

– А ты хто такой? – спросил караульный.

– Заготовитель, – ответил Иван и сразу понял, что совершил ошибку, назвав себя так, потому что крестьянин снял с плеча винтовку и взял ее в руки.

– Так ты приихав, щоб увезти наш хлеб!?

– Нет! – торопливо ответил Иван. – Мы заготовляем для армии. На фронте солдаты голодают. Сам знаешь!

Но его ответ не убедил крестьянина:

– Погодь, зараз придет Пыхтя, он разберется.

Иван лихорадочно обдумывал – что делать? Уехать подалее от греха или остаться на месте и ничего конкретно не решить? Неожиданно толкнул возницу в спину и отрывисто выдохнул:

– Поехали!

Возница, вздрогнув всем телом, схватил вожжи в руки и хотел тронуть лошадей, но крестьянин поднял винтовку:

– Куда? Таперича стой, а то пальну. Я в зайца за полверсты

попадаю, а в тебя – не глядя.

Возница придержал лошадей. Во дворе барского дома и внутри происходило какое-то волнение. К высокому крыльцу дома подавались две брички и подвода, на которую прислуга складывала вещи. Показался сам Тихоцкий – высокий, худощавый, лет пятидесяти мужчина в коротком, по краям подбитом мехом полушубке. Вышел его сын, молодой стройный офицер, с женой, у которой был испуганный вид. По всему было видно, что хозяева готовились к отъезду.

Подошла толпа крестьян. Молодой паренек, лет шестнадцати, нес красный флаг, сделанный из куска ситца и наскоро прибитый гвоздями к толстой ветке. Впереди шел высокий человек, его худощавое, будто обтянутое глянцевой бумагой лицо выражало непреклонную решимость и готовность идти на все и до конца. Как понял Иван, это и был Пыхтя.

– Ну что? – спросил он охранников, глядя вовнутрь двора. – Готовятся убежать?

– Кажись, – ответил крестьянин с винтовкой. – Да вот еще к ним хтось приихав.

Он кивнул на Ивана, но Пыхтя лишь мельком взглянул на них:

– Позже с ними. Братва, пошли к барину, а то хочет убежать, а бумаг не подпишет.

Толпа повалила во двор, окружив крыльцо с находившимися там хозяевами. Тихоцкий, которого Иван знал раньше

как властного, уверенного в себе человека, сейчас заметно волновался, но старался не показывать вида. Сын исподлобья наблюдал за толпой из-под козырька офицерской фуражки, жена его испуганно жалась к нему, ее дрожащие губы что-то беззвучно шептали, – то ли молитву, то ли слова, успокаивающие мужа. Пыхтя поднялся на крыльцо и уверенно подошел к хозяевам.

– Погоди, барин, не торопись сматываться. Давай по-хорошему разберемся. Крестьяне требуют, чтобы ты подписал документ об отдаче всей земли им. И чтоб потом не было претензий.

Тихоцкий напряженным голосом ответил:

– Берите. Вы ж сами хозяева теперь. Все теперь ваше. Дайте только уехать. Видите, сын еще не залечил рану, ему тяжело. Да и жена его боится...

Толпа молчала, лишь изредка можно расслышать крепкое крестьянское слово, но ясно было слышно тяжелое, натужное, нутряное дыхание народа, и если его не сбить, то зверь в облики толпы был готов выскочить на волю. Русский народ, как коллективный в своем единстве зверь, непредсказуем и потому – страшен. А Пыхтя продолжал гнуть свою линию, понятную только этому зверю, раззадоривая его темную душу, одинаково опасную, как для окружающих, так и для укротителя.

– Нет, вы хороший барин, подпишите бумагу, что сами добровольно отдаете землю, чтобы потом, если вернетесь,

закон был на нашей стороне...

Зверь удовлетворенно заурчал в утробе толпы, и послышались крики «Правильно!», «Треба по закону, нехай сам виддаст!».

Тихоцкий снова стал говорить, стараясь перекричать толпу:

– Комиссары объявили всю землю вашей. Вот и берите! Что еще надо? Все в амбарах, оставляю вам. Ничего не беру, – его голос окреп. – Вы это все сами зарабатывали, вместе со мной. Теперь оно ваше. Дарю! Отдаю. Как хотите! Что хотите, то и делайте!

Толпа одобрительно загудела, услышав добрые слова Тихоцкого, и зверь приумолк. Но Пыхтю нелегко было провести, и он продолжал гнуть свою линию.

– Что вы обрадовались, как малые дети. Он сказал «ваше», и вы растаяли, как сахарный пряник! – накинулся на толпу. – Слыхали, что рада в Киеве сказала – пока землю не брать, нехай все будет у хозяев. И они вроде собираются писать закон о земле. Протянут время, насобирают гайдамаков, придут сюда и выпорют ваши дурные задницы... и все опять отдадут панам. Надо быть умными. Пусть он подпишет бумагу, что все отдает вам, и в первую очередь – землю, и едет, куды хочет. Вот, что вам надо. После тогда никто не скажет, что мы поступили не по закону. Если придет новая власть, у нас будет его документ. Он своими руками землю отдал и с нас не будет спросу. Вот тогда станете настоящими хозяева-

ми земли и всего остального.

Толпа, которая только что одобрительно внимала словам барина, возмущенно загудела. Гнев закипал в звере с новой силой.

– Гумагу! Без документу не пушать его! Из анбаров поделим поровну! Барина в холодную и не кормить, пока не обрзумится! Сынка теж! У-у-о-о-о!

Холодный воздух, прогреваемый утренними лучами солнца, неестественно быстро накалялся извечной ненавистью раба к своему хозяину, и достаточно было неосторожного слова с любой стороны, чтобы произошел взрыв. Тихоцкий был тверд в том, что документ не подпишет. Напрягая горло, переходя на крик, он бросил в толпу новые искры:

– Я не признаю киевской рады! Я признаю только российскую власть! Если Богу угодно, чтобы в России была власть комиссаров, пусть будет так. Я подчинюсь только российской власти. Раз она сказала, что земля ваша, пусть так и будет! Я не против. Берите! Без всяких документов. Земля – ваша!

Но широкий жест помещика уже не возымел действия. Толпа нутром чувствовала, что земля теперь их, но вечная боязнь за свое будущее, выработанная веками и тысячелетиями, требовала дополнительных гарантий, и она исторгла из своей животной утробы рык зверя:

– Бумагу! Гумагу!! Документ!!!

Наиболее нетерпеливые полезли на крыльцо. Пыхтя матом сгонял их обратно. Но черная от вечного труда, в про-

худившихся ватниках, из дыр которых выплескивалась клочущая, безумная, всегда готовая на жестокий и кровавый бунт славянская душа выплеснулась наружу, затопив ненавистью утренний чистый воздух. Казалось – солнце из алого стало багровым и застыло в своем движении, не в силах подняться над землей. Зверь с ревом вышел из клетки народной души.

Крестьяне охватили Тихоцкого за полушубок и были готовы впиться своими вечно черными от земли-матушки, негнушимися, в твердых мозолевых наростах пальцами в чисто выбритую шею барина. Замелькали подвернувшиеся под руку вилы, колы, дубины. Кто-то зажег факел и побежал к дому, пытаясь свою огненную очумелость бросить внутрь дома. Распахнулись ворота хлева, сараев, амбаров. Дырявые ватники и грязные полушубки тянули из них лошадей, коров, зерно – все, что попадалось под руку. Зверь наслаждался своей силой, рвал все по кусочкам из-за обильности пищи, не стараясь съесть что-то полностью.

– Стой! Ядрена мама! Убью! Что вы делаете, суки! Шоб потом друг другу из-за этого дерьма глотки перегрызть! По закону все поделим! Стой! – хрипел до посинения на толпу Пыхтя.

Но его никто не слушал. В воздухе носился вихрь разбоя и неповиновения. Пыхтя выхватил наган и выстрелил несколько раз вверх. Не помогало, толпа продолжала бушевать.

– Хлопцы! Стреляй по ним, гадам ненасытным! – прика-

зал он двум охранникам. Те колебались. Тогда Пыхтя, прицелившись, выстрелил в крестьянина, который бежал к окну с факелом. Тот, выронив огонь, согнувшись пополам, подурному заорал:

– А-а-а! Убили!! – и упав на тонкий слой снега, задержал ногой, пробивая его до земли. – Убили!!!

Крик переходил в хрип. Раздались выстрелы из винтовок в воздух. Толпа остановилась и постепенно стала отрезвляться. Раненый зверь недоуменно оглядывался – кто посмел прекратить его кровавую вакханалию, когда он еще не насытился?

Пыхтя озлобленно смотрел на подходивших к крыльцу растерянных крестьян. Потом повернулся к бледному от всего происходящего Тихоцкому и при полной тишине, разрывающейся только стонами раненого крестьянина, зловеще произнес:

– Ну, барин, мы хотели с тобой по-хорошему. Ты не захотел. Сейчас получишь свое...

Он стал медленно поднимать наган к лицу Тихоцкого. У жены сына как будто из пузыря выпустили воздух, подкосились ноги, и она в обмороке повалилась на крыльцо. Офицер, не обращая на нее внимания, резко бросился на Пыхтю, наган вылетел из его рук и он упал. Офицер навалился на упавшего врага.

– Сынок! Прекрати! – испуганно закричал старый барин. Но жилистый Пыхтя был силен, сбросил с себя молодого

барина и с чудовищной силой выкрутил руку офицера. Раздался хруст костей, выворачиваемых в суставе, пронзительно вскрикнул сын и сразу же обмяк, оставшись лежать на крыльце. Пыхтя вскочил.

– Ну, барин, довел до смерти людей, за что и получишь по полной!

Но тут вмешался местный священник. Подняв вверх крест, висевший на груди, он обратился к крестьянам, которые молча, не успев осознать происшедшее даже частично, стояли вокруг крыльца.

– Опомнитесь, люди! – закричал батюшка. – Проливающие кровь чужих, прольют кровь ближних и свою. Ибо так сказано в священном писании. Ничто не делается безвозвратно. Кара вернется к вам десятикратно и стократно, и в каждой семье будет горе и кровь, и проклянут вас близкие, совершивших тяжкий грех и допустивших кровопролитие. Уймите в себе алчность зверя!

Селяне молча слушали. Пыхтя не знал, что предпринять.

– Я сейчас попрошу барина, чтобы он выполнил ваши настояния и дал нужную бумагу. Отец наш, прошу, подпишите документ о земле. Отдайте ее, проклятую, а то видите – смертоубийство царит вокруг. Подпишите отказ?

Тихоцкий посмотрел на сына, который со стоном пытался подняться на ноги. Видимо, рука была вывернута в локте, и он не мог ею пошевелить.

– Владимир, – обратился он к нему. – Тебе больно?

Сын застонал и поднялся на ноги, стараясь ни на кого не глядеть. Жена пришла в себя и затуманенным взглядом смотрела вокруг. Владимир одной рукой помог жене подняться.

– Рану не затронули? – снова спросил отец.

Сын отрицательно качнул головой.

– Давайте декрет... или как он у вас называется, – я подпишу. Вся земля вам, инвентарь, имущество и все, что здесь есть – ваше. Я все дарю своим крестьянам. На вечные времена. Давайте документ?

Владимир, морщась от боли, с надрывом сказал отцу:

– Не унижайся перед ними! Не подписывай! Уже и так их все. Пусть продолжают грабить!

Но отец не слушал его.

– Где тот документ, который вы составили?

Пыхтя вытащил из кармана лист бумаги.

– Вот! Прочитайте и подписывайте!

Тихоцкий развернул листок, сначала молча смотрел в него, потом громко прочитал вслух: «Советская власть отдала землю тем, кто ее обрабатывает. Опираясь на это решение, селянство Дувановки, по предложению своего земляка, а ныне большевика из Харькова – Пыхти (Тихоцкий не назвал инициалы, а может быть, их не было), забирает землю помещика Тихоцкого в пользу селян. Земля будет поделена поровну, согласно едокам в семье. Чтоб все было по закону новой Советской власти и христианскому обычаю, ба-

рин должен тоже подписать документ об отчуждении земли тем, кто на ней проливал пот, вкладывал в нее свой труд. От имени громады подписывает харьковский рабочий Пыхтя. От бывшего владельца земли – дворянин Тихоцкий. Благословил сей акт его преподобие иерей Корнил».

Тихоцкий посмотрел на толпу и затем сказал, обращаясь к крестьянам:

– Еще от себя скажу. Отдаю вам землю с мыслью, что она попадет только в те руки, которые смогут ее лелеять, довести ее до ума, – мне для этого не хватило времени. Пусть будет только мир и счастье на этой земле.

Он размашисто подписал документ вечной ручкой, поднесенной ему батюшкой, и продолжил говорить:

– Прости, народ, если было что-то не так. Если я кого обидел или мои предки – простите всех нас. Теперь вы хозяева земли и всего нашего имущества, накопленного за долгие годы. Пусть все будет на пользу вам. А теперь, господа селяне, в вашего разрешения я могу навечно уехать отсюда со своей семьей. Разрешаете?

Его слова, а главное – подписание документа заметно смягчили крестьян, и толпа удовлетворенно загудела: «Нехай едет». Насытившийся зверь, временно успокоившись, зализывал рану.

Тихоцкий отдал подписанную им бумагу Пыхти, не глядя на него, взяв за локоть невестку и свел ее с крыльца; сын, морщась от боли, влез в бричку. Подвода с вещами осталась

стоять во дворе, бричка тронулась и проехала мимо Ивана. Его поразило холодное, непроницаемое лицо старшего Тихоцкого, видимо, переживающего душевную бурю, искаженное от боли лицо сына с неестественно поднятой одной рукой, как у подбитой птицы, отрешенное от всего мира лицо невестки. Они проехали мимо Ивана, не обратив на него внимания, по дороге в сторону Сватовой Лучки. Иван хотел поехать за ними, но животное любопытство – что же будет дальше – удержало его на месте.

Гнев толпы, жажда разрушения прошли. Крестьяне переминались с ноги на ногу, не зная, что делать дальше, зверь притих, затаив жажду мести на того, кто его выпустил из клетки и не дал до конца насладиться свободой. Пыхтя, взяв в руки документ, поднял его над головой и обратился к стоящим:

– Вот и все. Земля теперь ваша. Советская власть предлагает всем вам объединиться в коммуну и в этом имении создать коммунистическое товарищество.

Он не закончил – послышались возмущенные крики: «Не надо коммунии!», «Землю поделим!» «Реманент тоже!» Видимо, этого Пыхтя не ожидал.

– Вы что, дурные! Сказано же, что обществом легче жить, и инвентарь будет обчий. Вместе обработаете землю, и урожай будет у всех. Вот тогда заживете – никакой эксплуатации, сами себе свободные люди. Да здравствует Советская власть! – неожиданно закончил он.

Но криков в ответ, одобряющих его идею о коммуне, не слышалось. Крестьяне, которые оказывали помощь раненному, закричали:

– Прощка помер!

Толпа растерянно обернулась на их крики. Один из охранников, стоявший раньше часовым у ворот усадьбы, бросился к убитому. Убедившись, что это действительно так, он, держа в руках винтовку, тяжелыми, медленными шагами, по-бычьему наклонив голову вперед, зловеще пошел прямо на Пыхтю. Тот, видя это, оглянулся:

– Где мой наган?

– От, – ответил селянин, стоявший за его спиной.

Пыхтя протянул руку, чтобы его взять, но дальше прозвучало:

– Погодь трохи. Поки его не получишь.

Пыхтя растерянно то смотрел на толпу, то переводил взгляд на подходившего крестьянина. Тот ткнул его штыком винтовки в грудь.

– За шо убив Прохора? Шо он тебе зробив поганого?

Пыхтя молчал, обдумывая, что ответить. Толпа притихла и уже, как недавно на Тихоцкого, враждебно смотрела на Пыхтю. Зверь напрягся. Он увидел своего укротителя, а по сути – мучителя, беззащитным и слабым, неспособным к сопротивлению.

– Так он же хотел поджечь усадьбу. Сами видели, как он с огнем...

Пыхтя не договорил. Толпа мстительно смотрела на него, и он опустил голову. Крестьянин с винтовкой произнес:

– Ты не знаешь Прошки. Он просто хотел помять пана. А так он хозяйственный, и не стал бы жечь дом. Ты, городской, не розумиешь этого. Сам ничего не имеешь, готов грабить, а селянин наоборот – все сохраняет. За шо убив?! – заорал на него мужик.

Пыхтя молчал. Толпа зашумела, вперед выскочил крестьянин в овечьем полушубке.

– Я его еще мальцом помню! – закричал он. – Ты всегда какую-нибудь пакость делал соседям! За что тебя посадили да три года дали? Не помъятаешь? Я помню! Украл лошадь у соседа.

– Не у соседа увел! – закричал в ответ Пыхтя. – А у кулака! Он у нас пол урожая взял, нам жрать нечего было! А ты, гадина, до сих пор это помнишь!!

– Помъятаю. Вовремя тогда тебя полиция сцапала! А теперь ты, ворюга и каторжник, революцию делаешь? Всех хочешь ограбить? Как барина, который давно сказал – забирайте все. Почему землю не хочешь дать селянам, а отдаешь коммунии?

– Чтобы вы, дрянные мужичонки, жили лучше! Чтобы снова не появились мироеды, как ты, получившие землю бесплатно! Понял?

Но настроение толпы уже переменялось, и она враждебно смотрела на своего предводителя.

– К суду его! – раздались крики. – Шо он пришел и командует у нас! Сами проживем, без городской помощи! Знаем как!!

Мужик с винтовкой, слыша эти крики, заорал:

– К суду его, суду! Батюшка, будь мировым. За Прохора!

Но священник, отец Корнил, торопливо ответил:

– На все суд Божий. Разберетесь сами, а я побежал, – у меня матушка болеет, и некому ей подать лекарства и поесть.

Он сбежал с крыльца и торопливо пошел со двора. Толпа молчала, озлобленно ощупывая глазами Пыхтю. Зверь напрягся и приготовился к прыжку на своего мучителя.

– Что с ним делать? – заорал крестьянин в овечьем зипуне. – Надоть громадой его судить и немедля! Если он еще к нам приедет снова, то опять убьет кого-нибудь. У него жизнь бандитская! Он городской, и будет нас грабить, как всегда! Стрелять таких, как собак!

Мужик с винтовкой закричал:

– Стрелять в него мало. Повесить! Если бы не он, и с баарином простились по-хорошему, и все живы были бы! Давай вешать! Тащите веревку! – принял он решение.

Пыхтя растерянно следил за смертельными для него приготовлениями. Потом закричал:

– Что вы хотите делать? Да вам, грязным уродам, новая власть дала землю, все дала! Меня партия послала сюда, чтобы вразумить вас к новой жизни, которая начинается сейчас! Сами ж вы не способны что-то сделать для себя, вас как ма-

лых деток надо учить, водить за ручку! Наслушались баек барина да попа, будто бы вам все упадет под ноги, без труда! Вам нужен поводырь, и наша партия им является, – ведет вас к лучшей жизни! Я вам помог, а вы меня в петлю! Дурнями были, дурнями и остались!!

Но уже через верхнюю балку на крыльце пропустили веревку и набросили петлю на шею Пыхти. Он не сопротивлялся.

– Так что, без суда будете вешать? – только и спросил он.

Мужик в зипуне закричал в ответ:

– Вот суд, как над барином! Громада согласна с ним покончить за убийство Прохора? – обратился он к крестьянам.

– Согласна! Так! – раздались недружные угрюмые голоса.

– Вот и весь суд! – радовался мужик в зипуне. – Мы и без вас таперича проживем. Земля наша. Спасибо скажешь на том свете советской власти, но законы у себя мы устанавливаем свои. Коммунии нам не треба. Правильно, мужики?!

На этот раз раздались более дружные голоса о своем согласии.

– Несите скамейку под ноги!

– Не надо, – ответил крестьянин с винтовкой. – Ты лучше помоги мне, – он худой, и так его на веревке подыдем.

Мужик в зипуне с готовностью бросился к нему. Толпа с растерянно-злобным любопытством наблюдала. Зверь бросился на своего укротителя.

– Подумайте, что делаете!?! – прокричал Пыхтя. – Ведь не

по-божески это!..

– А ты с барином по-божески... – раздалось в ответ.

Пыхтя еще что-то хотел сказать, но веревка уже натянулась, петля удавкой перехватила шею, и его последние слова застряли в горле, закончившись удивленным хрипом, тело вытянулось, носками ног он пытался нащупать твердь, потом схватился руками за веревку, будто подтянулся, но сразу же безжизненно обвис, только глаза открывались все шире и бессмысленно-грозно глядели в толпу, застывая на морозе, открылся рот и из него вывалился набок начинающий синеть, еще недавно извергавший на недотеп-селян гневные слова, язык. Двое быстро привязывали к стойке веранды веревку, чтобы не держать мертвый груз на руках. Толпа с изумлением смотрела за происходящим, все свершилось быстро, некогда было думать и рассуждать. Зверь рвал тело своего мучителя огромными кусками, наслаждаясь своей силой и смелостью, наслаждаясь необъятной свободой, которую получил из рук повешенного. Вдруг будто ледяной ветер пробежал у всех коже. Толпа, оробев от ужаса, взглянула на холодные, выпученные глаза своего недавнего вожака и, словно приходя в себя, стала разбегаться торопливо, без крика и слов, тяжело сопя и шаркая подошвами валенок и чуней. Зверь, насытившись, осознал, что он поступил превратно и, облизнув кровавые губы, трусливо побежал в свою клетку, боязливо оглядываясь на ходу на еще теплое тело своего господина. В клетке сейчас было надежней и без-

опасней – прикованный и смиренный раб не вызывает сочувствия или осуждения, его не замечают, как и многих других вещей на свете. Только мужик в зипуне и крестьянин с винтовкой, недавно вешавшие Пыхтю, деловито разворачивали подводу с вещами бывшего барина, чтобы отвезти имущество к себе домой.

Иван наблюдал с ужасом, не верил своим глазам, что все это происходит наяву. Его вывел из безотчетного страшного видения тихий шепот возницы:

– Поехали, барин, отседова. Подобру-поздорову.

Он хватил вожжами застоявшихся лошадей, и те, словно понимая, что надо быстрее унести от этого жуткого места, сразу же взяли в галоп. Иван, вжавшись в сидение, сейчас тоже хотел только одного – быстрее умчаться отсюда. Они доехали до Белокуракино, накормили и напоили лошадей, – сами не ели, – и тронулись в Старобельск.

Теперь перед глазами Ивана тянулась не романтическая степь, а унылая и мрачная. Овраги, небольшие островки дикого кустарника, едва припорошенные темно-синим снегом, распаханые приснеженные поля казались печальными и подавленными. Появились большие глыбы гранитных камней, занесенные в доисторические времена редким в этих местах ледником и неспешно разбросанные по степи. В наступающих сумерках они казались горькими пятнами в этом безграничном приволье.

Иван с возницей решили остановиться в Грабововке, – се-

ле в верстах пятнадцати от Старобельска, на ночевку. Иван не планировал именно сегодня быть в Старобельске, рассчитывая, что переспит в имении, но события в Дувановке спутали планы. Потемну до Старобельска было опасно добираться в это смутное время, тем более в Грабововке жили родители Анны. Жил его дед. Бабушка Ивана умерла несколько лет назад. В детстве Иван почти каждое лето гостил в деревне, но как начал самостоятельную жизнь, сюда не приезжал. Сейчас ему очень хотелось увидеть позабытые, но родные лица, почувствовать тепло близких людей.

Уже стемнело, когда они въехали в село. Возница довез до указанной хаты, крытой соломой и отороченной по бокам побеленными, кривыми столбами, а сам решил переночевать у своих знакомых.

Иван осторожно вошел во двор, где-то рядом заливалась в лае собака, и постучал в крайнее окошко. Открылась дверь, и женский голос громко спросил:

– Кто там? – это был голос его родной тетки – сестры матери, Марфы.

– Тетя Марфа. Это я – Иван Артемов, – на всякий случай, полностью представился Иван.

– Кто? – переспросил голос, и Иван услышал, как женщина сошла с крыльца и пошла к нему. Подошла вплотную и попыталась в темноте рассмотреть пришедшего.

– Не узнала, тетя Марф... я из Луганска. Племянник ваш. Иван.

Женщина тихонько ойкнула от неожиданности и, попросту обняв Ивана, поцеловала его в щеку, даже не разглядев в темноте человека, а веря, что это свой, а не чужой.

– Што ж ты стоишь? Стучишь, як не ридний... заходь!

– Да собака ж?

– Она далече от крыльца привязана. Пошли. У нас зараз свято.

Марфа завела его в сени, где дышала теплом полугодок-телка, и провела в хату.

– Ну, раздягайся. Посмотрю на тебя.

Она поднесла к его лицу керосиновую лампу.

– Правда Иван?.. Повзрослел как...

«Постарел», – подумал про себя Иван. Марфа закричала:

– Дид! Ходи сюды. Внук приихав.

Из комнаты вышел отец его матери Анны – Матвей, когда-то высокий и статный, а ныне сутулый, худой и обросший седой бородой, – его дед. Деда по отцу Иван не видел никогда и не знал, существует ли он вообще на свете. Поэтому ему было приятно видеть морщинистое, родное лицо единственного деда. Матвей сухой, жилистой рукой прижал к своей груди голову Ивана, который был ниже деда ростом, и поцеловал его почему-то в лоб.

– Раздевайся, внучек, и проходи.

Марфа, взволнованная нежданной встречей, торопливо объясняла Ивану о событии, которое должно произойти было сейчас в семье.

– Я думала, шо прийшов батюшка. Будем крестить внучку...

Только сейчас обратил Иван внимание, что в светлице стоит деревянная детская купель с закрепленными по углам свечами. Старый, почерневший от времени стол накрыт новым, расшитым красными и черными цветами рушником. На нем перед иконами Христа и Богоматери стоит толстая восковая свеча. На кухне был накрыт стол, и Иван почувствовал, что он сильно голоден.

– Вовремя не окрестили внучку, – объясняла Марфа, – хворала. А зараз хрестильня закрыта. Холодно и топить ни-

чем. А батюшка, он добрый, решил дома окрестить. Пора, уж четвертый месяц пошел...

Вышла из комнаты дочь Марфы – Ульяна, рано располневшая молодуха в простом ситцевом платье и накинутой на плечи шали. На руках у нее был ребенок. Иван поздоровался с двоюродной сестрой, уже не целуясь. Надо было посмотреть на ребенка, хотя Иван с большим удовольствием сел бы за праздничный стол.

– Девочка? – почему-то неопределенно спросил Иван, будто не слышал ранее объяснений тетки. – А мы даже и не знали, что у вас прибавление... как назвали?

– Катерина. Но как батюшка скажет, – голос Ульяны звучал спокойно и ровно. Она крепко прижимала к груди ребенка, который спал. – Спит. Пойду, положу пока на кровать.

И она ушла с ребенком в маленькую комнатку, где вместо дверей висела занавеска.

Марфа была младшей сестрой Анны. Ее муж Степан жил в приймах. Так называли тех мужиков, которые приходили жить в дом жены, а не наоборот – приводили жену в дом своих родителей. У них долго не было детей, только одна Уля, появившаяся на свет, когда им было за тридцать. Муж Ульяны, – тоже Иван, пошел по стопам тестя в приимы. Как будто в этом доме установилась такая, не совсем приятная в глазах других, традиция.

Грабововку основали во времена Екатерины Великой беглые крестьяне с Правобережной Украины, спасавшиеся от

польской шляхты. Было в то время государство спеси и беспечности, под названием Речь Посполитая, которое доживало последние годы своего, вроде бы независимого, существования. Россия отвоевала так называемое Дикое Поле у врагов, и заселяла эти земли русскими крестьянами-крепостными из других губерний. Сначала было разрешено селиться в этих местах украинцам, которые бежали от польского крепостнического гнета, но потом запрещено. Русские помещики хотели взять богатые черноземы себе. Переселенцы-украинцы, переходя жить на территорию России, и занимая пустующие земли, становились свободными, а не крепостными, в отличие от русских крестьян. А это не нравилось российским крепостникам. Земля стала важным аргументом в запрещении переселения украинцев в южнорусские степи. Разрушались их села, но украинские переселенцы упорно возрождали сожженное и разоренное, и выстояли.

Так появились в этих местах украинские села с удивительными названиями – Грабововка, Дубововка, Лозововка. Рядом селились переселенцы из России, которые давали своим деревням ласковые, мирные названия – Боровое, Вишневое, Тихое... обосновались здесь старообрядцы из России – и встали села, названные в честь своих вожаков – Алексеевка, Чмыровка, Макарьино. Но старообрядцев уже давно не было, их дети и внуки постепенно стали истинно православными, только обветшалые старообрядческие церкви напоминали о прошлом здешних обитателей.

Народы все века жили дружно. Серьезных оскорблений «хохлы» и «кацапы» в отношении друг к другу не допускали. Веками выработывалась в степях Дикого Поля национальная терпимость. Людей ценили за деловую хватку, профессиональное умение, храбрость. А других вспоминали за лукавство, пьянство, нечестность... селились в Диком Поле сербы и хорваты с Балкан, бежавшие от турецкого ига, татары и поляки, калмыки и немцы, оседали цыгане, которым надоедала вольная кочевая жизнь, и множество других народов. Рядом с хатами слобожан, подпиравшими крыши снаружи столбами, стояли избы россиян, подслеповатые окна которых закрывались на ночь ставнями. Сложенные из песчаника низенькие сакли татар окружались каменным забориком. Из обработанного камня строились добротные здания немцев. Общим, что объединяло эти домашние очаги, было то, что они почти все были крыты соломой. Лишь у помещиков да зажиточных крестьян дома крылись черепицей или железом. Люди знали друг друга с детства, старики рассказывали о прошлом молодым, и каждый знал о другом во многих поколениях. Если дотошнее разобраться в семейных связях, то можно увидеть, что многие народы породнились или являлись друзьями с незапамятных времен. Так что общий корень всегда находился. Русские брали в жены украинок. У русских негласно считалось, что хохлушки – самые преданные жены, беззаветно любят детей, что они самые хозяйственные и никогда не дадут разориться родному очагу,

и вдобавок могут работать с утра до утра. Российские женихи ценились за удаль и бескорыстие, честность и упорство в работе, привязанности к семье и терпеливость. Часто бывало и так – когда жена-хохлушка заводилась на своего мужа-кацапа и пилила его долго и смачно, а он лишь молча кряхтел, зная, что сердце у дружины отходчивое. Но все сва-ры проходили, и дружно тянули нелегкую селянскую лямку русско-украинские и другие смешанные семьи.

Бывало и так, что проходившее через степные села на запад, а потом обратно, донские казаки, – то ли воевать с турецкими басурманами, то ли еще с кем-то, а может, просто охранять закатные рубежи России, приглядывали себе милостивую крепкую деваху. Потом приезжали со сватами и, выпив с отцом и его родней забористой горилки, отыграв свадьбу, а иногда и без нее, увозили малороссийку к себе на Дон. Царь, вроде бы освободивший крестьян от панов, но не давший им земли, поставил здешних девчат в невыгодное положение. Земли всегда мало, и бабам она не полагалась. И вот невесты вынуждены были уходить в города, если во время не подворачивался местный жених. А в города шли раб-ботяги из Расаи, – так и там смешивался народ. Совместная жизнь разных народов, населявших этот край, отражалась в их обычаях и повседневной жизни. И одежда была одинаковой, и орудия для запашки и уборки урожая. В праздники, на свадьбах пелись искрометно-веселые и тоскливо-грустные украинские песни, и раздольно-задумчивые, как бескрайняя

Россия песни русские. Во всю широкую деревенскую улицу, которая вдруг становилась маленькой, лихие танцоры вскидывали под самые стрехи крыш кто босые ноги, а кто в черевичках, неслись в озорном гопаке, безрассудной камаринской, шаловливой барыне... девчата, в ярких, подвязанных под подбородком хустках, вели медленные, величавые хороводы, лукаво стреляя острыми глазами на хлопцев. И как было парубкам устоять перед тем, чтобы не ворваться в хоровод и не ущипнуть какую-нибудь, желательно свою симпатию, за тугое бедро, а тем паче – за крепкую пышную грудь, ведь и песни располагали к этому.

О, оре Семен, оре та чорными волами,
Його жинка Катеринка гуляе с москалями.

Или:

Стеньку Разина прельстила, к себе в гости заманила,
За убран стол посадила, пивом-медом угостила,
И допьяна напоила, на кровать спать положила.

А под москалем подразумевались солдаты, проходившие на юг для войны с турками.

Да и язык изменился у этих людей. Украинцы употребляли в разговоре русские слова, а русские – украинские. Филологи из России отмечали, что это нерусский язык, а приезжавшие западные украинцы, что жили поближе к Европе, недовольно морщились – это не украинский язык, и называли его презрительно: суржилом. А люди жили, пахали землю, делились радостью и горечью и не задумывались – кто

они. Селяне, да и селяне. Какой еще разговор может быть, когда кругом все такие – корни где-то далеко остались, а ветви раскинулись широко, а листья на них – все одинаковы. Кто мы? Чи украинцы, а может – русские? Малороссы, может? А может, просто народ, с весны до осени не поднимающий очи от земли, а зимой набирающий силу для новой тяжелой крестьянской работы...

Так жили и в Грабововке. Дед Матвей хотя и жил в своей хате, но хозяином уже не был. Жена умерла перед войной, и он ждал своей смерти и открыто об этом говорил домашним и сельчанам. Зять Степан заправлял хозяйством, но, как дед видел – неумело, суетно, а в конечном счете – лениво. Хатка была мала, и дед Матвей летом и зимой, после смерти старой, жил в летней мазанке, где готовили пойло и кашу коровам и свиньям. В хозяйстве были две коровы, бычок, подрастала телка, три свиньи да овцы с баранами, чтобы был кожушок на зиму.

Дед Матвей расспрашивал внука о жизни в городе, дочке и всех остальных внуках. Радовался за Ивана, что у него хорошо идут дела, переживал за Аркадия, что он о себе мало весточек дает, огорчился за Сергея, что не уберег себя на фронте.

Вскоре пришел муж Ульяны Иван, с будущими кумом и кумой, а потом и Степан с батюшкой, которого он привез на взятом на время у соседа тарантасе. Степан уже был навеселе, узнал Ивана и долго жал ему руку:

– О, привет, племяш.

Батюшка поздоровался со всеми и стал надевать рясу, привезенную им в сумке. Он был молод и бородат. От родинки на щеке выше бороды тянулись жесткие волосы, ладонь была крупной с толстыми пальцами, как у трудового человека. Он разговаривал со всеми, а при необходимости с каждым в отдельности, рассказывал смешные случаи, которые случаются при крещении. Священник переставил поближе к купели керосиновую лампу и спросил родителей:

– Как нарекли новорожденную?

– Хотим Катериной назвать. Но как вы скажите.

– Хорошее имя, – одобрил батюшка. Видимо, он не так давно приехал из России и говорил на чистом русском языке. – А то иногда выдумают такое имя, особенно сейчас, в войну, какого ни в одном календаре не сыщешь. Ох, и трудно доказать, что такого имени в нашем народе нет. Пусть будет Екатериной.

Говорил он это всем, но Иван чувствовал, что это больше относится к нему, как городскому и более культурному, чем окружающие, человеку. Наконец, батюшка, удалив родителей, начал крещение. Долго читал молитву, окунал руки в купель, когда провозглашал «Господи помилуй!» и «Аминь!», и Ивану приходилось вместе со всеми креститься, вдыхая аппетитный запах еды от печки и накрытого стола. Он только думал: «Когда это кончится и быстрее бы за стол». Но обряд продолжался долго, и это злило Ивана: «Что он, не может ко-

роче?»). Но батюшка был молод и проводил обряд крещения на совесть. Наконец все поцеловали крест, и орущую малютку отдали матери. Святой отец переоделся в мирское. Муж Ульяны пытался сунуть ему в руки деньги, но батюшка решительно отказался, и это не ускользнуло от острого взгляда Ивана, который чуял деньги на расстоянии. За это ему батюшка понравился и захотелось с ним поговорить, излить тягостную боль в душе, появившуюся сегодня. Священника пригласили к столу, на что тот ответил:

– Да, положено за святой обряд выпить.

Марфа проговорила, семена словами:

– Положено. Крещение закончилось. А у нас гости. Вот, Иван, родня наша из Луганска. Он богатый сам и на богатой оженился. С нами не сравнить. Так шо, отец Александр, присаживайтесь просто, как гость.

– Что ж, просто посидеть можно. Хочу с гостем поговорить.

– Вот и побалакаете, – обрадовалась Марфа.

Все сели за тесный стол. Иван сидел на углу вместе с отцом Александром, рядом – дед. Стол был накрыт небогато, но сытно: жареные куры, вареная свинина с картошкой, соленые огурцы и другая нехитрая крестьянская снедь. Степан открыл бутылку государственной водки и аккуратно налил в стаканы. Иван чувствовал страшный голод, который сейчас дошел до резей в желудке. Подняли стаканы, чокнулись и выпили. Батюшка, уже как гость, а не священник, несколько-

ми большими глотками опорожнил стакан. Иван был небольшим любителем выпивки, тем более такими порциями, отпил около половины и набросился на картошку с мясом, вперемежку с хрустящим огурчиком. Но не тут-то было ему пость. Дядя Степан загудел:

– Ванюша, не по-христиански, допей до дна. Хрещеницу забижаешь.

Другие, как показалось Ивану, осуждающе посмотрели на него, и, мысленно махнув на все рукой, он допил стакан до дна. Немного погодя ему стало веселей и показалось, что в комнате светлей. Он быстро ел, слабо прожевывая пищу, глотая мясо целыми кусками, но зато с удовлетворением чувствовал, как насыщается его желудок. Постепенно перешли к разговорам. Отца Александра, по всему видно, интересовал гость из города, и он спросил Ивана:

– В Луганске, небось, уже полностью правит новая власть?

– Непонятно еще, кто у нас хозяин, но новая власть командует, декреты издает. А народ как жил, так и живет.

– Говорят, что она не больно жалует прежних хозяев?

– Да, кричат, что теперь хозяева рабочие и крестьяне, зовут все забрать у буржуев, но рабочие не сильно хотят брать у хозяев их заводы.

– Я читал и слышал, что все-таки берут они у хозяев их имущество, заселяют квартиры хорошие, а тех выбрасывают на улицу. Правда?

– Не совсем. Но есть и такое. Но делают это те бездельни-

ки, пьяницы, которые никогда раньше по-хорошему не работали, а шлялись по улицам и кричали громче других, что им плохо живется. Вот из них создали дружины красной гвардии, ходят пугают хозяев, иногда грабят, но по нынешним временам это можно считать нормой. Те рабочие, которые по-настоящему работают, не сильно идут в такие отряды. Скоро вся эта дрянь схлынет, и будем жить по-прежнему. А с теми, кто сейчас бегают и размахивает винтовкой, рассчитаются сполна. Это временная смута. Так считает мой тесть.

Ошибался Иван с тестем. Это была не смута, а руководимый неизвестными людьми, о которых, может, никогда и не узнают россияне, революционный процесс. Отец Александр внимательно слушал, устремив на Ивана умные, серо-голубые глаза, не перебивал его, откладывая в своем уме мирскую жизнь людей. Но вмешался Степан, который заметно охмелел и был готов к «умному» разговору.

– Не, племян, извиняй меня, но ты как буржуй балакаешь. Их, как и наших мироедов, люд скоро изведет на нет.

– За что? – удивился Иван. Он до сих считал себя работагой и не мог понять сути происходящих событий, считая все временным явлением.

– Сам знаешь! На нашем горбу ездили всю жизнь, теперь закругляйтесь. Будете вкалывать как и все мы. Понял?

– Но я ж тоже работаю! Не сижу без дела и летом, и зимой. Вот ты, дядя, сейчас зимой отдыхаешь, а я...

– Ты работаешь по-пански, – перебил его Степан. – А бу-

дешь работать, как селянин или рабочий. Зараз все равны. Понял? Я тоже стал хозяином. Мне землю выделили... знаешь, сколько? – торжествующе посмотрев на Ивана и выдержав паузу, сам же ответил: – Почти пятнадцать десятин. Лично отмерял. Теперь заведу хозяйство, в довольствии жить будем.

– Ты, дядь, хочешь стать хозяином, а нам этого не разрешаешь, – с обидой произнес Иван.

Но в разговор вмешалась Марфа, прикрикнув на мужа:

– Расхвастался! Да ты ж ни до чего не прибитый. Землю попуступустишь. Если батька, да дай Бог, зятек не примутся за землю всерьез, так и будешь ходить в дырявых чоботах. Ой, батюшка, простите. Пришли люди гулять, а он в серьезные балачки лезет.

– Ничего плохого нет. Язык один и в будни, и в праздник. Нехай балакает.

Марфа знала, за что ругала своего непутевого Степана. Был он и добр, и хорош в семье, любил выпить и погулять, но не очень любил ходить в поле и за скотиной. Поэтому-то и говорила Марфа, что вряд ли Степан со своим старанием сможет поднять землю, которая нежданно-негаданно свалилась к его ногам. Заговорил дед Матвей:

– Эх, был бы я помоложе, переорал бы не только пятнадцать десятин, а гораздо больше. Все життя мечтал о своей землице, а зараз, колы вмираты треба, дали ее окаянную! – Показалось, что даже слеза навернулась на его, выцветшие

под степным палящим солнцем, глаза. – Эх, силушки бы мне... но всему свой час. Бог дае, Бог бере. Вот дал Он зараз клад селянам, – распорядиться бы им по-доброму, но полсела переведут землю в бестолочь.

Отец Александр согласно кивнул:

– Думаю, а что у нас деется в селе? С прошлого года не был. Тоже, наверное, как везде.

– А вы не местный? – поинтересовался Иван.

– Нет. Я из Тульской губернии. Мои старые тоже крестьянствуют. Отец не хотел, чтобы я был священнослужителем. Все хозяйство думал отдать мне как наследнику. У меня еще две сестры. А я больше книги читал, хозяйствовать не влекло. А отец мне все говорил: «Учись, Санька, землю понимать». А мне этого не хотелось, к другому присыхал, к святому учению.

– Так и мирское имя ваше – Александр?

– Да, Александр Митрофанович. Духовное мне оставили тоже. Перевернулся мир. Народ расейский долго был кротким и тихим. Видимо, его терпение лопнуло, раз поддался бесовскому соблазну. Все хотят быть людьми, а такое разве возможно?

Степан пьяно вмешался:

– Можно! Все отберем у куркулей, и будут они равными с нами. Так же Христос говорит, что все люди равны.

Отец Александр согласно кивнул, видимо, он не привык сразу же все опровергать или спорить, но дополнил:

– Христос говорит, что все люди перед Богом равны, а в мирской суете это пока невозможно... – и мягко продолжил: – Христос всегда призывал к миру и ненасилию над ближним, никогда не требовал проливать чужую кровь, отдал за честь людей свою. А крови на Руси, вероятно, будет много, как никогда, – все идет к этому. Раньше пили народную кровь одни изверги, – теперь будут пить другие. Свято место пустым не бывает. Не успели мы укоренить в нашем народе христово учение и его заповеди... эх, родился бы Христос на тыщу или две лет раньше, то мысли его мы бы сделали мыслями всех людей – и богатых, и бедных!

Иван удивленно слушал священника. Так откровенно не изъяснялся с ним даже тесть, которого он чтит. Такие слова мог сказать только его брат Сергей – он большевик – или голытьба, тучами тыняющаяся на юге России. Он тихо спросил, называя батюшку по-мирскому:

– Александр Митрофанович, так вы за революцию, за этих нищих, которые не умели и не хотят работать, а пограбить – хоть сейчас? У них же ничего не получится, они разорят державу, все по ветру пустят. Неужели это Божеское дело?

– Народ хочет справедливости и это главное, по-божески. Но он не понимает, что справедливость можно обрести только на небесах. На земле множество злых людей, и они никогда не допустят справедливости. Они перессорят всех людей, будут заставляя грызть глотки друг другу, как и раньше. Прежде, чем властвовать, надо изгнать из своей души

грязные помыслы, а для этого одной жизни мало, чтобы стать святым и бескорыстным для народа. Вот сейчас революция – благое дело для неимущих, а уже в их души заронили зависть и зло против других. Благо, если бы мирно орали, а то просто рушат все, а созидания доброго, христианского нет. Черные дни наступают для России. Когда кончатся они – неизведанно.

Государственная водка была допита, и Степан наливал в стаканы самогон:

– Давайте, батюшка, выпьем за то, чтобы селянину было хорошо... и спасибо новой власти, что дала землю. Теперь мы истинно все равны, как того хотел Христос. Давайте за Христа и за большевиков дернем. Они провели Божеское дело.

Но отец Александр, несмотря на свою молодость и выпитое, молча отстранил стакан с самогонкой и с неодобрением посмотрел на Степана. Это увидела Марфа и снова зашумела на мужа:

– У, дурень, дорвався до горилки, як вол до калюжи! Заговкни и слухай вумных. Сам дурак и других за них считаешь!

Но отец Александр вдруг заторопился и стал благодарить хозяев, собираясь уходить:

– Спасибо. Я ж на минуточку остался, чтобы поговорить со свежим человеком. А вот, засиделся.

Иван поддержал свою тетку и недовольно сказал Степану:

– Ты, дядя, действительно мелешь пустое. Вот знаешь, я сегодня был в Дувановке. Насмотрелся... – он стал рассказывать всем. – Сначала крестьяне поиздевались над помещиком и не дали ему по-хорошему уехать. В грязь растерли его, сына, невестку. Раненному сыну руки выкручивали, а потом их отпустили, а своего жожака повесили... прямо на крылечке. Знаете – за что? За то, что он ими, оказывается, не так руководил. А он-то большевик, из города. Добро им сделал. Землю помог взять, помещика выгнал. Где добро, где зло? Не понимаешь, Степан? Я вот тоже не понимаю.

Батюшка, приговорившийся было уходить, задержался:

– Грани между добром и злом не существует. В русском мужике они переливаются друг в друга. Сегодня больше зла – он всех поднимет на вилы и себя проткнет от злости, ничего не пожалеет. Станет больше добра – все свое отдаст, накормит, в тепле устроит, душу свою отдаст даже бесу, но не разумея этого. Потому, что не видит в то время разницы – для него все хороши и едины. Становится как бы слепым. А его слепотой пользуются нечистые люди. А он честен, наивен, – делает, что скажут. Только не буди в нем зла, тогда наш мужик лют и опасен. Не наполняй его душу злом, – он неуправим, перевернет вся и всех, горя всем принесет, а всех больше – себе, не понимая сего, и думает, что сделал добро. Но я считаю, что наш народ добр, и душа его открыта для всех, только не дай Господь, чтобы в него злоба вошла.

– Народишко, он буйный, – прокашлялся дед Матвей. –

Но он и смиренный. Разгорячится – прах идет, отойдет – переживает, с горя пьет, чтобы забыться. А потом снова за старое. Вечно в нас это есть и будет. Неразумные мы – люди.

Отец Александр поблагодарил хозяев за вечерю, попрощался со всеми, благословил их святым крестом, никого не укорил и вышел из хаты вместе с зятем, который должен был отвезти его домой. Марфа вышла провожать на подворье. Кумовья тоже засобирались домой. В хате остались только дед Матвей и Иван. Дед молча смотрел подслеповатыми глазами на лампу, потом снова стал расспрашивать Ивана, как живет семья. Погоревал о дочери – Анне:

– Не забажала жити в селе, ушла. Што в городе краще? Бедность всю жизнь у нее там. Да и здесь ей тогда нечего было делать.

Вспомнил о Сергее и, узнав, что он стал командиром, похвалил:

– Добрый хлопец. Самостоятельный. Всегда хотел сделать по-своему. Петр – молчалив, как лошадь. Знай – пашет. Добрый хлопец. А Аркадию шо нужно було? С сирой душой, да в паны. Може, штось и получится. Добрый хлопец.

Всех внуков дед Матвей оценил хорошими ребятами, и это Ивану было приятно. Только его он не оценил, за что Иван был благодарен деду. Потом Марфа, захватившая только часть разговора, стала расспрашивать о сестре и племянниках. Степан снова наливал и пил. Иван твердо отказался от водки. Степан по-пьяному буровил, что теперь он за-

живет, всем это покажет, но не уточнял – как. Потом стали ложиться спать. Места было мало. Дед по привычке пошел спать в холодную летнюю кухню. Мужу Марфа постелила в сенях с телкой: «Там тепло, и запах навоза пьяному нравится». Ивану постелила на полу в комнате. От усталости он долго не мог заснуть, в голову лезли кошмары прошедшего дня. Проснулся от тяжелого сна, когда Марфа стала хозяйничать дома. Было еще рано, но Иван стал собираться в дорогу. Встали остальные и до завтрака делали работу на базу. Марфа завернула в чистую холстину кусок сала в подарок сестре Анне. Иван вначале отказывался, потом взял. Прощание было каким-то тягостным. Приглашали друг друга в гости, но никто не верил в серьезность новых встреч. Еще затемно Иван со своим возницей уехал в Старобельск.

За три дня переговоров с купцами Старобельска, Айдара и других мест Иван закупил, по его подсчетам, около пятидесяти тысяч пудов хлеба. Это его радовало – прибыль выходила немалая. Единственного он не знал, да и не вникал в сложность вопроса – хлеб предназначался врагам России, с которыми сотрудничала украинская рада. Но он делал свое купеческое дело добросовестно, с удовольствием.

Конец ноября выдался холодным и промозглым, что всегда бывает в этих местах. Тяжелые влажные ветры гуляли над Луганском, изредка выпадал снег, который смерзлся в ледяную корку. Дворники почему-то перестали его рубить, в отличие от прошлых лет. На улицах было скользко и грязно. Почти каждую ночь происходили грабежи, людей раздевали и грабили прямо на улицах. Сергею Артемову почти каждую ночь приходилось нести патрульную службу, да и днем тоже работы хватало. Однажды вечером он немного отстал от своих патрульных и, когда догнал их, увидел, что они задержали какого-то человека. Уже начался комендантский час, и патруль хотел отвести задержанного в совет для выяснения личности. Человек упрашивал не задерживать его, объясняя, что он идет с работы и зашел в аптеку Гуревича купить боржомской воды и лекарства. Может быть, молодые патрульные, старательно исполняющие свои обязанности, взяли бы его, но Сергей узнал в нем главного конструктора патронного завода – Шнейдера, и сказал ребятам, чтобы его отпустили. Шнейдер вежливо поблагодарил Сергея и спросил:

– Вы идете не в сторону Английской улицы?

– Нет.

– Там тоже находится патруль и может еще раз задержать.

А то бы вместе прошли, и мне было бы спокойней. Хоро-

шо... я пойду, может, никто больше не задержит.

Сергей знал Шнейдера, как рабочие начальника, и с уважением относился к нему. У Шнейдера была великолепная память, он многих, даже рабочих, знал в лицо. Недавно он разговаривал с Сергеем и сейчас узнал его.

– Я вас провожу домой, – предложил Сергей. – А вы, – обратился к патрульным, – идите в совет, я скоро подойду.

Сначала шли молча. Шнейдер осторожной мягкостью переставлял ноги по ледяному тротуару, стараясь не поскользнуться.

– Вы меня, господин Шнейдер, не узнали?

– Узнал. Артемов. Недавно с фронта. Правильно?

– Да.

Они подошли к двухэтажному дому, где жил Шнейдер.

– Вот и дошли. До свидания.

– Спасибо, что проводили. Не хотите ли зайти ко мне в гости? Попьем чай. У меня китайский, еще со старых запасов остался.

Сергей хотел было отказаться, но Шнейдер мягко, но настойчиво произнес:

– Пойдемте к нам. На улице холодно, вам необходимо согреться, чтобы не было простуды. И дети мои будут рады. Они просто бредят революцией и большевиками. Старший – просто воспитан на истории французской революции.

Сергей перестал колебаться, тем более ему было приятно, что такой человек приглашает его к себе в дом. Шней-

дер занимал оба этажа. Это был его личный дом, построенный по собственному проекту лет пятнадцать назад. Шнейдер жил в Луганске более двадцати лет. Приехал начинающим инженером из Германии на завод Гартмана, думая заработать и накопить денег, а потом отправиться назад в милую Германию и открыть там свое дело. Но Гартман, на паровозостроительном, начинающим работу землякам платил немного, и Шнейдер решил перейти на патронный завод. Патронный завод был государственным, и платили там инженерам и рабочим на четверть-половину больше, чем на гартмановском. Тем более, Шнейдеру предложили более высокую должность, и он согласился на переход. Цепкий рациональный ум, немецкая пунктуальность, умение ладить с людьми снискали ему авторитет в заводской среде. В войну, – несмотря на то, что он был немцем, – назначили на должность главного конструктора. Его мечты об отъезде на родину давно развеялись, когда он женился на луганской красавице, – дочери предводителя местного дворянства Пакарина – Наталье или, как ее называли на иностранном лад – Натали. У них было двое детей. Старшему сыну было уже пятнадцать лет, дочери – двенадцать. Он любил свою жену и детей с истинно немецким сентиментализмом и сердечной строгостью, которые у каждого немца в крови. Когда-то его звали Бруно, отца – Иоганном, а в России Шнейдер стал Борисом Ивановичем – немецкая душа в русской оболочке. До войны почти каждый год ездил в Германию, горделиво по-

казывал своим родственникам очаровательную жену и прелестных детей. Его звали домой, но дети выросли, ходили в русскую школу, унаследовали от матери не только красоту, но и открытость души, чувство привязанности к России, от отца – любознательный ум, умение анализировать происходящее и общее чувство привязанности и верности к семье. Мечты о возвращении остались мечтами. Шнейдер не просто смирился с этим, он понял, что его родина теперь здесь – в Луганске. Много душевных страданий принесла ему война с соотечественниками, но он выбрал твердую линию: будет служить новой родине – России. Как иностранец он все-таки смотрел на происходящие события посторонним взглядом. Революцию он не принял своим умом, но душой чувствовал, что народ, совершивший такой поступок, где-то прав. Сейчас ему было интересно поговорить с Сергеем, показать живого большевика сыну, развеять тот вакуум в душе, который сложился с войной и революцией, когда в гости или в кинотеатр ходить стало опасно, а иногда и невозможно.

Они вошли в дом. На первом этаже располагались кухня, столовая, библиотека, на втором жила семья. Старая служанка, жившая у них много лет, открыла дверь. Они прошли в зал для гостей. Вышла жена – стройная, с красивым, начинающим, правда, увядать лицом. Сначала она недовольно поморщилась, увидев, что гость одет в солдатскую гимнастерку и яловые сапоги, но муж знает, кого приглашать в дом, и она приветливо улыбнулась и пригласила садиться. Сергей

чувствовал себя неловко в этой аккуратной комнате, присел на самый краешек кресла, боясь сесть глубже, чтобы не повредить его. Шнейдер снял пиджак и остался в жилетке, но с галстуком. Он выглядел усталым и несколько пожилым человеком. Обратившись к жене, он сказал, чтобы служанка подала чай и еще чего-нибудь для «легкого» ужина, – вероятно, гость проголодался. Но Сергей с такой энергией замотал головой в знак отрицания у него чувства голода и твердо выговорил: «Нет!», что хозяева не настаивали. Жена сказала, что не надо тревожить горничную, она за день устала, и что подаст чай сама. Через минуту она расставила чашечки на низеньком, маленьком столике. Сергею никогда раньше не приходилось сидеть за таким низким столиком, – колени упирались в его края, руки некуда было спрятать, и он уже жалел, что согласился зайти к инженеру. Но хозяева будто не замечали неловкости гостя, жена разлила чай по маленьким чашечкам и присела рядом сама. Сергей не знал, что делать – то ли сразу проглотить все, или подождать, когда хозяева будут допивать, и потом быстро выпить самому, и упрекал себя за то, что раньше, хотя бы в книжках, не обратил внимания на такие приемы.

– Давайте чай пить, – обратилась ко всем жена.

– Спасибо, Натали, – ответил Шнейдер, подвинул кресло ближе к столику, положил маленькими щипчиками сахар в свою чашечку.

Сергей напряженно думал, как ему поступить, и в итоге

неуклюже зацепил миниатюрными щипчиками пиленный кусочек сахара и бросил в свою чашку. Жена Шнейдера предложила:

– Не стесняйтесь, кладите больше.

– Нет, нет! – возразил Сергей.

Но она, несмотря на его протесты, положила ему еще несколько кусочков.

– Вы знаете, как скучно стало сейчас жить... вечерами мы уже в гости не ходим, и к нам не ходят. Мы каждому гостю рады.

«Особенно мне», – с иронией подумал Сергей.

– Как вы считаете, скоро все это закончится, и станем жить как прежде? – завела она светский разговор.

– Как только всех буржуев прогоним, установим по всей стране свой порядок, так заживем, – но не по-старому, а по-новому, – заученно, по-солдатски ответил Сергей.

– А долго еще буржуев будете прогонять?

– Думаю, недолго. Врагов осталось немного.

– Хорошо, что мы не буржуи. Нас же не прогонит Советская власть?

– Вас – нет. Спецы нашей рабочей власти нужны. Без них мы ничто.

Шнейдер пока молчал. Видимо, в семье было заведено так, что подобные разговоры начинала жена. Но вот он вмешался:

– Дорогая, а кто твой отец? Ты забыла?

– А кто у вас отец? – переспросил почему-то Сергей.

– Предводитель Славяносербского дворянства, Пакарин.

Вы удивлены?

Сергей промолчал. Он слышал об этом человеке и даже видел его до войны на народных праздниках. Тот имел имение недалеко от Славяносербска.

– Вы же знаете – мой отец отказался от всей своей земли в пользу местных крестьян. Поэтому он уже не помещик и не буржуй. Будет работать в суде. Его же вы не тронете?

– Нет, если он все честно отдал трудящимся и будет, как все, работать.

– Вот видишь, милый, – обратилась жена к Шнейдеру. – И папе ничего не будет. Не надо уезжать в Германию, да еще со взрослыми детьми. Новая власть справедливо разберется с каждым, и мы будем жить как прежде. Ты прекрасный инженер, тебя тем более никто не тронет.

Шнейдер улыбнулся, слушая наивные рассуждения любимой Натали, но сам думал о чем-то другом. Жена еще немного поговорила с Сергеем, поняла, что ее обязанности за столом уже закончились и, мило улыбнувшись, пояснила, что надо уделить внимание перед сном детям; попрощавшись, ушла. Шнейдер снова неторопливо разлил чай и спросил Сергея:

– Вы уверены, что вам удастся создать новый порядок?

– Кому?

– Большевикам. Затеяли вы очень большое дело. Такого

история не знала. Но есть ли уверенность, что доведете дело до конца?

– Есть. Потому что большевики вместе с народом. А эта сила все перевернет и построит новое.

Вошел сын, худощавый в мать – подросток. Поздоровавшись, он сел на диван, вдали от взрослых. Видимо, мать сообщила ему о необычном госте. Шнейдер кивнул на приветствие сына и продолжил разговор:

– Да, на такой шаг может пойти только великий народ. Широко, размашисто действовать может не каждый. Немец прежде подумает, все отмерит, а потом отложит все на потом. Еще никто в мире не брался за такое – полностью уничтожить эксплуатацию. А получится ли у вас?

– Получится, еще как получится! – горячо ответил Сергей. – Народ хочет жить по-новому, отбросить все старое и войти в новый мир чистым душой и телом. Каждый будет работать на всех, а все будут помогать одному. И тогда не будет униженных, бедных, попрошайек – все будут равны. Проклятая старость не будет в тягость. Старые люди будут воспитывать детей и будут в почете. Не как сейчас. Все, кто не работает, будут учиться, отдыхать по-человечески, как сейчас это делают буржуи. Человек будет трудиться не ради корки хлеба, а ради радости других. Все будут свободны, равны, красивы, умны...

Сергей замолчал, удивленно глядя на улыбающегося Шнейдера. Ему стало стыдно за свой порыв. Шнейдер заго-

ворил:

– Да, на такой шаг способен только великий народ. Повторюсь, но на западе сначала каждый бы член общества посчитал, во что это выльется. Поняв, что хоть временно будет плохо, отказался бы от всех своих идей и такой опасной затеи. Только Россия может воплотить сокровенные мечты величайших мыслителей. В том числе и немецких, не только Маркса и Энгельса, которых вы почитаете, но и других, которые вам, Сергей, неизвестны. Поистине великая и непредсказуемая страна! Страна чувств и великих замыслов, ей под силу самые смелые, разрушительные шаги. Недаром ее любили и боялись все иностранцы. Я в этом не исключение... поэтому она мне нравится. Россия живет не по-мелочному, а крупно. Мир содрогается, когда Россия приходит в движение, мир рушится, когда Россия перестраивается. Поистине великая страна в своей детско-азиатской непосредственности. Захотела – разрушила старый мир, а как строить новый – толком не знает. Потом, по ходу разберется! Я все слышу это – жить по-новому. Даже стало надоедать. А как – по-новому?!

Шнейдер говорил, как бы размышляя сам с собой, и Сергей до конца не понимал его рассуждения, но чувствовал, что он не принимает революцию.

– А так. Все будут управлять государством, все трудиться. Если дать человеку власть, он быстро научится управлять государством. – В ответ Шнейдер снисходительно улыбнулся.

ся. – Рабочий не глупый, если он делает такие детали и станки. Его пока на допускали к управлению страной. И вот он все построит по-новому... вы не верите?

– Верю. Но я думаю так: если самый честный рабочий станет руководителем государства или членом парламента, то он уже не будет рабочим. Он станет тем же буржуа, какие были и есть в стране, и вместо старых буржуа станет обманывать и эксплуатировать рабочих, бывших своих товарищей. Это диалектика жизни, и примеры других стран это показали. Вот, например, посмотрите на Америку. Там многие миллионеры, в отличие от Европы, вышли их рабочих, – сами трудились в поте лица, были эксплуатируемыми, а стали богатыми – и что они делают? Еще жестче, чем старые буржуа, эксплуатируют своих бывших товарищей! Инстинкт человека командовать другими выше чувства справедливости и равенства. Поэтому и ваши руководители, когда будет нужно, применят силу к рабочим. Пустят кровь всего народа. Природа устроена таким образом, и не вина большевиков, если у них получится не так, как они задумывали.

Сергей обдумывал слова Шнейдера и, хотя чувствовал, что его знания не могут сравниться со знаниями инженера, но упрямо продолжал:

– Все-таки вы неправы. Вы не можете понять, что люди будут совсем другими. Им не нужно будет унижать других, у них и руководителей ничего не будет, а когда человек ничего не имеет, то ему не будет смысла эксплуатировать и об-

манывать других. Мы не похожи на Европу и Америку, мы воспитаем по-другому себя и весь народ. Нашему примеру последуют их рабочие, и будет в мире мировая революция.

Не понимал Сергей, что он сейчас говорил так же, как и его марксистские учителя в окопах, знающие несколько великих символических фраз, а остальное додумавшие сами. Да и учили они его урывками. Но самое главное – Сергей был уверен в них и готов биться за свою идею.

– Но если ни у кого ничего не будет, как же будет жить человек? И зачем ему стремиться к лучшей жизни, если она даже не предвидится?

Шнейдер пожал плечами. Он понимал, что его собеседник – простой рабочий и солдат, но честный человек, в отличие от некоторых руководителей большевиков, которые избегали теоретических споров, направляя все усилия на укрепление власти. Он никогда с ними не спорил и не говорил. Это был первый случай откровенного разговора с большевиком, молодым человеком, который не знал жизни. Сын Шнейдера, сидевший до сих пор молча и жадно слушавший разговор старших, сказал ломающимся хрипловатым баритоном:

– Папа, вы не правы. Революции бывают разные. Вот французская революция почему не до конца получилась? Потому, что там буржуазию хотели приспособить к новому строю, а она сговорилась с Наполеоном и подавила революцию. А у нас хотят сделать правильно – убрать буржуазию, уравнять ее со служащими и рабочими. А это – основа

построения социалистического общества. Большевики учли ошибки французской революции.

Шнейдер внимательно посмотрел на сына и несколько свысока улыбнулся:

– Вот представьте себе пчелиный улей. В улье живет одна пчела-женщина. Есть трудовые пчелы. Они приносят в улей нектар и пыльцу, другие производят воск, прополис, чистят и убирают улей. Есть трутни, они ничего не делают, едят бесплатно мед и получают удовольствие. Но их трудовые пчелы терпят. Потому, что так устроен пчелиный механизм. Лишнего у них ничего нет. Так же устроено и человеческое общество. У него нет лишних людей. Ему нужны и рабочие, и крестьяне, и буржуазия. Если взять и уничтожить всех трутней, то рой их снова создаст. Они необходимы для поддержания социального мира в улье. Поэтому, если всех капиталистов уничтожить или изгнать, то все равно появятся новые – явные или тайные. Эксплуатация рабочих и крестьян при социализме будет такой же, как при капитализме, а может, и сильнее. Кто-то же должен создавать не просто предметы труда, но и богатство страны! А это рабочие. Так устроен человеческий общественный организм. У него нет ничего лишнего, – отрубишь что-то, оно снова отрастет, хотя уродливо, не до конца, но все-таки появится.

Сергей был сбит с толку. Он не знал, как возразить вроде справедливым, но контрреволюционным словам. Ему не хотелось признавать правой точку зрения Шнейдера.

– Все равно мы в России построим социалистическое общество! – упрямо повторил он. – Мы не пчелы, которые не соображают, как работают. А мы будем соображать, будем думать – и победим.

– Вы, Сергей, не обижайтесь. Это я так думаю. Но честно скажу: мне приятно, что я живу в России и являюсь свидетелем великих событий. Это под силу только вам – славянам. Только, думаю, трудно вам будет, трудно...

– Спасибо хоть за такую поддержку. Если бы вы были в наших рядах, нам было бы намного легче.

– Пока власть предпочитает с нами сотрудничать, мы с вами. Но не дай Бог проводить по отношению к интеллигенции такую же политику, как и буржуазии. Будет плохо, страна останется без ума. Надо уметь со всеми сотрудничать.

– Мы готовы к такому сотрудничеству. Но много врагов.

– Враги всегда были и будут. Но надо, чтобы новое прошло как можно безболезненно. В этом ваш успех. Конфронтация послужит не в вашу пользу.

Шнейдер мельком взглянул на часы, и Сергей понял, что пора уходить.

– Анатолий. Не пора ли спать? – обратился он к сыну.

Сын, который внимательно слушал взрослых, и только один раз высказавший свои мысли, согласно кивнул, попрощался и ушел. Шнейдер, провожая Сергея до входных дверей, пошутил:

– Вы не боитесь, что вас задержат?

Сергей, поняв его шутку, ответил шуткой:

– Быстрее я кого-нибудь задержу.

– Да, да вы ночной хозяин города, – иронически улыбнулся Шнейдер, и они распрощались.

Сергей пошел к бывшей земской управе, где располагался ныне совет, и встретил там Нахимского. Было удивительно – когда этот человек спит? – все время Сергей видел его на ногах.

– Где ты так долго был? – накинулся он на Сергея. – Отпустил патруль! Так нельзя делать!

– У знакомого был, – Сергею не хотелось говорить о своем посещении Шнейдера. – А где ребята?

– Ты их бросил, оставил район без охраны! Так я их снова послал на дежурство, чтобы ничего не случилось.

– Да ничего не случится с городом, Абрам Семеныч, – Сергей находился еще под впечатлением разговора со Шнейдером о том, что все нужно решать мирным путем. – Особенно на Английской или Почтовой. Буржуи боятся по темноте в окна выглядывать. А мы ходим и каких-то врагов выискиваем.

– Сережа, ты что-то не то говоришь. Я ж тебе объяснял – пока есть буржуи, до тех пор нам будет грозить опасность. Нам надо быть все время начеку! Да, и есть всякая шваль, готовая пограбить народ. И надо их всех, врагов революции, уничтожить. Это сейчас наша главная задача. А ты разводишь сантименты. Будь жестче и строже ко всем.

Но концовку Нахимский все же произносил мягче, как бы журуя своего любимого ученика, который проявил неожиданную слабость.

– Сережа, ты еще не знаешь, но тебе, видимо, придется ехать в Киев, на всеукраинский съезд советов. Надо решительно решать вопрос – у нас власть советов или рады. Другого пути нету. Чтобы разжечь мировую революцию, надо скинуть раду – и откроется прямой путь в Европу. Сегодня пришла телеграмма – срочно направить туда делегатов, я предложил тебя как верного товарища революции, и Клим согласился. Завтра будет собрание совета, все фракции будут присутствовать. Ты пойдешь по фракции большевиков. Согласен?

– Да. А что, ни ты, ни Ворошилов или другой повыше меня ехать не хотят?

– Опасно оставлять в это время город без руководства. Поэтому решили, что члены исполкома не поедут. Останутся здесь. А ты и все наши товарищи проведут нужную линию. Мы верим вам.

– Конечно, украинские губернии давно должны быть советскими. А то наблюдаем за Центральной радой, а ничего не предпринимаем.

– Правильно. Она воспользовалась тем, что мы боролись с эксплуататорами, и объявила о своей власти на Украине. Теперь мы закрепились и надо с ней кончать. Она – тормоз на пути мировой революции. В Питере Совет Народных Комис-

саров не хочет насилия в отношении рады. Поэтому местные большевики должны проявить инициативу и выкинуть националистов. Понял? Иди домой, отдыхай, а завтра утром будь здесь, как штык.

– Хорошо, – согласился Сергей.

Они крепко пожали руки, Нахимский остался дежурить в совете, а Сергей в темноте пошел домой.

До начала собрания оставалось еще около часа, когда в совет приехал Ворошилов. Энергично поднялся по лестнице на второй этаж в свой кабинет, где в приемной его ждали члены исполкома. Подошли не все большевики-исполкомовцы, и Ворошилов, поздоровавшись с пришедшими за руку, пригласил их в кабинет. Вопрос стоял о сегодняшнем собрании. Следовало укрепить партийную линию, не допустить поездки на съезд в Киев эсеров и меньшевиков. Остальные реальной силой не считались.

– Товарищи! – без лишних предисловий начал Ворошилов, сидя в кресле за дубовым столом. У него была странная привычка поводить плечами, будто он все время мерз. – Обстановка такова, что нам следует действовать быстро и решительно. Советы Юго-Западного края создали оргкомитет по проведению всеукраинского съезда советов. Центральная рада препятствует его созыву, но, видя, что сорвать его созыв не удастся, хочет перехватить инициативу у советов и сама выступить организатором съезда. Я вчера говорил по телеграфу с Евгенией Бош. Она просит послать с Донбасса только представителей большевиков, делегатов из других партий не надо избирать на съезд. Надо создать советское большинство на съезде в Киеве. Поэтому нашей задачей является, чтобы на сегодняшнем общем собрании были избраны толь-

ко наши сторонники. Список подготовлен. В основном это луганчане, кто из уездов поедет – пока не знаю, но я дал телеграмму местным партийным комитетам, чтобы направляли большевиков. Партийную дисциплину мы должны поддерживать. Нам сказали свыше, мы – своим низшим организациям, и это должно безукоризненно выполняться. Понятно? Список наших делегатов предложит Лутовинов. Вот, возьми его. Времени до собрания мало, наберитесь силы и мужества. Нам надо заткнуть рот эсерам, меньшевикам и прочим. Поэтому больше напора и резче с ними. Все понятно?

В ответ громыхнул Пархоменко:

– Будем резче, Клиим!

Ворошилов жестким взглядом оглядел присутствующих. Кто-то задал несколько уточняющих вопросов и все. Разошлись. Отворилась дверь из смежной комнаты для отдыха, и оттуда вышла жена Ворошилова. Каждый день она была в новом платье или костюме. Говорили, что на нее полностью работает швейная мастерская Абергауза.

– Клиим, ты не позавтракал... так спешил? Я приготовила завтрак.

– Катя, как ты успела сюда? Я уходил, ты оставалась в постели. Как ты везде успеваешь? – говорил Ворошилов, внутренне довольный своей женой.

– Я за тобой пошла. Почти следом. Ты ж как ребенок, чем-то увлеченный – игрой или игрушкой, за тобой нужен глаз да глаз. Тебе необходимо позавтракать. Я тебе уже не раз

говорила, что тебя ждет великое будущее, и если ты этого не понимаешь – я знаю, – ласково говорила Гитель Давидовна. – Я должна заботиться о твоём здоровье, чтобы ты долго жил и счастливо, – она говорила вроде с шуткой и улыбкой, но непоколебимо уверенно в том, что все будет так, как она предначертала. – Ты ж ребенок, Клим, без меня правильного шага не сделаешь, – по-матерински выговаривала она. – Поэтому слушайся меня во всем.

Она поставила на стол поднос с яичницей, колбасой и кофе.

– Все у тебя должно быть, как у порядочных людей. Привыкай уже к нормальной жизни, а не собачьей, как до революции. Советская власть надолго, и тебе ею руководить. Ешь?

Ворошилов довольно улыбался. Он уже привык к руководящей жизни и связанным с ней почитанием.

– Ох, Катенька, нет совсем времени для нормальной жизни, – он стал быстро проглатывать яичницу, засовывая в рот одновременно кусочки колбасы с хлебом и запивая кофе. – Спасибо, дорогая, что еще не отказалась от меня и нянчишься... ты пошила себе новое платье?

– Да. Я заказала еще несколько. Ты одобришь, надеюсь, мой вкус.

– В этом я тебе полностью доверяю. С тобой я чувствую силу, а без тебя... кем бы я был?

– Был бы ноль, – пошутила жена. – А может, единичка. А

со мной – десятка. Я тебе добавляю нужную цифирку. Не торопись есть. Привыкай к солидности, ты уже известен многим, не только в Луганске.

Она поцеловала его в чисто выбритую щеку и пригладила короткие жесткие волосы:

– Я слышала сейчас твой разговор с членами исполкома. Будь осторожен. Не иди на явную конфронтацию с другими партиями. Это может тебе повредить. Сейчас ты говорил со своими прямолинейно и наметил грубую линию. Будь гибче и на собрании покажи, что готов идти на компромиссы. Чтобы все видели твою широту взглядов, что ты отличный тактик. Понял, Климушка?

– Спасибо, Катенька, – отодвигая поднос, ответил Ворошилов. – А почему, ты считаешь, надо дать послабление эсерам и другим?

– Левые эсеры теперь наши союзники и работают вместе с Лениным, – наставляла мужа Гитель Давидовна. – Ты их и здесь привлеки к себе. Пусть и они почувствуют, что не только мы здесь руководим, но и они что-то значат. Они тебя потом поддержат. Действуй не только кнутом, но и пряником. ЦК партии одобрит твои действия в отношении эсеров. Приведет пример другим, как правильно требуется проводить партийную линию. Понял?

– Катя, ну, что ты говоришь! Мы с ними и так вместе работаем в совете... не обижаем.

– Правильно. Но вы относитесь к ним снисходительно, как

младшему, не успевшему подрасти, брату. А пока мы укрепляем власть, надо использовать все силы для этого. А потом будет видно. Многие сами перейдут к большевикам, а других просто придется убрать с политической арены. А пока они нужны, и не обижай их и других, Клим... понял?

– Вообще-то, ты права, – ответил Ворошилов. – Не стоит их отстранять от дела. Но я уже дал команду своим. Как исправить? Времени нет. Да и неудобно менять свое решение.

– А ты прямо на собрании это сделай. Объясни, что они наши союзники, и их тоже следует послать на съезд в Киев. Проявляй уже государственную гибкую мудрость, скажи, что пришло новое указание из центра. Товарищи поймут, что ты вынужден изменить свое решение не по своей воле.

– Но это будет обман?

– Никакого обмана, Клим. Это называется тактикой. Понял?

– Ладно, так и сделаю, как советуешь. Надо дать другим партиям отдушину для действий. Я попробую, как ты говоришь, проявить мудрую гибкость.

– Да, гибкую мудрость вождя. Тебя переводят в Петроград.

– Откуда ты знаешь?

– Знаю, – загадочно ответила Гитель Давидовна. – Тебе надо снова войти в высшее руководство партии. Быть на виду. В Луганске ты на всю жизнь останешься мелким руководителем. Готовимся к переезду...

Она не договорила потому, что в дверь без стука вошел Нахимский. Поздоровавшись за руку с Ворошиловым, он кивнул головой его жене:

– Все прикармливаешь. Приучаешь к настоящей жизни? – ехидно спросил он. – А мне не оставила? Ночью не перекусил, – времени не было, и спать ужасно хочется.

Гитель Давидовна недовольно поморщилась в ответ на его слова:

– Уже ничего нет. А приготовить по-новой не успею.

Она взяла поднос и молча вышла в комнату отдыха.

Нахимский обратился к Ворошилову:

– Клим, надо решать вопрос с хлебом. Сейчас утром народ чуть не разнес хлебный магазин на Казанской. Ругали советскую власть, пришлось кое-кого арестовать. А хлеба до сих не привезли. Надо этих буржуев призвать к ответу. Может, кого-нибудь арестовать или прилюдно расстрелять, чтоб другие знали?

Дверь в комнату отдыха скрипнула и немного приоткрылась, но Гитель Давидовна не вошла, хотя присутствие ее стало ощутимо. Ворошилов поерзал плечами и сказал:

– Пока не надо. Надо поговорить с Редькиным и Прагиным, – они сейчас выпекают булочки, пряники и прочую сладость. Пусть выпекают только хлеб. Если продолжат выпекать сладости, национализируем их пекарни. Да и магазин надо открыть специальный, чтобы рабочий люд мог покупать там хлеб по карточкам. Мы этот вопрос вынесем на обсуж-

дение. Совместно решим.

Ворошилов вздохнул свободно, как человек, решивший сложную проблему переложения личной ответственности на коллективную. «Но Катя так любит французские булочки! Надо будет договориться, чтобы их выпекали в ограниченном количестве, определенным лицам», – мысленно решил он. Нахимский, по всему видно, был недоволен решением Ворошилова:

– Клим, надо действовать решительнее! До революции ты был боевым членом партии, а сейчас действуешь с заячьей оглядкой. Ладно. Пора уже в зал, – вроде, все собрались, даже дворянство пришло.

– А что им надо?

– Не знаю. Им же давно объяснили, что они нужны новой власти, вот они и прилезли. Посмотрим, что хотят.

– Выясним. Члены исполкома здесь?

– Да, в приемной.

Дверь в комнату отдыха скрипнула и закрылась. Ворошилов встал из-за стола и вышел с Нахимским в приемную. Более десятка членов исполкома ждали Ворошилова, чтобы всем выйти в зал и занять места в президиуме. Ворошилов недовольно поморщился. Членов исполкома должно было быть ровно двадцать. Значит, кто-то не пришел, не подчинился партийной дисциплине. Исполкомовцы прошли в зал и заняли стол президиума. Зал был небольшим. В первом ряду, видимо, по старой привычке, сидели бывшие ру-

ководители города из дворянского собрания, во главе с Пакариным, – без верхней одежды, в пиджаках и при галстуках. Далее разный люд: городские интеллигенты, рабочие, солдаты. Они были в пальто, куртках, шинелях. Ворошилов внимательно осмотрел зал и остался доволен. Большинство было свои, – знакомые ему лично. Нервно двинув плечами, он обратился к залу:

– Сегодня мы рассмотрим несколько вопросов. Очень важных. Поэтому мы пригласили всех, кто хочет помочь советской власти.

Он с открытым неудовольствием посмотрел на дворянство. Их никто не приглашал, и вот надо думать, как поступить с ними сейчас. Они очень грамотные – сложно спорить... но ничего не сказал в их адрес.

– Главный вопрос – это о всеукраинском съезде советов. Нам надо избрать делегатов и направить в Киев. От фракции большевиков совета есть предложение отправить туда таких товарищей. Иван Хрисанфович, – обратился он к Лутовинову, – прочти список. А потом послушаем других.

Лутовинов поднялся и стал зачитывать список.

– Вот, кого мы предлагаем направить в Киев, – закончил Лутовинов.

Сергей, который сидел в дальних рядах зала, хотя и знал, что он будет в списке, все-таки вздрогнул, услышав свою фамилию, – ему стало приятно, и он горделиво осмотрелся вокруг.

– У кого еще есть предложения? – спросил у зала Ворошилов.

Сразу же на трибуну поднялся Ларин-Римский, руководитель луганских меньшевиков, худощавый, невысокого роста человек с бородкой. Нервным дрожащим голосом он начал:

– Я просто возмущен, что такие важные вопросы решаются помимо нас, за нашими спинами. На Юге России еще не везде установлена советская власть. Но есть же другие партии, которые не как большевики, а как именно и хочет народ, будут строить социализм.

Пархоменко из президиума громко, чтобы заглушить оратора, бухнул:

– Какой народ ты имеешь в виду – буржуев?

Зал выдохнул, но шума не последовало. Но реплики Пархоменко оказалось достаточно, чтобы Ларин-Римский перестал произносить речь и начал отвечать на вопросы:

– Мы имеем в виду весь народ, который проживает на территории России. А там разные классы. Вот их интересы и надо представить на съезде. Поэтому от имени своей партии предлагаю список делегатов дополнить следующими лицами...

Он зачитал несколько фамилий. Сергей видел, как занервничал Ворошилов и заповодил плечами.

– Хорошо. Мы обсудим предложение меньшевиков. Кто еще желает на трибуну?

Поднялся бывший предводитель дворянства Пакарин –

грузный мужчина, за шестьдесят лет. В нем чувствовалась барская уверенность, красивым сочным баритоном он начал говорить. В его облике присутствовала породистость, которая отличает овчарку от дворняжки.

– Мы бы тоже хотели послать своих делегатов на украинской съезд, но мы понимаем – наш поезд ушел, и никто нас в древнюю русскую столицу не делегирует. В России действуют другие силы, и дай им Бог, чтобы они и дальше укрепляли наше православное государство, прославили его новыми, славными деяниями.

Сергей видел, с каким удивлением на него смотрел президиум, – видимо, от него не ожидали приятных слов в свой адрес. Выждав паузу, чтобы его мысли дошли до присутствующих, Пакарин продолжил:

– Раз Богу было угодно сменить устрой России, значит, Он знал, что отдает Отчизну в руки истинных патриотов. Советская власть получила в наследство великую державу, и она должна сохранить ее для потомков. Все народы великой России, – пусть то будет русский, украинец, тунгус, лопарь или кто-то другой, – не простят во веки веков развала Богом данной империи, где люди, независимо от цвета кожи и веры, жили дружно и счастливо.

По залу прошел небольшой шумок. Пакарин снова сделал выжидательную паузу и, как опытный оратор, перешел к главному в своей речи:

– Наш старый класс, как пишут в газетах, поддерживает

большевиков в их стремлении сохранить единое и неделимое государственное многовековое образование. Мы понимаем Ленина и его соратников с их лозунгом о праве наций на самоопределение. Этот лозунг был естественно-необходимым для свержения царя, победы революции. Но, получив в наследство от нас Россию, большевики должны ее сохранить. Поэтому самоопределение наций должно отойти на самый дальний план. Теперь строительство новой единой России является главной задачей большевиков.

Пакарин внимательно посмотрел в зал, пытаясь определить реакцию присутствующих на его слова, но зал молчал.

– На Украине сейчас хочет взять власть так называемая киевская рада. Пока она согласна на автономию Украины в составе России, но позже, – и я в этом уверен, – она захочет провозгласить полную самостоятельность. Это показал пример Польши и Финляндии. Тоже вначале автономия, а потом – выход из России. Поэтому украинские большевики должны посоветовать Ленину снять лозунг о самоопределении как сыгравший свою роль. Главари рады имели наглость включить в состав Украины Малороссию и Новороссию, и вообще замахиваются на Донское и Кубанское казачество, вплоть до Каспийского моря и Кавказа. Помните, этим летом Временное правительство дало им автономию в составе пяти Правобережных губерний? А ныне они пошли дальше, и земли юга, отвоеванные русским оружием у врагов, обогранные кровью русских солдат, становятся украинскими. А

какая-то Украина есть далеко отсюда, за Днепром – на западе. А наши земли называются – Малороссия, Новороссия, – то есть везде есть слово Россия, но не слово Украина. Раз большевики стали преемниками Российской империи, они должны сохранить ее территориальную целостность.

Сергей видел, как напряженно слушал выступление оратора зал. Но в президиуме Пархоменко ехидно улыбался в кавалерийские усы. Лутовинов, задумавшись о своем, невидяще смотрел в потолок. Ворошилов, набывшись прямым взглядом, буравил то выступающего, то сидящих в зале. Сергей не мог понять – что общего у луганского дворянства с советской властью, почему оно выступает их союзником и надолго ли? Для него лично вопрос о разрыве связей Украины и России не стоял, – все было едино, как его мать и отец. Почему об автономии Украины и сохранении России беспокоится дворянство?

– Съезд, который собирается в Киеве, необходим. Пора, наконец, поставить точку в судьбе Юга России. Центральная рада никогда не избиралась народом, не участвовала в революциях. Сама себя назначила выразителем интересов народа. Это и неконституционно, и противозаконно. Скоро начнет работу Учредительный съезд России. Он все расставит по местам. Народ, избравший новых депутатов в Учредительное собрание России, отдает свое будущее в их руки. Я думаю, что оно поблагодарит большевиков, взявших в трудный момент российской истории власть в свои руки, спас-

ших Россию от позора, сумевших провести необходимые реформы, которые давно вызрели, в интересах народа, да, всего – это хочу подчеркнуть! – и для нас тоже. Освободив нас от прошлых многовековых грехов перед Россией и ее многострадальным святым народом, большевики выполнили свою миссию. Теперь объединим усилия и станем строить новую Россию.

Пакарин сделал паузу, вглядываясь в полутемный зал. «Во, закручивает! – подумал Ворошилов. – Действительно, что-то есть и общее у нас... но не власть. Ее-то вы уже больше не получите. Мы не допустим этого. А что – общее?» Но не смог догадаться, что общее – это родина. Пакарин остался доволен впечатлением, которое он произвел на аудиторию, и перешел к следующему разделу выступления.

– Отправляясь в Киев, ваши делегаты должны там прямо сказать «нет автономии» и «да – демократической России». От всех граждан Славяносербского уезда и Луганска мы просим, если есть возможность, направить двух-трех представителей в составе луганской делегация от нашего сословия. Будем действовать едино.

Пакарин величественно поклонился залу, склонил голову в сторону президиума и под редкие аплодисменты своих сторонников сошел в зал и сел на свое место. Сергей с удивлением думал: «Смотри-ка, как он обошел нас? Стал другом». И засомневался: «Неужели у нас с буржуями могут быть общие интересы? Может, это земля наша общая – Россия? А

остальное? Вообще-то, есть. Все русские и украинцы – это общее».

У Ворошилова в голове метались мысли: «Надо выступить. Как? О чем? Надо...» Он улыбнулся залу открытой улыбкой бывшего рубахи-парня и начал говорить:

– Товарищи! Пока выступили два человека по этому вопросу – посылки делегатов на съезд. Как видите, у нас позиции сходны, почти как близнецы. Но вот матери у этих близнецов разные. Да и отцы, – сострил он, и шинельная часть зала заулыбалась. – Классовые интересы у нас разные. Вот эти отцы. Сразу же и твердо, от имени вас, заявляю, что большевистская власть – навсегда, и не надо мечтать, что мы отдадим ее обратно. За нами вы. Народ! И мы, большевики, говорим только от его имени. Ясно? Я думаю, всем это ясно, – Ворошилов вспомнил недавний разговор с женой и продолжил: – Конечно, у нас могут быть временные интересы с другими классами. Как раз они-то и совпали. Я думаю, что мы можем послать от имени совета и их представителей... – он запнулся на секунду. – Тем более я получил телеграмму от центрального комитета, чтобы в составе делегации были люди из разных партий. Никто не скажет, что большевики пытаются своей железной хваткой зажимать другие партии. Правильно?

Зал молчал, президиум тоже. Ворошилов снова обратился к залу.

– Будем заканчивать с этим вопросом или продолжим об-

суждение?

Там, где сидели эсеры и меньшевики, возникло оживление. Поднялся Ларин-Римский.

– Можно еще сказать несколько слов, а то в прошлый раз я не все сказал?

Ворошилов кивнул в знак согласия. Ларин-Римский поднялся на трибуну.

– Может быть, мое выступление неправильно поняли, но я имел в виду, прежде всего, трудящийся народ. Крестьяне еще, например, толком не знают, что такое советская власть, но они знают партию эсеров...

Но его снова перебил артиллерийский бас Пархоменко.

– Какие еще партии знает народ?

И снова Ларин-Римский был сбит с толку и с мысли. Он занервничал и резким фальцетом ответил:

– Другие, которые выражают интересы маленьких групп, но того же народа! И не надо смеяться над ними и унижать. Они малочисленные и слабые, но они существуют – и это надо учитывать!

– Поэтому они существуют! – хриплым басом засмеялся Пархоменко.

В зале в ответ засмеялись, и Сергей почувствовал презрение к мелким партиям, которые хотели, чтобы им было предоставлено место в революции, но не имели на это весомых оснований.

– Да! – с упрямством продолжал отстаивать свою точку

зрения Ларин-Римский. – Например, у нас есть пять или шесть еврейских партий, и не их вина, что они не могут объединиться. Но каждая из них выражает определенные интересы еврейских слоев, не так, как большевики, которые узурпировали право говорить от имени пролетариата. Он тоже не равнозначен. Есть определенные...

– Только определенные, – перебивая Ларина-Римского, веско и многозначительно подчеркнул Лутовинов.

Эта реплика совсем вывела Ларина-Римского из равновесия и его понесло:

– Вы, большевики, сознательно суживаете базу революции! Вам только бы удовлетворить собственные амбиции. Тех, кто не поддерживает вас, вы игнорируете. Мы предлагаем вам сотрудничать, вы отвергаете. На нас смотрите снисходительно, мол, попусту болтаем, а потом раздавите, когда наберете силу, а вместе с нами и тех людей, которые за нами идут.

Неожиданно для всех из зала выскочил Нахимский. Красные от бессонных ночей глаза его, казалось, горели. Перебивая оратора, он закричал:

– Когда вы в войну сидели вот с этими барами... – он резко махнул в сторону уездного дворянства, которые холодно глядели на него, – попивали чай, закусывая пирожным, призывали рабочих и крестьян к классовому миру, к продолжению войны, верности монархии, – тогда чьи интересы вы выражали?! Вот их! – он снова махнул в сторону бывших от-

цов города. – Они вам платили, подкармливали вас, а вы сейчас за народ печетесь, который обманывали. Повесить бы вас всех! Да, нельзя... хотя вы этого заслуживаете, чтобы не поганили народ. Даже эти буржуи честнее вас, – они открыто насильовали народ, а вы потихоньку, за углом, в кустах. Вы поэтому не хотите свержения рады, а хотите с националистами, буржуями создать единый фронт против советской власти. Гнать вас надо отсюда. Гнать!

Поднялся Ворошилов и, перекрывая нарастающий гул зала, закричал:

– Абрам Семеныч! Успокойся. Да успокойся, тебе говорю. Я тебе не давал слова. Садись!

Гневно глядя воспаленными глазами, – как на своих кровных врагов, – на меньшевиков и эсеров, бормоча себе что-то под нос, Нахимский прошел дальше в зал и сел рядом с Сергеем. Ему надо было высказаться перед кем-то дальше.

– Продолжайте, – снисходительно сказал Ворошилов Ларину-Римскому.

Но тот был, видимо, сломлен бурным выступлением Нахимского. Тихо и вяло Ларин-Римский закончил:

– Ну, раз так, то пошлите хоть два человека от нашей фракции.

Он понуро вышел из-за трибуны и пошел к своему месту, Нахимский шепнул на ухо Сергею.

– Типичный российский интеллигент. Пока все молчат, он готов глотку драть по любому вопросу, а как на него при-

цыкнуть, сразу же лапки вверх. Вот видишь, как я его осадил? – и удовлетворенно хихикнул.

Ворошилов овладел вниманием сидящих в зале:

– Кажется, вопрос ясен окончательно. Дополнительно к списку большевиков добавить... – он заколебался на секунду и произнес: – по одному представителю дворянства. Как мы убедились, у них почти что большевистские взгляды по этому вопросу, – он снова широко улыбнулся улыбкой рабочего человека, а зал одобрительно зашевелился. – И одного меньшевика или эсера, – сейчас Ворошилов улыбнулся снисходительно. – Будут вопросы или проголосуем сразу же?

– А кого от них? – раздался голос.

Ворошилов вопросительно посмотрел на дворян и в сторону Ларина-Римского. Встал бывший работник земства:

– Раз решили по одному человеку, пусть будет так, хотя за это предложение никто не голосовал. Но мы на этом не настаиваем. От нас поедет Пакарин Леонтий Пантелеймонович, коллежский регистратор, его благородие, – назвал он его прежние титулы, чем вызвал недовольство в зале. – Мы уверены, что он в Киеве проведет нужную нам в Луганске линию.

– Решено, – ответил Ворошилов. – От вас кто? – обратился к меньшевикам и эсерам.

Поднялся Ларин-Римский:

– Если один человек, то нам надо посоветоваться. Можно фамилию назвать позже?

Ворошилов, довольный таким поворотом дела – проведены все свои делегаты и не обойдены другие партии, удовлетворенно кивнул:

– Можно. Только быстрее. Делегаты выезжают сегодня. Торопитесь, времени мало. Голосуем за предложенный список? Кто за?

Президиум, в котором находились члены исполкома совета, дружно поднял руки вверх. Только они могли голосовать, все сидящие в зале имели право совещательного голоса. Исполкомовцы – меньшевики и эсеры – голосовали также «за».

– Видишь, Сережа, лезут меньшевички в революцию, а сами у себя не могут навести порядок. Даже паршивенького делегата не могут представить. Сотрем мы их скоро в порошок без оружия, – и Нахимский снова удовлетворенно захихикал.

– С одним вопросом решили, – подвел итог Ворошилов. – Теперь вопрос о хлебе. Он, знаете ли, самый мучительный у нас в городе. Давайте сегодня его серьезно обсудим, чтобы раз и навсегда покончить с ним. Еще летом хлеб был, а сейчас нет – просто удивительно. Разберемся, кто виноват. Я не думаю, что Советская власть. Мы успешно боремся с буржуазией, если захотим – так же успешно справимся с голодом. Хотя надеемся, что саботаж прекратится, и все само образуется... без принятия чрезвычайных мер с нашей стороны.

Путал, по недостатку знаний, Ворошилов общественно-политические и социально-экономические вопросы. Или

они должны существовать, переплетаясь тесно с друг другом, или какой-то вопрос должен стать придатком другого. Роль придатка отводилась вопросу борьбы с голодом.

– Вот член продовольственного комитета товарищ Вобликов пусть и докладывает, что он делает, чтобы Луганск не голодал, – закончил Ворошилов.

Дальше Сергей слушал невнимательно. Он больше перешептывался с Нахимским, который едко комментировал происходящее в зале и одновременно давал указания, как держаться в Киеве. Высказал Сергею обиду – не понравился он ему словами о всеобщем мире, которого не будет, пока существуют эксплуататорские классы. Из дальнейшего заседания Сергей запомнил решение по продовольственному вопросу. Решили закрыть все хлебные магазины в городе, кроме одного на Казанской. Рабочие будут получать хлеб в заводских магазинах, непосредственно на работе, а кто не работает, тот в этом единственном магазине, по карточкам. Недостатком, как отмечали выступающие, станет рост спекуляции, но это оправдывалось тем, что нанесен еще один удар по капиталистам, которые торговали и выпекали хлеб для богатых. После был объявлен перерыв и, попрощавшись с Нахимским, Сергей поспешил домой. Сегодня вечером надо было выезжать в Киев.

Дома была одна мать. Отец еще не пришел с работы. Петр находился на смене, Антонина тоже. Только их дети играли у бабушки. На улицу детям идти не хотелось. Было ветрено и холодно, а одежонка плохонькая, да бабушка что-то хоть поест приготовит. Мать налила сыну борща. Последнее время он редко появлялся в доме, больше у Полины, туда же относил свой паек. Но мать уже не ругалась на него за то, что он пристал к вдове.

– Мама, я сегодня уезжаю в Киев.

– А шо ты там будешь делать?

– Устанавливать советскую власть на Украине. И конец войне. Начнем работать. Я пойду на завод. Тебе с батькой дадим пенсию, будем жить по-настоящему.

Мать с недоверием посмотрела на него.

– Так будет, мама. Веришь?

– С трудом, но хотелось бы, чтобы все было так, как говоришь.

Чтобы отвлечься от разговора с матерью, Сергей обнял племянников, стоящих возле него. Те радостно стали выкарабкиваться из его объятий.

– Ну, а что вам привезти?

Старшая Аня заколебалась и произнесла:

– Конфekt. Такие большие, в цветной бумажке. Марципа-

ны называются.

– И все?

– Дядя Сережа, если деньги будут, то куклу.

– Договорились. А тебе? – обратился он к Виктору.

– Тоже конфект. Таких же, – смущенно сказал мальчик. –

И наган.

– А зачем наган?

– Воевать. У мальчишек есть, но они поломанные. Я хочу настоящий.

– Ну, наган не куплю, а игрушку привезу.

Мать поставила отваренную картошку с салом.

– Ешь.

Сергей быстро проглотил картошку и заторопился:

– Я пойду к Полине.

– Она ж на работе?

– Я сказал ей, что сегодня, возможно, уеду, и она обещала прийти пораньше.

Сергей, увидев огорченное лицо матери, сказал:

– Мам, ты не ругайся на нее и на меня... что подделаешь!

Судьба.

– Я уж давно не ругаюсь. Смирилась.

– Вот и хорошо. Ты с ней без меня будь по-доброму. Она ж не виновата. Я ж к ней...

– Мы с ней давно по-хорошему. На улице балакаем. Только она стесняется заходить к нам. Ты ей сам скажи – пусть заходит, не боится.

– Хорошо, скажу. Я пошел.

Мать с тоской посмотрела ему вслед. Вот еще один ушел из семьи. Никого, кроме Петра и внуков, рядом не будет.

Сергей зашел в дом Полины. Вчера он сказал ей, что уедет ненадолго. Дома были дети. Они привыкли к Сергею, и младшая называла его иногда «папой». Это нравилось Сергею, но с другой стороны он чувствовал себя при этом обращении как-то неуютно, – из-за неожиданности сложившегося положения. Но он успокаивал себя тем, что закончится революция, и Полина родит ему сына. Они об этом уже договорились. Младшей дочери Полины было восемь лет, а пацану – десять, и он ревниво относился к своей матери. Видимо, память об отце была еще жива в нем. Но с Сергеем он дружил, любил с ним разговаривать. Окончательно они подружились, когда Сергей взял его с собой на дежурство на Острую Могилу и показал пулемет вблизи.

– Почему не гуляете на улице? – спросил Сергей детей Полины.

– Холодно. Да и никого из мальчишек нет там, – ответил старший. – Мамка оставила на плите есть. Бери.

– Не хочу, я поел. А вот вы садитесь и ешьте.

Дети не заставили себя долго упрашивать и с удовольствием хлебали жидкий постный суп. Сергей прилег за печью на кровать и незаметно для себя заснул. Проснулся, когда пришла Полина. Раскрасневшееся на ветру лицо Полины выглядело усталым. Старое ситцевое платье плотно облегло рас-

полневшую фигуру. Она с нежностью посмотрела на Сергея и, казалось, глаза спрашивали: «Ну, доволен всем? Поел? Поспал...»

– Пора собираться, – произнес Сергей, вместо ласковых приветливых слов.

– Давай собираться, – покорно согласилась Полина.

Пожитков было немного – рубашка да теплое нательное белье. Полина вытащила из сумки, с которой пришла с работы, кусок сала, хлеб, еще что-то – и завернула в старую газету.

– Это тебе в дорогу.

– Зачем? Небось, на рынке купила на всю зарплату... дорого же.

– Нет. Знакомый уступил. Вышло дешевле. Я все в вещмешок положу.

– Оставила бы себе. А то вон, дети голодные.

– Ничего. У нас еще есть продукты. До полочки хватит.

Сергей знал, что продуктов у Полины немного, – раза три приготовить прозрачной похлебки. Его паек уже съели. Он не стал настаивать на том, чтобы она оставила сало и хлеб себе.

– Ну, пора.

– Давай присядем на дорожку. Кто знает, когда вернешься.

– Не успеешь соскучиться, как я буду здесь, – бодрым тоном ответил Сергей. – Не более недели буду там.

Не знал еще Сергей, куда его еще занесут ветры револю-

ции, но Полина чувствовала, что разлука будет долгой, и вернется Сергей в родной Луганск только через год, но Полины уже не будет на этом свете. Ветер великих потрясений будет мотать его, как перекасти-поле, по всему югу России, по бескрайней, то заснеженной, то зеленой, пропитанной кровью, благодатной земле. И он будет щедро поливать чужой кровью плодородную землю, и капли его крови так же обогатят плодородный южнороссийский чернозем. Но он об этом пока не знал и не думал.

– Все, посидели. Пойдем к нам. Айда, детки, со мной.

Они вышли во двор, и Полина хотела закрыть дверь на замок, но Сергей сказал:

– Подожди. Там на печке осталась пачка табака. Дай-ка, возьму в дорогу.

Сын Полины бросился вперед:

– Я принесу, дядя Сережа.

– Не надо, ты не знаешь, где он лежит.

Он зашел в хату, торопливо развязал вещмешок, вынул сало, хлеб и все остальное, что завернула Полина, и оставил на столе, на видном месте, чтобы заметила хозяйка и дети, и не пришлось хлебу черстветь в укромном углу. Завязал мешок, схватил за печкой табак и быстро вышел.

– Вот он, – показал пачку, развязал мешок и сунул туда табак. – Пошли.

– Плохая примета, Сережа, что ты вернулся обратно в дом, когда уже попрощался с ним. Старики говорят, если так

происходит, то не суждено больше встретиться с тем, кто в нем жил.

– Перестань каркать, – добродушно ответил Сергей, довольный тем, что оставил продукты дома.

– Да я не каркаю... люди так говорят.

Они зашли в дом Артемовых. Мать уже сложила небольшой деревянный чемоданчик, который находился в их доме с незапамятных времен. Краска давно облупилась, и были видны оголенные, будто закаменевшие жилы дерева. Сергей замахал руками:

– Я не возьму его! Мне и класть-то туда нечего.

– Я уже сложила, пригодится в дороге. Здесь будет чистое белье. А в мешок положишь то, что надо часто брать.

– Хорошо, – согласился Сергей. – А где отец?

– Еще не пришел.

– Мне ждать некогда, пойду.

Он обнял мать и поцеловал в щеку, а мать норовила поцеловать в губы.

– Не успел дома побыть, и опять уезжаешь... – Анна вытерла краешком платка слезы.

– До свидания, мам. Чтобы все было по-хорошему. Как мы говорили, – напомнил он ей, имея в виду Полину.

– Не беспокойся.

Сергей попрощался с племянниками. Они и дети Полины пошли играть на улицу. Все вышли. Во дворе мать тайком в спину перекрестила сына и снова вытерла слезы.

По улице они или вдвоем. Полина взяла Сергея под руку и, гордо оглядывая редких в это время прохожих, уверенной, даже торжественной походкой шествовала по подмерзшим лужам, не замечая этого. Вот так, впервые за последнее время она законно шла по улице с мужчиной, которого считала своим, и это наполняло ее душу щемяще-радостным чувством. Пусть видят все! Не украдкой по темноте она идет с мужиком, а честно, при всех. Ее лицо пылало от смелости и счастья. Ей хотелось крикнуть: «Смотрите, смотрите же! Это я, которой вы все косточки перемыли, обзывали б... и похлеще! Это я!». Соседи с любопытством глядели на эту пару, кто недоверчиво, покачивая головой, в знак осуждения, кто искренне улыбался, желая им в душе счастья. Но их чувства не касались Полины. Она ощущала себя женщиной, влюбленной, нужной рядом шагавшему человеку, и это придавало ей гордую уверенность. Соседи видели, как она топает своими полуразвалившимися сапогами, а ей казалось, что она летит по воздуху. Ей хотелось прижаться к Сергею, раствориться в нем, сделать еще что-то неземное и несбыточное. Но говорила ему какие-то малозначащие слова, не смея сказать о главном. Они подошли к зданию совета. Вокруг сновали люди. Сергей натянуто, чувствуя неловкость перед знакомыми, попрощался с ней. Коротко поцеловал в губы, и они расстались. И сразу же изменившаяся Полина, ссутулившись, тяжелой походкой пошла обратно, в повседневную вдовью жизнь.

Часть II

14

Начало декабря 1917. Киев. Над древней столицей Руси носились холодные, влажные ветры Атлантики. Серые, низкие, без просвета тучи, периодически выпускали из себя на город хлопья крупного мокрого снега, который застилал тяжелым белым покрывалом гранитную брусчатку улиц и густые ветвистые кроны каштанов, с не до конца облетевшими сухими листьями шафранного цвета. В холодно-синей дымке тумана матовым огнем сверкали золотые луковицы куполов Лавры, Софии, Андрея. По Крещатику, Фундуклеевской, Бибиковской, разбрызгивая по сторонам мокрый снег, проносились извозчики, изредка, резко клаксоня, солидно проезжали открытые автомобили, в которых, закутавши лицо в шарфы, сидели водители и пассажиры. Дворники не успевали убирать снег, скалывать лед с тротуаров, которые превратились в скользкий, мокрый каток. Людей на улицах было много. По узким тротуарам сновали киевляне и многочисленные гости столицы, съезжавшиеся со всех концов России. Суетливой походкой пробегали обыватели, с удивлением глядя на приезжую толпу в тяжелых шубах на меху, не соответствующих киевской зиме. Но более других было

людей в солдатских шинелях и полушубках. Подковами своих кирзовых сапог они безжалостно вгрызались в уличный лед, и их серьезность, обычно не присущая служивым, вносила непонятную напряженность в жизнь киевлян. Все ждали серьезных и необыкновенных событий.

На Владимирской было оживленно. Сюда, к зданию Педагогического музея, устремлялись все, кто каким-то образом оказался втянутым в политику. Творение известного скульптора Могилевцева представляло собой почти круглое здание в три этажа, выполненное в стиле ампира. Под крышей полукруглый фронто́н опоясывал барельеф, искусно сделанный руками народных умельцев и изображавший античных героев и «богов», несущих человечеству знание и свободу. На вершине стеклянного купола развевался желто-голубой флаг, более известный в Австро-Венгерской Галиции, но не в остальной части Украины. Прямо на крыльце стоял приклоненный к стене герб Галиции – ветвистый трезубец, напоминающий аналогичное оружие «бога» морской стихии – Нептуна. Киевляне помнили, что его хотели укрепить высоко на фронто́не, но технически не смогли этого сделать, и тогда поставили герб на крыльцо, крепко прикрутив его проволокой к стене. Здесь, в этом здании, располагался штаб Центральной рады, которая незаконно захватила музей, чем вызвала возмущение интеллигентских кругов Киева. Ныне рада претендовала на руководство огромной территорией Новороссии, Малороссии и других районов, где проживали, по

ее мнению, украинцы.

Внутри здания было пасмурно. Прислуга не успевала протирать полы от грязи, заносимой проходящими с улицы. В помещениях стоял душный и терпкий запах шинелей и сапог, изредка перемешиваемый с запахами благородных духов. Все спешили, все говорили на ходу, изредка приседая на недолгое время на банкетки, стоявшие по углам коридоров. Четкая русская речь перемежалась с мягким украинским говором. Шуток не было, в здании царил тревожный дух, напряженность чувствовалась во всем, спешка бросалась в глаза каждому, кто попадал сюда.

Голова Генерального секретариата, – так называлось правительство Украины, – Винниченко только что отпустил членов кабинета с совещания, где решался вопрос о проведении всеукраинского съезда и размещения прибывающих делегатов, и попросил секретаря никого к себе не пускать. Он хотел набросать тезисы своего будущего выступления на съезде и продумать складывающуюся обстановку на Украине. Писатель и драматург, прирожденный политик, вступивший в ряды украинских социал-демократов более десятка лет назад, снискавший популярность в творческих кругах, Винниченко в последнее время мучительно раздумывал: правильно ли его кабинет ориентируется в новой обстановке, сложившейся после октябрьского переворота? В России происходили невиданные изменения, Центральная рада явно отставала в революционных преобразованиях. Но как разре-

шить весь узел противоречий? Винниченко когда-то изучал Маркса и помнил, что на смену старому строю придет новый только тогда, когда последний полностью исчерпает себя. В России капитализм не развился полностью, об этом говорят большевики во главе с Лениным. Зачем же тогда идти на социалистическую революцию? Нельзя перепрыгнуть целый исторический этап, отбросить целую общественно-экономическую формацию! В этом большевики отошли от Маркса, хотя безумно ему поклоняются. А Украина? Разве она развивается отдельно от России? Нет. Вырвав Украину из состава российской империи, мы поставим себя в положение колонии. Винниченко понимал, что с ними не будут считаться ни Европа, ни Россия. Пока большевики проглотили провозглашение Украины в составе девяти губерний. И молчат, им не до этого. Временное правительство не допустило бы такой территориальности Украины. Уже давно отменила бы их решение. Пока большевики не возражают, надо укреплять свою территориальность всеми силами. Винниченко погладил свою небольшую, типичную для российского интеллигента, бородку. А все-таки правильно ли я размышляю? Чего надо украинскому народу? Свободы! Да, свободы! Сколько уже нас можно принижать, отбрасывать украинскую культуру и язык? А где этот народ? Малороссия и Новороссия давно русифицированы. На украинцев этих районов надежды мало, они не пойдут на разрыв с Россией. Галиция также не чисто украинский район – там украинцы ополячены. Но

именно Галиция – этот украинский Пьемонт – должен начать возрождение Украины. Галицийцы больше ненавидят Россию, чем Польшу и Австро-Венгрию – они-то и принесут свободу всей Украине. Их поддержат крестьяне, сохранившие, в отличие от русифицированных горожан, национальную культуру и традиции. Но крестьянам надо что-то дать... ясно – землю! Весь год они громят имения помещиков, мы не успеваем читать об этом телеграммы. Надо быстрее подготовить закон о социализации земли. Месяц назад мы попросили их не делить пока землю, но они делят и опираются на большевистский декрет о земле. Почему мы так нерешительны? Не можем сломить сопротивление помещиков? Что мешает? Следует немедленно отдать распоряжение о подготовке аграрного закона! Иначе без него мы погибнем. А что дальше?

Винниченко устало потер ладонью лоб. Вопросов было больше, чем ответов. Единственно, что его удовлетворяло – лично он готов все вопросы разрешить быстро, искренне и честно в интересах именно бедняков. Только народ этого все равно не поймет. Ему всегда всего мало. Обидно. Но что же дальше? Это вопрос терзает его душу, полностью занимал мозг. Что же дальше?..

Тихо вошел секретарь. Винниченко недовольно поднял голову: «Я ж просил не отвлекать!» – хотел сказать он, но секретарь опередил его.

– Пан голова. К вам настойчиво просится на прием Шуль-

гин.

Винниченко молчал. Ему не хотелось принимать своего идейного и политического противника, издателя пророссийской газеты «Киевлянин», которую когда-то издавал по рубрикой «Юго-Западный край – русский, русский, русский!». Шульгин – известная политическая фигура, депутат трех Государственных дум, ярый монархист. Но надо его принять. По-пустому делу он бы не пришел. Винниченко ответил секретарю:

– Попросите Шульгина.

Вошел Шульгин. Винниченко вышел из-за стола, они пожали друг другу руки, и Винниченко жестом пригласил Шульгина сесть. Они внимательно осмотрели друг друга. Шульгин был на три года старше Винниченко, но ему не исполнилось еще сорока лет, а Винниченко – тридцать шесть. Революцию делали молодые люди. Шульгин отметил про себя усталость на лице главы правительства, растрепанную бородку, чего раньше тот не допускал. Винниченко также отметил для себя усталый вид Шульгина, но его усы, как в старые времена, были лихо закручены стрелками вверх.

– По какому вопросу пожаловали, господин Шульгин? – несколько официально, но в тоже время иронично спросил гостя Винниченко на русском языке.

– По многим. Багато запитань, – на украинском языке ответил Шульгин.

– Так на каком языке будем говорить? – спросил по-рус-

ски Винниченко.

– Давайте не будем взаимно вежливыми, и пусть каждый говорит на том языке, который ему ближе.

– Вы ж волынский помещик. Знаете родной язык своих крестьян?

– Феодал, вы хотите сказать, эксплуатирующий украинских крестьян и не говорящий на их языке. Давайте прекратим взаимный обмен колкостями и перейдем к делам. Тем более это важные дела.

Они немного помолчали, и потом разговор велся на русском языке. Шульгин начал:

– Я только что вернулся с Дона. Там Каледин собирает казаков, чтобы разгромить большевиков. Они делегировали меня в Киев.

Винниченко ответил не сразу:

– Прежде, чем перейти к делу, у меня к вам, Василий Витальевич, несколько вопросов. Если можно, расскажите: какое положение сейчас в России? А то информации у нас недостаточно.

Шульгин глубоко вздохнул.

– Ничего хорошего. Советская власть вскоре победит по всей стране. Это объективно. Лозунги большевиков поддерживают в городе и в деревне. Нам предстоит огромная борьба с большевиками. Поэтому надо объединить все силы для решающей схватки, в которой мы должны победить.

– А нам-то что до этого? – произнес Винниченко. – Со-

ветская власть признала нашу независимость, поэтому мы не слишком желаем вмешиваться во внутренние дела России.

Шульгин удивленно, даже несколько ошарашено глядел на Винниченко, а потом медленно произнес:

– Когда природа сделала человека разумного, Бог наделил его прекрасными дарами, сделав его ученым или писателем, а дьявол приложил высшее усердие, чтобы совратить человека, и наградил похотями, стремлением к власти и сделал его политиком. Поэтому дьявол получил господство в человеке, а из искусства и мудрости стала вырастать ересь и заблуждение, которые надругались над истиной. Мое мнение, что все политики находятся на службе не у Бога, а у дьявола.

Теперь удивленно, даже обиженно писатель Винниченко посмотрел на Шульгина.

– Вы, господин Шульгин, тоже писатель, и находились на службе у дьявола. Вы – депутат трех государственных дум, и вы своего дьявола – если хотите, кумира – Николая Второго заставили отречься от престола. Один дьявол победил другого.

Для Шульгина участие в отречении царя от престола было самой больной темой. Судьба распорядилась так, что ему, убежденному монархисту, активнейшему стороннику монархического строя в Россия пришлось уговаривать своего кумира отказаться от власти. Единственное, что его утешало в этом акте – не пришлось тратить много сил, и все прошло быстро... но боль за это он ощущал постоянно.

– Владимир Кириллович, – впервые Шульгин обратился к Винниченко по имени и отчеству, – мы в этом, проклятом Богом, семнадцатом году натворили много ошибок. В царской семье не нашлось достойного, чтобы занять столь высокое кресло. Царская семья выродилась, и болезнь наследника это подтверждает. А может быть, не нашлось в этом году такого человека, который взял бы ответственность за судьбу родины. Когда-то был человек, который мог изменить Россию – Петр Аркадьевич Столыпин. Через пятьдесят лет Россия стала бы самой передовой страной, обогнала в экономике Америку, Англию, Германию и прочих вместе взятых. Так в Америке и Европе не понравились российские реформы, решили делового человека и умницу убрать. И чьими руками его убили? Руками социалистов... и где? В Киеве!

– Его убили не социалисты, а сионисты! – недовольно поправил Винниченко. – Об этом писали все газеты, в том числе и ваша – «Киевлянин».

– Какая разница! У большевиков все руководители евреи. Все они социалисты, не понимающие исторического развития. Им немцы помогли с заговором против царя. Вы не знаете, а я жил в Петрограде, и вот ровно год назад стали происходить странные явления. Хлеба и другого продовольствия в столице нет, а составы с продовольствием стоят в тупиках на маленьких станциях. Мясо пропадает на складах, – а потом его в открытых дровнях везут на мыловаренный завод. А голодный рабочий все это видит и возмущается царем. Рево-

люцию спровоцировали, вызвали искусственно, это масонский заговор, чтобы ликвидировать монархию и загнать Россию в тупиковую ветвь развития. А еще бы немного – мы были величайшей страной, самой сильной в мире. Все у нас есть – плодородная земля, трудолюбивый и умный народ...

– А какую роль вы определили Украине? – перебил Шульгина Винниченко.

– Обычную, историческую. Украина была бы в составе России и вместе с ней развивалась.

– Я хотел спросить, с украинским народом? – уточнил Винниченко.

Шульгин, видимо, был не готов к ответу на этот вопрос. Он задумчиво произнес:

– Большевики раздули национальные чаяния нерусских народов до абсурдных размеров, чтобы расшатать предыдущий строй. Своим понятием – право на самоопределение – они выпустили джина из бутылки, и загнать его обратно туда же очень сложно, а может, и невозможно. А вообще, после войны все народы жили бы в свое удовольствие.

– Это вы считаете удовольствием, когда народ лишен своей культуры, боится говорить на родном языке? Всем правят великороссы или иностранцы. У него нет никаких политических прав.

– О каком народе вы говорите, кто его унижает? Вы считаете галицийцев украинским народом?

Винниченко в ответ недовольно поморщился. Шульгин

как будто читал его мысли.

– А посмотрите на остальную Украину – она заселялась одновременно и русскими и украинцами. По переписям населения три четверти помещиков по национальности являются украинцами. Какие великороссы или иностранцы угнетают украинских крестьян? Свои же национальные помещики. Наши народы всегда жили дружно и каждый говорил на своем языке, не как в Галиции, где действительно запрещали украинскую мову. Вот один ученый рассказывал, что, изучая народный фольклор, он никак не мог понять танцы. Степняки когда пляшут – им места мало, ногами небо ворошат, а в Галиции встанут в кружок и топчутся сапожками на месте. Разные украинцы. А вы держите сторону не всей Украины, а какой-то маленькой части, которая к тому же находится в составе другого государства. В этом ошибка вашей национальной политики. Но это естественно... почти что все деятели Центральной рады – выходцы из Галиции. Вы ж тоже, хотя родились в Новороссии, жили в Галиции и пропитались их духом.

Шульгин, видимо, завелся и Винниченко его перебил, толком не зная, что и возразить:

– Были вы, господин Шульгин, украиножором, им и остались. Не слышите стона украинцев, их пробужденную нежность до своей неньки-земли! – Винниченко заговорил поэтически, что с ним бывало достаточно часто, забывая, что он политик. – А послушали бы вы их, когда они приходят к нам

со слезами на глазах и поведывают нам, что они только сейчас, когда создано украинское, народное правительство, почувствовали себя людьми, их душа рванулась навстречу родной хвыли, они колыхают, пусть еще не до конца завоеванную волю, как родного ребенка, не знают, под какую божницу поставить...

Винниченко говорил с болью в голосе, большим душевным подъемом, да так, что слезы выступили на глазах. Но это не произвело на Шульгина впечатления и он ответил.

– Я всю жизнь прожил на Украине и не хуже вас знаю ее народ. Были действительно богатыри, которые хотели свободы... от кого? От царя и помещиков. А были игроки от народа, которые хотели свободы от России, а не от царя. Они хотели быть свободными под протекторатом то Польши, то Швеции, то еще кого-то. Это были духовные рабы с врожденными амбициями предателя. И народ похоронил их в своей памяти. Он поет песни о Довбуше, Кармелюке, Дорошенко, но забыл Выговского, Мазепу...

– Вы хотите сказать такое же о Центральной раде?..

Шульгин спохватился, что наговорил лишнего, и ответил:

– Нет. Хватит спорить. У меня к вам серьезное дело.

Но Винниченко пронизательным взглядом писателя, могущего сделать исторический или психологический срез какого-либо явления и мучающегося сомнениями в правильности сделанного анализа, спросил:

– Василий Витальевич, мне бы хотелось, чтобы вы да-

ли откровенную оценку нашему правительству. Я прекрасно понимаю, что вы – наш бескомпромиссный оппонент и никогда не поддерживали нашей идеи. Но скажите: что делать дальше?

Винниченко невольно вздрогнул. Только что он про себя произносил этот вопрос, и вот с душевной украинской простотой вырвалось наружу вечно русское: «Что делать?»

Шульгин задумался и осторожно, чтобы не обижать собеседника, начал говорить:

– Сейчас многие политики не понимают ситуации до конца. Я занимался психологией стран и, конечно же, России. И вам, Владимир Кириллович, скажу откровенно, чего не понимают нынешние деятели, в том числе и его величество большевики – зверь вышел из клетки. Но, увы, этот зверь, его величество – наш, русский и украинский народ. Сейчас главное – пойти ему на уступки. Почему не удержалось Временное правительство? Оно своей бездеятельностью, политикой неуступок вело страну к гибели. Большевики декларировали только буржуазные лозунги: землю крестьянам, восьмичасовой рабочий день и так далее. Вам, как социал-демократу, скажу, что в этих лозунгах нет ничего социалистического. Обычное право буржуазного государства. Но большевики пошли дальше обычных требований буржуазной революции и провозгласили лозунги: «Бери, все твое!», «Грабь награбленное!». Эти лозунги так ласкают слух тех, кто ничего не имеет... и они дают какое-то моральное право для

люмпен-пролетария, горьковских босяков, – как сейчас говорят, – экспроприировать богатых, разрушить империю. Временное правительство могло предотвратить переворот. Требуют люди, по указке большевиков, контроля над производством – да пожалуйте! Были у нас в войну военно-промышленные комитеты, участвовали в них рабочие? Участвовали. Толку от них было много? Немного. Главное – не мешали хозяйственной жизни. А Временное правительство отказало рабочим участвовать в управлении производством. Вот и недовольство среди рабочих. А землю? Да дали бы часть земли крестьянству – и оно успокоилось бы. Наши помещики все равно не умеют по-хорошему хозяйничать. Хотя бы половину земли взяли у помещиков и отдали бы крестьянам бесплатно или за выкуп. И ликвидировали бы разрушающую силу в деревне. А интеллигенция, которая вложила свои сбережения в банки, создаваемые при помощи руководителей Временного правительства, потеряла их. В октябре все эти банки обанкротились, кто-то на этом нажился. А учителя, врачи и другие интеллигенты, которые хотели сохранить свои небольшие сбережения, остались без них. Вот и осталось Временное правительство без всякой поддержки. Каждый эгоистически держится за свое, не видя, что теряет все!

Винниченко внимательно слушал. Мысли Шульгина, этого помещика и крупного политика, совпадали с его. Но в его концепцию революции не вписывался вопрос о возрождении

Украины.

– А вы, Василий Витальевич, отдали бы свое волынское имение?..

– Я отдал бы без колебания, чтобы зверь оставался в клетке. Вы, уважаемый Владимир Кириллович, повторяете ошибку Временного правительства. Поэтому, извините меня, народный поток сметет вас, и сплавит, как бревна по реке, – в небытие. Крестьяне, согласно декрета большевиков о земле, берут землю в свои руки, а вы тянете. Надо идти на уступки вовремя. Не повторяйте прошлых ошибок.

Шульгин говорил уже мягко и участливо. Он видел, что его слова попали в цель. Винниченко думал.

– Много вопросов вы поставили, Василий Витальевич. В экономических вопросах мы отстаем, мы не можем допустить анархии и повторять ошибки большевиков. Там сейчас голод, фабрики не работают. А мы хотим, чтобы революция прошла у нас как можно безболезненной. Нам обещали помощь Англия и Франция. Они заинтересованы, чтобы война на восточном фронте против Германии пошла более интенсивно. Может быть, в этом залог спасения Украины.

Шульгин едко улыбнулся.

– Вы все ищите, как и ваши неудачливые предки-игроки от народа, доброго дядю! С кем угодно, только не с Россией. А украинский народ хочет быть с Россией. Не будете этого отрицать? Сейчас вы опираетесь на боевые отряды галицийцев, завтра – призовете на помощь Австро-Венгрию.

Она ведь вам ближе, чем Россия... – Винниченко неуверенно кивнул. – Вы дайте землю крестьянам, пусть они берут не сами, а с вашего разрешения. Этим вы сможете продлить свое властвование. Мне кажется, что большевистский режим – это временное явление. Будьте гибче, – жизнь это не только национальный вопрос.

– В ваших словах много правды. Но вы не поймете высоких устремлений украинского народа, его пробудившуюся нежность к своей родине! Не поймете!!

Шульгин иронично взмахнул руками, как бы показывая, что теоретическая часть разговора закончена, и пора переходить к конкретным делам. Но он добавил:

– Народ сам разберется в национальном вопросе. У вас хорошие мысли, сформированные в вашем узком кругу... а вот если бы спросили крестьянина – какой он национальности, то он бы вам не ответил. Я, например, на Волыни спрашивал крестьянина, кто он по национальности. И знаете, что он мне ответил: «Мий дид селянин, батька – селянин, и я селянин». Так что ему далеко до вашей борьбы. Вы создали миф об унижаемых украинцах, его муссируете и сами плачетесь, а народу все равно. Ему бы только работать, да без надобности не волновать.

Винниченко улыбнулся, но уже более добродушно:

– Говорил я вам, еще раз повторю. Были вы и остаетесь украиножором. Давайте перейдем к вашим делам.

Шульгин сразу же как будто подтянулся и начал:

– В ноябре я находился на Кубани и Дону. Казаки настроены против новой власти и собирают силы для похода против большевиков, на Москву. Есть такое мнение, что здесь вы сами справитесь с большевиками. У вас есть украинские полки, не дайте их распропагандировать большевикам. И продержитесь пока в таком положении. А просьба такая... окажите самое активное содействие в отправке донских казаков с фронта домой. Надо все сделать быстро. Промедление играет на руку большевикам. Вы понимаете?

Винниченко кивнул:

– У нас есть верные украинские части. Грушевский говорит, что за нас встанут четыре миллиона украинских солдат, – Винниченко неожиданно для себя хихикнул. – Но я не верю, что их столько. Но, повторю, верные части есть. Насчет казаков... мы и так не препятствуем уходу казаков с фронта, но полностью оголить фронт не имеем права. Да и как Антанта к этому отнесется?

– Фронта уже не существует. Если немцы захотят, то они могут занять весь юг. Но Германия боится партизанской войны. Поражение немцев близко, и у них уже нет сил для наступления. Поэтому безбоязненно отправляйте казаков на Дон. Да и Россия никогда не приглашала своих врагов для примирения.

Шульгин говорил уже не как собеседник, а как руководитель, считающий этот вопрос решенным. Винниченко внимательно слушал и не возражал. Потом подвел итог:

– Я немедленно дам телеграмму на Украинский фронт, чтобы казаков отправляли по домам. Петлюре поручу лично следить за этим.

– Вы с Петлюрой носитесь, как с писаной торбой. Его в России знают больше, чем вас.

– Вы правы. Скажу между нами – он недалекий человек, но верный. Но, за неспособность к руководству украинскими войсками, мы его скоро снимем с поста генерального секретаря по военным делам.

– Верно. На каждом посту должен находиться человек, знающий свое дело.

Их мнения совпали, что было приятно обоим.

– Василий Витальевич, я хотел бы посоветоваться с вами еще по некоторым вопросам.

Шульгин согласно кивнул. Винниченко нашел на столе нужную бумагу и протянул ее собеседнику.

– Вот письмо от промышленников севера. Прочитайте и выскажете свое мнение.

Шульгин стал читать: «Из Москвы в южные города России и Одессы, Киев – Генеральному секретариату. Секретно. Большевики имеют влияние лишь в нескольких городах... выяснено, что, благодаря разрухе, вызванной попытками большевиков захватить власть, наступило полное расстройство продовольственного дела, столицам в ближайшие дни грозит голод (это предложение было подчеркнуто). Центры, снабжающие хлебом столицы, прилегающие губернии

отказываются предоставить его впредь до прекращения братоубийственной войны и открытия Учредительного собрания. Просим прекратить поставки продовольствия в столицы. России грозит небывалая разруха и голод...»

Мысленно Шульгин выругался. Это ж народ, дети будут пухнуть от голода и умирать! «Варвары! – подумал он. – Разве можно со своим народом поступать так подло!» Но отказ Центральной рады поставлять хлеб означал ее выход из все-российского рынка, а следом и выход из состава России. Юг много веков поставлял хлеб в центральные и северные губернии, прекращение поставок означало войну между большевиками и радой. А это – разрушение и кровь, дальнейшие страдания людей. Но одновременно расширялся фронт борьбы с большевиками, конец которых, по его мнению, был близок. Пусть и рада начнет войну с большевиками. «Уберем большевиков, а потом разберемся с ней», – подумал Шульгин. И он осторожно, чтобы собеседник не заподозрил его подлых мыслей, ответил:

– Я думаю, надо поддержать промышленников и прекратить отправку хлеба в Россию. Голод – хороший помощник в войне с врагами.

Винниченко облегченно вздохнул.

– Мы уже месяц просим комиссаров прислать нам деньги. Хозяйственная жизнь замирает из-за их нехватки. Я думаю, закрыть границы с Россией и не давать им хлеба. Никуда большевики не денутся, дадут нам денежные знаки и за

прошлый месяц, и наперед. Пусть считаются с нами и чувствуют, что мы тоже сила. А потом дадим продовольствие в столицы.

Шульгин с жалостью в сердце смотрел на этого честного в своих помыслах человека, известного писателя, но наивного политика. «Провозгласили независимость от России, а деньги должна давать Россия. О какой независимости вам еще говорить!» – думал он. Но места для жалости в политике нет, – сплошная подлость, а она безжалостна, и вслух он сказал:

– Это правильное решение. Надо подрывать их со всех сторон. Вы – хлебом, мы – вооруженной силой... и тогда победим.

А сам снова подумал: «Казакам еще с месяц собирать силы. А рада месяц не продержится. Она навязала себя Украине, а не народ ее назначил. Не помогут ей украинизированные полки... и вообще – ничто ей уже не поможет».

– Мы хотим выпустить свои собственные деньги, пока большевики не пришлют государственные.

Шульгин кивнул, но непонятно – то ли с одобрением, то ли с осуждением, и сделал неожиданное заключение:

– Несомненно, деньги должны быть российскими. Свои – как временная мера.

– Завтра начинает работу съезд советов Украины. А наших сторонников прибыло еще мало. Придется перенести его работу на день-два. Ваше мнение – идти на союз с советами или сразу разорвать с ними все отношения?

– Надо с большевиками пожестче. Ваших будет большинство. Поэтому постарайтесь провести свои решения. По всей России собирается белая гвардия, она спасет нас от хаоса.

Не всеми рассуждениями Шульгина был доволен Винниченко, но основная мысли о совместной борьбе с большевиками совпадала с его идеями. Они распрощались почти дружески. Шульгин пообещал поддерживать с радой связь и координировать ее действия с Доном.

Винниченко сел за стол и быстро набросал тезисы выступления на съезде советов. Потом пошел к Грушевскому.

Седовласый, с окладистой, такого же цвета бородой, в круглых очках в тонкой оправе, располневший, с маленькими холеными руками, Грушевский производил впечатление человека, далекого от политики, больше кабинетного мыслителя. И это было действительно так. Он был профессором истории Львовского университета, автором многих исторических произведений. Это снискало ему популярность в ученой и студенческой среде, которой он очень дорожил и делал все, чтобы популярность его не падала. Ученик не менее известного профессора Антоновича, который был знаменит тем, что в кругу близких говорил о необходимости союза с Россией, а в прессе и публичных выступлениях заявлял о вечной дружбе с Австро-Венгрией, в состав которой входила Галиция. Грушевский впитал от своего учителя величайшее чувство лицемерия и двуличия. Его слух ласкали приветствия на различных форумах: «Слава Грушевскому!», «Сла-

ва отцу Украины!»), скандируемые толпами его почитателей. Он, как и полагается скромному ученому, выброшенному на пенный гребень политической жизни бурными событиями, пытался ласково урезонить возбужденных людей, что еще больше распаляло их, а самому главе рады приносило истинное, до замирания духа в груди, ни с чем несравнимое удовольствие. Грушевский был самым старшим по возрасту в раде. В сентябре торжественно отметили пятьдесят первую годовщину его жизни. Такой возраст – расцвет таланта ученого и политика. Но он выглядел намного старше своих лет. Он всегда носил бороду. К пятидесяти годам она поседела и придавала его облику образ мудреца. Грушевский это осознал, и поэтому тщательно следил за своей бородой – мудреца надо распознавать не только по его знаниям, но и по внешности. Во Львове на него снизошла великая мудрость: самый угнетенный народ в мире – украинцы, проживающие в России. И он решил посвятить свою жизнь борьбе за освобождение этих украинцев, а не галичан в составе Австро-Венгрии, среди которых жил.

Он был беспартийным, и сейчас перед ним стояла задача: к какой партии примкнуть – к социал-демократам или эсерам. Но в рядах социал-демократов состояли такие личности, как Винниченко и Петлюра, популярность которых была не ниже популярности Грушевского, а у украинских эсеров таких видных деятелей не было. Поэтому он склонялся к мысли, что следует примкнуть к эсерам, а потом возглавить

их. Грушевский чувствовал, что надвигаются грозные события, и он хотел как можно крепче и быстрее закрепить то, что удалось им сделать за эти недолгие восемь-девять месяцев деятельности, – обеспечить преимущественное положение украинцев в крае, сделать Украину однородной в культуре, языке, даже в мышлении, взяв за пример Галицию. Этому он отдавал все силы, отложив на время свои научные изыскания.

Грушевский сидел в своем кабинете и просматривал закон о введении преподавания в школах на украинском языке, когда вошел Винниченко. Руководители законодательной и исполнительной властей встречались каждый день и обсуждали насущные вопросы, которых становилось все больше и больше.

– Михайло Сергеевич! – обратился Винниченко к Грушевскому без приветствия, – они виделись утром. – Давайте обсудим совместно насколько вопросов.

Грушевский кивнул головой в знак согласия. Он, как и Винниченко, выглядел усталым. Давали себя знать круглосуточные просмотры документов, мучительная работа мысли, постоянные выступления перед публикой.

– Хорошо. Но первым давайте обсудим вот этот документ. Вы дали мне нормативный акт о введении школах преподавания только на украинском языке. А как проводить его в жизнь?

«Нашел время говорить о языке, когда наше положение

сложнее сложного», – неприязненно подумал Винниченко, но вслух сказал:

– Понимаю, что нет кадров для преподавания всех школьных предметов на государственном языке. Но продекларировать это надо.

– Я предлагаю вот что: кто будет преподавать на украинском языке, пусть получает заработную плату в два раза выше другого учителя, который преподает по-русски. Как вы думаете, правильное решение?

– Да.

– Тогда подготовьте дополнение к этому постановлению, – Грушевский удовлетворенно отложил в сторону документ. – Что у вас?

– Нам следует немедленно принять ряд важных постановлений.

Грушевский согласно кивнул.

– Мы, в отличие от большевиков, опаздываем в принятии многих важных решений. Получается так, что на местах народ живет не по нашим законам, а по декретам Совета Народных Комиссаров, то есть России. От нас власть медленно, но постоянно уплывает. Надо незамедлительно принять ряд законодательных актов и постараться провести их в жизнь. А то мы останемся правительством без подданных. У нас в Генеральном секретариате подготовлены, хоть и не до конца оформлены, некоторые постановления.

– Да, да, – собираясь с мыслями ответил Грушевский. –

Я с вами совершенно согласен, Владимир Кириллович. Вот сегодня на Малой раде обсуждали вот этот закон... – он снова взял со стола тот же закон об украинизации школы. – Все поддержали его. Хотя есть скептики, которые утверждают, что в нашем языке нет многих научных терминов. Я считаю, что это несущественно. Термины можно взять из английского, немецкого, пусть даже арабского языков. В отличие от России – это передовые страны, и у них всегда появляются новые термины. Таким образом, мы подтянем украинский язык до уровня мирового. Мы закон, в порядке предварительного обсуждения приняли, а опубликуем его после внесения дополнения об оплате. Вы одобряете это решение, Владимир Кириллович?

– Конечно, – вяло согласился Винниченко, поняв, что по социально-экономическим вопросам разговора не будет. – Я уже говорил, что мы можем остаться правительством без народа, как полководец без армии или как Пирр – без того и другого. Нам надо принять кардинальные законы, которые бы позволили нам опираться на них во взаимоотношениях с народом.

– А закон об украинизации образования разве не важен! Почитайте письма, телеграммы, послушайте выступления, где люди со слезами на глазах просят принять эти решения... даже требуют. И радуются, как дети, когда получают разрешение на свободное использование родного языка. Надо, в первую очередь, заботиться о духе народа. Это сейчас глав-

ное. С таким неистребимым национальным духом мы справимся не только с врагами, но и с экономическими трудностями. Вы материалист, дорогой Владимир Кириллович, и постоянно принижаете украинский дух, а он для нас сейчас – главное дело. С ним мы создали Русь, боролись с татарами, шляхтой, турками, москвинами... он неистребим у нашего народа, и мы должны его не только поддерживать, а разжигать! – уже не говорил, а по старой профессорской привычке отчитывал своего премьера Грушевский. – Вы все более и более становитесь большевиком. Отдаляетесь от народного духа...

– Что вы! Я согласен с вами. Более того – я всей душой с этим духом, – писателю Винниченко понравился словесный каламбур. – Но кто шлет эти душещипательные письма? Такие же, как мы с вами. А спросите рабочего или крестьянина – что ему сейчас нужно. Язык? Так он и писать не умеет. Выводит иероглифы вместо росписи. Им нужна земля, и нельзя этот момент проворонить! – Винниченко все еще находился под влиянием беседы с Шульгиным.

Грушевский заметно обиделся и грустно посмотрел из-под очков на Винниченко, – еще молодого председателя кабинета министров.

– Вы хотите, как и большевики, внести анархию в производство, раздав все тем, кого вы называете народом. Мы уже с вами говорили на эту тему, – готовьте обстоятельные законы и постановления, и примем их на всеукраинском пред-

ставительном форуме. Поторопитесь тогда с их подготовкой.

– Я предлагаю, – Винниченко говорил мягко, но настойчиво, – на открывающемся съезде советов официально объявить о передаче земли крестьянам.

– Вы хотите официально ввести большевистские декреты на Украине!

– Если необходимо, чтобы это звучало так, то пусть это будет так.

– Вы большевик, Владимир Кириллович, большевик... ну, если не внешне, так внутренне. Вы забыли идею о самобытном происхождении украинского народа и его мессианской роли на Земле! Всё подчинили социально-экономическим проблемам. А я вас учил другому... – огорченно произнес Грушевский.

– Да не большевик я! – горячо возразил Винниченко. – Не большевик! Но, если мы не проведем реформы аналогичные российским, наш народ, который духом не знает о своей мессианской роли, сам сделает все как в России, а нас выбросит на свалку истории, где мы будем плаксиво писать о том, что нас не поняли, наш дух не был ими воспринят, не вошел в его кровь и плоть. Чтобы этого не произошло, я прошу принять самые необходимые постановления не позже, чем на съезде.

Грушевский погладил свою белую, окладистую бороду.

– Какие законы в первую очередь вы хотите принять?

Винниченко стал перечислять:

– Закон о передаче продовольственного дела в руки го-

родских самоуправлений. Голод, спекуляция... народ не выдержит голода, взорвется. Бабы с детьми разгромят хлебные лавки, склады, а солдаты с ними связываться не будут. Следующее – немедленно объявить о передаче земли крестьянам. Мы в третьем универсале о земле сказали «а», а «б» так и не сказали – поперхнулись. Наша опора – крестьянство – уходит от нас. К весне оно и без большевиков уберет нас. Следующее – введение рабочего контроля на заводах и фабриках. Не передача предприятий, – подчеркиваю, – а контроль. Мы предотвратим выступления против себя в городах, – Винниченко был недоволен собой, что повторял слова Шульгина. Но решил, что сейчас ситуация общая для всех, и решения должны быть одинаковыми. – Революция-то была буржуазно-демократическая, а кроме свержения царя не проведено ни одного буржуазного мероприятия! Промедлим, уйдем в небытие истории, – подчеркнул эти слова Винниченко перед профессором истории Грушевским.

– Конечно, надо провести некоторые мероприятия... – согласился Грушевский. – Но успеем ли это сделать? Вопросов много. Борьба с советами на съезде будет жаркой, в духе добрых казацких схваток. Не подумают ли делегаты, что мы стали российскими социал-демократами. Что из этого выйдет? – подумаем об этом, Владимир Кириллович.

– Пусть делегаты что угодно думают, нам надо удержать массы за собой.

– А законы подготовлены?

– Я уже говорил, что до конца не готов ни один. Но нам следует объявить, что мы их принимаем, а доработаем потом.

– Добре, – ответил Грушевский. – Мы их принимаем, но к практическому руководству по их введению в жизнь приступим после того, как разработаем все инструкции, постановления, и циркулярно приступим к их исполнению.

Винниченко не во всем был согласен с Грушевским. Но, зная его романтическое отношение к прошлому и настоящему Украины, вынужден был согласиться. Грушевский, заметив недовольство своего соратника, мягко пояснил:

– Владимир Кириллович, я старше вас, много поездил по свету и знаю: если сразу же допустить анархию, то потом мы с ней можем и не справиться. Здесь нужна даже некоторая бездеятельность, чтобы все устоялось. Порядок мы наведем с помощью наших украинских полков. Пример у вас перед глазами. Большевики в своих целях допустили разрушение государства, а теперь всеми силами пытаются собрать разрушенное... что они еще предпримут – неизвестно. Но это будут суровые меры. Поэтому давайте не допустим этого на Украине, ради самого же народа. Объясним ему. Я надеюсь, что съезд поймет.

Винниченко недовольно молчал. Снова оттяжка в принятии важных решений. К чему она приведет? К вполне возможному краху. Он знал, что украинские полки ненадежны, и все более склоняются на сторону большевиков. Но этого не

замечал Грушевский, и очень гордился тем, что один полк назван его именем. Поэтому он верил этому войску. Но спорить с профессором истории, человеком старше его и опытнее, не хотелось. Грушевский участливо произнес:

– Не переживайте так сильно. Ради Бога, прошу вас. В нашей деятельности возможны интерполяции. Наверное, в приемной ждет Петлюра. Я его вызвал, чтобы он разъяснил положение в нашем, козацком войске. Я знаю, он в последнее время уж очень полюбил парады, молебны, а созданию сичевых отрядов отводит далеко не первое место. Давайте послушаем его вместе.

Грушевский позвонил секретарю. Петлюра ждал в приемной и вскоре вошел. Это был человек невысокого роста, с тщательно выбритым лицом, гладко зачесанными назад волосами, которые обнажали низкий, покаты́й лоб. Глаза его выражали холодную решимость и вопросительную зависимость в присутствии руководства. Одет он был в новый, перешитый из русского офицерского френча, военный костюм, который более полно выражал черты национальной армии. С левого плеча свисал золотой аксельбант, на правом рукаве был нашит квадрат сине-желтого цвета. Потирая руки, Петлюра осторожно вошел в кабинет, вопросительно глядя на своих непосредственных начальников; но они молчали, и тогда Петлюра сказал:

– Я решил не мешать вашей беседе и ждал в приемной, – он вопросительно-осторожно поглядел на Грушевско-

го и Винниченко. Он знал, что Винниченко недолюбливает его за упрямую настырность и нехватку образования, зато Грушевский ценит за организаторские способности и веру в национальную идею.

– Надо было зайти, Симон Васильевич, – ответил Грушевский. – Мы обсуждали вопросы, которые интересуют и вас.

Винниченко промолчал. Он считал Петлюру выскочкой, неудавшимся журналистом, человеком честолюбивых амбиций, пеной на гребне волны украинизма, человеком, отравленным ядом случайно свалившейся власти и стремящимся во что бы то ни стало и любой ценой стать первым лицом в этих бурных событиях. Он не мог ему простить и того, что Петлюра лет десять назад, фактически, вышел из его партии украинских социал-демократов, а с началом мировой войны выдвинулся по воле случая вперед. Но Винниченко не мог ничего противопоставить той бурной деятельности, которую проводил Петлюра, и которой он подминал остальное руководство. Винниченко остро чувствовал, что именно вот этих организаторских качеств ему не хватает, и ревниво относился к успехам Петлюры.

– Как прошла операция по нейтрализации наших противников? – обратился Грушевский к Петлюре.

– Мы произвели аресты большевиков и их союзников в советах. Некоторых, кто оказывал сопротивление, пришлось расстрелять на месте, – осторожно ответил Петлюра, глядя в лица собеседников и выжидая – какую реакцию вызовут

его слова.

– В целом сделали правильно, – прокомментировал Грушевский, поправляя свою бороду и будто не замечая слов о расстрелах.

– А не обострим ли своими действиями и без того острую обстановку в столице? – поинтересовался Винниченко, которому насильственные действия Петлюры не понравились.

– Она и так острая, – ответил Петлюра. – Надо хоть на время прекратить злостную критику нашей политики со стороны прессы, митинговых ораторов, и укрепить положение, прежде всего, в столице.

– Политику нашу пусть критикуют, лишь бы не брались за оружие, – веско произнес Винниченко. – Мы можем свою политику и поправить. Политика – это возможность заглядывания в будущее своей деятельности, и наши противники помогают нам выбрать правильную линию.

– А по-моему политика – это форма удержания людей в своей упряжке, и для этого необходимы не только слова, но и сила. Противник должен чувствовать, в чьих руках власть! – Петлюра произнес это многозначительно, как посредственный журналист, пытающийся подать прописные истины с глубоким смыслом.

– Хорошо, что мы в некоторой степени сумели обуздать антиукраинские контрреволюционные элементы. Сейчас главное – обеспечить большинство своих сторонников на съезде, – Грушевский ласково гладил свою холеную боро-

ду. – А в наших частях какие настроения?

– В целом, хорошие. Украинские части не слишком хотят воевать на фронте.

– А если Россия объявит нам войну, выступят они в защиту Украины? – с нажимом спросил Винниченко.

Петлюра заколебался с ответом и после паузы произнес честно, – видимо, чтобы обеспечить себе пути отступления на будущее.

– Не все.

– Да, война сдружила людей на фронте. Поэтому они могут отказаться воевать друг с другом, – констатировал Грушевский.

– Из украинских частей мы формируем новые части, которые по-настоящему преданны Украине. Их основу составят галицийские воины, которые находились в плену в России. Они не пойдут на компромисс с москалями никогда. Они шли освобождать нас в войну от засилья России, и сейчас готовы продолжить нас защищать, – уверенно произнес Петлюра. – Спасибо Франции, что дала деньги на их формирование.

Винниченко криво усмехнулся, – ему не нравились эти игры Франции и Петлюры, проходившие большей частью за спиной его правительства. Антанта хотела, чтобы Украина продолжала войну, но Россия уже заключила предварительный мир с Германией, и немцы могли продолжать позиционную войну на Западном фронте еще долго. Поэтому-то

Франция и выделяла деньги на вооружение Украины, чтобы та перешла к активным действиям на Восточном фронте. Но позиция Петлюры отличалась от взглядов Грушевского и особенно Винниченко на этот вопрос. Уже были проведены предварительные переговоры с военным командованием Германии о заключении мира, – по примеру России. Немцы согласились на принятие отдельной делегации от Украины, противопоставляя ее России. Поэтому, в некоторой степени, самочинные действия Петлюры в отношениях с Антантой вызывали их неудовольствие. Но Петлюра с присущим ему упрямством проводил выбранную им линию, стараясь оправдать те деньги, которые выделила Франция, определенная сумма которых была положена на специально открытый для него счет в одном из парижских банков. Обязанность верно служить тому, кто ему платил, была в крови у Петлюры.

– Буквально через несколько дней нас как самостоятельную державу и наше правительство признает Англия и Франция, – сказал Винниченко. – Я беседовал с их представителями. Это придаст нам вес в переговорах с Россией. Одновременно нас признает и Германия – как державу, почему и соглашается принять нашу мирную делегацию на тех же условиях, что и российскую. Вот и возникает проблема – с кем вести серьезные и честные переговоры: с союзниками из Антанты или с ее врагом – Германией. Вопрос стоит только базисно – к кому лучше прислониться?

Винниченко внутренне вздрогнул: «Снова решаем вопрос кому отдаться. Дяде?», – вспомнил он слова Шульгина.

– Мы, несомненно, должны прислониться к Антанте, – безапелляционно заявил Петлюра. – Мы воевали против Германии и должны добить ее с помощью союзников. А потом нам пойдут от нее репарации, – добавил он.

– Франция и Америка далеко, а Германия ближе. Англия хоть и хочет признать нас, но намекает, что мы не выбраны народом. А Германия такого вопроса не ставит.

– Судьбу Украины нам вручили войсковые съезды. А выборы проведем позже, в удобное для нас время, чтобы победить на них.

– Забываете, шановный пан Петлюра – летом за нас в Киеве проголосовало менее шестой части избирателей!

Действительно, в июле, при выборах в Киевскую городскую думу, почти половину голосов набрали российские партии, а блок партий Центральной рады, как и большевики, остались далеко позади. Эти выборы напугали руководителей рады, и они решили отложить выборы в Украинское учредительное собрание на поздний срок, набирая очки в свою пользу на непредставительных съездах и конгрессах. Но за власть они цеплялись крепко, веря, что когда-нибудь победят по-демократически.

– Это случилось потому, – недовольно произнес Грушевский в ответ на слова Винниченко, – что Киев – город русифицированный и жидовский. По переписи этого года в нем

проживает всего чуть более двенадцати процентов украинцев. Нам надо сейчас заселять Киев нашими людьми. Также принять долгосрочную программу переселения в столицу чистых украинцев, преданных своей земле, из других губерний и особенно – из Галиции. Подчеркиваю – не только сейчас, но и в далекой перспективе. А то мы, национальное правительство, – как островок среди чужого моря. Пока не будет нам поддержки в столице, нам будет очень трудно. Галицийцы должны поселиться в Киеве и сделать его украинским! – львовский профессор знал, что говорит, и заключил: – А то мы как овцы среди волков.

Винниченко ответил:

– А может, и наоборот. Я думаю, если мы не избраны – это не будет главным препятствием на пути признания нашего правительства. Мы пока являемся противовесом большевикам, и поэтому нас признают другие страны. Но спасти Украину нам надо самим, а для этого нужны верные войска. Так вы, пан Петлюра, не совсем уверены в украинских войсках?

Петлюра вздохнул:

– Открыто скажу. Не во всех. Но преданные люди в них есть. Вот мы с ними провели аресты...

Винниченко неожиданно вспыхнул:

– А не будет ли это во вред нам? Газеты поднимут шум, что мы поступаем не демократически. Вы ничего не можете сделать тихо, всегда со скандалом, аффектацией.

Петлюра колючим взглядом смотрел на Винниченко:

– Что вы хотите сказать, пан Винниченко? Неужели я не тружусь на благо возрождения Украины и не отдаю этому все силы?

– Отдаете. Но грубо, по-деревянному, – видимо, Винниченко решил не щадить своего соратника-соперника. – Вспомните, как вы справились с деликатной операцией по недопущению выхода полка Богдана Хмельницкого из Киева, – в то время нашей единственной опоры. Обещали, что все будет без жертв, а наломали дров, напрасно пролили украинскую кровь.

Разговор шел об одной из тайных операций Центральной рады. В конце июля, уступая давлению Временного правительства, она согласилась направить на фронт сичевых стрельцов – полк имени Богдана Хмельницкого. Но потеря военной поддержки в столице ослабляла позиции рады. Тогда было решено инсценировать выход полка из Киева, потом в результате провокации задержать на одной из пригородных станций и вернуть обратно. Непосредственно дело поручалось генеральному секретарю по военным делам – Петлюре. Полк кирасиров должен был задержать богдановцев. Петлюра разрешил командиру в случае необходимости стрелять в сичевиков. Кирасиры точно выполнили приказ своего командира, и немало богдановцев полегло под пулями винтовок и пулеметов. Но полк остался в Киеве, и это было главное. В прессу просочились сведения о каком-то за-

говоре, но конкретных данных не было. В свою очередь газеты Центральной рады подняли скорбный гнев на контрреволюционеров, горестный плач по безвинно погибшим. Был объявлен траур, несколько дней шли молебны и подготовка к похоронам, где Грушевский пустил праведную слезу, и в этих условиях журналисты не смогли докопаться до сути. Но кто вернет богдановцев, – простых украинских хлопцев, ставших жертвой национальной политики? Именно в этом упрекал Винниченко Петлюру, который ответил:

– Панове, вы прекрасно знаете суть этого дела. Надо было тогда действовать решительно, а то бы полк ушел из Киева. И нечего меня одного обвинять, все мы участвовали в расстреле и похоронах богдановцев.

Видя, что разговор принимает резкий характер, вмешался Грушевский.

– Не надо спорить, – сказал он мягко. – Давайте заканчивать наш разговор, а то много дел. Завтра, Владимир Кириллович, доложите мне тактику нашего поведения на съезде. А вы, Симон Васильевич, расположите верные части недалеко от нашего музея и в других особо важных местах. Да, окажите помощь студентам и гимназистам. Вот настоящие украинские герои! Создают студенческое сичевое войско. Были бы все такие, и мы победили бы давно. Дайте им инструкторов по военному делу и какое-нибудь вооружение. Давайте поработаем в эти дни на славу. На съезде нужно провести нужные решения. А сейчас у меня встреча с посланцами из

Москвии. Переговоры трудные, неконкретные.

Грушевский снова глубоко вздохнул. Ему нравилась роль озабоченного делами государственного деятеля. Винниченко хотел было выйти, но спохватился.

– Михайло Сергеевич, скажите этим посланникам, чтобы прислали из Москвы гроши. Если в ближайшее время они этого не сделают, то мы будем вынуждены закрыть с ними границы, прекратить поставки хлеба. Пусть думают – или голод, или деньги. У нас нет другого воздействия на них.

– Да, я подниму этот вопрос. Симон Васильевич, а вас прошу: не забудьте о студентах, дайте им оружие.

Петлюра ловко, несмотря на то, что всю жизнь был гражданским человеком, щелкнул каблуками.

– Я немедленно организую с ними занятия по военной подготовке и дам оружие. На беспокойтесь.

Винниченко и Петлюра вышли вместе, не глядя друг на друга. В коридоре Винниченко не удержался и уколол коллегу по правительству.

– Вы долго жили в России и у вас сильный русский акцент. Постарайтесь быстрее от него избавиться.

Но Петлюра не остался в долгу.

– Буду изучать украинский язык по вашим книгам.

Они расстались. Винниченко шел и анализировал состоявшийся разговор. Многое, что он хотел обсудить с Грушевским, не стало предметом обсуждения. Грушевский уводил беседу в привычное для него русло – украинского возрож-

дения. Неужели он не видит, что есть еще не менее важные дела! А этот упырь – Петлюра, сосущий из идеи самостийности не только политический капитал, но и деньги лично для себя – кажется, становится ключевой фигурой в правительстве. «Видимо, – думал Винниченко, – придется уйти в отставку, – не понимают. Пусть будет так». Но когда-нибудь он припомнит своим нынешним коллегам, как правильно он хотел строить соборную Украину, и как ему в этом деле помешали.

Сергей Артемов и делегация из Луганска, прибыв в Киев, были удивлены, когда узнали, что работа всеукраинского съезда советов откладывается на два дня. Их расположили в старой гостинице на Лабораторной – не близко от центра, но и не так далеко. Это не вызвало больших возражений, тем более предводитель дворянства – Пакарин – в последний момент отказался от поездки. Часть делегатов разошлась по знакомым, где собиралась и ночевать.

От нечего делать Сергей бродил по Киеву. Здесь он был впервые, и его поражали красота и размеры города. Вокруг кипела жизнь, хотя и с какой-то настороженностью. Работали рестораны, кабаки, театры, синематограф. Сергей читал афиши: Интимный театр «Кружево капризной Коломбины»; Театр-варьете «Блестящая программа. Каскады артисток и танцористок»; знаменитый иллюзионист Ли-Шун-Ша; Салонный юмор – Сата Дронов. Возле «Одеона» Сергей остановился – афиша вещала: «Талантливая куплетистка Дора Соколова и популярный пародист Л. О. Утесов». Сергей купил билеты и пошел смотреть эту программу. Талантливая куплетистка, женщина в возрасте, не произвела впечатления. Утесов понравился больше, он рассказывал, подпевал себе и одновременно танцевал. Но когда он стал рассказывать политическую сатиру, Сергею стало не по себе.

Демагоги наши строги,
Ленин ходит важной павой,
Произносит монологи,
Угрожает всем расправой.
Троцкий грозен, как Юпитер,
Мечет молнии и громы:
«Погоди, имущий Питер,
Разнесу твои хоромы».
Ленин с Троцким льстят солдатам
Ради власти и карьеры,
Троцкий хочет быть Маратом,
Ленин метит в Робеспьеры.

Сергей после этого стиха ушел из зала. Потом долго бродил по улицам Киева, пока возле синематографа «Вавилон» не прочитал афишу «Любовь графини», «С участием любимцев публики В. Холодной и В. В. Максимова», «Исключительная постановка и игра». Он пошел и посмотрел этот фильм.

К вечеру он вернулся в свою гостиницу. Людей там было много, и с ним в комнате поселился молодой парень двадцати двух лет, родом из Юзовки. В комнаты заглядывали агитаторы от всех противоборствующих сторон, предлагали бесплатно газеты и листовки, просили поддержать то большевиков, то украинские партии, то польских конфедератов, то русских граждан немецкой национальности... голова могла пойти кругом от различных предложений. В конце концов,

Сергей не выдержал, и одному гимназисту, который пытался растолковать ему программу общества «Единство», предложил закрыть дверь с другой стороны, а если он еще сюда сунется, то будет выкинут на улицу. Гимназист послушно удалился, даже не оставив листовки. Такие действия Сергея вызвали одобрение парня из Юзовки.

– Так их надо. А то совсем запутают людей.

Они познакомились ближе. Парня звали Дмитрий, фамилией назвался – Бард. Позже он пояснил, что это его поэтический псевдоним. Они разговорились и, в первую очередь, что случалось со всеми при встрече – об обстановке в стране. Дмитрий был большевиком, этой осенью только вступил в партию. Он даже позавидовал Сергею, который, будучи старше его на несколько месяцев, уже был судим за революционные взгляды, воевал на фронте, был ранен и теперь с оружием в руках защищает революцию.

– Такие, как ты, – горячо говорил Бард, – будущее коммунизма.

– Ты тоже будущее, – ответил удовлетворенный похвалой соседа Сергей.

– Я тебе завидую, – говорил Бард, – ты давно в революции. А я с четырнадцати лет в шахте. Сначала помощником коногона, потом в лаве, пока не прибило породой, и не сделался калекой. У тебя – светлая жизнь, а у меня – одни потемки.

– Ты что, инвалид?

– Да. Позвонок повредило. Так несколько лет лежал в по-

стели. Два года как ногам. Теперь и у меня появилась светлая жизнь впереди.

– Да, несладко тебе пришлось, – посочувствовал Сергей.

– Ничего. Зато пока я лежал, я столько книг прочитал – серьезных и умных. А когда под землей спину гнул, не хотелось читать. И знаешь, к какому выводу я пришел? А? Тяжелая работа умственно человека не развивает. А когда есть свободное время, то можешь думать. Несмотря ни на какие боли чувствуешь себя человеком.

Сергей с теплотой смотрел на этого восторженного человека. Тот, то ли смутившись, то ли почувствовав, что его слова не убеждают собеседника, неуверенно, словно раскрывая великую тайну, тихо произнес:

– Пока я болел, знаешь, чему я научился? Писать стихи. Хочешь, я тебе прочитаю одно?.. – он полез в сумку. – Это стихотворение даже напечатано. Вот, смотри, – и он протянул ему аккуратно сложенную газету. – Сергей прочитал название газеты: «Донецкий пролетарий». – Почитай. Вообще-то, это – песня.

– Лучше прочитай вслух сам. Ни разу не видел и не слышал живого поэта.

У Барда зарумянилось лицо и он, хрипловато от волнения, произнес:

– «Шахтерская марсельеза». Так называется. Вот она. Наступило, товарищи, время, Загорелась свободы заря.

Разогнали мы царское племя,
Ниспровергли мы трон и царя.
А в забоях подземного царства,
Где тянулись усталые дни,
Разорвали мы тайны коварства,
И светлей разгорелись огни.

Припев:

Кругом шум и гром. Люд пылает огнем.
Товарищи! Смело на гору.
Разгоним последнюю свору.
Вперед! На бой! Вперед! Идем, идем!

– Я все читать не буду, там много, – волнуясь, произнес

Бард. – А концовку послушай.

Миновали тяжелые годы,
Светят ярко свободы лучи.
В вольном царстве труда и свободы
Разбежались враги-палачи.
Загремела могучая песня,
В подземелье свободно, как гром.
Где так было невольно и тесно,
Мы там смело и грозно идем.

Последние слова куплета и припева Бард почти что пел.

От душевного напряжения слезы выступили на глазах, лицо со впалыми серыми щеками раскраснелось. Напряженно-стыдливо он смотрел на Сергея, ожидая его оценки.

– Ну, как?

– Хорошо, Митя, хорошо. Таких стихов я раньше не слышал. Это наши стихи, ты молодец! Вот, как окончательно победим эту свору, о которой ты пишешь, сделаем тебя главным поэтом страны. Чтобы все учились, как надо писать правильные стихи.

Но Бард отрицательно замахал руками:

– Я хочу быть шахтерским поэтом в Донбассе. В стране я не потяну. Ты читал Пушкина? Как он писал. Будто говорил. А мне до него далеко.

– Ничего страшного. Работать не будешь, только будешь писать стихи. Набьешь на этом руку не хуже Пушкина. Только надо будет хорошо стараться.

Дверь без стука отворилась, и мужчина в зимнем полу пальто зашел в комнату; не поздоровавшись, он обратился к Сергею и Барду:

– Большевики есть?

– Есть. Мы оба большевики.

– Товарищи! Революция не дает нам возможности для отдыха. Сейчас начнется собрание. Уже приехала Бош. Идите на первый этаж в комнату для персонала. Быстрее!

И человек, не ожидая ответа, исчез. Сергей вскочил, оправил гимнастерку, взглянул на сапоги – чистые. Он был готов действовать. Бард одевался медленно, и Сергей заметил, что движения его раскоординированы, как у больного человека. Они нашли комнату обслуживающего персонала, но людей в ней оказалось немного. Они сели и стали ждать. По-

степенно в комнате собралось человек двадцать. Минут через пятнадцать вошел тот же человек в полупальто, который собирал большевиков, а вместе с ним женщина – Бош Евгения Богдановна, известный деятель социал-демократического движения, отбывавшая срок в ссылке и совершившая легендарный побег из Сибири в Японию. Ей было лет под сорок. Немного располневшая, с усталым одутловатым лицом, короткой стрижкой, она подходила под образ добропорядочной матроны, умело воспитывающих детей в духе добродетели и создающей мужу уют. Но, когда она говорила, то совершенно преображалась. Серые глаза стального цвета излучали невиданную энергию, заставлявшие всех внимательно слушать ее, полные губы сжимались в тонкую ниточку, выражая непреклонность в своей воле. Сопровождавший не успел представить ее присутствующим, как она начала говорить. Не по-женски, а напористо, по-мужски, подчиняя слушателей своей воле.

– Кто здесь присутствует? Из Одессы есть? Нет. Наверное, проживают в другом месте. А вообще, кто из Новороссии?

– Есть, – раздались голоса.

– Откуда?

– Из Херсона, Николаева, Балты...

– Земляки, – поощрительно-скупно улыбнулась Бош. Она была уроженкой Херсонской губернии, из семьи немецких колонистов. – С Донбасса есть?

– Есть! – как по команде ответили Сергей и Бард.

– Откуда?

– Луганск, Юзовка, Горловка...

– Хорошо. Но все-таки вас здесь мало, – начала Бош.

Чувствовалось, что она привычна к выступлению перед любой аудиторией, в любых условиях. Говорила она, строя правильные фразы, не сбиваясь с предмета выбранного разговора, уверенно и настойчиво проводила нужную ей линию.

– Товарищи! У меня мало времени, и по решению Киевского и Краевого партийных комитетов, мы доводим до вас следующую обстановку, которая сложилась вокруг съезда советов. Центральная рада, которая одновременно собирает свой съезд, отложила начало его работы на два дня. Мы хотели переждать. Пусть они проведут свой съезд, а мы потом – свой. Как стало известно, они хотят объединить работу обоих съездов. А так, как их будет больше, они продиктуют нам свои решения, и никакой власти советов на Украине не будет. Кроме того, они заставляют своих делегатов регистрироваться делегатами нашего съезда. И уже их количество делегатов превышает то количество, которое мы планировали. Они хотят растворить нас в себе, не дать нам дышать. Краевой комитет настаивает на проведении своего съезда, и я считаю это правильным. Каково ваше мнение?

Бош замолчала, и ее стальные глаза стали буравить аудиторию. Раздались крики:

– Конечно же свой съезд! У них одни цели – у нас другие!
Долой Центральную раду!

Бош осталась довольна реакцией собрания:

– Правильно вы думаете. Мы должны спасти свой съезд. Поэтому от нас, большевиков, требуется сейчас исключительная выдержка и железная дисциплина. Нам надо всех своих сторонников, особенно колеблющихся, настроить таким образом, чтобы не дать раде перехватить инициативу. Или советская власть, или вновь прозябание под ярмом помещиков и капиталистов. Вот в этом духе разговаривайте с людьми и проводите партийную линию. Но события могут обернуться по-другому. В Киеве сейчас наших сторонников мало. Революционных солдат она представляет как русские части, хотя там полно украинцев, разоружает, а солдат отправляет по домам. Те, конечно же, с радостью расходятся. Мы этого потерпеть не можем. Свои, украинизированные полки, она пригоняет в Киев. Поэтому возможна расправа над делегатами нашего съезда. А ее надо не допустить. У кого есть оружие, будьте готовы к вооруженному отпору. У всех есть оружие?

– Да! – крикнул Сергей.

Так же утвердительно раздалось еще несколько голосов. С места вскочила черноволосая девушка и, видимо, находясь под впечатлением слов оратора, громко спросила:

– Товарищ Бош, а где его взять, если нет? Дайте оружие?!

Смуглое лицо ее покраснелось, вся фигура выражало порывистость и готовность идти в бой.

– Вы откуда, товарищ? – спросила Бош.

– Из Херсона. Моя фамилия Фишзон. Там у нас плохо с оружием.

– Поможем, товарищ Фишзон. Все, кто хочет получить оружие, завтра идите на завод «Арсенал» и там получите оружие. В первую очередь мужчины, но и, возможно, другие. Надо вооружить в первую очередь тех, кто воевал и умеет им пользоваться.

Бард зашептал на ухо Сергею:

– А мне дадут? Я ж не воевал. А оно мне сейчас очень нужно, – обиженно, как ребенок, говорил Бард.

Бош продолжала:

– Мы заканчиваем наше короткое партийное собрание. Будьте настроены по-революционному и ни пяди не уступайте контрреволюции. Наша победа – путь в светлое будущее, наше поражение – снова тяжелый путь подготовки новых революций. Да здравствует мировая революция! – закончила она.

Человек в полупальто встал.

– Вопросы будут? Вижу, что будут, но у нас нет времени на них отвечать. Еще надо объехать несколько гостиниц и казарм, где находятся наши делегаты. Правильный ответ вам подскажет классовое чутье. До свидания, товарищи!

Бош, вытирая платком запотевшее лицо, вместе с ним пошла к выходу. Все стали расходиться. Сергей увидел Фишзон и толкнул локтем в бок Барда.

– Посмотри на Фишзон. Симпатичная барышня.

– Пусть, – равнодушно ответил Бард.

– Чего пусть? Познакомься с ней.

– Сам знакомься.

– Я не могу.

– Ты что, женат?

– Да.

– А дети есть?

– Двое, – поколебавшись, ответил Сергей. – Теперь понимаешь, что мне нельзя с барышнями знакомиться?

– Она не обратит на меня внимания, – уныло произнес Бард. – Кому калека нужен. Был бы я такой красивый, как ты, тогда бы попробовал.

Сергей никогда не считал себя красивым, скорее наоборот, но его задела униженность Барда перед судьбой. И он весело произнес:

– Не трусь. Ты красивый, умный хлопец. Красивые девахи – для тебя! Пошли.

В армии Сергей приобрел некоторый опыт знакомства с девушками. Его учителями были старослужащие солдаты, которым все нипочем – или воевать, или отдыхать. Но Фишзон была не бабой в прифронтовой зоне, к которой легко и непринужденно можно было заглянуть на огонек и пожаловаться на свою трудную солдатскую долю, а, судя по ее виду, интеллигентной девицей. Но прифронтовой зоной его любовный солдатский опыт заканчивался. Ему хотелось показать Барду свое умение знакомиться с девушками, да и хоте-

лось как-то утешить его, обиженного жизнью человека. Они догнали Фишзон в коридоре, и Сергей обратился к ней.

– Товарищ. От Херсона до Киева далеко?

Фишзон остановилась, удивленно приподняла брови, глядя на «неграмотных товарищей». Сергей мысленно выругал себя за эту фразу, которой показал свое неумение обращения с девушками.

– Почти сутки поездом. А что вы хотели?

– Просто не знаю, где находится этот город, вот и спросил, – чистосердечно признался Сергей. – А у вас действительно с оружием плохо?

– Наверное. Мне его в Херсоне никто не давал.

Разговор заходил в тупик, и Сергей отчаянно думал, как быть дальше и выпалил:

– Товарищ Фишзон, мы хотим с вами познакомиться. То есть не я, а больше мой друг. Мне уже поздно, я женат, дети, – он благодушно развел руками. – А вот мой товарищ, его звать Дмитрий, холостяк... и сочиняет стихи. Знакомьтесь с ним, – уже по-свойски, будто зная ее давно, закончил Сергей.

– Эльвира. Можно просто Эля.

Бард покраснел и выдавил из себя.

– Дмитрий. Можно просто Митя.

– Очень приятно. А вас как зовут? – обратилась она к Сергею.

– Сергей. Я из Луганска, – предупредил очередной вопрос

Сергей. – А Митя из Юзовки. Мы бы хотели пригласить вас на чай, но его у нас нет. Зато есть сало, а чай мы сейчас раздобудем.

Фишзон рассмеялась.

– У меня есть чай, пойдете ко мне в гости.

Сергей согласно кивнул головой и, подталкивая упиравшегося Барда в спину, направился в ее комнату. Она зажгла электрический свет, и здесь Сергей рассмотрел товарища Фишзон вблизи и полностью. Эльвира была красива своей неповторимо-национальной красотой. Черные, жесткие, блестящие волосы, заплетенные в две толстые косы, были подколоты кверху. Большие навывкате глаза смотрели не только на собеседника, но и как бы внутрь себя, и казались бесконечно глубокими. Крупный нос и пухлые губы не совсем гармонировали с впалыми щеками, но эта диспропорция только украшала ее. Она была невысокого роста, с большой, не по росту грудью и стройной фигурой нерожавшей женщины. На вид ей было лет двадцать. Молодость и красота не вязалась с ее революционной жизнью, и Сергей с огорчением подумал: «Далеко Барду до нее, красивой и образованной». Но начало знакомству было положено, и отступить было нельзя.

– Я сейчас пойду к горничной, возьму кипятку, заварим чай и попьем, – Эльвира говорила без жеманства, не с целью понравиться незнакомым мужчинам, а просто по-дружески.

– Тогда и мы что-нибудь принесем. У меня осталось, кро-

ме сала, немного колбасы и сахару. Я сбегаяю, – ответил Сергей.

Но вмешался Бард.

– У меня тоже есть сахар и печенье. Я сам схожу.

– Прихватишь мое из рюкзака, – сказал Сергей, и Бард торопливо выскочил. Следом за ним вышла Фишзон с чайником.

Эльвира вернулась быстро, с наполненным кипятком чайником, в отдельной кружке заварила чай. Сергей молча следил за ее движениями. Она ему безусловно нравилась, но он помнил Полину, и ощущал сейчас досаду от того, что связался с нею и многое наобещал на будущее. Фишзон, видимо, ощущала на себе пристальный мужской взгляд нового знакомого, делала вначале вид, что не замечает, но потом, открыто посмотрев в глаза Сергея, спросила.

– Почему вы так на меня смотрите?

– Как? – делая вид, что не понял вопроса, переспросил Сергей.

– Как... на игрушку, в первый раз увиденную.

– Потому, что в первый раз вижу... такую красивую.

Эльвира деланно нахмурилась, хотя слова Сергея ей понравились, и она миролюбиво ответила:

– Ничего, глаза скоро привыкнут, и будете смотреть на меня, как повседневную игрушку.

Теперь смутился Сергей;

– Я так на всех смотрю, не только на вас.

– Ну, хорошо. Что-то ваш товарищ задерживается.

И тут Сергей понял, что надо сказать главное, ради чего они пришли к ней в гости – потом может быть поздно. Придет Бард.

– Знаете, мой товарищ очень хотел с вами познакомиться.

Вы ему страшно понравились.

– А разве я понравилась не вам?

– Нет. То есть, вы мне тоже понравились... но я женатый.

Просто ради интереса с вами знакомиться не хочу. – Сергей оставался честен, хотя бы и перед самим собой. И эта прямота его часто подводила – если человек ему не нравился, он никогда не мог быть с ним откровенен.

– А... – разочаровано произнесла Эльвира. – Вы, Сережа, хоть и фронтовик, а все-таки молоды для женатой жизни. Просто вы не могли успеть такого сделать.

Она видела его насквозь, и это было ему неприятно. И он с досадой ответил:

– Если бы не служил в армии, не был на фронте, может быть, и не женился.

– А вы мне нравитесь своей прямотой. Спасибо и за это.

– Вы знаете, я хотел бы поговорить насчет Дмитрия. Он очень хороший человек. Был шахтером, его прибило в шахте... – спохватившись, что он, может быть, сказал что-то лишнее, Сергей испуганно добавил: – Но он вылез. Научился писать стихи. Хорошие! Но он очень стеснителен, боится вас, что вы умнее его и красивей. Помогите ему пове-

ритель, что он такой же, как и все. Сильный и здоровый. Ну, хотя бы немного обратите на него внимание. Прошу вас?

Фишзон смотрела на него внимательно-бархатными глазами.

– Странные вы, мужчины. Вместо того, чтобы самому завоевать девушку, вы отдаете ее другу. Вы мне больше симпатичны, чем ваш товарищ. Но я не могу обещать вам этого в отношении вашего товарища, хотя он и поэт. Не принуждайте меня к этому. Я разберусь во всем сама. Но по вашей просьбе на сегодня я стану сестрой милосердия для вашего друга. Но – только по вашей просьбе.

– Спасибо, Эльвира. Но ты не убивай человека сразу, пренебрежением, – ответил Сергей, переходя с ней на «ты».

– Постараюсь.

Прибежал запыхавшийся Бард. Он принес сахар, печенье и полкруга колбасы. Оказывается, он задержался потому, что рюкзак Сергея перепутал с чемоданом, и искал продукты там, и только потом уже проверил рюкзак и нашел нужное. Эльвира разлила чай и все, неестественно сосредоточившись, стали его пить, стараясь смотреть в стаканы, пока Фишзон, нарушив молчание, не спросила:

– Ну, а как дела идут в Донбассе? Советскую власть полностью установили?

– Да! – воскликнул Бард. – Мы каждому рабочему дали его права. Каждый получает у нас паек. А буржуев этого лишили.

Эльвира от души рассмеялась:

– И это все? А кто у вас советом руководит?

– Большевики, меньшевики, эсеры... вместе, – хмуро добавил Бард.

– У нас в Луганске всем руководят большевики, – с гордостью сказал Сергей. – Остальных совсем немного.

– А у нас в Херсоне не поймешь. Все, вроде, за Советскую власть, а на деле чего-то ждут.

– Вот объявим советскую власть на Украине, и тогда будет дана команда, что и как делать. А то многие просто не знают этого. А к Центральной раде какое отношение в городе?

– Больше отрицательное. Все же – Новороссия, а они лезут в наш край.

Бард молчал, и Сергей, чтобы привлечь его разговору, предложил:

– Ты бы почитал стихи?

– Да, да! – подхватила Эльвира.

– Потом, – смущаясь, ответил Бард.

Сергей понял, что ему лучше уйти и, взглянув на трофейные карманные часы, сказал:

– Мне пора.

– Куда? – одновременно спросили Фишзон и Бард.

– Ко мне должен подойти один товарищ, – солгал Сергей. – Может, уже ждет. Пойду.

Фишзон поняла причину его ухода – он хотел оставить их вдвоем, но не возражала, только сказала:

– Если ты недолго удержишься с товарищем, приходи обратно.

– Хорошо.

Сергей ушел, внутренне засмеявшись, увидев напряженную позу Барда, которому теперь предстояло самому вести разговор. У себя в номере Сергей разделся, лег в постель и быстро заснул. Проснулся от того, что пришел Бард. Сергей посмотрел на часы. Бард с Эльвирой просидели два с лишним часа. «Это много», – подумал он. Но вслух спросил:

– Что так рано пришел?

– Пришла соседка по номеру, пришлось уйти, – почему-то шепотом ответил Бард.

– Стихи читал?

– Да. Ей понравились. Завтра вместе пойдем на «Арсенал» за наганами. А что лучше – винтовка или наган?

– Пулемет с пушкой, – сонно ответил Сергей. – Давай спать.

Бард, тихо раздевшись, лег. А Сергею после его прихода не спалось. Только к утру его окутала тревожная дремота.

На следующий день Бард с Фишзон поехали на «Арсенал», а Сергей пошел в киевский совет, чтобы получить мандат участника съезда. На улицах Киева было полно солдат, лиц в гражданском было меньше. При входе в совет также толпилось много солдат и офицеров, одетых в форму украинского войска или в шинелях русского образца, на рукаве которых красовались желто-голубые повязки. Стоял страшный шум, люди спорили, ругались, матерились. Шел напряженный разговор, переходящий в бранный крик, где дипломатия конфузливо отходила на задний план.

– Нас Московщина раньше душила! – кричал молодой офицер с редкими, опущенными вниз на галицийский манер, усами. – Триста лет душила! И зараз не хочет дать нам волю! Ганьба большевикам!

Ему отвечал солдат-доброволец с пшеничными усами украинца-степняка:

– Да тебя триста лет душили поляки и австрийцы, а не Россия! Проси у них воли! А не суйся в наши дела!

– Российская демократия против нас!

Аккуратно одетый гражданин вступает в полемику:

– Извините, шановный товарищ. Когда вы говорите о большевиках – я согласен, но стыдно говорить вам о всей российской демократии...

– Все они одинаковы – и большевики, и демократия! Жизни нам не давали!

– Российская демократия не против требований украинцев.

– Откуда вы знаете?

– А откуда вы знаете, что демократия против вас?

Поднимается шум, люди сопят, пытаясь найти ответы на необычные вопросы. Старый еврей-ремесленник с Большой Васильковской вступает в разговор:

– Я так думаю, что все называются русскими – и украинцы, и поляки, и жидаы, и армяне, – я думаю, все они русские...

Раздается издевательский смех.

– Ты, жид, читал историю или слышал о ней?

– Нет, – смущается старый еврей.

– Сначала послушай или почитай, потом балакай!

Солдат-великоросс встал напротив солдата-украинца со Слобожанщины. Спорят. Русский говорит:

– Что же будет, если все начнут отсоединятся – Украина, Сибирь, Дон... вы хотите всех отсюда выгнать?!

Украинец отвечает:

– Товарищ! Дурнощи вы говорите. Почитайте нашу программу!

– Какие дурнощи! Где программа?!

Он читает листовку украинца и комментирует.

– Видишь, шо написано! Украина – для украинцев! Все

люди твои братья, но москали, ляхи и жидаы – это враги нашего народа. Потому выгоняй отовсюду из Украины иностранцев-угнетателей! Вот ваша программа!

– Товарищу! Це не наша программа. Это программа других украинцев – с запада, которые ненавидят всех, кроме себя. Надо в этом разбираться! Наша программа быть равными с Россией, но не давить на нас...

– Ты мне угрожаешь? – взрывается солдат-великоросс. Тяжело сопя, они смотрят друг на друга.

– Разберись, товарищу, и успокойся, – говорит солдат-украинец.

– Ты сам не волнуйся! – отвечает тот. – Пойдем пива попьем и успокоимся.

Рядом студент, блестя стеклами очков, не говорит, а кричит, так отрешенно, будто это его последнее выступление в жизни:

– За неньку-Украину, если потребуется, отдадим жизни! Никому ее! Украина – великая европейская держава, а Московщина – азиатская! Нет азиатчине! Слава Украине! – кричит он, вытягивая три пальца вверх над собой, и его напряженная фигура готова взлететь над толпой.

– Товарищи! Господа! Панове! Друзьяки!..

Поняв, что всех не переслушать, Сергей зашел в здание совета. Там также царил гвалт и беспорядок. Он нашел комнату мандатной комиссии. Там было полно людей, одетых в серые шинели, которые смеялись и кричали. Сергей по-

дошел к группе людей, среди которых стоял и тот, который приводил вчера в гостиницу Бош.

– Что происходит? – спросил он у этих людей.

– Вот прибыли делегаты от Центральной рады на свой съезд, а лезут на наш. Вырвали у нас печать и штампуют себе мандаты на наш съезд.

– А где ж охрана?

– Нет у совета охраны. Мы ее никогда не держали, доверяли людям, были открыты круглые сутки. Вот они и пользуются этим. Да, что с ними сделаешь, если они все пьяные, – огорченно ответил секретарь совета.

В Сергее вдруг неожиданно поднялась злоба, как когда-то на фронте при виде атакующих немцев, и, не помня себя он ринулся к столу, по пути увидев мелькнувшие лица Барда и Фишзон. Он подбежал к столу и резким движением кисти руки вырвал у здоровенного гайдамака печать, чуть не свалив того со стула. Горячо дышавшая толпа подняла на него головы, и их пьяные взгляды не выражали ничего хорошего. Сергей враждебно посмотрел на них и положил печать в карман шинели. Гайдамак, у которого он выхватил печать, схватил его широченной ладонью за плечо и повернул к себе, чему Сергей не сопротивлялся и, дыша густым самогонным перегаром начал медленно, картинно, чтобы видели все окружающие, поднимать сжатый кулак для удара. Мгновенно осознав, что удар для него может быть не просто тяжелым, но и последним, Сергей резко схватил эту враждебную руку

своими в замок и перебросил гайдамака через спину. Толпа солдат до этого не вмешивалась, но сейчас, как-то одновременно выдохнув, надвинулась на Сергея, и он инстинктивно отступил ближе к стене, чтобы не иметь врага за спиной. Дитина гайдамак поднимался с пола, одновременно расстегивая рукой кобуру нагана. Медлить было нельзя, и Сергей выхватил из кармана свой револьвер, машинально, по привычке повертывая барабан с патронами, навел его на толпу. В комнате поднимался запах не просто вражды, а крови. Но неожиданно, мелькнув быстрой тенью, между Сергеем и гайдамаками встала Фишзон. Разметавшиеся по плечам будто бы горящие черным светом волосы, страстное от бессильного отчаяния лицо и гневные глаза впились в толпу, – та на мгновение остановилась.

– Хватит! – высоким до фальцета голосом закричала она. – Хватит баловаться и угрожать друг другу наганами! Можно и спокойнее договориться.

Подбежал Бард и встал рядом с ним, заслоняя Сергея своим телом. Гайдамак поднялся с пола, держа в руке наган.

– Отойди, детка, я зараз с ним побалакаю, – с угрозой в голосе обратился он к Фишзон. Но та стояла, не двигаясь с места. Гайдамак подошел к ней и левой рукой отодвинул ее в сторону. – Ну ходи до мене? – обратился он к Сергею. – Ходи? Побалакаем.

Сергей размышлял – что делать? Револьвер он держал в опущенной руке. Стрелять? Их троих изрешетят, как сито.

Каждый солдат кроме винтовки носил в кармане пистолет, добытый на фронте, и командование этого не запрещало. И он медленно, чтобы все видели, опустил револьвер в карман шинели.

– Поговорим. Но не здесь. Выйдем на двор.

Толпа удовлетворенно выдохнула. Видимо, стрельба в комнате ее не прельщала. Можно и своих перестрелять. Дедина остановился и на удивление спокойно произнес:

– Гарзд. Выйдемо.

Но тут кто-то из толпы обрадованно выкрикнул:

– Серега! Ты?

И Сергей увидел Тимофея Радько, с которым служил на Юго-Западном фронте и участвовал в том злосчастном июньском наступлении. Тот радостно улыбался и, не обращая внимания на своих товарищей, пробирался к Сергею. Они обнялись – этого, видимо, хотел Тимофей, чтобы показать, как он близко знает фронтового друга. И громко, чтобы слышали, спросил:

– Ты жив? А мы ж там, на фронте, думали, что тебе конец пришел. Снаряд же рядом с тобой рвануло, думали – тебя в ключья. Не ожидал, что ты жив. О це добре! Как же ты живым остался?

Привирал Тимофей ради смягчения сердец своих однополчан – снаряд тогда, в июне 1917, разорвался намного дальше, но его задел своими горячими осколками. Но у фронтовиков свое, особое чувство родства – причастности

к кровавому делу, которое заставляет их держаться вместе, совместно переживать прошедшее, но лично каждому хочется забыть это прошедшее. И этим-то и воспользовался Тимофей.

– Казаки меня спасли. Подобрали в свой обоз, – Сергей не стал распространяться о ранении.

– О, славно! – воскликнул Тимофей, и по его увлажнившимся глазам было видно, что он всем сердцем рад встрече. – Хлопцы, це ж наш вояка, в одном полку служив, со мной! – обратился Тимофей к гайдамакам. – Заканчиваем баловство, як кажет дамочка. На фронте не вбило, не следует зараз друг дружку убивать. Панас, прячь свой пистоль.

Детина молча стал прятать наган в кобуру, но по его виду было видно, что он недоволен, не простил обиды:

– Гаразд. Пойдем на вулицю и там договорим до конца, на кулачках.

Панас желал продолжения схватки, только более мирным путем. А может, его напугало то, что Сергей был на фронте, – а с такими опасно связываться, тем более, если он при оружии. Но так просто отступить ему не хотелось. Но Тимофей сказал ему:

– Ни, Панасе. Драчка отменяется. Пойдем в кабак и мирно все решим. У меня есть пляшка самогона. Бурячного. Як вмажешь, так с ног без всякой драки. Пойдем выпьем – и мировая.

Панас послушно согласился:

– Коль так, то можно. Но нехай и твой друг поставит пляшку.

– Я за него поставлю.

– Я и сам могу, – согласился Сергей.

«Плохой мир все-таки лучше хорошей ссоры», – подумал он.

– Да пусть он возьмет с собой и дамочку. Дюже шустрая, – продолжал ставить условия Панас. – Не она бы – уже б твой труп остыл, – и он удовлетворенно ослабил.

– Если захочет, пусть идет. Но она не одна, а с товарищем.

Бард стоял растерянный, не пришедший в себя после происшедшего, и только спросил Эльвиру:

– Мы пойдем?

Фишзон, видимо, решила идти вместе со всеми, – на всякий случай, если вдруг снова вспыхнет ссора, то она поможет ее прекратить. В комнату вошли несколько человек во главе с секретарем мандатной комиссии.

– Что здесь происходит? – обратился человек в кожаной куртке, будто не зная, что здесь действительно происходило. – Где печать? – властно потребовал он, видя, что заваруха закончилась.

Сергей протянул печать. Тот взял и укоризненно посмотрел на него.

– Что вы здесь буяните? – укоризненно-наставительно произнес он. – Стыдно, товарищ.

– Да всякое бывает, – вяло согласился Сергей.

Гайдамаки удовлетворенно хмыкнули, им понравилось, что недавний их противник своими словами как бы взял часть вины за происшедшее на себя.

– А теперь расходитесь, – скомандовал человек в кожанке. – Завтра приходите на съезд, в Купеческое собрание.

Видимо человек в кожанке был доволен, что все завершилось мирно, и не хотел вновь обострять обстановку излишними выяснениями. В это бурное время эмоции подавляли разум, и перемирие легко перерастало в ссору и наоборот; все стали выходить. Тимофей как-то недоуменно смотрел на Сергея, будто тот вернулся с того света и неожиданно снова оказался рядом с ним. На улице расстались с толпой гайдамаков, и в подвал трактира на Фундуклеевской зашли только пятеро. У полового Сергей заказал бутылку царской водки, одновременно жалея, что тратит на это много денег, а сколько придется находиться в Киеве, он не знал. «Ладно, – решил он. – Ради встречи с Тимофеем». То, что он заказал царскую, вызвало удовлетворение у Панаса, и он, от предвкушения удовольствия, потер руки. Разлили водку по стаканам и первую выпили за встречу. Бард не притронулся к стакану, Фишзон только пригубила. И, когда Панас выразил недовольство, Эльвира ответила, что она такое не пьет, а Бард торжественно произнес:

– Раньше нас буржуи специально спаивали, чтобы меньше думали, а больше работали. А сейчас революции водка не нужна. Я уже давно ее ни грамма не брал в рот и поклялся

никогда не брать. Она мне уже не нужна.

Его заявление вызвало смех и улыбки, и Панас добавил:

– Нехай нам буде хуже, що бильш достанется.

Сначала разговор шел о том, что делали после того июньского неудачного наступления Сергей и Тимофей. Тимофей поведал о том, что в августе его записали служить в украинский полк Богдана Хмельницкого, и он сейчас служит в Киеве.

– Мой хорунжий послал меня сюда, чтобы я боролся за самостийну Украину.

– А разве тебя никто не избирал?

– Ни. Во, смотри?

Тимофей вынул из внутреннего кармана шинели бумажку и показал Сергею. Фишзон с Бардом также с любопытством прочитали: «Командирую на съезд своего джуру Радько Т. А. Командир роты хорунжий Пикало».

– Выходит, вас никто не выбирал? Вы самозванцы, – констатировала Фишзон.

– Нет, – вмешался Панас. – Меня избрали сичевики. Сказали, ежай Панас, отдохни от дум. Вот и видпочиваю.

Он заметно охмелел, сказывалось выпитое ранее. А сейчас, при воспоминании об отдыхе, совсем загрузтил.

– Ну, а ты, Тимак, как попал в денщики? – с сожалением спросил Сергей. – Ты ж настоящий солдат, а не слуга.

– Не балакай по этому поводу, Серега. Самому стыдно. Не захотелось снова в окопах гнить. Это раз. А потом думал, что

отпуск, может, дадут. Буду к начальству ближе. Ведь дом-то рядом. Дружина, двое хлопьят не бачили меня, а я их, аж два года. Подумаю, Липовая Долина рядом, отпустили бы – за ночь добежал туда, да видишь, все каждый день меняется. Говорят, потерпи немного, отпустим совсем. А чего ждать? Все равно большевики верх возьмут, наши солдаты ихних поддерживают.

Тимофей закручинился от воспоминаний, темной тоской налились еще недавно радостные от встречи с другом глаза – глаза солдата, неоднократно видевшего смерть и ходившего рядом с нею. Но, видно, так устроена душа человеческая – всегда тянет к родному очагу, жене, детям, забывая прошлые огорчения. Большое чувство вытрепанной солдатской души требовало ласки и покоя не в кругу фронтовых друзей, как бы ни были они дороги, а именно семьи, родной и единственной. И это живое чувство заставляет людей переносить все ужасы ненормальной жизни, и страшно бывает, когда из души выдергивают это последнее, самое дорогое чувство. И становится тогда человек бездушной игрушкой, и горе несется от него всем и вся. Не остановится, пока все не разрушит, а потом, если останется жив, будет мучительно и долго размышлять – почему так произошло, и никогда не найдет ответа. И станет оставшуюся жизнь считать себя виноватым непонятно перед кем и за что, и никогда ни с кем не поделится своими думами, спрячет их в своей глубине души, и станет неспособным продолжить старую жизнь, и не смо-

жет приспособиться к новой. И горестной тенью пройдет он по земле, и с радостью уйдет в нее. Тимофей с ожесточением сказал:

– В проклятое время мы живем. Проклятое.

Но с этим не согласился Бард:

– Время прекрасное, товарищ. Революционное. А революции бывают не каждый день или год. Нам в этом повезло. Вот выгоним всех гадов, и заживем по-хорошему.

Панас грубо захохотал:

– Досить революции. Вот вам в России дали земли, и давайте закругляйтесь. Пора по хатам. Это нам в Карпатах не дали землю. Можно еще воевать.

– Да твоего дома ж немає, Панасе, – возразил Тимофей,

– Шо верно, то верно. Немає, зараз, ни хаты, ни семьи. А все ж було, колысь.

– А что случилось? – спросил Сергей и укоризненно посмотрел на воодушевленного Барда, чтобы он не слишком горячо вмешивался в разговор.

– Моя призывще Сеникобыла. Слышал такую?

– Нет.

– А у нас, на речке Тересве, в каждом селе есть Сеникобылы. Все с одного корня. Русины мы, не украинцы. Австрияки взяли меня в армию, а потом генерал Брусилла взял меня в плен. А потом вот, скоро год, как создали из нас – военнопленных – сичевой курень. Так и оказался я в России, шоб защищать Украину. Так вот, генерал Брусилла прошел,

все пожег, а потом германцы и австрияки прошли, тоже пожгли всех. У кого мужья или сыновья в плену у москалей – согнали со своих мест и отправили в Угорщину. И всю мою семью, – Сеникобыла вытер набежавшую слезу. – А у меня ж дружина-чаривница, две доньки, да младший сын. Де вони зараз? Шо с ними?

– А откуда ты знаешь, что их угнали в Венгрию?

– Селянин наш рассказал, прошлой зимой. А мне б хоть одним оком взглянуть на них, узнать – де вони. Не дай бог, попали в Талергоф. З цього лагеря, говорят, живыми не возвращаются... – и снова слезы появились на глазах Панаса. Пьяные слезы мужской любви к родному краю, милой хате, любимым жене и детям. – А ты, – обратился он к Барду, – говоришь, ще воюваты, за революцию. К черту все! Домой! Вы не воювалы, а делать революцию вам хочется. А мне – ни. А ты хочешь воювать? – обратился он к Сергею. – Неужто, не навоювался?

– Навоевался! – и Сергей ладонью руки провел по горлу, как бы показывая, что он вот настолько сыт войной. – Но сейчас надо окончательно установить советскую власть. А потом всем миром строить новое общество.

– Так ты ж такой, как эти двое? – Сеникобыла кивнул головой в сторону Фишзон и Барда. – Рада правильно хочет установить нашу украинську державу, а вы, как и москали, помешать хотите. Вы ж с Украины?

– Мы хотим украинским крестьянам, как ты говорил сам,

дать землю. А твоя рада ее тебе никогда не даст. Вот большевики сразу же в России землю отдали, а ваши тянут. Почему?

Но Панас объяснил это просто:

– Нехай мы цей закон возьмем у большевиков, а нами управляет наше украинское правительство. Московия по отношению к Украине дело такое же самое, что Австро-Угорщина к нам. Мы под их владою находимся, вы – под московскою. Хрен редьки не слаще, – привел он русскую пословицу. – Но мы все хотим быть самостийными.

– Ну, а как быть с Донбассом, Причерноморьем? Там русских, да и других, побольше украинцев, – вмешалась Фишзон.

– Нехай схидняки живут як хочуть, а мы, захидняки, як хотим. Вот и весь мой сказ. Мы разные люди, есть разные украинцы, я це в плену поняв. Вот вы, русские и евреи, от кого произошли? Не знаете?

– От славян, – ответил Бард.

– А мы, украинцы, произошли от этих самых... как его... Тимка, подмогни... от кого мы там произошли? Ну, от кого индийцы и японцы! – Панас напряженно думал, нахмутив лоб, а потом махнул рукой и закончил: – От кого и все народы произошли.

Тимофей пояснил:

– У нас каждый день проводятся курсы национального образования. Так вчорась выступал какой-то профессорко. Так он сказал, шо украинцы древнее всех народов и расселились

отсюда по всему свету. У нас государство украинское было уже десять тысяч лет назад, раньше, чем у какого-то Египета. И япошки от нас произошли. Мы по отношению к другим народам являемся старшими.

– Что за чушь! – не выдержала Фишзон.

– А русские от кого произошли? – удивленно спросил Сергей. – Тоже от украинцев?

– Нет. Вы произошли не от украинцев, а от других народов.

– От азиатов, – бухнул Панас и удовлетворенно заулыбался. – Вы пришли с Азии. Так шо, як каже профессорко, мы – европейцы, а вы – азиаты! Понятно?

– А евреи от кого произошли? От украинцев? – спросил Бард, осторожно поглядывая на Эльвиру.

– Кто этих жидив знает. Но тильки не от украинцев, – ответил Сеникобыла, на что Фишзон снова сказала:

– Глупостями вас напичкали, а ума не дали.

Это вызвало смех, и Тимофей ответил:

– Да нехай балакают, ученые. А мы давай лучше выпьем. Это полезнее, чем слушать профессорков.

– Давай, – согласился Сергей, и Панас разлил остатки водки из бутылки, на этикетке которой был изображен старый российский герб. – Навыдумывают же, чтоб поссорить людей, а сами в стороне, а нам придется ихню умную кашу расхлебывать. А они переждут в своих больших домах заваруху, а потом вылезут и снова будут ссорить народ.

– Может быть, так, – согласился Тимофей, у которого, как и у Панаса, улучшилось настроение. Но зато испортилось у Фишзон и Барда, что было заметно по их лицам. – Ну ты, Серега, успокойся. Моя Липовая Долина рядышком с Россией, и думаю, что я произошел от славян, – подытожил Тимофей слишком сложный для его понимания вопрос.

Но Фишзон не успокоилась и вся внутренне кипела:

– А почему у русских и украинцев язык одинаковый?

– Кто знает. Профессорко толком про це не говорил. Мы его спрашивали, а он только заявил, шо нас русифицировали и испортили нашу мову. А ту индийскую чи японскую мову мы давно потеряли. Ну и нехай. Зато мы друг друга без перекладача понимаем. Це ж гарно.

– Конечно! – согласились все с Сеникобылой.

– Ну, давайте за встречу, – Панас поднял стакан и опрокинул его содержимое в свой бездонный рот.

Тимофей достал из внутреннего кармана флягу с самогоном. Бард и Эльвира тихо перешептывались между собой. Потом Фишзон сказала:

– Мы с Дмитрием пойдем, посмотрим Киев. Он никогда здесь раньше не был.

Их уходу никто не возражал. Тем более они не пили, а это неприятно, когда трезвый сочувственно смотрит на выпившего, снисходительно слушая его умные высказывания. Бард и Эльвира ушли. Разговор как-то незаметно затухал. Тимофей налил в стаканы бурячного самогона, от которого у Сер-

гея захватило дух, и он долго не мог отдышаться. Сеникобыла совсем опьянел и изредка повторял:

– А жидовочка гарна дивчина, а?

– Гарна, да не для тебя. Ты вже старый для ней, – ответил Тимофей.

– Який я старый! Мени ж тильки тридцать рокив, – пьяно поправил его Панас.

– Надо бы его увести, – сказал Сергей, и Тимофей согласился.

– Да, набрался он. От тоски и злости, но не по злобе. У него ж есть оружие, – Тимофей сочувственно смотрел на задремавшего Панаса.

– Я тебе помогу его отвести.

– Нет, Серега. Мы вырвались из казармы, штоб получить мандат. Ты видел – нам его не давали, так мы сами решили проштамповать. К нам в казарму никого не пускают, боятся агитаторов. Ты, наверное, большевик? – Сергей кивнул в знак согласия. – Ну, и кашу вы заварили. Тебя на дух не пустят в казарму. Офицеры-сичевики злые на вашего брата, прибить могут. Я его сам отведу. Он видишь, мужик отходчивый, неплохой, да только война его таким злым сделала. Еще хотелось бы поговорить с тобой, но в следующий раз.

К ним подошла женщина неопределенного возраста, с нарумяненным лицом и взбитыми рыжими кудряшками.

– Солдатики, вы скучаете, – не то спросила, не то утвердительно констатировала она. – Не угостите чем-нибудь?

Услышав женский голос Сеникобыла открыл глаза, и по-пьяному пристально стал смотреть на нее. От этого мужского взгляда женщина почувствовала себя увереннее и захихикала:

– Видите – как услышал мой голос, так сразу же пришел в себя. Я из мертвецки пьяного могу сделать живым любого мужика! – похвасталась она. – Так угостите?

Сергей не мог определить ее возраст. Вначале ему показалось, что ей лет тридцать, но, разглядев достаточно глубокие морщины возле губ, решил, что ей больше сорока.

– Давай ей нальем, чтоб отстала, – предложил Тимофей.

– И мени, – с трудом проговорил Сеникобыла, наваливаясь грудью на стол.

– Хватит с тебя! – отрубил Тимофей.

– Гаразд, – легко согласился Сеникобыла, продолжая пристально смотреть на женщину, которая под его взглядом все более смелела. Видимо, не совсем пьяные Тимофей и Сергей вызывали у нее некоторые опасения. Женщина вдохнула из стакана и деланно отшатнулась.

– Что это? – брезгливо спросила она. – Самогон?

– Пей, – мрачно произнес Сеникобыла.

«Пора кончать эту пьянку», – подумал Сергей, который чувствовал, что в голове становится пусто, и она кружится.

– Ну, если вы царскую выпили, а даму угощаете какой-то бурдой... то я не откажусь! – она улыбнулась, обнажив ряд кривых, желтых зубов и, запрокинув голову, по-мужски вы-

пила из стакана все.

– Ну, пойдём, – сказал Панасу Тимофей.

– Я останусь, – заявил Панас.

– Заканчивай. Завтра придешь сюда, – грубовато ответил Тимофей.

– Правильно, – снова легко согласился Сеникобыла.

Женщина презрительно посмотрела на него.

– Тебе действительно здесь нечего делать, – сказала она, забыв, что недавно так браво говорила о себе в отношении пьяных. – А ты молодец... может, остался б?.. – обратилась она к Сергею. – Небось, без девки скучаешь? Я дорого с солдат не беру.

Она приподняла юбку, и через разрез ее, на рыхлом бедре, на фоне выпуклых темно-синих вен, Сергей увидел татуированную надпись «Добро пожаловать», и стрелку, которая своим острием указывала вверх, куда надо жаловать. «Легко ей, – подумал он. – У нее не бывает национальных проблем».

А вслух сказал:

– Денег нет, – показывая, что разговор закончен.

– А сколько время?

Сергей достал из кармана трофейные часы, был четвертый час.

– А часики у тебя хорошие, – ласково проворковала женщина. – Может, пойдём ко мне?

Сергей отрицательно покачал головой. Тимофей, не выдержав, грубо сказал:

– Пошла вон, паскуда! Найди других! Пошли.

Женщина сжалась, но не как от удара, а как готовящаяся к прыжку кошка, незаслуженно обиженная хозяйской рукою.

– Заткнись, гнида окопная! Тебе не баб драть, а дерьмо жевать! – И встав со стула, презрительно вихляя задом, пошла прочь от их стола.

На улице они расстались, пообещав встретиться еще раз в ближайшие дни. Панас шел, в целом, нормально, но глаза его не выражали ничего, – видимо, не видели дороги. Сергей решил больше не задерживаться в центре и быстро пошел в сторону гостиницы.

На следующий день открытие съезда советов было отложено на вечер. Обстановка была накалена до предела. Днем состоялось заседание большевиков киевского областного совета. Вопрос стоял о том – открывать работу съезда или нет. Ясно было видно, что представителей Центральной рады будет больше, чем делегатов советов. Лишить их незаконных мандатов не представлялось возможным. Но и откладывать работу съезда было нельзя. Обе силы готовились к схватке на съезде. Опасность состояла в том, что почти все делегаты были вооружены, а это могло иметь печальные последствия. Это понимали все. Оттого в зале Купеческого собрания было жарко и напряженно. Все места были заняты. На хорах, вместе делегатами, сидела заинтересованная публика. Сергей, вместе с Бардом и Эльвирой, находились в левой стороне партера, – места делегатов от советов. Правую сторону и центр занимали солдаты-сичевики и украинская интеллигенция. Рабочих и крестьян было немного. Раздавались пьяные выкрики возбужденных делегатов.

Кабинет Центральной рады в полном составе стоял за кулисами, готовый выйти на сцену. Винниченко мучился сомнениями – правильно ли они сделают, если займут без голосования весь президиум? И он тихо спросил Грушевского: – Может, подождем избрания президиума?

Тот неодобрительно взглянул на него и ответил:

– Мы ж договорились не давать никакой инициативы советам. Мы должны быть всегда впереди других. Будьте последовательными и настойчивыми.

И Винниченко понял, что Грушевский от своей линии не отступит.

Обе силы вышли из-за кулис сцены одновременно. Большевик Затонский был уполномочен организационным бюро открыть съезд. Но на сцену вышли все члены Центральной рады: Грушевский, Винниченко, Петлюра, Порш, Стасюк... и они бесцеремонно, не дожидаясь выбора президиума, стали рассаживаться за столом президиума на сцене. Затонский с удивлением глядел на эту наглость украинских руководителей, но думал, что сейчас делегаты исправят это дело и выберут свой президиум. Подойдя к трибуне, он хотел объявить об открытии съезда, как Стасюк, не успев присесть на стул, торопливо вскочил и резким от волнения голосом прокричал:

– Объявляю собрание открытым!

Затонский со злой, кривой усмешкой посмотрел на Стасюка и начал говорить:

– Товарищи! Панове! От имени оргбюро, которое созвало этот съезд, мне поручено...

Но его не было слышно, в зале стоял рев, злобно-оскаленные лица правого партера и центра исторгали из себя:

– Долой!

– Большевиков на гиляку!

– Смерть москалям!

– Просимо Центральну раду вести собрание!

– Слава Грушевскому!

Сергей видел, как мгновенно еще недавно колеблющаяся часть зала, осторожно оценивающая ситуацию, тоже подхватила эти крики. Возбужденная масса пропитала высокое пространство от партера до хоров ненавистью не только к революции и большевикам, но и к русскому народу. Меньшая часть зала напряженно молчала, нервно ощупывая оружие в карманах, и с бессильным злом глядела на беснующуюся публику. Сергей видел, как к трибуне подбежали угрожающе размахивающие револьверами гайдамаки и, протягивая руки к Затонскому, кричали:

– Дайте нам цю сволочь, мы покажем как унижать Украину!

Затонский выпрямился, черные усы гордо поползли вверх, и он сделал шаг из-за трибуны навстречу гайдамакам:

– Иду! Посмотрим, как вы будете учинять самосуд над представителем рабочих и крестьян...

Гайдамацкая масса трусливо заколебалась – она встретила отпор. Да и человек за трибуной был достаточно авторитетен, и без команды свыше гайдамаки и сичевики не могли с ним расправиться и выжидательно смотрели на президиум. В зале мгновенно воцарилась тишина. Все ждали, чем закончится этот эпизод – миром или возникнет резня, где шансы

уцелеть у каждого будут минимальными. Деятели Центральной рады, сидевшие в президиуме, молчали, пытливо всматриваясь в лицо зала. Зал молчал, напряженно глядя на президиум, – достаточно было одной фразы или неосторожного жеста рукой, чтобы зал вспыхнул, как порох. Винниченко с беспокойством смотрел на Грушевского. Тот сидел, разглядывая делегатов исподлобья, сквозь донные рюмочки очков, и выражение его лица было спрятано в бороде. Петлюра торжественно смотрел на своих соратников, и гладко выбритое лицо выражало полное удовлетворение: «Ось яки мои хлопцы!» Порш был явно растерян, другие испуганы. Винниченко понял, что Грушевский не станет останавливать разбушевавшийся зал. Ему нравилась любое проявление украинского национального духа, и он этим наслаждался: «Казацкая вольница!» Винниченко взял на себя инициативу по успокоению зала – привстал, медленно поднял вверх правую руку и колеблющимся движением в стороны показал, чтобы гайдамаки отошли от трибуны. Те сразу же отхлынули от Затонского. Винниченко хотел еще что-то сказать, но решил, что его жест достаточно красноречив и без слов, сел. Временный мир был внесен в зал. Но возбужденные люди не могли сразу же отойти от разворачиваемых событий, с хоров раздалось пение: «Ще не вмерла Украина...», и зал подхватил слова западноукраинского гимна, с которым галицийцы боролись против Австро-Венгрии, мощно и сурово. Потом также мощно, но уже отрешенно запели «Заповіт». Сергей любил

украинские песни, знал слова «Заповита» и хотел подхватить слова стиха Шевченко, но острой молнией его пронзила мысль, что поют его враги, и он поддержит, пусть и только пением, и поэтому лишь хрипло выдохнул. Видимо, такие же чувства испытывали Бард с Фишзон, которые растерянно смотрели друг на друга и вокруг.

Пение прекратилось и возбуждение улеглось. Две тысячи пар глаз выжидательно смотрели на сцену. Винниченко встал и сказал:

– Панове! Надо сделать перерыв, чтобы успокоиться всем, а затем со свежей головой продолжать съезд. Областное бюро по созыву съезда просит, чтобы в президиуме были и их представители. Это резонно. Мы сейчас встретимся с ними и решим эти вопросы и продолжим заседание. Добре?

Зал как-то облегченно вздохнул, раздались недружные крики:

– Нехай!

– Согласны!

– Тільки быстрее сговаривайтесь!

Видимо, такой вариант дальнейшей работы устраивал всех, – требовалась передышка. Делегаты вышли кто в вестибюль, кто на улицу, несмотря на прохладную погоду. Сергей со своими товарищами пошли покурить на улицу. Смеркалось. По крутому Владимирскому спуску, по его брусчатке, только по одной стороне проезжали извозчичьи пролетки. Горожане близко не подходили к зданию Купеческого собра-

ния – оно было оцеплено вооруженными гайдамаками. Бард был с ним.

– Что теперь делать? Нагана не выдали.

– Успокойся. Оружие ни к чему. Мирно разберемся.

А в это время в одном из кабинетов шли напряженные переговоры. Затонский требовал, чтобы в президиуме были представители советов, и сегодня сам съезд не открывать, а ограничиться лишь совещанием делегатов. Грушевский вел жесткую политику, – ему не нравилось, что прервали выражение чувств украинцев, да и здравицы в его сторону прекратились, а к ним он был неравнодушен.

– Ваши предложения неуместны. Вот представьте, – размеренно, как на университетской лекции, рассуждал он, – если половина президиума будет вашей, то как к этому отнесутся делегаты? Мы правительство Украины или нет? – и, не дожидаясь ответа, продолжал: – Поэтому мы можем вам выразить благодарность за подготовку съезда, но бал на нем будем править мы.

– Кто и когда избирал ваше правительство? – резко вступила в разговор Бош. – Да, вы самозванцы! – Евгения Богдановна в своем гневе шла до конца. – Вы спросите народ Украины – знает ли он о вашем существовании и готов ли вас поддержать?!

Грушевский был сбит с толку ее словами. Он привык, чтобы аудитория внимала только ему, что и происходило на заседаниях рады, но терялся, встретив отпор.

– Вы, пани, забываете, что наши правительственные полномочия подтвердили несколько съездов. Перечислить? Войсковые, профессиональные, народов Украины, украинцев, живущих в России и за границей...

– Что толку! Вы собирали на них своих сторонников, а народ вас летом в органы самоуправления на выборах прокатил... помните? Любое бы честное правительство ушло после этого в отставку, а вы имеете нахальство дальше оставаться! В любом случае – ваши дни сочтены.

Грушевский покраснел, ему явно не нравилось вспоминание о том, что Центральная рада не избрана народом, вопреки всем его заявлениям, что они являются народным правительством. Петлюра, молча и исподлобья глядевший на спорщиков, неожиданно взорвался:

– Хватит вести с ними переговоры! Вы не пани, а вепрь. Вы должны принять наши условия! Сила на нашей стороне!

Он горделиво посмотрел на Грушевского, как бы ожидая похвалы. Но заговорил Затонский, тихо и отчетливо:

– Если вы так грубо ставите этот вопрос, то мы будем вынуждены обратиться ко всем советам Украины, чтобы они выразили к вам свое отношение и немедленно. Сейчас же мы дадим телеграммы на места, и к утру будет ответ – кто вы, а кто мы. Ясно?

Грушевский растерянно молчал, наткнувшись на серьезных оппонентов, и не знал, что ответить. Петлюра гневно раздувал свои тонкие ноздри, выражая недовольство. Бош

смотрела по-мужски прямо и непримиримо. Винниченко погладил свою бородку и подумал: «Видимо, снова мне улаживать конфликт», и произнес:

– Я думаю, что не стоит выяснять прошлое каждого из нас. И о большевиках можно сказать много нелестного... особенно сейчас. Мы хотим довести революцию на Украине до конца. Вот, мы хотим объявить на съезде о передаче фабрик, заводов, шахт, земли в руки тем, кто там работает. Чем не большевистская программа? Так что у нас больше общего, чем разногласий.

– Общее, несомненно, есть, – согласился Затонский. – Но чем дальше, тем все больше становится разногласий с большевиками, Россией, и это не может долго продолжаться. Давайте поступим так – сегодня объявим, что у нас только собрание, а не съезд.

– Хорошо, – ответил Винниченко. – Пусть выступят представители от всех партий... и еще кто захочет.

На этом переговоры закончились. Грушевский недовольно молчал. Петлюра нервно кривил губы, но обе стороны были довольны, что до завтрашнего дня получили передышку для решающей схватки.

Сергей, занявший свое место в партере, видел, как рассаживался на сцене президиум. Состав его изменился. Там были Затонский и другие представители советов. Снова первое слово взял Затонский.

– Со съездом произошло недоразумение. На него съеха-

лись делегаты, которые, согласно выработанным организационным комитетом нормам представительства, не имеют права на нем присутствовать с решающим голосом. Есть на съезде, например, представители отдельных рот. Если им предоставим право решающего голоса, то что скажут на это те полки, которые своих делегатов не прислали? Для того, чтобы уладить возникшие на почве неправильного представительства недоразумения, все фракции согласились прервать заседание съезда до завтра и поручить мандатной комиссии вторично проверить полномочия всех делегатов. В отношении государственности Украины хочу сказать, что большевики стоят на позициях самоопределения наций и народов и не питают к украинскому народу никаких враждебных чувств, как здесь некоторые хотят представить обратное.

Речь Затонского зал выслушал молча, хотя одна половина ликовала в душе, что все-таки их представитель открыл новое заседание. Другая испытывала смущение, что их лидеры оказались на вторых ролях. Следом взял слово руководитель селянской спилки Стасюк.

– Я хочу сказать, что большевистски настроенный областной совет рабочих и солдатских депутатов, созывая съезд на основе явно неправильного представительства различных групп населения и давая на съезде ничем не оправданный громадный перевес рабочим перед составляющими большинство населения крестьянами, хотел грубо раздавить волю украинского народа. Этому намерению больше-

виков помешала наша партия, которую я уполномочен возглавлять, и возглавляемый мною центральный комитет селянской спилки, который, защищая интересы трудового крестьянства, сделал все, чтобы усилить на съезде крестьянское представительство. Все мы прекрасно знаем, что исконно наши украинские города русифицированы, и на них делают ставку большевики, – на незрелых в своем национальном понимании рабочих. А истинным носителем украинства является крестьянство, национально чистое и непорочное, не подверженное русификации, угнетенное и трудолюбивое...

Послышались крики из зала:

– Давай им тогда землю! Долой панов!

Стасюк укоризненно посмотрел на зал и продолжал:

– Все дадим, но пока я о другом. Большевики отрицательно относятся к украинскому национальному движению, хотя сейчас их представитель говорил обратное. Приведу вам всем известный пример. Говоря о готовности сотрудничать с нами, они подготовили в третьем авиационном парке пулеметы, тысячи патронов для выступления против законной украинской власти, – всеми вами поддерживаемой рады. Вот их истинное лицо! И украинцы не должны ошибиться в намерениях большевиков. Они борются на Украине не столько против капиталистов, а больше – против украинского народа. Против украинской державности!

Зал взорвался невообразимым шумом, из которого, как осколки, долетали крики:

- Ганьба большевикам!
- Только социалистическая революция!
- Слава Украине!
- Долой капиталистов и помещиков!
- Смерть врагам!!!

Объявили о продолжении выступлений. К сцене ринулась толпа вспотевших, опьяненных политикой людей. Каждый хотел сказать, выплеснуть из своей души в чужие души боль и горечь, сомнение и страх, волю и идею. На трибуну взгромоздился, усатый и толстый, судя по виду, интеллигент:

– Шановни паны! Спиввитчизники и друзи! Независимость Украины, про яку мы мечтали долгие триста, а может – и более лет, наконец-то осуществилась! Нас по очереди поработали то татары, то литовцы, то поляки, а сейчас австрийцы и москвины. Наконец-то мы самостийны! Радость яка!!! Теперь только не потерять своей незалежности. Мы, во Львове, не подались ни ополячиванию, ни онемечиванию. Как они нас ни выкручивали, запрещали наш язык и культуру, но им не удалось этого сделать. Мы свое украинство не потеряли. Австро-Венгрия с нами не справилась. Зато справилась с вами Москва. Украинец, живущий на территории Московии, потерял свою культуру и мову, стал малороссом. До каких пор нам терпеть москалей! Московия в этом отношении опасней, чем Австрия. Там мы открыто боролись, а здесь ползучей змеей на ридну неньку-Украину пролезло русофильство. Даже на родном языке наш народ перестал го-

ворить. Мы должны быть независимыми, прежде всего – от Московии, и эту большую цель надо нести в своем сердце всегда. Давайте же, украинцы, будем дружны! Как в нашем народном танце обнимем друг друга за плечи, встанем в кружок и как топнем ногами, чтобы задрожали не только Карпаты, а скала Московии рухнула! Слава Украине!!!

– Мы, анархисты Екатеринославской губернии, призываем всех, кому ненавистны эксплуатация и эксплуататоры окончательной революции, которая даст труженику и власть, и свободу! Трудовые массы еще не очнулись от угнетавшего их веками психического рабства. Они ошупью подходят к самой революции и с особой осторожностью предъявляют палачам народа свои требования свободы и свои права на достойную жизнь. Кто палачи, – спрашиваете вы? Да новая власть, которая сейчас в Киеве – ненаглядная галицийская рада! Что она делает? Присылает своих агитаторов, которые долдонят темным крестьянам: «Геть кацапов с нашей земли! Смерть гнобителям нашей родной мовы!» Мы таких агитаторов прогоняем в три шеи. Нам нужна смычка украинцев и русских. Не губительная война двух братьев, а мир для тружеников. Мы в революционном танце не встанем в кружок, а разлетимся по бескрайней степи; и не будем топтать ногами, а пинками собьем всю буржуйскую и националистическую сволочь на грешную землю и раздавим, как гадов. Революционный танец станет смертью для всех узколюбых политиков. За народную революцию!!!

– Социалисты-революционеры боролись против царя всегда и везде. Десятками, сотнями, тысячами гибли на баррикадах, тюрьмах, каторгах! И мы честно и смело глядим народу в глаза, – мы герои революции! И если потребуется, – а мы имеем на это моральное право, – то призовем народ не только к борьбе, но и к смерти. Да! Да!! Мы имеем на это моральное право. Я лично и мои товарищи с винтовками в руках пойдем в первой шеренге атакующих старый мир. А погибну – так с радостью душевной сольюсь с моими ранее погибшими товарищами! Да здравствует социалистическая революция!!!

– Быть или не быть Украине! Вечный гамлетовский вопрос! Как Днепр вечен, так и вечна Украина! За социалистическую революцию и Украину!

– Ты сегодня с кем солдат, мой брат! Подумай! Колы паны ссорятся – у голытьбы чубы трещат! Так будем против панов все вместе, а не против друг друга. Украинскую землю – селянам! И без выкупа, как в России!

– Долой буржуев и помещиков! Все наше!! Ура!!!

– Слава Центральной раде и Грушевскому!

– Вперед к коммунизму!

– В борьбе обретишь свое счастье!

– Революция или смерть!

– Долой!

– Слава!..

– Ганьба!

– Геть!..

Когда Сергей с Фишзон и Бардом вышли на улицу, было темно. От криков и шума гудела голова. Все, воспринявшие невообразимый поток словопрений, чувствовали себя зачумленными. На Крещатике встретили Радько и Сеникобылу. Вначале они настороженно посмотрели друг на друга, как представители разных политических лагерей, а потом рассмеялись.

– Ну, як затуркалы голову? – спросил, смеясь, Сеникобыла.

– Дюже сильно, – ответил Сергей.

– Пойдем в трактир? – без предисловия предложил Панас.

Тимофей рассердился на него:

– Яка тобі выпивка! В казарму. А то паны-охвицеры дадут за опоздание.

– Я все ж пиду, напыюсь.

– Как впечатление от съезда? – спросила Эльвира.

– Непонятно, – с огорчением ответил Тимофей. – Ни земли, ни мира. Брошу все и пойду домой, в Липовую Долину.

– Правильно, товарищ, – поддержал его Бард.

Но Тимофей в ответ посмотрел на него неодобрительно, непонятно – почему.

– А мне не треба ни земли, ни миру... – Панас тоскливыми глазами взглянул в темное небо. – Армия зараз мой дом и семья... а охвицер – жена. Тимка охвицерами пугает, як жинкой. Пиду выпью склянку. А ты, фрушка, не хошь со

мною? – обратился он к Эльвире.

Та испуганно отшатнулась.

– Кто – я?

– Дивчинка. Це я по-угорски казал. Не обижайся.

И, не попрощавшись, он пошел в сторону перпендикулярных Крещатику улиц. Разговор не клеился и, попрощавшись с Тимофеем, Сергей с товарищами пошли искать извозчика, чтобы он отвез их на Лабораторную. Путь-то не близок.

Утро, 6 декабря 1917 года. Театральная площадь в Киеве была оцеплена конными гайдамаками. Они же стояли на всех входах и выходах из оперного театра. В фойе военные проверяли мандаты и рассаживали делегатов съезда по местам. Представителей организационного комитета в президиуме не было. Получалось так, что делегаты от советов являлись как бы частью съезда, организованного Центральной радой. Стол президиума заняли только ее лидеры. Порш открыл съезд, призвал к порядку делегатов и попросил присутствующих выслушать экстренное сообщение Петлюры. Тот вначале говорил о самостоятельности Украины, о Центральной раде, которая является единственной властью и о том, что никто не имеет права вмешиваться во внутренние дела суверенного государства, а потом последовало заявление, как гром прозвучавшее в зале.

– Петроградский Совет Народных Комиссаров не хочет признавать независимость Украины и объявляет нам войну!

Петлюра поднял над головой какую-то бумажку и помахал ею.

– Вот телеграмма, подписанная Лениным.

Порш обратился к залу:

– Нужно ли читать телеграмму комиссаров или вы нам доверяете?

Послышались услужливые голоса:

– Доверяем. Читать не надо.

Порш кивнул Петлюре, и тот продолжил:

– Политика централизма, с которой мы, украинцы, знакомы с давних пор, и сейчас проводится народными комиссарами. Назначения нашего правительства Петроград игнорирует и смещает наших представителей на местах, а то и арестовывает. Москали устроили у себя беспорядки, их народ сидит без хлеба, грабежи и убийства по всей стране – и это же хотят устроить у нас. Мы не хотим войны, но и не можем допустить насилия над украинским народом, поэтому мы должны защитить сейчас селянина, чтобы москали не отобрали у него хлеб, и как один подняться на борьбу с москалями. Мы закрыли границы с Московией, и не будем поставлять им продовольствие. Пусть поголодают – и потом примут наши условия. А ультиматум, предъявленный нам комиссарами, унизителен для нас. Это попрание наших национальных прав, на защите которых мы должны стоять твердо и решительно.

Петлюра горделиво оглядел зал, довольный своим выступлением и произведенным на делегатов впечатлением. Одернув полувоенную гимнастерку, он нарочито медленным, пружинистым шагом пошел в президиум, чтобы присутствующие видели его непреклонным и волевым деятелем.

У большевиков возникло волнение. Бош, Затонский и другие, сидевшие вместе со всеми большевиками в зале, ста-

ли о чем-то горячо и напряженно шептаться, бросая неодобрительные взгляды на сцену. С докладом начал выступать председатель Генерального секретариата – Винниченко.

– От имени Украинской Народной Республики, приветствую вас – собравшихся на съезд крестьян, рабочих и солдат Украины!

Как обычно, в ответ зал разразился бурными аплодисментами и раздались крики «Слава Украине!». Выждав минуту, Винниченко, как опытный оратор, продолжал:

– Хочу остановиться на ультиматуме, предъявленном советом комиссаров. Самым кардинальным местом этого ультиматума я считаю слова об «украинской республике», значит – нас комиссары признают. Словечки «буржуазная Центральная рада» – корень всего. Как только великий украинский народ начал расправлять свои, двести лет связанные руки, так его со всех сторон начали упрекать в буржуазности. Большевики, упрекая нас в этом, повторяют то, что нам восемь месяцев подряд говорили меньшевики, которых теперь держат в тюрьмах за буржуазность. Объявление нас «буржуями» – способ борьбы неукраинцев с украинцами...

В ответ на эти слова послышалось глухое ворчание зала. Кто-то поддерживал его слова, кто-то наоборот – выражая недовольство.

– Борьба, которую ведут с нами большевики – борьба национальная. Большевики, считающие себя представителями великорусской демократии, борются с нами, сами, может

быть, того не сознавая, как старые великороссы. Я не хочу говорить о всем русском народе, но среди большевиков абсолютное большинство – не русские представители. Другие нации.

Фишзон наклонилась к Сергею:

– Что он говорит? Классовую борьбу переводит в национальную. Это ж не так!

– Конечно. Лучше бы сказал о земле. А так под национальные чувства легче будет провести любой антирабочий закон.

– Подло говорит, – вмешался Бард.

В другом конце зала Радько думал: «Зачем все это нужно? Мира бы побыстрее, а не свары... и домой». Панас Сеникобыла, сидевший рядом с ним, после вчерашней выпивки, дремал.

– Не мы, а совет народных комиссаров затеял братоубийственную войну. Но поднявший меч, от меча и погибнет, – в Винниченко говорил литератор. – Надеюсь, что наш съезд скажет зарвавшимся большевикам: украинский народ сам знает, как жить! Не мешайте ему устраивать свою судьбу по-своему!

Снова раздались бурные аплодисменты, и Винниченко сел на свое место. Затонский шел к трибуне, и Порш, видя это, попытался его остановить.

– У нас есть порядок и регламент. Еще два доклада...

Но Затонский уже поднялся на сцену и встал за трибуну:

– Я только задам несколько вопросов. Просим огласить ультиматум народных комиссаров полностью. А то вы играете с делегатами, как кошка с мышкой в темной комнате. Дайте телеграмму мне, я оглашу.

В президиуме замешкались, и Петлюра через некоторое время ответил:

– Пока невозможно. Это только телеграмма. Мы ультиматум перепечатаем и раздадим всем, а также в газеты. Тогда все прочитают.

Затонский, буравя Петлюру воспаленными от бессонницы и внутреннего напряжения черными глазами, ответил:

– Ничего. Я и по телеграмме прочитаю.

Снова в президиуме возникло короткое совещание. Грушевский, поднявшись и поглаживая белоснежную бороду, обратился к залу:

– В данный момент телеграммы у нас нет. Только что мы отдали телеграмму на распечатку. Но вы верите тому, о чем говорил пан Петлюра, передавший содержание телеграммы?

Снова раздались крики:

– Верим!

Грушевский удовлетворенно сел. Обман делегатов прошел удачно.

– Это не съезд, – отчетливо выговаривая слова говорил Затонский, – а собрание националистов и буржуев. И оно неправомочно принимать решения о судьбе Украины. Представителей восточной и южной Украины, где прожива-

ет большинство украинцев, оказалось меньше, чем представителей солдат, которые расквартированы в Киеве и вокруг него. Здесь больше представителей Галиции, которые, как известно, находятся в составе другого государства, и не имеют права решать судьбу Украины. Мы, настоящие делегаты, покидаем съезд. А телеграмма из Петрограда – это придуманная вами провокация и ложь. Раз вы не можете ее зачитать, значит – такой телеграммы нет.

Затонский сошел со сцены и пошел к выходу. Делегаты советов, поднявшись с мест, тоже стали выходить из зала. На мгновение воцарилась тишина, но из президиума раздался крик:

– Долой большевиков! Нет советам!

Зал, будто ждавший этой команды, взорвался криками:

– Долой москалей с Украины!

– Геть кацапив!

Панас Сеникобыла, проснувшись, заорал привычно:

– Ганьба!

Тимофей Радько увидел, как по проходу, недалеко от него, проходили Сергей Артемов, Эльвира Фишзон и Бард, и ему захотелось крикнуть им: «Куда вы, друзи!?»

Но крик замер в горле, не успев родиться. Зал ревел. Сеникобыла густым басом самозабвенно орал:

– Долой!

Тимофей толкнул его в бок:

– Шо орешь?

– Все ж орут!

– Дурень ты, Панасе... – сказал Радько.

– Що ж так? – обиделся Панас.

– Это ж означает войну на Украине... братскую! Зразумив?

– Нехай всем будет хуже. Война так война, – беспечно ответил Сеникобыла и продолжил кричать: – Долой!

«Когда ж я домой попаду?» – тоскливо думал Тимофей, видя, как его фронтовой товарищ вышел из зала.

Все умолкли. Стал говорить Грушевский:

– Несмотря на то, что этот съезд созван не по нашей инициативе, он выражает волю нашего народа, и мы подчинимся его решениям, то есть вам – истинным сынам Украины. Наши враги ушли, и теперь никому не удастся вбить клин между украинским народом и его истинным правительством – Центральной радой. Украинский народ, взявший судьбу державы в свои руки, не даст никому насиловать его волю!..

И снова последовали гучные выкрики, а затем вдохновенные речи ораторов.

Делегаты съезда от советов собрались в соседнем здании. Провели перекличку. Выяснилось, что присутствуют все делегаты от советов, ни один не остался в здании театра. Вместе с ними со съезда ушли левые эсеры, часть украинских социал-демократов и несколько делегатов от селянской спилки. Накоротке была принята резолюция о беспощадной борьбе с Центральной радой и немедленном созда-

нии советского правительства Украины. Всем было предложено немедленно выехать в Харьков – центр Донецко-Криворожского бассейна – и заняться сбором сил для борьбы с радой. На следующий день утром Сергей вместе с другими делегатами выехал в Харьков.

В этот декабрьский вечер в Киеве, греясь от тепла камина, который был специально сделан в здании французской военной миссии, беседовали начальник при штабе Юго-Западного фронта генерал Жорж Табуи и специально прибывший из Одессы английский генеральный консул этого черноморского города – Пиктон Багге. Они ждали на переговоры кого-то из руководителей Центральной рады. На столе была расстелена карта. Оба союзника, обменявшись мнениями о положении на фронтах, пришли к выводу, что Германия несомненно потерпит поражение, но впереди предстоит тяжелая и длительная военная кампания. Отрицательно отнеслись к ответу советских комиссаров, которые отказались от предложенной союзниками военной помощи для продолжения войны с Германией, а сейчас ведут мирные переговоры со своим противником, что является ударом в спину Антанте.

– Сейчас главное, – говорил Табуи, – добиться, чтобы Украина вместе с Доном, чехословацкими легионами и различными национальными частями, наряду с Румынией, продолжала хотя бы пассивное сопротивление немцам. Германия находится в ужасном экономическом положении, но резервы у нее, чтобы противостоять Антанте как минимум год, еще есть. Наличие двух тысяч километров фронта на Украи-

не и Румынии заставляет наших противников держать крупные силы для сдерживания этого фронта. У нас во Франции фронт менее тысячи километров, и если Германия перебросит часть сил с востока, то вы, господин Багге, понимаете: нам придется тяжело, хотя я уверен в нашей победе. Но будет много жертв. А это не в интересах Франции... и Англии тоже.

Багге, глядя на огонь камина и покуривая трубку, внимательно слушал своего собеседника. Прямота французского генерала ему нравилась, но мысли его шли гораздо дальше.

– Я с вами согласен, сэръ, что Украину надо удержать в сфере нашего влияния и не позволить ей выйти из войны. А для этого следует немедленно признать ее самостоятельность. Руководители рады об этом просят, даже умоляют, и мы не должны задерживаться с ее признанием. Переговоры в Брест-Литовске с немцами о мире могут подтолкнуть украинское правительство к прямой войне с Россией, а значит – немцы навяжут необходимый им мир Украине и вы, генерал, представьте себе, что восточного фронта не будет, и мы тогда не на год, а на более долгий срок останемся с глазу на глаз с Германией. А может быть, еще хуже – объединятся с Германией в борьбе с большевиками. Фактически – против нас.

Табуи поморщился:

– У нас в раде есть солидная поддержка, и Франция выделила им деньги для формирования национальных вооруженных сил. Эти люди, на наш взгляд, честны в отношениях

с нами.

– Кого вы имеете в виду? Не Петлюру ли?

– И его тоже. Этот человек, когда ему платишь, способен быть честным и даже преданным. К тому же он хочет власти и славы. Я его знаю уже более двух лет, думаю, изучил его.

Багге наклонился к камину и аккуратно вытряхнул пепел из трубки.

– Я не до конца разделяю вашу точку зрения. Вы сколько лет находитесь в России?

– Более двух, – если считать постоянно, а до этого приезжал в Россию несколько раз. А что вы имеете в виду?

Багге внимательно посмотрел на Табуи:

– А я на различных должностях пробыл в России более десятка лет. Изъездил ее от Владивостока, Мурманска, до Ростова и Одессы. И я, как мне кажется, знаю славянскую нацию. Но народы этой нации различны. И каждый из них в одном и том же случае поступит по-разному.

Табуи подумал и медленно ответил:

– Мне пришлось на фронте близко наблюдать славян, как они бились с врагом, и могу отметить только хорошее. Их мужество превосходит мужество многих народов Европы... к сожалению, может быть, и наших, – что прискорбно. Им присущ... как бы сказать... отрешенный фанатизм – или все, или ничего.

Табуи внимательно посмотрел на Багге – какое впечатление произвели его слова на собеседника. Но тот был споко-

ен, и его лицо не выражало ни обиды за свою нацию, ни восхищения наблюдательностью Табуи.

– Вы правы, господин генерал, в оценке славян, но только вообще. А частности говорят о другом. Вы говорите – мужественная нация. Но русский народ – народ с женской психологией. Никогда не замечали? Сначала они, как неуравновешенная женщина, поднимают шум в семье, скандал, бьют посуду, крушат мебель, а потом думают и плачут, и начинают собирать разбитое, скреплять и наживать новое состояние. Глубже взгляните на их историю и увидите, что это так. – Табуи внимательно слушал, и Багге продолжил: – Вспомните их крестьянские восстания, революции... сколько крови, жестокости, сожженных городов, убитых людей и среди них – известных всему миру, даже царей! В России никогда не было компромиссов. Только – кто кого. Наши английская и ваша французская революции – детская шалость по сравнению с тем, что происходит сейчас в России. А что будет дальше? У них даже говорят не «женщина». Это слово употребляют бесталанные писатели, а великие говорят – «баба». Слышали это слово? – Табуи кивнул. — Так вот, весь русский народ, как баба – расхотелся в своем доме, рыдает и ломает назло себе все, а что делает – пока не понимает.

Табуи, удивленный наблюдательностью Багге, осторожно спросил:

– Но это русские, а украинцы? Они тоже такие или другие?

Багге стал по новой набивать трубку табаком.

– Не совсем. Они сформировались в несколько других условиях. С бабой легко. Пошумит, поплачет, а потом снова запряжется в работу и нарожает детей, чтобы те произвели такой же погром в доме, как она когда-то. Забывают историю и ее уроки. Украинцам их интеллигенция и политики внушили, что они – подневольная нация. Даже гимн сочинили... что-то о том, что они еще не умерли и это хорошо. Украинцев свои же деятели хотят видеть подневольными. Такими легче управлять, и это вбивается в головы простого народа. Даже российские правители так не поступали с украинским народом, как их собственные деятели. Исходя из этого, делается вывод, что этот народ не может жить без хозяина. Украине надо, чтобы ею руководил кто-то другой, со стороны, опекал, а они чтобы ворчали на опекунов, но жили. Украинским руководителям всегда нужен образ врага. Так легче управлять народом. И этот враг – Россия. Русский народ единственный среди всех славянских народов достиг мирового уровня. И это вызывает не только зависть, но и ненависть у других славянских народов. Яркий пример – Болгария: ее русские освободили от турок, а сейчас она воюет против России. Почитайте историю Украины. Всегда восставали против всех, кроме России, но одновременно хотели от нее отделиться, а защиту искали то у Польши, которая ими помыкала, то у Турции, а то и у России, когда народ допекал своих руководителей. Украинский народ и их предво-

дители – это совершенно разные по характеру и сознанию категории.

Багге, набив трубку табаком, прикурил от свечи:

– Исходя из сказанного, я не верю нынешним киевским руководителям. Они могут подло предать нас, если к этому вынудит их внутреннее положение. Они готовы сотрудничать со всеми, но прильнут иудиным поцелуем к той руке, которая им больше даст или, в крайнем случае, пообещает. Надежды на честность и благородство Петлюры – эфемерия. Ради славы, как вы изволили сказать, он откажется от родной матери, а не только от Украины. Руководители рады не могут мыслить стратегически, только узко утилитарно, что им надо конкретно сейчас.

– Правительство Франции, – ответил Табуи, – решило признать самостоятельность Украины. Пока это единственная реальная оппозиция большевизму в стране. Надо еще выше поднять их национальное чувство и поддерживать его на абсолютном высоком уровне. Пусть как можно дальше отрываются от России.

Багге затянулся трубкой.

– Один древний грек, – раздумчиво сказал он, – выпив много вина, пообещал выпить все море. А когда он пришел в себя после попойки, то надо было выполнять обещание, – просто-напросто невыполнимое, абсурдное. И его раб посоветовал ему поставить перед спорщиками контр условие – перекрыть все реки и ручейки, которые текут в море, тогда

он выполнит обещание. Пари не состоялось, но в результате был высечен раб, давший ему дельный совет. Так и рада взялась на невыполнимое для нее задание – выпить Украину. Но она забывает, что реки и ручейки между Украиной и Россией текут в обе стороны, и эти народные реки не перекроешь принятием универсалов и оружием. Но руководители спасут себя и приспособятся жить в любых условиях. А высеченным, как всегда, окажется народ. Мы можем только на более или менее короткое время удержать Украину в сфере своего влияния, но не постоянно, – из-за ее подлого руководства.

Оба замолчали, думая о чем-то общем. И Багге, и Табуи было ясно – их миссия в Киеве зависит не от них, не от Украины и России, а от позиции Германии. Как пройдут переговоры в Брест-Литовске? Пойдет ли Россия на условия немцев? Не попросит ли Украина военной помощи у Германии в борьбе с Россией? Догадки, проблемы, вопросы...

Вошел адъютант и доложил, что прибыл, – как он выразился, – президент Украины – Грушевский. Табуи нетерпеливо махнул рукой: «Просите».

Вместе с Багге они перешли от камина к большому круглому столу и дополнительно зажгли настольную лампу, так как свет от люстры был слаб.

Вошел Грушевский. Он был без пальто, которое оставил в передней, в тройке с бабочкой, которую закрывала седая борода. Табуи и Багге встали при его появлении.

– Добрый вечер, господа, – негромко, нарочито подчеркивая свою усталость, поздоровался Грушевский. – Прошу милостиво извинить, что задержался. Такие сегодня события, такие... – продолжал возвышенно-неконкретно говорить он, пожимая руку представителям союзных держав.

Табуи представил своего гостя:

– Мистер Пиктон Багге, генеральный консул Великобритании в Одессе. По поручению английского правительства, – подчеркнул он.

– Да, я о вас слышал, но лично не был удостоен чести познакомиться.

– Пока лично, а вскоре и как полномочный представитель английского короля в вашей стране, буду рад близкому знакомству с президентом Украины, – с учтивой улыбкой дипломата ответил Багге. Он старательно подчеркивал слово «президент», зная пристрастие Грушевского к возвеличиванию своей личности, хотя такой должности в раде не существовало.

Они насколько секунд крепко жали руки друг друга, внимательными взглядами изучая выражение лиц. Табуи, как хозяин, пригласил всех к столу, на котором ловкий лакей расставлял чашечки для кофе и тарелочки для бутербродов. На каком языке вести беседу – вопрос не стоял. Багге говорил по-русски свободно. Табуи – с большим акцентом, но быстро, проглатывая окончания слов, а то и отдельные слова. Грушевский, кроме приветствия на украинском, после гово-

рил только по-русски. Для него это была ворожья мова, и он подумал: «Ничего, скоро и вас заставим говорить по-украински!»

Лакей, открыв шампанское и налив кофе, удалился. Табуи, подняв фужер, сказал:

– Я бы хотел предложить тост за президента Украины!

– Что вы, зачем, я еще не президент... – слабо возразил Грушевский, но по увлажнившимся за стеклами очков бледно-синими глазам было видно, что он внутренне доволен таким обращением к нему.

– Я бы хотел провозгласить тост, – снова повторил Табуи, – за президента, за независимую Украину, которую вы возглавляете, ее народ и вхождение нового государства в европейскую семью народов. За нашу дружбу!

– Спасибо, – ответил Грушевский, выпив фужер шампанского до дна. – Спасибо. Сегодня поистине великий день для нас. Мы, видимо, навсегда отделимся от России. Сегодня она, руками большевиков, снова хотела связать нас с бывшей империей. Но, слава Богу, наш народ изгнал большевиков с Украины, – он уточнил: – Пока со съезда, а вскоре и вообще. Этот великий день навсегда войдет в историю! – профессор истории Грушевский не мог не отметить этого факта перед собеседниками. – И мы, как вы сказали, навсегда войдем в европейскую семью.

Грушевский перевел дыхание.

– Если уж честно говорить, то украинский народ в корне

отличаете от русского. Новые научные изыскания показали, что даже антропологически эти народы отличаются. Украинцы и русские – разные расы. Даже на границах проживания с другими народами мы не слились с ними. Посмотрите, жили рядом с венграми, поляками, русинами, а остались все же украинцами.

Табуи перебил его:

– Это в Галиции. А на востоке, юге Украины – совсем другая ситуация. Народы смешались, – непонятно, кто там русский, кто – украинец.

Грушевский согласно кивнул и пояснил:

– Да, это в городах. А деревня осталась украинской. Крестьяне – истинные носители украинского духа. Именно крестьяне преобразуют русифицированные города и создадут единую украинскую культуру, внеся в нее дух самовыражения...

Пиктон Багге, до этого молчавший и внимательно слушающий собеседника, вмешался:

– Насчет европейской культуры и антропологического расхождения европейских народов я имею противоположную точку зрения. Вся Европа – это одна раса, в том числе украинцы и русские. Но вы представьте себе Европу и Азию – это же один континент. Кому принадлежит приоритет в цивилизации человечества – надо разбираться. Мне кажется, Азии, – Багге пришлось быть во многих местах мира и, конечно, как умный и образованный человек он воспри-

нял различные теории развития человечества, и в данный момент он решил выступить с точки зрения Азии. – Индия, Тибет, другие восточные страны – это мозговой центр человечества. Россия – это перерабатывающий центр всех идей, практически исполняющий волю этого мозга. Европа, – он кивнул в сторону лежащей на столе карты, – это хвост. Посмотрите, сколько государств и границ! Этот хвост способен только вилять, замечая гнусные следы своей прошлой и текущей политики, лихорадочно отмечая великие восточные идеи, потому что они переработаны в России для всего человечества. Каждой евроазиатской стране выделена определенная биологическая роль.

Грушевский долгое время работал во Львове и глубоко воспринял психологию этого региона – унижать всё, что находится восточнее, и унижаться перед всем, что западнее. В присутствии своих соратников по борьбе он чувствовал себя профессором, читающим лекцию студентам, в присутствии европейцев – наоборот: студентом, жадно заглядывающим в рот собеседнику для получения знаний. Так было и сейчас, и от этой привычки он избавиться не мог. Он напряженно думал и никак не мог согласиться с Багге, что Украина вместе с Россией перерабатывает чьи-то идеи. У Украины должны быть только свои идеи! И осторожно спросил:

– А Украина тогда какой частью человеческого организма является? Что-то между хвостом и близкими к нему внутренностями? Так?

Он обидчиво посмотрел на союзников по войне. Багге, улыбнувшись, промолчал с ответом, а Табуи поспешно, чтобы ликвидировать возникшую неловкость, ответил:

– Господин президент, извините, мы не решаем какую часть европейского организма занимает Украина. Это, понимаете ли... – он замешкался, подыскивая нужное слово, – образное сравнение. Философия. Давайте перейдем к вопросам, которые нас сейчас больше всего интересуют. Согласны, господа?

Грушевский кивнул. Табуи взял документы, которые лежали возле карты, посмотрел в них и официальным тоном произнес:

– Мое правительство, так же, как и правительство Соединенного Королевства, желает знать точку зрения украинского правительства по вопросу переговоров Германии и России, и как относитесь к данной проблеме вы, господин президент?

Он замолчал. Багге жадно впился глазами в лицо Грушевского. Тот напряженно молчал, взвешивая каждое будущее свое слово для ответа:

– Это вопрос неоднозначный.

Такое уклончивое начало вызвало разочарование в лицах его собеседников. Табуи и Багге переглянулись.

– Мы, – продолжал Грушевский, не заметив перемены в настроении союзников, – желаем также вести переговоры с Германией и предприняли для этого определенные шаги.

Мы не хотим, чтобы Россия, как в старое время, выступала от имени украинского народа. Поэтому наше правительство приняло решение вести переговоры с Германией о мире отдельно от России, – и, спохватившись, что сказал не то, добавил: – Но это не означает, что мы с ними заключим мир! – и для большей убедительности произнес: – Никогда этого не будет. Никогда! Это тактический ход, чтобы показать всему миру и России, что мы самостоятельное, суверенное государство. В этом наша главная цель. А в остальном мы верны обязательствам, которые взяли и еще возьмем на себя перед союзниками.

Багге настороженно спросил:

– Господин президент, а вы не предполагаете, что между Россией и украинским правительством может возникнуть война? – Багге не сказал Украиной, а именно – правительством. – И мне кажется, вам не удастся устоять и потребуются помощь какой-то из воюющих ныне сторон. Пока же Антанта непосредственно своих солдат и офицеров послать к вам сюда на помощь не может. Не заключите ли вы тогда секретный мир с Германией?

– Нет, нет! – торопливо ответил Грушевский извиняющимся тоном. – Мы, в своей борьбе, можем рассчитывать только на помощь своих союзников, то есть на вас. Вы нас, как державу сохраняете, немцы же могут ликвидировать нашу независимость. Создание независимых держав не входят в планы кайзера. Вы – наша главная опора. Я думаю, что

вы проинформированы о том, что с представителями Северо-Американских Штатов у нас есть договоренность об оказании нам военной помощи. Они сейчас разрабатывают планы настоящей и будущей помощи, изучают материальные и продовольственные ресурсы Украины на случай, если их и ваши армии появятся у нас... – Грушевский глубоко вздохнул. – Но это будет, конечно же, позже. Вам надо разгромить Германию и Австро-Венгрию. А мы постараемся продержаться это время против большевиков. Для этого у нас силы есть. Наши истинно украинские полки Сагайдачного, Орлика, Хмельницкого, Груш... – он осекся, но, увидев заинтересованные лица собеседников, упрямо предложил: – Да, есть полк и моего имени. Я отказывался! Но народ, солдаты, видимо, видят во мне то ли отца нации, то ли гаранта независимости, то ли честного человека – и назвали моим именем полк и сразу же пошли на фронт. Есть еще и другие силы – сичевые стрельцы из Галиции, которые ненавидят Россию больше, чем Австро-Венгрию, в составе которой они находятся. Сил для защиты хватит. Солдаты преданы украинскому правительству и народу. Вместе с ними, добрыми вояками, мы достигнем самых высоких вершин в создании новой украинской державы, – Грушевского несло уже по привычке, будто выступающего на каком-то собрании. – Так что быстрее заканчивайте с Германией – и помогите нам в борьбе с большевиками.

Грушевский закончил свою речь. Багге и Табуи молчали.

Может быть, аргументы собеседника их не убедили, может, у них были совсем иные планы. Багге задумчиво, размышляя, произнес:

– Главное не достичь вершины – главное не упасть в пропасть. А это – более вероятно. Основ для строительства державы у вас недостаточно, они зыбки. А помощь вам нужна немедленно.

Грушевский с горячностью перебил его:

– Не упадем в пропасть, не упадем! Нас не только поддерживают солдаты, но и весь народ. Весь! Он столько мечтал о своей державности, что все отдаст за родину, голову положит. Никто – ни Германия, ни Россия, никто другой не уничтожит Украину! – на глазах Грушевского выступили слезы, и он вытер платочком уголки глаз. – Извините, разволновался. Как слышу об Украине, не могу к этому спокойно относиться. Готов как угодно защищать ее, всеми способами – от теоретического спора, до оружия. Да, мы, истинные украинцы, такие. Или Украина, или ничего!

Он снова протер глаза и надел очки. Багге и Табуи сочувственно смотрели на него. Такого рода переговоры им не приходилось еще вести – дипломатия не место для чувств.

– Значит, – напрямую спросил Табуи, – мы можем сообщить своим правительствам, что Украина, в отличие от России, никогда не нарушит союзнический договор?

– Да, да! Не сомневайтесь в этом!

Табуи продолжал:

– У меня к вам письмо от моего имени с поддержкой самостоятельности Украины, – он не стал произносить слово «независимость». Такое слово обязывает ко многому, а ко многому Украина не готова. – Я готов от имени Французской республики признать Украину отдельным от России государством и установить с ней официальные отношения. Такие полномочия предоставлены мне моим правительством. Я могу вам официальные документы передать сейчас.

Багге, улыбнувшись, сказал:

– Правительство Великобритании также готово признать державность Украины. Я немедленно свяжусь с Лондоном и попрошу разрешения на оформление мною официального документа о вашем признании.

– Хорошо! Прекрасно! – чуть ли не прокричал в ответ Грушевский, от волнения пропустив мимо ушей фразу, что собеседники сами, а не их правительства, оформляют документы о признании Украины. – Но я попрошу это сделать не сейчас, а позже – в торжественной обстановке. Скажу об этом Винниченко, он у нас премьер-министр. Пусть весь кабинет присутствует на этом событии, мы пригласим гостей. Это будет праздник для Украины... для всех нас. Мы долго мечтали, когда Украину признают европейские государства, но чтобы нас сразу же признали такие государства... – Грушевский задыхался от раболепного восторга. – Скажу Винниченко, и он все устроит торжественно и красиво!

Багге кивнул головой в знак согласия о торжественном об-

мене документов и ответил, подчеркивая каждое слово:

– Мы желаем вам успешно провести переговоры в Брест-Литовске, – и многозначительно добавил: – А также, чтобы Украина вышла из них более крепкой, не поступилась бы и пядью своей независимости.

– Спасибо! – волнующимся голосом ответил Грушевский. – Спасибо. Будьте уверены, мы останемся верны всем обязательствам, которые взяли перед союзниками.

Табуи сам налил шампанское в фужеры. Дальше пошла свободная беседа. Когда прощались, то Грушевский склонил на прощание голову в знак уважения к собеседникам и их странам, и вышел. Табуи и Багге снова сели за стол. Молчали, обдумывая итоги встречи и переговоров, потом Табуи произнес:

– Не верю в их обязательства перед нами. Они непредсказуемы. Смотрят не на перспективу, а на то, что им необходимо сейчас. Это опасно.

– Согласен с вами. Верить им нельзя. Слишком уж импульсивны и непоследовательны в своих действиях. Ради бредовой идеи какой-то державности, когда народ давно живет в сильном государстве и не протестует, бросить этот народ на лишения. Бредовые идеи живут долго, и их трудно вытравить из больной головы, и в определенные моменты они могут быть популярными. Так что народу снова придется пострадать за идею. Но пока нам важно удержать Украину в сфере своего влияния. И сегодня на некоторое время это

удалось... В этой революции нам важно оторвать от России ее окраины: Украину, Кавказ, может, Дальний Восток...

– Вы правы, наступил удобный момент разрушить Россию и мы должны им воспользоваться. Россия должна быть поделена на десять и даже двадцать государств, которые будут находиться под нашим влиянием... Чтобы никто и никогда не мог даже высказать мысль о том, что Россия – великая держава. А русский народ – смешать с другими народами, чтобы его не осталось и в памяти...

Они еще обменялись мнениями о международной обстановке, и после этого Багге уехал.

Грушевский ехал в автомобиле по ночному Киеву. Древняя столица Руси в темноте представляла достаточно мрачное зрелище. Электрического освещения на улицах не было, отсутствовала иллюминация театров и кинематографов. В связи с энергетическим кризисом было запрещено лишнее освещение. Мокрый снег сделал дорогу скользкой и грязной. Автомобиль заносило на поворотах на обледеневшей брусчатой дороге, и тогда Грушевского прижимало к сидевшим с обеих сторон телохранителям. Но сейчас этих неудобств Грушевский не замечал. Он мысленно возвращался к только что происшедшему разговору. Он был искренне рад тому, что Франция и Англия признали Украину. Теперь Россия не имеет права выступить от их имени, а они могут самостоятельно действовать на международной арене. Это была большая победа рады и конкретно его, Грушевского, – он считал, что виртуозно провел сложные переговоры. Об этом должны узнать все. Но его мучил другой вопрос: а сумеют ли они выполнить условия союзников, до конца поддерживать их в войне с Германией? В этом Грушевский был не уверен, и признавался сам себе, что сегодня он искренне лгал союзникам. Пока надо вести переговоры с Германией, чтобы не отдать политическую инициативу большевикам. Но, если Россия заключит мир с Германией, то Украине также

придется заключить с ней мир. Это было ему ясно. Но потом Центральная рада окажется один на один с большевиками. Это-то и пугало Грушевского больше всего. Он понимал, что массы по привычке продолжают ориентироваться на Россию, а не на его правительство. Он старательно внушал своим молодым соратникам, что народ их поддерживает, но сам в это не верил. Значит, без внешней поддержки не обойтись. А на кого опереться, к кому прислониться? Этого Грушевский не определил. Франция и Англия далеко, их силы заняты войной во всем мире, на всех океанах. В ближайшее время они не смогут оказать реальную помощь. Германия рядом. Но с ней Украина находится в состоянии войны, и быстро на нее переориентироваться, значит – предать народ, остаться в одиночестве. Мучительный вопрос. Но в борьбе за свое существование все средства хороши, даже если политику поменять на противоположную. Автомобиль выехал на булыжную Большой Васильковской. Он возвращался к разговору во французской миссии, – какое место в Европе занимает Украина? Что этим хотел сказать Багге? Неужели, это то место, по которому шлепают детей и глядят продажную женщину? «Может быть, – с горечью думал Грушевский, – нас всегда били, а потом ласково гладили, чтобы успокоились, а потом по новой били. А мы вечно кричали о своем унижении, плакали и бились в истерике, а потом снова, согнув спины, несли свой крест, не посягая на своих гнобителей. А кто так поступал? Мы, осведомленная интеллиген-

ция, а народ просто тянул свою лямку. Он, не думая, производил хлеб, а мы его ели, не думая, что он произведен народом, и выдумывали для него идеи, ворошили в выдуманном нами же гневе свои души... да и теперь хотим кромсать народную душу. Но без народа не будет и нашего дела. Надо его крепче привязать к нашему движению. А как? Ему нужна иммунная прививка, как от оспы... и вакцина нами изобретена – это ненависть к России. Много уже сделано. Мы обвинили Россию во всех смертных грехах, во всем плохом для Украины, и надо еще более в полном объеме убеждать в этом людей. Есть украинцы, которые не согласны с нашей политикой. Оставаясь внешне украинцами, они прониклись российским духом. Таких нельзя подпускать и близко к руководству Украиной. Вот Науменко, – серьезный филолог, издает журнал «Киевская старина», где пропагандирует нашу культуру. А на самом деле не мыслит себе жизни в отдельности от Московии. Правильно мы сделали, что с первых дней революции изолировали этих людей от политики. Им в нашем движении, при всем их блестящем уме, не место! До чего довели Киев? Все говорят по-русски да по-еврейски. Все вывески и афиши на русском языке. Да и украинцев в столице проживает менее десяти процентов. Надо Киев наполнять украинцами и не теми, кто с востока и юга, а с запада, – там истинно наш дух. Грех, что столица не имеет большинства коренного населения. Это надо заложить сейчас, а то будущее идеи украинизма выглядит мрачно».

Автомобиль подъехал к шестиэтажному дому на Тарасовской, где жил Грушевский. Он вышел из автомобиля и вошел в дом, дверь которого услужливо открыл вооруженный офицер-гайдамак, следом вошли телохранители, которые остались внизу. Сняв пальто, Грушевский сразу же поднялся на третий этаж, в библиотеку. Он очень любил это место. Находиться во власти книг было его стихией. Он был готов сутками сидеть за книгами и своими рукописями. У него было ценнейшее собрание украинских этнографических предметов, подаренное ему художником-архитектором Кричевским, которое после смерти он собирался завещать одному из музеев. Грушевский сел за рабочий стол и велел прислуге принести ему кофе с булочками и маслом. На столе, как и у любого ученого, беспорядочно валялись исписанные листы бумаги, что составляло не хаос, а рабочий порядок. Принесли кофе, и он маленькой ложечкой, прихлебывая, стал его пить. Он задумался. Почему он, кабинетный ученый, профессор истории, любитель книг, вдруг возглавил Центральную раду? Он прошел хорошую политическую школу в Галиции, которую льстивые языки называли украинским Пьемонтом. Там выковывались настоящие борцы за независимость Галиции от Австро-Венгрии – бескомпромиссные, заряженные одной идеей, стойкие, отметающие все ненужное и постороннее в их борьбе, самоотверженные, готовые на подвиг ради самостийности. Теперь с территории Австро-Венгрии они перенесли борьбу за самостийность на террито-

рию России. Здесь больше возможности для реализации своей идеи, нет таких драконовских законов по национальному вопросу, какие были в Австро-Венгрии. Есть возможность провести эксперимент независимости на практике. Но что же заставило его, умудренного жизненным опытом человека, кинуться в омут политической борьбы? Почему ему захотелось разделить увлечение украинской молодежи, – а многие из руководителей рады годятся ему в сыновья, – в области самостоятельных экспериментов? Грушевский давно понял, почему он согласился возглавить Центральную раду – он боялся потерять свою популярность в интеллигентской среде, слишком ею дорожил. Он много написал книг за свою жизнь. Сначала это было переписывание других источников, а потом интерпретация своих ранее созданных трудов. А раз так, то его произведения со временем забудутся, найдется в другую эпоху такой же, как и он, обличитель действительности, может – более яркий... тоже напишет историю, а его забудут. А политиков долго не забывают, даже через много лет его фамилия, хоть одной строкой о событиях прошлого времени, будет читаться потомками. Да, это действительно так. Кроме того сейчас его слуху льстило обращение «батька», «дед». Ему было до глубины души приятно слышать на различных собраниях произнесение здравиц в его честь: «Слава украинскому Робеспьеру!», «Ура отцу нации!», «Грушевский – украинский Гарибальди!», «Слава первому украинцу!». А потом газеты, кто со злорадством, кто с гордостью,

публиковали эти обращения. Он пытался возражать против этого, но его не слушались. А может, это были такие возражения, что вдохновляли собрания на новые и новые здравницы? «Да, – честно признавался он сам себе, – мне нравится быть популярным и почитаемым».

Раздался осторожный стук в дверь. Грушевский оглянулся – в дверях стоял Орест Яцишин.

– Батько, можно войти?

Грушевский кивнул. Обращение молодого человека было ему приятно, сыновей у него не было. Орест Яцишин был сыном его друга, приват-доцента Львовского университета, который умер несколько лет назад. Сейчас Оресту было восемнадцать лет, – он учился на историческом факультете Киевского университета и жил в доме Грушевского, рядом с университетом.

– Ну, что у вас там в университете? Какие настроения? – ласково обратился Грушевский к Оресту, которого любил как сына.

– Разные. Мы сейчас занимаемся военной подготовкой в сержантской школе. Поэтому я пришел поздно.

– Много вас ходит на военные занятия?

– Да, достаточно. Много ходит гимназистов. Хотят голову за Украину положить. А им по пятнадцать–шестнадцать лет. Дети еще! – снисходительно сказал Орест, хотя был немногим старше гимназистов.

– Нам скоро будет необходима армия. Готовьтесь сами,

других зовите. Не только украинцев, но и других.

– Занимаются с нами немного евреев, а русских почти нет. Украинские рабочие и крестьяне тоже не идут на наши занятия. Что с ними делать? Как привлечь?

– У нас есть армия и с вами – молодыми – ей никакой враг не страшен. Иди поешь, и ложись спать. Трудные дни наступили для нас, но надо выдержать. Иди, – ласково повторил Грушевский.

Орест вышел. Грушевский посмотрел на циферблат высоких напольных часов. Пора бы спать и ему. Но по старой профессорской привычке взял карандаш и стал править текст гранок будущей книги.

«Успею выспаться», – подумал Грушевский, а ручка, опережая мысль, вносила исправления в текст. Но вот карандаш уткнулся во фразу: «В костер войны Украина и Польша бросали своих лучших сыновей. Было ясно, что без посторонней помощи этот костер скоро будет пылать только из украинцев. И тогда Богдан Хмельницкий обратил серьезные взоры на Россию, которая, как и Польша, хотела закабалить Украину».

Грушевский задумался над этой фразой. «А куда нынче мы обратим свои взоры, к кому»? Ответа не было, и он исправил слово «костер» на «котел», а потом и все предложение.

«А сколько нынче потребуется дров для котла? Раньше десятки тысяч, потом сотни, а сейчас – видимо, миллионы. И

какой породы пойдут дрова? Всех пород, но больше русской и украинской. Котел уже нагрелся, кипит, а пару выходить некуда. Взрыв котла неизбежен, – размышлял бесстрастно Грушевский. – Сварят в этом котле боги войны разных народов удивительную похлебку, настоянную на разных оттенках человеческой крови, и наедятся ею вдоволь, на много лет вперед, а когда проголодаются – разведут новый костер. Но необходимо стоять рядом с этим котлом, и надо постараться в него не попасть. Интересная мысль – надо записать ее для будущих книг».

Он окинул ласковым взором любимую библиотеку. Сделал пометку карандашом на чистом листе бумаги и решил, что пора спать, завтра снова тяжелый день – готовить новые дрова для костра.

Часть III

21

Аркадий Артемов жил в Харькове уже более трех лет. Ему было девятнадцать лет. Это был худощавый юноша с симпатичным, немного нервическим лицом. Особенно выделялись глаза не то синего, не то серого цвета, которые смотрели обычно не на предмет, а куда-то вдаль, за горизонт, словно что-то ища там для себя, непонятное другим. Аркадий был мечтательным человеком, хотя жизнь постоянно предъявляла ему свою жестокую реальность. Но он все преодолевал как-то незаметно, сильно не задумываясь. Он, как и в детстве, продолжал жить в своем, придуманном им мире. Аркадий два года был слушателем при Харьковской консерватории русского музыкального общества, где преподавал композицию профессор Гардинский. И вот более года назад он стал студентом консерватории. Обучение было платное и дорогое – двести рублей в год. Но Аркадию, как человеку с большими музыкальными способностями, разрешили учиться за государственный кошт, и в этом помог Гардинский, который учил его все три года и многого ждал от своего ученика. Аркадий получал стипендию, небольшую – всего двадцать рублей в месяц, но это было хорошей под-

держкой для него. У родителей он деньги не брал, зная, что у них их нет.

Гардинский имел собственный трехэтажный дом на Сумской улице. Два первых этажа занимала его семья, а на третьем размещалась прислуга и две квартиры, которые сдавались студентам консерватории за символическую плату. На третий этаж имелся отдельный вход с улицы. Гардинский жалел своих наиболее талантливых учеников, которые не имели достаточных средств, и поселял их в своем доме. В одной такой комнатке жил Аркадий. Здесь было фортепиано, – старое, но с хорошим звуком. Аркадий был доволен своей квартирой. В одной из комнат жила горничная Гардинских, старая дева лет пятидесяти по имени Арина, хотя настоящее ее имя было другим. Жила она у Гардинских более двадцати пяти лет. Ее квартирка, единственная на третьем этаже, имела два хода – один из них в дом хозяев. Арина не была зловредной, а наоборот – помогала бедным музыкантам, которые не могли снять лучшую квартиру. Прощала им задолженность, за чем следила по просьбе хозяина, приносила еду, – обычно с праздничных столов. Сейчас Аркадий жил один, больше квартирантов не было. Последнего с ним жильца мобилизовали в армию, в качестве музыканта. Иногда по вечерам к нему заходила Арина и просила сыграть что-нибудь шуточное или ноющее, в зависимости от настроения. Середины между этими двумя понятиями у нее не было. Аркадий, по своей натуре добрый человек, нико-

гда не отказывал ей и часто исполнял ей что-то свое, которое неожиданно вспыхивало в душе, не делая в дальнейшем нотной записи. Играл на фортепиано он, как отмечал Гардинский, почти виртуозно, только надо было отшлифовать отдельные элементы. А его импровизациями заслушивались многие. Вначале Аркадий подрабатывал в женской гимназии Лосицкой, но, в связи с повышающейся дороговизной жизни, от его услуг отказались. Последний год он подрабатывал музыкальным иллюстратором в синемафотографе. Так назывались пианисты, озвучивающие музыкой немые фильмы. Но это было не постоянным местом работы. Его приглашали озвучивать обычно один фильм, который кочевал с одного экрана синемафотографа в другой. А его слава музыкального иллюстратора началась раньше, когда по Харьковому с большим шумом прошла «сильная драма», – как указывалось в афише к фильму «Проданная слава», с участием «любимца публики» – Певцова. Аркадий играл на фортепиано очень ярко, чем вызвал восторг многих зрителей. Об этом даже написала газета «Южный край», указывая, что иллюстратор сделал фильм «еще более трагичным». Посмотрел этот фильм и Гардинский. Отношение к работе Аркадия было у него двойственным. С одной стороны он был доволен музыкальной виртуозностью своего ученика, но с другой – отметил, что такая работа может убить его композиторский талант. Поэтому Аркадий теперь играл только по субботам и воскресеньям, и не более двух сеансов в день. О его ил-

люстрации фильма обычно сообщала броская афиша, с приглашением посетить фильм «взыскательную публику». Аркадий получил даже псевдоним – «Арк. Арт.», что должно было означать начальные буквы его имени и фамилии, а на самом деле звучало загадочно-театрально, словно непосредственно связанное с искусством. Так он и жил. В Луганске бывал редко, проводя все время в Харькове.

Семья Гардинских жила в Харькове в течение нескольких поколений, и дом на Сумской достался профессору по наследству. Антон Гаврилович Гардинский в молодости был неплохим музыкантом, сочинял оперы и симфонии. Он любил вспоминать, как в конце прошлого века его симфонией восхищался сам Танеев. Но он ее не закончил. Всему виной, как часто он подчеркивал в разговорах с собеседниками, была его «беспримерная» любовь к Асе Михайловне – будущей жене. Воспитанный на сентиментально-романтической литературе, он отождествлял свою Асю с тургеневской и приложил немало усилий, чтобы завоевать свою хрупко-болезненную мечту, которую продолжал любить так же, как и двадцать пять лет назад. У них была единственная дочь – Татьяна. Гардинский, безумно влюбленный в музыку Чайковского и его оперу «Евгений Онегин», назвал дочь именем пушкинской героини. Так девочка получила свое имя. Одновременно получила новое имя и прислуга. Она в документах была Дусей, а на слуху стала Ариной, по имени няни Пушкина. Полку чайковско-пушкинского окружения у Гардинских

прибавилось. Арина была очень привязана к Тане, – как вторая мама и няня одновременно. Ася Михайловна была болезненной женщиной, до войны ежегодно отдыхала в Крыму. Всей семьей периодически отдыхали в Италии, вдыхая песенно-живительный аромат Средиземноморья. Ася Михайловна искренне была привязана к своему заботливому и умно-наивному мужу, любившему семейный очаг и боготворившему ее и дочь. Антон Гаврилович был хорошим педагогом, и у него была голубая мечта – раз сам не стал известным композитором, то он должен воспитать достойного ученика, и чтобы с именем ученика вспоминали имя его учителя. Ему нравилось выражение «Воспитать ученика, который бы превзошел талантом учителя». Сейчас он свои надежды связывал с Аркадием, видя в нем огромный музыкальный талант, и старался реализовать возможности ученика. Но работы с будущим композитором было впереди еще много. По натуре Гардинский был человеком добрым, любил свой дом и дружеские компании, где можно было вести интеллектуальные разговоры и даже романтично-революционные, но в практической жизни он был достаточно беспомощен. Это был типичный русский интеллигент – мягкий, образованный, отзывчивый на чужую беду, с феерическими мечтаниями, далекими от реалий жизни. Война его вначале напугала, но потом в дружеских компаниях он страстно говорил об отсталости России и мечтал о революционной буре. Но, когда грянула эта буря, он никак не мог в ней разобраться. Старая,

привычная жизнь была ему дороже, чем новая, неразличимая за туманным горизонтом будущего.

Таня, которой было двадцать три года, была похожа на мать, но с более крепким здоровьем. Среднего роста, стройная, она не просто ходила по земле, а как бы пролетала. Она была действительно красива аристократически-русской красотой: розово-бледное лицо удивительным образом гармонировало с пепельно-дымчатыми, живыми, но загадочными глазами, яркие, полные губы улыбались всегда открыто и искренне. Даже родинки, – словно небрежно набрызганные ручкой чернильные пятна на левой щеке и шее, – не испортили ее лица, а наоборот – придавали ему нежность. А, если добавить к этому волнистые до плеч светло-русые волосы и завлекалки, спадающие с висков и как серпантинки подрагивающие при ходьбе, то любой мужчина оценивал ее как свой тайный идеал. Одевалась она достаточно скромно, но с тем природным изяществом, который не позволяет выглядеть слишком просто, но также и вычурно. Три с небольшим года назад Таня вышла замуж за молодого, недавно закончившего юнкерское училище поручика Костецкого. Но счастье их было недолгим. Менее чем через месяц ее муж отбыл по месту службы, в связи с началом военных действий, и сложил свою голову в осенне-туманных Мазурских болотах. Таня, уже Костецкая, жгуче страдала о своей первой трагической любви. Почти два года ходила в трауре. Но в конце шестнадцатого года повстречала фронтового штабс-капита-

на, недавно возвратившегося из госпиталя с ранением в груди и со шрамом осколка снаряда на щеке. В ее глазах он был необыкновенным человеком – выжил на войне. Татьяна всей душой потянулась к нему. Но счастье их встреч тоже было недолгим. Штабс-капитан вскоре уехал в свою часть, пообещав в недалеком будущем навечно вернуться в ней. На прощание он подарил ей трофейный маленький, блестящий словно игрушка, бельгийский браунинг. Вскоре, в короткий зимний день, пришло ей письмо от его друзей, где сообщалось, что ее друг геройски погиб под Вильно. С тех пор Татьяна изменилась. Она внушила себе, что является для мужчин злым роком. Стала молчаливой и замкнутой. Улыбка осталась искренней, но печальной, пепельные глаза – потемнели, и в них поселилась тоска, а временами мелькал вопрос – что же происходит? Но эта задумчивая печаль делала ее еще более красивой, глубокой и интересной.

Аркадий был влюблен в Татьяну. Для нее и родителей не было секрета о любви квартиранта к дочери. И только Аркадий думал, что о его чистой и глубокой любви не знает никто, кроме рояля, которому он доверял свои чувства. Он боялся подумать о том, что когда-то придется объясниться в своих чувствах Татьяне, считал себя ниже ее по происхождению и воспитанию. Кроме того, Аркадий считал невозможным объяснение с замужней женщиной, сейчас вдовой, тяжело переживающей свое горе. У них сложились странные отношения. Татьяна и ее родители с интересом наблюдали за

его любовными переживаниями. Антон Гаврилович считал, что такое высокое чувство поможет его ученику глубже познать тайны музыкального творчества. Татьяна считала его еще молодым, даже маленьким, но относилась к нему достаточно сердечно, не свысока – это было ей не присуще, но с тем тактом, который не позволял обоим переступить ту черту, когда можно обращаться друг к другу на «ты». После гибели мужа Татьяна стала часто посещать комнату Аркадия, обычно днем, реже вечером. Ей необходимо было говорить с ним, а не с родителями, которые уж слишком хорошо понимали ее состояние, до назойливости, а с посторонним, который не сможет понять ее необыкновенной тоски и переживаний. И еще ей очень нравилась меланхолическая музыка, которую вроде бы без особых усилий мог извлекать из старенького фортепиано Аркадий. Играл он не только известные произведения, но и свои, пристально-грустно рассматривая Татьяну в отражении на корпусе фортепиано, стараясь проникнуть в ее настроение. Закрывал на минутку глаза, и его гибкие тонкие пальцы воспроизводили ее переживания: то щемяще-грустные, то отвлеченно-меланхолические, иногда – бурно-веселые. Были такие моменты, когда Таня играла сама и тихо пела необыкновенно чувственные русские романсы. Но между ними всегда сохранялась некоторая дистанция, порог которой Аркадий первым перешагнуть не мог. Получалось так, что одна сторона обычно молчаливо изливала свою тоску, другая – как губка впитывала ее, ста-

раясь не только понять, но и душевно стать таким же.

Сегодня после обеда Таня пришла к Аркадию. За окном было пасмурно, низкие темно-снежные тучи тяжело ворочались над городом, и в комнате было сумрачно. Таня была в сером шерстяном платье, а на плечах — теплая шалевая накидка.

– Здравствуйте, Аркадий, – подчеркнуто вежливо поздоровалась Таня.

– Здравствуйте, Татьяна Антоновна, – Аркадий встал с дивана. – Садитесь.

– Почему вы вчера не пришли к нам на ужин, а сегодня на обед? Вы что, совсем забыли нас?

– Нет. Я вчера был занят... меня не было дома.

– Обманываете. Я вчера вечером видела у вас свет в окне. Вы были у себя.

Аркадий поколебался и ответил:

– Да, я был дома.

– Так почему вы к нам не зашли? Нам вчера было так грустно. У папеньки не было настроения даже чтобы сесть за рояль. Маман как всегда хандрила. Вы бы могли развеять своей музыкой нашу скуку.

– Я был вчера занят.

– Чем заняты? – она выжидательно посмотрела на Аркадия. – Может, у вас появилась новая поклонница вашего таланта?

Татьяна хитро улыбнулась. У Аркадия вспыхнуло лицо.

Поклонницы у него действительно были и он старался встречаться с ними тайком, чтобы никто об этом не знал. Он тревожно подумал: «Неужели Татьяне что-то известно?» Но самое важное в такой беседе – отвлечь собеседника от подозрительных мыслей чем-то неожиданным, и Аркадий решил открыться ей свою тайну.

– Нет у меня поклонниц. Я вчера сочинял новое...

Он заколебался: «Говорить или не говорить?»

Словно угадав его колебания, Таня поспешила на помощь:

– Говорите, говорите, что же вы сочинили? Новое? Исполните? Прошу!

Ей Аркадий отказать не мог. Он подошел к фортепиано, открыл крышку, сел на стул, размял пальцы и обратился к Татьяне:

– У меня к вам одна просьба.

Таня кивнула утвердительно, что выполнит его любую просьбу.

– Только, пожалуйста, не смейтесь. Я вчера вечером, а вернее сегодня ночью, сочинил романс.

– Романс? – искренне удивилась она. – А чьи же стихи?

До этого все знали только о музыкальных способностях Аркадия.

– Стихи тоже мои... – Аркадий густо покраснел. – Я понимаю – это не Пушкин и не Фет, и стихи мои несовершенны... впрочем, как и музыка. Поэтому, если что-то не понравится, не сильно ругайте меня... а главное... не смейтесь...

– Я согласна, – как маленькому ребенку ответила она. – Не скажу ни одного плохого слова, только хорошие...

Сейчас она была удивительно обаятельна и по-женски открыта. Взглянув на нее в последний раз, чтобы больше не поднимать голову до конца исполнения, Аркадий тронул клавиши, и потекло мягкое вступление. Он облизнул губы и запел. Было заметно, что он волнуется. Сколько он пел и играл для других, но никогда такого волнения, как сейчас, не испытывал.

Когда пробуждает, закат наши чувства,
Тогда к тебе ветром вечерним лечу.
В этот ласковый вечер
Ты спешишь мне навстречу,
И тебя я такую запомнить хочу.

Под желтой листвою осенних деревьев
Я нежно тебя от невзгод сберегу.
И пускай дождь играет,
Но душа вся сияет, –
Без тебя и минуты я прожить не могу.

Пролетит наше время словно синяя птица,
И навечно вольется в память мою.
Верю, встретимся снова,
Скажу нежное слово,
Тебе, в память о встрече, эту песню спою.

Таня сидела на старом потертом от времени диванчике, смотрела на его вдохновенное лицо, а в голове проносились мысли: «Мальчик еще. Неужели он меня любит? Бедный. Неужели он не понимает, что мне нравятся яркие личности. Он или действительно талантлив, или трудолюбивый подмастерье, которому внушается мысль, что он может стать великим музыкантом. А нравится он мне? Конечно, – так ответила сама себе Татьяна. – В нем есть что-то, отличающее его от других, даже и умных людей. Но что? Не понимаю. Но что-то есть. Искренность, непорочность, чистота? Нет, он видит мир по-своему, не как я, – сквозь мутную воду потерь и переживаний. Он пока видит жизнь через дистиллированную воду любви и работы». Она вначале не совсем внимательно слушала его, увлеченная своими мыслями, но слова:

«В этот ласковый вечер

Ты спешишь мне навстречу»...

– заставили ее встрепенуться, и она почувствовала, как музыка хлынула в нее, а слова запечатлеваются в мозгу, как звезды, навсегда припечатанные к темно-синему небу. Это была музыка о ней. Она непроизвольно подалась вперед и, неотрывно глядя в напряженное лицо Аркадия, стала жадно ловить каждый звук и слово, как приморский песок, жадно и беспредельно впитывающий в себя шумящую, белоснежную волну. Но вот Аркадий закончил петь, и последний аккорд медленно-хрустально растаял в углах маленькой комнатки. Татьяна выпрямилась на диване, поднялась и подошла к Ар-

кадию, обняла его за шею, прижав голову к груди, наклонилась и поцеловала в щеку. Это вышло у нее непроизвольно, и она сразу же застеснялась своего поступка. Аркадий ошарашенно поднял голову. Молчание длилось недолго, но им обоим показалось вечным. Отойдя в сторону и облокотившись на фортепиано, Таня спросила:

– Это ты написал мне? – она не заметила, как сказала ему «ТЫ».

– Да, вам... – сознался Аркадий и пристально посмотрел на нее, как будто видел в первый раз. Ее темные глаза светились голубизной, а на губах застыла благодарно-рассеянная улыбка.

– Мне посвящали свои стихи некоторые... знакомые. Но никто не посвящал мне песен или романсов. Ты – первый... это удивительно. И слова хороши, и музыка великолепна. Сейчас не пишут такие романсы. Русские классические романсы девятнадцатого века ушли в прошлое, стали памятниками. Сейчас романсы другие, более конкретные. А у тебя – классика романса.

– Вы держите свое слово. Не говорите плохого.

– Нет, Аркадий, мальчик мой. Это действительно так. Я не лгу вам, говорю правду. А чтобы доказать это, я спою ваш романс в присутствии знаете – кого? Нет? Николая Харито.

Это был известный и популярный композитор – автор гремевшего с подмостков театров, ресторанов, заезженных пластинок романса «Отцвели уж давно хризантемы в саду».

– Он приезжает в Харьков, и в его честь будет прием в музыкальном обществе, – продолжала Таня. – Может, ты исполнишь этот романс в его присутствии?

– Нет. Это романс женский, его должна исполнять певица. Татьяна быстро ответила:

– Тогда его исполню я. Я, правда, давно уже не пела в обществе. У меня и голос небольшой, но если ты будешь аккомпанировать, то я пойду на этот подвиг.

Она засмеялась удовлетворенным смехом, может быть впервые за последние годы. У нее было музыкальное образование, полученное в семье под руководством отца, но музыка для нее была средством отдыха. Аркадий кивнул в знак согласия, что будет аккомпаниатором. Он был рад видеть ее смеющейся и радостной, и не хотел огорчать ее своим отказом, что хотел сделать секундой раньше.

– Вы перепишите мне ноты?

– Хорошо.

– Я вас приглашаю сегодня на ужин. Не отказывайтесь... и давайте будем друг с другом на «ты». Я ж ненамного старше вас. Да и в романсе вы ко мне обращаетесь на «ты»... хорошо? Приходите сегодня к нам. Договорились?

И снова Аркадий ответил одним словом:

– Хорошо.

– До вечера.

Татьяна упорхнула. Аркадий осторожно присел на диван, как раз на то место, где сидела Таня и, закрыв глаза, вдыхая

остывающий аромат духов любимой женщины, мечтательно улыбнулся и начал вспоминать все подробности только что состоявшейся встречи. Он был необыкновенно счастлив тем, что сумел доставить это счастье другому человеку.

Приглашенные на встречу с Николаем Харито начали приходить задолго до назначенного часа. Аркадий с интересом рассматривал присутствующих. Встреча устраивалась известными промышленниками Юга России, приглашалась творческая интеллигенция Харькова. Поэтому бросалось в глаза разностилье костюмов и причесок. Торговые и промышленные люди были, в основном, одеты в строгие черные смокинги при галстуках. Люди искусства отличались более свободным нравом, и определенной тенденции в одежде найти было сложно. Антон Гаврилович Гардинский оделся в новый чесучовый костюм с бабочкой – символом принадлежности к искусству людей, призванных обслуживать культурные и иные запросы людей высшего слоя. Лакеи заканчивали накрывать столики. Несмотря на то, что в городе было сложно с продовольствием, на столах была изысканная закуска: от осетриной икры и тушеных фазанов, до апельсинов и фиников. Столы были сдвинуты в два ряда, а в середине, в дальней стороне от эстрады, располагался стол, за который должен сесть известный гость и организаторы вечера. Он был расположен так, что его могли видеть все. Пока же все сидели на диванах у стен, разбившись на группки, и беседовали. Тема разговоров, несмотря на различие групп во взглядах, была одной – все вращалось вокруг положения в России.

Председатель правления промышленников Юга России фон Дитмар говорил:

– То, что происходит сейчас с Россией – закономерный естественный процесс. Рано или поздно должен был вспыхнуть бунт. Посмотрите, господа, где вы на западе увидите сейчас абсолютную монархию? Нигде, кроме Азии. Можно было бы мирно реформировать Россию. Столыпин – вечная ему память – был действительно человек со стратегическими взглядами, – мог бы это сделать, но не успел. А его реформа спасла бы царизм, перевела бы его в русло конституционности. А потом никто этим не занимался, и большевики заполнили это пустое пространство.

Торговец Рындин, почесывая кудлатую бороду, произнес:
– Сейчас непонятно – что это за власть. Чего она хочет от России? Сейчас бы только работать, война заканчивается. Ан нет, зачем-то вяжут нас по рукам и ногам. Везде запрет. Сами ж большевики многого не сделают! Просто, нет у них таких людей. Неправильно они себя ведут. Царя убрали, землю отдали, войну проиграли. Что еще? – сокрушенно закончил Рындин.

– Да, большевики могут развалить Россию, – продолжил его мысль банкир Громов. – Но вы посмотрите – Центральная рада хочет отделить Украину. Воспользовалась смутным временем. А большевики молчат – у них есть программа по национальностям. А это плохо. В России, внутри, не следует городить границ. Вся она единый организм. А по-отдельно-

сти толку не будет. У меня банки по всей стране. Вот закончится война, возобновлю их работу и в Европе. Там понятно – границы, а у нас внутри не должно их быть.

Говорили другие, и была общей мысль, что с разрухой надо заканчивать. Если этого не смогут большевики, то надо браться за дело самим. Фон Дитмар, как старший по положению, как бы подытожил мнения своих собеседников.

– Сейчас надо воздействовать на большевистское правительство чем только можем. Но политическое давление толку не даст. Этого они не поймут. Надо воздействовать экономически. Предприятия и так уже стоят. Можно временно остановить их совсем. Конечно, это жестоко. Но вспомните, господа, два года назад мы готовы были на время военных действий работать без прибылей, ради победы нашего оружия. Обратились по этому поводу в правительство, объявили об этом в газетах. Но петербургские чиновники испугались, что им будет меньше доставаться от государственного пирога. Отклонили наше предложение – и получили революцию. Сейчас бы надо воздействовать не на самих большевиков, а на народ. Частично свернуть торговлю, и тогда в начале года народ сам скинет большевиков. Как говорят – голод не тетка. С Украиной дело несложное, закончится, – как вы выразились, – смута, и об автономии разговора не будет. Должен заметить, господа, что стремление присоединить Галицию, как и вся галицийская политика, было недалеким. Эта политика усилила националистические элементы.

Хотели получить территорию, а получили динамит; единственное, что надо будет сделать после войны – создать отдельное галицийское государство. Они почти тысячу лет были оторваны от нас. Вместо Австро-Венгрии будет три государства – Австрия, Венгрия и Галиция. А часть австрийского наследства передать Чехии и Польше. Большевики неправы, давая самоопределение окраинам. На этих, обозначенных границами территориях, обязательно возродится национализм и сепаратизм. В этом их глубокая ошибка, которую нам предстоит исправить. На нынешних киевских руководителей не надо обращать внимание. У нас другие задачи, и украинские промышленники нас поддерживают. Вот, как все вернется к привычному образу жизни – отправим политиков заниматься их привычным трудом: писать книги, играть на сцене, а не в жизни, преподавать, да еще скажем, как они должны это делать.

Но ошибался умнейший человек – Николай фон Дитмар, политиков не так легко сковырнуть в России с их укоренившегося места, и что вскоре придется ему быть министром в украинском правительстве гетмана Скоропадского. Никто из промышленников не верил, что большевики пришли надолго. Фон Дитмар закончил говорить и посмотрел на часы: скоро должен приехать Харито. Во время разговора о нем не вспоминали.

Музыкальная интеллигенция отдельной группой беседовала о своем. Гардинский рассуждал не о музыке, а о про-

шлом и будущем страны.

– Как бы ни говорили нынешние революционеры, но революцию все-таки подготовили мы, интеллигенция. Свободолюбивые идеи развивали наши великие умы. Они просто приучили весь наш народ к тому, что когда-нибудь революция будет. Вот она и произошла. Теперь, когда закончится переходной период революции, необходимо будет взяться за создание новой культуры. Да, да! – мило картавил он. – Именно новой. После революции мы не имеем права работать по-старому. Конечно, лучшее из старого надо взять. Высокое искусство должно быть понятно простому человеку. Хватит его кормить цирком, духовым оркестром, дешевыми пьесами... народ должен слушать высокую музыку Чайковского, Скрябина, других старых и будущих композиторов. Мы духовно обирали народ веками – пора вернуть взятое у него ранее.

Гардинский, внутренне довольный собой, удовлетворенно-покровительственно посмотрел на собеседников. Никто ему не возражал. Да и что возражать – все было предельно ясно, и почти вся творческая интеллигенция рассуждала так же.

– Я сочинил революционную пьесу, – горячо заговорил молодой, с длинными, давно немытыми волосами, слушатель консерватории. – Если вы, дорогой Антон Гаврилович, любезно соизволите прослушать ее и дать оценку, я вам буду всесердечно благодарен. Я думаю, именно такое произведе-

ние нужно революционному народу.

Гардинский благосклонно кивнул головой в знак согласия. Другой собеседник, также молодой многообещающий музыкант, сверля жгучим взглядом коллег, убежденно произнес:

– Я считаю, что надо широко открыть двери для народа в оперные и драматические театры. Давать для них бесплатные спектакли и концерты. Для тех, кто имеет деньги, следует давать спектакли по дорогим билетам. Этим будут компенсированы бесплатные представления. А то у народа нет настоящей культуры. Что они поют? Частушки да минорные песни... и то – когда бывают в стельку пьяными. Поэтому и воспитывать его надо бескорыстно, как я уже сказал – бесплатно.

Гардинский, который был центром беседы, снова согласно кивнул головой, но одновременно поднял руку немного вверх и качнул ею в знак несогласия.

– Вы, молодой человек, немного неправы. Как воспитывать народ, – я могу с вами согласиться, но то, что народ не имеет культуры, я с вами, нижайше извините, согласиться не могу. Я ведь как вас учил... – он сделал паузу, будто бы читал лекцию. – Культуру создает народ. Понятно? Наша же задача огранить этот алмаз и сделать его бриллиантом. Мы только совершенствуем то, что дает нам народ. В этом призвание настоящих художников и даже, не побоюсь громкого слова, долг перед народом. И вот сейчас наступило время

вернуть этот долг народу, и мы его вернем.

Молодежь, окружавшая его, согласно поддакивала своему мэтру, и продолжались бесконечные разговоры и споры об искусстве и его роли в народной жизни.

Женщины также разместились отдельными группами. В основном они знали друг друга, поэтому и разговоры были непринужденными и меньше, чем у мужчин, касались политики. Нынешний год выдался тревожным и, в отличие от прошлых лет, женщины виделись реже, и каждую вновь прибывшую встречали громкими восклицаниями, поцелуями, вздыханиями и влюбленными глазами. Ася Михайловна, в строгом вечернем бархатном платье сидела в окружении знакомых ей лиц. В отличие от мужа, она не была центром компании. Ее тщательно припудренное, – чтобы скрыть появившиеся морщинки, – лицо на фоне черного платья выделялось болезненной бледностью. Таня сидела в стороне от матери. Она была в белом платье, так как любила этот цвет. Кудрявые светло-русые волосы были перехвачены широким красным бантом, который контрастировал с платьем и придавал ей женскую загадочность. Она ждала популярного композитора с нетерпением, волнуясь перед предстоящим своим выступлением, которого, впрочем, могло и не быть. И это ее даже радовало, – петь ей уже не хотелось.

– Голубушка! – говорила одна из дам. – Что за жизнь? Никого не вижу, ни с кем не встречаюсь. Скоро уже будет два месяца, как Эйхельбаум пошил мне платье. А я его только

сегодня впервые одела. Как это все понимать?

Послышались неодобрительные восклицания.

– Я думаю, что оно уже устарело. Время так быстро бежит. О, ужас! Так и жизнь скоро пройдет, и всех знакомых позабуду.

Она томно закатила глаза. Другая, полная дама, возмущенно рассказывала:

– А я третьего дня мимоходом зашла в магазин Кресберга. И Борис Исакович предложил мне купить кулон. А я к таким вещам равнодушна. Только взялась за кошелек, – а Кресберг попросил деньги сразу же, – как ворвались какие-то солдаты, с ними городские голодранцы, и давай производить обыск. Борис Исакович спрашивает: «Что вы делаете, откуда вы?» А они кричат: «Совет приказал все ценности реквизировать в пользу голодных детей!» Забрали у меня и кулон, и деньги. Записали адрес и сказали, что скоро придут к нам и всю семью раздавят, как капиталистическую гидру. Что творится?! Ужас!

Ася Михайловна ответила:

– В пятом году я была у знакомых в Херсонской губернии. До сих пор помню, как крестьяне пришли к хозяину и потребовали, чтобы он отдал землю. Он отвечает, что земля его и он ее владелец, а крестьяне в ответ – вы, мол, на ней не работаете, а живете больше в городе, значит – она не ваша, а наша. Может быть, и рабочие считают, что все ценное в городе их, и они вправе его реквизировать. Вы бы им ска-

зали, – мол, дарю я все это голодным детям, и они успокоились, не взяли бы ваш адрес.

Полная дама еще больше возмутилась:

– Я всегда в церквях одаривала деньгами нищих и давала иногда помногу! Пока всех старушек и калек не обойду, из церковной ограды не выйду. Но это я добровольно, от души делала. А здесь силой заставляют меня моими же деньгами кормить чьих-то детей. Уздечку для таких надо!

– А я видела Харито, – наконец произнесла одна из дам, словно вспомнив, зачем они пришли сюда. – Перед войной, в Киеве. Красавец. Все барышни мгновенно влюбились в него, когда он появился на сцене. А когда пел, то все плакали. Он удивительно чувствует девичью душу!

Все оживились. Разговоры об обыденной жизни отошли на второй план. Стали вспоминать, какое впечатление впервые произвели на них услышанные его романсы, как с платочком, мокрым от слез, они десятки раз слушали «Тени минувшего».

Таня внимательно слушала рассказы о Харито, о его похождениях в женском обществе, и в ней разгоралось любопытство. Теперь ей хотелось исполнить романс Аркадия в присутствии легендарного человека, к тому же революционера, побывавшего в далекой северной ссылке. Это необычный мужчина, это – герой! Как мало их на свете. Она встала и нашла Аркадия, который, как и многие слушатели консерватории, не имел билета в музыкальное общество на этот ве-

чер. Поэтому они не могли сесть за столы, а располагались на пристенных диванах и банкетках. Таня подошла к Аркадию, который стоял у входных дверей с кучкой любопытных студентов. Она тронула его за локоть, и они отошли в сторону. Ей было стыдно, что Аркадий будет сидеть не за столом, а на плебейском месте, и, возможно, он голоден. И как ему смотреть на остальных, которые будут со вкусом поедать фазанов... она уже извинялась перед ним за это. Но Аркадий был доволен тем, что его допустили присутствовать здесь – психология маленького человека, укоренившаяся в нем со времени приезда в большой город и попавшего в просвещенные круги.

– Аркадий, еще раз прошу простить, – она извиняюще взяла его за руку. – Просто не было свободных билетов. Все распространены по подписке.

– Что вы, Татьяна Антоновна, не надо извиняться. Мне и так здесь хорошо.

– Я тебя попрошу, сядь недалеко от нас. Наш столик впереди. Будь за моей спиной. Говорят, Харито необыкновенный человек и надо быть поближе к нему, чтобы слышать и видеть его.

– Я сяду сразу же за вами. Не беспокойтесь.

Он внимательно всматривался в нее: «Чего она так взволнована? Боится своего выступления?» Но до него не могла дойти мысль, что Таня ждала своего придуманного кумира, которому поклонялись многие, и она сейчас страстно хотела

ощутить божественное чувство трепета перед женщиной.

– Будь со мной рядом... прошу? – почти прошептала она и крепко сжала его руку своей холодной и подрагивающей ладонью.

Аркадий взглянул на ее побледневшее лицо, на котором родинки выделялись ярче обычного, придавая ей обезоруживающую прелесть, и мягко ответил:

– Буду.

В это время вошел Николай Харито. Это был брюнет выше среднего роста, волосы чуть ли не до плеч, смуглый цвет лица и необыкновенные на этом лице ярко-синие глаза выдавали в нем человека, в котором пульсировала кровь нескольких народов. Это было действительно так – он был сыном гречанки и русского. Фон Дитмар поспешил ему навстречу. Они дружески пожали руки, видно знали друг друга. Потом началось представление гостей присутствующим. С Гардинским Харито был знаком раньше и вежливо склонил перед профессором музыки голову, как ученик перед учителем. Харито, в свою очередь, представил прибывшую с ним солистку – Ксению Черкас. Все были довольны, что концерт начнется вовремя.

Потом все заняли места за столами согласно расписания, а Аркадий сел на диван у стены, поближе к Гардинским. Таня оглянулась, нашла его взглядом и почему-то виновато улыбнулась. Лакеи с подносами обнесли присутствующих на диванах, и Аркадий взял фужер с шампанским. После бодро-

го тоста, произнесенного фон Дитмаром, он увидел, как Харито одним глотком выпил рюмку коньяка, остальные присутствующие, за редким исключением, оставили свои рюмки недопитыми. В течение получаса тосты звучали неоднократно, и Харито все рюмки выпивал до дна. Потом все стали выжидательно смотреть на маэстро. Почувствовав это ожидание, Харито вытер руки о салфетку, подошел к роялю. Раздались негромкие аплодисменты. Для начала он взял несколько нот, провел рукой по всем клавишам и стал играть пьесу собственного сочинения. Закончив играть, он обратился к сидящим:

– Извините меня. Я несколько простыл. Сами знаете, какие сейчас условия. Поэтому мои творения... – он произнес эти слова с иронией, – сегодня исполнит несравненная Ксения Черкас. Я считаю, что она и Василий Шуйский являются лучшими исполнителями моих произведений.

Ксении Черкас было за тридцать, и голос у нее был не чистым, а немного надтреснутым. Но от этого романсы «Астры осенние», «Кончилось счастье» звучали более открыто, по-домашнему. Сделали перерыв в исполнении и снова сели за столы. Харито небрежно выпил несколько рюмок, которые шли уже без тостов, а услужливо подливались лакеями. Каждый хотел лично переговорить с композитором и поднять фужер «За здоровье!». Потом от него стали просить собственного исполнения «Хризантем». Харито не заставил себя долго упрашивать. Он пел хрипловатым голосом, – вид-

но, действительно был простужен, закрыв глаза, делая продолжительные, не присущие этому романсу паузы. Но его пение нравилось, оно шло из сердца. По окончании он нарочито устало опустил руки и отрешенно склонил голову над роялем, так, что длинные волосы упали на клавиши. Публика бурно зааплодировала.

Гардинский встал и подошел к роялю, за которым сидел Харито. Он что-то прошептал маэстро на ухо. Харито удивленно, но доброжелательно поднял вверх брови и закивал в знак согласия. Гардинский громко обратился к присутствующим:

– Милостивые господа! Прошу внимания! Мой ученик, многие его знают, – господин Артемов или, как пишут иногда в афишах – Арк. Арт, – подготовил специально для нашего вечера свой новый романс, – Гардинский, конечно, преувеличил, что романс подготовлен именно к этой встрече, и что он у него не первый. – Николай Харито благосклонно согласился его прослушать. А исполнит его тоже известная вам мадемуазель Костецкая, – он не назвал ее своей дочерью или по девичьей фамилии, но подчеркнул слово «мадемуазель». – Прошу вас, молодые талантливые люди! – высокопарно закончил Гардинский.

Аркадий видел, как порывисто вскочила Таня со своего места и торопливо взбежала на эстраду. Он пошел следом за ней. Харито встал из-за рояля и несколько снисходительно, склонив голову перед Таней, небрежно поцеловал ее руку,

отчего она вся зарделась, а родинки на лице утонули в девичьем смущении. Потом Харито свысока кивнул Аркадию. Они вместе с Гардинским церемонно сошли с эстрады и заняли свои места. Гости за столом и сидящие вдоль стен постепенно замолкали.

Аркадий все-таки волновался, он сначала несколько раз крепко сжал пальцы в кулак, потом помял их в ладонях, сел и раскрыл ноты. Он мог исполнить романс без нот, но считал, что для солидности их стоит иметь под рукой. Таня встала рядом, опустив руки вниз, переплела пальцы между собой, – видимо, для того, чтобы не была заметна их дрожь. И только сейчас Аркадий понял, почему Таня одела белое платье – оно более всего подходило к теме романса. Музыка и исполнители должны сливаться во всем. Повернув к нему свое пунцовое лицо, она кивнула Аркадию, как профессиональный исполнитель.

Он тронул клавиши рояля, и потекли первые аккорды мелодии. У Тани был небольшой, но чистый, будто оранжевый, голос. Хорошая музыкальная подготовка позволяла ей, несмотря на волнение, скрашивать недостатки в исполнении. Она смотрела в зал и видела, как Харито напрягся и со всем вниманием стал вслушиваться в музыку, а глаза впелись в исполнительницу. Она отвела от него взгляд и, выбрав одну точку – отца и мать, смотрела на них. Она видела, как папа, немного приподняв руку, стал аккуратно, чтобы не видели другие, дирижировать ее исполнением. «Он же на-

изусть не знает романса! – удивилась Таня. – Собьет меня!», и она перевела взгляд на мать, которая, волнуясь за дочь, немного покраснела. Исполняя третий куплет, снова взглянула на Харито. Он продолжал внимательно слушать ее, и на его лице не было снисходительности, как раньше. «Он на меня смотрит или слушает? – мелькало в голове Татьяны. – Если скажет, что романс Аркадия ему понравился, а мне, что я прекрасно исполнила, я буду его. Если нет – сразу же убегу отсюда. А если солжет? Я пойму, все пойму!» Аркадий взял заключительные аккорды. Публика, несколько опешившая от неожиданного романса, молчала. Харито быстро встал и громко захлопал в ладоши. За ним захлопали другие.

Таня раскланялась, Аркадий, стоя, склонил голову. Харито подскочил к сцене и, взяв за руку уходящую Таню, остановил ее и уже с чувством не композитора, а мужчины, поцеловал ей руку. Прерывающимся от волнения голосом сказал:

– Это просто великолепно. Изумительно, мадемуазель... Костецкая!

Таня смущенно произнесла:

– А как сам романс? Вот и автор.

Харито взглянул на Аркадия:

– Прекрасно. Но это чистая романтическая классика, не современность.

«Не лжет, – подумала Таня. – Что делать? Я – его?!»

– Просто великолепно! – продолжал Харито. – У вас большое будущее впереди, мой юный композитор. Дерзайте да-

лее.

Но больше он не смотрел на Аркадия, а все внимание направил на Таню. Они подошли к столику, и Харито крикнул лакею:

– Чистый бокал! – и снова поднес руку Тани к своим губам. – Давно не слышал такого романса. Сейчас все пишут приземленно, а это – возвышенно.

«Не лжет, – снова подумала Таня. – Раз говорит не об исполнении, а о романсе. Сегодня я буду с ним».

Гардинский удовлетворенно произнес:

– Николай Иванович, мон ше, это мой ученик.

– Вы всегда воспитываете таланты, мой учитель! – любезно ответил Харито. – А где же ваш ученик?

Аркадий был глубоко уязвлен, что на него обращали мало внимания и, когда услышал от Харито: «Идите к нам!», неторопливо подошел. Лакей наливал в бокалы шампанского, и Харито подал один Тане, другой – Аркадию.

– За прекрасную музыку, за юные таланты! – напыщенно провозгласил тост Харито, – он был уже пьян. – Пока в России есть такие дарования, наша музыка не оскудеет, – он взглянул на Гардинского. – А также такие талантливые учителя, как Антон Гаврилович. – Гардинский довольно улыбался. – За всех нас. И особо – за очаровательную исполнительницу! – он поклонился Тане и снова, в который раз, поцеловал руку.

Все выпили, и Харито, не обращая внимания на участни-

ков вечера, увлек Таню в угол залы. Аркадий, проводив их глазами, хотел уйти на свое место, но Ксения Черкас неожиданно обратилась к нему:

– Маэстро, – она обратилась к нему, как к известному музыканту, – вы не подарите мне свой романс? Я стану его первой профессиональной исполнительницей. Если вы пожелаете... – кокетливо добавила она.

Аркадий взглянул на ее накрашенное лицо и с удивлением обнаружил, что певица гораздо старше, чем казалась издали.

– Да, да! Подарю.

– Тогда пришлите мне ноты и партитуру... а может, вечером придете к нам в гости, в гостиницу...

Аркадий торопливо ответил:

– Мне вечером некогда, я занят в синематографе... вот, возьмите.

И он протянул ей папку с единственным экземпляром нот и, не попрощавшись, отошел в сторону. Он видел, как недалеко от эстрады, возле декоративной бочки с травяной пальмой, сидели Харито и Таня. Он держал ее руку в своих ладонях. Она, смущенно потупив глаза, слушала его. Но Аркадий видел, что она его не слышит, она уже мечтает о будущем. Он вышел из залы, взял одежду, по заснеженной улице пошел в синематограф, где ему предстояло иллюстрировать два последних сеанса фильма, которого он, к сожалению, сегодня не успел просмотреть, даже названия не знал. Но это его не беспокоило. Вдохновение приходило к нему с первы-

ми кадрами, а пальцы сами извлекали из старенького пианино нужные мелодии.

Сидя под пальмой с Харито, Таня действительно невнимательно слушала его рассказ о жизни в Крыму, о ссылке на север и думала: «Вот со мной он... тот, по кому сходят с ума женщины. А я кто же? Тоже женщина», – и спросила его:

– Скажите, что вас навело на написание романа «Отцвели уж давно хризантемы в саду»?

– О, это удивительная и неожиданная история. Никогда не писал до этого музыки. Слушаю оперу в Киеве, вдруг мне приносят открытку, а в ней написано приблизительно так: «Вы – самый красивый и интересный в этой толпе». Кто написал – до сих пор не знаю. Меня так взволновали эти слова, что я не смог спать несколько ночей. Все представлял – кто эта незнакомка, и за эти бессонные ночи написал «Хризантемы». Я и сейчас не могу представить ее образ, но кажется, что вы являетесь той незнакомкой – белоснежной, и как мечта – недостижимой. Я часто всматриваюсь в лица барышень, но еще не нашел свой хризантемный образ. Увы...

Харито наигранно-глубоко вздохнул. Они помолчали, и Харито предложил:

– Татьяна! Не желаете ли посетить сейчас театр? Там в главной роли Недашковская, она приехала с нами в поезде. Должно быть, изумительное зрелище. А потом мы пригласим ее в ресторан.

У Тани душа вспыхнула от этого, довольно бесцеремон-

ного предложения, но, подавив в себе радостно-призывное чувство, ответила как-то по-деревянному:

– Я согласна быть с вами сегодня в театре.

– Тогда едем! – порывисто вскочил Харито.

Южная кровь играла в нем в предчувствии чего-то нового и необыкновенного.

Таня подошла к матери и что-то шепнула ей, та в ответ в знак согласия кивнула, прошептав дочери несколько слов. Харито, не попрощавшись с присутствующими, ушел вместе с Таней. Фон Дитмар видел уход Харито и Тани, и обратился к Гардинскому:

– Уважаемый Антон Гаврилович, видите, как ведет себя новоиспеченная интеллигенция, выросшая с низов, популярная сегодня... даже не сказал спасибо за расположение к нему, за стол...

– Не судите его строго, – благодушно ответил Гардинский, все еще довольный тем, что он приобщен к успеху романа своего ученика, – творческие натуры не приемлют узких рамок этикета, им требуется простор. Вот, когда я писал свою...

Но он не закончил свою фразу потому, что фон Дитмар ядовито произнес:

– Но композитор взял на простор и вашу дочь.

Гардинский растерянно взглянул на жену, – ухода дочери он не заметил. Ася Михайловна мгновенно отреагировала на его обиду:

– Таня попросила у меня разрешения посетить сегодня театр. Девочке полезно сменить обстановку и отвлечься от прошлого.

– А почему вы мне этого сразу не сказали?

Но жена не ответила, и он, растерянно моргнув глазами, обиженно отвернулся от нее. Он очень любил свою дочь и ему хотелось быть в курсе ее дел.

Таня вернулась домой только утром, чтобы к вечеру вновь ехать на концерт Харито. Но через три дня гастроли музыканта закончились, и она пришла, через день после этого, в комнату Аркадия. Тот лежал на диванчике.

– Здравствуйте, Аркадий, – обыденно и устало приветствовала его Таня. – Вы снова не приходите к нам. Почему?

Аркадий встал и предложил ей стул. Таня села. Он молча смотрел на нее. Но в его глазах не было укоризны, он просто не умел с определенным значением смотреть на других. Было заметно, что Таня смущена.

– Не было времени. Вечерами я занят. Надо зарабатывать деньги. А честно... просто не хочется.

– Вы на меня обижаетесь. Вижу, обижаетесь. Не обижайтесь?

– Нет. Вы в этом ошибаетесь. Я думаю.

– Сочиняете?

– Нет.

– Почему?

– Нет настроения.

Таня коснулась рукой его плеча.

– Оно у вас появится. Я уверена. Вы молоды... и хандра скоро пройдет, – потупив глаза, она говорила как и раньше – «вы». – Я говорила с Николаем Ивановичем Харито и Ксенией Черкас. Ваш романс будет напечатан в нотном издательстве Идзиковского в Киеве. А это уже огромный успех. Его будут исполнять лучшие певцы. Вы станете популярным. Я в это верю... а меня вы простите.

– Я вас ни в чем не виню, Татьяна Антоновна. Поэтому у вас нет повода извиняться передо мной.

– Ты меня, Аркадий, пойми... – перешла она на «ты». – Я не знаю, что мне делать. То ли в речку, то ли застрелиться. Кругом хаос, неопределенность, одиночество... что делать? Аркадий, пойми, я как птичка, попавшая в силочку. Вы не ловили птиц? Нет... а мы в детстве, в имении дяди, занимались этим. Поймаешь одну птичку, привяжешь веревочку к ее ножке, посадишь на землю, а сверху сеть. Сами отойдем подальше и дергаем веревочку, птичка кричит, к ней летят другие, а мы опускаем сеть и ловим их. Но вот что интересно... эта птичка на веревочке больше двух дней не выдерживала. Умирала. А я представь – уже три года, как та птичка. Дергаюсь, во сне кричу, тоскую, а выхода не найду. Для меня недавнее событие, эти встречи – словно окошечко в глухой закрытой клетке. Не вини меня в этом. Я понимаю твои чувства, они для меня не секрет. Но в них больше жалости, чем понимания. А жалость страшнее, чем обида. И ты для меня,

честно скажу, тоже отдушина в этой злой жизни. Я не могу сказать, что я к тебе испытываю такие же чувства, как ты ко мне. Но ты чистый, талантливый, стремящийся к высокому мальчик, и мне приятно быть тобой, вести разговоры, делиться заботами. Я же так, как с тобой, с родителями не говорю. Пойми меня правильно... я ведь старше тебя. Я боюсь любить военного, – после встреч со мной их ждет смерть; остаются мне гражданские... но они так серы и безлики, что их и видеть не хочется. И вот появилась яркая личность в нашем городе – и потянулась я к нему. Прости меня за это и не считай, что я тебя предала или сделала тебе что-то плохое. Я уверена, что после встречи со мной гражданские не погибнут, как военные на фронте.

Но ошибалась Татьяна. Через год, в Тихорецке, Николай Харито будет застрелен офицером. Ревность сыграла роковую роль.

Аркадий почувствовал, как во время исповеди Тани слезы наворачиваются на его глаза. По натуре чувствительный, он не позволял себе проявлять слабость на людях. Отвернувшись от Тани, старался вдавить слезы обратно в глаза. Потом повернулся к ней и впервые за все время их знакомства сам взял ее за руку.

– Татьяна Антоновна... Таня! Я люблю вас, вы знаете. Я люблю ваше горе и разделяю его. Но я понимаю, что мы далеки с вами по положению и происхождению. Пусть это будет так. Только не запрещайте мне любить вас.

Таня положила ладони рук на его голову и мягко поцеловала его в губы.

– Ты милый и такой искренний. Многим этого не хватает. Не обвиняй меня в происхождении. Революция отменила все звания и ранги. Смотри на меня, как на человека... и я, может быть, полюблю тебя. Вот закончится вся эта революция, война, наступит счастливая жизнь. Конечно, не прежняя. Мы не будем такими, как были... но так хочется быть счастливой и радостной!

– Да, уже не будет прежней жизни. Со вчерашнего дня в Харькове Советская власть. Знаете? А это значит, война будет продолжаться.

– Откуда у тебя такие упаднические мысли?

– От музыки... как сяду за инструмент, начну что-то подбирать, представлять будущее... а оно получается мрачным и ветреным.

– А ветреным почему?

– Не знаю. Чувство такое.

– Я все-таки верю, что все будет хорошо. Должна же когда-то закончиться эта проклятая волна! Не могут же люди жить так вечно. Неужели они так глупы и не жаждут нормальной, радостной жизни, а хотят только переживания и слез?! Я верю, что найдутся мудрые люди и прекратят войну и все безобразия. Должна быть такая уверенность, правда?.. Приходи к нам вечером, Аркадий. Папа и мама будут рады. Особенно отец – он до сих пор в восторге от нас с того ве-

вчера. Придете?

– Да.

– Аркадий, мы ж договорились на «ты»... и сама я не соблюдаю условия, а вы не можете перешагнуть через этот барьер. Давайте будем на «ты» везде и всегда. Договорились? Я не прощаюсь. Не злитесь на меня, мой юный рыцарь.

Таня вышла и через комнату Арины прошла к себе. Аркадий был взволнован этим разговором. Он сел за фортепиано и стал играть. Сначала лились нежные, акварельные звуки. Он вошел в другой мир – голубой, с цветами, освещенный розовым светом... казалось, этому неземному миру не будет конца. Но пальцы непроизвольно стали брать минорные аккорды, и в пастельном мире появились тучки. Они росли, становились все чернее и гуще, из них сверкнули молнии, сначала как искорки, потом как стрелы, достигающие земли, с громовым грохотом сжигающие цветы и уничтожающие последние остатки розовой голубизны.

Сергей Артемов за два дня нахождения в Харькове был полностью измотан. Заседания большевиков – протокольные и непротокольные – шли непрерывно, с утра до глубокой ночи. Спать приходилось урывками. А вчера ему пришлось заниматься разоружением солдат и офицеров рады Слободской Украины, поддерживающих киевскую раду. Сегодня начал работу первый Всеукраинский съезд советов. По его подготовке пришлось помотаться. Приехавших из Киева, с того сорванного Центральной радой съезда, было около восьмидесяти человек. Этого было явно недостаточно для проведения нового всеукраинского съезда. В это время в Харькове проводил свою работу съезд советов Донецко-Криворожского бассейна, а также земельных комитетов Украины. После трудных переговоров было принято решение об объединении делегатов харьковских съездов с прибывшими делегатами из Киева. Большевик Артем предлагал создание отдельной Донецко-Криворожской губернии из трех восточных губерний. Основанием для этого он считал тот факт, что эти территории всегда были российскими, отвоевывались и заселялись россиянами, и украинцы селились здесь по разрешению царя. Кроме того, тяжелая промышленность Донбасса самым тесным образом связана с Россией более, чем с Правобережными губерниями Украины. Его рассуждения

не были лишены логики. Действительно, без связей с Россией экономика этого крупного промышленного региона рухнет. А это означало безработицу и неисчислимы бедствия населению Донбасса. Но предложения Артема натолкнулись на не менее весомые аргументы. Территориальное проживание украинцев захватывало Донбасс и даже приграничные великорусские губернии. И делить Украину – значит резать живьем по сердцам людей. Но большевики единогласно приходили к выводу, что оставлять Украину националистам Центральной рады нельзя. Ее на востоке и юге, и в большинстве других губерний, местные советы не признавали за правительство. Оставлять это искусственное, никогда никем не избираемое, самозванное политическое образование никто не хотел. Абсолютно большая часть делегатов поддерживала установление советской власти на Украине. Это радовало Сергея, и хотелось действовать с удвоенной силой. Так прошел первый день съезда, не принявший никаких документов.

Сергею очень хотелось увидеть брата Аркадия, но времени не было. И сегодня он пришел в гостиницу поздно. Они проживали в комнате с Бардом. Сейчас там находилась и Эльвира Фишзон.

– Чем занимались сегодня? – устало спросил Сергей. – Что у нас сегодня на ужин?

Делегатов кормили в рабочей столовой, но двухразового питания – завтрак и обед, было явно недостаточно для орга-

низма.

– Мы купили колбасы и отварили картошки, – ответила Эльвира.

– Это – сила! – Сергей полез в свой вещмешок, вытащил кусок сала, – как непременный атрибут питания последнего времени, – и банку рыбных консервов. – Ну, давайте быстрее все на стол!

Эльвира развернула одеяло, в котором была замотана кастрюля с картошкой, – чтобы не остыла, и поставила на стол. Сергей схватил горячую картофелину, подбросил в руке и потянул ее в рот.

– Горячо! – выдохнул он наполненным картофелем ртом.

– Ну, как там? – спросил Бард. – Завтра окончательно установим Советскую власть?

– Где?

– Где-где! – передразнил Сергея Бард. – Ты ж там ближе кверху, больше знаешь. На Украине.

– У нас нет верха, – веско ответил Сергей. – Все равны. Только один берет на себя больше ответственности, другой меньше. Завтра уже официально создадим Советскую Украину.

Он радостно хлопнул Барда по плечу. Эльвира вмешалась в разговор:

– Ты не прав, Сергей. Мы пока не равны, – сам видишь: один ездит в автомобиле, другой охраняет.

– Эля, не придирайся к словам. Это – пока не разбили

буржуев. Потом будет настоящее равенство. Понятно?

Ему даже нравилось поучать своих товарищей. В их кругу он чувствовал себя старше и умнее.

– Ты написал стихотворение? – спросил Сергей Дмитри-
рия. – Почитай?

Бард замялся:

– Да, написал. Но не про революцию, а про любовь...

– Э-э! – шутливо пожурил его Сергей. – Надо про рево-
люцию. Сейчас это больше требуется людям. А то видишь,
Эля, он за любовь принялся.

Эльвира немного покраснела.

– Пусть пишет, что у него на уме и на сердце.

– Ну хорошо... прочти?

Но Бард, обычно безотказный, когда дело касалось его
стихов, вдруг заупрямился:

– Оно у меня не слишком хорошее, надо его еще шлифо-
вать. Не буду читать.

– А все-таки – почему? Нам любое стихотворение пойдет.

– Понимаете, – краснел Бард, – я ведь недавно стал по-
этом. Во время революции я привык писать о том, что вижу.
О революции, о труде, о народе. А вот про любовь пробую
первый раз, и не все получается. Поэтому не буду пока чи-
тать... ладно?

– Ладно.

Сергей посмотрел в кастрюлю – картошки оставалось ма-
ло. Дмитрий и Эльвира явно не поспевали за ним в еде.

Поэтому, дожевав последнюю картофелину, он принялся за чай.

– Ешь! – сказала ему Эльвира, но Сергей отрицательно махнул головой.

– Фу, наелся, – он похлопал себя по животу, показывая, что сыт, хотя на самом деле съел бы еще. Картошка незаметно растворилась в желудке, а колбасы попробовал совсем немного. Он скинул сапоги, потянулся и лег, не раздеваясь, поверх одеяла на койку, сказав:

– Я немного полежу, а вы доедайте.

– Я сейчас уйду, – заторопилась Эльвира.

– Не надо. Будь здесь.

Он взял газету, начал читать, и незаметно для себя быстро заснул. Бард тихо сказал Эльвире:

– Спит. Забегался вконец.

Он встал, осторожно вытянул из-под Сергея одеяло и накрыл его.

– Вот же человек, настоящий революционер. Молодой, а сколько уже прошел. Старые не идут к нам, все большевики молодые. Пойдем, не будем ему мешать спать.

Сложив аккуратно на столе посуду, они вышли.

Сергей проснулся рано. Было темно и вставать не хотелось. Он слышал, что Бард спал, негромко похрапывая. Сергей подумал, вспомнив о новом его стихотворении: «Влюбился хлопец. Лишь бы получилось у них с Эльвирой». Помывшись, он привел в порядок гимнастерку, шинель, почи-

стил сапоги, проверил револьвер. После революции он не сделал из него ни одного выстрела. Потом вышел, тихо прикрыв за собой дверь.

В здании, где проходил съезд, большевики были на ногах. Сергей увидел Бош, Артема и других партийных деятелей. Бош, увидев его, сразу же дала ему задание:

– Сходи, товарищ Артемов, в телеграфную и возьми телеграммы, поступившие за ночь.

Сергей пошел в телеграфную и взял у солдата-телеграфиста, который заменял сейчас гражданский персонал, телеграммы, и прошел в комнату заседаний. Там было накурено и грязно. Руководители большевиков выглядели усталыми, и красные, воспаленные от бессонных ночей глаза, выдавали крайнее напряжение. Бош и Артем стали читать телеграммы, к ним присоединился Ауссем. Артем раскладывал телеграммы по отдельным стопочкам. Закончив, он сказал:

– Вот, видите это? – он показал на одну из стопок. – Сообщения о том, что украинские полки переходят на сторону большевиков.

– Какие части? – сухо осведомилась Бош.

Артем стал смотреть телеграммы.

– Из Полтавы, Купянска, Изюма, Екатеринослава... а вот из Василькова. Это рядом с Киевом. Вот что они пишут: «Готовы следовать по первому указанию тем распоряжениям, которые будут исходить от той рады, которая признает власть советов и действует с ними заодно». Короче говоря, Киев-

ская рада остается без военной поддержки. Это естественный финал той комедии, которую она ломала последнее время.

– Нет, Артем, ты не прав, – вмешался Ауссем. – В Киеве у нее есть галицийские сичевики. Они никогда не поддержат советскую власть. Но их немного. Поэтому надо сегодня первым вопросом объявить о провозглашении советской власти на Украине. Объявить о лишении Центральной рады всех прав по руководству Украиной, которые она себе незаконно присвоила.

– Да, надо сделать так, – согласилась Бош. – И пора начинать наступление на Киев.

– Это правильно, – поддержал ее Артем. – Солдаты и матросы направляются сюда, чтобы покончить с Калединым, и заодно надо кончать и с радой. Сегодня, конституционно, общим голосованием утверждаем советскую власть.

Ауссем осторожно осведомился:

– А харьковские товарищи нас поддержат? У них свои мысли насчет создания Донецко-Криворожской республики, а потом вступления ее в состав России. Этот вопрос надо с ними утрясти.

Но здесь возмутилась Бош:

– Вы, товарищ Ауссем, как и харьковские товарищи, узко понимаете украинский вопрос. По-вашему выходит, что мы должны оставить своих товарищей-рабочих Киева, Винницы, Житомира и других городов в руках националистиче-

ской рады, и пусть они эксплуатируют их снова, как прежде. А где ж наша идея мировой революции? Забыли о ней? Мы должны заботиться о всех пролетариях. Это нам завещал Маркс. Мы должны об этом помнить.

Ауссем смешался:

– Я имел в виду Таврическую губернию и вообще все Причерноморье.

– Там, – назидательно ответила Бош, – будет создана Новороссийская Республика, которая тоже войдет в состав России. Одесские товарищи уже работают в этом направлении.

На минуту все замолкли и Бош, зная Сергея, обратилась к нему:

– Товарищ Артемов, как дела у вас в Луганске? Как рабочий класс и крестьяне насчет советской власти и создания новой республики?

– У нас, Евгения Богдановна, настроения за советскую власть. А в Луганске она уже давно установлена. Все пролетарии за нее, особенно заводчане. Шахтеры не против, но недовольны снабжением и питанием. А крестьянам, кажется, все равно. Они довольны тем, что мы дали им землю...

Бош перебила его:

– Крестьян, конечно, придется еще воспитывать. Но надо воспользоваться одним моментом. Центральная рада просит крестьян пока не делить землю, обещает издать закон о переходе земли организованно в их руки. Надо противопоставить им нашу аграрную политику. Давайте подготовим ли-

стовки с текстом декрета о земле и разъяснения к нему. Крестьяне и так делят землю, надо подхлестнуть этот процесс.

Все утвердительно закивали. Вопрос был решен. Телеграфист принес еще телеграммы. Одна из них привлекла внимание Артема.

– Вот, дождались. Центральная рада направила свою делегацию в Брест на переговоры с Германией. Там же российская мирная делегация, теперь они помешают ведению переговоров.

– Может, немцы не признают их полномочий? – осторожно предположил Ауссем.

– Нет, признают, – жестко, по-мужски ответила Бош. – И признают на таких же условиях, что и нашу делегацию потому, что это против России. Снова деятели Украины торгуют народом, говоря о защите «милрой баткывщины». Продадут Украину, продадут! – жестко, но одновременно и сокрушенно закончила Бош.

– Не, должны! – сказал Ауссем. – Все-таки мы вместе воевали против немцев, вроде союзники сейчас.

– Плохо вы знаете украинскых деятелей! – снова начала Бош. – Я родилась здесь, жила, вела подпольную работу и знаю не понаслышке, а наяву украинскую верхушку. Страдая о своей родине, они в то же время готовы продать ее любому... кроме России. Они видят, что Россия поглощает Украину. Это объективный процесс, и украинский народ это понимает. По-научному это называется ассимиляция народов,

что происходило во все века, а сейчас этот процесс, – в эпоху империализма, – ускорился. А вот этого националистическая верхушка никак не поймет. Поэтому она совершит любую подлость против своего народа. Сейчас Галиция хочет завоевать Украину. Поверьте, я редко в этом вопросе ошибаюсь. Они попросят несколько полков у Германии, чтобы бороться с нами. Мы им страшнее, чем нынешние враги. Но кто даст своему врагу меч, от этого меча и погибнет, – перифразировала она известное изречение. – Украинские политики никогда не могли реально мыслить. Их мечты, желания, даже действия расходились с повседневной жизнью, – жестко закончила Бош.

Ауссем молчал, у него, видимо, не было желания спорить с Бош дальше. Артем читал телеграммы и, оторвавшись от них, сказал:

– Надо сегодня же на съезде создать свое правительство и немедленно послать свою делегацию в Брест.

– Надо-то надо, Артем... – ответила Бош. – Но сегодня мы не успеем сформировать правительство. Нет нужных кандидатур и времени. Это сделаем через несколько дней. А пока давайте обсудим наш политический отчет. На чем надо заострить внимание? Не только политических, но и на социально-экономических проблемах...

Сергей понял, что сейчас ему делать здесь нечего, но он все же решил сказать:

– Товарищ Артем. Вы скажите сегодня всем, что необхо-

димом создать Донбасскую республику. Этим сразу покончим все вопросы с радой. Она нам не нужна. Ее толком и не знают в Донбассе.

Но ответила Бош, которую Сергей недолюбливал. Она подавляла собеседников не только своим решительным видом, но и бескомпромиссными доводами, где не было других вариантов, кроме ее. Артем был ближе ему, как революционер, умеющих прислушиваться к мнению других и не дававший резких обвинений и оценок в адрес другого, – в отличие от Бош.

– Товарищ Артемов. Я только сейчас говорила всем вам о мировой революции, а вы снова за свое. Запомните: сегодня – вопрос о создании Донецко-Криворожской республики стоять не будет. Понятно тебе?

Сергей неприязненно посмотрел на нее. Но Артем возразил Бош:

– Я об этом буду говорить. Если рада, как вы предсказываете, заключит односторонний мир, то нам ничего не останется делать, как провозгласить Донецко-Криворожскую республику. Обострять вопрос на сегодняшнем заседании не будем, но отдельную резолюцию принять требуется.

– Хорошо, – согласилась Бош. – Действительно, на всякий случай и для будущего такая резолюция нужна.

Они углубились в составление резолюции. Сергей вышел. Пора было идти в рабочую столовую завтракать. «Не успею и сегодня увидеть Аркадия», – подумал он, понимая, что се-

годня заседать будут до глубокой ночи.

Второй день съезда открылся выступлением Артема, который подчеркнул, что власть советов – свершившийся факт. Он обосновал необходимость усиления классовой борьбы, в связи с тем, что гражданской войны избежать не удастся, и что это война – часть международной борьбы обездоленных рабочих и крестьян против мировой буржуазии.

В зале, в отличие от съезда в Киеве, не было видно холеных лиц в праздничных сюртуках, пышных казацких усов, характерных для западных районов. Это была сермяжная масса, одетая в шинели, полушубки, фуфайки, и только руководители большевиков были одеты в поношенные, неопределенного цвета костюмы. Их лица выражали решительность в проведении своей линии. Настойчиво и упорно они бросали в толпу непонятные слова и выражения: «мировая революция», «международный империализм», «экспроприация», «диктатура пролетариата». Зал напряженно слушал, впитывая в себя все новое и приемлемое ему. Когда Артем сказал о неизбежности гражданской войны, толпа недовольно заворчала, серые шинели не хотели больше воевать, жаждали мира и спокойной жизни. Но, когда было сказано, что земля отдается крестьянам без выкупа, зал удовлетворенно заурчал, как кошка, проглотившая мышь, и успокоено приготавливаясь к ее перевариванию. Также зал одобрительно откликнулся на то, что власть переходит в руки советов, то

есть к ним самим. Когда было предложено избрать правительство Советской Украины, – а дело шло к вечеру, – мало кто прислушивался к предлагаемым фамилиям и не думал, что над их самостоятельной жизнью будет еще какой-то соглядатай, распорядитель их жизни. Все делегаты чувствовали сейчас свою значимость – они решали судьбы государства, его народа, и будущее представлялось им важнее реальности настоящего. А сегодня они получили то, что им нужно – землю, фабрики, заводы и правительство. Поэтому голосование шло практически единогласно. Также восторженно приняли резолюцию о возможности создания Донецко-Криворожской республики, в результате изменения международной обстановки. Рабочие встретили эту резолюцию одобрительными возгласами, так как многие приехали в Донбасс из России, и подчинение Киеву им не нравилось. Крестьяне механически проголосовали за это, не понимая сути вопроса, и мечтая быстрее вернуться домой и начать делить землю не только помещиков, но и куркулей. А потом, стоя, недружно, но громко толпа запела «Интернационал». Большевики пели гимн с серьезными, каменными лицами, старательно выводя мелодию, каждое слово, и громко. Кто из участников съезда не знал слов, глоткой вырывал нужное мычание. Некоторые молчали.

Съезд закончил работу. Советская власть на Украине была провозглашена.

После закрытия съезда Сергей, возбужденный, как и мно-

гие делегаты, прошел в комнату, где заседали руководители большевиков. Он был вхож к ним, но его обычно не допускали к обсуждению политических вопросов, да и сам чувствовал недостаток своих знаний и опыта. У него больше спрашивали подтверждения своих мыслей руководители большевиков, – как у человека, вышедшего из низов и знающего нужды простого народа. А еще больше использовали для поручений – что-то быстро сделать, куда-то сбегать. Он привык к такому положению и считал его в порядке вещей. Кто-то, как на фронте, должен командовать, кто-то должен исполнять.

В зале заседаний издерганные, усталые руководители съезда продолжали вести споры. Большевики жестко проводили свою линию. Меньшевики, эсеры, представители других партий, пытались доказать свое, внести в документы, которые уже были приняты съездом, хоть маленькую поправку. Но их попытки уверенно парировались большевиками, среди которых своей несгибаемостью выделялась Евгения Бош. С ней практически невозможно было спорить и поэтому разговоры велись с Артемом, Ауссемом и другими большевиками, которые были способны выслушать точку зрения другого.

– Мы создаем Народный секретариат, – говорила Бош. – И включим в него не только большевиков, но и эсеров. Мы не узурпируем власть, как некоторые говорят, а исходим из реальностей нынешней обстановки. Сейчас необходимо чет-

кое знание будущей перспективы, а ее знают только большевики во главе с Лениным. Как только другие партии поймут это, их представители получат руководящие посты.

– Значит, всем становится большевиками? – съехидничал кто-то.

– Необязательно, – отрезала Бош. – Но основные наши идеи должны разделяться другими партиями. Мы должны достигнуть не только единства цели, но и единства мыслей. Эти мысли мы должны внушить массам, а от них снова зарядиться новыми идеями. Эти идеи должны двигаться по кольцевой спирали – мы их даем народу, он их переваривает и снова выдает нам, мы их дополняем, обрабатываем и снова даем народу, – и так это будет вечный и бесконечный процесс, позволяющий заряжать руководство и народ. Вот тогда мы будем непобедимы, и именно тогда восторжествует мировая революция. Вы же пока не полностью разделяете наши идеи, и поэтому ваши претензии к нам неубедительны. Вы согласны?

Бош удовлетворенно смотрела на оппонентов. От напряженной работы, недосыпания ее одутловатое лицо приобрело серый оттенок, но воспаленные и из-за этого маленькие, с припухшими веками глаза смотрели прямо и уверенно.

– Артем, – обратился Шахрай. – Ты посмотри, каков состав нового правительства? Здесь нет ни одного украинца.

– А ты что, не украинец? – ответил Артем.

– Да, но я единственный, а остальные? Бош, Ауссем, Люк-

сембург, Лугановский? Что это? – недоуменно спрашивал как бы самого себя Шахрай.

– Пойми, Василий, – ответил Артем, – все эти люди родились и жили на Украине. Донбасс – это смесь народов. И давай пока согласимся с этим составом правительства. Он боевой, но временный. Вот укрепим свою власть, – изберем других, всенародным голосованием. Хорошо? Ты посмотри состав российского правительства – много ли там русских? – но работают.

– Все-таки непонятно. Это у нас такое слабое место. Рада использует такое положение с составом правительства и раструбит, что Россия хочет захватить Украину.

– А ей осталось жить считанные дни, – весело ответил Артем.

– Да! – подхватила неожиданно присоединившаяся к их разговору Бош. – Теперь в повестку дня поставлен вопрос о войне с радой. Повод для войны она дала – запретила торговать хлебом с северными губерниями. А в Петрограде и Москве сейчас страшный голод. Рассказывают приезжающие товарищи, что выдают паек по четверти фунта хлеба в день, и то не всегда. Она хочет голодом победить большевиков, но мы все выдержим и выкорчуем ее. В ближайшее время начнем создавать отряды Красной гвардии. Совет народных комиссаров обещал поддержку оружием. А ты, товарищ Шахрай, как секретарь по военным делам собирай команду и готовься отправиться в Брест на переговоры с немцами. На-

до нейтрализовать киевскую делегацию и провести там свою линию.

Шахрая, видимо, это предложение устраивало, и он спросил:

– А когда отъезжать, Евгения Богдановна?

– Скоро. Только проконсультируемся с Лениным, получим инструкции – и сразу поедете.

Сергей подошел к Артему:

– Никаких поручений не будет?

– А, Артемов, вроде нет поручений. Ты все еще мечтаешь о Донбасской республике?

– Поддерживаю. Я служил на Юго-Западном фронте, был в Галиции. Мы ж совершенно разные части Украины. Так что Донбасской республике рабочих и крестьян – быть! – он улыбнулся.

Артем усмехнулся и одобрительно хлопнул Сергея по плечу:

– На сегодня не будет поручений. Иди, отдыхай.

Было поздно, когда Сергей пришел в гостиницу. В комнате сидели, возбужденные от событий сегодняшнего дня, Эльвира и Бард.

– Ура! – закричал Бард, увидев Сергея. – Советская власть установлена! Аж легче дышать стало. Теперь впереди – мировая революция. Ура! Вся власть советам!

– Да, – снисходительно ответил Сергей своим более молодым, чем он, коллегам по партии. – Теперь мы победили. Но

впереди война. Бош об этом сейчас говорила. Будьте готовы к ней.

– Война, так война, – возбужденно продолжал Бард. – Сначала мы к ногтю Центральную раду, а потом всю мировую буржуазию!

– Да. И так будет.

Вмешалась Фишзон.

– Заканчивайте свои радости. Давайте ужинать.

– Давайте, – ответил голодный Сергей.

Стол был накрыт и на нем, на фоне скромных закусок, выделялась бутылка водки.

– Отметим этот радостный день, – сказала Эльвира. Она подняла стакан и произнесла: – За наше дело, о котором мы мечтали, и вот наконец оно сбылось. За наш народ, за мировую революцию!

О мировой революции постоянно твердили руководители большевиков и заразили этой идеей рядовых большевиков. Бард и Эльвира под влиянием всего выслушанного часто стали говорить о мировой революции. Они выпили и Сергей сказал:

– Что вы все о мировой революции, да мировой революции. Давайте пока доделаем свою революцию, а потом уже и за мировую. Как только у нас и вправду народ станет руководить собой, то тогда Германия, а затем и другие страны потянутся за нами. А пока свергнем раду и начнем мирную жизнь, – он вздохнул. – Потом пойду снова работать тока-

рем. Буду учиться много-много, все книги перечитаю, что есть на свете. А особенно – Маркса и Энгельса. Вот тогда стану действительно грамотным и буду знать, как строить новое общество. Сознательно, а не как говорят всякие, и по-разному. Я сам до этого дойду. А ты, Бард?

– Я тоже буду читать все книги, но одновременно и стану писать книги... стихи и другое. Напишу о сегодняшнем дне, о тебе, Сережа, об Эльвире... о том, как жили раньше, как боролись за лучшую жизнь. Обо всем, что было. Только бы быстрее начать новую жизнь.

– А ты, Эля?

– А я хочу быть учительницей и учить не только детей, но и таких как вы взрослых, – смелых, честных, но безграмотных. Это я сужу по вашим словам. Вам всем не хватает образования, – она засмеялась. – Сбылась, наконец, мечта народа. Никто не станет обижать других и мы, евреи, станем полноправными людьми, среди всех равных. Вы не знаете эту боль нашего народа. А еще я хочу иметь детей, как у моей мамы – шесть. Три мальчика и три девочки, для равновесия... не смейтесь... давайте лучше еще выпьем.

Они еще долго мечтали о будущем, пока не выпили бутылку. Потом Бард пошел с Эльвирой, а Сергей лег спать. Перед его глазами мелькали лица виденных им сегодня людей, они что-то говорили, потом их черты стали расплываться, превратились в сплошное серое пятно, и Сергей провалился в глубокий сон.

Только спустя два дня после окончания съезда Сергей смог зайти к Аркадию. Он быстро нашел дом Гардинского и удивился – дом был недалеко от места проведения съезда. Сначала он постучал в парадную дверь, где ему объяснили, что вход в снимаемые комнаты со стороны торца дома. Открывшая ему дверь Арина сурово посмотрела на него, не понимая, зачем солдат заглянул к ним. Но, узнав причину прихода Сергея, она предложила подняться наверх в комнату Аркадия. Постучав в комнату и услышав «Войдите», Сергей открыл дверь. Он увидел Аркадия, лежащего на диване с книгой в руках.

– Здравствуй, брат! – взволнованно произнес Сергей и шагнул к нему ближе.

Аркадий несколько дольше вглядывался в пришедшего и, узнав брата, порывисто вскочил с дивана, раскрыв для объятий руки.

– Сергей! Здравствуй!

Они обнялись, трижды потерлись щеками в поцелуе. Оба были рады встрече. Отступив на шаг, они с любопытством разглядывали друг друга. А и было, что рассматривать, – ведь они не виделись уже более трех лет. Сергей отметил, что младший брат возмужал, стал интереснее и красивее. В последний раз он его помнил подростком. Аркадий увидел,

что старший брат стал коренастее, серьезнее и строже.

– Садись, садись, – не зная, что еще сказать, от волнения повторял Аркадий.

Он пододвинул стул к небольшому столу и, спохватившись, сказал:

– Раздевайся. Сними пальто.

Сергей снял шинель, которую Аркадий называл пальто, тот торопливо схватил ее, повесил на вешалку и сел напротив Сергея.

– Рассказывай, какими судьбами ты попал в Харьков?

– Вот был у вас в Харькове съезд, и мы провозгласили советскую власть. Теперь у нас власть народная.

Он ожидал, что Аркадий обрадуется, разделит его радость по этому поводу, но тот равнодушно произнес:

– Какой съезд? Что в Харькове происходило? Советскую власть давно в Харькове установили.

Сергея это уязвило – неужели его брат не слышал о таком важном событии?

– В Харькове давно, а на Украине недавно. Неужели ты не читал газет, объявлений?

– Нет! – засмеялся Аркадий. – Я смотрю афиши, на которых есть мое имя, на другие – не смотрю. А газеты не хочу читать. Каждый свое пишет, каждый врет по-своему, а жизнь катится сама по себе. Вот видишь афишу на стене? Там написано – музыкальный иллюстратор Арк. Арт. Это я. Приходи, посмотришь кино и меня слушаешь. А что ты делал

на съезде?

– Был делегатом.

Несколько раньше Сергею хотелось рассказать, что он был в Киеве на съезде, что там происходило, но вдруг ему расхотелось это делать.

– А что тебе на афише так имя и фамилию обрезали? Как собачья кличка.

– Нет, это не кличка, а художественный псевдоним. Ими пользуются многие артисты, – пояснил Аркадий. – Так что же произошло на Украине?

– Ты что, не знаешь – революция в стране?

– О революции знаю. Но она уже закончилась, только война продолжается.

– Не закончилась. Сейчас она идет по Украине. Скоро свергнем раду, как когда-то царя, вот тогда и закончим свою революцию и начнем мировую.

– Зачем же мир трогать? Пусть живет сам, как знает и умеет. Туземцам не нужна революция, они счастливы в своем неведении, что рядом есть еще другой мир. Ты меня, брат, извини, я политикой не занимаюсь. Я хочу... – он вспомнил недавний разговор с Таней, – только одного – чтобы быстрее все утряслось, и мы снова стали жить по-прежнему.

Рассуждения Аркадия не нравились Сергею, он просто не ожидая от брата такого равнодушия к происходящим событиям.

– Неужели ты забыл, откуда ты вышел, кто твои родители.

Именно они, низы, хотят революции, чтобы наконец-то жить по-человечески!

– Ты большевик? – спросил Аркадий.

– Да, большевик. А что?

– Ничего. Просто я слышал, что им деньги на революцию дали немцы. Но это вашим верхам, а судя по-твоему костюму, – он кивнул головой на гимнастерку, – тебе ничего не перепало.

И снова слова брата сильно уязвили Сергея.

– Никто большевикам денег не давал! За нашу программу, которая отдает заводы и шахты рабочим, а землю крестьянам, пошел народ. В нем наша сила, а не в деньгах, тем паче – от немцев. Все это вранье, и ты, Аркаша, должен это понимать. У тебя ж рабочая косточка! – укоризненно добавил старший брат.

– Сережа, я не хотел тебя обидеть. Я действительно редко читаю газеты, а больше ноты... и что творится на улице – меня совершенно не интересует. Единственное – жду, чтобы все закончилось быстрее, и пусть вашей победой, но закончилось. Ты, наверное, хочешь есть? Я сейчас организую, а ты посмотри, как я живу, возьми книги. Я бегом.

И прежде, чем Сергей успел что-то ответить, он выскочил в коридор, зашел к Арине. Ей сообщил, что приехал родной брат и попросил ее что-нибудь быстро приготовить, а он через некоторое время придет и заберет еду. Деньги отдаст позже. Но Арина ответила, что принесет все в его комнату

сама.

Когда Аркадий вернулся, то увидел, что Сергей также сидит возле стола и, видимо, не сдвинулся с места.

– Ну вот, скоро принесут поесть. Я так рад, что увидел тебя, Сережа, так рад! – взволнованно произнес Аркадий, забыв, что перед этим с братом был не совсем приятный разговор. – Расскажи мне, где воевал, что делал? Ты ведь был в Луганске, – и, увидев утвердительный наклон головы Сергея, продолжил: – Как там мама, отец, братья? Я так давно их не видел.

Теплое, родственное чувство наполнило душу Сергея, и он кратко, а где подробней стал рассказывать брату о своей жизни в последний год. Единственно, что он пропустил – это отношения с Полиной. Закончив рассказ о своей жизни, Сергей, в свою очередь, спросил Аркадия:

– Ну, а теперь расскажи о себе: как и чем живешь?

Аркадий тоже кратко рассказал, как он живет. Учится в консерватории, но пока временно, занятия отменили, где работает. Но тоже, как и Сергей, не стал говорить о Тане Костецкой. Пришла Арина и на подносе принесла еду. Извинившись, что собрала немного, пояснила:

– А колбаску с сыром взяла у хозяина. Не обеднеет. Хотя им сейчас тоже тяжело жилось. Я сказала Тане о приходе твоего брата, она обещала подойти позже.

Арина расставила на столе тарелки и рюмки и вышла. Аркадий успел крикнуть ей вслед, чтобы и она зашла, как упра-

вится с делами. Аркадий достал из старенького, облезлого буфета начатую бутылку ликера «Жен Перно» и, извинившись перед братом, сказал, что другого у него нет. Разлив ликер в рюмки, Аркадий произнес вместо тоста:

– За встречу. И чтобы встречались мы чаще.

Сергей выпил сладкую, и от того противно пахнущую алкогольем жидкость, и быстро закусил. Аркадий наоборот – медленно, со вкусом, маленькими глотками, задерживая во рту пряный густой аромат, выпил свою рюмку ликера. Потом сразу же налил еще по одной, сказав, что, видимо, рюмка мала, и предложил выпить еще. Сергею на этот раз вкус показался приятнее. А Аркадий, пригубив, отставил в сторону.

– Почему не пьешь? – спросил Сергей.

– Мне сегодня много нельзя. У меня сеанс.

– Какой сеанс? – не понял вначале Сергей.

– Я сегодня вечером играю в кино. Я ж тебе говорил, что мне приходится работать тапером или музыкальным иллюстратором. Омучиваю фильмы. Я тебя приглашаю в синематограф, – послушаешь, как я играю. Пойдешь?

– Угу. А ты можешь мне сыграть что-нибудь прямо сейчас?

– Конечно.

Аркадий подошел к фортепиано, медленно и осторожно открыл крышку, как человек, дорожащей своей вещью, сел на стул и немного призадумался. Что играть? Классическую. Брат может не понять. Народную? Некрасиво, брат их знал

достаточно много. Ресторанную, кафешантанную? И Аркадий взял аккорды, интерпретируя цыганские напевы. Размягченный ликером, Сергей с удовольствием слушал приятную мелодию.

Без стука отворилась дверь, и вошли Арина и Таня. Аркадий, увидев их, бросил играть, встал и склонил голову, приветствуя их таким образом. Сергей на «Здравствуйте» Татьяны, ответил так же, и хотел было протянуть руку, но сдержался, увидев, что этого не делает брат. Аркадий пригласил женщин к столу.

– Знакомьтесь. Мой брат Сергей, старший... я следом за ним родился. А это, – представил он Сергею гостей, – Татьяна Антоновна, дочь хозяина дома и моего учителя. И тетя Арина, ты с ней уже знаком.

– Мы, Аркадий, слышали звуки музыки и решите с няней прийти, – смущенно произнесла Таня. – Ты не будешь возражать, если мы поприсутствуем и послушаем музыку?

– Конечно же нет! – торопливо ответил Аркадий. – У меня еще есть время. У меня почти два часа до начала сеанса. Садитесь к столу.

– А брат не возражает?

– Нет-нет. Мы с Аркашей и так о многом поговорили. А его музыка хорошая.

Таня улыбнулась, услышав такую оценку исполнения. Все уселись за столик, вплотную друг с другом – места было мало, и Аркадий, достав новые рюмки, налил в них ликер. Та-

ня, не скрывая заинтересованности, разглядывала Сергея, и Аркадий почувствовал ревность. Она немного отпила, Арина пригубила для вида, как и Аркадий, а Сергей одним глотком проглотил все и также открыто посмотрел на Таню. Она смущенно отвела глаза: «Зачем я так бесцеремонно на него смотрю? Потому что он солдат!» и спросила:

– А где вы воевали? На каких фронтах?

– Только на Западном и Юго-Западном, – по-военному четко ответил Сергей. – После ранения был в госпитале в Екатеринославле и там же в запасном полку.

– Не с самого начала войны воюете?

– Нет, тогда я был еще несовершеннолетний. Меня таким же в шестнадцатом году и забрали в армию, за нарушение порядка в Луганске.

– Вы, конечно, не бывали в Пруссии, Польше... на Мазурских болотах в начале войны. Вы еще просто молоды, – она так задумчиво и открыто смотрела на него, что Сергею стало не по себе.

– Мне уже двадцать два года. И как я сказал, меня взяли на фронт до призывного возраста, – Сергей повторил это почти с вызовом, задетый замечанием, что он молодой.

– Так вы были ранены... – Таня печально глядела на Сергея, чувствуя, как ее охватывает уважительное отношение к этому солдату. – Расскажите: как там, на фронте? Я знаю, что там страшно, но как погибают люди?

– По-разному. Просто. Смотришь – живой, отвернулся –

а он уже мертвый На войне все просто, – жестко закончил короткий рассказ Сергей.

– Зачем эта война? – тихо произнесла Таня. – Кому она нужна? Куда идет Россия? К чему она придет?

– К революции, – коротко ответил Сергей. – К социализму.

– Революцию я вижу. А социализм – что такое? Кто расскажет или покажет?

– Мы покажем, большевики.

– Так что это?

– Это когда... когда... – Сергей запнулся, – как все проще изложить. – Это, например, так. Аркаша умеет хорошо играть на вот этом пианине, а другому человеку нет времени, он работает за станком в шахте, в поле. Это сейчас. А при социализме все будут грамотные, немного поработают за станком, а остальное время, например, будут учить музыку...

– Ну, что ты! – вмешался Аркадий. – Чтобы хорошо играть, надо тренироваться целыми днями и ночами, – больше, чем за станком или в поле. Если понемногу, то не научишься хорошо играть.

– Я не говорю – чтобы научиться играть, как ты... просто играть.

– А что же делать тем, кто не работает в поле, а просто играет на музыкальном инструменте? – повторила его слова Таня.

– А интеллигенция тоже будет какое-то время работать

физически – убирать улицы, парки, делать мелкие вещи... – вдохновенно начал развивать тему подвыпивший Сергей. Ему было приятно, что его слушают сейчас не его товарищи солдаты, которые могут грубо оборвать, а благородные дамы, к которым он отнес и Арину, но та его остановила.

– Это невозможно! – чуть не безапелляционно заявила старая дева. – Меня сколько музыке ни учи, не научусь. Вот умею готовить, мыть посуду, полы и другое по хозяйству.

– Вы думаете по-старому, вы к этому привыкли! – горячо ответил Сергей. – А как выбросите из своей души раба, то всему научитесь.

– Мой брат большевик, – пояснил Аркадий. – С ним очень трудно спорить.

Он разлил остатки ликера.

– Давайте за то, чтобы у нас все было нормально.

Все взяли рюмки. Потом Таня снова обратилась к Сергею:

– Расскажите, пожалуйста, как там – трудно на фронте?

– Трудно всем, – нехотя ответил Сергей. Ему не хотелось говорить об окопах. – Тяжело и тем, кто живет в тылу. Всем плохо.

– Таня, – сварливо вмешалась в разговор Арина, – перестань вести такие разговоры, не терзай себе душу. Расстроишься, будешь плохо спать, переживать. Давай лучше попросим Аркадия, чтобы сыграл нам что-нибудь ласковое и красивое.

Арина со дня рождения знала Таню и считала ее родным

для себя ребенком. Она остро чувствовала тонкую женскую тоску Татьяны. Поэтому поняла, что необходимо переменить тему разговора.

– Сыграйте, Аркаша?

Аркадий сел за фортепиано, поставил ноты, хрустнул пальцами и положил их на клавиши. Полились меланхоличные звуки этюда Шопена. Потом он отвел глаза от нот и постепенно не Шопен, а какая-то, неизвестно откуда взявшаяся, мелодия заполнила комнату. В ней не было меланхолии, а была мечтательность. Хрупкие звуки, возникнув, неожиданно ломались, и возникали новые хитросплетения звуков, которые плавно плыли по комнате и таяли в ее углах. Таня, подперев ладонью щеку, потупившись, смотрела в стол. Эта музыка посвящалась ей. Она ей говорила – все у тебя еще будет хорошо, снова начнется радующая тебя жизнь. Арина сидела прямо, положив руки на колени, полузакрыв глаза, покачиваясь в такт медленной мелодии, и лицо ее выражало сопричастность к музыкальному процессу. Сергей, слушая музыку, переводил глаза с одного лица на другое, – ему было жаль Таню, такую красивую и обаятельную... но за что жаль – он понять не мог. Ему очень хотелось курить, но он сдерживался в присутствии дам. Аркадий закончил играть и внимательным, не без кокетства взглядом посмотрел на гостей – «Как я играл?». Первой встрепенулась Арина.

– Спасибо, Аркаша. Так благородно... благородно у тебя получается.

Это была ее основная похвала, взятая у своих хозяев и их гостей, которые часто употребляли это слово – «благородно».

– Я тоже тебе благодарна, Аркаша... – сказала Таня. – Ты играл сегодня как никогда. Хоть сразу же на публику с этой пьесой. Наверное, ты перед братом старался. Нас таким исполнением ты редко балуешь... – Она обратилась к Сергею: – Вы простите, что я вас так настойчиво расспрашивала... понимаете... просто хочется узнать... как там...

Женщины попрощались и ушли.

– Да, ты играешь здорово, – сказал Сергей, понимая, что и ему надо похвалить младшего брата. – Очень хорошо играешь. Вот приеду домой, всем расскажу о твоей игре на пианино.

– Спасибо, – снисходительно улыбнулся Аркадий, понимая, что брат как-то по иному оценить его игру не может. – Ты, Сережа, не обижайся на Таню с ее вопросами. У нее на фронте погиб муж, и вот как увидит кого-то с фронта – начинает расспрашивать как там, будто хочет помочь погибшему мужу, облегчить его страдания. И эти страдания берет на себя, расстраивается и плачет. Такая вот она... но мне пора на работу. Можешь остаться здесь, подождать меня... или пойдешь фильм посмотришь и меня послушаешь?

– Пойду с тобой, фильм посмотрю.

Фильм назывался «Вор любви» – «исключительный шедевр», указывалось в афише, с участием неповторимых Пор-

фирьева и Ивлатова. Аркадий усадил Сергея на отдельный стул, недалеко от себя, а сам сел за пошарпанное пианино. Фильм не слишком заинтересовал Сергея, хотя зрители сидели, затаив дыхание. Фильм был почти драматический, и только по вырывающему дыханию в отдельных эпизодах можно было понять, как зрители серьезно переживают события на экране. Игра Аркадия показалась ему обычной, как в других синематографах. После первого сеанса должны были состояться еще два, и Аркадий снова должен был играть. Он приглашал брата остаться, но Сергей решил уйти, пообещав зайти к нему еще не раз, пока будет в Харькове. Он еще неделю находился здесь, встречался с Аркадием, который подготовил подарки матери и отцу, собираясь с братом передать их в Луганск. Но вскоре все переменялось коренным образом.

С середины декабря в город стали прибывать красногвардейские отряды из Москвы и Питера. Отряд под командованием Сиверса двинулся на Дон – для усмирения донских казаков. Срочно формировались красные отряды из рабочих Донбасса, демобилизованных солдат, крестьянской гольтыбы, которые сосредотачивались на магистральных линиях железных дорог и продвигались к Киеву. К наступлению на древнюю русскую столицу готовились две армии. В Донбассе – так называемая армия бывшего царского подполковника Муравьева, численностью в восемьсот человек, с севера – армия Берзина, в тысячу двести человек. Этим двум тыся-

чам недисциплинированных, плохо вооруженным и одетым, но имеющим военный опыт людям, предстояло свергнуть раду, которая имела в своем подчинении украинизированные полки численностью до пятнадцати тысяч человек, а так же около пяти тысяч галицийских сичевиков. Большевики уничтожали, по их словам, последнее буржуазное гнездо в стране – киевскую раду. Гражданская война разделила всех на революционеров и контрреволюционеров. Но народы Новороссии и Малороссии, как в старые казацкие времена, – под знаменем православия, – шли войной против униатского запада. Они были против того, что какие-то галицийцы включили их исконно русские земли в украинское государство. Этого малороссы и новороссы принять не могли. Предстояла ожесточенная война, густо замешанная на большевизме и национализме, где пощады не могло быть никому, – до полного уничтожения одной из сил. Но они не знали, что вскоре московские большевики, в угоду украинским большевикам, включат их земли в состав Украины. Предадут потомков тех россиян, предки которых три века отвоевывали эти земли у многочисленных врагов и осваивали ее во славу России. Предательство политиков – боль и кровь народа на будущие времена!

Сергея вызвали в Народный секретариат и приказали направиться в Сумы, а потом в Курск для формирования красногвардейских отрядов. Когда Сергей сказал об этом Аркадию, тот сильно огорчился.

– Я уже приготовил подарки в Луганск, – несколько раз повторял он.

– Ничего, – успокаивал его Сергей, – сам домой приедешь и подаришь.

Так они расстались, пообещав друг другу, что встретятся при первой возможности. Но возможность новой встречи представилась им через два с половиной года, и была трагической для Аркадия, хотя этим он спас Сергея от неминуемой смерти.

Бард и Фишзон тоже готовились к отъезду. Эльвира получила задание отправиться в Киев и вести там агитационную работу. Бард, узнав об этом, уговорил товарищей из военного секретариата, чтобы и его направили туда же. Оба были довольны тем, что им придется работать вместе. Вообще, мало кто из бывших делегатов съезда вернулся домой, – все получили боевые задания. Сергей тепло распрощался с ними, и они в шутку договорились встретиться в Киеве.

Искры гражданской войны перешли в огонь, который, все более разрастаясь, превращался в пожар, раздуваемый разными сторонами и требовавший для поддержания пламени миллионы и миллионы людских жизней.

Часть IV

25

Луганск. Январь 1918 года. Новый год и начало января выдались холодными. В декабре и январе снега было немного, но резкий, холодный степной ветер востока приносил стужу, проникал в плохо отапливаемые дома, пронизывал одежду насквозь. Электричество почти не подавалось, и люди привыкли жить при свечах и каганцах. Хлеба в город поступало мало, и люди, несмотря на свирепый морозный ветер, задолго до утренней зари выстраивались в очередь у трех, определенных советом, магазинов, к которым были приписаны, и с надеждой ждали, когда можно будет отоварить хлебную карточку. Заводы работали не на полную мощность, только отдельные мартены и вагранки разрывали ночную тьму редкими огненными сполохами. Появилось много праздношатающих людей, участились грабежи, воровство. Одновременно усилилось патрулирование города вооруженными дружинами и часто, особенно ночью, были слышны выстрелы дружинников, наводивших в городе порядок и нагоняющих на обывателя страх.

Луганск – географический раздел между казачьим Всевеликим Войском Донским и Малороссией. Донское войско

было рядом, но не могло его взять – город был хорошо вооружен, патронный завод находился здесь, и рабочие помнили обиды, нанесенные им в прошлом дончаками. Казачий полковник Чернецов организовал в начале зимы два кровавых набега на Донбасс – на Макеевские рудники, а чуть позже на Дебальцево, – сильно поворошил там советскую власть, но закрепиться не смог. На Луганск, который был всего в пятнадцати километрах от донских казаков, – вроде бы под боком, напасть не решился. Советская власть в Донбассе, кипящая злостью на кровавого полковника, прилагала все силы, чтобы расправиться с ним и его отрядом. Чернецов не должен был ускользнуть из капкана, в который его загоняли донецкие рабочие, организованные в красные отряды. Киев, из-за удаленности, не мог взять Луганск под свой контроль, да и большевики здесь были самыми сильными и авторитетными из всего Юга России. Пока еще не видели луганчане галицийской символики в виде трезубца и желто-голубого знамени. Состоятельные люди чувствовали себя более связанными деловыми и родственными отношениями с Россией. Это же чувство разделяла и абсолютная масса рабочего люда, привыкшая мигрировать по огромной стране и не признающая границ. Такое положение способствовало тому, что в Луганске быстро установилась и укреплялась советская власть. Пока луганчане, независимо от их положения в обществе и хозяйственного благополучия, не хотели ни украинской, ни донской власти, и желали, – как в старые време-

на, – управления из центра России. Город на политическом межпутьи подчинялся российской власти, но жил как бы отдельно, уверенный, что ему предстоит и дальше играть свою необычную роль – быть воротами для России в Новороссию и стать замком для украинских политиков, мечтающих о великой Украине от Карпат до Волги и Кубани. Кто владел Луганском, тот контролировал положение на Юге России.

Артемовы жили обычной жизнью, как и весь работающий люд Луганска. Федор работал там же, но зарплату на патронном заводе выдавали непостоянно, и больше продовольственными карточками. Анна так же работала уборщицей. Петр больше находился дома. Перевозок было мало, и он с бригадой собирался поставить паровоз на ремонт. Антонина с детьми больше занималась заготовкой продуктов, – вставала с утра пораньше и занимала очередь в магазин, еще затемно ее сменял кто-то из детей, а она бежала на работу. Питались сейчас вместе со стариками, – так было дешевле и сподручнее. Анна, после отъезда Сергея, стала по-доброму относиться к Полине. Видела, что та ждет писем от сына, да и мужики больше не только не заходили к ней, но и в окна не стучали. Она дала почитать письмо Полине, полученное от Сергея из Харькова, в котором он сообщал, что пока не приедет домой, а вот как выгонит из Киева буржуйскую раду, то сразу же вернется, и передавал привет Полине. Та зарделась от того, что не забыл ее Сергей.

– Матвеевна, – доверительно шепнула она, – буду ждать

Сережку, сколь бы ни пришлось.

– Неужто понравился? – ревниво спросила Анна.

– Больше. Я без него жить не смогу! Уже никто не скажет, что я гулящая. Нет! – Анна недоверчиво взглянула на нее и, заметив этот взгляд, Полина зашептала дальше. – Не вру. Честно говорю. Лишь бы он вернулся быстрее, буду его кохоть так, што он и сам пока не знает. – Анна в ответ улыбнулась. – Вам во всем буду помогать, – продолжала Полина. – Вижу, с трудом ходите, Матвеевна.

Анна благодарно улыбнулась.

Иван редко заходил к родителям. Поездок у него не было, и он стал больше уделять внимания дочери и жене. И сразу же почувствовал более теплое отношение жены к себе. Но у Ивана была причина больше любить жену – месяц назад он подыскал себе новую бабенку на стороне и раз-два в неделю навещался к ней. Это была бедная солдатка с ребенком. Муж служил где-то в Румынии, и она принимала Ивана потому, что он давал ей деньги да делал подарки ребенку. Не одна она была такая. Многие солдатки имели или старались заиметь любовника хоть с небольшими деньгами. Вот поэтому Иван и был ласков с Павлиной, боясь, чтобы та ничего не заметила.

Вместе с тестем они приводили в порядок документацию, намечали планы торговли на весну, ремонтировали амбар и лавку. Тесть не чурался черновой работы, и у него сохранились добротные навыки плотника. Хлеб, который находился

в амбаре, был описан советом и продовольственным комитетом, и без их разрешения его нельзя было трогать. Иван по этому поводу сильно переживал, злился на новую власть, но Крапивников, на удивление, был спокоен.

– Раз власть решила, то пусть так и будет, – сказал он Ивану. – Нам деньги по твердой цене заплатят, многого не потеряем.

Крапивников был доволен тем, что в декабре вместе с Хаимовым отправили, под видом на фронт, почти двести вагонов зерна, а это, считай, более шестидесяти тысяч пудов. Хлеб на фронт не попал, его переправили в Бессарабию; а потом в Румынию – фронтовики остались без хлеба, но Крапивникову и Хаимову достался хороший куш. На эти деньги закупили еще зерна у крепких хозяев, заплатив наличными и договорившись, что хлеб заберут при удобном случае, когда настанут лучшие времена. Таким образом, задел для будущих хлеботорговых операций был сделан. На другую часть денег, – впервые, никогда раньше Крапивников этого не делал, считая что нельзя отвлекаться на посторонние дела, – закупили мелкий инвентарь: косы, лопаты, шинное железо, гвозди и прочие повседневные товары для крестьян. Заводы останавливались, а крестьянам такие вещи всегда будут необходимы, – решили, что пригодится в будущем для обмена на хлеб. Торговля должна продолжаться в любых условиях.

Когда в середине января продовольственный комитет вы-

вез последнее зерно из амбара и складов, Крапивников, удовлетворенно вздохнув, сказал Ивану:

– Ну, а сейчас мы чисты перед новой властью. Никто в нас камень не бросит, что мы хлеб прикрали или девали не по своему назначению. Теперь, Ваня, надо поработать.

Иван, как собака, почуявшая дичь, напрягся и приготовился слушать тестя. Он уважал его за деловую хватку, рассудительность и оперативность в работе. Ему нравилось, когда тесть говорил: «Торговля – это кровь государства, и она должна пульсировать постоянно, не замирая ни на секунду, только обновляться и быть всегда свежей».

– Иван, садись и слушай внимательно. В Миллерово контора «Стахеев и сыновья» собирает хлеб, чтобы отправить его в Персию. Там воюют англичане. Так вот, эта контора хочет вывезти хлеб через Астрахань. В Миллерово место сбора. Казачки хлеб продают... но, видимо, помаленьку. Надо нам к ним присоединиться и тоже отправить басурманам хлеб. Понял?

– А большевички не помешают?

Потеребив бороду, Крапивников снисходительно ответил:

– Там толком и нет советской власти. Там Всевеликое Войско Донское, которое на них не терпит большевиков, и дай Бог – скоро освободит нас от этой заразы. Дай им время сорганизоваться. Но пока все это тянется – нам все равно надо работать. Так вот. Съездь-ка снова на Старобельщину, поговори-ка с теми, у кого мы уже взяли зерно, – пусть еще

дадут. Другой кто-то захочет продать, – покупай. Сразу же плати деньгами по любой цене, сильно не торгуйся, чтобы их не отпугнуть. Если хотят, выписывай им квитанции, пусть приезжают сюда, я им железом и инвентарем отдам. Но цены на железо назначай поболее. Оно-то нонче в цене, и хозяева сами об этом знают. Проси их перевезти зерно в Миллерово или найми извозчиков. Но в Миллерово нашими деньгами не бери, притворяйся вислоухим и требуй только золото или английские фунты. Понял?

– А если эти фунты и золото не станут давать?

– Дадут. Я письмо напишу тамошнему управляющему. Его знаю. Дашь ему десять процентов со сделки. Будет требовать боле – ни копейки... и так хорошие условия. Пообещай, что скоро я сам к нему приеду, как все уляжется. Понял? – Слово «понял» раздражало Ивана, но он послушно кивнул, чувствуя, что добыча будет неплохая. Словно угадав его мысли, Крапивников пояснил: – Конечно, это не те деньги, что мы раньше делали, но много хватать – свое потерять. Сидеть, сложа руки, нам не след, а то разучимся торговать. Так что все понял, Ваня? Готовь бумаги, деньги дам завтра утром.

– Завтра ехать?

– Да. Время не след терять, успеть все надо на этой неделе.

Иван стал разбирать канцелярские бумаги. Отдельно отложил долговые расписки тех, кому уже заплатили за хлеб. Вечерело, и он сказал тестю, углубившемуся в чтение амбар-

НЫХ КНИГ.

– Зиновий Зиновьевич, я схожу на склад – посмотрю товар?

Крапивников удивленно вскинул брови:

– Так уже поздно, Ваня, там ничего не увидишь... – он внимательно пригляделся в запунцовевшее лицо зятя. – А впрочем, сходи, проветрись. Это полезно перед дорогой... но только долго не задерживайся.

Иван, быстро одевшись, вышел. Крапивников, посмотрев на его поспешные сборы, подумал с удовлетворением: «Нашел себе новую бабу. Но ничего – семья будет крепче. Все мы гршили по молодости, а смотри ж – со своей старухой боле тридцати лет прожил, до самой ее смерти». Он закрыл книги, аккуратно положил их на полку и отправился в жилую часть здания. Зашел к дочери, посадил на колени внучку Зину, и ласково подышал ей в ухо, от чего та довольно заверещала и, обхватив лохматую голову деда, тоже стала дуть в ухо. Оба смеялись. Располневшая не по годам Павлина спросила:

– А Иван где?

– Я его послал на склад, – ответил отец. – А потом еще по двум адресам, придет поздно. А ты, дочка, приготовь ему все для отъезда.

– А когда он едет? – одутловатое лицо Павлины выражало досаду.

– Завтра утром.

– Не мог побыть дома!

– Не мог, Павушка. Работа подвернулась, надо ее делать.

Вот приедет через неделю, до весны никуда его посылать не буду.

А про себя подумал: «Веселись пока, кобель. Впереди еще много работы».

Иван по пути к Дарье, – так звали его возлюбленную, забежал в магазин, купил конфет и двинулся в сторону эмалировочного завода. Минут через десять он подошел к маленькому домику на склоне пологого ярка и постучал в маленькое, обмазанное по бокам глиной окно. Скрипнула дверь, и в сумерках послышался женский голос:

– Кто там?

– Я, Иван.

– Заходи.

Иван зашел в низенькую комнатку и, не раздеваясь, спросил:

– Сын дома? Отдай ему конфеты.

Дарья позвала сына, сунула ему пару конфет и приказала:

– Иди на улицу, поиграй с ребятами и конфеты съешь.

Мальчуган стал послушно одеваться и в фуфайчонке выскочил на двор.

– Иди быстрее сюда, – шептала Дарья, снимая с себя платье. – А то на улице холодно, и сын быстро вернется. Не мог прийти попозже, когда он заснет.

– Я завтра уезжаю, – раздеваясь, шепотом ответил Иван. –

На неделю, а может, дней на десять. Еле вырвался сейчас к тебе.

– У-у, как тебя долго не будет!

– Я тебе оставлю денег, прикупи что-нибудь на базаре.

– Хорошо, – повеселевшим голосом сказала Дарья. – Сам знаешь, как трудно жить без мужика.

Иван подошел к кровати и цепкие руки с горячими ладонями обхватили его, и он в ответ крепко обнял ее. Час спустя он возвращался домой. Надо было торопиться, наступал комендантский час. «Что меня тянет к ней?» – думая Иван, но не мог дать ответа.

Дома Павлина готовилась ко сну, дочка спала. Жена молча встретила Ивана и удалилась в спальню, не поинтересовавшись, где он был весь вечер. Поев, Иван прошел в спальню и скользнул под одеяло к жене. Чувствуя в душе себя виноватым, он осторожно обнял жену.

– Ты завтра уезжаешь? – спросила она.

– Да, – Иван обнял ее за располневшую грудь.

Она отвечала ленивыми, бесстрастными движениями. «Проснись ты, корова! – со злостью подумал Иван. – Все равно ей – здесь я или нет». Он резко и грубо повернул ее к себе.

– Щас, Вань... – отозвалась Павлина.

И тут до Ивана дошло, почему его манит к Дарье – она знает, как и чем увлечь мужчину.

Петра, ввиду того, что паровоз находился на ремонте, мобилизовали для несения службы в отряд красногвардейцев. За это выдавались продовольственные карточки. Дежурил он в основном днем, изредка по вечерам. Однажды вечером его вместе с другими дружинниками направили в тюрьму для сопровождения арестованных. В тюрьме их встретил человек в кожаной куртке, назвавшийся Нахимским. Его заместителем был Иваненко. С ними было около десятка красногвардейцев. Им объявили, что они должны отвести арестованных в другое место. Эти арестованные были из отряда Чернецова, наконец-то разбитого красными возле станции Каменская. Часть казаков попала в плен, сам Чернецов был зарублен в плену, а часть отряда разбежалась, и некоторые из них добрались до Луганска, где и были арестованы. Другие оставшиеся в живых скрывались в степи.

Вскоре вывели арестованных. Грязные, оборванные, без теплой верхней одежды, они представляли собой жалкое зрелище. Более хорошие вещи забрала себе охрана, другие пришлось оставить в камерах уголовникам, которые давали за них кусок хлеба. Некоторые из арестованных были ранены, и их грязные, с засохшей кровью повязки пристали к телу и превратились в одно общее с ним. Потом вывели еще группу людей, и Нахимский громко сказал:

– Наша местная контрреволюция.

Арестованных набралось человек двадцать пять, и Петр понял, почему их вызвали в тюрьму – охраны у Нахимского явно не хватало. Часть его отряда находилась на кладбище. Нахимский смотрел на арестованных черными, блестящими от бессонницы и злости глазами. Потом, вытащив из кобуры наган, скомандовал, чтобы арестованных выводили во двор. Там построили по четверо в шеренгу и двинулись по улице. Петр смотрел на них и думал: «Куда их ведут?» Хотя морозы за последние дни ослабли, но зима есть зима, и арестованные шли молча, съжившись от холода, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться.

Когда подошли к Преображенскому собору и повернули налево в гору, среди арестованных началось волнение: «Куда нас ведут? К Гусиновскому кладбищу!!»

Нахимский, размахивая наганом, закричал:

– Тихо! Замолчать!

Но ропот нарастал:

– Объясните, нас переводят в другое место или в суд ведут?

– Требуем суда! – закричал молоденький арестованный, видимо, гимназист старшего класса.

– Убью, гада, если еще слово скажешь! – закричал на него Иваненко и штыком винтовки уперся в спину гимназиста. Тот замолк.

Но волнение среди арестованных продолжалось. Слышал-

ся шепот и долетали отдельные фразы:

– На расстрел ведут. Убивать будут...

Здоровенный казачина с окровавленной повязкой на голове, заменявшей ему шапку, вдруг закричал диким голосом:

– Братцы! Да нас расстреливать хочуть! Разбегайся!

И неожиданно, оттолкнув дружинника, бросился бежать в обратную сторону. Петр растерянно смотрел, как Нахимский, вскинув руку, выстрелил, и казачина, не успев пробежать и десяти шагов, рухнул на снег. Но это отвлекло внимание от других арестованных, и часть из них бросилась врассыпную.

– Стреляй в них! – бешено горя глазами, кричал Нахимский.

Раздались выстрелы, и в свете луны было видно, как падают люди, и темно-красные пятна крови разливаются по снегу.

– Лови их! За ними! – кричал Нахимский, размахивая наганом. – Иваненко, беги за остальными, а вы охраняйте этих! Всем лечь! – и он бросился вверх по улице за двумя убегающими.

Иваненко и Петр так же за двумя арестованными побежали обратно к Преображенскому собору. Ворота в церковную ограду были заперты, и первый убегающий, быстро перепрыгнув забор, побежал к зданию и стал стучаться в дверь церкви. Второй казак, с перевязанной рукой, никак не мог

перелезть через забор. Тогда, обернувшись к подбегавшим и оскалившись на Иваненко, он захохотал хрипло, не по-человечески:

– Убью, гад! Назад! – кричал Иваненко, приставив винтовку к полуголой из-за рваной рубахи груди казака. – Назад, сука!

Казак еще громче, каким-то горловым звуком, хохотнул и бросился то ли на Иваненко, то ли на штык винтовки, который вошел в его тело. А Иваненко еще и выстрелил. Казак свалился на разметенную от снега дорожку. Иваненко, выдернув штык из груди казака и не оглядываясь на него, полез через забор и побежал к церкви, куда безуспешно стучался второй арестованный. В окошке появился свет каганца, – церковный сторож шел открывать дверь. Но Иваненко, а за ним и Петр, перелезший через забор, подбегали к дверям церкви. Дверь со скрипом стала отворяться, и беглец хотел туда вбежать, но буквально с трех метров Иваненко, успевший перезарядить винтовку, нажал на спусковой крючок. Бежавший, – а это был молодой гимназист, схватившись за дверь, стал падать вовнутрь здания, ускоряя открывание двери. Иваненко, выругавшись, закричал на Петра, сгоняя на нем еще не все растраченное зло:

– Ты что, не мог быстрее бежать к нему, пока я с тем справлялся?!

Но Петр не смог ничего ответить. Он впервые в жизни участвовал в убийстве людей. Растерянный, он дрожал от

страха и возбуждения.

– Я... я... – пытался что-то сказать Петр.

– Я! Я! – передразнил его Иваненко. – Он бы сейчас юркнул в церковь, а там поминай, как звали, никогда бы не нашли.

Сторож церкви, старый с большой седой бородой монах, вышел и, увидев убитого, сурово произнес:

– Пошто кровь пролили в христьянском храме? Не по-божески.

– Заткнись, дед! – крикнул в ответ Иваненко. – А ты не трясись! – обратился он к Петру. – Помогите нам дед вынести его отсюда!

Но монах, не двигался с места, снова спросил:

– Пошто на виду у Бога человека убили? Чи вы антихристы? Не знаете, што Богом не положено кровь проливать в его обители?

– Заткнись, дед! Мы ж прикончили его не в алтаре, а во дворе. Видишь?

– Двор – тоже Божья обитель. Шо вы деете с людьми? Ведь Христос сказал: «Исполнитесь добра и живите в мире между собой». А вы?

– Замолкни, дед, а то я с тобой поговорю не здесь, а в другом месте! Бери его за ноги и потащили. Быстрее! – приказал Петру Иваненко.

Тот дрожащими руками взял одну ногу убитого, Иваненко вторую – и они потащили тело к воротам. Монах шел за

ними со связкой ключей в руках. Он молча открыл замок на воротах и, увидев еще одного убитого, от горячей крови которого вился при лунном свете туман, отшатнулся и перекрестился. Закрыв ворота, он взял лопату и стал соскребывать замерзающую кровь в кучки, бормоча себе под нос:

– Прав Иисус, сказавший: «Восстанет народ против народа и царства против царства, в различных местах будут землетрясения, и наступит голод. Это будет подобно родовым мукам».

К ним подбежал Нахимский. Слюна блеклыми блестками висела на его бороде:

– Всех взяли?

– Убили двоих.

– А там несколько человек успели шугануть в проулки. Не поймали!

– Видишь, мой напарник оказался слаб. Могли б взять живьем, а пришлось прикончить, чтоб не убежали.

Нахимский распорядился, чтобы тащили и убитого от ворот. Когда посчитали всех – живых и мертвых арестованных – оказалось, что не хватает пятерых человек. Нахимский матерился вслух, но искать других в темноте не представлялось возможным, и они пошли к кладбищу. Могила была уже вырыта, но не глубоко, видимо, не хватило времени, а может, и желания. Четверых убитых сразу же бросили в могилу. Остальным приказали выстроиться у могилы в шеренгу. Люди не могли понять, что к чему, и с ужасом смотрели друг

на друга и на своих палачей, ища ответа.

– Кто хочет стрелять в них? – обратился Нахимский к красногвардейцам.

Но пока никто не выражал желания. Наконец мужик с красной повязкой на рукаве ответил:

– Давай я.

– Кто такой?

– Да мало ли кто. В этой тюрьме был не раз, да и в других тоже. Не впервой мне кончать с такими, – он небрежно кивнул на стоящих у ямы. – Давай пулемет.

Он лег за пулемет, и морозную тишь прорезал сочный треск очереди. Когда все упали, он прошелся очередью по лежащим, – для верности, взрыхляя землю со снегом, потом удовлетворенно встал.

– Вот и все.

Петра от этой сцены стошнило и, припав к корявому деревцу, он стал выворачивать из себя не столько пищу, сколько желудочную боль. Мужик посмотрел на него снисходительно:

– Не привыкший... ну, давай закопаем?

Нахимский, который замерз и устал, хотел побыстрее покинуть кладбище, поэтому сказал:

– Утром пришьем других, они закопают.

Но здесь завозражал мужик-красногвардеец, стрелявший из пулемета, укоризненно сказавший Нахимскому почти так же, как недавно сторож-монах в соборе:

– Нельзя так! Не по-христиански. Надо предать земле.

Нахимский отпустил тех дружинников, с которыми пришел Петр. Дружинники решили так, – кто живет поближе – пусть идет домой с винтовкой, а завтра занесет в комендатуру, а кто сейчас пойдет туда, сообщат об этом дежурному. Все они, в основном рабочие, были поражены увиденным. Говорить не хотелось. Петр жил недалеко, и бегом бросился к дому. Постучав в окно и, ни слова не сказав Тоне, бросил на пол винтовку, упал искривленной головой на стол и застонал. Когда Антонина зажгла свечу, то увидела, что Петр плачет.

– Тише. Детей разбудишь. Что случилось?

Но Петр только молча плакал, изредка с порывами хриплого стога. Тоня положила руку на его голову и погладила по волосам. Она знала, что Петр вне дома много не пьет; а сейчас с ним винтовка, значит – вовсе не пил. Она гладила его по голове и повторяла:

– Успокойся, – она не спрашивала, что случилось, понимала – необычное.

Наконец Петр поднял голову, вытер слезы и тихо произнес:

– Я сейчас такое видел... такое... – и снова глаза его наполнились слезами.

– Это вы стреляли?

Петр кивнул. Они еще долго сидели вместе, и Антонина шептала ему что-то успокаивающее и гладила его покосив-

шуюся голову.

Утром Петр отнес винтовку в комендатуру и наотрез отказался выходить на дежурства. На этом он потерял право на получение дополнительной хлебной карточки. В депо целыми днями с ремонтной бригадой приводил в порядок свой паровоз, и вскоре он вышел на магистраль. Но после этого случая Петр стал еще более молчалив и угрюм.

Часть V

27

Начало января восемнадцатого года выдалось в Киеве горячим политически и по-зимнему холодным. Но над погодными неудобствами довлели межпартийные неурядицы. Единства в Центральной раде не было. Фракция украинских социал-демократов отозвала своего члена партии – Петлюру – с поста генерального секретаря по военным делам. Ему в вину была поставлена любовь к парадам, идущая во вред укреплению украинской армии, незнание военных дел. «Да откуда ему знать военное искусство, – сокрушались газеты, – когда он вообще не служил в армии, а в годы войны осуществлял в Москве связь с украинскими частями по линии земства, но за это ему разрешили носить наполовину военную форму!» Но, как бы там ни было, солдаты украинизированных полков его знали. Особенно вызвали смех просочившееся в прессу сведения о том, что Петлюра настырно добивался от рады решения, чтобы украинским «вольным козакам» пошили шапки с «червонным» верхом, утверждая, что такая шапка действует на казаков гипнотизирующе, и за эти «червонцы»-шапки казак готов на все. Но Петлюре все же пришлось оставить свой пост и уехать на свою родину –

Полтавщину, где, благодаря своей неумемной энергии, он достаточно быстро сформировал «козацкий кош». Украинские части – полки Сагайдачного, Хмельницкого, Орлика, Грушевского и другие, несмотря на то, что им повысили денежное содержание и выдавали усиленное питание, все более прохладно относились к раде и не скрывали своих симпатий к большевикам, справедливо считая, что советская власть дала народу больше, а украинские лидеры дают только многочисленные обещания. Красные наступали на Киев, а сил для обороны города, кроме галицийских частей, у рады не оставалось. Были предприняты «тайная попытка» внутреннего переворота в Центральной раде, заключавшиеся в том, чтобы левые эсеры Украины захватили власть и пошли на соглашение с Москвой. Обосновывалось это тем, что в состав советского правительства входили левые эсеры. Но об этом «тайном перевороте» говорилось открыто и, по выражению одной из газет – «в Киеве об этом знала каждая Дунька», и было ясно, что этот водевиль из местечковой жизни обречен на провал. Рада стремительно агонизировала, и было понятно, что без вливания чужой, – именно чужой, – крови ей не удержаться у власти. И эту кровь для себя она планировала взять у Германии, одновременно предав своих недавних союзников Англию и Францию. Но за все надо было платить, и ответной платой должна была стать кровь народов Юга России, и в огромном количестве. Но об этом политики не думали. Они судорожно метались по зданию Педагогического

музея, боясь высунуться из него наружу, но мечтая занимать ставшие уже привычными им правительственные кабинеты. Недаром говорят: если собрались три галицийца, то двое из них объявляют себя гетманами. Власть! Что может быть слаще ее.

А красные, преодолевая зимнюю стужу, все ближе подходили к древнерусской столице...

Эльвира Фишзон и Дмитрий Бард прибыли в Киев как раз в это самое горячее время. Эльвира поселилась на Подоле, в черте еврейской оседлости, у знакомых. Барду местный комитет определил место жительства на Большой Житомирской, в семье одного из большевиков. Но квартирка была мала, и Барду приходилось спать в маленьком коридорчике, стеснив и без того небольшие жизненные условия хозяйки. Все было бы неплохо, и эти условия удовлетворяли Барда, но он не мог переносить постоянные вечерние перебранки супругов. В конечном счете, Эльвира жила не так далеко от него, и он стал по вечерам все больше времени проводить у нее, в ее маленькой комнатке, больше похожей на чулан. Днем они вместе ходили по заводам и военным частям, беседовали с рабочими и солдатами. Если имелись, — раздавали газеты и листовки большевиков. Однажды вечером, когда Бард возвращался от Эльвиры домой, на середине Андреевского спуска его встретили двое подозрительных мужчин. А вечерние улицы Киева в это время были всегда пустыни. Обыватели боялись появляться на них в вечер-

нее время. Встречные без обиняков предложили Барду отдать им деньги и еще что-нибудь ценное. Тот попытался сопротивляться, но, получив сильный удар в челюсть, сбивший его с ног, а потом еще несколько ударов, вынужден был расстаться не только с небольшим количеством денег, но еще и с довольно приличным полупальто. Бард кой-как доплелся до своей квартиры, хозяйка помогла обмыться, а наутро нашла ему драный ватник. Когда его в этом одеянии увидела Эльвира, то не знала – то ли ей смеяться, то ли плакать, а разбитое лицо Барда все-таки заставило ее пустить небольшую слезу. Бард рассказал ей, потом другим товарищам, что произошло, и повторял – жаль, мол, что у него не было револьвера, а то бы он налетчикам показал... в тот же день товарищи помогли Барду приобрести поношенное, но еще добротное драповое пальто, которое раньше, видимо, носил мелкий буржуй. В тот же день, вечером, когда он сидел в комнатке Эльвиры, та, посмотрев на окошечко, сказала:

– Уже темно... – но не прибавила как обычно, что Барду пора идти домой.

Он внутренне сжался. Ему не хотелось идти к себе по темноте. Эльвира, понимая его состояние, предложила:

– Куда уж тебе идти, оставайся ночевать здесь.

Бард, осмотрев тесную комнатку, голосом, дрожащим от предчувствия необычного, произнес:

– А где ж я буду спать?

– Митя. Мы будем спать на одной кровати... – она также

растерянно улыбнулась своим словам. – Ты худой, я тоже пока не толстая – поместимся. А вообще, от судьбы, видимо, не уйти... я к тебе привыкла... ты все же хороший, добрый... к жизни неприспособленный. Тебе нужна жена-поводырь. Вот ею и буду я. А может, я тебя люблю... сейчас война, что дальше будет – неизвестно. Можно не узнать ни любви, ни вообще – жизни...

Бард, задохнувшись от волнения, обнял ее, прислонил свое лицо к ее груди и прерывисто прошептал:

– Ты... тоже хорошая... и я люблю тебя... Эля...

Он поднял голову, нашел своими дрожащими губами ее полные губы и осторожно, как можно более нежно, поцеловал.

Так они стали мужем и женой, – что, собственно говоря, было обычным явлением у революционеров – без официального брака. Идеи, вроде бы, объединяют людей, делают их ближе к друг другу, но только физиология организма требует природного удовлетворения и настоящей близости.

Утром, когда они, усталые и не выспавшиеся, лежали на узкой кровати, Эльвира, нежно проводя пальцами по его бровям, носу, губам, произнесла:

– Вот, мы теперь муж и жена. Как узнает отец об этом и кто у меня муж – не знаю, что со мной сделает. Он хотел, чтобы мой муж тоже был евреем, имел состояние и положение, чтобы свадьба состоялась согласно наших законов, и жених обязательно вслух зачитал кетубу, а мы стояли под хупой, и

жених обязательно разбил бы на счастье стакан.

– Что это ты говоришь?

– Просто думаю, что все хорошо делать по обряду, красиво... – она вздохнула. – Но сейчас не время для красочных обрядов... да и пора ломать их. Революция сделала нас равными – женщин с мужчинами, а евреев – с другими народами. Раньше, если бы мой отец узнал, что я вот так просто вышла замуж, он бы извел меня и всю мою семью со света. А меня бы еще и проклял, что ты не произнес кетубы.

– Что это за непонятное слово ты все время говоришь?

– Это твоя клятва мне на уважение, верность, содержание. Уважение и верность ты, конечно, мне обещаешь. А какое у тебя содержание? Его просто нет. Ну и не надо. Вместе его создадим. Не надо нам унижающих традиций. Многие наши товарищи живут без брака, чтобы он не мешал революционной борьбе. Так будем и мы жить. Согласен?

– Да, да! – чуть ли не клятвенно произнес Бард.

Позже Эльвира приготовила завтрак на кухне. О чем-то на своем языке говорила с хозяйкой. Бард слышал, как хозяйка что-то ядовитое выговаривала Эльвире. Когда Бард прошел на кухню и сел за стол завтракать, хозяйка, зло блестя глазами, налив им маленькие рюмки красного вина, по-змеиному прокартавила поздравление:

– Лехаим! Лехаим!

Товарищи по партии, узнав, что они стали мужем и женой, поздравили их – просто и обыкновенно – пожелали сча-

стыя в революционной борьбе. Они получили задание немедленно отправиться в казармы украинских полков и уговорить солдат перейти на сторону восставших рабочих-арсенальцев, которые должны сегодня выступить против рады.

Казармы располагались на Соломенке. У входа на территорию полка Сагайдачного их остановил часовой.

– Кто таки?

Эльвира и Бард показали мандаты, подписанные в большевистском комитете. Солдат долго вертел в руках бумажки, но то ли был слаб в грамоте, или совсем не умел читать, – отдал их обратно, сказав:

– Идуть к той казарме, там сейчас чи митинг, чи собрание, – и махнул рукой в сторону третьего здания.

В казарме было холодно, что было видно по пару, выходящему изо ртов солдат. Людей в коридоре не было, но с правой стороны казармы слышался гул. Туда они и пошли. В спальне на нарах сидели солдаты, многие из них курили. Их было гораздо больше, чем нар. За столом президиума сидело трое человек. Один из них с унтерскими нашивками что-то говорил. Увидев входящих Эльвиру и Барда, он замолчал. Шум стих, все удивленно смотрели на них – кто такие? Из президиума спросили:

– Што надо?

– Мы, – начал Бард, – хотим говорить с солдатами.

– А хто вы таки? Украинскою мовою розмовляете?

– Ни, – замотал отрицательно Бард головой.

Но тут вмешалась Эльвира и стала говорить по-украински:

– Мы, товарищи, от большевистского комитета. Если не возражаете – примем участие в вашем митинге.

– Это не митинг, – ответил унтер. – У нас сборы представителей полка.

– А что вы решаете?

– Да, вот вопрос стоит перед нами – расходиться по домам, как это делают сейчас солдаты на фронте, или оставаться еще служить. Так все набрыдло. Не знаешь – нужен ты здесь или нет? И кому?

У Эльвиры отлегло от сердца. Солдаты не хотели служить, и это уже было хорошо. Теперь следовало их убедить перейти на сторону большевиков.

– А где офицеры?

– Нема их. Они все равно хотят служить и потому не пришли сюда. Ну и нехай – без них обойдемся. – Унтер обратился к солдатам: – Будем слухать большевиков?

Солдаты равнодушно смотрели на пришедших. Видимо, агитаторы разных мастей надоели им.

– Багато их було!

– Нехай балакають!

– Да вона по-украински погано знае!

Тимофей Радько пристально всматривался в пришедших – где-то он их видел. И вспомнил – они были с Сергеем Артемовым, когда дело чуть не дошло до стрельбы, а потом еще

сидели в кабачке. Парень-то вахловатый, а дивчина ничего, смело говорит. И он крикнул:

– Нехай расскажут, што сейчас в Киеве происходит. Бо наше фицерье одно и теж балакае. Говори!

Ободренная таким вмешательством, Эльвира встала и начала говорить. Она находилась под впечатлением сегодняшней ночи, и вдохновение вырывалось из ее груди. Она выступала не в первый раз и знала, как надо подходить к толпе. Чем проще и конкретнее, тем лучше ее поймут, не надо непонятных недомолвок. Слова должны быть как глыбы, чтобы сразу же западали в солдатские головы, а пока их переваривают солдатские мозги, можно сказать и что-то двусмысленное, не совсем конкретное, а потом снова – глыбой в голову.

– Товарищи! – торжественно начала она. – Что вам дала Центральная рада? Что? Да фигу она дала! Обещала многое! Много? А где ее обещания? Да эти обещания в ее больной голове. А больная голова не мыслит правильно – ее надо лечить. Большевики в течение всего года революции говорили, что землю отдадут крестьянам. Отдали? Вы этому свидетели сами. Большевики не обманывают народ.

Сидящие одобрительно загудели. Декрет о земле все читали.

– Говорили, что все отберем у буржуев. Отберем! Дайте только время – выгоним раду, которая их защищает, и вы тоже как в России заберете у них все, что они награбили ве-

ками.

Часть солдат заерзала на своих местах. Многие из них участвовали в так называемых экспроприациях, но Центральная рада запретила брать землю. Вкус легкой наживы и грабежей уже проник во многие души солдат. Фишзон уже конкретной перешла к Центральной раде.

– Посмотрите – кто там сидит? Есть ли там хоть один из рабочих, крестьян и солдат? Нет! Вас собирали на какие-то съезды, давали за это деньги, улучшенный паек, новую форму, чтобы вы прилично выглядели и голосовали за них. Сказали, что будут прислушиваться к вашему голосу, собирать вас для совета, а сами без вас сейчас руководят. Кто они? – профессора, писатели, юристы – то есть те, которых до революции кормила буржуазия, а они ей верно прислуживали. И сейчас продолжают служить.

Послышались крики: «А большевики тож антилигенты!».

Но этого вопроса Фишзон ждала. В сравнении сказанное выглядит убедительней. Было видно, что удалось овладеть не только вниманием аудитории, но и повести ее за собой в нужном русле. На последние слова аудитории она согласно потрянула копной густых, черных волос.

– Да, руководители большевиков – интеллигенты. Но они никогда не служили буржуям и помещикам. Никогда! Они наоборот всегда звали вас – народ – брать награбленное грязными руками эксплуататоров в ваши мозолистые руки. Грушевский, Петлюра и прочие политики рады были только под

надзором полиции, иногда под следствием, сейчас этим хвастаются, а большевики сидели в тюрьмах, отбывали сроки в ссылке, гробились на каторге. Они, а не грушевские и петлюры, были страшны царизму. Эту буржуазия ласково журила, а большевиков уничтожала. Но это – главные руководители большевиков, а посмотрите – кто возглавляет советы? Простой народ – крестьянин, солдат, рабочий... и все равно, кто он – большевик или нет.

Казарма снова одобрительно зашумела. Действительно, это так.

– А теперь посмотрим еще дальше. Много ли в советах людей, которые поддерживают Центральную раду? Правильно. Мало! Советы подчиняются Совету Народных Комиссаров в Питере, а не раде. А ее поддерживают националистические общества истинных украинцев – и все. И они не хотят допустить народ к управлению Украиной. Значит, Центральная рада не поддерживается народом. Она одна-одинешенька пыжится, что является правительством Украины, а народ против нее. И она хочет сейчас опереться на вас – солдат. Одурманивает вам бедным голову, что хочет построить особенное украинское государство. А вы еще готовы ее поддерживать? Эту буржуазно-националистическую кучку, не давшую вам ни земли, ни заводов, ни фабрик – и вообще неспособную дать народу хоть что-то!

Это была концовка выступления, но не конец, который надо было закончить так же сильно, как и начало выступле-

ния – затронуть самые тонкие и больные уголки души слушателей. Фишзон замолчала, глаза ее блестели, грудь вздымалась от нехватки воздуха, дыма табака и махорки, казарменного запаха портянок и пропотевших тел. Бард с удивлением смотрел на нее. Он видел ее и раньше выступающей, но сегодняшняя речь произвела на него исступляюще-высокое впечатление. Он был полностью с ней согласен – можно ли что-то добавить лишнее и новое в ее речь. Унтер встал и спросил ее коротко:

– Все?

Фишзон встрепенулась:

– Нет. Еще несколько слов... – она стала говорить тише и спокойней, умиротворенно-просяще, как бескорыстный победитель. – Товарищи солдаты. Вы знаете, что красные подходят к Киеву. Большевики призвали киевлян к восстанию. Арсенал уже восстал. Просим – поддержите рабочих. Помогите установить родную вам советскую власть.

Это был конец выступления, сказанный просто и душевно, который должен был произвести на аудиторию, после основной, бурной речи, впечатление чего-то решенного и непоколебимого, где от слушателей не ждут активного участия: хотите – помогайте, хотите – нет. Обойдемся со своими силами. Только не мешайте будущим победителям.

Сидевшие на нарах солдаты вначале молчали, пока унтер-председатель не бросил им:

– Ну, кто желает поддержать дамочку-большевика?

Все сидели молча, пока один из солдат не сказал:

– Шо долго балакать. Мы уже решили не выступать против бильшовыкив. Нехай хвицирѣ идет за радой.

Солдат сел, но сразу же встал и начал говорить Радько:

– Большевик правильно сказала. Все мы селяне, и нам по-зарез нужна земля. А што рада – там действительно антиле-генты, – они землю не орут, ни збирают на ней. Им все равно в яких руках земля и, кажется, они не решат этот вопрос в нашу пользу. Так за що будем проливать кровь? За раду. Хай хто хоче, а я ни. Не пойду за нее воюваты, – сказав это, Тимофей сел.

– А правда, шо красные уничтожают всех украинцев? – задал вопрос один из солдат.

Фишзон встала и с гневом взглянула на задавшего вопрос.

– Не верьте этому! Это радовцы хотят настроить украинцев против красных, да и русских вообще. А русские и украинцы все века жили с миром. Красные убивают только офицеров, кто бы они ни были – русские или украинцы, да еще буржуев и помещиков, если они сопротивляются. А простой народ они не трогают, какой бы нации он не был. Поэтому не верьте этой брехне! Еще скажу – где прошли большевики, там уже землю отдали крестьянам. Вот она, Советская власть!

Упоминание о земле вновь еще более расположило солдат к Фишзон. Видимо, представители на это собрание были избраны из тех, кто не хотел воевать. Раздались добродушные

народные шутки:

– А хлопец што скажет? А то молчит, як галушкой подавился. Хто он?

Обстановка стала дружественной. Бард встал и сказал невпопад:

– Я по-украински плохо умею.

Послышались выкрики:

– Москаль што ли?

– Кацап?

– Чеши по-росийски.

– Я из Донбасса. Был раньше шахтером, а потом меня задувило в забое.

Сидящие сочувственно закивали:

– Большевик. Оттуда много вас. Што это за край?

– Да, я большевик. Я вам лучше... – неожиданно для себя самого выпалил Бард, – прочитаю стихи. Называется «Шахтерская марсельеза». Хотите?

– Давай!

Стараясь не выдать волнение, очень громким и звонким голосом Бард читал, – как он считал, – свое лучшее стихотворение. Солдаты внимательно слушали, покуривая сигарки. Бард закончил, и послышался голос:

– О, це настоящий шахтарь!

Представители от солдат были настроены благодушно – война для них должна была закончиться. Унтер снова спросил:

– Так примем резолюцию, шо не будем поддерживать Центральную раду, и останемся нейтральными по отношению к красным, как, например, полк Орлика в Катеринославе... добре?

Но здесь солдаты взволновались, слышались возмущенные крики:

– Не так!

– Не треба нас дурыты!

– Мы говорили о другом. Всем по домам!

– Шо я дурю! – кричал в ответ унтер. – Так говорите, яку резолюцию треба прийняты?!

Встал Тимофей и, перебивая шум, начал говорить:

– Я считаю, шо надо записать то, о чем говорила большевичка. О восстании в Киеве. Давайте решим так. Если рада начнет рабочих давить огнем, то мы выступим на стороне рабочих и защитим их.

Вскочил еще один солдат и закричал:

– Правильно! У рады есть галицийские стрельцы, и они пидут против киевских рабочих и не пожалеют их. Им все равно – с кем воювати! Мы все для них – вороги!

Тимофей продолжил:

– Если шо, то и стрельцов шуганем. Нечего им распоряжаться у нас, нехай у себя в Галиции свои порядки наводят! Запишем, шо поддерживаем большевиков. А как они возьмут Киев, то все по домам!

При несмолкаемом шуме унтер повторил пункты резолю-

ции, и все дружно проголосовали «за». Всем понравилось, что скоро можно будет разойтись по домам. Против никто не поднял руку. Было видно, что солдатам надоели казармы, хотелось домой, к земле, которая стала уже почти их. Фишзон и Барда окружили солдаты. Несмотря на принятую резолюцию, многих солдат интересовал все тот же вопрос – а отпустят ли солдат большевики по домам и, услышав твердое «да» от Фишзон, с удовлетворением расходились, не зная, что им уже завтра снова придется взяться за винтовки, а потом держать их в руках еще долгие три года. Тимофей Радько пробрался к Фишзон и, когда приутихли вопросы, спросил ее:

– Дамочка, а вы меня не помните?

Эльвира нахмурила брови, стараясь припомнить солдата, но недавнее возбуждение мешало ей сосредоточиться. Но Бард вспомнил:

– Ты ж тот солдат, с кем мы сидели в кабаке! Как звать-то?

– Тимофей. Радько.

И сразу вспомнила Эльвира:

– Помню. Вы предотвратили драку между Сергеем и тем усатым...

– Да, с Панасом. Он еще в Киеве. А где Сергей?

– Наступает на Киев с красными. Вот, если бы вы стояли за раду, то вам бы пришлось встретиться с ним на поле боя. А так, все будет мирно, – осторожно, словно проверяя его, сказала Фишзон.

– Што творится... – устало произнес Радько. – И представить страшно! Были вместе в окопах против немца, а теперь не понять – кто из нас немец, а кто украинец... как враги. Што творится! – снова повторил он. – А Серега добрый во-
яка, с ним опасно встречаться, – прибьет, и глазом моргнуть не успеешь.

– А вы переходите к нам, – неожиданно предложила ему Эльвира. – Тогда будете вместе с ним.

– Нет. Вот заберут красные Киев, я демобилизуюсь – и домой, домой. Сейчас опасно уходить, кто-нибудь из гайдамаков или красных поймает и расстреляет, как дезертира. Увидите Серегу, передавайте привет от фронтового друзья-
ки. Прощевайте, – сказал Тимофей и ушел.

Выйдя из казармы, Эльвира с облегчением вздохнула:

– Не думала, что так быстро все решится. Не думала.

– Ты так говорила, как я никогда, – похвалил ее Бард. – Моя жена – и такой агитатор, что не верил своим ушам и глазам.

Эльвира плотнее прижалась к нему:

– Это потому, что у нас сегодня необычный день. Мы муж и жена. Я от этого в восторге. До сих пор помню каждую минуту сегодняшней ночи и чувствую себя уверенно потому, что у меня есть муж. Вот почему я так говорила. Сама удивляюсь этому. А у тебя разве не такое?

– До этого не было. А сейчас ты напомнила, и на меня тоже восторг находит. Пойдем домой?

Но со стороны Печерска слышались пулеметные очереди, с Банковского бульвара – винтовочные выстрелы.

– Митя! Так началось же восстание! Бежим к «Арсеналу!»

В здании Педагогического музея было шумно и грязно, как никогда. Служители музея не допускали в свое время такого беспорядка. Горды мусора высились по углам, а в коридорах к грязному полу присохли раздавленные и размазанные окурки. Множество людей, – а с приближением красных таких людей в музее становилось все больше, – в военной и гражданской одежде бегали из кабинета в кабинет по полукружью фойе, по когда-то выкрашенным в белый цвет лестницам. И эта суматошная возня не прекращалась и ночью.

В кабинете Грушевского на совещание был приглашен узкий круг лиц. Инициатива уплыла из рук Центральной рады, и это было ясно всем. Необходимо было определить самые главные, коренные направления своей деятельности, принять самые неожиданные решения, которые смогли бы исправить положение. Присутствовало всего шесть человек, которых Грушевский считал способными принять без долгих обсуждений его предложения. Сам Грушевский – как председатель Центральной рады; Винниченко, который попросил освободить его от должности председателя Генерального секретариата; Голубович – украинский эсер, которому переходило освобождающееся место; Порш – секретарь во военным делам, – после освобождения этой должности Петлюрой; Ковалевский – генеральный секретарь по продоволь-

ственным делам; Христюк – писарь рады. Кроме Винниченко, который иногда проявлял строптивость, остальные беспрекословно слушались Грушевского, покоренные его верой в национальную идею.

Встретиться в таком узком составе заставляло то, что заседания Малой рады – что-то типа президиума – проводить возможным не представлялось. На заседания являлось от десятой до четверти состава Малой рады. Многие секретариаты, такие как морских дел, земельных, судебных, финансовых просто-напросто не функционировали. У них даже не было объекта для своей деятельности, хотя каждое из них регулярно выпускало постановляющие и даже циркулярные документы. Всем было ясно, что они не выполнимы, так как такого объекта управления не существовало. Но все равно бумаги этих секретарств появлялись, теша самолюбие авторов, подчеркивая важность их персон в государственной иерархической лестнице и руководимого ими дела.

Самым кратким образом описав остановку, сложившуюся на Украине и в ее руководстве, Грушевский сразу же предложил и некоторые варианты решения проблем, каждая из которых была не легче, а иногда труднее другой. По проблеме, которая рассматривалась первой, – о необходимости срочного провозглашения независимой и самостоятельной державы, отделяющейся от России, – краткое обоснование сделал сам Грушевский:

– Два месяца назад у нас были споры по определению гра-

ниц Украины. Кто-то из вас считал, что мы захватили лишнюю территорию, имея в виду восток Украины. Кто-то до сих пор считает, что российские большевики пересмотрят границы Украины. Но вы не забывайте, что есть украинские большевики, которые не дадут этого сделать. Даже если нас не будет, Украина останется в тех границах, которые очертили мы. В этом будет наша историческая заслуга. То, что Украина существует де-юре, является фактом, и мы признаны другими государствами – Англией, Францией, а значит – всей Антантой. Но вы знаете – почему. Ни Черчилль, ни Клемансо не хотят, чтобы мы вышли из войны с Германией. Сейчас ясно, что Россия заключит мирный договор с Германией на любых условиях. Поэтому Антанта держится за нас, как за святого. Германия в результате мира окрепнет и сможет перебросить часть своих сил на запад. Но Германия также признала нашу самостоятельность, и мы с ней ведем переговоры, как и Россия. Пока мы достаточно хорошо маневрируем между этими странами. Россия ведет против нас войну. Это положительный, если так можно выразиться, для нас факт. В этих условиях мы должны провозгласить свою независимость, которая с международной точки зрения обеспечена, так как нас признали европейские страны. Этим мы поставим Россию в положение агрессора против нас и сможем просить международную помощь, в том числе и военную. У кого? Я думаю, вам понятно. Тот, кто находится ближе к нам. Конечно, мы подведем своих союзников, может, прервутся

отношения с ними, но независимость для нас сейчас важнее, чем их планы. Но нам следует хоть бы и кратко рассмотреть внутренние условия. Зададим себе вопрос: а благоприятны ли они сейчас для утверждения нашей независимости? – вот этот вопрос, давайте обсудим, обменяемся мнениями.

Грушевский как профессиональный историк полно, как в своих книгах, обосновал международные факторы, но проблема внутреннего положения вызывала его затруднения. Он недостаточно знал специфику жизни российской части Украины. Теперь он посмотрел на Порша:

– Сколько у нас войска? – Грушевский не сказал частей, предпочитая общее понятие. – Могут ли они противостоять московским войскам?

Порш помедлил, крутя в руке карандаш, а потом ответил: – Пан голова! Вы не хуже меня знаете положение на фронтах. Да и фронтов у нас нет. Есть только один фронт – красно-российский. Наши полки Сирко, Грушевского... – Порш выразительно посмотрел на своего председателя, – а также другие воинские соединения без названий уже объявили о своем нейтралитете, другие перешли на московскую сторону. В Киеве некоторые части еще не приняли окончательного решения, но большевистские агитаторы ползают по казармам, как жуки, – днем и ночью. Наших агитаторов нет. Кто еще раньше нам помогал в этом, сейчас ни за какие деньги не хотят идти с нашими идеями ни к народу, ни к солдатам. Поэтому сложно говорить о верности украинских войск нам.

Я лучше назову непоколебимо верных – это отряд вольных козаков и галицийские сичевики.

– А какова их численность?

Порш тяжело вздохнул:

– В Киеве, может, человек пятьсот, а то и семьсот наберется. Но я хочу подчеркнуть, что это действительно преданные нашей идее вояки. Сейчас мы набираем на службу российских офицеров, недовольных большевистским режимом, добровольцев из студентов, гимназистов, молодых людей, готовых выступить на защиту отчизны. Уже сформированы такие первые отряды... – Порш секунду поколебался и сделал вывод: – С военной точки зрения провозглашение независимости страны не обеспечено. У нас на Левобережье совсем нет вооруженных сил, а галицийские части Западной Украины воюют сейчас в составе Австро-Венгрии против Антанты. Вот, если бы они нам дали часть этих войск при заключении мира в Брест-Литовске...

– Будем просить Германию, чтобы они оказали давление на Австро-Венгрию, и те передали нам часть галицийских войск после заключения мира, – Грушевский пожевал бледными, как и его белая борода, губами и посмотрел на Винниченко. Тот, словно понимая, что ему надо выступить, стал говорить без разрешения:

– У меня в руках текст четвертого универсала. В нем провозглашается самостоятельность Украины, прежде всего – от России. У меня несколько экземпляров, и всем его сейчас

дам, – прочтете самостоятельно. Я считаю, что честно выполнил свой долг перед отчизной-матерью и уйду с поста председателя правительства. Меня сменит мой коллега по освободительной борьбе.

Винниченко посмотрел в сторону Голубовича, – бледного анемичного юношу, председателя партии украинских эсеров, больше похожего на студента, чем на государственного мужа. Голубович от такого упоминания о нем зарделся, и сухой румянец набежал на его бескровное лицо. Винниченко продолжил:

– Может, кабинет, полностью состоящий из эсеров, не повторит моей ошибки. Я уже не раз говорил о необходимости проведения экономических реформ и, прежде всего, дать крестьянам землю, – он вспомнил разговор с Шульгиным почти месячной давности, и сердце на мгновение сжалось от жалости к себе и тому делу, которому он посвятил столько времени. – Советы давно уже делят землю между крестьянами, а мы все дорабатываем, додольываем какой-то закон о социализации земли. Надо поступать проще – и как большевики объявить, что земля отдается крестьянам, а потом принимать закон о регулировании землепользования. Простота – вот в чем успех большевиков, как у нас в народе говорят: «Простота да чистота – лучшая лепота». А мы ударились в такие сложности, что сами в них не разберемся. Да и вряд ли кто другой сразу же в них разберется. Нам сейчас необходимо хирургическое вмешательство. И его проведут боль-

шевики, совместно с украинским народом, – и вырежут нас, как опухоль на теле здорового организма! – Чувствовалось, что Винниченко литератор, и без красот в речи обойтись не может. – Я думаю, что нам не следует ожидать этой операции, а временно надо отступить, исправить свои ошибки и вновь, уже без прошлого груза недостатков, возрождать украинскую нацию. Условий для принятия универсала о самостоятельности Украины нет. Нас не поддерживает наш родной украинский народ. Текст универсала я вам дал. Решайте.

Грушевский недовольно морщился в седую бороду во время выступления Винниченко, и по ее окончании, с некоторой обидой, произнес:

– Вы что-то говорили об анатомии, операциях. Но вы знаете, что есть опухоли, которые нельзя вылечить даже хирургическим вмешательством, – они вечны. И сравнивать наше вечное во времени и пространстве национальное движение с опухолью – крайне некорректно. Владимир Кириллович, универсал, который вы сами подготовили, не нужен в настоящее время?

– Я так не говорил, – отпарировал Винниченко. – Я просто боюсь, что он может остаться простой бумажкой, как воздушный змей, плывущий по воле ветра, – его видно всем, а рукой никто не достанет.

Ковалевский понял, что наступила его очередь говорить, да и надо было прервать диалог Грушевского и Винниченко, который больно ранил сердца присутствующих. Не дожидая-

ьясь обращения председателя к себе, начал излагать другую, большую для народа, тему.

– Мы не смогли взять в свои руки продовольственные комитеты, созданные Временным правительством. Продовольственный аппарат перешел в руки советской власти. Мы ничего не смогли сделать в этой области положительного. То, что мы запретили отправлять хлеб в Россию, обернулось против нас. Украинские советы просто отвернулись от нас, и самостоятельно отправляют хлеб в Петроград и Москву. Хлебное давление на Московию обернулось войной. Украинцы продают хлеб голодающим москалям. Нам не удалось их убедить, что не следует этого делать ради укрепления нашей державы. Они еще не доросли до понимания национальных интересов. Нам не следует принимать четвертый универсал. Это одинаково, что выпустить птицу из своих рук, которая никогда назад не вернется и возможно из-за своей гибели...

Грушевский, гневно сверкнув на него бледно-синими искрами подслеповатых глаз, резко ответил:

– Вы не представляете всю важность этого документа, его долговременную, а не сиюминутную значимость. Из истории мы знаем, что народ часто был не готов к организованной борьбе, но, когда появлялись революционные воззвания, этот же народ дружно вставал под знамена своих героев. Помните Гарибальди?! Он герой. Может, через много лет так скажут и о нас. Важнейший документ, заряжающий горя-

чие сердца, может в корне изменить обстановку. Теперь я перехожу к самому главному, почему мы просто обязаны признать наш универсал о независимости... – голос Грушевского стал глуше и напряженнее, в нем послышалась внутренняя дрожь. – Может быть, нам не придется воспользоваться его взрывной силой сейчас. Но знайте – он навечно войдет в нашу историю, и на него будут ссылаться будущие борцы за самостийность Украины. Пусть пока это будет даже беспредметным фактом, но нам за него будут благодарны потомки.

Грушевский, когда произносил эту речь, даже привстал из-за стола, глаза его увлажнились, а руки от волнения тряслись мелкой дрожью. Винниченко повернулся к нему и тяжелым, без выражения голосом спросил:

– Так вы, уважаемый Михаил Сергеевич, не верите в нашу нынешнюю борьбу за возрождение Украины?

Грушевский трагически взмахнул рукой:

– Верю, и не просто верю. Эта борьба стала частью моего существа. Но вы все, молодые люди, вы пока не можете всего предусмотреть. Я прочитал тысячи, может, миллионы книг, прожил больше вас и в некоторой степени осмыслил процессы национально-освободительных войн многих народов. Поэтому, поверьте моим историческим знаниям – нам необходимо срочно принять этот универсал.

Тут вмешался Христюк:

– Вы, Владимир Кириллович, должны извиниться перед вождем украинского возрождения. Такая резкость недопу-

стима к старшему по возрасту человеку и голове нашей державы. Мы, живя под игом Австро-Венгрии, мечтали о таком документе. И пусть мечты даже той малой части украинского народа сбудутся и, наконец, станут реальностью.

Винниченко недовольно, в знак извинения склонил голову. Голубович ломающимся, как у юнца, голосом сказал:

– Я тоже поддерживаю принятие четвертого универсала. Здесь не может быть вопросов. Мой кабинет должен возглавить новую независимую Украину, а не ту, которую вы мне оставили. Предлагаю назвать правительство советом министров, а не Генеральным секретариатом. А то большевики говорят, что в нем сидят генералы.

Он так же неожиданно, как и начал говорить, закончил, словно выдохнул все разом. Все промолчали в знак согласия. Вопрос о новом названии правительства можно было считать решенным, Грушевский продолжил свое выступление:

– Думаю так, что на ближайшем заседании Малой рады мы должны принять четвертый универсал. Я предполагаю, что найдутся и противники его принятия, что показало сегодняшнее заседание. Поэтому сделаем так: завтра на заседание соберем лишь тех, кто не будет активно возражать против введения историю данного факта. Чтобы не спорить. Договорились?

Все согласно кивнули. Винниченко снова попросил слова:

– Как мы выяснили, у нас нет ни политических, ни социально-экономических оснований для провозглашения неза-

висимости. Еще неделя-другая, и нам придется покинуть и Киев, и саму Украину. К этому по-разному отнесутся наши союзники и противники. Наибольшую опасность представляют большевики. Они используют наш документ для раздвигания антиукраинских настроений и обвинят нас в том, что мы, не спросив мнения народа, втайне от него, – самое главное: самолично, – решили захватить власть не для украинского народа, а для ее западной части. Я уверен, тогда от нас отвернутся все, даже наши старые соратники. Тяга народов Левобережья к России страшно велика, они свыклись жить вместе, в необъятной стране. Нас эта большая часть населения не поймет. Поэтому самостоятельность мы можем принять, но пока не стабилизируется обстановка и дела не пойдут в нашу пользу, об этом историческом факте не стоит широко всех оповещать. Об этом должны знать только руководители и наши преданные сторонники, а остальных готовить к мысли, что самостоятельность неизбежна. Если же мы вот так неожиданно объявим об универсале, то реакция к нему и к нам будет крайне недоброжелательная.

Винниченко сел и заговорил Христюк:

– Я не могу согласиться с уважаемым Владимиром Кирилловичем. И сейчас у нас есть противники, а с приходом большевиков их станет намного больше. Поэтому надо широко оповестить народ о четвертом универсале. Это мое мнение, но оно опирается на знание интересов народа.

– Вообще-то, – начал Голубович, – я должен согласиться с

бывшим председателем. Моему правительству сейчас нужно хоть немного времени относительного спокойствия, чтобы принять ряд решений, которые бы помогли стабилизировать обстановку.

При этих словах Винниченко поморщился.

– Поэтому, – продолжал Голубович, – я думаю, что этот документ надо принять, оповестить о нем всех союзников, но пока в печати не обнародовать. Мы его опубликуем в самый трудный для нас момент или наоборот – при наших победах.

Грушевский, пожевав губами что-то несуществующее, кивнул:

– В этом предложении есть смысл. Пока широко не будем сообщать о нашем универсале. Не следует подливать масла в народный костер борьбы. Но принять документ, чтобы с нами разговаривали все иностранные державы, как с равной державой, мы обязаны. Их об этом оповестим и поставим вопрос о равноправном сотрудничестве. Нет возражений?

Возражений не было. Авторитет и учительское отношение к своим соратникам были главными козырями Грушевского. Он обратился к Поршу:

– Вы не скажете, где сейчас Петлюра и сколько у него войска?

– Он под давлением красного бандита Муравьева отступил из Полтавы, со своим кошем. От прямых боев уклоняется. Силы неравны. По последним данным он был в Гребен-

ке. Сейчас он эвакуирует имущество складов Юго-Западного фронта. Нам сейчас крайне необходимо оружие, обмундирование, продовольствие и многое другое. Нельзя, чтобы имущество фронтов попало к красным. Скоро со всем этим имуществом пан Петлюра прибудет в Киев.

При упоминании о Петлюре Винниченко скривился: «Грабежом занимается», – подумал он.

– Хорошо, – Грушевский как бы подвел итог рассмотрения вопроса о независимости. – Хорошо, что Петлюра возвращается в Киев. Его присутствие, несомненно, внесет свежую струю в нашу деятельность, активизирует нашу работу. Его удаление из правительства было нашей ошибкой... – он повернулся к социал-демократу Винниченко. – Здесь сыграли роль политические и личные амбиции социал-демократической партии. Как я понял, наши войска не вступают в бои с красными. Это не способствует повышению национального самосознания, истинно козацкого духа. Но есть и положительный момент – мы сохраним своих воинов для будущих сражений.

Наклонившись над столом, через кружки очков рассматривал бумаги, потом поднял голову:

– И еще один важнейший вопрос, по которому мы должны без всяких интерpellаций принять определенное для всех решение. Наша делегация в Брест-Литовске ведет переговоры с Германией и Австро-Венгрией. Они готовы заключить с нами мир, невзирая на противодействие России. Я думаю,

что вы согласны с такой постановкой вопроса. Немцы разговаривают с нами, как с самостоятельной державой, и это очень приятно. Они отсекают в ходе переговоров Украину от России, и украинские вопросы с ними не обсуждают. Это успех нашей дипломатии, признание важности существования нашей державы, ее влияния на международные проблемы. Немцы дали нам понять, что они готовы нам, как самостоятельной державе, оказать военную помощь в войне с большевиками и всей Московией. И эта помощь не простая, в виде присылке галицийских отрядов, – армия Германии и Австро-Венгрии готова сама вступить в войну с большевиками на территории Украины. Но за это они требуют ряда уступок от нас...

Перебив Грушевского, неожиданно торопливо стал говорить Христюк:

– Австро-Венгрия требует, чтобы Западная Галиция, Волынь не были присоединены к основной части Украины. Этого наша делегация на переговорах не должна допустить. Надо добиваться целостности державы. Мы, как я говорил, всегда мечтали о воссоединении с Киевом. Я вижу, что у некоторых членов правительства другое мнение, они готовы торговать нашей землей. Я считаю, что нельзя допускать никаких уступок в Бресте по этому вопросу.

Но присутствующие в ответ на его тираду молчали. Грушевский до революции, будучи профессором Львовского университета, выступал с заявлениями, что Австро-Венгер-

ская империя – это образец национального устройства государства, и лучше находиться в ее составе, чем в России. И сейчас он был не склонен отречься от своих взглядов. Его мнение склонялось к тому, что переговоры не должны быть сорваны из-за неуступчивости украинской делегации по территориальному вопросу. И он, понимая состояние Христюка, как можно мягче сказал ему:

– Временно расчленив Галицию между Австро-Венгрией, Польшей и Украиной, мы не совершим большой стратегической ошибки. Роковой ошибкой будет то, что мы не сможем заключить мира с Германией. Потом мы будем как всегда добиваться воссоединения украинских земель, и сделать это будет легче, так как будем иметь дело с цивилизованными европейскими странами. А сейчас нам надо отступить в этом вопросе ради борьбы с Московией. Она сейчас, как и всегда, наш главный враг. Австро-Венгрия дала автономию Галиции, а Москва никогда не ставила перед собой такого вопроса. Она умела только поглощать и русифицировать наш народ, вбивать в его голову имперское сознание об общей большой державе, лишала нас родины, выкачивала умственные ресурсы, обрекая на роль московского Ваньки, не знающего родства. Поэтому уступка в территориальном вопросе – это тактический ход, после которого мы, собравшись с силами, уже уверенно не только вновь поставим этот вопрос, а просто заберем свои земли обратно... я думаю, всем понятно?

Христюк угрюмо молчал.

– Следующее требование Германии – это рассчитаться за их военную помощь в войне с большевиками, – продовольствием. В частности, только хлеба они просят... – Грушевский посмотрел подслеповатыми глазами в бумаги. – Э-э... шестьдесят миллионов пудов. У нас есть такие возможности?

Он посмотрел на Ковалевского.

– Хлеб еще есть, но вот как его взять у крестьян – вопрос трудноразрешимый. За бумажные деньги крестьяне не дадут ни зернинки. Нужен товарообмен, а товаров у нас нет. Военские части выступают против реквизиций у крестьян хлеба. Вот, если бы Германия послала нам побольше сельскохозяйственного инвентаря, мануфактуры, то тогда бы можно было что-то собрать, но и то – не шестьдесят миллионов пудов. А еще же им надо дать почти три миллиона пудов мяса, миллионы яиц, цистерны масла и многое другое. Без германских товаров мы ничего у крестьян не возьмем.

– У меня есть сведения, – вмешался новый премьер Голубович, – что армейские склады и помещичьи имения разграблены крестьянами. Вот это разворованное и должно быть отнято у крестьян. Об этом надо сразу же указать Германии. Пусть ее войска помогут нам в реквизициях награбленного имущества. И для этого есть все юридические основания.

Но его перебил Винниченко:

– Вы не в самую глубину смотрите, пан премьер! – впервые назвал он его так, что вызвало довольное смущение Голубовича. – Весь этот хлеб, скот, инвентарь попал не в руки бедняков, а, в основном, в руки зажиточных крестьян, кулаков. И если мы начнем изымать у них хлеб, мы к недовольным нами беднякам прибавим и кулаков. А они опаснее большевиков. Не надо настраивать против себя зажиточные слои села. Они являются нашей национальной опорой.

Грушевский, выслушав двух премьеров, – бывшего и настоящего, – сказал:

– Но без этого пункта Германия и Австро-Венгрия не подпишут с нами мир и не окажут нам помощи. Надо этот пункт включать.

Все снова промолчали в знак согласия. Такие уступки не нравились членам кабинета министров, они сводили на нет всю их власть. Но Россия для них был наибольшим злом, и приходилось выбирать наименьшее. Но тревожные мысли оставались. А как к такому миру отнесется народ? Когда в семье скандал – даже добрый сосед не нужен в хате. А здесь далекий сосед, иноземный...

Обсудив еще несколько текущих вопросов, присутствующие на заседании разошлись.

Грушевский устало откинулся в кресле: «Эх! – с тоской подумал он. – Нет у нас умных государственных мужей. Нет! Мальчишку Голубовича ставим к рулю руководства державой. Остальные просто наслаждаются своими постами, лю-

бят процесс работы, а не ее конечную цель. Сложно с ними. Но с кем работать, творить новую державу? Только с ними. Больше не с кем. Быстрее бы прибывал в Киев Петлюра. Он сможет нам дать энергию. Быстрее бы!»

В дверь постучали, и вошел Орест Яцишин с винтовкой на плече, видимо, для того, чтобы показать Грушевскому, что он готов идти в бой.

– Извините, батько, – торопливо и смущенно, некрепким юношеским баритоном произнес он, – я подумал, что дома не успею вас застать, и решил забежать сюда. Сегодня наш студенческий сичевой курень отправляется на фронт против москалей. Времени мало, скоро отправляется поезд. Вот и решил навестить вас на работе. Попрощаться.

– Как – попрощаться? – шутливо-строгим голосом ответил Грушевский. – Вы, молодь – наше будущее, вам и строить державу. Вы победите большевиков. Я в этом уверен.

– Я тоже, батька, уверен.

– Орест, скажу только тебе. Скоро наша держава станет независимой ни от кого. Почему я это говорю? Потому что вам, молоди, ее незалежность отстаивать.

– Независимой? – радостно выдохнул Орест. – Этого мы ждали всю жизнь! Когда об этом будет объявлено?

– Скоро. Точнее – завтра.

Орест порывисто подвинулся к Грушевскому:

– Спасибо вам, батька, за это. Я сейчас всем скажу хлопцам об этой радости.

– Нет, – остановил его Грушевский. – Пока не говори. Я тебе сообщил государственную тайну. Только тебе, – подчеркнул голова рады, – близкому мне человеку.

– Как – тайна? – удивился Орест.

– Об этом я сказал только тебе! – уже жестко повторил Грушевский. – И пока об этом никому ни слова.

Орест кивнул. В дверь заглянул адъютант, который, зная Яцишина, пропустил его без доклада. Грушевский понял, что пора прощаться. Он подошел к Оресту, обнял его и поцеловал в лоб:

– Побед тебе и твоим друзьям в нашей великой борьбе. Береги себя.

– Спасибо, батька. До свидания!

Орест повернулся и пошел к двери. У Грушевского защемило в груди, когда Орест подпрыгивающей мальчишеской походкой, с непривычно болтающейся винтовкой на плече выходил из двери. «Куда им воевать? Там же у большевиков фронтовики, знающие войну не понаслышке и стрельбу не в тире. А это дети. Куда им воевать? Только дух показать. Куда они? На смерть». Старческая слеза скатилась по одутловатому лицу и убежала в бороду. Вошел адъютант. Грушевский, полуотвернувшись от него, украдкой вытер слезу, снял очки и платочком стал тщательно протирать их стекла. Ни адъютант, никто другой не должны видеть его минутной слабости.

На другой день тридцать девять человек, специально при-

глашенные на закрытое заседание Малой рады, приняли тайком от своего народа четвертый универсал о самостоятельности Украины. Опубликовать этот документ решили позже, – но когда точно, не определили. Тайну нельзя раскрывать народу раньше положенного времени.

Винниченко после заседания покинул здание Педагогического музея раньше, до наступления темноты. Автомобиль с охраной ждал его. Но эта услуга оказывалась ему в последний раз. Морозный воздух бодрил и отвлекал от привычных надоевших дел. Винниченко сел в автомобиль на заднее место, спереди расположился охранник, рядом другой. Автомобиль тронулся по Владимирской, свернул к Большой Васильковской. На углу находилось издательство газеты «Киевлянин», которым более пятидесяти лет владели Шульгины. Винниченко вдруг почувствовал острую необходимость поговорить с нынешним ее издателем, о котором он сегодня мысленно вспоминал – Василием Витальевичем Шульгиным. «Умница, – подумал он о Шульгине. – Только жаль, что не наш». Он приказал шоферу остановиться, а охране подождать его, и вошел в здание редакции. Спросив посыльного, здесь ли Шульгин, и получив утвердительный ответ, Винниченко произнес:

– Голубчик. Пока я буду подниматься к хозяину, вы бежите вперед и спросите, может ли он меня принять.

Зная, что здесь разговаривают только по-русски, Винниченко обращался к посыльному по-русски. Тот, узнав по портретам главу украинской рады, побежал бегом по лестнице на второй этаж, а Винниченко степенно, по-барски по-

следовал за ним. Не успел Винниченко подойти к кабинету редактора, как дверь открылась, и вышел Шульгин.

– Добрый вечер, Владимир Кириллович! Вот кого не ждал у себя, так это вас. Проходите. Искренне рад.

– Я сам не ожидал, что появлюсь в ваших владениях, да вот ехал на автомобиле, думаю, дай загляну.

Они вошли в кабинет, и Шульгин предложил сесть за журнальный столик.

– Может, распорядиться, чтобы принесли чаю или чего вы пожелаете? – осведомился Шульгин.

– Нет. Спасибо, Василий Витальевич. Я хочу с вами подругески поговорить. Прояснить некоторые вопросы. Вы в политике умудренный человек, известный... недаром были членом трех государственных дум, близки к царю.

– С каких пор я стал вам другом? – усмехнулся Шульгин. – А царя знал... которого вы мечтали свергнуть. Но свергли его не вы и большевики, а другие.

– Кто это – другие?

– Буржуазия, военные и политики. Это был мощный государственный заговор. Николай Второй слишком глубоко воспринял идею личной ответственности семьи Романовых за Россию. И никак не хотел поделиться властью с другими. Царь жил при феодализме, а в России уже капитализм. Надо было ему что-то уступить во власти. Я его просил перед отречением посмотреть реальности в глаза, но он не захотел и предпочел временно уйти. Так он рассчитывает. Но, к со-

жалению, к власти пришли политики, стали делить российскую добычу, поэтому не удержались у власти – и их свергли большевики. Но не вы их свергли – социал-демократы разных национальностей и мастей, – а, как ни прискорбно, большевики.

– А кто был во главе заговора?

– Все были главными, но был координационный центр. Это секрет на долгое время. Когда на престол вернется царь, об этом можно будет рассказать.

Конечно, Шульгин многое знал из жизни политического закулисья России, но и он был связан тайными обязательствами перед кем-то более высшим. Больше об этом Шульгин говорить не стал, а Винниченко не посмел задать ему вопросы на эту тему.

Шульгин – талантливый журналист и редактор, Винниченко – талантливый писатель и драматург. Шульгин – менее талантливый писатель, Винниченко – менее талантливый журналист. Оба давно известные политические деятели – один на монархических позициях, другой на социалистических. Оба – любимцы женщин, о чем знали и Петербург, и Киев. Винниченко – организатор украинского национального движения, его вдохновитель. Шульгин – известный деятель российского монархического движения. Много у них в жизни было общего – только взгляды разные. Они действительно не были дружны друг с другом, более того – часто обвиняли один другого публично в неправильности взглядов

и действий, но жизнь иногда уготовливала им такие встречи, где они беседовали не как политики, а как обыкновенные «человеки». Они были как плюс и минус, а кто из них с каким зарядом – непонятно. Но между этими двумя плюсами находилась страна и народ – человек с конкретной судьбой, и магнитное поле, образующееся из этих двух сил, могло или все сжечь, или наоборот – благотворно повлиять на все и дать импульс цветущей жизни. Но сейчас они были оба одного заряда, не соприкасающегося друг с другом, а отталкивающиеся, и крохотной пленкой, не дававшей им соприкоснуться, был многомиллионный народ, отрицающий их крайние позиции. Сколько еще было в России в это время магнитов и магнетиков, притягивающих к себе какую-то часть хрупких, человеческих судеб, ломающих и уничтожающих их.

Сейчас, в Киеве Шульгин в глубокой тайне создал организацию «Азбука» и числился в ней под буквой «Веди». Он и его соратники боролись, пока без привлечения широкого круга лиц, против большевизма, украинского национализма, одновременно почему-то оставаясь верными монархии. Как когда-то говорил Ленин «...страшно далеки они от народа». И это было верной оценкой не только декабристов, но и политиков семнадцатого года.

– О чем же вы хотели со мной поговорить, уважаемый Владимир Кириллович? Какой вдруг вопрос стал беречь вашу душу, как червяк – корень яблони? – употребил Шуль-

гин фразу из произведения Винниченко.

Винниченко с удивленной благодарностью взглянул на него.

– Вы даже читали мои книги? Очень приятно, я вам благодарен. Но о серьезном. Мне бы хотелось узнать ваше личное мнение о сегодняшнем политическом моменте и... что будет дальше.

– Что есть – то и будет. Все проиграли. Мы на данный момент – Россию, вы – Украину. Но мы также пока проиграли и Украину. Но вы, в отличие от нас, проиграли то, чего не имели никогда. А мы потеряли то, что имели. В этом наше сходство и отличие.

– Согласен с вашей оценкой. Мы оба проиграли, но я считаю, мы оба стали умнее и, когда все вернется на круги своя, мы все это снова повторим на более высоком уровне, с учетом нашего опыта. Будет у нас новый царь, только не тот, что прежде, а конституционный, а потом... наши движения не могут жить без революций. И периодически мы будем менять страну и народ, приспособливая их в ходе революции к себе.

– Я последние годы занимался вопросом психологии государств. Что-то мне стало понятней, другое наоборот – запутанней. Но вы правы в том, что России нужен царь, как вы правильно выразились – конституционный, даже временный. Но царь. Только он один может удержать огромнейшую страну в руках, целую и неделимую. Нужен божественный

символ собирания всех народов, и им может быть только российский царь. Не будет царя – Россия развалится. Западная демократия – не для нас. Эта демократия заведет все человечество в тупик. Мы – своеобразная страна, живущая не во времени, а в пространстве. Эти философские категории были для нас несовместимы никогда. Пространство требует медленного течения времени, а соседи и их история нас всегда подстегивали. Пытался Петр Первый совместить эти противоположности, а к чему это привело – к жертвам. Хотела этого Екатерина Великая – снова кровавые восстания. Наполеон захотел подстегнуть российское время, но замерз на наших пространствах. Столыпин решил воплотить в жизнь идеи великих людей – снова жертвы, и сам он пал здесь, в Киеве, древнерусской столице. Теперь привести к равенству эти два понятия хотят большевики. Но они идут дальше, чем предыдущие реформаторы. Они хотят обогнать время, не понимая, что пространство не даст им этой возможности. И снова будут моря крови. В этом трагедия России. Она непонятна даже блестящим западным умам, которые привыкли смотреть на нее через треугольную стеклянную призму, не понимая, что существует в России еще четвертое измерение, и этим измерением всегда пользовались наши еще более яркие, чем на западе, умы и деятели. Но именно эту грань ума и красоты у нас беспощадно отламывали, изымали и старались вернуть нас в трехмерное пространство, где углами являются – безумная власть, беспредельное состояние немно-

гих и скрытый национальный дух. Но у нас есть еще нераскрытая грань, которая периодически то затачивается, то тупеет – народ. Русский народ оказался выше национального духа, и обидно признавать – он стал интернационалистом. В этом его беда, вылившаяся в победу большевиков.

Винниченко с любопытством слушал философствование Шульгина.

– Ну, а как Украина в вашем времени и пространстве? Какие грани имеет украинский народ, кроме национального духа? Какую роль вы нам отводите?

– Гм... одна часть Украины жила в пространстве. Другая, галицийская – около того времени, состоящая из часов, минут и даже секунд, которые им подкидывали европейские держатели тысячелетий, веков, годов, выделяя таким образом этой части жалкие крохи. И другая часть Украины возомнила себе, что и ей подвластно время. А время подобно зверю в клетке, жаждущему пространства, и он желает, чтобы кончилось время заточения, старательно свертывает его, суживает и мечтает о покорении пространства. Не имея знания о времени, он несет в пространство боль, слезы, войну и кровь. Кроме жажды всевластного подчинения у него нет иных мыслей, он по своей сути не созидатель, а разрушитель, и этим опаснее большевиков. Есть две Украины, и они несовместимы. Они как две планеты,двигающиеся по своим орбитам – малой, бегом, суетливо, не замечая красоты Вселенной, и большой – величественно, в пространстве, и ее видит

Вселенная... и гордится. Российская Украина уже привыкла к пространству, и ей надо без суеты постигать время. Время должно быть подчинено пространству. Это стратегия жизни.

– У вас достаточно пессимистические взгляды на будущее Украины, тем более на ее западную часть, представленную зверем. Но в чем-то вы и правы, хотя не до конца понимаете суть нашего национального движения. Каждый народ, как говорят большевики, имеет право на самоопределение. Только вот на нас почему-то это право не распространяется. А наш народ хочет самостоятельности.

– Народ хочет! – прервал его Шульгин. – Народ многого хочет! Народ – это труд, а государство – закон, а между ними душа, которую они совместно распинают. Сейчас распинаете душу вы с большевиками. Она корчится, плачет, не знает, что делать. К старому возврата нет, нового не знает. И этим все пользуются. Что ей остается делать? Умирать. А кто останется? А что останется, будет без души, хотя сейчас у нее остались кусочки старого и заронены зерна будущего. Но старые кусочки рассыплются, зерна не взойдут – и души не будет.

– А что же будет?

– Телесный контур, бредущий по пространству и тянущий за собой время.

– Да... – Винниченко вздохнул. – Мрачная перспектива. Но что же вы думаете о сегодняшнем дне?

– Я уже сказал. Месяц назад у нас с вами была еще неболь-

шая возможность объединения против большевиков. Но вы уперлись на своей самостоятельности, и создать общий фронт не удалось. А теперь нас на Дону, вас здесь – они по отдельности уничтожают. Мы силы для решающего похода соберем не скоро, а у вас просто и нет таких сил. И вам придется первыми уйти с политической арены. А мы все же попытаемся сопротивляться.

Винниченко вспомнил сегодняшнее заседание у Грушевского и на что надеется опереться украинская власть и, стараясь не сказать чего-нибудь лишнего, начал осторожно говорить:

– Вы ошибаетесь в своих рассуждениях, Василий Витальевич. Нынешнее наше поражение – это залог наших будущих побед.

Увидев ироническую улыбку на лице Шульгина, он решил не обращать на нее внимания, стараясь весомее выложить свои аргументы на рассуждения собеседника.

– Пусть мы проиграли Левобережную Украину, русифицированную за два с половиной века. Но есть еще другая, как вы выразились, – порабощенная, заключенная в тюрьму, Украина. Да, она как зверь в клетке, жаждет свободы и скоро, буквально в ближайшее время она ее получит, и этому зверю действительно нужно будет пространство для обитания – строго очерченные границы ее владений. Вот она-то и спасет остальных братьев по крови, а если потребуется – заставит других силой служить своей великой идее. Хоть вы всю

жизнь прожили на Украине, но ее не знаете. Вы привыкли смотреть на нее из Петербурга, а внутрь сердца не заглядывали. А там чистая, непорочная душа, которая жаждет своей державы, и эта держава будет эту душу лелеять, кохать, как любимую дитину или хрупкую дивчину...

– Ну! – засмеялся Шульгин. – Это у нас пошла литературщина. То о звере, то о любви...

– Да, вначале нужен зверь – как гарант охраны человеческой любви.

– В своих рассуждениях вы идете дальше и говорите страшнее большевиков.

– Может быть. Но надо любым способом спасти эту душу. Вы ее не знаете, и я более, чем уверен – вы хотите ее уничтожить. Сейчас вы, конечно же, в своих мыслях на стороне большевиков. Так?

– Да. В данный момент я рад, что большевики уберут вас, и тогда нам ничто не будет мешать в объединении здоровых сил против большевизма.

– Выходит, наши национальные силы нездоровые? Сурово вы нас осудили! – Винниченко помолчал, колеблясь – продолжать ли далее разговор, потом решил. – А если мы без вас справимся с большевизмом на Украине? Пригласим, например, на помощь наших друзей. Союзников. Как вы к этому относитесь?

Шульгин встрепенулся, и синие глаза его потемнели.

– Я вам когда-то говорил, что вы всегда надеетесь на доб-

рого дядю. Но дядя добр, когда обещает. А когда добивается своего – он превращается в хозяина. Я уже думал об этом, а в последнее время стал уверен, что вы предоставите Германии возможность для оккупации Украины.

Винниченко побледнел от мысли, что Шульгин разгадал намерения Центральной рады, и он стал говорить как можно более ровным голосом:

– Ну, нет. Это вы сами домыслили, особенно насчет Германии и какой-то оккупации. У нас же есть не только противники, как Германия, но и союзники, – в лице той части мира, которая борется против немцев. И они мощнее своего врага.

– Вы союзникам нужны, как камень под боком России... и еще как пушечное мясо. Помощи сейчас они вам не дадут, кроме устных клятв о дружбе и то – произнесенных дипломатическим клерком, а не членом правительства. Это вы продадите немцам свою горячо любимую неньку-Украину позорно и бесстыдно, с открытыми глазами. А кошачьи очи – дыму не боятся. И с этими наглыми глазами захотите и дальше продолжать руководить проданным вами народом. И все вы делаете для того, чтобы выгнать российские войска, а не большевиков. Но вы не видите долговременных последствий этой акции. Эта оккупация позволит немцам затянуть проигранную ими войну и послужит укреплению власти большевиков. Это лишние жертвы со всех сторон, но особенно – с нашей и вашей. Вот тогда весь мир будет тыкать пальцем

в правительство, которое вы возглавляете, затянувшее и без того долгую войну. Вы хотите всемирного позора и презрения?

– Я же сказал, что мы не думаем отдавать Украину немцам. А перед этим, говоря о звере, я назвал ту силу, которая может остановить большевиков.

– Галиция – это не сила, а вонь! – отмахнулся Шульгин. – Но вот как отнесется народ к приходу немцев? Он же вас проклянет на все века. Хотя народ у нас прекрасный, отходчивый, и он быстро забывает плохое и тех, кто это сделал. Вы любите себя, свою вздорную идею, а не народ, от имени которого вы печетесь ради маленькой группы людей. То, что вы сделаете, будет означать конец всем мирным преобразованиям, начнется насилие, но уже не духовное, а физическое.

Винниченко твердо произнес:

– Я лично и мой кабинет никогда не подпишет никакого документа, позорящего нашу идею и наш народ.

Шульгин открыто улыбнулся:

– Я всегда знал вас как честного человека, этим вы выделяетесь среди своих коллег по идее. Ваши честные, реалистические рассказы мне всегда нравились. В них действительно присутствует народный, а не придуманный национальный дух.

– А пьесы? – довольный похвалой профессионала, спросил Винниченко.

– В пьесах, на мой взгляд, очень много символизма. По-

этому они не совсем близки моему восприятию. Но это мое личное мнение. Впрочем, сценический успех ваших пьес, противоречит моему мнению, – уклончиво ответил Шульгин.

Винниченко растаял, и литератор в его душе победил политика.

– Я не говорил вам о том, что с завтрашнего дня я уже не председатель генерального секретариата? Да и секретариата больше нет.

– Как?

– Да, сегодня принято такое решение, – улыбнувшись, ответил Винниченко. – Теперь будет совет министров. Прощай национальный колорит в лице генерального секретариата! Поэтому я больше не буду подписывать никаких документов, унижающих меня как личность.

– Что же вы об этом раньше не сказали? Я бы дал это сообщение в номер.

– Завтра будет официальное сообщение.

– Если вы ушли по личным мотивам, то вы достойный человек, если по политическим – вы честный человек. А куда же вы? Чем будете заниматься?

– Хочу поехать на родину, в Геничesk. У меня много творческих планов, задумок. Пора их реализовать. Да и отдохнуть надо.

Разговор был закончен. По виду обоих можно было предположить, что они им довольны. Особенно тем, что поли-

тические разногласия не смогли помешать откровенному и дружественному объяснению. Шульгин проводил гостя до лестницы и крикнул посыльному, чтобы он проводил Винниченко далее.

По дороге домой, в автомобиле, Винниченко мучительно думал: «Что делать? Как исправить положение?» и приходил к выводу – везде тупик.

«Арсенал» был центром восстания, к которому притягивались взоры его сторонников и противников. Попытка «вольных козачков» разоружить рабочих окончилась для них неудачей, и они были изгнаны с завода. Потом в течение нескольких дней завод переходил из рук в руки. Его брали сичевики, но рабочие снова изгоняли их. Существовала договоренность с наступающими красными о начале восстания в тот момент, когда они подойдут к Киеву, и этим облегчат взятие древней русской столицы. Но постоянные налеты на завод «козачков» и сичевиков, попытки вывезти оружие, боеприпасы и станки с «Арсенала» накаляли обстановку. В городе расклеивались и распространялись листовки, в которых говорилось:

«Товарищи! Чаша долготерпения украинского народа переполнилась. Наглежащая с каждым днем контрреволюция, свившая себе прочное гнездо в Киеве под прикрытием Центральной рады, дошла до того предела, когда уже нельзя дальше терпеть этого. Пришла пора и украинскому народу – украинским рабочим, крестьянам и солдатам – свергнуть господство панов и взять всю власть в свои руки, как давно сделали это их русские братья. Настал час, когда и на Украине вся власть должна перейти в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов...»

Противостояние обострялось. Создавались красногвардейские рабочие отряды. Многие солдаты из украинизированных полков перешли на сторону восставших. Радовских войск явно не хватало для контроля за положением в городе. Достаточно было одного неосторожного слова или движения, чтобы одиночные выстрелы превратились в беспрерывную, несмолкаемую канонаду.

17 января восемнадцатого года рабочие-арсенальцы уже с оружием в руках отбили атаку наступающих на завод гайдамаков. Сразу же началась стрельба по всему городу. Отряды красногвардейцев вступили в бой с гайдамаками. С Шулявки и Подола красные наступали на Педагогический музей, чтобы арестовать Центральную раду. В их рядах находились Бард и Фишзон, успевшие за эти три дня побывать во многих горячих местах. Гайдамаки вначале избегали вступать в прямые бои с восставшими, но, когда красные вышли к Андреевскому собору, с его золотыми луковицами колоколов, их сопротивление возросло. Красным подниматься и идти в атаку не хотелось. Чувствовалось отсутствие военных навыков у рабочих. Но неожиданно подошла помощь – более сорока солдат украинского полка имени Сагайдачного решили выступить на стороне красных. Среди них находился Тимофей Радько. Командовал отрядом тот самый унтер, который когда-то вел собрание представителей полка. Он и взял на себя руководство военными действиями.

Решено было выбить гайдамаков, засевших в домах во-

круг Софиевской площади. С этой целью решили провести два обходных маневра: прямо – через территорию Софийского собора, и со стороны Владимирской горки. Эту часть операции взяли на себя солдаты-сагайдачники, а рабочие с несколькими солдатами должны были прикрывать их огнем. Эльвира и Бард заняли место на втором этаже в узком переулке, из которого просматривалась вся площадь. Оба были возбуждены происходящими событиями. Черные глаза Эльвиры блестели и казались еще темнее, чем были на самом деле. Оба были вооружены револьверами. Нервно покручивая барабан револьвера, Бард всматривался в противоположную сторону Софиевской площади, которая в свете неяркого зимнего дня просматривалась плохо. Наконец, он увидел в одном из противоположных окон гайдамака с винтовкой.

– Смотри, – дрожащим голосом обратился он к Эльвире, – вон гайдамак.

Ему страшно хотелось убить хоть одного врага, и это нервное чувство переполняло его. Бард прицелился из револьвера и выстрелил, потом еще раз, но не попадал. Подошел Тимофей.

– Куда стреляешь?

Бард стал показывать на окно, где находился гайдамак. Его увидел и Тимофей:

– И ты хочешь попасть в него из этой рогатки! Дай-ка я. И он стал прицеливаться из винтовки. Раздался выстрел, и Тимофей выругался:

– Не попал!

Вскоре на другой стороне площади послышалась стрельба, один из отрядов вышел в тыл противника. Раздалась команда «Вперед!», и красногвардейцы, прижимаясь к каменному забору Софии, перебежками вышли на брусчатку Владимирской улицы. А где-то через полкилометра находилось здание Педагогического музея, где расположилась Центральная рада. В отряде раздавались ликующие возгласы: «Берем раду!», «Арестовать их и сразу же к стенке. Хватить мутить народ!», «Спустим их в Днепр, нехай плывут в Турцию!».

Отряд бросился по улице вперед – цель вроде близка. Но пройти не удалось и пятидесяти метров. Возле гостиницы «Прага» и в прилежащих домах наблюдалось скопление «вольных козаков» и сичевиков, и их сильный пулеметный и ружейный огонь вынудил наступающих залечь. Рассредоточившись во внутренних дворах домов, красные все равно двигались вперед. Солдаты-сагайдачники прошли по крышам домов, ворвались в гостиницу, и гайдамаки стали выпрыгивать из окон, – и кому посчастливилось приземлиться нормально, убегали в сторону оперного театра. Но потери были и среди наступавших, и притом большие. Раненых и убитых относили в ограду Софии, где сердобольные монашки перевязывали их или произносили молитву за упокой... но живые хотели идти только вперед, до Педагогического музея оставалось всего два квартала... казалось, еще

немного – и генеральные секретари рады будут в их руках... еще немного... чуть-чуть.

Но неожиданно из окон домов, где сидели сичевики, одновременно в нескольких местах появились белые флаги. «Сдаются!» – радостное волнение прошло по рядам красных. И они в ответ также подняли белый флаг: «Согласны на переговоры». На середину Большой Владимирской вышли три сичевика с белым флагом и подошли к гостинице, где красный командир начал с ними переговоры. Но в это время пришел усталый и измученный повстанец с завода «Арсенал». Из его сбивчивого рассказа поняли, что там положение плохое. Гайдамаки полностью окружили завод. Силы защитников на исходе. Необходима срочная помощь, прежде всего – людьми. Красный командир сообщил своим, что рада предлагает провести переговоры и готова сформировать новое правительство с участием большевиков.

Такое сообщение вызвало у бойцов противоречивые чувства. Всем было ясно, что рада этими переговорами хочет оттянуть время и ждет военной поддержки. Но нельзя было бросать арсенальцев. Поэтому решили немедленно отправить пятьдесят человек на помощь «Арсеналу», а остальные останутся здесь. Но сил для дальнейшего наступления на штаб рады не оставалось. Поэтому было решено продолжать переговоры о перемирии.

Бард и Эльвира решили отправиться к арсенальцам, и в наступающих сумерках отряд двинулся в Печерск. Террито-

рия завода представляла собой укрепленный, как в средние века, табор. В каменном заборе выбивались кирпичи и делались на разной высоте бойницы. Также возле забора были выкопаны небольшие окопчики. В зданиях цехов, особенно обращенных в сторону врага, окна частично были заделаны мешками с землей и кирпичом. Но таких укреплений было немного, в основном на окна наваливалась конторская мебель: столы, стулья, сейфы...

Приходу подкрепления арсенальцы обрадовались. Ночью солдаты понтонного полка должны были доставить боеприпасы и продовольствие. На заводе, что сразу же бросалось в глаза, было много женщин и детей. Именно они доставляли по ночам защитникам патроны, хлеб, воду. Также бросалась в глаза решительность рабочих, их желание сражаться с гайдамаками до конца. Воронки от разрывов снарядов, хаотичное нагромождение баррикад, кучи кирпичного щебня, скрученная проволока являлись следствием артиллерийской деятельности.

Отряду поручили оборону одного из цехов, где защитников было менее всего. Решили выставить часовых, а остальным было разрешено спать. Утром решили каждому в отдельности дать позицию. К вечеру Бард с несколькими красногвардейцами сходил к центральному зданию, где располагался штаб восставших, которым руководил Горвиц. Глядя на восток, в сторону Днепра, он сказал:

– Нам бы еще день-два продержаться, наши вот-вот по-

дойти должны.

Получив на отряд шесть буханок хлеба и с полста селедок, двинулись обратно. Разделив все между красногвардейцами, предупредили, что это и завтрак на утро. Бард с Эльвирой нашли уголок за грудой беспорядочно наваленного железа и при свете узкого серпика луны стали есть. Бард налегал на селедку, не думая о том, что надо что-то оставить на завтра, и этому способствовала Эльвира:

– Ешь. Завтра будет тяжелый день. Нужны будут силы.

Потом они, примостившись на куске брезента, крепко прижавшись друг к другу, пытались задремать. Но этого сделать толком не удалось – было холодно, а редкие сухие выстрелы в морозном воздухе заставляли их вздрагивать и прерывать свою дрему. Так всю ночь они просидели, обнявшись и грея друг друга. «Что будет завтра?» – мелькала такая мысль у каждого из них и, стараясь отогнать ее, они крепче прижимались один к одному, дыша периодически в грудь друг друга, стараясь так согреться.

Утро выдалось ветреным. Теплый юго-западный ветер слизывал лед на Днепре, обнажал огромные полыньи с черной зимней водой. Когда рассвело, первый привет прислала им тяжелая артиллерия из Дарницы, что за Днепром. Снаряды, перелетая широкий Днепр стали рваться на заводе. Те защитники, которые находились здесь не один день, объясняли вновь прибывшим, что вчера тяжелую артиллерию рада не применяла. Но сегодня во чтобы то ни стало решила

выбить отсюда рабочих и придушить восстание.

Военное положение рады изменилось. За ночь подошли убегающие от красных сичевые отряды с Волыни и Житомира и с утра включились в бои. Ждали прихода петлюровского коша с богатыми трофеями. Такая помощь привела к тому, что красные в Киеве стали отступать по всем направлениям.

Узнав об этом, Горвиц сказал:

– Вот и воспользовалась рада перемирием. И все сделала по-подлому, не в честном бою. Теперь надо и нам ждать атаки.

Действительно, со стороны Бутышева переулка показались две бронемашины. Остановившись в полукилометре от завода, они открыли пулеметный огонь.

Артиллерийский обстрел прекратился, и под прикрытием пулеметного огня из Кадетского леса начали выдвигаться гайдамаки, одетые в темно-зеленые, с голубыми башлыками, куртки. Бронемашины, не прекращая огня, подходили ближе к стенам завода. Из цехов стали выскакивать рабочие и занимать свои позиции возле стены. Бард и Эльвира заняли позицию на втором этаже. Окно было забаррикадировано кирпичом и кусками железа. Бард кроме револьвера получил винтовку, но пока не стрелял, понимая, что стрелок он плохой, и берег патроны в надежде, что враг подойдет ближе, и тогда он сможет в него попасть. Пулеметный огонь из центрального корпуса по бронемашинам не позволял тем приблизиться к заводу, а когда одна из бронемашин остано-

вилась, присев на пробитый пулею скат, а ее экипаж через противоположную дверцу выскочил наружу, второй бронев-автомобиль отошел и издалека стал прикрывать своих огнем. Гайдамаки залегли в лесу и не пытались перебежать через площадь к заводу. Перестрелка продолжалась еще полчаса, потом гайдамаки отошли.

Сверху Бард с Эльвирой видели, как красногвардейцы настороженно вставали из-за своих хилых укрытий и стали заносить раненных и убитых в центральное здание. Потом снова раздались разрывы тяжелых снарядов. Один из них разорвался в их цехе, и испуганная Эльвира предложила Барду спуститься в подвал, что они и сделали. Впервые Бард видел ее испуганной и покорной. Бард хотел ее успокоить, но вид находившихся в подвале раненных красногвардейцев не позволял этого сделать.

В этот день атаки повторялись еще дважды, и постоянно перед ними шел интенсивный артиллерийский обстрел. Когда стемнело, обстрел прекратился. Хотелось есть и спать. Бард, прислонившись к стенке подвала, заснул. Эльвира, поправив его голову поудобнее, тоже задремала. Ее разбудили голоса. Принесли еду. И снова это были женщины и дети. Они спрашивали фамилии и имена, и кто отзывался, тихо разговаривали с ними. Но слышался и негромкий плач. Видимо, их мужья, братья, родные были убиты. Раненых женщины забирали с собой и по лазам в заборах выбирались наружу. Эльвира получила хлеб, вареную картошку и банку

консервов. Она разбудила Барда:

– Митя, вставай, поешь. Мить...

Тот, проснувшись, долго сидел, соображая – чего от него хотят. Потом штыком неумело открыл банку, в которой оказалась тушенка. Безразлично съели то, что у них было, не оставив ничего на завтра. Снова молчали, и когда молчание стало невыносимым, Эльвира спросила:

– Митя, что ты молчишь? Ну скажи хоть что-нибудь...

– Устал я сильно. Ты видела, что творится? Не на жизнь, а на смерть рабочие бьются.

– Скоро, Митя, все закончится. Вот подойдут наши, и раде конец. Только мне сегодня так страшно за тебя стало, что я боялась от тебя отойти. Такого со мной раньше не было.

– Почему?

– Страшно стало тебя потерять. Ведь мы и не жили вместе по-нормальному. Всего несколько дней вместе. А мне хочется с тобой быть всю жизнь. За себя боюсь. Вдруг что-то случится, а у нас ни детей нет, ни близких знакомых. Революция рассорила нас с родителями и родными. Моя родня не одобряет мою революционность.

– А моей родне все равно, где я и что со мной. Отца нет, а у матери еще дети. Здыхалась от меня калеки, – может быть, и рада.

– Не говори так, Митя! О родителях плохо не говорят, какими бы они ни были. Мы, еврейские дети, для родителей являемся нахес. Это радость, счастье и все хорошее, что есть

в языке. И наши родители зависят от нас. Выйдем мы в люди – родителям счастье и гордость, нет – родителям горе.

– А ты радость для родителей?

– Пока нет. Но, если я стану известной, займу хороший пост, то они переменяют свою точку зрения. А сейчас они не одобряют.

– Я часто думаю – почему у большевиков столько евреев? И все они руководят нами. Зачем вам нужна революция?

– Я сама точно не знаю. Но в детстве нас воспитывали в идее, что мы – Богом избранный народ. Остальные все гои – то есть изгои, и мы должны ими командовать и относиться к ним, как к быдлу. Так записано в талмуде. И рано или поздно закончатся наши мытарства. Раввин всегда говорил: чтобы с нами считались, нам надо построить совершенно новое государство, где идеи от Моисея и Христа до самых последних идей, которые возникнут на Земле, слились в единое целое – и возникнет совершенно отличное от других стран государство. Вот тогда евреев станут уважать во всем мире. Глупая идея. Она не соответствует марксизму, а марксизм не какой-то там талмуд.

– А у вас есть еврейское государство?

– В древности было, но уже давно евреи не имеют своей страны. Но нам внушали, что мы в любой стране должны быть во всем впереди коренного населения. Если получится, то взять руководство в свои руки в одной стране, а потом и в мире. Для этого наши мужчины должны занять самые

важные места в другом государстве, а женщины, по примеру Юдифи и Эсфири, подчинить своей воле местных мужчин, прежде всего – руководителей и просто умных. Мы должны прощать друг другу обиды, не помнить зла. Иосифа братья продали в рабство, а он их простил. А у вас не прощают друг друга. Видишь, как воюют – пока не убьют друг друга. У нас так не принято, – надо жить, чтобы всем было хорошо.

– Видишь, сколько людей гибнет за коммунизм. Это счастливая смерть, – приглушенно говорил Бард. – Все хотят быть людьми, не только вы. Это общее стремление.

Эльвира благодарно прижалась к нему за то, что он ушел от неприятного для нее разговора.

Красногвардейцы, поев, вели усталые разговоры. В них не чувствовалось злобы, а присутствовала боль.

– Где же красные? Когда они будут здесь? Проклятое сичевики и завтра не дадут покоя.

Пришел Горвиц, он был со свечой. Или фонарик у него поломался, или где-то потерял.

– Как у вас дела? Как настроение? – спрашивал этот юноша без бороды и усов, но уже авторитетный руководитель.

– Плохо.

– Знаю. Но нам надо продержаться до прихода красных. Они рядом, в Яготине, – он выждал несколько мгновений и продолжал: – Потери у нас большие.

– Сколько?

– Почти семьдесят человек, – он помолчал. – Вечная па-

мять павшим за рабочую свободу. Но нас еще тысяча человек. Продержимся и не дадим выковырять нас отсюда. Красные спешат сюда, и мы должны им помочь взять Киев как можно быстрее. Надо стоять.

– Патроны дадите?

– Дадим, но немного. Их мало остается. Раздадим тем, кто хорошо стреляет, а другим поменьше. Не забывайте выставить охрану.

Горвиц ушел и раздался голос:

– Кто еще не стоял на страже эти дни? Идите на дежурство.

– Я еще не дежурил, – ответил Бард. – Мы только вчера пришли сюда.

– Хорошо, – ответил голос из темноты. – А кто второй?

– Я, – ответила Эльвира. – Я с ним пойду.

– А ты кто такая?

– Это моя жена, – неожиданно уверенным голосом ответил Бард.

– Я вижу – все время она здесь. Не пошла в госпиталь помогать раненым... – голос примолк, потом приказал: – Идите на второй этаж и смотрите в сторону Днепра. Оттуда главная угроза.

Они поднялись на второй этаж и, присев у окна, стали вглядываться во тьму. С юго-запада продолжал дуть теплый, влажный ветер. Где-то на Подоле слышались редкие выстрелы. Часа через четыре их сменили. Спустившись снова в под-

вал, нашли свободное место и сразу же заснули.

Четвертый день обороны «Арсенала» начался, как и прошлый – обстрелом из артиллерийских орудий из Дарницы. Но потом огонь сместился левее к Днепру, где находился понтонный батальон. Оттуда слышалась интенсивная стрельба. Через два часа все неожиданно стихло. А чуть позже от прибежавших в завод солдат-понтонеров арсенальцы узнали, что батальон сдался в плен гайдамакам. И в этом виноваты офицеры, командовавшие им. Они не захотели больше подвергать свою жизнь опасности. Сейчас солдат-понтонеров строят шеренгами и расстреливают гайдамаки, а трупы сбрасывают в Днепр. Также убивают и офицеров, которые помогли сдать батальон. Пришедшим удалось скрыться от противника. Сейчас на берегу скапливаются гайдамаки и готовятся к штурму. Они заминировали мосты через реку, а по льду красные не пройдут – он почти весь растаял под теплыми ветрами. Теперь у «Арсенала» прервалась последняя связь с остальными участниками восстания. Он был окружен полностью, и надежды на помощь красных, даже если они подойдут к Киеву немедленно, не осталось.

Штаб совещался недолго. Было решено, что Горвиц подземными ходами выберется из завода и сообщит ревкому о тяжелом положении завода и организует помощь. Горвиц ушел. Но напрасно ждали помощи. У Днепра Горвиц был схвачен «вольными козаками», до полусмерти избит, а после опущен лицом вниз в холодную зимнюю днепровскую воду

и задохнулся. Труп столкнули в реку.

После нового обстрела гайдамаки не пошли в атаку. Показался белый флаг, и вскоре к стенам завода подошли трое парламентаров. Старший, в форме сичевого сотника, громким голосом потребовал «червоного командира» на переговоры.

Вышел Мищенко – командир солдат, перешедших на сторону арсенальцев, из сагайдачного полка.

– Що скажешь, сотник? – громко обратился он к парламентарам с тем, чтобы его слышали ближайшие защитники.

– Вот, – сотник посмотрел на солдатскую шинель Мищенко и небрежно подал конверт. – От тебе, червонный, лист от Центральной рады. Читай.

– Я сейчас порадуюсь с товарищами. А ты почекай. Добре?

По всему было видно, что сотнику не нравилось, что с ним разговаривают на «ты», и он напыщенно сказал:

– Даю пятнадцать хвылын для ответа.

– Це мало. Хоч годину.

– Ни хвылыны билыш.

Мищенко тогда резко сказал:

– Ежели так, то бери письмо обратно и ходи отсюдова.

Такой ответ не входил в планы сотника.

– Добре, – смилостивился он. – Пивгодини.

Мищенко согласился, а парламентары, пообещав подойти через полчаса, пошли к себе.

В штабе сразу же собралось много народа. Мищенко, не

читая письма, передал его другим. Прочитали вслух. И Мищенко сказал:

– Що я скажу. Рада требует, щоб мы сдались – и всем будет дарована жизнь. Как считаете, хлопцы?

Сначала воцарилось молчание, а потом стал нарастать негодующий шум:

– Понтонщики тоже сдались, а их всех под пулю. Не верить раде! Все, що вона писала до этого – брехня, а це вранье! Це не украинская рада, а сатанинская. Галицийцы никола не держат слова. Подлость у них в крови.

– У нас нет патронов, нет хлеба. Как же дальше?

– Только не сдаваться!

– А раненых много, как с ними быть?

– Верить галицийским сичевикам нельзя! Им все равно кого убивать – сегодня рабочих и солдат, завтра селян. У них сейчас нет родины, и они чужинцы у нас, не посмотрят, кто есть кто – чи хохол, чи кацап.

– До смерти сражаться. Умрем, но на поклон раде не пойдём!

Мищенко, слыша эти разговоры, сказал:

– Пишите ответ такой. Только хто грамотный сформулой. Вот как. Борьбу прекратим только тогда, когда будет разогнана Центральная рада сволочей, и власть перейдет в руки советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Все. А теперь все сформулой и дашь мне ответ, я его отнесу. А сейчас давайте все по местам. Чую сердцем – помощь близка.

Вот-вот подойдут красные, и тогда так врежем сичевикам, що будуть бежать задравши хвоста до Львова, щоб неповадно им було пить кровь нашего трудового украинского народу! Ясно? Расходитесь по местам!

Парламентеры подошли раньше, чем ожидалось. Мищенко, который выходил из штаба, чтобы отдать распоряжения, вернувшись, увидел, что солдат со свой «грамотностью» никак не смог осилить ответа. Сначала выругавшись, а потом уже спокойно Мищенко сказал:

– Не треба паперы. Я им и так скажу, що об них думаю.

Подождав еще немного, с тем, чтобы парламентеры померзли, он вышел к ним с пустыми руками. Сотник, бледный от гнева, закричал:

– Опаздываете, панове! Видповідь!!!

Он протянул руку за письмом. Но Мищенко плюнул густой, с черной от пороховой гари слюной, в сторону руки сотника:

– Понял ответ?! – зло спросил он, увидев судорожно отдернутую руку сотника. – Передай своим панам-сволочам из рады, – Грушевскому и остальной галицийской скотине, – пока мы их не разгоним, пока не будет нашей власти, до тех пор мы будем драться с вами. Пока всех не раздавим в кулаке! – он поднял руку и сжал кулак, как бы наглядно показывая, как будет давить их. – Розумиєшь, пан?

Сотнику было стыдно перед своими двумя подчиненными, что плевок чуть-чуть не попал на ладонь, что не дали

письменного ответа и, сузив до азиатской величины глаза, он сказал, почти прохрипел:

– Ну, тогда побережись. Всех вас... – он задыхался от злобы и не мог сказать ни слова. – Всех вас... мы таких не прощаем! – снова прохрипел он и, резко повернувшись, пошел прочь от ворот «Арсенала». Рядовые сичевики поспешили за ним

Мищенко некоторое время смотрел им вслед, потом на стены завода, исцербленные пулями, еще раз плюнул и зашел в ворота.

– Молодец! – сказал ему кто-то. – Так с ними. Они бы нас не пожалели, если бы мы попали в их лапы. До конца держимся.

– До конца, – ответил Мищенко.

Завод готовился к отражению атаки. Раненых уже не было возможности отправить за пределы завода, и решено было разместить их по подвалам цехов, а тяжелораненых – в подвал главного корпуса. Легко раненые и кто еще мог передвигаться оставались на первых этажах цехов и, в случае прорыва гайдамаков в сам завод, должны были вступить с ними в последний бой. Всю воду и основную часть еды отдали раненым, решив, что остальным несколько дней вместо воды можно есть снег.

В этот день гайдамаки и сичевики трижды ходили в атаку. Им удалось сузить кольцо окружения вокруг «Арсенала», но ворваться в заводской двор не смогли. Связи с внешним ми-

ром не было, надежды на помощь – вообще, благоприятный исход осады закончился. Мокрые от пота, грязные от пороховой гари и кирпичной пыли люди, с тяжело горящим лихорадочным блеском в глазах, готовились к очередному бою. У них оставался единственный выход – погибнуть. Погибнуть из-за своего упрямства и веры в то, что подлая, надоевшая до печенок рада, в своем национальном бреде приведшая Украину к морю крови, будет сброшена, и будет у них, как в России, новая власть. Поэтому с ожесточенным упрямством обреченных, не надеясь ни на поддержку красных, ни на милость победителей – они отрешенно продолжали драться до конца. Такова, видимо, славянская душа, – когда ей трудно – она стоически нагромождает на себя дополнительные мучения, чтобы потом все разрешить одним махом – расстаться с жизнью.

Бард был измотан за эти дни. Его больной организм не мог выдержать эти адские трудности. Дошло до того, что в короткие промежутки, когда стихала стрельба и заканчивалась атака, Бард забывался тяжелым сном, но этих минут не хватало, чтобы восстановить силы. Эльвира осунулась, и только черные бездонные глаза стали еще больше и тревожнее. Она ловила себя на мысли о том, что сейчас Дмитрий ей дорог, как никогда ранее. После того, как они стали мужем и женой, она уже не относилась к нему только как к товарищу, ведущему с ней совместную работу – это был ее родной человек. Правда, она иногда с досадой думала, что все-та-

ки нашла не того мужа, который нужен ей, – не равен он ей по уму, красоте, деловой хватке. Но сейчас она переживала за него больше, чем за себя. Это был не просто близкий и родной человек – это была частица ее души, мыслей, тела. Если Эльвира не впадала в тяжелую дремоту, то старалась сделать сон Барда более удобным и спокойным. Она видела, что Бард ослаб. Видимо, перелом позвоночника и прикованность к постели на долгое время не лучшим образом отразились на его физическом состоянии. Промерзший ныне на ветрах и морозах, он чувствовал себя плохо – у него болела спина, хриплый кашель вырывался из его груди. Эльвира старалась его согреть, как могла. Шинелью, снятой с убитого солдата, она укрывала Барда. Он нравился ей своей непосредственностью, честностью, наивным романтизмом, который так не присущ ее душе.

Все последующие дни начинались обстрелом завода из артиллерийских орудий. Бард и Эльвира находились постоянно на своем, ставшем привычным им месте, – за окном на втором этаже цеха. Из него было видно, что защитников становится все меньше, – не за каждой бойницей и окном, как, например, позавчера, находился боец. Но все больше на заводском дворе лежало неподвижных тел – не хватало сил и времени, чтобы убирать трупы. Люди умирали прямо на позициях, будучи не в силах идти в подвалы, где находились так называемые госпитали. Тела замерзали на снегу и превращались в неподвижные фигуры. И это страшное зрелище

уже не пугало людей, очерстевших в боях, а наоборот – породило готовность разделить ту же участь.

Бард с Эльвирой хотели уже спуститься в подвал, переждать артиллерийский налет, но не успели. Тугое гудение тяжелого снаряда закончилось его разрывом в нижней части цеха. Их подбросило взрывной волной, и Эльвира на какое-то время потеряла сознание. Когда она пришла в себя, то из-за кирпичной пыли ничего не могла разглядеть. «Где он?» – появилась ужасная мысль. На коленях, разгребая битый кирпич, она стала ползти к тому месту, где они находились раньше. Дмитрия там не было. Она дикими глазами стала всматриваться в оседающую на пол пыль – и увидела его у противоположной стены. Также на коленях, не думая встать на ноги, она поползла к нему. Дрожащими руками повернула его голову к себе и увидела лицо, залитое кровью.

– Митя? – позвала она его. – Митя? – и увидев, что он шевельнулся, торопливо развязала узел своего платка под горлом и сняла его с головы, и стала вытирать его лицо от крови. – Ты живой?

– Да, – шевельнул он губами. – Уходи отсюда вниз.

Но она не обратила внимания на его слова и, увидев на лбу сочащуюся рваную рану, обтерла ее и перевязала его голову этим же платком.

– Поднимайся, идем в госпиталь. Поднимайся?

Бард уже отошел от первого потрясения и пытался руками опереться на пол, чтобы встать, но руки у него надломились,

и он головой уткнулся в битый кирпич. И только сейчас Эльвира увидела, что рукав его пальто разорван, и из него течет кровь.

– Ты и в руку ранен? Попробуй поднять ее.

Бард с трудом сделал это. Эльвира заторопилась.

– Быстрее в госпиталь! – и, подхватив его винтовку, а его самого придерживая другой рукой, они стали спускаться вниз через искореженную взрывом лестницу. Но в подвале не было места, где бы присесть. На временно сбитых нарах, на полу лежали и сидели люди. Кто стонал, кто кричал, но большинство молча, невидящим взглядом глядели в грязный потолок, а некоторые уже не двигались.

– Доктора! – закричала Эльвира, но никто не ответил ей.

Она схватила за рукав какого-то человека в халате поверх куртки, который раньше был, видимо, белым, а сейчас черно-бардового цвета.

– Сейчас скажу фельдшеру, – ответил он и ушел.

Эльвира сняла с Барда его драповое пальто, разорвала рукав рубашки и увидела, что рана выше локтя. Здесь свистнул осколок, но кость не задета. Это подтвердил и наконец-то подошедший фельдшер. У него не было с собой ни перевязочного материала, ни медикаментов. Он просто оторвал уже разорванный рукав рубашки и перетянул им руку, а потом и рану. «На голове, – сказал он Эльвире, – глубоких ран нет, – сильно разбита во время удара о стенку». Посоветовал ей вытирать платком кровь, пока она не прекратится.

– А может, вы его перевязжете? – попросила Эльвира.

Фельдшер без всякой улыбки, видимо, ему уже надоели такие вопросы, ответил:

– У нас, гражданка, не только бинтов и йода нет, но нет и простой чистой ткани. Мы раздробленные конечности заворачиваем в брезент. Вы оденьте на него пальто, чтобы не замерзал. У него ничего страшного нет.

Фельдшер ушел. Эльвира помогла Барду одеться. Он захотел снова идти на свое боевое место, и Эльвира, увидев, что в подвале еще страшнее, чем наверху, согласилась с ним.

Обстрел «Арсенала» прекратился. К полудню к ним подземными канализационными ходами пробрался связной из ревкома и рассказал Мищенко и членам штаба обстановку в городе. Красные части перегруппировались и утром начали наступление. Вооруженные железнодорожники, имеющие бронепоезд, с боями прорываются к центру Киева, и дошли до Бибиковского бульвара. Еще немного – и они вместе с шулявскими повстанцами возьмут Педагогический музей. На этот раз Центральная рада не проведет, не обманет их на переговорах о перемирии и предложениях о входе большевиков в правительство. Решено членов рады арестовать и сразу же расстрелять, чтобы не поганили древнерусскую землю. Таково настроение железнодорожников. Часть гайдамаков сняли с осады «Арсенала» и перебросили в центр города. Красная армия Муравьева подойдет к Киеву дня через два-три, но вряд ли сможет переправиться через Днепр. От-

тепелъ сделала невозможным переход по льду, а мосты заминированы. Красные части с севера также должны подойти к Киеву со дня на день и постараются взять столицу с ходу, но они продвигаются медленнее, чем части с востока. После небольшого совещания решили продолжать оборону завода, приковав, таким образом, к себе сичевые курени, и не позволить им выйти против наступающих железнодорожников. Патронов оставалось мало, было предложено осмотреть трупы убитых, может, что у них найдется. Продуктов нет, и доставить их некому. Но скоро восставшие расстреляют раду, город станет советским, и тогда героическая оборона «Арсенала» закончится.

Но к вечеру обстановка изменилась. Прибыл в Дарницу первый состав отступающих с востока петлюровцев. Их там разгружали и сразу же направляли к «Арсеналу». Другая часть петлюровцев ударила в тыл железнодорожникам. Хорошо обмундированные и вооруженные запасами из фронтовых складов, сытые и не измотанные в боях с красными – они не вступали с ними в прямые бои, предпочитая отступать. Петлюровцы жаждали сражения с малоопытными в военном деле рабочими Киева, чтобы доказать свою боеготовность. В вечерних сумерках была видна их подготовка к штурму. Чуть ли не на виду арсенальцев они ставили свои пушки и пулеметы, уверенные в том, что изможденные в боях работяги уже не смогут предпринять никаких серьезных противодействий.

Из ревкома последовал последний приказ – все, кто может, пусть уходят подземными ходами с «Арсенала», и в ночи им будет легче скрыться от гайдамаков. Силы неравны. Кто будет уходить, пусть патронов оставят себе немного, остальные отдадут тем, кто захочет остаться и прикрывать их отход. Тяжелораненные остаются здесь, под охраной медперсонала. Кто из раненых не может уйти, но может стрелять – дать винтовки для последнего боя.

Бард хотел остаться с теми, кто готовился дать последний бой петлюровцам. Его душа жаждала подвига. Но красногвардейцы-подольцы, в составе отряда которого он находился, воспретили ему это делать, заявив, что он нужен для будущих боев, и ранение позволяет ему уйти с ними. По одному они спускались в темный зев подземных канализационных колодцев.

С Мищенко осталось человек двести, не считая раненых, решивших прикрывать отход. Людей не хватало для полной круговой обороны, поэтому решили сосредоточиться в двух зданиях, а те, кто будут оборонять завод у наружных стен, в случае необходимости должны отойти под защиту цеховых стен.

Около полуночи несколько артиллерийских снарядов разорвалось в заводе, раздались пулеметные очереди. Под их прикрытием в темноте петлюровцы и сичевики двинулись в атаку, но редкие выстрелы от стен заставили их залечь. Снова стали рваться снаряды в заводском дворе. И после это-

го петлюровцы бросились к стенам и проникли на территорию завода. Они торопливо устанавливали пулеметы и пушки, которые открыли огонь по главному корпусу в упор. Ответный огонь защитников слышался все реже. Патронов не оставалось, убитых становилось все больше.

В свете тусклой январской зари петлюровцы наконец-то ворвались в здание корпуса. Ещё шли последние штыковые бои, когда из цехов стали выгонять оставшихся в живых раненых и выстраивать возле главного корпуса. Из подвалов штыками подгоняли раненых из госпиталя. Патронов не расходовали. Кто не мог идти и падал, в того сразу вонзался штык. Санитаров и фельдшеров прямо у входа в корпус закололи штыками, на глазах у оставшихся защитников. Женщинам старались вонзить штык в живот, наслаждаясь их родовыми криками, детей, особенно маленьких, поднимали на штыках в воздух и с разворота швыряли на стены цехов.

Наконец выволокли Мищенко. Он был контужен и осколком снаряда был выбит глаз. Он еле держался на ногах и старался всеми силами не упасть. Его бы так же, как и других толкнули бы в толпу пленных, но его узнал сичевой сотник-парламентер. Подбежав к нему, он радостно, как ребенок, получивший заветную игрушку, закричал:

– Во, червонный командир! Ну що, побалакаем?! – и сотник, отхаркавшись горлом, плюнул прямо в лицо Мищенко. – Як ты мени! Як ты! Помнишь? А я пам'ятую! У, гадюка!..

Мищенко зашевелил губами, словно что-то хотел сказать, но распухший язык не слушался, и от боли он только дико вращал единственным глазом, в бессильной злобе на сотника. Словно поняв, что враг бессилен, сотник плюнул в него еще раз, прямо в глаз. Собрав последние силы, ослепленный Мищенко протянул руки, чтобы схватить сотника, но тот отскочил, и красный командир, от слабости потеряв равновесие, упал на землю. Он попытался встать, но удар ногой в лицо, полученный от сотника-сичевика, снова опрокинул его на землю. Он поднял голову и по-новой хотел что-то сказать – гневное и матерное, но язык не слушался, только глаз, освобожденный от ядовитой слюны, как и раньше в бессильной злобе уставился на сотника.

– У, гадюка! Ты ще двигаешься? Бачишь? Зараз не будешь ничего бачить.

Он выхватил из кармана финку, и Панас Сеникобыла, который находился неподалеку, увидел, как сотник с довольной, хищнической улыбкой стал выковыривать глаз у Мищенко.

– От тоби, курва! За то, щоб памьятав нашу зустричь та почитал офицера.

Мищенко, скорчившись от боли, пытался руками прикрыть единственный глаз или перехватить кинжал, но контузия была сильной, и он не мог этого сделать, только из глотки вырывался тяжелый хрип.

– Плазувай, быдло!

Панасу стало не по себе, хотя он не раз видел подобные сцены. Он отошел от сотника.

Пленные молча наблюдали за расправой галицийского сотника над их командиром. Подбежал еще один сичевик-командир, с радостью посмотрел на пленных и распорядился:

– Тащи кулеметы! Другие стройся, гвинтовки на изготовку! Файно, хлопцы!

Посмотрев, что пулеметы установлены, сичевики изготовились для расстрела, он вынул револьвер и приказал:

– Вогонь! – и первым выстрелил в толпу пленных. Следом заговорили винтовки и пулеметы. Когда упал последний пленный, последовала команда: – Хто живый, коли багнетом!

И с винтовками на перевес сичевики и петлюровцы бросились к остывающим трупам. Здоровенные детины, словно радуясь своей силе, поднимали уже убитых штыками, потрясая мертвыми на весу, потом бросали их на красный снег и переходили к новой неподвижной жертве. А ранее проткнутый труп, набрасывались другие сичевики, в остервенении пронзая, не способные дать отпора тела.

Сотник пнул в бок Мищенко:

– Вставай, червоный! Вставай! Я зараз з тебе зразы зроблю!

Но Мищенко только дергался и пытался непослушными руками достать отделенные от тела глаза. Схватив валяв-

шуюся рядом винтовку с окровавленным штыком, сотник с жадным удовольствием вставил штык в разбитый и полуоткрытый рот Мищенко и, медленно наваливаясь на приклад, стал вдавливать его в глубину. Из рта хлынула кровь, казавшаяся в утренних сумерках черной, и Мищенко, изогнувшись всем телом, затих.

Бросив винтовку, стоящую вертикально во рту убитого, сотник побежал к расстрелянным, радостно размахивая револьвером и стреляя в неподвижные тела. Панас стоял у окна цеха и равнодушно наблюдал за расправой. Он понимал – победители утоляют лютую жажду кровавой мести. Потом вынул из кармана флягу с горилкой, хлебнул большой глоток из горлышка. Он знал, что у галицийцев наступил период мщения, и они страшны в своем гневе. Их ничто сейчас не могло остановить. Он еще отхлебнул, закурил и пошел вон из ворот «Арсенала». Больше ему здесь делать было нечего. А зверствовать ему запрещал данный перед Христом обет – не обижать пленных и слабых. Сражаться только в бою. Он надеялся, что если он будет в меру своих сил и обстоятельств добрым, то с его семьей, выгнанной в Австро-Венгрию, ничего не случится, и он скоро с ней встретится.

Панас шел и видел, как озверевшие и долго жаждавшие крови петлюровцы выгоняли из домов прячущихся красногвардейцев, рабочих, просто подозрительных им людей и здесь же расстреливали. Апофеоз насилия над поверженным противником достиг своего пика.

Киев притих. Люди старались не выходить на улицы. Трупы убитых валялись на тротуарах, в подворотнях домов. На привокзальной площади, на фонарных столбах и деревьях ветер раскачивал тела повешенных железнодорожников. Разыскивались все, кто участвовал в восстании, в том числе солдаты украинских полков. Галицийские сичевики и петлюровцы с животной страстью насиловали древнюю русскую столицу. Лишь через несколько дней появились специальные команды по очистке улиц от убитых. Киевляне стали разыскивать своих близких среди мертвых. Одновременно открылись магазины, осторожно, без музыки заработали кабачки. Центральная рада праздновала свою победу над украинским народом, добытую штыками чужеземцев – галицийскими сичевиками.

Тимофей Радько несколько дней скрывался на Подоле. Когда на улицах появилось много солдат, он с винтовкой открыто вышел в город, несмотря на уговоры знакомых, у которых жил, остаться и переждать еще несколько дней до прихода красных. Он решил, что хватит с него воевать, надо отправляться домой. Но требовалось взять из казармы свои вещи, документы, подарки, приготовленные для семьи. Он встретил знакомого солдата-сослуживца, который пообещал принести его вещи к заранее договоренному месту, недалеко

от железнодорожного вокзала. Отсюда было не так далеко до казарм, да и железная дорога должна была служить ориентиром для отправки домой. Тимофей прошел по Бибииковской и встретил Панаса Сеникобылу, тоже с винтовкой. Никто не расставался с оружием. Тот как всегда был выпивши и, увидев Тимофея, искренне раскрыл ему руки для объятия. Но Радько уклонился и только дал руку для пожатия.

– Ты шо, Тимак, не узнаешь меня чи обиделся? – прогудел Панас. – Пошли в кабак.

И, не дожидаясь ответа, схватив под руку Тимофея, повел его вниз по Бибииковскому бульвару. У Тимофея было время, и он решил, что его можно убить в кабаке.

– Шо ты такой смурной? – спросил Панас Тимофея.

Тимофей посмотрел на сичевика-Панаса, своего фронтового друга:

– Где ты был эти дни? На «Арсенале» или против железнодорожников?

Панас разлил горилку в рюмки и, вздохнув, ответил:

– На «Арсенале». Вична им память. Выпьем.

Он опрокинул рюмку в рот, взял кусочек сала с хлебом и закусил. Тимофей боялся много пить. Еще предстояла встреча с тем солдатом, ушедшим за его вещами, а потом он хотел побыстрее выбраться из города и заночевать где-нибудь в ближайшей деревеньке, зная, что там своя, селянская власть, а не центральная. Рада, кроме Киева, не контролировала положение в сельской местности. Но решил, что за погибших

арсенальцев надо выпить.

– А ты где був? – спросил в свою очередь Панас.

Тимофей заколебался – говорить или не говорить, но винтовка была рядом, наган в кармане, поэтому решил сказать правду:

– На Подоле, у красных...

Он пристально смотрел на Панаса, ожидая его реакции, но тот, склонив голову, понуро сказал:

– Я це знав. Ваши украинцы – это не наши бойки и лемки. Вы никола не поддержите нынешню владу. Я це знав... – повторил он.

У Тимофея тревога в душе понемногу отходила. Панас не пытался выяснять с ним отношений, видимо, смирился с тем, что происходит на свете, и считал это как должное. Панас еще налил водки и, глядя Тимофею прямо в глаза, произнес:

– Как это получилось, шо мы разных таборах оказались? Давай, выпьем за нас, украинцев, щоб мы перерезали друг друга как можно больше, щоб не осталось такого глупого народу.

Он выпил, но Тимофей отставил рюмку.

– Шо не хошь выпить? Боишься, що отведу тебя у тюрьму? – он зло захохотал. – Ни, Тимофею, цього я с тобой не зроблю. Що ж делать, раз украинцы разные. Ты не бачив як резали украинцев-работяг на «Арсенале? Я те ж такое увидел вперые. Жах. А хто ризав? Украинцы. Кому це потриб-

но? Не знаю. Не поведу я тебя, Тимак, в нияку вьязню. Що делать, раз украинцы разные... я з Галиции, ты ж.. – он запнулся.

– С Малороссии. Полтавщины.

– Во-во! Вспомнил. Липовая Долина. Гарное название. Так вот, я так розумию – мы разные люди. Вам нужна Украина российская, нам – самостийная. Так шо ж? С чего я своего друга буду отдавать на смерть? Живи. Это комуь нас хочется посварить... а нам це ни к чему.

– Спасибо, – искренне поблагодарил его Тимофей.

– А разве я ранишь думав, шо придется воюваты проти своих? Да если кто таке мог сказаты мени, то я его так бы разделал! А видишь – заставили. Сначала меня заставили австрийцы, потом россияне, а сейчас наши – украинцы. От бы побачив тебя на «Арсенали» в час боя! Не знал бы, шо с тобою робить – убить тебя чи ийти до тебе... – и он снова повторил: – Жах!

Панас выпил еще, и его заметно стало развозить. Вспомнил свою семью, угнанную австрийцами в Венгрию, и уже с непередаваемой тоской продолжал:

– Перед войной у нас запела могила...

Увидев недоуменное выражение лица Тимофея, пояснил:

– Есть у нас на горе, у Тересви, могила какого-то графа. Он так давно помер, что и имя его забылось и стерлось с камня. А камень большой, гранитный до сих пор стоит. Вдруг по весне, как только сошел снег с вершин, стал слышен то

ли вой, то ли пенье. Сначала думали, что парубки балуют, девчат пугают. Вскоре заметили – как начинается пение, собаки перестают брехать и в будки, а то дальше забиваются и норовят в дом попасть, а голосу не проронят. Но потом старики догадались, что здесь дело нечистое, – пошли слушать в горы и нашли. Это графская каменная могила поет. Слов не понять, но что-то бормочет. Один дедок решил на ней ночь провести, – все равно, говорит, скоро умирать. Утром не пришел, потом сыны и внуки сходили – еле живого привели. Был до этого сивый, а стал совсем белый, как холстина, отбеленная в Тересви. Был он, как безумный, с трудом от него слова добились. Все, говорит, женщину видел, она пела. Но мы-то все ясно слышали – поет голос мужской. А он говорит – женщина пела, а что – не помнит. Пока видел ее, слова понимал, а когда его забрали с могилы графа, забыл их. Больше от него ничего не добились. Он стал мало говорить, больше спать, и через несколько дней помер. И знаешь, после этого могила перестала петь. А старые люди говорят – это перед большой бедой, огромным лихом, камень петь стал. До этого его никто много веков не слышал, да и не знал, что камни поют. А женщина в белом – смерть была. Забрала дедка и успокоилась ненадолго. А летом началась эта проклятая война. Пошли люди на могилу и увидели, что камень лопнул, как раз посередине. А камень-то был огромный, нарочно захочешь разбить – не разобьешь. И снова старые сказали, что это смерть забрала деда, временно притихла, а по-

том поломала камень, вышла на белый свет, чтобы открыто выкосить всех своей косой. И видишь, скольких уже забрала. А так как могила недалеко от нашего села, то сказали все, што будет у нас большое горе. Так и произошло... и моих забрала. Не осталось Сеникобыл...

Когда в пьяном виде вспоминал Панас о жене и детях, то всегда невольная слеза наворачивалась на его глаза. В трезвом виде он еще сдерживался. Вот и сейчас к смоляным усам, с уже заметной проседью, пробежала слезинка. Тимофей понял, что надо успокоить своего товарища, и сказал как можно мягче:

– Успокойся, Панасе. Может, пока ты здесь, твои вернулись и уже ждут тебя. Все живы, здоровы, дети выросли... вот сейчас красные победят, и вы разойдетесь по домам. Придешь, а все дома. И снова увидишь свою Тересву, и будет тебе радость. А могила – это брехня.

– Нет, не брехня... эта маята Богом предусмотрена, а то люди шибко загордились. Видишь, яка наша рада гордая – готова свой народ уничтожить. Это, я тебе правду говорю, Божья напасть. Знаешь, Тимак, я доверю тебе свою тайну. Я дал обет святой богоматери, а потом самому Христу, что не убью больше ни одного невинного. В бою – да. Честно, на равных. Там не знаешь, кого убил. Но расстреливать, вешать или просто так убить одинокого человека я больше не посмею. Я и на «Арсенале» не стал расстреливать этих бедняг. Что происходит с людьми, когда они понюхают чело-

веческую кровь? Ужас! Как собаки бешеные рвут мертвое мясо. Может, святая богоматерь вернет мне детей и всю семью... ведь согрешил я не перед кем-то, а перед ними.

И снова пьяная слеза скатилась на ус. Тимофей поднялся:

– Пошли из кабака. Или я сам пошел.

– Куда?

– Я, Панас, бросаю армию и ухожу сегодня домой.

– Прямо зараз?

– Сейчас. Вот придет ко мне сослуживец, принесет из казармы вещи, и я пойду в Липовую Долину.

– Хорошо. Я тебя провожу.

Панас разлил остатки горилки, но не успели они поднести рюмки ко рту, как послышался разрыв снаряда, потом другой, третий... вбежавший испуганный посетитель прокричал:

– Муравьев в Дарнице. Уже бомбит нас!

«Снова война...» – подумал Тимофей. Видно, так же думал и Панас.

Они выпили по последней рюмке и вышли. Разрывы снарядов были слышны в Печерске, возле университета, в порту. Железную дорогу красные подвергать обстрелу не намеревались.

«Не могли красные подойти раньше, – подумал Тимофей. – Спасли бы и «Арсенал», и железнодорожников».

Они ждали товарища по полку до темноты, и Тимофей понял, что тот не придет. Или соблазнился его вещами, или

не удалось вырваться из казармы... а может, еще что-то помешало.

– У тебя деньги есть? – спросил он Панаса. – Дай или займи. А то у меня ничего немає.

– Есть, – Панас вынул целую жменю украинских, почти квадратных по форме, купюр. – Бери.

– А другие какие-нибудь есть? А то по за Киевом украинских грошей и не знают.

– Е, – снова ответил Панас. – У меня в кишени всяки гроши е. Нам выдали перед этими боями по пять окладов и ще обещали позже столь же, но пока не дали. А зараз красные пришли, знову дадут окладов десять. Бери!

Он протянул Тимофею керенки.

– Спасибо. А не дашь ты мне патронов малость... у меня только то, шо в магазине карабина.

Панас секунду подумал:

– Це жалко, но малость дам, – он полез в карма и вынул горсть патронов, штук шесть-семь. Потом достал еще горсть. – Самому оставлю немного, а то що може случиться зараз – не знаешь.

– Спасибо, – еще раз поблагодарил его Тимофей. – До встречи... если встретимся. Ну, прощай война!

– А може, останешься?

– Ни.

– Ну, тоды прощевай. А зустричатися с тобой, как мы могли зустринутися несколько дней назад, не хочу.

Они крепко пожали друг другу руки, и Тимофей пошел по улице вдоль железной дороги, намереваясь, когда кончатся пристанционные постройки и стоящие в тупиках составы, выйти на нее совсем и идти дальше от Киева в родную Липовую Долину.

Панас снова поднялся вверх по Бибииковскому бульвару.

«Что ль и мне все бросить – и блакитно-жовтых, и червоных – и уйти домой? – думал он, но потом спохватился: – А што я там буду делать? На Угорщину не попаду. Где искать жену и диток? Да и заарестуют австрияки и свои же, как дезертира».

И снова заныло в груди. Он вытащил из кармана заветную фляжку, хлебнул глоток, потом еще и еще. Боль в груди отпустила. Патрули на солдат в форме сичевиков внимания не обращали. Не задерживаясь больше нигде, он побрел в опостылевшую ему за три с лишним года казарму.

2

На Софиевской площади царило возбуждение. Сюда подвозились пушки. Русский офицер, командовавший артиллеристами, зашел в подъезд ближайшего дома и спросил швейцара:

– Это Софиевская площадь?

Получив утвердительный ответ и кивнув в знак благодарности швейцару, он вышел и громко объявил:

– Прибыли к месту развертывания. Готовь батареи к бою.

Никто из русских офицеров толком Киева не знал, не говоря уже о том, кому они служили. Солдаты с неохотой стали разворачивать жерла пушек в сторону Днепра и Дарницы. Офицер пошел в расположенную рядом пожарную часть Старо-Киевского участка, и вскоре Софиевская площадь залилась, как в довоенное время, электрическим светом. При свете фонарей солдаты заработали уверенней, а офицер объяснял любопытствующим гражданским лицам, что солдаты молодые, еще слабо обучены, и поэтому при свете им разворачивать батарею сподручнее. На предположения обывателей, что красные откроют ответный огонь, к тому же купола Софии с часовней и пожарная каланча – удобная цель большевиков, офицер безразлично ответил:

– А какая вам и нам разница, от чьих снарядов погибать.

То ли от большевистских, то ли от украинских... – и безнадежно махнул рукой.

Этот русский офицер, как и многие другие офицеры, находился в затруднительном финансовом положении и принял предложение рады о службе в рядах ее войск на условиях не походной, а боевой оплаты. И сейчас ему надо провести артиллерийский бой с противником, и таким образом отработать аванс и заработать на будущее. Софиевская площадь – самое высокое место в Киеве, рядом с Днепром, – лучшей позиции для стрельбы по противнику не найдешь.

Приготовления были закончены, и офицер прокричал пушечной прислуге необходимые цифры, чтобы та установила их на приборах. Любопытных киевлян, стоящих недалеко от орудий, офицер попросил удалиться, так как сейчас «начнется артиллерийская дуэль», а это небезопасно для зрителей. Некоторые из обывателей поспешили скрыться, но большинство из них, сидевшие последние две недели в подвалах во время восстания, и не испытывавшие артиллерийского огня, а только пулеметный, хотели посмотреть, что же это за «дуэль» и как она будет проходить. Русский офицер насильно никого с позиций не выгонял. Пушки располагались всего в пятнадцати-двадцати метрах от жилых домов, и первый же залп привел к тому, что вылетели почти все стекла окон фасада дома, обращенные к батарее. Жильцы стали выбегать из квартир и снова, как и два дня назад, прятаться в подвалы домов. Любопытствующие, немного оглохнув от залпового

огня, подсмеивались над жильцами дома.

Площадь представляла прекрасную мишень для красных. Освещенная электричеством, она была видна на десяток верст. Ответ не заставил себя долго ждать. Сначала разорвались трехдюймовые снаряды для пристрелки, а потом шестидюймовые снаряды стали веером ложиться на площадь. Любопытствующие стали испуганно разбегаться, но многие не успевали добежать до подвалов или просто до домов. Офицер был спокоен, и только один раз попытался удержать разбегающуюся в разные стороны батарейную прислугу, но она его не слышала и не видела, – впервые попавшая под артиллерийский обстрел, она обгоняла в беге зевак. Офицер долго их не удерживал, подождал, когда площадь, – главное здание Софии, колокольню и другие постройки, – накрыл залп красных шестидюймовок и, увидев, что личного состава батареи нет, пошел ровным шагом в пожарную часть и спросил лежащего на полу дежурного:

– Где Святошино?

– Там, – неопределенно махнул рукой дежурный. – Но там, говорят, красные.

– Мне все равно, где пропадать, – снова, как и ранее, ответил офицер и пошел в указанную сторону.

Так начался следующий этап сидения киевлян по подвалам, – без хлеба, продуктов и воды. Красные захватили артиллерию в Дарнице с огромным запасом боезарядов, брошенную убегающими петлюровцами, взяли себе и начали об-

стрел Киева. Бомбардировка начиналась в семь утра и заканчивалась в час ночи – восемнадцать часов в сутки непрерывной бомбежки. Шесть-десять снарядов в минуту, за день – около семи тысяч. Главными объектами бомбардировки был центр, пытались разрушить Педагогический музей, где находилась рада. Был подожжен шестиэтажный дом головы рады Грушевского. За несколько дней он выгорел дотла. В огне погибла уникальная библиотека и многие ценнейшие исторические материалы. Бомбардировка продолжалась десять дней.

Солдаты, для которых не смогли организовать снабжение, врываются в оставленные квартиры и забирали продукты и вещи. В действиях сичевиков и петлюровцев не было энтузиазма или понимания высоких целей национальной борьбы – только одна бесшабашная жестокость да стремление перед предстоящим уходом набрать как можно больше ценных вещей.

Киевляне стали заложниками противоположных идей: жовто-блакитной – национальной, и красной – интернациональной, – одинаково опасных, кровавых, но удалых. Обыватель и его жизнь как бы стояли на кону карточной игры. Кто сорвет банк – от них не зависело, но их жизнь была в руках жестоких идеалистов. Жизнь, как и деньги, не ценилась. Обесценивание денег – никчемность жизни, прочно вошли в сознание людей. Население чувствовало себя оставленным на произвол судьбы, жалкой игрушкой в руках без-

ответственных экспериментаторов различного толка.

Скрываясь от обстрела, руководители Центральной рады перешли в подвалы. Влиять, тем более руководить событиями, происходившими в Киеве, они не могли. К Грушевскому в подвал спустился Петлюра, осанистый и важный. Он был горд тем, что спас раду не только от поражения, но и, может быть, от смерти. А ведь это она не так давно вывела его из состава руководства за неспособность «к военному руководству»! Это позволяло ему сейчас на равных говорить с головой рады, а не как раньше – заглядывать в рот, чтобы из того рта не вырвались слова обвинения в его адрес из-за недостаточной образованности. Петлюре хотелось поговорить с глазу на глаз с Грушевским, но этого было сделать нельзя. В каждой подвальной комнатке сидело по несколько министров, и попросить их выйти не представлялось возможным – министр и в подвале министр. Озабоченный Грушевский предложил Петлюре сесть:

– Каково состояние войск и обстановка в городе? – спросил он его обязательной фразой.

«Об этом сейчас может спрашивать только идиот или человек, выживший из ума», – подумал про себя Петлюра, но пресмыкание перед старшим по положению сформулировало совершенно иной ответ:

– Когда пять дней назад я вошел в Киев и спас всех от ужасного кошмара, на Софиевской площади я построил своих вояк и сказал им об украинской непобедимости. Увы, сей-

час я этих слов сказать не могу. Перевес во всем на стороне Муравьева. Вот-вот должна подойти северная группировка красных. Мы можем оказаться в таком плотном кольце, что не выберемся отсюда никакими силами. Это понимают мои солдаты и только ждут моей команды об уходе из города. Сичевики, которые мне не подчиняются, а подчиняются военному министру, уйдут в любой момент. Они считают, что свою задачу выполнили. К тому же они понимают, что красные не простят им ни «Арсенал», ни железнодорожников. Но хочу заметить, что решающий удар по бандам оставших нанесли подчиненные мне войска.

Грушевский безнадежно пожевал бледными губами и спросил военного министра Порша:

– Как вы полагаете, мы можем надеяться на подход верных нам частей?

– Да, есть на Житомирщине верные нам части... еще... – Порш задумался, а Петлюра ядовито улыбнулся министру, занявшему его пост, и сказал:

– Никто к нам больше на помощь не придет. Все Левобережье против нас, Галиция оккупирована немцами, которые не считаются с Австрией. Обстановка сложная, а завтра станет безнадежной. И вы как военный министр должны это знать.

Порш от злости побледнел, и желваки заходили по скулам, но промолчал. Грушевский кивал головой в знак согласия с Петлюрой:

– Я думаю, нам надо немедленно эвакуироваться из города. Но куда? Смотрю на карту Украины – и не могу найти такого города, где мы были бы в безопасности.

– Мы ведем переговоры с Германией, и я считаю, что они обязаны помочь нам в переходе фронта и размещения лично нас и наших войск в районе их боевых позиций, – сказал Порш. – Надо отступать только туда, потому что красные везде. Это самое безопасное для нас место. И надо, как мне кажется, спешить. Некоторые наши части, не говоря об отдельных солдатах, уходят из города. Вы видите, как беспощадны красные, как они безжалостно разрушают город. Так же, не дрогнув, они уничтожат нас.

– Так, так... – ответил Грушевский. – Дорогой Симон Васильевич, я попрошу вас взять на себя все вопросы, связанные с эвакуацией правительства и войск. А мы не можем эвакуировать и всех киевлян, чтобы красным достался пустой город? Чтобы они увидели, что украинцы не хотят даже находиться с ними рядом? Это было бы большой нашей национальной победой над Москвией!

«Ополоумел старик, – подумал Петлюра. – Здесь бы самим ноги спасти!» Но вслух ответил:

– Технически это невозможно. Постоянные обстрелы красных не позволят нам этого сделать, трудно будет разыскивать киевлян по подвалам и погребам... и самое главное – у нас для этого просто не хватит наличных сил. Да и времени у нас не будет для проведения такой широкомасштабной

операции.

– Хорошо. Тогда позаботьтесь о нашем уходе.

Грушевский выглядел безнадежно-усталым.

– Мною уже сделаны необходимые распоряжения, – ответил Петлюра. – Эвакуироваться придется на автомобилях. Железная дорога перехвачена большевиками, да и железнодорожники не внушают доверия. Бронемашины и автомобили ждут вас. Я лично пойду со своим войском.

– Но когда все-таки начнется эвакуация? Я имею в виду – время.

– Я наметил на завтра, рано утром, пока темно. Сейчас погрузим снаряжение и имущество. Некоторые части начнут отход сегодня ночью.

– Согласен... – Грушевский вздохнул. – Только б пережить эту ночь! Немедленно, любым способом сообщите в Брест-Литовск нашей делегации, чтобы они подписали мир с Германией и Австро-Венгрией на условиях, которые те выдвигают. И пусть конкретизируют пункт, что наше правительство просит военной помощи для борьбы с большевиками.

– Да. Для спасения Украины необходима помощь, но временная. Когда наша власть по-новой окрепнет, то они должны отсюда уйти. Обязательно это надо оговорить в договоре! – Вмешался Порш.

– Такие инструкции даны нашей делегации. Если не будет такой оговорки, мы отложим подписание хлебного догово-

ра, – о поставках в Германию продовольствия. Все должно быть четко оговорено в мирном договоре.

«Что он мелет? – снова с досадой подумал Петлюра. – Да подпишут все, что скажут немцы! Устал старик совсем...»

– Согласен, – сказал Петлюра. – И теперь решим последний вопрос. Надо немедленно обнародовать четвертый универсал о самостоятельности Украины. Мы этим привлечем на свою сторону симпатизирующие нам силы, особенно в западных районах. Там – наша основная база для национальной борьбы.

Грушевский при этих словах воспрянул и покровительственно, как студенту, улыбнулся Петлюре:

– Дорогой Симон Васильевич! Сейчас нам всем и, в первую очередь, вам должно быть понятно, – Грушевский был силен в теоретизировании, это был его любимый конек, но слабоват в практическом воплощении своей теории, – что самостоятельность Украины проходит не через Львов, а через Киев, и пока мы нашу столицу не сделаем оплотом этой борьбы – вопрос о самостоятельности решен не будет. Сюда надо переселять, – как я говорил раньше, – больше истинных украинцев, оттеснив москалей и жидов на вторые роли, и духовно воспитывать наш народ. Упорно и напряженно, несмотря на противодействие врагов. Киев – это ключ к самостоятельности нашей державы, а не Львов. Галицийские воины неоднократно хотели подчинить себе Украину. Они с поляками ходили против Богдана Хмельницкого, сейчас с Австрией пришли

сюда. И они завоюют Украину. Я в них верю. Но сейчас нет никакой возможности опубликовать в прессе универсал, – закончил он свою тираду совсем другим.

– Да, – подтвердил Порш. – Издательства не работают, и не выходят газеты. Я уже неделю не видел свежих газет. Мы, как представится возможность, обнарудим этот документ в ближайшие дни. Это очень важно для нашей последующей национальной борьбы.

Основные вопросы были решены, и Петлюра, поднявшись, напыщенно произнес:

– Я обязан идти. Воины должны видеть своих командиров воочию, это придает им дополнительные силы. Вас буду держать в курсе всех событий.

Щелкнув каблуками, он вышел. Грушевский тяжело дышал. Спертый воздух подвала его возраст переносить уже не мог.

«Революция для молодых, – сокрушенно думал он. – Но им надо показать и научить, как все делать». И снова чувствовал себя среди молодых министров учителем, как профессор среди студентов.

Еще затемно все правительство было переведено в расположение броневедомственного дивизиона. Брали с собой только самое необходимое. Многие документы, которые не успели уничтожить, остались в Педагогическом музее, обреченные на растаскивание. Но мест в бронемашинах и автомобилях не хватало. Не только министры, но и канцеляристы

считали своим долгом покинуть Киев. Затемно кавалькада бронемашин и автомобилей тронулись в путь в сопровождении охраны. Когда оказались на Подоле, то Грушевский и министры вздохнули спокойнее – этот район города красные не обстреливали. За городом кортеж автомобилей взял курс на Житомир, в расположение немецких войск. Киевляне, сидящие по подвалам, так и не увидели бегства Центральной рады.

Столицу покидали последние части сичевых стрельцов и петлюровского коша. Петлюра ехал в бронеавтомобиле, иногда выходил из него, чтобы вдохнуть свежего морозного воздуха.

В спину отступающим раздавались одинокие выстрелы с Подола, и то один, то другой галицийский вояка падал на землю. Раненых укладывали на телеги, на которых везли боеприпасы, продовольствие и личные вещи вояк. Убитых, если никто не настаивал на взятии тела, оставляли на дороге. Сеникобыла видел напряженные и злые лица своих товарищей. Со злобой они смотрели на Подол и мстительные мысли проносились в их головах:

«Ночь бы нам – и все бы разнесли! Погодь, мы вернемся сюда, гады, и за все вам отомстим. Скоро придет нам домога! Держитесь, жиды и москали! Надолго запомните нас, иуды!»

Но времени, чтобы отвечать на выстрелы, не было. Угрюмые и обозленные, сичевики уходили из чуждой, так и не

принявшей их, древнерусской столицы.

Часть VI

33

Железнодорожный состав с воспитанниками первой военной киевской школы имени Богдана Хмельницкого и студенческий курень сичевых стрелцов прибыл на станцию Круты. Здесь уже находились кадеты из киевских военных училищ, прибывшие раньше, которые решили воевать против большевиков. Разведка донесла, что красные недалеко, и идти дальше не было смысла. Станция Круты была узловой, здесь находилась вертушка для разворота паровозов. Сама деревня под таким же названием находилась в трех верстах. Здесь и остановились молодые борцы за самостоятельность, чтобы дать бой красным.

Добирались до станции несколько дней, хотя раньше на это уходило восемь часов из Киева. Командовавшие семнадцати-восемнадцатилетними бывшими курсантами, студентами и гимназистами русские офицеры, – украинских офицеров не хватало, – не слишком торопились встретиться с красными. Они не служили в украинских частях, им выплачивали боевые деньги за проведение будущего боя с красными. Поэтому они не стремились встретиться с врагом, понимая, что эти юные солдаты – на девяносто процентов выходцы из

Галиции – ни на что не способны. А Галиция – часть враждебного России государства – Австро-Венгрии, что учитывали русские офицеры. На вынужденных стоянках лениво проводились военные занятия. Офицеры ехали в пассажирском вагоне. Оттуда вечерами неслись разухабистые русские частушки:

Шарабан ты мой, шарабан,
А я мальчишка да шарлатан.

Звучали издевательские частушки о бывших правителях.
Как Россию загубить?

У Керенского спросить.

А дальше следовал матерный припев.

В товарных вагонах, где ехала украинская молодежь, звучали совсем другие песни. Молодежь, презирая командовавших ими вечно пьяных русских офицеров, пела свои народные тягучие, грустные до тоскливости западноукраинские песни: «Де ты бродишь моя доля», «Ой чого ты дубе на яр похилився», где были такие слова:

Гей, лети, мий коню, степом и ярами,
Розбий мою тугу в бою з ворогами.

И обязательно пели «Ще не вмерла Украина», где всеми был разучен новый ранее малоизвестный куплет, нравившийся юношам и вдохновляющий их на бой с конкретным врагом:

Гей, Богдане, гей Богдане, славный наш гетьмане,
Нащо виддав Україну Москви на поталу.

Щоб вернуты ии честь, ляжем головами,
Назовемся Украины вирными сынами.

Настрой на беспощадный бой с московским войском был высок, несмотря на осознание того, что для многих этот бой мог стать последним.

В Круты вместе с ними прибыл бронепоезд, представляющий обшитый металлическими листами паровоз и платформу, обложенную мешками с песком, с двумя пушками и двумя пулеметами. Одну пушку было решено установить на перроне станции. Продуктов оставалось мало, и командовавшие непосредственно украинским отрядом Омельченко и Гончаренко по старому казацкому обычаю – с саблями на боку, снарядили несколько хлопцев в деревню для покупки у крестьян продуктов. Но крестьяне отказались продавать продукты и живность, и пришлось вернуться с десятком булок хлеба, которые забрали себе русские офицеры. Было решено приготовить обед из оставшихся продуктов, а в основном питаться сухим пайком. Но это не сбило боевого духа войска, насчитывающего более полутысячи человек.

В их рядах находился и Орест Яцишин. Он все время, как выехали из Киева, находился в приподнятом настроении. Его вдохновлял последний разговор с Грушевским, где тот сказал ему, что принят универсал, провозглашающий Украину независимой. Ему так хотелось поделиться этим известием с товарищами... но, помня суровый наказ «батька», он молчал. Но это молчание придавало особую значимость,

именно ему – никто не знает, а он знает эту тайну. И это вдохновленное настроение не оставляло его ни на минуту.

Но вскоре молодежь получила обкатку боем. В полдень на станции остановился состав с демобилизованными солдатами Румынского фронта. Старший состава, здоровенный солдат с черной бородой, отрекомендовавшийся председателем совета солдатских депутатов, сказал, что едут с фронта домой – «Надоело воевать», и попросил, чтобы им освободили путь, и они двинутся дальше на север.

Из теплушек вылезли солдаты, – размять ноги, их было человек четыреста. Они были в веселом настроении – война для них закончилась. Вступали в разговоры с молодыми си-чевиками и в шутку жалели их – куда вам, еще вчера сосавшим материнское молоко, воевать против солдат, которые три года в окопах вшей кормили, да матросов, злющих оттого, что подолгу не стояли на земле.

Но в руководстве украинским войском шли совсем другие разговоры. Лощенко, командир бронепоезда, был против пропуска этих солдат дальше – красные рядом. Они их сразу же мобилизуют в свою армию. Надо задержать их здесь на несколько дней.

Но русские офицеры резонно возражали – нельзя этого делать. Хоть солдаты и разоружены, но все равно у них найдется оружие, а военного опыта им не занимать. Они могут захватить станцию сами и, не спрашивая ничьего разрешения, пройти на север. Там они расскажут красным о состо-

нении украинского отряда, о юнцах, которые еще не нюхали пороху и, естественно, большевики соответствующим образом построят тактику боя. Может, повернуть их состав обратно, пусть найдут другие пути проезда на север? Оставлять же солдат на станции нельзя. Еще с полчаса продолжалось это обсуждение, но никакого решения принято не было. Русские офицеры ушли в свой вагон.

Солдаты на путях стали проявлять нетерпение. Угля осталось немного, а им надо добраться до Бахмача или даже до Конотопа, чтобы поменять там паровоз. Наконец чернобородый председатель совета не выдержал и напрямую рубанул:

– Убирайте бронепоезд с путей к чертовой бабушке, или мы его сами к ней направим!

Напряженность возрастала. Лощенко предложил, обращаясь почему-то шепотом к присутствующим:

– Не треба их пропускати. Эти москали объединяться с теми москалями. Их треба уничтожить.

Еще несколько минут, в отсутствии русских офицеров, продолжался разговор между украинскими командирами, которые согласились с Лощенко, что солдат надо частично уничтожить, частично взять в плен и держать до изменения обстановки. К тому же молодым воякам необходимо понюхать пороху, занять хоть какой-то боевой опыт.

Гончаренко ставил боевую задачу:

– Часть стрелцов пусть залягут за станцией ближе к semaфору, только с одной стороны, другая останется за стан-

цией, чтобы сразу же выйти на пути. Бронепоезд пойдет по соседней колее и из пулеметов начнет расстреливать вагоны с солдатами, а стрельцы с другой стороны откроют огонь. Большую часть кацапов перестреляем, а потом нам останется брать только пленных.

План одобрили все украинские командиры. Старшины пошли собирать сичевиков за зданием станции. Ничего не подозревающие солдаты-румынцы сидели на рельсах, греясь под неярким солнышком января, другие бродили по перрону. Украинские командиры разводили свои курени и, не повышая голоса, разъясняли на ходу задачу своим воякам. Возникло легкое возбуждение. Наскоро проверялись винтовки, некоторые досылали заранее патрон в патронник, чем вызывали грубый окрик и оскорбления старшин, объяснявших, что была команда привести оружие к бою, а не приготовиться к нему. А то еще перестреляют друг друга до боя.

Гончаренко вышел из комнаты, где совещались украинские командиры, в зал вокзала и сказал бородатому председателю солдатского совета, что сейчас бронепоезд перейдет на другой путь, и они могут ехать дальше.

– Хорошо, – ответил председатель и еще хотел что-то сказать, но Гончаренко поспешно отошел от него.

Орест был взволнован – впервые в жизни ему предстояло встретиться с живым врагом лицом к лицу. Смущало одно – солдаты с ними мирно беседовали, рассказывали о солдатской жизни и не думали, что эти юнцы могут сделать им

что-то плохое. Он подошел к Левку Лукашевичу, с которым подружился в последнее время, и который уже имел небольшой опыт боевых действий. Тот, несмотря на молодость, демонстрировал полное спокойствие перед малоопытными товарищами. Но это внешне – внутренне он тоже волновался, и это заметил Орест.

– Ты готов? – спросил он Левка.

– Да, – небрежно бросил тот, проверяя крепление штыка.

– А куда лучше целиться?

– Куда хошь, лишь бы попасть, а лучше – в живот. Так надежнее, да и рана здесь может быть смертельной. Проверь штык, может быть рукопашный бой.

– А они будут стрелять?

– Вряд ли. У них нет оружия, забрали на фронте. А если у кого есть, то немного, и вряд ли успеют применить. Нас больше. Не бойся, с этими солдатами мы справимся.

– А может, так нельзя – против безоружных? – волновался Орест, чувствуя, что здесь произойдет что-то подлое.

– Так це враги – москали, хотят завоевать нашу державу. Их надо бить всегда и везде, в любом виде, вооруженных или безоружных, чтобы другим было неповадно появляться в нашей державе. Поняв?

– Ага.

Старшина приказал им построиться, и они, будто занимающиеся боевой подготовкой, с песней пошли вдоль железнодорожного полотна в сторону головы состава.

Между тем бронепоезд запыхтел, из трубы повалил дым, он готовился перейти на соседнюю колею. Паровоз демобилизованных тоже стал разводиться пары. Раздалась команда: «По вагонам!», и солдаты лениво стали залезать в теплушки. Часть их продолжала стоять на рельсах и перроне, уверенные в том, что в любой момент успеют запрыгнуть в вагоны.

Бронепоезд тронулся, перешел на другую колею и пошел обратно, набирая скорость. Его два пулемета развернулись в сторону состава с солдатами и, когда бронепоезд сравнялся с паровозом, раздались длинные, непрекращающиеся пулеметные очереди. Один пулемет стрелял в дальние вагоны, другой прямо в упор перед собой. Из теплушек полетели щепки, раздались крики. Солдаты, стоявшие на перроне, в недоумении закрутили головами, пытаясь осознать, что происходит.

Старшина скомандовал «К бою!», и курень Ореста развернулся цепью в сторону насыпи. Кто-то сразу же упал на снег и стал стрелять из винтовки, кто-то бросился вперед с винтовкой наперевес. Ругаясь, Омельченко закричал:

– Ложись, дурни! Перестреляете друг дружку!

Орест увидел, как Лукашевич, деловито пристроившись, стреляет из винтовки с колена. Он тоже стал на колени и прицелился. Прорезь прицела никак не могла совместиться с мушкой, скакала из сторону в сторону и, подумав, что он сейчас не сможет правильно прицелиться, начал стрелять просто в вагоны. Авось в кого-нибудь пуля да попадет. Че-

рез несколько секунд он успокоился и совместил прицел с мушкой и с бежавшим к вагону солдатом, стараясь целиться в живот, как учил Левко. Нажав спусковой крючок, он увидел, что солдат упал. «Попал! Убил!» – мелькнула у него радостная мысль.

Но паровоз неожиданно тронулся, и стал медленно набирать скорость. Возле вагонов творилось невообразимое. Часть демобилизованных солдат выпрыгивала на снег, а другая наоборот – старалась влезть в вагоны. В этом столпотворении кто-то падал на рельсы под колеса двинувшегося поезда. Пулеметный и винтовочный треск сливался с воем людей, инстинктивно почувствовавшим, что их обманули и им отсюда не выбраться. Эта обреченность заставляла их запрыгивать в движущий состав, цепляться за скобы и переходы в вагонах, лишь бы быстрее уехать от этого страшного места. Бронепоезд, остановившись, медленно пошел обратную сторону, пытаясь настигнуть состав. Но было уже поздно, состав с солдатами-румынцами уходил. На платформу бронепоезда выскочил Лощенко, за ним артиллерийский расчет и они стали торопливо наводить пушку на уходящий состав. Раздался выстрел, и снаряд попал в середину состава, оторвав четыре вагона, из которых стали выпрыгивать солдаты и бежать к лесу. А потом из остановившихся вагонов стали вываливаться окровавленные люди и расползаться в разные стороны. Бронепоезд остановился, и пулеметы горячим огнем ударили по бегущим и ползающим солдатам. Пушка

стреляла еще несколько раз в сторону поезда, но в него уже было сложно попасть, и артиллерийская стрельба прекратилась, но зато стал более слышным интенсивный винтовочный огонь. По рельсам бегали солдаты. Безоружные, они не могли оказать сопротивления. Некоторые, поняв, что их спасение в лесу напротив станции, бросились туда. Некоторым удалось добежать до него – спасителя, но большинство солдат осталось на пути к нему.

– В атаку! Вперед! – крикнул Омельченко, и Орест, подхваченный какой-то неведомой силой, как собака на охоте, чувствуя сзади жестокого хозяина, бросился вперед, приготовив винтовку к штыковому бою, наперевес. Рядом с ним бежали его товарищи, возбужденные запахом горячей человеческой крови, которая паром выходила из умирающих тел в холодных лучах зимнего дня. Выскочив на железнодорожное полотно, Орест увидел солдата, который пытался встать на колени, чтобы защититься от нападающих, но ему трудно было встать, а неотвратимая смерть приближалась. Орест с маху всадил солдату, не подозревавшему, что смерть приблизилась по-гнусному, сзади, в спину штык. Солдат надломился и, перевернувшись боком, рухнул на рельсу, и острое штыкового кинжала трехлинейки, вышедшее насквозь, царапнуло холодный металл, по которому сразу же, темнея, побежала живая еще кровь. Не успел Орест вынуть свой штык, как в неподвижное тело вонзился еще один штык, потом другой. Всем хотелось ощутить плотскую

крепость человеческого организма, а противников не хватало. Одного солдата, уже мертвого, сичевики подняли штыками, и он стоял, как живой.

Рыскающим взглядом Орест увидел, как у здания станции, с деревянным брусом в руках, отмахивается от наседающих сичевиков тот здоровенный солдат, который еще недавно отрекомендовался председателем солдатского совета. Вытаращив глаза в диком вывороте, с трепещущейся растрепанной бородой, он, как восточный демон, раскрыв пасть с блестящими желтизной крупными зубами, орал:

– Гады! Суки! Сволочи! Я вам!..

Брус с огромной силой летал вокруг него, выбивая из еще неокрепших юношеских рук винтовки и не позволяя приблизиться к нему. Солдат обладал большой физической силой, и юнцам было тяжело с ним справиться – заматерел человек на войне. Орест видел, как Гончаренко – командир другого отряда сичевиков – прицелился из маузера в чернобородого. Он побежал туда, но его опередил Левко Лукашевич, который, как человек, прошедший начальную военную науку, решил показать, как надо сражаться с москалем. Но брус солдата отбросил Левка в сторону, – тот, в бешенстве вскочив, передернул затвор винтовки. Но раньше выстрелил из револьвера Гончаренко, и горячая пуля вошла солдату в грудь. Тот, опустив брус, с ненавистью глядел на своих врагов. Шатаясь, он снова попытался поднять свое оружие защиты, но тут Левко чуть ли не в упор выстрелил солдату в

живот. Тот, качнувшись, упал. Гончаренко, выхватив из ножен саблю, в остервенении несколько раз со всего маху полоснул его по лицу. Ключья бороды, мяса и мозгов разлетались в разные стороны, а Гончаренко бил его саблей, а потом, словно опомнившись, закричал:

– В лес! Догоняйте их!

Разгоряченные первым боем, молодые сичевики бросились к лесу, но оттуда раздался, неожиданно для них, опьяненных победой, выстрел, – и один из них упал.

– Ложись! Огонь!

Все залегли и стали стрелять в лес. Запал боя проходил, многие с ужасом оглядывались назад, на станцию. Не хотелось смотреть, что там было ими сделано. Из леса не отвечали на выстрелы, и сичевики также прекратили стрельбу. По команде, перебежками, ползком они вошли в лес. На опушке, под деревом, лежал солдат с револьвером в руках. Пуля пробила ему голову. Видимо, он был и до этого ранен – в его следах на снегу темнели багровые капли крови. Дойти и доползти до леса он смог, но дальше не хватило сил. Это он стрелял и ранил одного из сичевиков, а потом пуля попала ему в голову. В лесу виднелись еще следы, но преследовать уже не было охоты. Вернулись на станцию. Проходя мимо солдата, которого он проколол штыком, Орест остановился. Лицо солдата было разбито прикладом, а шинелька полностью проколота многочисленными штыками. Орест вдруг почувствовал жалость к погибшему, который был без-

оружен, и всего только хотел побыстрее попасть домой, в заброшенную Богом русскую деревушку. Ему стало страшно, и в сердце шевельнулся ужас: «За что его я так?..» И, словно боясь, что мертвый ему сейчас ответит, он бегом бросился к станции.

На рельсах валялись трупы. Чернобородого председателя можно было узнать только по раскромсанной бороде, остальное превратилось в ошметки мяса. Молодые сичевики уходили с полотна железной дороги и собирались за станцией.

А в вокзале проходил неприятный разговор украинских командиров с русскими офицерами. Они обвиняли украинцев в том, что те, не согласовав с ними возможность боя, нарушили условия соглашения о совместной работе. Штабс-капитан спрашивал:

– Вы не знаете, сколько их ушло? Не знаете. Вы понимаете, что они все расскажут советскому командованию о нашем отряде? Не понимаете? Вы представляете, что после этой резни они перейдут на сторону красных? И вернутся сюда, и так же расправятся с вашим войском, – как вы его гордо именуете. На войне это является законом – на подлость отвечают еще большей подлостью.

Лощенко довольный улыбался:

– Вернутся, так еще получают.

Но русские офицеры считали себя оскорбленными и заявили, что разрывают соглашение о военной консультации с украинским войском, и ушли в свой пассажирский вагон.

Украинские командиры остались одни. Что делать дальше – долго не обсуждали. Решили немедленно выступить против красных, хотя дело шло к вечеру. Заодно посчитали потери от боя. Оказалось – три человека убиты и пятеро ранены. Почему такие потери, когда демобилизованные солдаты не отстреливались? Пришли к нерадостному выводу, что в горячке боя сичевики, стреляя, случайно попадали в своих. Сколько погибло солдат – подсчитать было невозможно. Но пришли к выводу, что более сотни русских солдат полегло под Крутами. Такое соотношение погибших удовлетворило украинских командиров.

Команда бронепоезда сбрасывала с путей трупы, рассчитала пути от разбитых вагонов. Сичевикам приказали грузиться в открытые платформы для дальнейшего похода против красных,

Сичевиков выгрузили недалеко от станции Плиска потому, что разведка донесла, что красные уже там. Продвигаться дальше было опасно. Надо было выбирать место для будущего боя. И здесь сразу же стала видимой нехватка военных знаний у украинских командиров, а русских офицеров рядом не было. Возбужденный Лощенко кричал:

– Наши вояки покраще червонных! Наш украинский дух устранил недостатки в боевой подготовке. Дадим бой тут! Окопы сделаем в кустарнике, а червоным придется наступать на нас по открытому полю,

Гончаренко возражал по поводу оборонительного боя,

считая его ниже достоинства сичевиков, – только наступление. Омельченко соглашался-то с одним, то с другим. Напористость командира бронепоезда Лощенко одержала верх:

– Червоных больше, чем нас. В обороне, при участии в нем моего бронепоезда, мы положим их большую часть и сразу же перейдем в наступление.

Сичевиков разделили на две группы: одна должна была расположиться слева, другая справа от высокой железнодорожной насыпи. При строительстве железной дороги пришлось сделать пятиметровый наброс щебенки. Насыпь разделила отряд на две части, каждая из которой не могла видеть, что творилось у соседа. Это было болотистое место, промерзшее за два месяца зимы. Командиры все-таки пришли к выводу, что место не совсем удобное для боя, но открытое, обороняться удобнее, только надо правильно расставить пулеметы. Была дана команда рыть окопы, и сичевики начали долбить мерзлую землю, стараясь глубже в нее врыться, но более полуметра никто пробить не смог. Старшины подбадривали молодежь:

– Бачите, враг не страшен, сами сегодня убедились. Крещение военное прошло удачно. Дали москалям по морде. И этим, которые сунутся, тоже дадим по морде. Своей кровью упыются! Кровью...

Гимназисты, студенты, курсанты рыли в своей душе лютую ненависть к москалям, а во льду – свой конец.

Когда стемнело, командиры решили, что все равно ночью

красные наступать не будут, и поэтому было решено бронепоезду уйти в Круты, за два километра от места будущего боя, а сичевики должны были оставаться на местах. Гончаренко, командовавший правым флангом и Омельченко – левым, также решили вернуться в Круты, чтобы уточнить с русскими офицерами детали будущего боя – может, не откажут в совете.

На станции русские офицеры ужинали и, видимо, уже не один час, что было заметно по их побагровевшим лицам. Они пригласили украинцев за стол. Те недолюбливали русских офицеров за их безразличие к судьбе Украины, но поговориться надо было. Вскоре прибежал телеграфист и сообщил, что старшего срочно требует Киев. Русским офицерам это было безразлично. В другую комнату пошел Аверкий Гончаренко, и по его взволнованному голосу все поняли, что случилось что-то важное. Русские офицеры пошли в телеграфную. Аппарат выбивал на ленте, а телеграфист расшифровывал текст:

«Говорит главнокомандующий Красной Армии Муравьев. Киев взят мною. Центральная рада бежала в Германию. Приказываю: приготовиться к встрече победоносной Красной Армии, приготовить обед. Заблуждения юнкеров прощаю, а офицеров все равно расстреляю. Главком Муравьев».

Гончаренко растерянно держал в руках записанный телеграфистом бланк с текстом, и дрожащие губы непроизвольно произносили:

– Киев пав. Киев... что делать? Командиров расстреляют. А мы шо сегодня натворили? Поубивали солдат. Никого из нас не простят. Убьют. Шо робити? — снова повторил он обращенный к себе вопрос.

Бой становился бессмысленным. Возвращаться обратно в Киев – невозможно. Совета с русскими офицерами не получилось. Штабс-капитан заявил, что, ввиду изменившейся военной и политической обстановки, они немедленно уезжают и забирают единственный паровоз. Рады нет, а это освобождает их взятых ранее обязательств полностью, а не по собственному желанию, о чем они говорили днем. Аванс, данный радой, они отработали полностью. Один из пьяных офицеров запел бессмысленную песенку. Поняв, что разговор с русскими офицерами бесполезен, украинские командиры перешли в бронепоезд и всю ночь, в тепле, в отличие от молодых сичевиков, решали, что делать. Решили дать бой, сдача в плен после происшедшего в Крутах означала для всех смерть. Лощенко горячо уверял, что после победы здесь над красными они пойдут и освободят Киев. Потом решили перед боем поспать.

Но никто из них не поглядел в окно. Несмотря на ночь, в небе летали и каркали вороны, хотя им положено в это время тоже спать. Воронье готовилось к триумфальному пиршеству.

Сергей Артемов был в войсках Берзиня, наступающих на Киев с севера. Эти полтора месяца он находился то в Курске, то в Брянске, а последнее время в Сумах, где формировались красные отряды, – обучал пулеметному делу бойцов. В боях ему участвовать не приходилось. Врага в ходе наступления не обнаружили. Сложность представляло передвижение. Железнодорожный транспорт был разрушен: не хватало паровозов, вагонов, пути разбиты – никто не следил за этим. Все это затрудняло продвижение. Но сегодня разведка донесла, что части Центральной рады находятся в Крутах и, по все видимости, хотят дать бой. Это вызвало возбуждение среди красногвардейцев. А это были бывшие солдаты и матросы, которым хотелось почесать свои кулаки о кого-нибудь. Они соскучились по-настоящему делу. Московские и питерские рабочие, служившие в его отряде, жаждали разгромить буржуев, и таким образом помочь украинским рабочим. Так же у рабочих была надежда, что, может быть, удастся прикупить хлеба и сала, и отправить посылку голодной семье, в столицы.

Ближе к вечеру их поезд остановился на разъезде. Напротив них стоял еще один состав. Его вагоны были прошиты пулями, ясно были видны пулеметные очереди. Сергей подошел и, посмотрев на вагоны, определил: «Стреляли с близ-

кого расстояния».

Стоявшие возле вагонов солдаты с хмурыми лицами и злыми глазами рассказывали, как на станции Круты их обманули украинские сичевики. Никто из них не ожидал, что эти безусые юнцы начнут расстреливать безоружных солдат. Никто не был готов к такому повороту событий. Оружие они сдали на фронте. Но кое-что у них осталось и, если бы не ловили ворон и не подсмеивались над юнцами-интеллигентами, то показали бы им – как воевать и с таким оружием, что имелось: револьверами и гранатами. Выгружали убитых и раненных. Их оказалось более ста человек – почти четверть демобилизованных. Сколько осталось в Крутах, когда отошел поезд, никто не знал. Требовалось посчитать оставшихся. Потом выяснилось – не хватает около ста человек. Была полная уверенность, что все они погибли – сичевики действовали не только подло, но и жестоко. Солдаты были возмущены и требовали, чтобы им немедленно выдали винтовки, и они отобьют у врага хотя бы тела своих товарищей.

Подошли еще несколько поездов с отрядами красных. Вышел Руднев – командир передового отряда. Выслушав о случившемся, распорядился влить солдат-румынцев, – кто желает, – в их ряды и выдать винтовки. Раненых отправили в Бахмач. Выслав на разведку ручную дрезину, двинулись дальше. Уже в сумерках вернулась дрезина с сообщением, что украинские части окапываются между Крутами и разъездом Плиска, с ними бронепоезд. Продвинувшись еще немно-

го вперед на поездах, стали разгружаться. Решено было занять позиции где-то в километре от позиций сичевиков. Сергею, который командовал пулеметным взводом, было приказано расположиться на левом фланге от железнодорожной насыпи. В темноте Сергей наметил места, где расположить свои шесть пулеметов. Сам себе определил место недалеко от железнодорожного полотна, на небольшой высотке, поросшей кустарником, ближе к позициям сичевиков. Когда окопались, было около полуночи. Оставив часовых, бойцы его взвода собрались в небольшом ярку, где, несмотря на близость противника, развели небольшой костер, чтобы разогреть еду. Была полная уверенность, что сичевики не предпримут ночью никаких действий. Но Сергей все равно поинтересовался – не виден ли огонь противнику и, получив заверения, что «его и в десяти шагах не разглядеть», стал вместе со всеми есть разогретенные консервы. Дневная солнечная погода к ночи явно испортилась. Звезд не было видно, и только тяжелый ветер гонял черные в ночи тучи.

В его взводе были люди отовсюду: рабочие Донбасса и Харькова, солдаты из Одессы, крестьяне Поволжья. Сейчас за костром сидело семь человек, остальные были на позициях. После еды, как водится, начались разговоры. Солдат из эшелона Румынского фронта по фамилии Березов, из Тульской губернии, зачисленный во взвод Сергея потому, что был пулеметчиком на фронте, в который раз повторял, задыхаясь от приступа злобы:

– Пацаны они, пацаны! А мы с ними ля-ля. Мол, зачем вас таких молодых и необученных воевать послали? А они вообще молчали... но как-то по-нехорошему, зло. А потом нам так дали, без предупреждения! Откуда их набрали?

– Это, видимо, – ответил Сергей, – студенты и гимназисты. Я знаю, что их в Киеве готовили. Настоящие солдаты отказались поддерживать раду. А этим вбили в голову мысль о героизме. Жаль их. Но утром посчитаемся с ними за ваших солдат.

– Ты большевик? – не унимался Березов.

– Да.

– У нас тоже были большевики, а председатель совета – анархист. Во, мужик! Как все началось на станции, он выскочил из вагона и побежал в вокзал. К начальству, видно. Наверное, убили его. Вот гады! – и снова в его голосе слышалась злоба. – Вот сюда бы нашего председателя – разметал бы всех на шматки! Его на фронте и начальство боялось. Когда Керенский ввел смертную казнь, он на собрании офицерам сказал, что, мол, только тронут хоть одного солдата – ихни головы все полетят. Так те сразу же притихли. Анархистов у нас уважали.

– А на фронте вас сильно офицеры унижали? – спросил москвич, типографский рабочий Портянкин.

– В шашнадцатом годе, когда не было батальи, командовали сильно, но не все. Были и добрые. А во время боев – нет. Они с нами в атаку ходили и в окопах неделями не вы-

лазили. В тылу, когда отдыхали, то снова сильно командовали. А в семнадцатом – уже все. Стали советоваться с нами.

– А говорят, что они – как собака злая для солдата?

– Не всякие. Разные есть.

Но Портянкин не верил:

– Но они ж эксплуататоры! Кровь пьют с народа, а солдат – тот же народ.

– Нет, солдат не народ. Он на коште у царя был, потом у других и им положено командовать. Это гражданский человек – народ. А мы куда прикажут, туда и идем. У нас присяга и приказ. Солдатская жизнь – веселое горе. Крутись, чтоб все были довольны. А наши офицеры – храбрецы. Немецкие – в атаку не ходят, а наши – завсегда.

– Все равно, – не унимался Портянкин, – всех офицеров к стенке, а то они нас уничтожат. Им – только смерть.

– Ты не служил на фронте, Портянкин! – ответил Сергей, которому надоел этот спор. – Поэтому не знаешь ничего. Служба на фронте – это не жизнь гражданская.

– Все равно, – упрямо повторил Портянкин, – офицерье все в расход. Ты, большевик, командир, а этого не понимаешь. В столице большевики это понимают. Вон, эти офицеры сколько мятежей подготовили. И не щадили нашего брата!

– На войне никого не щадят, – ответил Сергей. – Пощадишь – самого закопают.

И, чтобы прекратить этот спор, приказал сменить им других на позициях. Влажный ветер готовил снежный налет, и

Сергей это чувствовал, обдумывая варианты утреннего боя. Вернулись продрогшие красногвардейцы с пулеметных позиций и стали греться у огня. Сергею захотелось спать, и он сказал, чтобы его разбудили, как потребует обстановка и, плотнее запахнув полушубок, протянув ноги к огню, заснул тяжелым бредовым сном.

Ему, как и раньше на фронте накануне боя, снился непонятный сон. Будто идет он по какому-то тоннелю или по пещере. Впереди виден свет. Большой ровный по яркости круг света. В пещере темно и страшно, только впереди круг света. Он идет вперед, а сзади него обваливается потолок, и ровные, слоистые куски земной породы, замуровывают сзади него выход. Он идет на свет, но никак не может до него дойти, – свет остается на месте, а он не может никак к нему приблизиться. Свет все время находится на том же расстоянии, а сзади обрушивается кровля, и ему остается только идти вперед...

Он резко проснулся, как от толчка. Было темно, костерчик давно потух, и Сергей чувствовал, что замерз, особенно ноги. Рядом спали еще двое бойцов. «Замерзнут еще», – подумал он и разбудил их.

Встал, потянулся до хруста в костях и пошел к своему пулемету. На востоке узким лезвием ножа туманился свет. Он вспомнил сон: «К чему это?» Он знал, что многие солдаты перед боем верят в сны и пытаются их угадать. А некоторые в случае плохого сна просыпаются и отгоняют его от себя.

Но такой сон он видел не впервые. Потом решил, что ничего плохого в таком сне нет, он его видел раньше и остался жив, да и свет же в тоннеле не потух. И, окончательно освобождаясь от сна, сказал Портянкину, чтобы он осторожно прошел по флангу и посмотрел расположение пулеметов, а сам стал слушать морозную, ветреную тишину.

Медленно начинался январский день. Грязно-серые тучи низко висели над противоположным лесом, готовясь выпустить из себя заряды снега. Тяжелый влажно-морозный ветер пронизывал поле, готовое к бою. Сергей при свете наступающего дня осмотрел местность и понял, что она неудобна для сражения обеим сторонам. Но им выбирать не приходилось. Насыпь железной дороги делила поле боя пополам, где каждый сражался сам по себе. Частые, но неглубокие окопчики, выкопанные сичевиками, растянулись почти на километр. Красные не копали окопов, готовясь к наступлению, и сосредотачивались дальше крайнего фланга сичевиков. Обойти сичевиков было несложно, а потом прижать к насыпи и уничтожить. Он приказал Березову остаться у пулемета, а сам пошел по флангу, прячась за кустами и обратными неровностями земли. Со стороны противника выстрелов не слышалось. Может, боялись себя обнаружить или ждали команды? Сергей приказал два пулемета перенести ближе к концу фланга, уничтожить передний край противника и этим обеспечить окружение. Еще один пулемет перенести ближе к насыпи, к его позиции, чтобы не дать бронь-

поезду подойти к ним близко. Два пулемета на большом друг от друга расстоянии он расположил в центре, решив, что этого будет достаточно для сдерживания противника на случай атаки. Он не знал, как будут действовать красные командиры, но это был очевидный план. Он еще раз осмотрел позиции врага и понял, что они обречены на поражение. Единственный выход спастись – немедленно отступить. Но пока обе стороны выжидали.

В девять часов, как только видимость стала лучше, со стороны Плисок заговорила красная артиллерия, и сразу же начался ружейно-пулеметный огонь. Сергей лег за пулемет, Березов был вторым номером, Портянкин подносил патроны. Сергей через прицел пулемета стал выбирать окопы, подготовленные похуже, чтобы выбить тех, кто не смог подготовить себе хорошего укрытия. Сейчас, через прицел пулемета, он видел не людей, а мишени, – тщательно прицелился и нажал гашетку.

Орест за ночь замерз в своем окопчике, хотя сичевики всю ночь ходили, разогреваясь, посещая окопчики друг друга. Старшины запретили разводить огонь и далеко отлучаться от боевых мест. Всю ночь вдалеке были слышны гудки паровозов, лязганье вагонов. Красные были рядом. Перед рассветом пришли Гончаренко и Омельченко. Лощенко не стал разводить пары бронепоезда, так что пришлось идти пешком. Они договорились сказать сичевикам о падении Киева, но промолчать о телеграмме Муравьева. Сообщение о взя-

тии красными Киева вызвало у вояков уныние, но Гончаренко бодрым тоном внушал:

– Зараз нам надо задержать червоных тут. Вечером уходим, а москалям потребується несколько дней, щоб привести свои части в порядок после боя с нами. А мы, отступив, соединимся с отрядами Петлюры, галицийскими куренями, и снова пойдём на Киев – и отобъём его у противника.

Такое разъяснение успокоило молодёжь, но страх перед предстоящим боем оставался. Когда совсем рассвело, Орест увидел то, чего не ожидал. За ночь красные подготовили несколько боевых позиций перед их окопами. Это было неожиданно – он не слышал звуков их работы ночью. И его товарищи не заметили, как враг смог незаметно подойти, как провёл фортификационные работы. Это повергло Ореста в уныние, но он решил, что все равно ему лично надо нанести как можно больший урон московскому войску.

Впереди их окопов рванули взрывы снарядов, потом сзади, но они не нанесли им большого ущерба, зато начавшийся пулеметный огонь причинил много бед. Орест видел, как пулеметная очередь прошла вначале в метрах тридцати впереди, потом ближе, и с третьего раза накрыла их окопы. Он с ужасом почувствовал, как буквально за его пятками вгрызлись в мерзлую землю пули, выкинув вверх замерзшие кусочки земли и льда. Орест поджал под себя ноги, еще теснее прижался к ледяной, в прямом смысле слова, болотистой земле и стал креститься, повторяя только одно слово:

– Спаси! Спаси! Спаси, о Боже...

По его окопу огонь прекратился и переместился в сторону. Он осторожно выглянул и увидел, что более серьезный бой идет у них на фланге, где непрерывно строчили пулеметы. Он взял винтовку и стал целиться в сторону противника, но, вспомнив как им недавно объясняли военные учителя в Киеве: из винтовки надо стрелять по видимой цели, – стал искать глазами такую цель, но не находил.

Из-за поворота леса вынырнул бронепоезд. На платформе у пушки в желто-синей фуражке богдановского полка стоял Лощенко. Несмотря на мороз, его куртка была распахнута. Бронепоезд остановился, Лощенко навел пушку в сторону красных и выстрелил, но снаряд пролетел далеко за их позициями. Он быстро перезарядил пушку и выстрелил уже без наводки еще раз. «Ура!» – зашумели по обеим сторонам насыпи сичевики. Они с надеждой смотрели на Лощенко и его бронепоезд. Но вот недалеко от бронепоезда разорвался один снаряд, другой, бронепоезд тронулся в обратную сторону и исчез в лесу.

Но его присутствие придало бодрости. Меж окопами ползал Омельченко со словами:

– Продержимся, панове, продержимся. Сейчас они пойдут в атаку – бейте их. До вечера москали еще умоются кровавыми слезами.

Через час красные наконец-то поднялись в атаку. С винтовками наперевес, они бежали вперед. Орест прицелился,

выстрелил и увидел, как матрос упал. Он радостно улыбнулся, вспомнил вчерашние события на станции и с удовлетворением подумал, что наконец-то он убил живого человека, а не добил раненого. И он стал стрелять, не обращая внимания – попадает он в цель или нет. Но красные приближались к их окопам, и беспокойство Ореста усилилось.

Но в это время снова выскочил бронепоезд, ведя огонь из двух своих пулеметов по разные стороны насыпи, а пушка посылала снаряды куда-то вперед. С платформы сбросили ящики с патронами, и кто был ближе к железнодорожному полотну, бросились их подбирать. Красные залегли. Но на краю его фланга бой усилился. Там красные подошли вплотную к окопам сичевиков. На платформе бронепоезда Лощенко вертел пушку в разные стороны, посылая снаряды то на один, то на другой фланг. Снова красная артиллерия перенесла огонь на бронепоезд, и он быстро пошел обратно, под защиту леса.

Орест видел, как красные снова поднялись в атаку, он прицелился, но пулеметная очередь прошла его окопчик, и он почувствовал, как жарко стало его плечу. Винтовка выпала из рук, и жар превратился в боль, отдающую во всем теле. «Убит?! Ранен! – мелькнула испуганная мысль. – Ранен! Слава Богу, и спаси меня!» Он, бросив винтовку в окопе, стал отползать ближе к насыпи. Подняв голову, он увидел, что красные находятся в их тылу – обошли. Край фланга находился под контролем красных, а студенты и гимна-

зисты бежали в разные стороны. «Как червонные так быстро сломили нас?» – мелькнула удивленная мысль. И тут он увидел Омельченко, который был ранен и кричал оставшимся в живых, чтобы отступали ближе к насыпи и шли к станции вдоль железнодорожного полотна. Но уже без команды недоучившаяся молодежь, в одночасье ставшая солдатами, заложниками чьей-то бредовой идеи, бежала к спасительной насыпи. Красные, ведя непрерывный огонь, умело стреляя на ходу, прошли линию их окопов, и растерявшиеся украинские хлопцы были бы уничтожены своим беспощадным врагом... но снова выскочил бронепоезд, и огнем своих пулеметов заставил красных залечь. Бронепоезд под огнем противника снова ушел, и теперь окончательно. Больше он не появлялся. Но эти несколько минут позволили сичевикам оторваться от противника и уйти в лес. Пошедший густыми хлопьями снег облегчил их отступление.

В небольшом лесу оказали помощь раненым. Перевязали простреленное плечо и Оресту. Эта остановка длилась около часа. Раненый Омельченко не торопил сичевиков.

А на левом фланге слышалась стрельба, разрывы снарядов. Гончаренко со своими сичевиками оказал красным более серьезное сопротивление. Но, когда пошел снег, и он приказал отступить. Уходили как можно дальше от железнодорожного полотна, понимая, что сейчас по нему пойдут красные. Это было единственно правильное решение в украинских войсках. К этому времени Круты были заняты крас-

ными обходным маневром, а бронепоезд Лощенко ушел версты на две от станции. Решили подождать тех, кто остался жив в этой мясорубке, и кто успеет прийти – тот спасется.

Десятка три человек – все, что осталось от правого фланга вместе с Омельченко – продвигались к станции. Перед станцией командиру стало плохо, и он сказал хлопцам:

– Идите на станцию, а за мной пришлете помощь. Я буду здесь.

На станции были красные, взявшие ее без боя. Солдаты с Румынского фронта разыскивали своих сослуживцев, убитых вчера сичевиками. Раскладывали трупы, узнавали товарищей и горько внутренне переживали за них, требуя идти дальше к бронепоезду и посчитаться с остальными. Снег сгущался, трупы вчерашних убитых заносили с улицы в небольшой зал ожидания и здесь, рассматривая обезображенные лица, многократно пробитые пулями и штыками тела, горестно вздыхали и произносили горькое: «Ой! Да тож Иван! А это Савка. Что с ними сделали! Мучители, а еще молодые. Старики до такого не додумаются». И такие причитания, иногда с солдатскими слезами, произносились почти у каждого тела.

Сквозь густой снег, не таясь, к станции подходили сичевики с винтовками, еще не знавшие, что она занята красными. Шли тяжело, многие были ранены и им помогали идти. Но среди них не было Ореста, в полукилометре почувствовал себя плохо и отстал.

– Ихни солдаты идут! – закричал красногвардеец, вбежав в здание вокзала.

Все замерли.

– Где?

Солдаты стали хватать винтовки, матрос быстро вставил ленту в пулемет.

– Стой! – заорал солдат, вчера чудом избежавший смерти. – Не стреляй! Живьем возьмем! За мной!

Из вокзала стали выскакивать солдаты и с винтовками наперевес бросились на идущих через пути сичевиков. Молодые вояки слишком поздно осознали, кто перед ними, некоторые пытались стянуть винтовку с плеча, другие бросились бежать, но было поздно – везде вокруг них были красные.

– А-а-а!.. – толпа разъяренных лютых солдат и матросов навалилась на сичевиков. Те сопротивлялись слабо, изредка прикрываясь винтовкой, а то и просто руками. Боевой мальчишеский запал после всего пережитого испарился, уступив место тупой покорности, безразличия ко всему существу. Толпа солдат, как стая волков, окружившая раненого и поэтому беззащитного животного, стала рвать его.

– Стой! – кричал какой-то командир. – Не смей всех убивать! В плен их! В плен!

Некоторые опомнились, и начали было удерживать своих товарищей, но было поздно. Лишь некоторые из сичевиков шевелились, остальные были мертвы.

– Стой! – вверх из револьвера стрелял командир.

Толпа, жаждавшая мести и получившая ее, медленно уходила от напавшего на нее затмения убийства. Командир поднимал сичевиков, способных еще ходить, и приказал им идти на вокзал, подталкивая тех револьвером. Окровавленные и измученные молодые борцы за независимость шли медленно. На станцию спешили другие солдаты, не успевшие принять участия в расправе. Их ноздри жадно раздувались, в предвкушении убийства, но командир продолжал кричать:

– Не трогать! Сейчас сообщу по телеграфу, – решат: куда их. Охранять здесь и не смей тронуть! То трибунал! – он вошел в вокзал.

Окружившая сичевиков новая толпа солдат возмущенно восклицала:

– Смотри, ребята, да то ж молокососы!

– А что они натворили, видел на вокзале?

– Повесить их немедля!

Толпа возбуждалась от своих криков. Бывшие студенты и гимназисты испуганно смотрели на них, моля в душе, чтобы быстрее вышел командир.

– А-а, это ты убил Ваньку!?

И уса́тый солдат, размахнувшись, прикладом винтовки, как дубиной, размозжил череп одному сичевику. Мозг, как парное тесто из бадьи, медленно полез из черепа. Это послужило сигналом к новой расправе. Их, уже упавших на снег, кололи штыками, били прикладами, и кровь, смешиваясь со снегом, застывала розовым марципаном. Выбежав-

ший из дверей вокзала командир кричал:

– Под суд всех! Под суд! – и размахивал револьвером.

Но его никто не слушал. Солдаты молча расходились, но гнев в их душах еще не улегся.

Подошел состав, с ним прибыли еще красногвардейцы. Командир на станции докладывал Рудневу, что произошло. Тот, выслушав, пошел обходить станцию.

С этим эшелоном прибыл Сергей с двумя расчетами пулеметов, остальные должны были подъехать позже. Сергей, увидев свежие трупы, валявшиеся на снегу, спросил, что произошло. Один из солдат, прибывший раньше и знавший Березова, охотно сообщил:

– Да гимназистики пришли сюда, думали, что их бронепоезд ждет. А здесь их мы ждали. Так вот, видишь, как им дали, в следующий раз неповадно будет на старших руку поднимать. За наших! Пусть знают.

Они вошли в зал ожидания. Там лежали заледенелые за сутки тела убитых солдат Румынского фронта. Зрелище было настолько ужасное, что Сергей отвернулся.

Но Березов вновь обратил его внимание на убитых:

– Вот он, смотри! Наш председатель совета. Кирюхин... такой анархист, которых никто не видел, – и он указал на труп огромного детины, где на месте головы была смерзшаяся колотушка. – Во был человек! Идеальный анархист был. Что сделали, гады... поздно я подъехал, а то бы я им тоже дал!

Березов в бессильной злобе сжимал волосатые кулаки.

Сергей вышел. На перроне он встретил Руднева. Они были одногодки, но Руднев уже командовал передовым отрядом. Он подозвал Сергея.

– Артемов, возьми пока командование здесь на себя. Выстави охранение, но к их бронепоезду не подходите, хотя бы пока еще полностью не стемнело. Пусть уходят, их наши в другом месте встретят. И порядок на вокзале и на путях наведи. Мы сейчас сюда еще один эшелон подадим, так приготовь место.

– Есть! – отчеканил Сергей.

Сначала надо было выставить часовых, что было сделано после пререканий с другими командирами. После боя было мало желающих нести охранную службу. Но нашли среди вновь прибывших тех, кто не участвовал в бою, и послали их. Сергей распорядился, чтобы от каждого взвода выделили по пять человек, которые должны были убрать трупы с путей и унести их за здание вокзала. Он занял комнату с торца здания, в которой раньше располагались рабочие-железнодорожники, обслуживающие станцию. С ним был Березов, огорченный тем, что ему не удалось приехать сюда раньше и самому поговорить с сичевиками. Он все время находился рядом с Сергеем. Ему Сергей нравился как человек, а главное – искусством владения пулеметом, которое он сегодня показал.

Не успели расположиться, как в дверь заглянул матрос в бескозырке. Они с этими головными уборами не расстава-

лись даже зимой. Он втолкнул в дверь впереди себя сичевика, молодого хлопца лет восемнадцати.

– Вот, поймал на путях, из леса вышел, – объяснил матрос. – Куда его? В штаб Духонина?

Такое выражение стало популярным после убийства генерала Духонина и означало смерть.

Это был Орест, отставший от своих товарищей из-за того, что ему стало плохо в лесу, и сейчас пришедший самостоятельно на станцию. Он прямо глядел на молодого красного командира. После увиденных им трупов убитых товарищей на перроне, он почувствовал прилив отчаянной смелости и готов был умереть рядом со ними.

Березов подошел к Оресту и пристально стал всматриваться в лицо Ореста:

– Ты убил Кирюхина? Ты! Я помню! – конечно, он этого не помнил. Но получалось так, что все солдаты Румынского фронта, находившиеся здесь, почему-то узнавали своих конкретных врагов.

– К стенке его! Я сам! – он побежал к стоящей в углу винтовке. Матрос тоже был такого мнения, и повторил еще раз: – В штаб к Духонину?

– Я сейчас допрошу его, – остановил их Сергей.

– Что его допрашивать, их все равно уже не осталось, а что осталось – разбежалось! Все о них известно!

– Ты иди, – сказал Сергей матросу.

Тот с недовольным видом вышел. Сергей спросил Ореста:

– Как фамилия?

– Ни розумию ворожей мовы, – смело глядя в глаза Сергея, ответил Орест. Он знал, что его ждет, и поэтому держался с вызовом.

Сергей спросил по-украински:

– Як признище? Имья?

– Не скажу. Я московскому ворогу не стану видповидаты.

Портянкин, тоже находившийся здесь, взял винтовку и начал подходить к Оресту.

– Я московский враг? Ты, жеваный задницей националист, всю жизнь молил нас о спасении, а сейчас я ворог!? Дай-ка я его за эти слова хряпну.

Но вмешался Березов:

– Нет, я. Вон, наши ребята дали им, а я не успел!

– Тогда вместе, – согласился Портянкин.

– Бросьте эти разговоры и уберите винтовки. Не видите, что он ранен? А раненых не убивают, – вмешался в их спор Сергей.

– Ты что, командир, врага жалеешь? – сощурившись, с угрозой начал Портянкин. – Тебе его жалко, а видел – сколько они вчера солдат уложили? У них-то жалости не было.

– Сядь в угол и сопи, – грубо оборвал его Сергей.

Портянкин, пораженный таким бесцеремонным ответом, действительно сел в угол, недовольно глядя на Сергея.

– Сколько вас было? – спросил Сергей, и Орест, с испугом наблюдавший предыдущий разговор, неожиданно по-русски

ответил:

– Не знаю. Много.

– Сейчас осталось мало. Остались там, в поле.

«Что он от меня хочет? Расстрелять? Так быстрее. Может, отпустит?» – мелькали спасительные мысли в голове Ореста. Глядя на молодого красного командира, он чуть ли не крикнул:

– Давай, кат, стреляй!

Сергей усмехнулся:

– Кто из нас кат, надо разобраться. Мы безоружных не убивали, мы вас побили в честном бою, а вот вы...

Он недобро поглядел на Ореста. И тут в мозгу Ореста мелькнула спасительная мысль:

– А вот вы сейчас наших, безоружных, – он говорил по-русски.

– У них были винтовки, могли бы защититься.

– Но я сейчас без оружия. А вы меня хотите убить...

Он говорил по-русски с тем мягким, быстрым говором, присущим Галиции. Сергей усмехнулся:

– Хитро загибаешь. Ты мне не нужен. Лучше пойдешь и расскажешь своим, что здесь произошло. Чтобы ваши, пришедшие на чужую землю, знали, что их ждет.

Глаза Ореста зло сверкнули, и он хотел было дерзко ответить на слова врага, но маленькая надежда на чудо заставила его сдержаться. Сергей одел полушубок и обратился к Березову:

– Пойдешь со мной.

Тот сразу же схватил винтовку и одел шинель. У Ореста упало сердце. Этот солдат со вчерашнего поезда живым его никогда не отпустит.

Уже начинало смеркаться. Они прошли мимо матроса, приведшего Ореста, который удовлетворенно хмыкнул, решив, что начальник решил самолично расстрелять сичевика. Они прошли по рельсам и свернули в лес. Оглянувшись и увидев, что станция скрылась из виду, Сергей сказал Оресту:

– Иди. Там еще должен стоять ваш бронепоезд.

Орест не верил своим ушам:

– А стрелять не будешь?

– С ранеными не воюю, – Сергей помнил свое ранение и знал, что с такими, даже врагами, надо быть добрее. Может, это он его и ранил со своего пулемета?

Орест, настороженно оглядываясь, пошел, и в мозгу была одна мысль: «Повезло? Не обманет?». Сейчас он уже не хотел лежать рядом со своими убитыми товарищами. Ему хотелось жить. Но его спина со страхом ждала пулю, вся занемела от этого ожидания. «Обманет или нет червоный?». Он зашел по тропинке в лес и услышал выстрел. «Обманул!». Но все было у него нормально, и он побежал, не обращая внимания на боль в раненной руке,

– Командир, что ты делаешь? Врага отпускаешь? – заговорил Березов, не веря происходящему. Он поднял винтовку и стал прицеливаться, но Сергей ударил ее снизу ладонью по

стволу и выстрел пошел в воздух. Березов в ярости закричал: – Под суд хочешь?!

– Ты фронтовик, и я фронтовик. Сам знаешь – раненого легко взять в плен, убить. Ты был ранен? Я тоже. Ты понимаешь состояние раненого?

Березов недовольно кивнул. Сичевика не было видно, он вошел уже далеко в лес. Они пошли на станцию. «Завтра надо будет выкопать могилы. Отдельно им, отдельно нам – и всех похоронить. А как же с теми, кто остался в поле? Местные похоронят. Надо их попросить об этом», – размышлял он.

Пробежав с полкилометра, Орест пошел быстрым шагом. Он забыл о боли. Он теперь верил молодому русскому командиру: «Не все они звери, как нам говорили, – билась в его голове лихорадочная мысль. – У русского командира честные глаза и он знает украинский язык. Неужели жив останусь? Слава Богу! Боже, спаси и сохрани!» – повторял он непрерывно последнюю фразу, как заклятие. Навстречу бежал сичевик. Это был Левко Лукашевич.

– Орест, ты жив?!

И неожиданно Орест заплакал. Слезы сами по себе потекли из глаз. Все виденное и пережитое за эти дни выливалось у него слезами. Он бессильно прислонился к Лукашевичу. Тот его не успокаивал, а говорил:

– Давай швидче, а то поезд сейчас отойдет. Москали нас могут догнать.

Поезд с русскими офицерами, которые не принимали участие в сражении, ушел еще утром. Им не хотелось умирать от большевистской пули за уже несуществующую власть и правительство. В две оставшиеся переполненные теплушки поместилось человек семьдесят – столько осталось от полутысячного отряда. С правого фланга, которым командовал Омельченко, пришел один Орест. Лощенко кричал, чтобы грузились быстрее, и на всякий случай поставил в дверях вагона пулемет, – для отпора красным. Бронепоезд тронулся с двумя прицепленными вагонами с сичевиками и, набирая скорость, поспешно отъезжал с места бессмысленного героизма и горькой черной славы. А в вагоне Орест безудержно плакал, и никто не мог его успокоить, пока он не забылся в беспмятном сне.

Он никогда не сказал никому правды, как спасся из-под Крут, но унижение, которое он перенес, не забыл, и это усиливало его ненависть к москалям.

Винниченко выехал из Киева на два дня раньше побега из столицы Центральной рады. Жену, на всякий случай, отправил в Геническ две недели назад, а теперь ехал туда сам.

Винниченко долго продумывал план своего отъезда из Киева. Хотя он и вышел из состава Центральной рады, но мог уехать вместе с ее руководителями, то есть сбежать к немцам. Но он понимал, что этот шаг зачеркнет его политическую карьеру и вызовет ненависть народа к нему, как и ко всем другим деятелям рады. Да и большевики бы не пожалели их и его. Он этот план отверг. Остался один вариант – временно скрыться и, конечно же, нельзя оставаться в Киеве. Было решено уехать на родину – в Геническ. Переждать это сложное время он мог не только в Геническе, но и в какой-то деревне, находящейся недалеко от города, где шансов на его задержание было немного. А потом, когда изменится обстановка, перед Винниченко открывались два пути дальнейшей политической карьеры – снова, вместе с Центральной радой, или с большевиками. Последние должны правильно оценить его недавний разрыв с радой. В любом случае, – так размышлял Винниченко, – он всегда будет на руководящей должности. Да и не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что он писатель, и этот нестандартный политический фактор в биографии сыграет положительную роль в популяризации его книг.

Раньше он носил аккуратно подстриженную бородку – типичный облик российского интеллигента. В последнее время он бороду не подстригал и не брился, и сейчас черный волос закрывал его лицо почти полностью. Он всегда любил одеваться изящно, а сейчас надел поношенные вещи, чтобы выглядеть бедным интеллигентом, бегущим от злой напасти в более благоприятные места. Такое бегство интеллигенции в более тихие места стало массовым явлением с начала зимы. Старый поношенный саквояж дополнял облик растерянного от бурных событий мелкого чиновника старой государственной службы. Все было сделано по канонам жанра приключенческой литературы. Недаром его называли писателем-мистиком.

Винниченко выехал не с главного вокзала, а с пригородной станции. В вагон он влез с трудом. Люди с билетами и без билетов, толкая друг друга, ругаясь последними словами, размещались кто где мог. Кто ворвался в вагон первым, занимал вторую и третью полки, где можно было спать лежа. Разложив на полки свои вещи, они готовы были защищать свои полки кулаками. Кому повезло менее, садились на нижних полках по четыре-пять человек. Кому повезло еще менее, размещались на полу. У каждого были узлы с пищей и скарбом. Мешочки везли по одному-два, а некоторые и больше мешков с зерном или пшеницей. Они были готовы защищать свое добро не только кулаками, но и оружием.

Ждали, когда тронется поезд, но еще с час после посад-

ки не подавали паровоз. Когда, наконец, состав тронулся, вздох облегчения вырвался у всех, – почти одновременно и единодушно. Винниченко даже внутренне рассмеялся такому общему желанию разных людей. «Надо записать в тетрадь этот интересный факт массовой психологии», – подумал он.

У него была привычка, как у чеховского Тригорина, записывать любопытные моменты из жизни людей, необыкновенно яркие слова и выражения – может пригодится для литературной работы. И тут Винниченко с грустью подумал, что давно не занимался литературным трудом – этот год писал только политические документы и лозунги. Его остро потянуло в свой саквояж за тетрадь и ручкой – для описания окружающих, но он сдержался, понимая, что сейчас не время, да и можно себя этим разоблечь.

Постепенно гвалт, вызванный посадкой в поезд, утихал, споры за места заканчивались. Худо-бедно, но места находили, устраивались и готовились к долгой, размеренной поездке. То, что поездка в Геническ будет длиться восемь дней, Винниченко никак не мог предположить. Раньше хватало одной ночи. А пока тронулись – и то хорошо. Винниченко ехал в вагоне третьего класса, среди простых мужиков и баб – крестьян, горожан, солдат. Это были те простые люди, которых он описывал в своих ранних произведениях, ярко и сочно, – позже он стал писать о творческой интеллигенции и революционных личностях. Он чувствовал, что многое потерял в своем творчестве: главное – чувство реальности. С тех

пор, с молодости, он не ездил в таких вагонах, предпочитая первый, в крайнем случае – второй класс.

Как всегда бывает в вагоне, пассажиры вначале присматривались к попутчикам, а потом начали вести беседы, сначала осторожные, потом более смелые. Мужичок в овчинном полушубке, из крестьян, говорил:

– Що зараз робытсья, все правильно, – говорил он на украинском языке. – Вот поделим землю окончательно, навсегда – и заживем. Большевики знают свое дело. А украинская рада не знает свой народ, що ему потрибно. Землю нам не дали, почалы воюваты с большевиками. Зачем?

Винниченко весь превратился во внимание. «Как? – думал он. – Войну ж не мы начали, а большевики. Как этот мужик так может думать? Неужели он большевик?»

– А сейчас большевики раде дали по морде – и правильно зробили. Бо от нее не було никакой корысти.

Баба с мешком и огромной сумкой на руках, которые до сих пор не могла нигде по-хорошему пристроить, подхватила:

– Зибралысь яки-то в Киеве, сказали – шо они власть, а сами не знали, шо им робыть. Нет, щоб дружно, як всегда, жить с Россией, так решали как отделиться. А кому це надо? Мени, чи тоби? Столько дурнощив наробины, шо настоящий дурень за все життя стильки не зробыт!

Мужичок согласно кивал:

– Народу це не потрибно, а им лишь бы власть держать.

Кышнули их – и правильно сделали! Они нам чужие. Они народу вороги!

Винниченко аж содрогнулся от этих слов: «Неправда! – хотелось ему кричать. – Направда!! Мы ж хотели вам добра! Чтобы вы не только спину гнули, но и чувствовали себя украинцами на своей земле! Неужели у вас нет чувства национального самосознания, а только одна работа?! Вы нас не поняли!»

Вмешался демобилизованный солдат, державший в руках вещмешок:

– Здесь шла война с немцами, а рада меж своими затеяла войну. Бог ее за это не простит. Надо было германца добить совместно с Россией, а потом суседские дела решать. Говорят солдаты, шо рада с немцами дружит, под их крыло хочет. Таких паскуд свет не видел! – он говорил по-русски.

Этот вывод солдата был как бы пощечина Винниченко, и он стал тереть свою щеку, словно снимая боль от удара.

Мужичок-крестьянин встрепенулся:

– Як це так? Пид яке крыло? Германца нам не хватало! Действительно – дурнулась рада. Мы с россиянами разберемся сами, без них, як нам житти – чи разом, чи раздельно. Большевики лучше знают, как нам жить, чем радовцы! Треба их гнать з Украины!

– Не гнать, а расстрелять, – поправил его солдат.

– Що, знову може буты вийна!?! – охнула баба. – Скоро четыре года, як воюим. На шо нам ще такое лихо? Взять эту

раду и в деревню! Поработали бы с зори до ночи, им бы тоды таки дурные думки в башку не приходили!

«Что такое они говорят, – уже с изнывной тоской думал Винниченко. – Они ж украинцы, а не какой-то другой народ. Мы ж для вас все делали! И землю бы вам отдали... не дико, как большевики, а цивилизованно. Мы и войну не хотели, избегали ее. Кто вам так сказал? А может, они так сами думают?» – сделал сам себе открытие Винниченко.

Солдат продолжал:

– Засели в Киеве генеральные секретари и глумились над Украиной. Решили мы их скинуть, – а стояли мы в Рени, – пошли на Киев, так они вызвали сичевиков, казаков. Они нас не пропустили. А то б еще месяц назад им бы висеть на каштанах! И никакой бы войны с большевикам не было.

Винниченко понял, что этот солдат – городской житель: «Русифицированный он. Не понимает украинской борьбы. Россия многое сделала, чтобы выбить все украинское в городах. Эх! Но этот селянин и баба из деревни – украинцы... почему они рассуждают так же, как этот солдат? Да и по-украински говорят они не как Грушевский и его окружение. У них украинский язык больше похож на польский. А здесь – чисто украинский, надднепрянский. Не зная нормально-го языка своего народа, мы взялись просвещать его в национальном духе...»

– То, – продолжал солдат, – были цапы вонючие. Дела нет, а вони много. Мы ж с русскими солдатами вместе воевали, а

ихняя политика привела к войне с русскими. Но мы отказались против большевиков воевать. Это воевали только петлюровцы и галичане. А мне русский солдат – как брат.

– Да, – согласился мужик, – нам нечего с ними делить, не то, что генералам из рады.

– Шоб тильки войны больше не було... – вздыхала баба, слушая рассуждения мужиков. – Нам бы зараз мирно пожить, хозяйство наладить. А власть нехай будет любая – лишь бы мирная.

«А что сделали наши руководители? – снова подавленно подумал Винниченко. – Пригласили немцев на Украину. А народ же не хочет больше войны. Что мы делаем? Сами себя губим! Не знаем, чем живет простой люд. Вот сюда бы в этот вагон Грушевского – пусть бы и он все это послушал, не только я. А то пишет книжки в кабинете, не выходя на улицу и не зная того народа, о котором печется. Какой разрыв между ними и нами. Пропать!»

– Перекусить бы, – сказал мужичок и полез в свой мешок. Солдат и баба согласились.

Они вынули из мешков сало, хлеб, соленые огурцы вареную в мундирах картошку, а солдат и флягу с самогоном.

– Вы, господин, не стесняйтесь, – обратился солдат к Винниченко. – Подсаживайтесь до нас.

Винниченко согласно кивнул головой и ответил по-русски:

– У меня тоже есть немножко. Я в спешке не успел подго-

товиться к поездке...

Он раскрыл саквояж, вынул кружок колбасы, банку мясных консервов и хлеб. Если не считать сала, которое он постеснялся выложить, у него больше ничего не было.

Крестьянин, посмотрев на продукты Винниченко, констатировал:

– Да, зараз в городе тяжело жить... – и, осмотрев глазами Винниченко, добавил: – А антилегантам, вашему брату, хуже всего.

Винниченко улыбнулся в бороду в знак благодарности мужичку и с удовлетворением подумал: «Хорошо я подготовился внешне. Признают за мелкого чиновника или учителя».

Баба захлопотала, положила на столик все ей данное, стала резать сало и хлеб. Винниченко обратился к солдату, посмотрев на свой перочинный ножичек:

– У вас не будет хорошего ножа?

Солдат вынул из-за голенища сапога финку в кожаных ножнах и протянул Винниченко.

«Вот это – настоящий нож, – подумал Винниченко. – А мы с ножичком. Люди живут по-крупному, а мы в правительстве украинизацией занимались да другой дребеденью, не нужной народу».

Ударами ладони по рукоятке ножа он попытался пробить железную крышку банки, но у него не получалось. Солдат, видя его неуклюжие движения, взял у него банку и нож и,

ловко вогнав его в крышку, несколькими движениям вскрыл банку.

– Вот так, господин хороший, надо делать, – наставительно сказал солдат.

Винниченко стало стыдно за то, что он не смог справиться с таким пустяковым делом, показал себя неумехой в глазах попутчиков. И это он – тот, который считал, что он досконально знает народную жизнь.

– Просто, сейчас как-то не получилось... – извиняюще пояснил он.

– Раз не можете этого делать, то пусть это делает кто-то другой, – назидательно ответил солдат.

Винниченко снова подумал: «Действительно, правильно говорят – каждый должен заниматься своим делом. А я полез в правительство. Руководителем быть проще. Так говорят».

Солдат разлил в алюминиевые кружки самогон.

– Ну, давайте понемногу.

Винниченко, решивший показать, что он ко всему привычный, глотнул залпом все, что было налито, сразу же поперхнулся и закашлялся, слезы навернулись на глаза. Давно уже он не пробовал крепкий народный напиток, употреблял в основном коньяк и вино. Мужичок, который спокойно выпил свое, закусывал огурцом и смеялся:

– Це панам не по нутру!

– Я не пан, – задыхающимся голосом ответил Винниченко.

– Кто ж вы?

– Журналист. В газете работаю.

– Так ты за большевиков выступал чи против?

– По-разному, – осторожно ответил Винниченко. – Когда они хороший декрет о земле приняли, я их поддержал, а когда войной пошли – был против.

– Так вы, господин, против советской власти, – пояснил ему солдат.

– Нет. Я говорю – по-разному было. Все ж так сложно...

– А раду поддерживал?

Вот это был действительно сложный вопрос, на который надо было соврать ему, – председателю бывшего генерального секретариата, – «генералу», как говорил недавно селянин.

– Вообще-то я был против. Она землю народу не дала, – Винниченко говорил упрощенно, но искренне. – И многое не сделала из того, что обещала. Вот бы повторила декреты советской власти – и ее бы народ поддержал.

Он давно не верил в тезис, внушаемый своим соратникам Грушевским о любви народа к Центральной раде. Но дальше последовало такое резкое и грубое суждение о ней, какого он не ожидал.

Наливая в кружки самогон, солдат вдруг начал ругать Центральную раду, не называя фамилий ее деятелей. С лютой ненавистью он стал ругать все украинское: язык, который рада пыталась навязать населению Малороссии и Новороссии, откуда солдат был родом; песни, в которых только од-

ни жалобы и плаксивость с безнадежностью; гимн, что скоро Украина умрет, а народ останется все же жить; газеты, чуждые для народа востока и юга Украины.

Винниченко отказался пить вторую кружку самогона и смотрел, как солдат зло опрокинул все в себя, только кадык на шее резко дернулся вверх-вниз. Жалость и боль пронзили его – ругают его любимое дело... но честно отметил, что солдат прав. Но разве можно ругать все свое родное и близкое так озлобленно? Такое можно сравнить только с тем, как сын, ненавидящий свою мать, вывел ее на площадь и ругает ее последними словами при всем народе, на радость зевакам. И ругал все украинское солдат, который был украинцем, грубо, жестоко, даже с циничной сладостью. «Это мы, – думал Винниченко. – Именно мы, украинская национальная демократия, так спровоцировали народ, что он нас ненавидит. Мы хотели перестроить державу и все дать своему народу, но хотели передать им национальное пробуждение, будучи в панских рукавичках. А народ хотел принять все грубыми мозолистыми руками. Так сделали большевики. Неужели эта банда права? Неужели? И эта тирада солдата – не единственная, которую ты слышал за последнее время. А сколько ты еще об этом услышишь, – о своей няньке-Украине, – бранных слов? Но это мы заслужили своим неумением донести великую цель всему народу... а народы-то Украины разные! Как галичане мечтают о независимости для нас! И какие байдужие люди до Украины в Малороссии и Новороссии. Надо

было для них не провозглашать лозунги о независимости, а надо было давать им землю, заводы, шахты, как большевики», – уже в который раз сделал для себя этот вывод Винниченко.

Солдата поддержала баба:

– Жили, жили, ничего не знали про Украину, тильки работали, а они стали разъяснять, що мы робим на украинской земле. Земля у нас гарна, да правители погани.

Крестьянин поддакивал в знак согласия.

«Неужели мы так одиноки? – с болью в душе думал Винниченко. – Нет! Они любят Украину, и поэтому с такой болью и злостью говорят о ней. Надо снова все начать, но только по-новому, с экономических преобразований, а не с лозунгов. Только бы было не поздно... пусть это новое будем преобразовывать с немцами, но для них – этих темных людей. Но народ будет как всегда – против иноземца. Чужого дядю народ никогда не примет, это ясно. Что мы делаем? – и Винниченко захотелось закричать. – Караул!»

А баба между тем говорила:

– Вы закусывайте, пан. Щось вы ничего на снедаете. Вон, вы какой худой. Небось, в городе последний месяц голодали. Берите сала поболее, а колбасы помене, так сытнее...

Простая, безграмотная украинская баба от всей души хотела накормить обездоленного и голодного, по ее мнению, горожанина. И бывший правитель Украины взял большой ломоть сала, очищенную картошку и, откусывая огромные

куски черного хлеба, стал есть ее – народную жизнь. А баба жалостливо подкладывала новый кусок сала и картошку незнакомому интеллигенту, и ей доставляло большое удовольствие видеть, как обиженный нынешней суровой жизнью человек получает от нее добро, – то, что у нее сейчас только и осталось. Природная женская жалость – помочь тому, кому, по ее представлению, сейчас хуже, чем ей.

У Винниченко от такого отношения к себе со стороны простой малограмотной женщины наворачивались слезы на глаза: «Она ко мне со всей душой, а я, будучи головой правительства, хотел эту душу переделать. Действительно, мы – цапы вонючие».

Поезд остановился. Фастов.

– Долго ехали, – сказал вслух Винниченко.

– Ничого не долго, – ответил крестьянин.

За окнами вагона было темно, слышался шум и крики.

Потом, кто-то в их вагоне прокричал:

– Мешочники на выход! Вместе со своими мешками, – голос удовлетворенно хохотнул.

Пассажиры затихли. Снова тот же голос, но уже более жестче, прокричал:

– Я кому сказал, мешочники на выход! Охфицеры – тоже.

Быстрой!

По вагону, переступая через узлы и сумки, пробирался матрос, за ним шли двое в солдатских шинелях. В руках у матроса был маузер, солдаты с винтовками. Он размахивал

маузером:

– Я показываю, кому выходить. Ты, на выход. Бери все свое с собой. Ты тоже. А это чей мешок? Твой? Нет. Значит, ничей. Забирай, братва. Значит, конфискуем. Документы. Кто такой... тоже на выход. Охфицер перекрашенный. Это твои мешки? Ага, пудов пять будет. Ну, мешки берите, хозяина – и на выход. Документы? Что в мешках? Врешь, мука. Вот, видишь, дотронулся – и рука у меня белая. Выходи!

Матрос приближался к их купе и ткнул ногой в мешок все время сидевшего молча усатого мужчины:

– Твой?

Мешочник стал говорить, что везет хлеб в город своим детям, но матрос сунул ему под нос маузер:

– Видел? Выходи.

Потом он повернулся к купе, где сидел Винниченко.

– А, солдатик, – по-дружески обратился к солдату матрос. – С какого фронта и полка?

– Румынского, Сумской полк.

– Наш. Румчерод знаешь?

– Конечно.

– Сейчас в Одессе Румчерод заправляет всем. Пойдем с нами? Нам бойцы нужны. Деньги и паек будут хорошие.

Румчеродом сокращенно назывался Одесский совет Румынского фронта, Черноморского флота и Одесского военного округа.

– Нет. Я домой, в Елисаветград.

– Как знаешь, – равнодушно ответил матрос.

– А ты кто, офицер? – матрос был выпивши, и его рука с маузером поднялась выше по направлению к Винниченко.

«Узнал меня, – лихорадочно думал Винниченко. – Мои ж портреты были напечатаны в газетах, в листовках к выборам... знает меня!» – мелькнула трусливая мысль.

– Я не офицер, а журналист, – пересохшим от испуга ртом ответил Винниченко и облизнул губы. – Вот документы.

Матрос взял паспорт и при свете фонаря стал его рассматривать. Видимо, документ не до конца его удовлетворил:

– А откуда ты, господин?

– Из «Киевской мысли», – торопливо ответил Винниченко, специально назвав русскоязычную газету и, поняв, что матрос из Одессы, добавил: – Мои заметки печатались в «Одесском листке» и в «Одесской почте», – он назвал самые дешевые по цене одесские газеты, надеясь, что матрос держал их в руках.

Это объяснение удовлетворило матроса:

– А, читал. Там хроника есть... так называется?

– Да, там были и мои заметки! – поспешно согласился Винниченко.

Солдат, выставивший самогон, вмешался:

– Слушай, браток, он не офицер. Я их нутром чую, фронт прошел.

– Сам знаю, – оборвал его матрос и отдал Винниченко пас-

порт. Он с солдатами пошел дальше и только слышался его голос: – Вылазь! В Москве и Питере голод. Там дети, как мухи осенью, от голода мрут, а вы у них хлеб воруете. А он им нужен! Нужен для продолжения революции в мировом масштабе. Вылазь! На выход! Видишь, маузер. Такую дырку сделает, никакой портной не залатает. Выходь!

Сквозь примерзшее окно Винниченко видел, как матросы откладывают мешки с хлебом отдельно, а мешочников распределяют по группам – видимо, по количеству находившегося у них хлеба. Одну группу, человек восемь, выстроили на краю перрона. Винниченко посчитал – семь мешочников, а потом увидел, как напротив их встали матросы и солдаты с винтовками и маузерами.

Раздался хриплый, простуженный голос:

– По врагам революции... по приказу товарища Троцкого... огонь!

Все семеро, как подрезанные колосья хлеба, упали на истоптанный грязный перрон.

– За что ж их так? – дрожащим голосом спросил Винниченко.

Крестьянин, который тоже смотрел в окно, равнодушно ответил:

– Це мешочники, спекулянты... хоть некоторые везут хлеб для своей семьи. Но таких они в сторону отставили, только хлиб забрали.

– Это ж дикость! – не выдержал Винниченко, хотя мог

бы и вспомнить, что Ковалевский – секретарь по продовольствию – месяц назад издал указ о реквизициях и конфискациях хлеба у мешочников. Но об этом он забыл. Солдат ответил:

– Вы что, не знаете, что творится вокруг? Сейчас кругом дикость. Революция ж. Понимаете? А ваш брат мало выходит из дома, сидит, думает больше, поэтому мало видит дикости. А если б почаще ездили, то не удивлялись.

Крестьянин согласно кивнул, а баба со вздохом перекрестилась. Винниченко смотрел на них и думал: «Неужели народ так озверел. Неужели мы не знаем своего народа? Мы, демократы. Мы жили сами по себе, а они сами по себе. Надо всем правительствам время от времени проезжать по своему краю в скотских вагонах, которые набиты «их» народом, и смешаться с ним, и послушать его. Это наш корень, а мы листья, которые при малейшем дуновении ветерка опадают. Потом желтеют и умирают раньше корня. А корень живет долго. Плохо мы знаем свой народ, плохо...»

Винниченко предстояло ехать еще семь дней и совершить около десятка пересадок. Смотреть было на что, слушать было что, а еще все надо было чувствовать, но не по-своему, а как это чувствует народ. Душа воспринимала боль народа, но мозг, забитый идеями национализма, мечтал о власти, которая должна не только дать народу землю, но и силой навязать ему великие идеи украинизма.

27 января 1918 года Красная армия вошла в русскую столицу, мать городов русских – Киев. Разномастная, недисциплинированная, плохо одетая, но зато обвешенная разного вида оружием: винтовками, саблями, всех систем револьверами и гранатами, перетянутая пулеметными лентами, армия приступила к наведению порядка в городе. Стены заpestрели приказами и листовками. Главком Муравьев приветствовал киевлян с победой листовкой, где было написано, что «большевистская армия на остриях своих штыков принесла с собой идеи социализма». А в приказе он предписывал «немилосердно уничтожать всех офицеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции». Кто был «все враги революции» – не пояснялось.

Киевляне, изможденные пережитыми волнениями, бессонницей, голодовкой, послушно приняли новую власть. С тупой безнадежностью они смотрели, что творится в городе.

Офицерам было приказано перерегистрироваться, чтобы они могли и далее получать паек от военного ведомства. Но это имело для них самые роковые последствия. Таких доверчивых офицеров арестовывали сразу же или позже приходили к ним домой и безвозвратно уводили. В Мариинском парке казнили сотни офицеров русской армии. Тысячи были убиты на улицах.

Бард и Эльвира были свидетелями, когда на Бибиковском бульваре красногвардейцы пытались сорвать с полковника погоны. Он объяснял четверым красногвардейцам, что он участник жестоких боев под Сольдау и Праснышем, многократно и тяжело раненный. На вид ему не было и сорока. Красноармеец выстрелом в затылок убил его, заявив, что «как був высокоблагородие, так и останется, из него буржуйской закваски не выбьешь». Был бессмысленно расстрелян киевский митрополит Владимир.

Проводились обыски, – в первую очередь у буржуев. «Пойдем с нами щи хлебать, буржуйка! – говорил красногвардеец почтенной матери семейства в присутствии членов семьи, прислуги, поставленных лицом к стенке комнаты с приказанием не шевелиться во время обыска. – У-у! Тебе все шампанское, лакать! Буржуйская рожа». Погромов не было, но ценное в богатых семьях изымалось безвозвратно.

Муравьев распорядился о наложении на город пятимиллионной контрибуции. И обыватель немедленно стал вносить деньги, чтобы успокоить красных руководителей. Куда шли деньги – никто не знал, так как в банки и кредитные учреждения были назначены советские комиссары, которые не понимали финансовых дел, но зато началась дезорганизация финансовой жизни. Часть контрибуции, как говорили руководители, пошла на закупку хлеба, выплату пособий семьям погибших, а о другой части могли знать только Муравьев и его ближайшее окружение.

Сергей Артемов, который недавно прибыл в Киев, был вызван в штаб Красной армии. Красивейшее здание в Киеве – Мариинский дворец, представляющий музейную редкость, был превращен в штаб. В вестибюле дворца стоял пулемет, а рядом сидел красноармеец. Другой охранник проверял документы. Сергей подал солдатскую книжку.

– К самому главкому?

– Да.

– Он занят сейчас, – с сомнением ответил красноармеец. – Поэтому можешь к нему не попасть.

– Тогда к начальнику снабжения.

– Иди. Может, найдешь кого нужно.

Сергей поднялся на второй этаж и зашел в зал, в котором раньше проводились концерты и собрания. Сейчас там говорил, а можно сказать точнее – выступал, Муравьев.

В креслах вдоль стен сидели прилично одетые люди. Руднев, который находился здесь, показал рукой Сергею, чтобы он сел рядом. Муравьеву еще не было сорока лет. Бывший подполковник царской армии, имеющий ранения в русско-японскую и мировую войну, преклонялся перед Наполеоном. Одет он был в гимнастерку высшего чина царской армии, но без погон. Мягкие хромовые сапоги неслышно ходили по толстому ворсу ковра. Взглянув на пришедшего Сергея, – нового человека в зале, – Муравьев, красуясь, продолжал свою речь:

– Господа буржуи! Я пригласил вас, чтобы объяснить воз-

никшую ситуацию. Вначале я распорядился о наложении контрибуции в пять миллионов рублей. И вы их собрали, за что спасибо. Но ситуация изменилась. В Киев прибывают новые наши части. Их тоже надо кормить, платить деньги... а пяти миллионов не хватает. Я хочу подчеркнуть, что украинские бумажки или, как вы их назвали – боны, мне не нужны. Нужны николаевские, керенки, советские деньги, – у кого их нет, могут заменить золотом, серебром и другим ценным металлом. Я думаю, вы это понимаете?

Красуясь, как тигр, крадущийся за легкой добычей, он похищному кружил по мягкому ковру, по которому когда-то ходили царь и многие другие высокопоставленные лица.

– Я решил собственноручно увеличить контрибуцию до десяти миллионов. Ничего в этом удивительного нет. Вы все люди образованные и прекрасно знаете, что во все времена, во всех войнах победители брали контрибуцию. Эта война, хоть ее и называют гражданской, не является исключением. Я прошу вас всех с пониманием отнестись к нашим нуждам и буквально в ближайшие дни собрать еще пять миллионов. Вам понятно?

Он нарочито вежливо обращался к сидящим, подчеркивая тем самым превосходство победителя. Перед ним дрожал весь Киев, но один из присутствующих буржуев все-таки осмелился спросить Муравьева:

– Господин командующий...

Муравьев недовольно поморщился и поправил его:

– Товарищ главнокомандующий.

– Покорнейше прошу извинить, товарищ главнокомандующий. Мы, вот здесь сидящие, пришли к вам на прием, потому что внесли свою долю. Надо бы попросить других...

– Это вы выясняйте друг с другом, – перебил его Муравьев. – Мне деньги нужны срочно, я должен вскоре уехать в Одессу и должен обеспечить находящиеся здесь войска всем необходимым. И до моего отъезда напрягитесь и соберите деньги.

– Я уже заплатил, что с меня причиталось, и у меня есть соответствующая квитанция за подписью вашего ответственного лица, – он вынул из портмоне какую-то бумажку и издали показал Муравьеву. – Поэтому нам кажется несправедливым платить еще раз...

Муравьев снова недовольно сморщился, что он делал довольно часто:

– Я знаю об этом, но ничем вам помочь не могу.

– Почему?

– Ответственного лица, совершившего такой самочинный поступок, как выдача каких-то квитанций, уже нет в живых.

– Я третьего дня с ним разговаривал. Вот он мне дал эту квитанцию, – растерянно вертел человек в руках бумажку.

Муравьев, посмотрев на него насмешливо-свысока, ответил:

– Я вчера приказал ему застрелиться, и он уже привел мой приказ в исполнение. Вам понятно?

– Да, но все равно...

– Вам все равно насчет контрибуции? – удачно подхватил его фразу Муравьев и после паузы продолжил: – Я понял, что теперь вы внесете недостающую сумму куда положено и тому ответственному лицу, которого я лично назначу.

Он явно насмеялся над униженными буржуями и широким жестом закончил:

– Я все сказал, господа буржуи, и с сегодняшнего дня жду взносов. В следующий раз я вас приглашу не в этот прекрасный дворец, где происходили, – как у нас сейчас, – светские приемы, а в официальный орган. Но надеюсь, мы до того органа с вами не дойдем.

Он нарочито вежливо склонил перед ними голову в поклоне. Присутствующие не спорили, понимая, что это бесполезно. Гуськом они покинули зал.

– Ну что? – самодовольно обратился Муравьев к присутствующим при разговоре красным командирам. – Посмотрели, как с ними надо разговаривать? Поучились? Вежливо и твердо. Если только с ними расслюнявишься, то они как налиммы вывернутся и ничего никогда не дадут. С буржуями надо только так, как я показал. А теперь, Ремнев! – обратился он к своему помощнику. – Издай приказ, что дня через два-три все солдаты получают положенное им денежное довольствие. И предупреди, чтобы воровство прекратили. Хватит! Они и так много экспроприировали у буржуев. Красная армия не должна пятнать себя уголовными делишками. По-

нял? Ну, а теперь, товарищи, займусь я вами. По каким вопросам вы пришли ко мне на прием?

Он так подчеркнуто громко выразился: «На прием». Бывшему подполковнику царской армии старая должность и звание были недостаточны, и теперь он наслаждался властью, неожиданно свалившейся на него в ходе революции. На политическом облике левого эсера явно выделялась маска авантюриста.

Руднев прокашлялся и сказал:

– В городе происходят неприятные события. Я бы хотел обратить ваше внимание, что в нашей армии сильно упала дисциплина. По улицам носятся на автомобилях и пролетках матросы и красноармейцы с оружием в руках, сорят деньгами в ресторанах, игорных домах...

Муравьев недовольно поморщился и перебил Руднева:

– Я об этом знаю. Я своим солдатам говорил – как придем в Киев, так там отдохнем по-хорошему. А я всегда держу слово. Пусть пока повеселятся. Это право победителя. Впереди их ждут военные действия, и еще неизвестно – кто из них останется живым. Но буквально через несколько дней я возьмусь за них. Я уже хочу подписать соответствующий приказ. Будем усиленно заниматься военной подготовкой. Немцы уже начали наступление по всему фронту против Советской России, и нам, армии, необходимо защитить революцию.

Муравьев прекрасно знал чувства масс и играл на их са-

мых тонких струнах. Он и его помощники были сокрушительными и жестокими в отношении врагов, и бомбардировка Киева это показала. Но они были хоть и деспотичными в отношении своих подчиненных, но одновременно снисходительными, как родные отцы.

– Скоро сюда переедет из Харькова правительство Советской Украины, – продолжал Руднев. – Оно, я надеюсь, наведет порядок.

– Пожалуйста, пусть приезжает, – ответил Муравьев. – Я в ближайшие дни отправляюсь в Одессу, как вы уже слышали. Часть армии отправится со мной. Я вижу, что правительство хочет, чтобы я делал только грязную работу – завоевывал для него города и территории, а оно хочет чистенькими ручками строить новое государство. Ну, что ж... – как бы обиженно добавил он, – история каждому определяет свою роль, и мы должны ей подчиняться, но она же все расставит по своим местам. Кто в ней останется – кто нет.

– Товарищ Муравьев, сейчас существует главная задача – взяться за дисциплину в армии. Это первая главная задача. И вторая – надо эту армию накормить, а также дать хлеб горожанам. Они уже целый месяц голодают. В магазинах пусто, крестьяне на рынок продукты не везут, боятся ограблений. Надо срочно наладить снабжение города продовольствием.

– Я с вами согласен. Давайте пошлем летучие отряды в деревню, чтобы закупить у крестьян хлеб. Я сейчас отдам приказ, а завтра отряды уже пойдут. Пусть наша армия ак-

тивно участвует в снабжении города, чтобы все видели – мы не только разрушаем, но и кормим их.

Он помолчал несколько секунд, а потом торжественно произнес:

– А сейчас я приглашаю вас всех на обед.

Он жестом указал на соседнюю комнату. Во время разговора его помощники удалились туда. Муравьев картинно хлопнул в ладоши – и как в сказке, по мановению волшебной палочки створки дверей раскрылись. Полностью был виден длинный банкетный стол, заставленный блюдами с различной едой, бутылки шампанского, коньяков, водки, вина...

– Извините, – говорил Муравьев, как радушный хозяин дворца, – что пришлось задержаться с обедом, но дела для нас, конечно, важнее. Мне хочется ближе познакомиться, в непринужденной обстановке, с доблестными победителями петлюровских войск под Крутами. Я специально для вас приготовил тетеревов в самом лучшем соусе, который нашелся в городе. Вчера мой отряд охотников настрелял тетеревов под Киевом. Прошу, товарищи! – приглашал, как заматерелый барин-крепостник, гостей в банкетный зал Муравьев.

Но Руднев, вынув часы из внутреннего кармана, ответил:

– Сожалею. Но у нас уже нет времени. Сейчас у нас совещание у нашего главкома. Так, Артемов?

– Да, – подтвердил Сергей, хотя никакого совещания в распорядке сегодняшнего дня у них не было.

У Муравьева от злости сузились глаза. Поняв, что они от-

казываются от обеда, он резко сказал:

– Я понимаю, что вы смотрите на эти яства и презираете меня за то, что я позволил немного, может быть, лишнего. Но мы же с вами солдаты, и должны хоть иногда пожить не как революционеры, а как простые смертные!

– Мы – революционеры! – резко возразил ему Сергей. – И, пока народ голодает, мы не можем позволить себе есть тетеревов.

А Руднев добавил:

– Вы же не были рабочим, у вас совсем иное мышление, – не революционное, а с отрывками прошлого.

Муравьев нахмурился. Вышедшие из банкетного зала Ремнев и другие помощники были готовы вступить за своего главкома. Но Муравьев вдруг непринужденно, делая вид, что говорит от души, начал сглаживать сложившуюся напряженную обстановку:

– Ладно! Раз нет времени, так нет. А на тетеревов внимания не обращайтесь. Это наши ребята-охотники решили побаловать своих победоносных командиров. Ведь они взяты не с кухни буржуев, а в лесу. Я сейчас распоряжусь, чтобы этих проклятых тетеревов отправили в госпиталь, раненым. Ремнев, слышишь, что я сказал? – Ремнев щелкнул каблуками и пошел в банкетный зал. – Но в следующий раз от обеда не откажетесь. Я сам согласую время обеда с вашим главкомом и сообщу вам... договорились?

Он протянул им руку, пожелал успехов, но глаза его бес-

покойно бегали. Он боялся, что Руднев может сообщить более высокому начальству об этом случае, а те – в правительство.

«Надо срочно собрать контрибуцию, – подумал Муравьев. – И так же срочно уехать из Киева в Одессу». И он пошел в банкетный зал, где его ждали Ремнев и другие помощники, чтобы попробовать тетеревов.

Руднев и Сергей вышли из дворца.

– Смотри, – сказал Руднев, – какое место занял. Лучшее в городе. Вот что, товарищ Артемов, бери завтра свой взвод, оставь здесь пулеметы и шуруй в деревню. Сегодня распределим, кто куда поедет. На этого, – он кивнул в сторону дворца, – надежды никакой. Мало у нас командиров с пролетарской закалкой...

– Такие, как он, позорят нашу армию, – поддержал его Сергей. – Надо их гнать от нас подальше.

– Надо-то надо... специалистов у нас мало! Поэтому берем старых офицеров, а они не все понимают цели революции.

Уже вечером, выходя из штаба своей северной группировки войск, Сергей увидел Барда и Эльвиру. Оказывается, они узнали, что Сергей здесь, и давно ждали, когда он выйдет. А в штаб их не пустили. Сергей пригласил их к себе на квартиру, где он остановился на жительство. Потом предложил им остаться у него ночевать, чтобы завтра выехать вместе с ним в село для закупок хлеба.

Бард, захлебываясь от восторга, рассказывал, как он был ранен, и теперь в этом отношении сравнился с Сергеем. Эльвира была более сдержана, но Сергей понял, какой ад пришлось им пережить на «Арсенале». Она возмущалась, что пришли не те красные, которых знали киевляне, а какие-то разбойники. Они сообщили Сергею, что стали мужем и женой, и он их поздравил. Эльвира осторожно спросила:

– А ты, Сергей, давно не видел свою семью... я заметила, тебя не сильно к ней тянет? Ты женат или нет? – задала она прямой вопрос.

– Как сказать... с одной стороны – женат. У нее двое детей, но дети не мои. Муж погиб на фронте, а я ее сосед. Пожили вместе месяц, и я вот уехал. Сама думай – женат я или холост? И не задавай мне больше таких вопросов. Ты – замужняя женщина.

Эльвира поняла, что в личной жизни у Сергея что-то не сложилось. У них с Бардом в этом отношении даже лучше, чем у него.

Поздно вечером легли спать, решив, что завтра утром Бард с Эльвирой заберут свои вещи из квартиры, где живут, и поедут с ним в деревню.

Утром Сергей с десятью бойцами из своего взвода выехал в Бучу. Им было приказано провести разведку, – выяснить, где у крестьян наибольшие запасы хлеба и попытаться закупить или обменять мануфактуру на хлеб. Мануфактура должна была пойти на товарообмен. Но было указание, что мануфактурой оплачивать только одну треть хлеба, а остальную часть деньгами.

Поездом добрались до Бучи. Там Сергей пошел к местному комиссару, балтийскому матросу по фамилии Цыганок. Это был крепкий, среднего роста, с небольшой черной бородкой, черными, как уголья, глазами, мрачно сидящими в обрамлении черных мохнатых бровей, человек лет двадцати пяти. Его комиссариат располагался в здании бывшей управы. Новых приезжих он встретил недоброжелательно, долго мял в руках мандат Сергея, а потом тяжело произнес:

– Так значит, хлеб надо забрать у крестьян? Заберем. У тебя десять человек, я мобилизую еще пятнадцать. Нам хватит. Поедем в Блиставицу. Я еще туда не добрался. И тамошнего помещика со всей семьей к чертовой бабушке отправим.

– Я приехал за тем, – ответил Сергей, – чтобы купить у крестьян хлеб, а не убивать.

Цыганок расхохотался, обнажив крупные, но уже черные от гнили зубы и, дыша самогонным перегаром, квашенной

капустой, пережаренным мясом и еще непонятно чем, ответил:

– Жди! Так тебе крестьяне и продадут хлеб! Вот я позавчера в Баландовке со своими ребятами зарезал всю барскую семью: детей, бабушку с дедушкой, своими руками – и забрал хлеб. Га-га-га! Я этих буржуев унюхиваю через каменную стенку – и сразу же всех их за борт. Всех! До единого! И малых! Из них вырастают большие буржуи. Га-га-га! Едем в Блиставицу. Там богатый помещик. Я поклялся всех в округе помещиков перерезать!

– Ты нам дай подводы, а мы сами поедem.

Сергею было противно слышать такие откровенности и разглагольствования этого комиссара, а брать его с собой в село вообще не хотелось. Он в последнее время уже встречался с такими личностями как Цыганок, которые были еще недавно самыми униженными: хулиганами и пьяницами, безобразниками и насильниками, у которых в душе всегда бушевала ненависть к богатым. Раньше они пресмыкались перед ними, завидовали тому, что сами не смогли добиться богатства, остались обездоленными. Сейчас они, заброшенные революцией на гребень разрушающей волны, мстили за свое несостоявшееся прошлое, за те унижения, которые им пришлось перенести раньше, и эта многовековая ненависть к имущим выливалась теперь в стихийное бедствие, подобное огню, наводнению, урагану, сметающему со своего пути, казалось бы, еще недавно непоколебимые ска-

лы прошлой власти, незыблемое в своей огромной мощи государство. Революция – звериный дикий лик человечества. И ее остро-зубастая пасть пожирала сейчас самые лакомые куски общества, не пережевывая их, а сырыми и свежими, словно боясь, что через некоторое время они испортятся, и их будет трудно отличить от искусно приготовленной на огне пищи.

Почувствовав к себе неприязнь со стороны Сергея, Цыганок спросил его грубо, чтобы запугать:

– Ты, салажонок, знаешь с кем говоришь!? Перед тобой матрос-балтиец, который нюхал порох двенадцатидюймовок! А ты, малявка, – не обсохло молоко на губах, – хочешь мне что-то запретить! Мне – прошедшему все моря и океаны. Ты сейчас находишься на моей земле, я здесь комиссар, и слушайся меня!

Сергей еле сдерживался, чтобы не наброситься на него и, выговаривая слова как можно тверже и четче, начал говорить:

– Ты – говно, которое плавало в луже! – Он знал, что обиднее для моряка, чем слово «плавало» – нет. – Кроме обосранного галюна и паршивых кабаков ты ничего не видел – ни морей, ни океанов. Твои паршивые мозги разболтало так, что они превратились в дерьмо. И ты меня будешь учить – рабочего, пулеметчика, который видел настоящего германца на фронте, а не шлюх на берегу! И ты меня будешь пугать?! Со мной два пулемета, я командир пулемет-

ного взвода. Сейчас подъедет остальная часть взвода, и тоже с пулеметами, – Сергей привирал, но этому бугаю надо было сбить рога. – Но пока они едут, я тебя сам искрошу на лапшу по-флотски!

Он потянулся рукой к револьверу и стал расстегивать кобурку. Цыганок, с выпученными от испуга глазами, смотрел на него, как на удава, не двигаясь. Он не ожидал такого поворота дела. Привыкший за короткое время к непоколебимости своего положения и господскому чинопочтанию, он даже не попытался на оскорбительные слова Сергея потянуться к маузеру, лежавшему в деревянной кобуре, а только промямлил, обращаясь к нему по-рабски – на «вы»:

– Кончайте это дело, командир... не надо. Бросьте наган? – в мутной душе Цыганка сохранялся врожденный страх перед силой, перед человеком, уверенным в себе. – Я ж думал, ты еще не служил. А так – мы с тобой равны. Оба воевали... – говорил Цыганок извиняющимся тоном. – Будут тебе телеги. Сейчас я буржуев за глотку возьму, мигом все дадут!

– Вот так-то лучше. И знай – у меня мандат советской власти.

– У меня тоже такой же мандат. Давай – ты занимайся своими делами, а я своими. Ты корми Красную армию, а я буду с буржуями расправляться и укреплять нашу власть.

Сергей не возражал, а Цыганок позвал из коридора красноармейца и приказал ему пройти по дворам и немедленно

пригнать подводы к управе. Но солдат не склонен был выполнять приказ:

– Зараз позавтракаем. Вже ижа готова, а потим пиду поищу подводы.

Сергей отрицательно качнул головой – мол, давай телеги сейчас. И Цыганок, вначале склонный к тому, что надо перекусить, но увидевший взгляд Сергея, зарычал на красноармейца:

– Я тебе сказал – немедленно! Ты что, рыло, не поняло?! Немедленно!

Испуганный солдат без слов выбежал из комнаты, а Цыганок удовлетворенно произнес:

– Только так приходится с ними разговаривать, а то никакой дисциплины не признают, кроме как накричишь на них.

Сергею в последнее время часто приходилось видеть командиров, которые сами не признавали дисциплину, но требовали ее от подчиненных. Вышедшие из низов, они быстро воспринимали барские привычки. Цыганок продолжал:

– Знаешь, браток, как я ненавижу буржуев? Ты не обижайся на меня за это. Но они мне всю жизнь испортили, со дня моего рождения. Ты правильно сказал, что я жил только в кабаках да на корабле. А отчего – не знаешь? Да у меня батька – то ли мичман, то ли офицер. Мать и сама не знает. И сестра, и брат тоже не знают своих отцов. Мать их не запомнила. Она всю жизнь в кабаках провела. А жили мы в подвале в Питере. Так она утром придет домой вдрызг пьяная,

вывалит из-за пазухи конфеты, – бывали там и шоколадки, – и говорит: «Ешьте, детки. Это вам папки передали. Они у вас буржуи». Даст деньги: «Бегите, детки, купите себе хлебушка у буржуев». Они ей всю жисть покорежили. А если бы они, – буржуи, – не соблазнили ее в детстве за копейку, не сбили бы с правильного пути, то и у меня мог бы быть отец! А мать-то мою убил тож буржуй – офицер. Ни за что, ни про что отлупил ее и бросил в канаву. Там она и задохнулась. И сестра с десяти лет по кабакам шастает. Буржуйам на забаву. Не знаю, жива ли она... понял теперь, почему я не дам пощады буржуйам? Они не только мне, матери, сестре, брату, – они всем жисть попортили!

– Понял. И я таких, как твоя мать, видел. Но видел и тех женщин, которые сутками работали, не разгибаясь, в литейном цехе, но по кабакам не пошли. Я уже многое видел.

– Значит, ты меня понимаешь. Сам погибну, но буржуев уничтожу, и их отпрысков, – чтобы не осталось этой заразы на земле. Вот я тебе сейчас покажу, какую я бомбу для них приготовил!

Цыганок полез в тумбу стола и вытащил железный ящик, в который было вставлено два гранатных запала. Он открыл ящик, и Сергей увидел там пачки динамита. Он непроизвольно отшатнулся – эта самодельная бомба могла в любой момент взорваться. Но Цыганок, нежно поглаживая ее, приговаривал:

– Это у меня маленькая. Я подложу ее под гимназию, чтоб

сразу, без боли, всех буржуйских детей разорвало. А в комнате, где я живу, готовлю еще большую бомбу. Ею я сразу подорву всех буржуев! Соберу их в кучу на складе – и бабах! – глаза у Цыганка горели, как у безумного, которому немедленно требуется жертва. – Но у меня задержка в том, что я не решил, где их собрать. Вот доделаю бомбу, – еще немного осталось, – и решу. Сам могу погибнуть – но я этого не боюсь. Зато с собой больше унесу. А если погибну – я уже сказал ребятам, чтобы похоронили в склепе и выбросили оттуда буржуйские трупы. Не хочу даже мертвый лежать вместе с ними.

Он был похож на обезумевшего пьяницу или на пьяного безумца, вбившего себе в мозги под влиянием алкоголя навязчивую разрушительную идею. Сергей решил, что пора ему уходить, и встал:

– Я пойду посмотрю, как там мои разгружаются... и жду подводы. Нам надо вести мануфактуру.

Цыганок, будто отрезвев, очнулся от своего бреда и спрятал бомбу в стол.

– Так я подъеду к тебе в Блиставицу и мы там тряхнем куркулей. Но помещика без меня не убивай. Жди меня, я приеду – мы его вдвоем...

Сергею стало противно слушать безумца и он, не прощаясь с Цыганком, вышел из душно-вонючей комнаты. Ему было не по себе от этой встречи и от того, что таких людей назначают комиссарами.

Погрузив мануфактуру на подводы, Сергей со своими солдатами отправился вначале в Баландовку. В местном совете его встретил председатель Тощенко – зажиточный крестьянин. Он сразу же осведомился, каким образом они хотят взять хлеб – за деньги или за товар. Узнав, что только одна треть будет оплачена товаром, Тощенко потускнел:

– А какова у новой власти цена?

Сергей помнил данные ему инструкции и сказал:

– Буду платить выше твердой цены, – не шесть, а семь рублей за пуд пшеницы, а за ячмень – шесть рублей.

Тощенко снова недовольно поморщился:

– Эти ж цены установило в августе прошлого года Временное правительство, а новая власть ничего не добавила. А знаете, сколько нам дают калужане?

Калужанами называли в этих районах ходоков за хлебом, прибывших из Калужской губернии, а теперь это название распространилось на всех мешочников. Тощенко продолжал:

– Так вот, они дают за пуд пшенички по двадцать, а то и по тридцать рублей. Да не советскими, а керенками! А часто привозят и вещи на обмен, да бывает золотые и серебряные. Вот народишко и продает им за это хлеб.

– Те крестьяне, что нарушают хлебную монополию, будут наказаны, у них мы реквизируем хлеб по твердой цене.

К этому времени комнатка председателя совета набилась крестьянами, внимательно слушающими разговор своего го-

ловы с приезжим комиссаром, и последние слова Сергея вызвали недовольный ропот, раздались крики:

– За шо ж Радянська влада нас так обижает?

– Хлеб по такой цене не дадим!

– Вон отсюда со своими законами!

Сергей, слушая эти выкрики, мрачнел и вдруг взорвался:

– Вы говорите – не дадите хлеб советской власти?! А кто вам дал землю? Советская власть или украинская рада? А?! Вам дал землю? Советская власть или украинская рада? А?!

Мужики замолчали, потом кто-то сказал:

– Конечно, радянська влада. Рада тильки обещала.

– Вот! Землю вам дала Советская власть! А сейчас ей трудно. А вы хотите ее голодной рукой задушить. Этого хотите!?

– Нет, мы хотим, щоб была советская власть, тильки хлебная монополия нам не нужна.

Чувствуя поддержку крестьян, вмешался Тощенко:

– Вот видишь, комиссар, наши селяне не дадут вам хлеба по такой цене. За землю новой власти спасибо... только зачем вы оставили закон о хлебной монополии буржуйского правительства? Он же не нужен новой власти. Разрешите селянам свободно торговать, так они в город столько муки, мяса да всякой снеди навезут – завалишься. А у вас закон о твердых ценах, запрете свободной торговли продолжает существовать от старой власти, а он селянам ни к чему. Вот вы бы отменили эти законы – и не надо было бы вам ездить по селам и выбивать хлеб. Он бы и сам в город пришел.

Тощенко замолчал и оглядел присутствующих, и было ясно, что крестьяне его поддерживают. Но вмешалась Эльвира:

– Ваш-то голова куркуль, чего вы его слушаете! Он же против советской власти, заодно с помещиками и буржуазией! Землю вам дала наша власть. Понятно? Так вы ее и поддерживайте!

Крестьяне вроде бы намного смутились, сильнее засосали самокрутки, но потом кто-то произнес:

– Так и куркуль – селянин. Ему тоже земля положена. Радянська влада только против панив, а не селян.

– Советская власть против всех эксплуататоров. И куркулей – тоже. Они вам забили головы разными дурацкими мыслями, руководят вами в своих интересах, а о вас не думают.

Тощенко, покраснев, прервал ее:

– Ты, товарищ, неправильно говоришь, не как большевик. Новая власть сказала землю делить поровну, по едокам. Мы уже всем миром этот вопрос обсудили и наметили – кому сколько. Вот, как снег сойдет, пойдем в поле делить без обмана. Так? – обратился он к селянам.

– Так, так, – поддержали его крестьяне.

– Мы все – селяне, – продолжал Тощенко. – И мы друг друга не обманываем. Кто зараз бедный, тому весной окажем помощь семенами, лошадьми. Так?

– Так, так, – снова отозвались крестьяне.

– И не надо нагло говорить нам – ты бедняк, ты куркуль. Мы, селяне, сами во всем разберемся. За землю – спасибо

говоря советской власти уже в который раз... а теперь дайте нам самим пожить, без всяких властей.

Тут не выдержал Бард:

– Ты, куркульская морда, знаешь, что рабочие в городах голодают? На севере дети пухнут от голода, а ты не хочешь помочь новой власти, землю берешь – и ничего взамен. Ждешь снова помещичью раду, с ней хочешь заодно?

Тощенко рассудительно ответил:

– Центральну раду, хоть она была рядом с нами, селяне никогда не поддерживали. Они только балакали украинской мовой, а в речах этих пустота была. А крестьянин всегда отличит полосу от зерна. Да, новая власть дала нам землю. Но мы не должны же бесплатно отдавать свой хлеб! Назначьте поприличнее цены. И дайте нам спокойно жить. А то недавно ваш комиссар Цыган, который в Буче сидит, приехал сюда, перестрелял всю панскую семью. Самого барина немає, так он убил его мать, детей. Кто ему разрешил? Вы?

Сергей ответил:

– Никто ему не разрешал. Он такой... дурной. Власть с ним разберется и накажет.

Крестьяне одобрительно зашумели и, уловив этот момент, Сергей продолжил:

– К нашей революции многие присосались, которые не учили марксизм.

Крестьяне зашептали: «марксизм». Это слово откуда-то было им знакомо, а молодой комиссар, видимо, был грамот-

ным, раз знает его.

– Такие люди у нас временные. Мы от них избавимся... вот, только, как эта горячка кончится. А она кончается! Таких комиссаров сразу же уберем.

– Пошвидче бы.

– Я сегодня напишу документ о его действиях в Киев, и его отсюда уберут и накажут. А теперь я прошу – давайте нам хлеб. Без хлеба мы погибнем, и землю у вас отберут обратно. Понимаете? Вы должны это понять! Сейчас Центральная рада заключила мир с германцами и пригласила их на Украину, чтобы их руками расправиться с вами и снова забрать землю для помещиков. Наши войска бьются с ними, но силы неравны. Но к нам идут в армию новые рабочие и крестьяне, и мы отбросим их к себе домой и скажем – не суйтесь больше к нам. Так, значит, я даю вам деньги и товар, а вы мне хлеб. Договорились?

Крестьяне хмуро молчали, – видимо, известие о том, что Германия идет войной, поразило их.

– И шо, защитников себе на Украине не нашла та самая рада?

– Не нашла.

– Зачем чужака зовут к нам?

– Затем, чтобы установить свою власть, которую отвергли рабочие и крестьяне. А они хотят капиталистов и помещиков снова, а затем – отсоединиться от России. Там будут рабочие свободные, крестьяне с землей, а вы – снова под панамы.

Было заметно, что слова Сергея задевают их за живое.

– Так договоримся насчет хлеба? А то немец с панами у вас все заберет и ничего не оставит вам... и притом – заберут бесплатно.

Тощенко стал говорить с громадой, – так он величал присутствующих крестьян. Потом он объяснил Сергею, что общественное зерно, принадлежащее общине, они уже все сдали потому, что их село находится недалеко от станции, и все время приезжают какие-то власти и берут у них хлеб. Он может показать все справки. Решили поступить таким образом, – у кого есть лишнее зерно, то пусть с ним прибывшие и договариваются, да накинут поверх твердой цены не рубль, а хотя бы два-три, – до десятки, ну и мануфактуры пусть крестьянам не жалеют.

Сергей сказал Барду и Эльвире, чтобы они с красноармейцами обошли хаты и постарались уговорить каждого крестьянина сдать хлеб. Но к вечеру он понял, что такой обмен совсем разорил его. За деньги крестьяне почти что хлеб не продавали, только товар просили. Пришлось им отдать всю мануфактуру. Собрали чуть больше ста пудов зерна. Этого было мало. Мануфактура пошла практически по половинной своей цене.

«Обманулся, – думал про себя Сергей. – Так нельзя вести торг. Эх, не умею я торговать! Сюда бы брата Ивана, он бы все правильно сделал...»

Уже в сумерках они загрузили подводы и отправили их в

Бучу. Там на станции хлеб надо было сдать и получить новую мануфактуру.

На ночь их определили на жительство в панском доме. Стекла в доме были выбиты, мебель растаскана, в когда-то уютном доме было холодно и неуютно. Пришлось закрыть окна досками и позатыкать щели кусками материи и ваты, оставшимися после погрома и валявшимися на полу. Затопили печки-грубки. Стало теплее. Сергей, с карандашом в руках, подводил итоги сегодняшнего обмена и торговли, и они выходили неутешительными. Эльвира и Бард помогали ему в подсчетах. Бард возмущался крестьянами.

– Как их понять? Землю дали – хорошо. Что-то у них взять взамен – нельзя. Буржуи они... хоть и мелкие, но буржуи.

– Они, прежде всего, трудяги, – ответил Сергей. – Ты вот – рабочий, что у тебя есть? Ничего! Только заработная плата да маленькая халупа. А у них хоть бедняцкое, но хозяйство. И их надо понимать. Они, понятно, за советскую власть, но против того, чтобы им мешали наживаться. Их, как говорит наша партия, надо перевоспитывать. А на это потребуется много времени.

– Вот бы моего папу пригласить сюда торговать! Внакладе остались бы крестьяне, а не он, – вмешалась в разговор Эльвира.

– Да, ваши торговать умеют, – согласился Сергей. – У меня брат торговец, так он цены знает не только в Луганске, но и в Москве. Этому надо учиться, а еще лучше – с этим

родиться.

– Вот за это крестьяне и злы на еврейских торговцев, – снова сказала Эльвира.

– На что?

– Русские торговцы предпочитают торговать по-крупному, и к отдельным крестьянам не обращаются, а имеют дело с кооперативами да обществами. А евреям приходится иметь дело с каждым крестьянином отдельно. Приехал крестьянин в город с товаром – а еврей у него купил все оптом по дешевке, а продает подороже, и крестьянин уезжает злой на еврея, думает, что тот его обманул. А русский торговец остается в стороне, он не опускается до розничной торговли. Отсюда и недовольство у крестьян к нам. Я сама на себе сегодня это почувствовала, когда ходила по домам. У Мити даже лучше получалось.

– Да, – подтвердил Бард. – Я как скажу им, что шахтер с Донбасса, так со мной начинают говорить. Мол, наш, рабочий.

– Ты устал сегодня, Сережа. Ложись спать, а мы пойдем, – предложила Эльвира.

– Вы мне не мешаете. Я сейчас досчитаю, потом перепроверю и спать.

Но перед сном он проверил пост, распорядился насчет смен и только тогда пошел спать. Рано утром, не дожидаясь приезда подвод с товарами из Бучи, он вместе с отрядом выехал в Блиставицу.

Блиставица – довольно крупное село, вытянувшееся вдоль дороги. В основном в нем жили середняки, что было видно по домам из кирпича и крышам из черепицы. Хаты бедняков от них сразу же отличались – мазанки, покрытые камышом или соломой. Крупные, высокие деревья грецкого ореха, раскидистые яблони и груши окружали дворы. Было светло, когда они добрались до Блиставицы. В хмуром небе тускло синела луковица купола церкви. В большой просторной хате, служившей раньше примирительной камерой, расположился совет. Об этом свидетельствовала надпись на фанере, прибитая к стенке: «Сильрада». Здесь Сергей с товарищами остановился. Вокруг никого не было, село будто вымерло. Но над хатами вился синеватый дымок из труб. Селяне в зимнее время предпочитали рано не выходить со двора, тем более в такое буйное время.

– Надо бы найти председателя, – предложил Сергей. – У кого бы спросить?

– Я сейчас всех их подыму, – ответил Портянкин. – Я покажу им какая сейчас жизнь идет, чтоб уважали нас с самого начала.

Он снял винтовку и поднял ее вверх для выстрела. Сергей успел только крикнуть:

– Отставить! Мы его и так найдем.

Вдали навстречу им шел человек в черной от грязи и времени шинели. Он подошел к ним и, не здороваясь, представился:

– Голова сельрады. А вы кто?

– Красный отряд по борьбе с империалистической сволочью, – чтобы сразу сразить председателя и перехватить у него инициативу, ответил Сергей. – А сейчас направлены в деревню, чтобы заполучить хлеб. А ты кто? Фамилия?

Представление Сергея сработало, мужик был растерян этим сообщением. Он неуверенно взмахнул одной рукой, и Сергей, к своему стыду, увидел, что левой руки у головы сельрады нет. Он внутренне подосадовал на себя, что вовремя не заметил этого. Кроме того, мужику было всего лет за тридцать, а шинелька рваная и прожженная в полах просто старила его.

– Я-то... – крестьянин запнулся. – Прозвище мое – Загубиголова. Ничипор. Так я и е головою рады.

– Пойдем тогда в твой совет.

Они подошли к зданию совета, и Загубиголова ловко, одной рукой, открыл висячий амбарный замок на дверях. Они вошли в хату.

– Где руку потерял? – спросил Сергей, чувствуя свою вину за резкое обращение с калекой.

– Ще в пятнадцатому годе, на Северном фронте, – ответил Загубиголова. – Тогда германец нас все лето артиллерией давил. Вот тогда меня и жажнуло, вся долень была разорвана на шматки и в груди куча осколков. Руку отрезали, а осколки во мне оставили. И стал я после этого не мужик. Пенсии мало, а работать на земле уже не могу. Диты мали,

да вси дивки. Хорошо шо революция, так я первый прийшов и почав устанавливать радянську владу. Ох, и прижав я зараз кулаков, не пикнут! Надарма я – Загубиголова. Мы вси были таки в роду. Завсегда проты панив выступали. Я ж с вами тильки тришечки растерялся. А зачем вы приехали?

– Хлеб хотим купить. Много его у вас?

– У куркулив е, – с неожиданно загоревшимися глазами, словно волк, чувствующий заячий след, торопливо начал отвечать Загубиголова. – У куркулив его багато. Аж еще с пятнадцатого року есть. В ямах. Раньше сдавали, а сейчас вообще не хочуть. Я давно хочу у этих злодией его отобрать. Щоб тоже пожили на мякине та на толоке. Давай идем с солдатами, все выберем у них.

– Подожди, – остановил его Сергей. – Мы ж хотим поменяться. Нам скоро привезут товар... и за деньги купить.

Вспомнив вчерашний обмен в Баландовке и его плачевные результаты, Сергей понял, что товаров для обмена не хватит, видимо, придется хлеб реквизировать.

– А вообще-то, – продолжал Сергей, – давай у самых мироедов конфискуем. Скажем, что они его раньше не сдавали властям, а были обязаны. Так вот новая власть часть их не сданного хлеба забирает в счет старых долгов.

В черных глазах Загубиголовы горел огонь. Видимо, ему не терпелось, – очень хотелось немедленно провести реквизиции.

– Давай, солдат, сразу же пойдём по хатам. Я знаю, где у

них хлеб спрятан! – он сжал единственный кулак. – А то они смеются надо мной, мол, калека, платим тебе за должность, так молчи. Я им помолчу сейчас! Я все ждал помощи от новой власти, из города. А с вами мы такое зробим... а то смеются над новой властью.

– А над старыми тоже смеялись?

– Та вони их теж не признавали! А зараз пушай знают, що царь, министры временные их жалели да потакали им. Мол, везите хлеб... а они – нет, мало платите за хлеб. А наша власть рабочая и селянская, она им спуску не даст. Вовремя вы подъехали... а то я хотив сам их прижать! Да голоту не сильно поднимешь.

Сергей согласился:

– Ладно. Бери вот Портянкина и еще троих – и гоните по богатым хатам. А бедным и средним говори, чтобы шли сюда, я буду покупать хлеб да в обмен мануфактурку давать.

Загубиголова кивнул и сказал тихо подошедшему во время разговора своему помощнику, парню в порванной душегрейке:

– Костусь, пробежь по хатам, собирай голоту сюда. Командир с ними балакать будет. Зробим у нас в селе настоящую революцию, как в городе, – и он обратился к Сергею: – Ну, я пишов. Будь здесь, в раде, как дома.

Портянкин и Загубиголова ушли. Сергей специально послал с ним Портянкина. Он знал, что тот действительно будет раскуркуливать богатеев. Самому этим делом заниматься

ся не хотелось. Ему еще было жалко людей, кто бы они ни были – богатые или бедные. Выйдя из совета, он сказал Фишзон:

– Эля, ты лучше меня понимаешь – как торговать. Возьми у меня деньги и займешься, как придет мануфактура, обменом. Вместе с Дмитрием.

Глаза Эльвиры выразили недоумение:

– Почему я буду торговать? Я не умею.

– Ты ж видела, как твой отец торгует. Вот так и сама торгуй. А я сейчас поеду в Бучу. Надо поторопить там некоторых с присылкой товара, да взять его побольше.

Чтобы быстрее добраться до станции, Сергей, несмотря на мороз, взял открытую пролетку. В Буче со вчерашнего дня стояло два вагона с товарами, и их никто не разгружал, только охраняли два красноармейца из его отряда. Когда Сергей спросил, почему они не отправляют товар к нему, один из них пояснил:

– Цыганок запретил. Подвод не дает. Вчера он подорвал гимназию бомбой. Хорошо, что дети разбежались, а то было бы крови...

Сергей вспомнил недавний разговор с Цыганком, в котором тот обещал самодельной бомбой взорвать всех буржуев, и пошел в управу. Но Цыганка там не было. Он, как ему объяснили, пока находится дома, и придет позже. Узнав, что он живет недалеко от управы, в доме, который занимал раньше предводитель местного дворянства, Сергей пошел к нему.

Пьяный с утра матрос-охранник не хотел его пускать к своему начальнику, повторяя:

– Не дозволено... не велел беспокоить... не пушу без приказа...

Сергей на эти слова молча отодвинул его в сторону и прошел в дом. Матрос, обогнав его, бросился в одну из комнат, Сергей прошел следом. В спальне, на широкой барской кровати, поверх одеял и подушек, лежал в несвежем нижнем белье Цыганок. Рядом, на столике, стояли пустые бутылки из-под коньяка и вина. Увидев в спальне Сергея, Цыганок присел на кровати и криво ухмыльнулся:

– Привет, командир. Зачем пожаловал? Вижу, по делам. Я ж здесь комиссар! Без меня ничто не обойдется. Но сначала давай выпьем.

Он потянулся рукой вниз и поднял с пола бутылку с длинным горлышком:

– Видишь, что пьем? А раньше это пил буржуй. У него этого добра завались. Я еще не все с братвой выпил. Давай попробуем? – он свирепо закричал на матроса, тряся смоляной нерасчесанной бородой, в которой засохли остатки предыдущего пиршества. – Бегом! Чтобы служанка подала сюда завтрак. В постель!

Матрос побежал. Цыганок опустил ноги с грязными, давно не стриженными ногтями, на пол.

– Вот видишь, как жили буржуи? Все было у них. Сейчас я пробую так жить. Скажу честно – нравится. Но скоро та-

кая жисть закончится. Все взорву, чтобы люди не могли жить по-ихнему. Все будут жить одинаково, и барских домов не будет. Тогда некому будет унижать трудящихся. Все будут жить в равном положении. Вот, что я приготовил буржуйам...

Цыганок встал с кровати и в кальсонах прошел в угол комнаты, откуда принес большой ящик и поставил его на кровать.

– Вот, – и, как несколько дней назад, он с пьяной нежностью погладил бока ящика. – Вот бомба. Она у меня более лучшая, чем первая. В нее, кроме динамита, я положил гайки и гвозди. Больше осколков – меньше буржуи будут мучиться, и главное – их сразу больше убьет. Я вчера хотел взорвать буржуйских детишек, а они узнали, повыбивали окна и удрали. Пропала моя бомба впустую. А сегодня я отдам братве приказ, собрать всех контрреволюционеров на складе, чтобы здание было без стен внутри, тщательно все двери и окна запереть – и вот этой бомбой, самим мною сделанной, сразу же, в один миг всех подорвать. Как, правильно?

И снова, как и в прошлый раз, Сергей увидел безумные глаза маньяка, вбившего себе в голову одну-единственную мысль – разрушение.

– Неправильно, – впервые сегодня ответил ему Сергей. – Советская власть борется с врагами, а не со всеми буржуйами. Я напишу о тебе в Киев. Пусть разберутся с тобой. А то полностью отворишь от нас людей.

– Га-га-га! – хрипучим голосом смеялся Цыганок. – Чи-

стоплюй! Да с такими как ты – революцию не сделаешь.

Он так же резко бросил смеяться и пристально-пьяным взглядом уставился в Сергея, а потом зловещим шепотом произнес, выдавливая через свои гнилые зубы, слова:

– А ты-то сам, чай не контрреволюционер? Больно уж защищаешь буржуев. Надо бы с тобой разобраться.

До сегодняшнего дня Сергея никто не называл контрреволюционером. Это было впервые, и кровь, как вода из брандспойта, бросилась ему в голову. Одним прыжком он оказался рядом с Цыганком и, хотя тот выглядел мощнее его, схватил за грудки, оторвав его от ящика с динамитом, и бросил на стену. Ударившись головой, Цыганок медленно всем телом сполз на пол, испуганными, но не как у безумца, а как у получившей пинок собаки, преданными глазами смотрел на Сергея. Тот шагнул к нему, намереваясь врезать еще раз, а может – и более. Но в это время в спальню вошла с завтраком на подносе служанка – краснощекая молодуха лет тридцати. Улыбка сползла с ее лица, когда она увидела лежащего на полу Цыганка. Цыганок сел, прислонившись к стенке, и зло бросил ей:

– Как я тебя учил, надо обращаться ко мне, когда приходишь?

Служанка сначала заикаясь, а потом четко сказала:

– Я знаю. Только растерялась. Я сейчас. Товарищ комиссар! Завтрак вам подан в спальню. Желаю вам приятного аппетита.

Она насмешливо-понимающе улыбнулась Сергею, показав улыбкой, что понимает, что здесь произошло.

– Расставь все на столе! – приказал ей Цыганок.

Острота момента пропала, и они оба это почувствовали.

– Садись, командир. Позавтракаем.

– Я сыт. Распорядись насчет подвод.

Цыганок мрачно смотрел на него и, повернувшись к служанке, гаркнул:

– Цыц отсюда!

Та торопливым шагом, почти бегом, ушла.

– Подводы дам. Но ты, браток, не пиши на меня в Киев. Дай мне возможность довести революцию до конца. Договорились?

– Нет, – жестко ответил Сергей. – Напишу на тебя.

И, не прощаясь, вышел из спальни.

Оставшись один, Цыганок дрожащей рукой налил себе полный стакан коньяка и выпил судорожными глотками.

– У-у! И гадость же пьют буржуи, – поморщился он, не закусывая.

Потом открыл бомбовый ящик и стал вставлять запал от гранаты, привязывая веревку к чековому кольцу. Вошел матрос-охранник:

– Что здесь произошло? Горничная говорит, что вы подрались с тем командиром. Может, взять ребят и разобраться с ним? У него людей немного...

– Цыц! – взревел на него Цыганок. – Бери братву, и гони

всю буржуазную сволочь на склад станции. Бегом! Вон!

Матрос выскочил из комнаты. Цыганок торопливо подвизывал веревочки: «Быстрее, пока тот не написал в Киев. Всех буржуев к ядерной бабушке. Всех! Надо успеть их всех взорвать. Успеть!»

Толстые пальцы запутывались в веревочках. В голове тупо билась одна мысль: «Быстреей!» Дрожащие пальцы нервно дернулись и потянули за собой веревочку. Выскочила чека запала и послышался ясный, будто бы прозрачный, щелчок. Запал сработал. Цыганок на мгновение замер, потом огромным прыжком подлетел вместо двери к окну, кулаком разбил большое стекло и, не обращая внимания на окровавленную руку, головой нырнул вперед. Но было поздно. Раздался взрыв, и его тело с перебитыми ногами и задом вынесло вперед метров на десять от дома. Половина здания мгновенно рухнула.

Сергей, который подходил к станции, услышав взрыв, шахрахнулся в сторону, потом, оглянувшись, увидел, что произошло. «Взорвалась его бомба», – подумал он и повернул обратно. К дому сбегались красноармейцы, многие из них были матросами, в бушлатах. Они подошли к телу Цыганка, низ которого был превращен в кровавое месиво гвоздями и гайками, находившимися в бомбе. Глаза умершего были открыты, так же как и рот, который был раскрыт и, в обрамлении черной бороды, его нутро казалось черным.

– Насмерть? – спросил Сергей, подойдя к матросам, хотя

видел, что это так. Смерть была мгновенной, какую он и хотел для буржуев.

После некоторого молчания один из матросов произнес:

– Надо похоронить его, как он говорил – в помещицьем склепе, как героя.

Все согласились, что волю покойного надо выполнить. Унесли тело и стали готовиться, в первую очередь, к поминкам, для чего реквизировали у местных «буржуев» живность и другие продукты, а самогон купили у бедняков. Цыганка действительно похоронили в склепе. За невозможностью прямо сейчас выбить нужную надпись на камне, прикрепили к стенке доску. На доске красной краской, большими буквами, написали:

Здесь

торжественно похоронен, как герой

балтиец Цыганок К. И.

горячий революционер.

Сергей после гибели Цыганка решил в Буче не задерживаться и вернулся в Блиставицу. Красноармейцам поручил немедленно привезти товар туда.

В Блиставице в это время Портянкин вместе с Загубиголовой и красноармейцами обходили хаты кулаков. Но вначале они пошли к местному помещику Самойловскому. Тот встретил их спокойно и пригласил в дом. Загубиголова сразу же сказал помещику:

– Отдавайте, пан, хлеб по-хорошему. А нет, так все обыщем и найдем, и всех арестуем.

Самойловский спокойно смотрел на пришедших:

– Хлеба у меня нет. Все сдал раньше. Перед новым годом, помните, приезжали из украинского правительства, – так они забрали последнее. Осталось немного для себя. Даже семенного зерна нет.

Загубиголова с сомнением покачал головой:

– Мы зараз це сами посмотрим. Пойдемте, пан, в амбары?

Но Самойловский отказался:

– Я скажу приказчику. Он с вами сходит в амбар.

Но Загубиголова не согласился:

– Ни, пане, пидемо с вами и посмотрим.

– Мне нечего делать в амбарах. Я знаю, что там есть, чего нет. Сейчас там немного зерна, а больше ничего нет.

Вмешался Портянкин:

– Раз там у него ничего нет, значит – все отдал контре. Давайте его арестуем?

Самойловский спокойно ответил:

– Воля ваша. Когда есть сила, спорить с ней бесполезно, она не понимает слов.

– Поспокойней барин, – угрожающе ответил Портянкин. – А то за эти слова против власти мы вам такое можем сделать...

– Поэтому я и сказал, сила есть – ума не надо.

– Арестовываем его за эти слова, – решил Загубиголова.

– Я сам отведу его в совет, – сказал Портянкин.

Самойловский надел шубу, поднесенную кем-то из семьи, и пошел к выходу.

– Хороший кожушок, – произнес Портянкин.

Он повел помещика в совет, держа винтовку наперевес, чтобы все в деревне видели – новой власти нипочем бывшие хозяева.

Когда проверили амбары, в которых оказалось пудов сто пшеницы, Загубиголова разочаровано произнес:

– И правда маловато.

– Зерно некачественное, но мы его хотим пустить для весеннего сева, – пояснил приказчик, понимая, что перед ним в основном, городские жители.

– Сами видим, – ответил Загубиголова. – Заберем его и поделим среди голытьбы.

– Но нам тоже надо весной обсеяться, – запротестовал было приказчик

– У вас уже нет земли, – ответил Загубиголова.

– Да, – согласился приказчик. – Но что-то останется неза-
сеянным, вот мы это и возьмем у общины, для себя.

– Мы зараз пришьем подводы и потом возле сельсовета
поделим, – не слушал того Загубиголова. – И смотри – спря-
чешь хоть зернышко, головой ответишь.

– Будет исполнено, – подобострастно ответил приказчик,
поняв, что новая власть в селе, подкрепленная вооруженной
силой, шутить не будет.

После этого зашли еще в ближайшие от помещичьего
имения хаты, где, по словам Загубиголовы, жили кулаки, и
обязали их к завтрашнему дню сдать по пятьдесят пудов хле-
ба. Потом голова сказал:

– Уже поздно. Остальных обойдем завтра. А то сейчас го-
лытьба придет делить зерно помещика, надо быть в совете.

По дороге крикнул селянкам да старикам, вышедшим по
хозяйству во двор, чтобы приходили делить зерно на семена.

В совете Самойловского допрашивал Портянкин. Это до-
ставляло ему удовольствие, судя по его виду.

– Куда девал хлеб? Рассказывай?

Самойловскому не нравилось обращение на «ты», но он
молчал и, видимо, в который раз повторял:

– Сдал зерно, еще месяц назад. Рада распорядилась, и я
выполнил ее указ.

– Так ты, значит, врагам революции отправил хлеб. Зна-
ешь, что мы тебе за это сделаем? К стенке поставим. В штаб
Духонина, – вспомнил он это выражение и довольно улыб-

нулся.

– Сила ваша.

– Не притворяйся, помещик. А то найду на тебя управу!
В это время вошел Загубиголова, а с ним Бард и Эльвира.

– Что делать с этим дворянчиком? – обратился к ним Портянкин,

– Сейчас решим, – ответил Загубиголова.

За окном слышались голоса, – селяне пришли делить зерно, которое еще не привезли. Загубиголова вышел на крыльцо и начал уговаривать крестьян, чтобы они запрягли повозки и привезли зерно в совет, но его перебивали, возражали и, в конце концов, он согласился с тем, чтобы поделить хлеб прямо в помещичьем амбаре. Загубиголова вернулся обратно и сказал, как бы сокрушаясь, но вид его был довольным:

– Некогда и поесть. Пойду, зараз будем зерно делить. А селяне обленились совсем, на хотят его сюда везти, – на месте, говорят, поделим.

Он вышел. Портянкин закурил и спросил Барда:

– Ну, что мы будем делать с этим феодалом?

Глаза Самойловского, впервые после ареста, засветились гневом. Он резко выпрямился, густые усы зашевелились:

– Я, господа революционеры, не феодал, – он сурово, как старший по возрасту, посмотрел на них. – Кто был феодалом – после указа Александра-Освободителя разорились. А настоящие хозяева, как мои родители, не только выжили, но

и приумножили, что осталось им после крепостничества. У меня пять паровых молотилок, мельница, сенокосилки Эльворти и многое другое. Я нанимаю рабочих, у меня нет батраков. Я веду хозяйство по-новому, современному. Феодалы ушли, остались мы – кормильцы земли русской. И мы кормим матушку-Россию, а не бедняки. Им хватает хлеба, чтобы прокормить семью, обсеяться, да раздать долги. Бедняки не смогут прокормить народ, только мы всех кормим. И надо об этом знать, господа революционеры!

После этих слов Портянкин встрепенулся:

– Ага. Слышали? – обратился он к присутствующим. – О чем эта контра говорит? Он хочет, чтобы батраки остались батраками, а помещики помещиками.

– Было так, – возразил Бард, – что бедняк не мог себя прокормить. Сейчас ему дали землю и он не только себя прокормит, но и всю страну. Понятно вам?

Самойловский молчал. Он злился на себя, что не сдержался и сказал лишнее этим людям, и решил прояснить свои слова:

– Я хотел сказать, что товарный хлеб, то есть на продажу, дают крупные хозяйства. Вы можете взять всю землю и отдать ее крестьянам, но даже эти участки являются маленькими для того, чтобы накормить города и народ. Для этого нужны крупные, специализированные хозяйства. Надо торговать не десятками пудов, а сотнями тысяч. Надо организовать сельское хозяйство, как в Германии... или хотя бы как

в Америке. Тогда русский народ прокормит полмира.

– Так ты, барин, хочешь, чтобы богатые богатели, а нищие и крестьяне беднели, – ответил Портянкии. – Чтобы все осталось по-старому. Так?

– Нет, не так, – устало, как от бессмысленных назойливых мух, отмахнулся от них Самойловский. – Я думаю о том, как бы правильно организовать сельское хозяйство.

– Вы правильно говорите, – вмешалась в разговор Эльвира, гревшаяся у печки. – Мы отдаем землю крестьянам с тем, чтобы они потом объединились в коллективные хозяйства. И там крестьяне будут равны, и смогут давать больше зерна, чем помещичьи хозяйства. Энергии у свободного человека намного больше, чем у подневольного, и их равенство станет основой добросовестного труда. Мы сделаем всех людей, а не только одиночек, счастливыми! – увлеченно закончила Эльвира.

Бард снова, как когда-то отметил: «Когда она так говорит, она просто прекрасна».

Но на Самойловского ее слова не произвели особенного впечатления. Он криво усмехнулся в усы:

– Я вижу, что вы все из города. Я вам скажу как человек, всю жизнь имеющий дело с землей...

– Не человек, а кровопийца-помещик! – оборвал его Портянкин.

– Пусть будет так, – согласился Самойловский. – Земля не терпит равенства, она живет по законам любви, где каж-

дый выбирает лучшего, но не равного. Чем больше ее любит земледелец, тем больше и ее любовь к нему. Вы – молодые люди, это вам должно быть понятно не головой, а сердцем. Так и землю надо любить сердцем, бессознательно. Вы хотите ей привить разумную любовь. А ее надо любить нежнее, чем любимого и любимую, – видимо, Самойловский определил взаимоотношения между Фишзон и Бардом. – Осыпать ее нежными словами – и тогда она отдаст своему хозяину все, что имеет, даже более того. При всеобщем равенстве ей некого будет любить, некого выбрать для себя, не будет ей достойного хозяина. Она будет, как дешевая девка – давать всем понемногу, лишь бы от нее быстрее отвязались, не мучил бы ее каждый из равных. Земля – как душа, может любить одного, а не сразу всех. Ей нужен один любимец и имя его – хозяин. Не забывайте, молодые революционеры, город и деревня у нас в России, в отличие от Европы – две совершенно разные души, и они еще не слились воедино. Новая власть хочет поломать душу деревни революционно, не дожидаясь, что через определенное время, – а это пройдет много лет, – они должны сами слиться своими душами, и наступит гармония, как в других странах. Вы можете сделать так, что деревня и город будут существовать отдельно, а это опасно для обоих. Даже если у всех будут клочки земли, то рано или поздно кто-то будет их скупать – и снова появятся крупные хозяева на земле. Не все люди могут и хотят работать хорошо.

Самойловский устало замолчал. Портянкин резко встал из-за стола:

– Ты, контра, считаешь, что все будет по-твоему. Буржуйские песни поешь, феодальные басни рассказываешь! В расхвал, к Духонину! А ну, вставай, пошли во двор.

Портянкин взял винтовку. Самойловский молча встал. Но вмешалась Эльвира:

– Товарищ Портянкин! Не устраивай самосуд. Сам вызвал этот разговор, а теперь хочешь суд свершить. Остынь!

– А тебя я не собираюсь слушать! – рявкнул Портянкин. – У тебя, как и у него, буржуйская кровь. И тебе его становится жалко как классового друга!

– Классового? Это ты мне говоришь?! Да я в революционерах со школьных лет! А ты влез в революцию, когда советская власть пришла! Оставь его! Приедет Сергей, я ему все расскажу! Он тебя за самоуправство сразу же к стенке поставит! Понял?!

При упоминании Сергея Портянкин остыл. Он его уважал как бойца и как человека.

– Ладно. Давай запрем его в холодную, а потом разберемся. Но ты, товарищ Фишзон, поступаешь не по-революционному.

– Спасибо, барышня, – поблагодарил ее Самойловский, когда его заперли в чулан.

Тем временем Загубиголова и селяне хлеб в амбаре имения поделили, но всем не досталось – оказалось мало. То-

гда голова сельрады прошелся по домам куркулей и приказал каждому из них привезти немедленно хлеб в совет, чтобы этим хлебом оделить остальных. На возражения он отвечал, что, если они не сдадут добровольно, то он придет в красноармейцами и заберет все. Его неожиданно бурная деятельность в течение дня вызвала к нему всеобщую ненависть.

По селу разнесся слух, что хлеб, взятый у кулаков, полностью отвезут в город. Во второй половине дня, взбудораженные этим слухом, недовольные селяне стали собираться у сельсовета и требовать старшего, чтобы он разъяснил – чего же хочет новая власть. Жила деревня тихо, спокойно – и вдруг враз стала, как растревоженный муравейник. Хлеб – вечный вопрос со времени появления человека на земле. И к нему никто не может относиться равнодушно.

Загубиголова охрип, разъясняя, что хлеб нужен пролетариям, которые съели последнюю солому со своих крыш. Но на резонные возражения селян, что в городах соломенных крыш нет, Загубиголова пояснил, что рабочие едят последние подметки с сапог.

– Семенной материал, который мы отобрали у Самойловского, остается в деревне. Его уже поделили. Еще немного дадим голоте от куркульского хлеба, а остальной отправим в город.

Но это разъяснение вызвало недовольство по-новой – крестьяне хотели, чтобы весь хлеб остался в селе. Споры до хрипоты продолжались до тех пор, пока не приехал Сергей. По-

няв, в чем дело, он начал выступать перед крестьянами:

– Вот у меня в руках декрет советского правительства, – он для убедительности помахал листком бумаги в воздухе. – Читайте. Советская власть объявляет о хлебной монополии. Непонятно? Объясняю. Хлебная монополия была введена нашим кровопийцей – царем, потом Керенским. Но это было сделано в интересах богатеев, и вы сами все знаете. Сейчас же хлебная монополия будет в ваших интересах. Читайте дальше. От реквизированного и конфискованного у помещиков и кулаков хлеба вам будет оставлено пятьдесят процентов, то есть – половина. Вот чем отличается буржуазная монополия от советской. Хлеб в деревне будет покупаться за деньги или в обмен на мануфактуру. Беднякам и солдаткам наша власть даст немного мануфактуры бесплатно, им не нужно давать в обмен хлеб...

Толпа удовлетворенно загудела. Послышались крики: «Це настоящая влада!», «Це наша власть!» и даже возгласы «Спасибо!». Иждивенческие настроения легко проникают в душу человека, превращая его из мыслящей личности в животное, пасущееся хоть и на бедном травой, но лугу.

Сергей продолжал:

– Так вот. Сдавайте хлеб, получите ткани и инвентарь. А сейчас надо послать подводы за товарами в Бучу. Давайте, организуйтесь. А у мироедов часть зерна реквизируем за деньги, по твердой цене, а будут скрывать – конфискуем. Ясно!

– Да! Ага! – соглашалась удовлетворенная толпа.

– Кто из крестьян будет помогать нам в реквизициях, тому дадим хлеб дополнительно. Организуйтесь в группы, чтобы забрать хлеб у кулаков.

Загубилова, услышав это, закричал:

– Слыхали! Давайте, ко мне записывайтесь.

Он одной рукой ловко вытащил из-за пазухи измызганную тетрадь и обгрызанный карандаш. Крестьяне столпились вокруг него. Всем хотелось пойти и отобрать у другого хлеб – и получить дополнительную долю. Темные крестьянские инстинкты выплеснулись наружу – селянин готов был безнаказанно забрать что-то у соседа, – по закону.

Сергей вошел в совет. Портянкин, вытянувшись по-военному, доложил, что никаких происшествий не случилось. Эльвира подала оставленный ему суп. Хлебная суп с куском курятины, Сергей рассказал об обстановке, сложившейся на Украине. Немцы уже идут и скоро будут в Киеве. У них полумиллионная армия, несколько тысяч петлюровцев. Сил для защиты Украины у красных нет. Приходится отступать. Надо срочно за день-два собрать хлеб и отправить его в Киев, – и уходить всему отряду туда же. Эльвира с Бардом, несмотря на то, что уже наступили сумерки, пошли с крестьянами по хатам, чтобы уговорить их быстрее сдать хлеб. Портянкин, который чувствовал себя виноватым за арест помещика в отсутствие командира, задержался:

– Там у нас помещик сидит. Не хотел зерно отдавать. Кон-

тра натуральная. Хотел его в расход, а потом решил тебя дождаться.

– Введи его.

Вошел Самойловский, ежась от пробравшегося в шубу мороза, пока он сидел в холодной. Сергей кивнул, чтобы он сел, и только хотел задать ему вопрос, как тот его опередил:

– Немцы уже подходят к Киеву?

Сергей удивленно смотрел на него, не отвечая. Самойловский виновато заерзал на стуле:

– Извините меня, но я непроизвольно стал свидетелем вашего разговора. Я хочу сказать, что это предательство радой не только Украины, но и всей России. Нельзя же во внутренний конфликт вмешивать другого! Это не просто безнравственно, но и низко. Теперь война придет сюда. Это ужасно... – он помолчал и продолжил: – Я знаете, почему нахожусь здесь в деревне и не уезжаю? Семью я отправил в безопасное место. У меня сын на Западном фронте, в Лифляндии. Там тоже немцы наступают?

– Да.

Самойловский склонился над столом и старчески заелозил по нему руками:

– Уже два месяца нет от него писем. Вот и остался я здесь, жду от него известия. Что с ним? Он у меня единственный. Полтора года назад был ранен. Тяжело. Он патриот России, и с радой не пойдет. Вы, я вижу, фронтовик? Воевали?

– Да. Прошлым летом участвовал в наступлении на Юго-

Западном фронте.

– А на Западном были?

– Был, но два года назад.

– Может, моего сына видели?.. У него такая же фамилия, как и у меня.

– Нет, не видел.

Сергею было больно смотреть на старика, так глубоко переживающего за сына, но надо было выяснить, в чем дело. Почему его арестовали?

– Вы, говорят, выступали против советской власти?

– Нет, – замотал седой головой Самойловский. – У меня не осталось хлеба. Как истинный патриот, я сдал его еще летом и осенью. Немного оставалось для себя, но и его сегодня конфисковали.

Портянкин, внимательно прислушивавшийся к разговору, вмешался:

– Да врет он все! Зерно мы у него действительно взяли. Но он здесь вел контрреволюционные разговоры. Вот за это его хотели... поставить к стенке.

Самойловский выпрямился, как совсем недавно во время разговора со своим безжалостным врагом, на стуле:

– Я не говорил ничего плохого против новой власти. Бог с ней. Я разъяснял молодым... скажем, революционерам, как надо понимать историю, и дал некоторые понятия о сельском хозяйстве. Горожане должны знать хотя бы немного, что оно из себя представляет. А эти мысли старика им не понрави-

лись, посчитали контрреволюционными. Вот он – взял винтовку и думает, что прав, – показал Самойловский на Портянкина.

Сергей неодобрительно посмотрел на Портянкина и сказал:

– Иди в село, помоги собирать хлеб.

Портянкин недовольно вышел. Сергей, глядя в усатое лицо Самойловского, сказал:

– Сейчас опасно говорить свои мысли... идет война. Понимаете?

– Понимаю, понимаю. Но не сдержался. Уж очень ваши помощники молоды и безграмотны. Извините меня, пожалуйста, – Самойловский словно забыл, что перед ним сидит тоже молодой человек, а потом спохватился: – Вы извините меня, вы тоже молоды, но в вас уже есть народная мудрость и жизненный опыт... мне так кажется. Вы откуда? Где работали раньше?

– Из Донбасса. Из Луганска. С четырнадцати лет работал токарем.

– Да, да! В вас видна глубина. Понимание происходящего. Токарь – умная профессия. Требуется большой грамоты.

Сергею была приятна похвала образованного помещика, но он ответил:

– К сожалению, я не все знаю и понимаю. Грамотенки у меня маловато. Рабочее училище да фронт. Собирайтесь и идите домой.

– Спасибо. До свидания. Желаю лично вам успехов, – церемонно попрощался Самойловский.

На следующий день и последующее утро, растратив всю мануфактуру и часть денег, нагрузив подводы хлебом, отряд двинулся к железной дороге. Вместе с ними пошел и Загубиголова, который сказал Сергею:

– Здесь мени небеспечно оставаться. Придут германцы, меня же свои – с кем хлеб отбирал – и повесят. Пиду с вами. А там, как все утихнет, вернусь.

– А жену и детей бросаешь на нищету?

– Ни! Я им оставил деньги и хлеб. На год хватит. Поки проживут без меня, а там будет видно. Я ж без руки, могу просить подаяние. Хватит быть начальником.

И он поехал вместе с ними в Киев.

Киевляне настороженно ожидали будущего. Было ясно видно, что новая власть, существующая чуть более двух недель, кратковременна. Голод и холод, неожиданные аресты пугали киевлян, и они с нетерпением ждали перемен. Но и будущие перемены пугали их гораздо больше, чем нынешняя власть. Центральная рада возвращалась под прикрытием полумиллионной германской армии, а чужаки представлялись более опасными, чем нелюбимые, но все же свои власти. Город притих. Так всегда бывает, когда старое еще остается, а новое неизвестно. Лохматые, по-зимнему серые тучи шли с запада, с Атлантики, ветер гонял по брусчаткам улиц мусор, завивал и бросал редкий снежок в лица одиноких прохожих. Город ждал...

Зато в верхушках различных партий и групп проходили лихорадочные, не видимые простым обывателям совещания, сборы, заседания. Каждый пытался определить тактику будущих действий. То, что Киев падет – было ясно всем. Большевистские лидеры напряженно думали, как бы уйти с достоинством из древней русской столицы, сохранить силы и свою революционную физиономию перед народом. Буржуазия, которая ненавидела большевиков и коммунизм, испытывала двойственные чувства. Она боялась прихода мощного германского капитала и испытывала угрызения совести по

поводу предательства родины. Так, один из владельцев фабрики типографских машин объяснил: «Душа болит, но тело радуется». Еврейская община Киева срочно готовила обращение к будущей власти, обещая ей полную лояльность. Но, в отличие от прошлых заявлений в лояльности украинскому и советскому правительствам, здесь уже содержалась просьба о неприменении насилия к евреям. Полный восторг с будущим изменением власти выражали лишь немногочисленные киевские сторонники самостийности. Неважно, что самостийность возвращалась на штыках оккупантов, важно, что она устанавливалась. Среди них с радостью, хотя и шепотом, обсуждалась весть о том, что австрийцы разрешили воевать двум полкам галицийских стрелцов в составе войска Петлюры. Эти полки и дивизии были сформированы в начале войны австро-венгерским правительством и участвовали в боях против русских войск, а потом были переброшены на итальянский фронт. Говорили, что в составе стрелцов есть молодые, патриотически настроенные люди, увлеченные идеей включения всей Украины в состав Австро-Венгрии. Поэтому, не щадя живота своего, они борются против российской империи, угнетающей остальной украинский народ, находящийся вне пределов Галиции.

Советское правительство срочно эвакуировалось. Это было заметно по тому, как на машины грузились, прежде всего, государственные вещи: папки, бумаги, имущество государственного банка. Отряды Красной Армии шли к железнодоро-

рожному вокзалу, грузились вместе с имуществом в вагоны и отправлялись за Днепр.

В предпоследний день февраля Киев покинули члены советского правительства. Об этом стало немедленно известно всем киевлянам. Как будто сорока пролетела – и город оказался извещенным о том, что в здании исполкома осталось несколько сот винтовок. Сначала по одному, а потом группами горожане потянулись туда и сначала выбирали, а потом расхватывали винтовки и, торопясь несли по улицам, чтобы спрятать их дома. Нехай лежит, может – и сгодится.

Евгения Богдановна Бош, ныне народный секретарь по внутренним делам, без усталости носилась на автомобиле по Киеву. Работы было много – поддерживать порядок в городе, организовывать отход красных отрядов, эвакуировать ценности из столицы, а главное – вести борьбу с теми людьми и силами, которых обуял панический страх или же наоборот – желание смириться с оккупацией Украины. Вот и сейчас сообщили ей, что в Купеческом собрании меньшевики и бундовцы созвали пленум рабочих и солдатских депутатов.

Войдя в битком набитый зал, Бош и сопровождающие ее лица не смогли пробиться к президиуму. На трибуне выступал Рафес – бывший член Центральной рады. Он задавал залу и себе риторический вопрос:

– Советское правительство убежало из Киева, а безвластия в столице быть не должно. Предлагаю избрать новый исполком киевского совета, который мог бы осуществлять

руководство жизнью города.

Но в это время раздались крики: «Приехали члены советского правительства!»

Присутствующие поворачивали свои головы к пришедшим, а так, как большинство из них были рабочими, то они встали и аплодисментами приветствовали советское правительство. Бош прошла через плотно забитый горячими телами зал к трибуне. Рафес пытался сказать что-то еще, но зал гудел, и он, язвительно улыбаясь, сел за стол президиума.

Евгения Богдановна умела говорить, зарядить слушателей своей неукротимой энергией, подавить и, в конечном счете, подчинить их себе.

– Товарищи! – начала Бош. Ее одутловатое, безразличное в обычном состоянии лицо стало каменно-жестким. – Положение у нас тяжелое, и скрывать это от вас не буду и не желаю. Немцы находятся в тридцати километрах от Киева.

Далее Бош с горечью поведала, что войск у Красной гвардии мало, и они не могут противостоять армаде нашествия. Мобилизация в Красные отряды проходит очень медленными темпами, даже рабочие не спешат записываться. «А ведь советская власть – это ваша власть!» – укорила она зал. Далее она с пафосом известила, что правительство решило не уступать ни пяди земли без сопротивления, и под Киевом дать решительный бой оккупантам и петлюровцам. Десяти тысячный корпус чехословаков обещал поддержку, но пока особой активности не проявляет. Также оборону Киева

усложняет деятельность контрреволюционных мелкобуржуазных партий:

– Вот, например, Рафес, – краснобайствующий сегодня на пленуме... он несколько дней назад явился в правительство, предложил передать всю власть городской думе и выслать полномочную делегацию для встречи немецких войск.

Бош сделала паузу, вслушиваясь в реакцию зала и, почувствовав его возмущение, с пафосом воскликнула:

– Вот они – предатели революции!

В ответ послышались возмущенные крики:

– Подлецы!

– Вон бундовцев и меньшевиков из совета!

– В Лукьяновку их!

– Почему Рафес на свободе?!

Рафес ерзал на своем стуле и уже не думал больше выступать, а думал – под каким бы предлогом ему покинуть заседание побыстрее. Он знал, что стихия единообразной толпы, опасна. Но Бош неожиданно сама отвела от него угрозу. Она стала призывать депутатов к тому, чтобы они немедленно пошли на заводы и фабрики, немедленно начали создавать вооруженные отряды рабочих и прекратили работу сегодняшнего пленума. Это предложение было встречено с одобрением – мало кому хотелось дискутировать по заранее проигранному вопросу об обороне Киева. Рафес один из первых после окончания пленума нырнул в боковую дверь сцены и поспешил подальше убраться отсюда, решив, что события на-

растают так быстро, что несколько дней пережить их потихоньку, ему сейчас не помешают.

Но на следующий день обстановка еще более усложнилась. Чехословаки наотрез отказались выступить против немцев и начали в полном боевом порядке отступать за Днепр. Им было чего бояться – немцы не простили бы им добровольную сдачу в плен России в первые годы войны. За ними потянулись толпы рабочих, – кто с семьями, кто в одиночку. Из Киева их выталкивала опасность со стороны петлюровцев, считавших русифицированных рабочих антиукраинским элементом, а также возможность отмщения за январские события. Потом двинулись отряды Красной гвардии.

Видя, что положение в Киеве уже невозможно контролировать, Бош на автомобиле, прорвалась по забитому людьми мосту в Дарницю, доверив контроль за обстановкой военным командирам. Срочно сев в поезд помчалась в Полтаву, чтобы информировать правительство о положении и наметить пути дальнейшей обороны Украины.

В этот момент, в самый разгар отступления, в Киев прибыл Сергей Артемов. Свой отряд из двенадцати человек он по приказу оставил в Ирпене, для обороны моста. Ему с Фишзон и Бардом разрешили сопровождать пять вагонов с хлебом. На грузовой станции он их сдал какому-то интенданту. Хотел найти кого-то из руководителей большевиков, но в такой суматохе это оказалось невозможно. Все руководите-

ли уже эвакуировались. Сергей попытался переправиться в Дарницу, чтобы идти на восток, в Донбасс, в Луганск, но в это время раздались взрывы на мостах через Днепр. Дорога на восток была отрезана. Сергей, зло выругавшись на всех и вся, пошел на железнодорожную станцию. Там он поговорил с командиром красного отряда, который хотел срочно выехать из Киева куда угодно, лишь бы побыстрее убраться.

– Если найдешь место в вагонах, – командир зло махнул в сторону товарняков, – то езжай! А не будет – то твое дело, – и командир побежал выбивать в депо паровоз.

Сергей с Эльвирой и Бардом попытались проситься в вагоны. Мужчинам разрешали, но бабу никто в теплушку брать не хотел. Эльвиру бросить они не могли. Поэтому они устроились втроем на тормозной площадке. Эльвира была уже готова остаться в Киеве у знакомых, но Сергей на это не пошел, а Барда никто не слушал. Найдя на железнодорожных путях листы фанеры, они наполовину заделали боковые выходы, но торцовую сторону утеплить не удалось. Но нашли старые армейские одеяла. Наконец подогнали паровоз и состав тронулся. Куда едут – никто не знал.

Стемнело. Холодный зимний ветер пронизывающе свистел между вагонами. Бил в уши скрип колес, лязганье буферов, звон цепей. Вокруг была пугающая тишина, огней не было видно даже на придорожных остановках. Украина притихла в ожидании непрошенного гостя.

Сергей и Бард сидели на ящиках, с двух сторон прижав-

шись в Эльвире, грея ее и одновременно вместе удерживали тепло, которое вырывал у них беспощадный ветер. Эльвира была благодарна мужчинам, которые таким сентиментальным способом хотели не дать ей промерзнуть. Сергей спал, только изредка вздрагивал во сне, и Эльвира, спавшая очень чутко, постоянно прислоняла его к себе. Ей было тепло от того, что рядом с ней сильный человек, уверенней ее, с молчаливым упорством переносящий все невзгоды революции, и он, – признавалась она в душе, – ей очень нравится. С другой стороны от нее сидел и спал Дмитрий. Видимо, он был измотан совсем и, уронив голову на ее плечо, не шевелился. «Милый мой, – ласково, по-матерински думала она. – Тебе ли идти в революцию. С твоим незнанием жизни, неумением к ней приспособиться». Ее глаза слипались, и она впадала в проваливающийся сон, который сменялся резким пробуждением.

Утром состав прибыл в Белую Церковь, дальше машинисты паровоза категорически отказались вести состав, несмотря на угрозы командира о привлечении их к суду военного трибунала.

– Мы сюда добирались всю ночь. А раньше за три часа. А назад нам еще сутки добираться. Да и угля, и воды нет, – заявил машинист.

– Да тебя немцы расстреляют! – пугал его красный командир.

– Не расстреляют. С паровозом мы нужны любой власти.

Было ясно, что паровозную бригаду ехать дальше не уговоришь. Бригада, отцепив паровоз, демонстративно поставила его в станционный тупик. Увидев это, Эльвира разбудила своих спутников.

– Приехали. Вставайте.

Сергей, щурясь, приподнялся и посмотрел вокруг.

– Что-то сегодня спал, как никогда. Ничего не помню.

Бард смотрел на вокзал:

– Белая Церковь... это где? Далеко уехали?

Эльвира печально улыбнулась:

– Нет, это рядом с Киевом. Но вы крепко спали ночью и не видели, как медленно мы ехали. Не замерзли?

– Немного промерз, – ответил Сергей.

– Я тоже, – эхом отозвался Бард.

Сергей подумал и сказал:

– Вы останьтесь здесь, а я пойду разузнаю в чем дело и как быть дальше.

Вокзал был переполнен людьми – было много беженцев. Из отрывочных разговоров Сергей понял, что немцы совсем близко и могут вступить в город с минуты на минуту. Он встретил командира отряда, с которым вчера договаривался, чтоб он их взял, и спросил, что тот собирается делать дальше. Командир с руганью ответил:

– Вон там, видишь? – он указал на дальний путь у выхода со станции. – Там красные китайцы. Они сейчас хотят ехать в Смелу. Надо просить их, чтобы взяли нас с собой.

Сергей с командиром побежали к составу, к которому подходил паровоз. На их требование из пассажирского вагона, – основная часть состава состояла из теплушек, – вышел китайский командир. Он представился:

– Товариц Сен Фу-ян. Что надо?

Как можно быстрее Сергей и командир стали объяснять, что им необходимо уехать отсюда. Договорились прицепить пять товарных вагонов к их составу и отступить вместе с ними. Но паровозная бригада наотрез отказалась подгонять их вагоны к китайскому составу, объясняя, что это займет много времени, а немцы находились вчера вечером в десяти километрах от города. Но договорились – на выезде на прогон состав подождет их, а они, в свою очередь, должны свои вагоны к этому времени вытолкнуть руками к прогону. И если успеют – их счастье, а нет – состав уйдет без них. Сен Фу-ян, улыбаясь, скалил зубы:

– Ицвиняйте. Скоро! Скоро!

Сергей с командиром побежали к своему составу. Подняв бойцов, командир, коротко с матерками, объяснил им задачу. Все стали дружно толкать пять вагонов к выходу на пути. Эльвира шла рядом – ей не было места у вагонов из-за солдатских тел. Командир увидел тормозную площадку, где они ехали всю ночь, и удивился:

– Так что ты мне не сказал, что не нашли места. У меня бы расположились со своей бабой...

Но Сергей ему не ответил.

Поезд с китайцами вышел на перегон и остановился, поджидая их. Пока цепляли вагоны, командир подошел к Сен Фу-яну и, показывая в сторону Эльвиры, попросил взять ее с товарищами в свой вагон. Тот согласился. Так Сергей с товарищами оказался в пассажирском вагоне, который был штабом китайского батальона. Они расположились на боковой нижней полке втроем. Эльвира распахнула пальто, сняла шаль, и тут Сергей увидел, что сквозь смуглоту ее лица пробивается непривычный для нее розовый румянец.

– Ты не заболела? – шепотом спросил он ее.

– Изнутри сильно знобит.

Бард неумело старался помочь ей расположиться на полке. Потом вспомнили, что давно не ели, и решили перекусить. Но еда шла вяло. Воздух вагона, пропитанный непривычным запахом китайского быта и пота, угнетал их, и Сергей решил поговорить с Сен-Фу-Яном. Тот занимал крайнее купе, завешенное одеялами от постороннего взгляда. Там же были и другие китайские командиры. Сергей осторожно, чтобы не их обидеть ненароком, спросил командиров:

– А вы откуда, ребята, едете?

Сен Фу-ян с готовностью, вернее, с присущей китайцам вежливостью, ответил:

– Наша хто откудова. Есть Подолья – сахар делали, есть Тирасполь – лес рубили. Везде наша была.

Это были китайцы, завербованные в годы войны для работ в России. «Выходит, – подумал Сергей, – они не толь-

ко на шахтах Донбасса работали, а везде по России». Потом Сен Фу-ян рассказал Сергею, что в январе был сформирован батальон красных китайцев из более чем пятисот человек. Они участвовали в боях против немцев и петлюровцев. Когда вспомнили петлюровцев, то все китайские командиры со снисходительной улыбкой оскалили зубы:

– У ихний солдата шапка, как моя косичка, токо больсе. Наса ихню, бах-бах.

И они тихо захихикали. Сергей узнал, что из их батальона осталось уже триста человек, остальных похоронили в замерзшей земле Украины. А теперь им надо добраться до Кременчуга, а потом куда прикажут. Сергею почему-то было жаль этих доброжелательных, не похожих по психологии на него людей, нуждой заброшенных из далекого Китая в бескрайние российские просторы на тяжелые физические работы, а сейчас взявших в свои руки винтовки в общей борьбе против богатеев и безропотно принимающих все тяготы не только славянской жизни, но и революции в чужой стране.

Он спросил Сен Фу-яна, движимый любопытством:

– А ты сам откуда?

– Знацяла Волыня, потом Подолиё...

– Нет. Из Китая откуда?

– А... река Хэйлунцзян, знает твоя?

Сергей отрицательно махнул головой.

– А Сунгари, Уссури?

– Нет.

– Оттудова я. Там река руська, большая.

Ничего не поняв, Сергей, тем не менее, кивнул в знак понимания, и они пожали друг другу руку. Уже позже Сергей интересовался судьбой этих китайцев. Ответ был таков, что все они погибли в боях весной восемнадцатого, то есть два месяца спустя, не дойдя до Дона. Тогда Сергей не мог этому поверить.

Эльвире стало значительно хуже. Вначале ее знобило, и она никак не могла согреться. Потом ей стало жарко, пришлось снять с нее пальто. В душном, переполненном вагоне по ее лицу крупными каплями катился пот. В вагоне были раненые, и китайцы, находившиеся рядом, стали поглядывать на нее с опаской и по недоброму перешептываться между собой. Наконец, после полудня, Сергея пригласили к Сен Фу-яну. Тот, виновато улыбаясь, сказал, кося глаза в сторону:

– Моя солдата говорит, что женцинка больна и бояця заразы.

– Нет, она просто простуженная, – попытался успокоить китайца Сергей. – К вечеру у нее все пройдет.

Но китайский командир, отводя косой взгляд, говорил:

– Нет. Уходить с вагона. Моя солдата не хосет с больным...

Сергей понял, что здесь доброжелательного китайца не уговоришь. И он согласился перейти в одну из теплушек, где ехал красный отряд, в Смеле. На том и порешили.

Но в Смеле киевский командир, который решил отправиться вместе с китайцами в Кременчуг, вдруг тоже возразил:

– Ты ж сам понимаешь, больная она... и к тому же баба. Лучше положи ее в госпиталь или отдай добрым людям, а сам к нам с другом. Потом ее заберете.

У Сергея заходили под скулами желваки, и он мрачно посмотрел в глаза командиру. Тот, увидев этот взгляд, замахал руками:

– Но пойми и не злись! Не возьму я больную бабу. Была бы раненая – другое дело, а больную не возьму.

Сергей понимал, что он и китаец правы – больную, а не раненую, нельзя держать среди здоровых людей. Вместе с Бардом, который не отходил от жены и не знал о его переговорах, они помогли Эльвире одеться и пошли на вокзал. Поезд с китайцами ушел. В маленьком здании вокзала, посреди зала ожидания стояла печка, сделанная из железной бочки, вокруг которой сидели моряки-черноморцы. Они сразу же обратили внимание на вошедших и с бравой вежливостью попросили их «пожаловать» на доклад к своему командиру.

Сергей прошел в комнату, которая раньше предназначалась для отдыха привилегированных гостей, а сейчас была занята командиром черноморского отряда. Тот сидел за столом со своими заместителями перед раскрытой картой и решал какие-то важные вопросы. Командир недовольно взглянул на вошедшего Сергея и сопровождающего его матроса:

– Что еще?

– Да вот, – бойко начал матрос, – на станцию пришли какие-то личности, надо выяснить.

– Кто такой? – спросил командир, обращаясь к Сергею.

Сергей молча достал из внутреннего кармана удостоверение командира красной армии, мандат командира заготовительно-закупочного отряда и подал матросу. Тот, взглянув в документы, махнул рукой сопровождавшему матросу, чтобы вышел, и представился:

– Командир отряда Черноморского флота комиссар Фисенко, – и он представил Сергея заместителям: – А это командир красных пулеметчиков Артемов Сергей.

Сергей попытался возразить, что он уже не командир, но его не слушали, а задавали вопросы: «Как в Киеве?», «Где немцы?», «Куда выехало Советское правительство?». Сергей устало отвечал на вопросы, сделав, однако, главный вывод, что положение на Украине для большевиков плохое.

Потом Фисенко сказал:

– У нас, знаешь, есть три пулемета. Но пулеметчик остался один, и один пулемет не работает. Вступай к нам в отряд командиром пулеметчиков?

Теперь Сергею стало ясно, почему Фисенко стал с ним так вежлив и представил его другим по регалиям – ему нужен был пулеметчик.

– Нет.

– Почему? Мы завтра уезжаем в Одессу. Здесь в уезде мы

советскую власть установили, ну а теперь полундра – домой. Слишком мы задержались на суше, – Фисенко принял романтический вид. – Море к себе зовет. Да и рада объявила российский флот украинским, надо с этим разобраться и навести порядок. Так оставайся у нас, жалованье хорошее положим, паек выдадим за две недели назад.

– Нет. Со мной два товарища. Жена товарища больна. Ее надо в больницу определить или срочно отправить домой в Херсон.

– В Херсон? – Фисенко поднял вверх брови. – Нет ничего проще. Сейчас отправляется поезд на Николаев, а потом в Херсон. Мои орлы, шесть человек, едут в Херсон, чтобы забрать в доке на ремонте вспомогательное судно и перегнать его отсюда подальше в Россию. Я твоих друзей отправлю с ними, найду местечко.

– Вот это было бы хорошо. Спасибо за помощь. Когда нам ехать?

Фисенко скептически улыбнулся:

– Но там может и не найтись местечка... а мне нужен знающий пулеметчик, фронтовик... как ты. Кто знает, может быть, путь на Одессу перерезали немцы, а без пулеметов не пробьешься. Я твоих друзей отправлю, но только без тебя. Или никого не отправлю... – он помолчал. – Ты ж революционер, должен нам помочь. Хоть на скорую руку обучи пулеметчиков!

– На скорую руку этому не учат. Я согласен остаться, но

чтобы моих товарищей взяли до Херсона и довели до места.

Фисенко вскочил с кресла и радостно протянул ему руку:

– Прости, что я с тобой так говорил, нажимал на тебя. Но мне нужен пулеметчик на дорогу. А в Одессе можешь идти на все четыре стороны. Договорились?

Он вышел с Сергеем в зал ожидания. Они остановились возле спящих Эльвиры и Барда.

– Пусть собирают вещички и выходите на перрон, – и ушел.

Сергей разбудил Барда, который испуганно вздрогнул. Эльвира сама открыла глаза.

– Едем? – шепнула она.

– Да. В Херсон.

– Разве? – Эльвира удивленно смотрела на Сергея, – как это он смог решить такой сложнейший вопрос, когда поездов нет, а что есть – забито беженцами и военными до отказа.

– Да.

– А может, в Екатеринослав? – как-то некстати спросил Бард. Видимо, ему не очень хотелось ехать к родителям жены.

– Тогда ее придется положить в госпиталь, в изолятор... и кто знает, когда она оттуда выйдет. А здесь еще немцы. Из Киева, дай Бог, вырвались, теперь вам дорога только домой. Будете ехать с охраной, – Сергей зло усмехнулся. – Одевайтесь!

– А ты что, с нами не едешь? – жалобно спросила Эльвира.

– Нет. Я вступил в морской отряд пулеметчиком, а за это они берутся довести вас до Херсона.

– Зачем ты так сделал?

– Потому что надо! – и Сергей, отвернувшись, стал развязывать свой вещмешок. Вынул оттуда пачку денег, оставшуюся от закупок хлеба, которые он не смог сдать обратно. Он протянул их Барду.

– Возьми – это советские, – потом вынул из мешка пачку других ассигнаций, – это керенки. Денег у вас достаточно, на первое время хватит. Больше у меня нет. Купишь в дороге лекарства и корми ее получше, – наказывал Сергей Барду. – Да спрячь их, а то увидят! – шепотом прикрикнул он на этого недотепу, который так и держал пачки денег в руках.

– Сережа, а ты себе что-нибудь оставил? – благодарно спросила Эльвира.

– Да. В карманах что-то валяется. Как ты себя чувствуешь?

– Вроде лучше... наверное, температура спала. Но голова кружится.

Они вышли на перрон. Фисенко ждал их возле пассажирского вагона.

– Заходите быстрее. Ребята нашли одно лежачее место для дамы внизу и доведут как на блюдечке до дому. А тебя, Артемов, я жду у себя.

Фисенко ушел. Действительно, Эльвиру ждало нижнее место. Матросы просто попросили пассажиров пересесть, а

если не пересядут на другие места, то их высадят на перрон. Пассажиры посчитали за благо ехать в вагоне, хоть в весьма стесненном состоянии – сидя по пять человек на одной полке.

В вагоне Эльвира со слезами на глазах поцеловала Сергея.

– Я верю, мы еще раз с тобой встретимся. Хоть раз, но обязательно. Спасибо тебе за все.

– Встретимся...

Он пожал руку Барду, еще раз наказал, чтобы следил за Эльвирой. Матросов попросил следить за ними и не давать их в обиду, на что те расхохотались и пообещали, что ни один волос не упадет с их подопечных... Сергей вышел, поезд вскоре тронулся, а он пошел к комиссару.

– Где пулеметы, показывай, – обратился он к нему.

– Ты что, еще что-то можешь кумекать? Посмотри на себя, ты же спишь на ходу. На, выпей! – Фисенко налил из бутылки стакан вина, и Сергей осушил его до дна. – Вот молодчина! А сейчас ложись спать вот на этот диван. Утром поедem, и в вагоне займешься ремонтом пулеметов и ребят обучать будешь.

Сергей без возражений лег на диван, подложив под голову вещмешок, и заснул мертвецким сном.

Часть VII

40

В конце февраля петлюровские части прибыли в Бородянку, в верстах пятидесяти от Киева. Необходимо было перед входом в столицу привести в порядок войско. Панас Сенико-была, получив причитающее ему жалованье – триста тридцать три карбованца украинскими бонами, решил зайти в кабак. Это были небольшие деньги, но в Киеве обещали дать еще по тысяче. Также он должен получить пособие на семью, которая давалась непосредственно тем воякам, кто ее имел. Фактически получался двойной оклад. А так, как его семья была неизвестно где, – то ли в Венгрии, то ли в Австрии, то ли еще где, – он решил эти деньги получать сам. За это время он успел погулять в Сарнах и Гомеле. Единственное, что согревало его душу – это мысль о том, что в Киеве тоже гарно погуляет. Он очень переживал, чтобы его семья не попала в концентрационный лагерь Талергоф, в Австрии – оттуда русины живыми не выходили.

Украинская армия не достигала и тысячи человек. Их войско пополнилось за счет галицийских стрельцов, которые вначале войны воевали против русских, а потом были переброшены на итальянский фронт. Стрельцов было немно-

го – тысячи две, но австрийское правительство обещало в скором времени снять их со всех фронтов и передать Центральной раде. Сичевые курени, сохранившие свой численный состав, не переформировались. Другие части переформировывались на скорую руку. Неполные численно курени стрельцов вливались в петлюровские отряды, которые получили громкое название гайдамацких. Хотя они назывались так и раньше, но сейчас подчеркивалась историческая связь с кровавыми восстаниями Гонты и Железняка. Но этого воюки не знали, а им внушалось, что восставшие боролись против Москвы. Галицийские стрельцы, прибывшие с западного фронта, сразу же отличились в Гомеле, устроив еврейский погром. А потом на каждой станции, в каждом городе эти погромы продолжались. На жидов накладывалась контрибуция, которую те старались быстрее выплатить, опасаясь новых погромов. Ненависть галицийских стрельцов к жидам, – иначе они евреев не называли, – была патологической, а к кацапам – врожденной.

Панас зашел в кабак при железнодорожной станции. Было дымно и вонюче. Там уже с сидели хлопцы из его куреня, – галицийские стрельцы, с которыми он сейчас служил. Лаврюк – толстый, с прыщавым лицом и выпученными жабьими глазами, который за этот месяц ни разу не помылся в бане. Он был раньше нижним полицейским чином в Станиславе. На вид он выглядел старше, хотя ему было всего двадцать шесть лет. Из них почти четыре года он служил в

австро-немецкой армии, а сейчас в украинской. Лоснящееся от жирного пота лицо, постоянно грязные руки, месяцами не снимаемая с немытого тела одежда издавали невыносимую вонь, и постороннему человеку невозможно было находиться рядом с ним даже непродолжительное время. Шпырив – смуглый худощавый юноша, совсем недавно мобилизованный австрияками в армию, еще не бывал на фронте, и Лаврюк выступал как бы в роли его учителя и опекуна, обучал премудростям солдатской жизни. Гетьманец – мужчина за сорок лет, самый старший из них по возрасту, бывший воспитатель униатской приходской школы, и другие новые соратники Сеникобылы. Старых товарищей осталось немного, часть их разошлась по селам и хатам при отступлении в Сарны. И Панас в то время пошел бы куда глаза глядят, да некуда.

– Ходи, Панасе, до нас, – приветствовал его Лаврюк, организатор всякого солдатского отдыха и самый разговорчивый из них. – А то скоро столица – не будет часу отдохнуть.

Панас подошел к столу. Ему налили стакан горилки, и он его хлебнул в один глоток. Стало немного веселее, показалось, что в кабаке меньше дыма и вони. Гетьманец, считающий себя наиболее образованным среди сидящих, рассказывал:

– Ще не почалась война, москали в нее не вступили, я сказал старшим ученикам: «Вот вы должны осуществить нашу давнюю мечту – всю Украину включить в состав Австро-Вен-

грии, а потом мы станем сильнее – и выйдем из нее, и будет наша держава от Кавказа до Карпат. Записуйтесь в стрелеческие курени и вперед против Московии». Многих я так уговорил. Мои хлопцы гарно бились под Перемышлем, не отдали крепость москалям.

– А вас колы забрали на фронт? – поинтересовался Шпырив.

– У начале семнадцатого. Когда молодежи стало мало. Но я сам пишов, добровольцем, не стал дожидаться, пока заберут. Добровольцам бильш платят, а раз молодежь полегла, надо нам, старым, за дело браться. Був в Немеччине, Австрии, даже в Италии...

Лаврюк встрепенулся при упоминании об Италии.

– Споминаю, як мы дали жару итальяшкам под Капорето! Бежали они аж до другого конца своего острова...

– Не острова, а полуострова, – поправил его Гетьманец, недовольный тем, что тот перебил его рассказ. – И не вы итальянцам дали, а немцы, которым надоело бездействие в Италии австрийцев.

– Ну, а как же! – согласился Лаврюк. – Мы та немцы. Вспомню – и душа ликует, – как там гарно було. Хлопцы назначили меня квартир... ну, квартирмастером в общем, – находить им хаты для ночлега. Так я хлопцам за это по дивчине давал.

– А где ты их столько набирал? – неприязненно спросил Панас.

– Так дуже просто. Эти итальяшки були все голодные, как бездомные псы. Дашь им эрзац-консерву, бабка отправляет до нас мать, а та и дочек прихватывает. А колы начинают противиться, ломаться, так их штыком в зад, бежут аж сразу до сеновала, чи кровати.

Лаврюк довольный своим рассказом захохотал, другие поддержали его смех. Усатые лица искрились от смеха. «Вот это Италия! – думал каждый их них. – Вот это страна! Воевать в ней – одно удовольствие».

– А почему мы до итальянок дорвались в том наступлении, – продолжал Лаврюк, – так нам в Австрии было запрещено с ихними бабами гулять. Приказом. Да и ихни бабы под нас не шли ни за какие деньги. Вонючими псяками нас называли. А под своих мужиков бегом биглы. Зато с итальянками мы нагулялись – на всю войну хватит. Не погано нам було в ихних Альпах!

Лаврюк снова загоготал и заключил:

– Вийна есть вийна, и в ней тоже неплохо можно жить и гулять. Так что не теряйтесь. Дома такого вже не буде.

Панас крикнул хозяину кабака – худому с черной бородкой и осторожными глазами, еврею:

– Ще бутылку!

Хозяин, пуще всего боявшийся ныне этих усатых, – а некоторые из них подстрижены под старину – оселедцем, – людей, бросился с бутылкой к их столу. Это не ускользнуло от взгляда Гетьманца, и он схватил за шиворот еврея, поста-

вившего бутылку на стол.

– Що, жидок, страшишься?! Не стучи зубами, как колокол, як молоток о наковальню. Не убью. Зроби так – закричи «Слава Украине!» Ну?!

Хозяин кабачка замешкался, и Гетьманец, держа его левой рукой за шиворот и пригибая книзу, правой вlepил ему в ухо. Еврей завопил.

– Буде. Кричи шо я сказав!

– Слава Украине! – тонким голосом прокричал еврей и к концу короткой фразы закашлялся.

Шпырив, вдохновленный действиями старшего товарища, врезал ему открытой ладонью по другому уху.

– Погано кричишь. Знову.

Гетьманец приподнял за шиворот голову хозяина кабака и хохотнул:

– Погано кричав говорят. Давай ще раз.

Вертя впалыми черными глазами, еврей глубоко вздохнул и крикнул:

– Слава Украине!

Все стрельцы довольно засмеялись, а хозяин, отпущенный Гетьманцем, поспешил скрыться за дверью. Столько оплеух и оскорблений, которые он получил за эти два дня, он не получал за всю свою, прожитую до этого дня, жизнь.

– Вот так надо им вбивать в голову, што мы здесь главный народ, а остальные – жида и москаля – люди другого сорту! А то куды не глянь – всюду жид! Построим державу – всех

их под корень, щоб не поганили нашої землі! – заключил довольный Гетьманец.

– Да. Немає от них життя... – глубокомысленно вздохнул Лаврюк.

Панас сидел молча. Открыл бутылку и налил себе, потом в другие стаканы, поднесенные к его бутылке, и так же молча выпил, закурил и спросил, не обращаясь ни к кому, а как бы к себе:

– Зачем людину обидели? Што он нам поганого сделал?

Все от таких неожиданных слов замолкли. Гетьманец су-рово посмотрел на Сеникобылу:

– Тебе шо, жидив жалко? Ты побачь, вони в городах жизни не дают украинству! Куды ни глянь – жидовська рожа! Ты ж с села?

Панас кивнул.

– От поэтому ты о них мало знаешь. А вот бы пожил в городе, так узнал, як вони не дают нам жизни! Як крамныця – так там жид, тянет с народу последние гроши. Всю кровь высосал с нас! Поэтому с ними надо построже. Показать им свое место, чтобы дальше определенной черты в город не заходили.

В это время в кабак вбежал гайдамак и закричал:

– Идить дивиться ряженных жидив!

Все потянулись к выходу. Панас встал последним, и только хотел идти за остальными, как перед ним очутился хозяин кабака. Подобострастно склоняя голову, будто забыв о том,

что совсем недавно от этой компании получил две затрешины, он быстро заговорил по-украински:

– Пан вельмишановний, не заплатите ли за горилку, яку сейчас пили с друзьями?.. Прошу пана ответить?

Панас молча вынул деньги, бросил на стол пару ассигнаций и, не оглядываясь, вышел. Он дал еврею больше, но сдачу дожидаться не стал.

На привокзальной площади стояла делегация евреев этого местечка, одетых в талесы, с тефилинами на левой руке и голове. Впереди стоял местный раввин, держа в руках свитки Торы. Свой выход они приурочили к приезду в Бородянку делегации киевской думы, в которую входили представители всех партий, в том числе еврейских. Это были дни Пурима – веселого весеннего праздника евреев. Но сейчас им было не до смеха. В светлый праздник они пришли просить Петлюру оградить их от погромов.

Одетых в незнакомые обрядовые одежды евреев окружили гайдамаки. С гоготом они дергали за белые балахоны несчастных стариков, чуть не сваливая их на снег. Слышался злобный мат и угрожающие крики, переходящие в вопли:

– Що, жида, усрались! Мы расправимся с вами, и расправимся беспощадно!

– Полгорода евреев вырежу лично!

– Когда мы отступали из Киева через Подол, в каждом жидовском доме был пулемет, из которого в нас стреляли!

– Все три миллиона жидов надо гнать с Украины!

– Украина для украинцев!

– Жидив на гиляку!

– Геть!!

– У-у-у!!!

Лаврюк, выпучив глаза, отчего стал еще больше похожим на склизкую жабу, орал матерное, периодически выплевывая на молчавших евреев свою густую вонючую слюну. Гетьманец, почувствовав важность момента, как самый грамотный из стрельцов начал разъяснять евреям их жидовскую политику:

– Мы вам дали равноправие, но вам этого мало – вы хотите всю Украину захватить в свои руки. Все большевики жида, и вы им помогаете воевать против нас. Теперь понятно, что вам не место после этого на Украине? Уезжайте в Московию, пока не поздно.

Гетьманец победно поглядел на стрельцов, словно готовясь услышать похвалу за свои умные слова, но на него никто не обратил внимания, что вызвало чувство обиды старшего по возрасту среди сичевиков.

Но евреи стояли молча, словно не слыша злобных излияний, устремив взгляды на штабной вагон, где находились министры и Петлюра.

А в штабном вагоне военно-политические вопросы были уже обсуждены, и бывший парикмахер – Рафес, находившийся в составе делегации, приветствовавшей победителей, решил перейти к самому щекотливому вопросу – еврейско-

му.

– Пан главнокомандующий, – как можно мягче и вкрадчивей обратился Рафес к Петлюре, – к нам приходит достаточно много сведений о еврейских погромах. У нашей общности есть просьба к вам – принять какие-то меры во избежание подобных эксцессов, которые происходили в других городах, в том числе и Киеве.

Петлюра, одетый в перешитый для него польский военный костюм с немисливо затейливыми позументами на вороте и рукавах, повернулся к окну вагона, посмотрел на покорно стоящих на морозе старцев-евреев и бесновавшуюся вокруг них вооруженную толпу, и ответил:

– Я, видимо, не в силах решить этот вопрос.

Рафес тоже смотрел в окно.

– Пан главнокомандующий... Симон Васильевич! Обращаюсь к вам как члену социал-демократической партии, соратнику по борьбе. Остановите этот антисемитизм сейчас, немедленно. Примите для этого меры, используйте свой авторитет!

Но Петлюра был непоколебим и, глядя прямо в глаза Рафесу, он медленно, подбирая точные слова, произнес:

– В этой войне на карту поставлена независимость Украины, и я ничего не могу гарантировать. Настроение воякив мне известны. Я у солдат вижу не проявление антисемитизма, а жажду мести. Евреи – чужеродный элемент в народной жизни Украины... но это не касается политиков, – под-

черкнул он, намекая на национальность Рафеса. – У солдат присутствует желание отмщения за свою, ранее поруганную, честь.

Вошел министр по военным делам Центральной рады – Жуковский, который недавно сменил на этом посту Порша. Он был в хорошем расположении духа, о чем свидетельствовала его благостная улыбка:

– Прошу делегацию из столицы в буфет, где стол уже накрыт. Вести самые благоприятные. Сейчас пришло сообщение, что наши союзники – германские войска – находятся на киевском вокзале и выгружаются из вагонов. Объявите всему войску, – обратился он к главнокомандующему войсками Петлюре, – чтобы немедленно все садились в вагоны, и мы тоже отправляемся в Киев.

Петлюра уныло произнес:

– Я мечтал, что мы первыми войдем в столицу... – он вздохнул и обратился к генералу Присовскому: – Я вас попрошу: выйдете к этим жидам и скажите, чтобы они уходили, и дайте необходимые указания по отправке войска.

Моложавый генерал вышел к стоявшим евреям и обратился к раввину со свитками Торы.

– Расходитесь, панове. Сегодня большая радость для нас. Но прежде, чем вы уйдете, я дам вам совет, напомним одну притчу из вашего талмуда, – Присовский достал записную книжку, раскрыл, нужную страницу и продолжал: – Там говорится так: сократи свой пир, – он на секунду замолчал,

делая пропуск в тексте, – но увеличь размер твоих пожертвований неимущим, – вторую часть текста он прочитал четко, чуть ли не по слогам. – Понятно? Теперь обращайтесь с моим советом к атаману Шаповалу, который будет здесь комендантом. Понятно? – снова спросил он евреев.

Те поняли, что им необходимо собрать деньги и передать названному атаману. Понурившись, они пошли прочь от станции. Присовский, снял папаху, повернулся в сторону стрельцов. Шум постепенно стих.

– Гайдамаки, спешу сообщить вам приятную весть... древняя столица Украины – Киев, сегодня освобождена от большевиков нашими доблестными союзниками! Сейчас всем по вагонам – и едем тоже туда!!

– Ура-а-а!!! – восторженно загудела гайдамацкая масса. – Оффензива! Невиданная оффензива! – кричал на ухо Шпыриву Гетьманец, хотя никакого наступления не было, – гайдамаки вступали в Киев в обозе германской армии.

«Слава Богу! Наконец-то Киев», – почему-то облегченно подумал Панас и пошел к своей теплушке.

В буфете, когда после отданных им распоряжений об отправке пришел генерал Присовский, уже выпили первый тост за освобождение столицы. Австриец-повар небрежно раздавал сидящим закуску – консервированный шпинат и удивленно глядел на радующихся за взятие его войсками их столицы руководителей рады. Заметив это, Жуковский досадливо, специально для киевлян-делегатов, произнес:

– Мы отказались от услуг денщиков, поваров. Всех бойцов отправили в действующую армию, которая успешно ведет сейчас наступление. Вот и приходится прибегать к услугам австрийцев и немцев в обслуживании... – и, будто извиняясь, добавил: – Они чудесные повара, чудесные. Ничуть не хуже наших... но у них своя кухня.

Поезд тронулся, увозя украинское войско в освобожденный их союзниками-немцами Киев. Вместе с войском ехало украинское правительство практически в том же составе, в котором оно убегало из Киева. Только некоторые министры поменялись портфелями, но главное они все оставались руководителями.

Немцы вошли в Киев после полудня – тихо, незаметно. В этот день было решено в город не идти, остаться на вокзале. Грязь и неуютность вокзала поразили их. Украинцы, исполнявшие роль посыльных, получили задание от немецкого командования немедленно нанять на поденную работу по уборке вокзала киевлянок, со своими ведрами и швабрами. Их пришло много. Немцы отсчитали сорок баб помоложе, которые до позднего вечера скребли, мыли и выносили мусор из здания. Потом немцы галантно пригласили их на ужин и всю ночь из окон вокзала была слышна граммофонная музыка. Рано утром, затемно, по команде немцев, женщины покинули вокзал, довольные тем, что в потаенных местах у них были спрятаны немецкие марки, намного превышающие поденную оплату. Вокзал впервые стал чистым и опрятным, как когда-то, в день своего открытия.

Киев притих, как это всегда бывало перед сменой власти. Первое марта восемнадцатого года выдалось солнечным. Весенний, еще холодный ветер пролетал вдоль Днепра и приятно щекотал щеки. Киевляне осторожно выходили на улицу. Было тихо – ни свиста пуль, ни взрыва снарядов, – к чему все привыкли за эти нелегкие месяцы, только веселое щебетание птиц. Пока еще власти к Киеву не было – большевики убежали, немцы еще не пришли, и киевляне целый день на-

слаждались безвластным покоем. Но утром улицы стали заполняться народом. Все ждали – где немцы, о которых говорят, что они уже в столице?

В четыре часа из низины, где находился вокзал, показались немецкие начищенные каски. Рота за ротой, уверенно и грузно направлялись они к казармам, выбранными их квартирьерами. Впечатление произвел вид низкорослых лошадей, поверх седел которых были укреплены пулеметы. Но особое впечатление производил гладко выглаженный чистый коврик под седлом. Этот порядок сразу же бросался в глаза и производил на обывателей необычайное впечатление. «Это не большевики и не радовцы, – думалось горожанам. – Это настоящие, солидные и надолго». Немцам не бросали цветов, смотрели молча с любопытством. Но двойственное чувство владело людьми: «Нет – это не освобождение от большевиков... это оккупация – добровольная и сознательная, совершенная украинскими политиками». Но внимательный обыватель без труда мог увидеть, что это были не те молодцеватые немцы, занимавшиеся шагистикой в Берлине. Немцы, с обветренными лицами, имели вид уставший и истощенный. Почти четыре года войны, нехватка продуктов измотали их физически и морально. Но с оккупацией Украины война явно должна была затянуться на некоторое время, а это означало новые лишения для голодного германского народа и армии, новые жертвы для Германии.

Следом за немцами появились верховые отряды украин-

ского воинства – гайдамаки. На лошадях сидели люди, точно из театра малороссийской оперетты: цветные шаровары, запорожские папахи со спадавшими вниз цветными кисточками, синие жупаны, обвислые усы – они казались выходцами из какого-то давно прошедшего мира. К ним можно было отнести, как к музейным экспонатам, если бы в их лицах не было бы ненависти и злобы, следствия разложения и опустошения человеческой души, которую приносят с собой войны, особенно гражданская.

В отличие от немецких войск, вид гайдамаков внушал если не ужас, то опасения. «Будет кровь», – думали киевляне, глядя на наследников Железняка и Гонты.

Петлюровские части проходили на Софийскую площадь, где, в окружении униатских епископов и священнослужителей, приехавших вместе с немцами, стояли Петлюра – освободитель Украины, Грушевский – вдохновитель самостоятельной Украины, Голубович – бесцветный премьер-министр, и другие деятели Центральной рады. Радостные улыбки сияли на их лицах. На гранитной площади выстроились курени сичевых стрельцов. Начался молебен, закончившийся звоном колоколов древней православной Софии. Петлюра, верхом на белом жеребце, объезжал свое войско.

– Слава Украине! – выкрикивал он, и в ответ охрипшие и простуженные голоса из своих глоток изрыгали трижды:

– Слава! Слава!! Слава!!!

На мостовой толпился народ, истосковавшийся по пара-

дам. Отдельной группой стояли немецкие офицеры, официально приглашенные на торжество, старший из них – в ранге полковника. А по телеграфным столбам деловито, нацепив когти, лазили немецкие солдаты, натягивающие телефонные провода и с любопытством наблюдавшие с верхотуры за этим спектаклем – ведь столицу взяла их армия, а не украинская, и они стали сейчас здесь хозяевами, а не рада. Но они протестанты и, в отличие от православных, им надо работать, а не праздновать – решать конкретные дела.

Парад закончился тем, что всех гайдамаков строем повели в Михайловский монастырь, расположенный здесь же – напротив Софийского собора. Солдатские казармы заняли немцы. Было объявлено, что сегодня войско отдыхает от боевых будней и никто за пределы монастырской ограды выходить не должен. Руководство Центральной рады боялось, как бы этот праздничный и радостный день не был омрачен погромами, не достойными этого светлого дня, эксцессами насилия над киевлянами.

Курень, в котором служил Панас Сеникобыла, определили в крайнее здание, стоявшее ближе к Днепру. Командиры распорядились, чтобы гайдамаки приводили себя в порядок, отдохали, а завтра всем будет разрешено выйти в город. Это вызвало глубокое разочарование среди сичевиков, уже настроившихся на веселый отдых. Была вторая половина дня. Кто-то из гайдамаков лег вздремнуть на жесткие монашеские ложа, кто просто слонялся по темным сумрачным

коридорам монастыря. За стенами монастыря шла жизнь, и от этой мысли у сичевиков падало настроение.

К вечеру в монастырских кельях сидеть стало совсем невозможно, и Лаврюк, который успел вздремнуть, и теперь тоскливо поглядывавший из окна, вдруг встрепенулся.

– Ходи сюда! – позвал он друзей.

Из окна было видно, как стрельцы из других куреней, отодвинув деревянный щит, прикрывавший дыру в заборе, уходили через нее в город. Дежурных не было видно, офицеров тоже – последние давно покинули монастырские казармы.

– Идем, хлопцы, сколько ж нам сидеть здесь, як монахам! – зашептал Лаврюк.

Все согласились. Быстро одевшись, старые вояки заставили Шпырива, – как самого молодого, – взять с собой на всякий случай винтовку, а сами взяли наганы. Через дыру в стене они вчетвером спустились по обрыву, заросшему акациями и кустарником, к берегу Днепра. Обмыли сапоги от желтой глины, и Гетьманец, встав в днепровские воды, нарочито мечтательно закрыл глаза и произнес, стараясь придать своему голосу как можно больше трагической нежности:

– Днипро, мий Днипро... всю жизнь я мечтал особисто познакомиться с тобою. И вот мрия моя сбылась, Днипро... – он закрыл глаза и стал выдавливать из них слезы. Но не получалось. Гетьманец как можно громче вздохнул и открыл глаза, чтобы увидеть реакцию товарищей на свои стенания, но те не обращали на него внимания. Это оскорбило его:

– Вы шо, не бажаєте познакоми́ться с великою рекою, символом нашей рoдины?!

Лаврюк насмешливо смотрел на него:

– Потом ближе познайомимся, як станет теплише, – роздягнемся и скупаемoсь.

– Я с Днeпром знаком и летним, и зимним, и всяким, – ответил Панас. – Я служил в Киве.

Шпырив наклонился, зачерпнул горсть воды и, пропуская ее сквозь пальцы, сказал:

– А холоднеча ж вона... говорят – течет с севера, Московии.

Гетьманец, оскорбленный в своих патриотических чувствах, которые не разделили его соратники, вышел из воды и стал объяснять Шпыриву:

– Все украинские реки текут только по Украине. Днипро течет с Карпат. А с Московии тильки притоки впадають, – и деловито осведомился: – Куда идемо?

– Для начала в шинок, – ответил Лаврюк, который всегда был организатором подобных дел. – А там на Подол, поговорим с жидами. Як?

Все согласились. Но ближайшие кабаки были закрыты, и только на набережной в подвале обнаружили небольшой шинок. Выпив, Лаврюк заговорил жестко, его навылупку глаза словно остекленели, прыщавое лицо закаменело:

– Зараз, хлопцы, пидемо до жидив. Мы должны поговорить с ними не как влада, а по-своему, как мы умеем с ними

балакать.

– Так! – подхватил Гетьманец, возбужденно блестя глазами, как перед большой охотой. – Возьмем историю, – начал подводить он теоретическую базу под последующие действия, – кто издревле угнетал украинцев? Кацапы и жида. Пан уедет, на хозяйстве оставит жида, а тот дерет с селянина три шкуры для себя да два на пана. Это я тебе говорю! – он повернулся к Панасу. – Розумиешь, как они и с вас, селян, драли пять шкур?

– С меня жида шкуры не драли, хватало угорского барона.

– Все равно. Если бы не было барона, был бы жид, и эта тварюка тебя бы кнутом погоняла. Ну, ладно, Бог с ним... – махнул он рукой на Панаса, обращаясь к остальным: – Его не проймешь, только о своей хате думает. Жида в городах проходу на дадут. Все торговцы и ростовщики – жида. У себя в Галиции мы их поприжали, а здесь им полная свобода. А все потому, что большевики – тоже жида и жидовский элемент. С ними надо бороться беспощадно, как мы у себя.

– Да, – продолжил его мысль Лаврюк. – Рассказывают хлопцы, когда они отступали из Киева, так подольские жида по ним стреляли, даже с пулеметов. Было так, Панас?

– Было, но без пулеметов. Это война, всегда кто-то стреляет.

– Но не украинцы стреляли, – продолжал гнуть свою линию Гетьманец. – А именно жида нам треба – отомстить за пролитую украинскую кровь.

– Но вас же тогда не было, когда мы отступали, за что вы им будете мстить? Из Киева нас выгнали не кацапы и жи-ды! – ответил Панас. – А наши же украинцы. Одни кацапы не справились бы с нами.

– Так це не те украинцы! – взвился Гетьманец. – Це зрусификований український елемент. Я таких в школе учив, колы работал воспитателем. Приходилось долго перероблять ихни дурны головы. И переробляли, хоч и стоило це великих трудов! Заставляли учить историю до тех пор, пока не расскажут по писаному в учебнику, правильно выговаривая все слова А кто сопротивлялся, особенно малят, ставил я в угол, – дам ему книгу в руки, и чтобы он так с поднятыми руками стоял. Мало книг – еще подложу. Долго не могли так выстоять, – книги выпадают, я за это их линейкой... плачут, а потом наизусть рассказывают, шо я им говорил и шо в книгах написано. Так шо знай – украинец украинцу рознь! Ты ж наш, галицийский украинец, а таки балачки ведешь, як другой украинец. Повлияло на тебя сильно, что был в русском плену... ох, как повлияли на тебя москали, Панасе! Но ничего, будешь с нами, почувешь нашу самоосвидомленность – и станешь истинным украинцем. Настоящий украинец непобедим и страшен для врагов!

Панас у которого шумело в голове от выпитого, отрицательно покачал головой:

– Меня уже Бог наказал, за подлость к другим. Он и вас накажет.

– Бог, он один, – вмешался в разговор Шпырив. – А веры-то разные. У нас униатская – европейская, у них православная – азиатская...

– Слухай, що юнак глаголет, – произнес заметно охмелевший Лаврюк, обращаясь к Панасу. – Вин прав. Я разных в Европе вер насмотрелся, но наша вера лучшая – она никогда не подчинилась москалям.

– Нехай, шо она лучшая. Но люди одинаковы везде, – упрямо не соглашался Панас.

– Да шо с ним зараз балакать! – сказал Гетьманец. – Пидемо по жидве и побачим, у кого вера лучше, кто прав и непобедимей, – он широко раскинул руки в предчувствии удовольствия и сладко потянулся.

В это время в шинок зашли два гайдамака в синих жупанах. Увидев их, один гайдамак удивленно сказал:

– Лаврюк, а шо ты здесь до сих пор сидишь? Хлопцы уже давно занимаются реквизициями.

– Тарасе, – ответил Лаврюк, – як выпустили вас с казармы?

– А нихто нас не запирал, ворота открыты – кто захотел, тот и ушел. Сейчас они на Подоле. Вот идет потеха!

Лаврюк и его товарищи поняли, что зря им пришлось лезть через дыру в заборе, чтобы тайком выбраться из монастыря. Никто не следил за ними. Между тем, Тарас вытащил из бокового кармана жупана горсть ассигнаций:

– Вишь? Реквизировали у жидив.

Заметив завистливые взгляды компании, он полез в другой карман и вынул часы, а вместе с ним цепочки желтого и белого цвета:

– Годинник. Золотой! Зараз хлопцы такой порядок наводят среди жидив, що жах. Поспишайте, а то вам мало чого достанется.

И Тарас, бросив на стойку прилавка кучу грязных бумажек, приказал официанту:

– Самое крашее. Чи коньяку, чи шнапсу.

Лаврюк заторопился:

– Действительно пора. А то весь момент пропьем, а нового може не буты.

Они вышли. Вечерело. На ярко-голубом весеннем небе заходило за горизонт красное солнце, золотя кресты на куполах Андреевского собора. Шпырив, зажмурившись от яркого после подвальной темноты шинка света, глядя на святого Андрея, произнес:

– А красиво...

– Шо? – вмешался Гетьманец. – Так це православная церковь. Тьфу! – и он плюнул в сторону собора. – Воны не могут быть красивыми.

Шпырив, увидев возмущенное лицо своего старшего и более умного товарища, немедленно переменился:

– Фу, гидота москальская!

Он сдернул с плеча винтовку, с колена прицелился в сторону Андреевского собора и выстрелил.

– Що ты робишь? – накинулся на него Лаврюк.

– Хочу сбить хрест на куполе, – ответил Шпырив, досылая новый патрон в патронник.

– Закинчуй, – Лаврюк грязной рукой, взявшись за цевье приподнял винтовку. – Отсюда не попадешь. Пустое дило. Краще завтра пидемо и обоссым всю церкву.

Вмешался Гетьманец:

– Пишлы, бо нам ничего не достанетя. А ты, Сеникобыла, идешь с нами?

– Ни. Я лучше пиду в свой монастырь.

– Як знаешь, – ответил Лаврюк. – Но твоей доли не будет, не рассчитывай.

– Нехай.

Панас, повернувшись, зашагал вверх по крутому откосу в гору, где золотились маковки праведного Андрея. Он шел по узкой улочке, где вряд ли могли разъехаться два конных экипажа. Уже перед самым выходом с подъема его окликнула стоявшая в проеме открытой калитки баба лет под сорок:

– Ты что, солдатик, заблудился, или хочешь приبلудиться?

Панас остановился и молча посмотрел на нее. Ее веселый, расхлябанный голос не соответствовал просящему выражению лица. Видимо, женщине необходимо было заработать деньги для себя, для детей. Панас взглянул на Подол, на мелкие постройки одно-двухэтажных домов, тающих в сумерках. От черных по-весеннему вод Днепра медленно напозал

грязно-голубой туман. Света в домах не было видно. Подол ждал очередного нашествия...

Панас медленно отвел глаза от Подола, обреченного сегодня на насилие и, не здороваясь, спросил женщину:

– Горилка е? Продашь?

– Е, е! – по-украински, радостно подхватила женщина. – Заходи, солдатик.

Вздыхнув, Панас вошел в темноту низенького коридорчика. Этой женщине нужны были деньги, и он ей их даст.

Лаврюк, Гетьманец, Шпырив после ухода Панаса поспешили вглубь Подола. Гетьманец по дороге ругался на Панаса:

– Ще украинец называется! Ни якої национальной гордості! Попал бы ко мне в школу, я б с него быстро зробив, що нужно...

Его возмущение прервала группа вывалившихся из дома гайдамаков. Они весело смеялись. У каждого за плечами свисали большие узлы с вещами:

– Братчики, сюда не заходите, мы все подчистили.

Лаврюк недовольно заворчал на Гетьманца и Шпырива:

– Надо было сидеть в кабаке! Все без нас разберут...

Они подошли к одноэтажному домику, и Лаврюк сказал:

– Кажись, ще здесь нихто не був, – и он задубасил в окрашенную дверь, но никто оттуда не откликнулся. – Точно, сюда ще наши не заходили. Сами жида не откроют. Хлопцы, вместе навалимся на дверь!

Но дверь не поддавалась, а внутри было тихо.

– Ах, так! – разозлился Лаврюк.

Он сдернул с плеча Шпырива винтовку, подошел к окну и прикладом выбил стекло, потом своими ручищами вырвал раму.

– Лезь! – приказал он Шпыриву.

– Чому я? – плаксиво возразил Шпырив.

– Лезь! Не бойся. Я прикрою.

Он подтолкнул его к окну. Опьяневший Шпырив пытался сопротивляться, но, подталкиваемый Лаврюком и Гетьманцем, влез в окно и оказался в комнате. Там зажегся свет керосиновой лампы, и от такой неожиданности Шпырив испуганно упал на пол. Дрожащий старческий голос картаво прошепелявил:

– Здесь нет евреев.

Сверху на Шпырива коваными подковами сапог приземлился Лаврюк. Выругавшись на Шпырива за то, что он трусливо бросился на пол при виде старика, и выхватил у того лампу.

– Ни, здесь е жиды. Нюхом чую.

– Помогите мне влезть! – кричал за окном Гетьманец. –

Подайте руку!

Шпырив помог бывшему школьному воспитателю, которому было за сорок – не возраст лазить в окна – оказаться в комнате. Лаврюк допрашивал старика:

– Так кажешь, шо нет евреев? А ну, веди нас по другим комнатам!

– Здесь никого нет, – каратво лепетал перепуганный старик.

– Брешешь! – и Лаврюк, размахнувшись, ударил кулаком старика-еврея в лицо, и тот, свалившись в угол, затих. – Зараз найдем других.

И Лаврюк с наганом в одной руке и лампой – в другой, выбив плечом комнатную дверь, ворвался в другую комнату, но там никого не было, и он, не снижая скорости, вломился в следующую комнату. В комнате, дополнительно затемненной плотными шторами, неярко горела керосинка, и перед гайдамаками предстали две женщины. Одной было лет сорок, вторая совсем старуха. Лаврюк, округлив свои и без того жабы глаза, безумным голосом заорал на них:

– Де хозяин!? Де? Это он стрелял в наших? Де вин!?

Женщины от испуга не могли вымолвить ни слова, взгляд страшных глаз Лаврюка их парализовал.

– А жидовки, типичные, – с внутренним удовольствием отметил Гетьманец. – Все. Вам конец, – и вдруг без всякого перехода свирепо заорал, как и Лаврюк: – Де гроши?! Золото? Срибло?! Де?!

– Нет у нас золота, панове, – испуганно ответила, что помоложе.

– Найдем, тогда всех уьем за обман! Хозяин, небось, смылся. Боягуз! Побоялся с нами встретиться, – Лаврюк, поняв, что в доме одни женщины, не считая старика, засунул наган в карман и подошел к комоду. – Несите свет.

Он выдвинул ящик комода и стал выбрасывать оттуда белье. Отдельные вещи он откладывал в сторону. В это время Гетьманец ласково выговаривал женщинам.

– Давайте по-доброму. Найдем – хуже будет... – увидев на пальце женщины обручальное кольцо, он сказал: – А це що? Золото. А ну-ка, жидовочка, сымай его.

Женщина стала торопливо сдергивать кольцо с руки. Лаврюк, недовольный осмотром комода, пошел в другую комнату и приступил к осмотру платяного шкафа. Выкинув на руки Шпырива шубы, он сказал:

– Визьмемо, – вдруг вздрогнул и выхватил наган: – Хто там?

Раздался плач, и Лаврюк грязно-жирной рукой вытащил за волосы девочку лет тринадцати-четырнадцати. Повернув ее лицо к свету лампы, он произнес:

– Кобита. А як перелякала.

Иссиня-черные глаза девочки были наполнены ужасом при виде дурно воняющего, давно не мывшегося стрельца. И вдруг от испуга она завизжала, и этот визг закончился криком:

– Мама! Мама!!!

– Заткнись!

Но уже из коридора бежала женщина, опередившая опешившего Гетьманца.

– Сара! Дочка моя!

Она с яростью бросилась на Лаврюка, стараясь своими

пальцами попасть в его круглые глаза, но тот, спокойно развернувшись, ударил ее кулаком в лицо, и женщина, ударившись головой об стену, сползла по ней вниз и, застонав, застыла. В комнату вбежал Гетьманец:

– У, сука! Я и глазом не успел моргнуть, как она рванула...

Он со злостью пнул носком сапога лежавшую без движения женщину.

– Унести ее, – приказал Лаврюк. – Да за ноги и быстрей.

Он опустил свою грязную руку в синие шаровары и принялся мять свой член. Девочка с испугом смотрела на страшные, еще неизвестные ей приготовления Лаврюка. Сзади Лаврюка возникла тщедушная фигура старухи:

– Пан, не трожьте девочку, я дам золото и серебро, – дрожащим трескучим голосом проговорила она. – Я все отдам.

Лаврюк, поняв, о чем идет речь, обернулся к Гетьманцу:

– Иди и возьми у старухи золото и деньги. А будет сопротивляться – зажми ее пальцы в дверях.

– Только не трогайте девочку? – умоляла старуха, уводимая Гетьманцем в другую комнату. – Не трогайте, будьте людьми?

Гетьманец сразу же стал добрым:

– Не бойся, старая, все буде гарно. Показуй, де гроши?

Лаврюк закрыл двери, приказав оторопевшему от всего происходящего Шпыриву:

– Стий тут и никого не пускай.

Он подошел к девочке, снова запустил руку в шаровары и

похотливо-грубо зашептал:

– Роздягайся.

Но та не понимала, что от нее хочет пьяный, давно не мытый сичевик, и снова в ужасе закричала:

– Мама!

Лаврюк со всего маху ударил ее ладонью прямо в открытый рот. Кровь брызнула на стену и, будто захлебнувшись собственной кровью, девочка замолчала. Лаврюк, удерживая ее одной рукой, чтобы не упала, задрал длинную черную юбку и обмотал ею голову. Сальными руками сорвал с нее белые трусы, бросил девочку на пол и жадным ненасытным телом навалился на нее. Раздался резкий девичий крик, пронизанный открытой живой болью человека за невозвратно потерянное, и все затихло. Лаврюк тяжело и хрипло дышал, и звериные рыки вырывались из его горла. Приоткрыв дверь, жадными глазами следил за этим зрелищем Шпырив. Подбежал Гетьманец:

– Де Лаврюк?

Шпырив показал глазами в комнату. Гетьманец, не выразив удивления, приоткрыл шире дверь, зашел, переступив через Лаврюка, лежащего на девичьем теле, и стал выбрасывать вещи из платяного шкафа Шпыриву.

– Скручивай в узел, – распорядился он Шпыриву. – Бабка отдала гроши, а услышала крик – и отказывается давать драгоценности. Как Лаврюк закинчит, хай идет ко мне.

И он убежал. Мать девушки тихо застонала:

– Сара... Деточка...

Шпырив, напуганный стоном, ударил ее прикладом по голове, и женщина замолкла. Вышел Лаврюк. Его голубые шаровары были в крови. Он недовольно посмотрел на свои руки, вымазанные девичьей кровью, и начал вытирать их о шаровары.

– Будешь? – кивнул он в сторону комнаты, где была девочка и, увидев утвердительный кивок Шпырива, добавил: – Тильки швыдче.

Шпырив, прислонив винтовку к стенке, лег на бесчувственное девичье тело. В другой комнате Гетьманец, приставив наган в виску старой еврейки, уже в который раз повторял:

– Де золото? Де?! Отвечай, бо застрелю, як жидовську собаку.

Но старушка словно не слышала его, слезы лились из ее бесцветных глаз, и она шептала:

– Сара... зачем вы это сделали? Я ж обещала вам деньги!

– Де вони? – кричал Гетьманец и тыкал револьвером в ее беззубый рот.

Лаврюк, помягчевший после полученного удовольствия, произнес:

– Брось ее, сами пошукаем. Ты пидешь к молодухе?

Гетьманец, как бывший учитель и воспитатель, снисходительно ослабил:

– Ни. Це справа для вас, молоди, а я ж для цього вже ста-

рый. Давай разом пошукаем драгоценности.

К они стали выворачивать все ящики, шкапы, банки...

– Найшов! – вдруг жадно зашептал Гетьманец. – Побачь?

В его руках была раскрытая металлическая шкатулка, где лежали несколько серебряных колец, броши и бусы. Лаврюк высыпал все на свою широкую, пропитанную кровью ладонь.

– Це не то. Но уж что-то. Поищем еще.

Из другой комнаты вышла старуха и, протягивая вперед руки, повторяла:

– Сара, Сара...

Гетьманец от неожиданности подскочил на месте, злобно сверкнул на старуху испуганными глазами и ударил ее рукояткой револьвера по голове. Та беззвучно упала.

– Помешала бы, – пробормотал он. – Давай все обшарим?

В комнату вошел Шпырив. В его окровавленной руке была винтовка. Гетьманец уставится на него, словно что-то вспоминая, и спросил:

– Ты все? Швидко обыскувай ту комнату. Нет! Пидем туда разом.

На полу комнаты лежало неподвижное тело Сары. При свете фонаря была видна растекшаяся темная кровь на полу, обнаженные ноги и живот отражались кровавым рубиновым цветом. Но Гетьманца это не интересовало. Он стал рыться в шкафу, выбрасывая из него оставшиеся вещи.

– Це заберемо. И це. Це. Все заберемо. Продадим. Жене отошлю, – говорил он Шпыриву, мысленно предназначая все

это для себя самого.

Денег и драгоценностей больше не нашли. Видимо, эта еврейская семья была не богатой, как бы им хотелось, а может, все ценное упрятали надежно. Связав три тюка, они направились было к выходу. Но много вещей не вместились в их узлы, лежали кучей в комнате.

– Стий! – остановился Гетьманец. – Вдруг сюда еще кто-то придет и заберет, что мы нашли, но не взяли. Они ж тоже наши. Нехай бильше никому на достанется!

Он схватил керосиновую лампу и бросил ее на пол. Стекло разбилось, и керосин, сразу же хватаясь огоньками, заскакал по полу комнаты. Все женщины и старик лежали без сознания, изредка тихо постанывая.

– Правильно, – одобрил действия Гетьманца Лаврюк. – Без следов уйдемо. Швидче!

И они быстрыми шагами, почти бегом, через окно вывалились на улицу.

Ночью Панас вышел из дома новой знакомой – вдохнуть свежего воздуха. Внизу серебристой чернью нес свои весенние воды мощный Днепр. Он перевел глаза на Подол. Там горели дома. И вдруг он ощутил своей шкурой и душой многотысячный нечеловеческий стон. Он исходил от Подола и заполнял его больную душу. Широко открыв глаза, он с ужасом вбирал в себя стонущую боль. Она все больше разрасталась и перешла в безнадежный крик. А потом раздался отчаянный от собственного бессилия вопль, и как Божьи слезы

– заморосил холодный весенний дождь. Лунная дорожка на Днепре стыдливо погасла, и на город нашли тучи. Соленый слезный дождь усиливался, и вопль превратился в покорные стенания. Это плакал от отчаянности своего бессилия древний Подол. Панас перекрестился и со страхом побежал обратно в дом.

Немцы деловито обживали Киев. Группы солдат-связистов прокладывали телефонную и телеграфную связь. Через неделю весь Киев был опутан проводами, как паутиной. Другие группы солдат рядом с русскими указателями названий улиц прибавляли свои, на немецком языке. Особые стрелки указывали, как и куда пройти, и на многих из них было написано, сколько минут для этого потребуется. Через несколько дней появились в продаже прекрасные, в цвете, карты-планы Киева на немецком языке. Серое здание на Думской площади, – бывшего киевского дворянства, – было переоборудовано в германскую комендатуру. Каждое утро у входа в комендатуру вывешивалось сообщение о положении на фронтах, за подписью генерала Людендорфа. Многонациональная интеллигенция Киева наконец-то смогла вздохнуть свободно. С приходом немцев восстановилась информационная связь не только с Европой, но и с миром. Открылись книжные магазины, где вместо надоевших, заплонивших столицу брошюр об истории Украины, ее символике, значении державы для всего мира, национальном самосознании, появились европейские и русские книжные новинки. Постоянно в продаже были свежие берлинские и венские газеты. И интеллигентный люд с наслаждением рылся в этом интеллектуальном хламе.

Как по мановению волшебной палочки, без всяких распоряжений, на рынках и магазинах Киева появились всевозможные продукты. Регулирование продовольственного рынка закончилось. Изголодавшиеся на своей родине немцы толпами висели над витринами магазинов и прилавками рынков, где было все: жареные поросята, гуси, утки, куры, сыр, масло, различные сладости. Все это можно было купить в свежем виде, без карточек и сравнительно дешево. Немцы особенно охотно покупали сало, с прорезью мяса или без него, и с жадностью поедали его. Видимо, велика была потребность организма в жирах, от недостатка которого они страдали в годы войны.

Солдатам было вменено в обязанность дважды в месяц высылать посылки с продовольствием домой, в Германию, вначале весом до двадцати фунтов, а позже ежемесячно – два пуда муки и тридцать фунтов других продуктов. Со своей чисто педантично-деловитой хваткой немцы открыли специальный магазин, в котором продавались деревянные ящички подходящего размера и формы, куда упаковывалась отправляемая на родину посылка. Так проходило видимое всем ограбление Украины.

Но цены для киевлян были все-таки высокими, и не каждый мог купить в нужном количестве это изобилие продуктов, прокормить семью, поддержать свои силы.

Когда любопытные киевляне спрашивали немцев, с какой целью они пришли сюда, что им здесь, в чужой стране, нуж-

но, зачем вмешиваются в наши славянские дела, немецкие солдаты и офицеры заученно отвечали: «Wir werden Ordnung schaffen» – «Мы будем поддерживать порядок».

А в украинских газетах деятели Центральной рады массово писали душещипательные статьи для народа, где немцев называли не только союзниками и друзьями по совместной борьбе с большевиками, но и братьями по крови. Оба народа ариане – арийской расы. И призывали они свой народ относиться к оккупантам, как к друзьям, и не видеть в них врагов, и помогать им всеми силами, чтобы как можно быстрее изгнать с этой земли московское войско. Но народ почему-то не хотел признавать «радовских братьев по крови» своими братьями. Сильный дядя пригрел безродного племянника, чтобы обобрать его до нитки и пустить по миру.

Грушевский спешил на заседание рады. Многие его не удовлетворяло в работе нового правительства. Немцы висели над всей Украиной, как дамоклов меч... но прежде всего, – и он с испугом понимал это, – над ним. Хотя немцы должны были согласовывать все свои действия, согласно Брестского мира, с правительством Украины – этого немцами не делалось. Он был готов иногда впасть в отчаяние от того, что когда-нибудь, – а возможно и скоро, его политическая деятельность прекратится, и вместо первой фигуры государства он снова станет рядовым профессором. Это угнетало его, но, находясь в таком придавленном состоянии, он продолжал работать, стараясь хоть на небольшое время от-

тянуть свое падение.

Грушевский уже продолжительное время размышлял – правильно ли он поступил, согласившись на подписание Брестского мира? Он вспоминал свои встречи с представителями Антанты – Багге и Табуи. Они первыми из великих держав признали самостоятельную Украину и рассчитывали на нее в войне против Германии. Он клялся им, что будет верен союзническому долгу и будет держать Восточный фронт. А теперь выходит, что он предал союзников и пошел на соглашение с врагами Антанты. А если ситуация изменится? Как будут относиться западные государства к Украине? А к нему конкретно? Что может быть с ним? «Им я не нужен, Германии – тоже. Останется идти на поклон к Московии?» – от этой ужасной мысли его прорирала дрожь. Но такие страны, как Англия и Франция, не простят предательства и в далекой перспективе. Единственное, что его утешало – Украину удалось оторвать от России. Лучше быть в зависимости от далекого соседа, чем близкого. Воспоминание о России и большевиках вызывали у него прилив желчной злости. Надо сделать все возможное, чтобы отдалить Украину от Московии, и делать это всеми силами и как можно быстрее. И он приходил к неутешительному выводу – Украина всегда должна иметь своего хозяина на Западе, иначе ей не противостоять российскому влиянию. И это будет вечной перспективой для Украины. Тогда о какой самостийности Украины можно говорить? Всегда будет марионеткой западных дер-

жав.

Грушевский подъехал к Педагогическому музею, который продолжал оставаться штабом Центральной рады. В кабинете расчесал свою холеную бороду, привел костюм в порядок и пошел на заседание. В зале заседаний еще никого не было, он пришел первым, хотя было время начинать работу. Все-таки безобразно относятся его соратники к великому делу возрождения Украины!

Следом за ним вошли двое немецких офицеров, поздоровались с Грушевским и, вынув тетради для записей, уселись за дальним столом. Грушевский сел за председательский стол, начал читать и править тексты документов, которые должны были рассматриваться на сегодняшнем заседании. Постепенно в зал стали заходить члены рады и кабинета министров. Где-то минут через двадцать после своего прихода Грушевский поднял глаза от стола, поздоровался с присутствующими и укоризненно начал:

– Панове! Вот видите, я сегодня снова первым пришел на заседание. После нашего возвращения в столицу еще ни одного заседания не прошло в полном присутствии членов правительства и рады. У нас еще никогда не было кворума. Конечно, есть объективные причины отсутствия – кто-то находится на фронте, в командировке... – он сделал паузу. – У меня есть предложение. Чтобы решения, принимаемые нами, были правомочными, давайте впредь считать так – если присутствует одна треть всех членов, то значит, что кворум

есть. Какие у вас будут по этому поводу предложения?

Присутствующие одобрительно зашумели в знак одобрения такого мудрого решения, но никто не стремился выступить. Тогда Грушевский произнес:

– Голосуем? Это предложение принимается.

Грушевский заглянул в бумаги, лежащие на столе:

– У нас в повестке дня достаточно большое количество вопросов. Перейдем к их рассмотрению и обсуждению. Первый блок вопросов – экономический. Надо принять решение по закону о социализации земли. Будь ласка, пан Ковалевский.

Ныне Ковалевский был министром земледелия, но месяц назад он занимал должность министра продовольствия. С кадрами было плохо, приходилось тасовать замусоленную колоду министров, назначая их на новые должности. Новых, тем более ярких личностей, не было. Министр стал излагать суть вопроса:

– Закон о социализации земли мы разрабатываем почти четыре месяца, – с перерывами, по известным вам причинам, – он стал перечислять основные пункты закона и закончил: – Нам потребуется еще месяца полтора-два, чтобы в окончательном виде предоставить все для обсуждения правительству.

Вопросов не задавали, потому что плохо слушали выступающего и глубоко не понимали сути дела. Зато немцы записывали в свои тетради все, что говорилось на заседании.

Грушевский подвел итог:

– С законом надо поторопиться, – скоро весна, и аграрный вопрос к этому времени должен быть решен. Интерпелляции не должно быть. И еще, насколько знаю, этот закон включает в себя многие пункты большевистского декрета о земле. Подготовьте его таким образом, чтобы в нем было меньше российского, а больше нашего местного, национального. Когда он будет готов, срочно представьте его для принятия в целом.

На этом закончилось обсуждение закона о социализации земли. Но в обсуждениях мало кто хотел принимать участие – Грушевский давил их своим авторитетом. Непонятное слово «интерпелляция», постоянно употребляемое Грушевским, повергало министров в шок – такого слова в словарях не было, и в каком смысле употреблял его Грушевский, они не знали. Но никто после употребления им этого слова с ним не спорил.

– Второй вопрос, – Грушевский посмотрел в бумаги, – о продовольствии. А где министр продовольствия?

Председатель совета министров Голубович, бледный и худощавый мужчина, ответил:

– Он сегодня утром срочно уехал по просьба немецкого командования в Пирятин, для осмотра военных складов и передачи продовольствия союзнику.

Грушевский досадливо поморщился:

– Надо было предупредить об этом заранее. Вопрос очень

важный. Наши союзники настаивают на быстрейшем заключении продовольственных договоров. Сумма общего количества продовольствия, отправляемого в Германию, уже названа. Теперь надо решить вопрос об источниках продовольствия, – где и каким образом его взять. Обстоятельства требуют скорейшего выполнения продовольственных обязательств перед Германией и Австро-Венгрией, так как их солдаты проливают кровь на украинской земле. И здесь не может быть никаких интерpellаций, – он пожевал бледными губами. – Надо учитывать и тот факт, что западная часть Украины много веков находилась в составе Австро-Венгрии, и у нас с этим государством длительные связи. Я долгое время жил во Львове, и считаю Австро-Венгрию образцом устройства многонационального государства, в отличие от России. Мы имели в Галиции хоть некоторую автономию, а украинцы в России этого не имели. Наша галицийская молодежь с воодушевлением пошла служить в австрийскую армию, чтобы нанести поражение московской империи и тем самым освободить всех украинцев от москальского ига. Галиции сейчас тоже необходимо продовольствие, – он помолчал и тусклым голосом продолжал: – Поэтому давайте самым серьезным образом подойдем к вопросу обеспечения союзников продовольствием. Отбросим лжепатриотические чувства, будто бы Украина отдана на разграбление, и заменим их чувством долга перед нашими освободителями. Не надо испытывать терпение наших друзей, проливающих кровь на

нашей земле в борьбе против наших главных врагов – московских большевиков, и давайте ускорим подготовку продовольственных договоров – что мы дадим союзникам, определим конкретные сроки и другие, связанные с этим, вопросы. Пока союзники удовлетворяются тем, что осталось в продовольственных складах бывших российских фронтов, но мы должны развернуть работу в деревне, чтобы крестьяне сознательно сдавали хлеб нашим друзьям, не считали их оккупантами. Тем более союзники поставят на товарообмен инвентарь, мануфактуру и другие вещи, нужные селу, и мы возместим селянам то, что они дадут нам сейчас.

Грушевский посмотрел в сторону немцев-соглядатаев, молчаливо сидевших за дальним столом и аккуратно записывающих выступления. Все члены рады, вслед за Грушевским, как по команде повернули головы в сторону немцев, чтобы увидеть, какое впечатление произвели на них слова головы рады. Но немцы были невозмутимы, и только у одного скользнуло по губам некое подобие улыбки. Члены рады заметили это, и вздох облегчения вырвался из их груди – союзники довольны. Грушевский подвел окончательную черту под рассмотрением этого вопроса:

– Вернется министр продовольствия, и мы попросим его ускорить подготовку продовольственных соглашений. Мы должны быть верны взятым на себя обязательствам. Этими соглашениями проверяется честность нашего правительства.

Он снова углубился в изучение бумаг на столе, и после затянувшейся паузы произнес:

– А теперь надо обсудить блок военных проблем. Первая – о Черноморском флоте. Как я понимаю, вопрос злободневный, и надо при его обсуждении отбросить все интерпелляции. Военный министр – докладывайте!

Жуковский выскочил из-за стола, словно пружина и, блестя живыми глазами, стал уверенным голосом доказывать жизненную необходимость для державы иметь свой собственный флот. Так как сейчас Россия оказалась отрезанной от Черного моря новым независимым государством, а на Дону и Кубани контролируют положение силы враждебные большевикам, то последние не имеют выхода к морю, а это значит, что «Украина является наследницей того флота, и должна с помощью союзников сделать Черное море своим – внутренним, украинским». В результате, Украина станет «великою морскою державою». Жуковский посетовал на то, что флотские комитеты не признают рады, но многие офицеры готовы присягнуть нам на верность, чтобы бороться с большевиками. Потом остановился на организационных вопросах переподчинения флота.

Жуковский закончил, и его хитрый взгляд выражал удовлетворение тем, что ему приходится сейчас лично самому решать такие серьезные проблемы международных отношений. Последовали вопросы, касающиеся, главным образом, ситуации с комплектованием экипажей кораблей украинца-

ми, преданными идее самостоятельности, верности нынешнего командования флота раде, внедрению национальной символики, финансовой возможности содержания огромного числа кораблей и другие вопросы. Все заметно оживилось при обсуждении этого вопроса. Жуковский, бегая глазами с одного лица на другое, как старый морской волк, не умеющий лгать, ответил на все их вопросы. Он даже показал новый военно-морской флаг – жовто-блакитный, с трезубцем и небольшим золотым якорем в верхнем углу. Этот флаг заменял Андреевский флаг. Показ морской атрибутики вызвал еще большее оживление у присутствующих. Но на вопросы финансирования и о будущих действиях флота военный министр не смог дать ответа. Тогда Грушевский пояснил:

– С финансированием Черноморского флота... проблема сложная. Сами мы его содержать не сможем. Но нам в этом помогут морские державы – Германия и Австро-Венгрия. Будет совместное командование. Часть флота с командами мы отдадим им в аренду. И, возможно, вместе с турецким флотом наш флот выйдет в Средиземное море и поможет нашим союзникам очистить его от английских кораблей... – он пожевал губами, видимо, собираясь с дальнейшими мыслями, и неуверенно закончил: – Эти военно-морские действия могут коренным образом переменить ход военных действий... – но окончательный вывод так и не сделал.

Члены кабинета ошарашенно молчали, слушая высказывания своего головы. Они не знали до сих пор этого важного

внешнеполитического аспекта договоренности, но возразить никто не посмел. Каждый чувствовал, что эта перспектива страшная – воевать на море против англичан?! Но Грушевский вел себя так, что будто вопрос решен, и никаких проблем здесь нет.

– Следующий вопрос выносится такой... – Грушевский заглянул в бумаги. – О новой форме для гайдамацкого войска. Главнокомандующего Петлюры на заседании нет. Он руководит боевыми операциями наших доблестных войск на фронте, так я за него скажу несколько слов. Предполагается совершенно новое обмундирование, исходя из наших козацких исторических традиций. Жупан – желтого цвета, ближе к защитному, шаровары – голубые, сапоги со шнуровкой на голенище, папаха с кистью до плеч с красным верхом.

– Почему с красным? – послышался вопрос. – Это большевистский цвет.

– Этот вопрос мы уже обсуждали два месяца назад, но не приняли решения, – ответил Грушевский. – Как объяснил мне Петлюра, красный цвет придает больше храбрости воину. И не надо его увязывать с большевиками. Раз существует такой цвет в природе, надо его использовать во славу нашего войска. Форму надо пошить к параду победы, который мы по традиции проведем на Софиевской площади. Интерpellяций по этому вопросу не должно быть.

Все поняли, что вопрос о папахах с красным верхом решен.

– Следующий блок вопросов... назовем внутренние... об украинском гражданстве. Слово имеет пан Шаповал.

Полный мужчина лет сорока с пышными усами, пенящимся морским прибоем аж до подбородка, непримиримым взглядом глаз из-под густых низких бровей – о таком взгляде в народе говорят «Смотрит, как корова из-под доски» – раскрыв толстую папку, начал говорить:

– Цей закон об украинском гражданстве мы уже обсуждали ранее, поэтому я остановлюсь только на тех моментах, по которым были серьезные замечания. Касательно статуса гражданства. Пункт седьмой теперь сформулирован так: «Подавать просьбы о приеме в гражданство республики могут лица, которые постоянно прожили три года на территории республики, никогда не были замечены во враждебных выступлениях против Украинской державы, были лояльного поведения и к тому же тесно связаны с ее территорией своим промыслом или занятием».

Шаповал перестал читать и оглядел присутствующих. Грушевский предложил перейти к обсуждению этого пункта, но так, как никто не захотел выступать, он прокомментировал этот пункт следующим образом:

– Я думаю, это наиважнейший пункт. Гражданами должны быть люди, которые не только разделяют наши взгляды, но и являются истинными патриотами. Этим параграфом мы отсечем антиукраинские элементы. Здесь интерpellяций быть не может.

Он замолчал, и Шаповал продолжил:

– Комиссией подготовлен текст присяги. Она начинается словами: «Перед истинным Богом я клянусь любить свою родину, не делать зла ее народу и правительству, выбранному им...» Я весь текст не зачитываю, вы с ним знакомы. Присяга дается индивидуально, под звуки гимна «Ще не вмерла Украина...», исполняемого оркестром, в торжественной обстановке.

Это разъяснение оживило зал. Послышался ехидный вопрос, произнесенный, впрочем, достаточно серьезно:

– А где найдется столько оркестров?

– Не обязательно оркестр, – пояснил Шаповал. – Это – оптимальный вариант. Но может быть и хор или группа энтузиастов, исполняющая гимн.

Вмешался Грушевский:

– Я думаю, к этому вопросу надо подойти творчески. Может быть, стоит принимать присягу на гражданство, как в армии – коллективно. На центральной площади города, сходах сел, при большом стечении народа, в праздничные и торжественные дни граждане произнесут слова присяги всем городом или селом. Это произведет большое впечатление на неосвидченных украинцев, и они последуют их примеру. Я думаю, что, наряду с индивидуальным принятием присяги, нужно проводить групповое принятие. Я надеюсь, что эффект будет сильным. Продумайте мое предложение.

Шаповал продолжал:

– Присягу принимает специальная комиссия, на уездном и губернском уровнях. В комиссии будут три представителя от прокуратуры, по одному от окружного суда и местного самоуправления. Головой комиссии назначается окружной судья, а где его нет – мировой судья. Это позволит не допустить в украинское гражданство не только врагов Украины, но также преступников, большевиков и другие различные антиукраинские элементы. Эти комиссии должны провести качественный отбор истинных граждан. Мы считаем, что такой режим принятия гражданства обеспечит чистоту нации и укрепит наше молодое государство. Думаю, что здесь не должно быть интерpellаций, – повторил Шаповал любимое слово председателя.

Вопросов к Шаповалу не было. Только у некоторых мелькала мысль – а выполним ли закон о гражданстве, побегут ли массово украинцы принимать это гражданство? И эти некоторые понимали, что это мертворожденный закон. Грушевский продолжил заседание:

– Я думаю, что с теми замечаниями, которые мы высказали сегодня... – он выразительно посмотрел на присутствующих, которые не заинтересовались этим важным законом, – этот документ, не побоюсь этого слова, чрезвычайной важности, должен быть сейчас же принят, и уже сегодня должно начаться претворение его в жизнь. Принимается, – скорее констатируя, чем спрашивая, заключил Грушевский.

– Следующий вопрос несколько связан с предыдущим и

должен служить укреплению государства. Я введу всех в курс дела. Как вы помните, до нашествия большевиков мы планировали созыв украинского Учредительного собрания. Теперь надо продолжить эту работу. Некоторые изменения произошли в вопросах представительства от губерний в связи с изменившейся политической обстановкой. По этому вопросу снова выступит пан Шаповал.

Шаповал исподлобья оглядел присутствующих, словно готовясь к бескомпромиссному бою, и, взяв в руки лист бумаги, стал читать:

– Предлагается такое представительство в будущем Учредительном собрании: от Киевской губернии – сорок пять депутатов, Волынской – тридцать шесть, Подольской – тридцать девять, Екатеринославской – тридцать шесть, Острогожского окружного округа – пятнадцать, Галиции – тридцать, остальные губернии от двадцати восьми до тридцати четырех мест. По нашему мнению, это наиболее разумное представительство, служащее укреплению нашей державы.

В зале пронесся легкий шумок и последовали осторожные вопросы:

– Но Галиция еще окончательно не присоединена к Украине. Австро-Венгрия не дает на это согласие.

– В Екатеринославской губернии населения больше, чем в Подольской и Волынской вместе взятых. Представительство неравноправно.

– Острогожск – территория России. Как бы не было кон-

фликта с москалями.

– Южным губерниям – Таврической, Херсонской – выделено недостаточно мест.

Шаповал молча записывал вопросы и, когда те прекратились, начал на них отвечать:

– Я специально не сделал большого выступления, ожидая от вас этих вопросов, а теперь разъясню. С Австро-Венгрией будут вестись переговоры о присоединении Галиции к Украине. Этот регион мы не можем оставить без представительства хотя бы потому, что там живут наиболее национально осведомленные украинцы, которые должны оказывать решающее влияние на остальную часть Украины. Посмотрите на наш кабинет, наших руководителей? – он повернул голову в сторону Грушевского. – Подавляющее большинство из нас – выходцы из Галиции или проживали там определенное время и получили огромный заряд национальной осведомленности. Без Галиции не может быть самостоятельной украинской державы. Поэтому мы посчитали нужным увеличить их представительство произвольно, не беря в расчет количество населения, проживающего там. Галиция – аккумулятор, дающий энергию нашей национальной борьбе. Что касается Екатеринославской губернии, – там действительно населения больше, чем в западных губерниях. Но это русифицированное городское население, и пророссийские тенденции велики. А Донбасс – осиное гнездо большевизма. Таврической губернии даем девять мест, но это только трем уездам

без Крыма. Крым, как российская территория, не получает ни одного места. Также меньшее представительство по этим же причинам получает юг. Учредительное собрание не должно раствориться в пророссийском море. Мы не можем допустить, чтобы судьбу нашей державы обсуждали русифицированные элементы, тем более какие-то донбасские хунгузы. Мы не боимся гражданской войны с ними и мы подчиним их своей идее. И в этом нам поможет непримиримый национальный дух. Что касается Острогжска, то позвольте мне пока на этот вопрос не отвечать, но депутатов от этого района необходимо иметь в будущем собрании.

Шаповал победно, исподлобья смотрел на членов кабинета, готовый к безальтернативным ответам. Но по лицам присутствующих было видно, что они спорить не намерены. Только оба немца, неизвестно из каких соображений, быстро и старательно записывали что-то в свои тетради. Грушевский, не по-суровому, а как-то по-отечески смотрел на своих молодых соратников, задавших столько вопросов по уже ранее решенному вопросу.

– Шановни панове! Я услышал незрелые разговоры. Начну с того, что нам нужно переименовать многие города и поселки. Вот возьмем Екатеринослав. Его основала не Екатерина, а наши запорожские козаки. И он должен называться Сичеслав. Одессу также заложили козаки. Есть какой-то городок – Новомосковск, и это оскорбительно для наших чувств...

– А возле Харькова есть села Бавария, Париж, Нью-Йорк... – раздался чей-то голос, но Грушевский не смог определить, кому он принадлежит.

Он покосился на немцев, которые внимательно все это слушали.

– То – поселения немцев-колонистов, передовой нации. И эти европейские названия приближают нашу державу к западному миру. В отношении Острогожска дам разъяснение. Мы этот регион, заселенный в основном украинцами, включили в состав основной территории. Наши союзники уже оккупировали этот район, и мы закрепимся в нем и отторгнем его от России. По этому поводу есть соглашение с союзниками, и считаю нужным довести его сейчас до всех. Мы не должны давать Московии спокойно жить, мы должны постоянно от них что-то требовать и обвинять их в чем-то... тоже постоянно. Давайте примем к сведению информацию об Учредительном собрании и представительстве в нем, а комиссия по его подготовке пусть продолжит работу в этом направлении.

Многим из сидящих закрадывалась в голову крамольная мысль. «Как это понять? Не успев встать на ноги, мы претендуем на чужие территории. Хорошо это или плохо?» И только немногие пришли к выводу, что плохо. Другие думали так – раз России плохо, значит – это, вообще, хорошо.

Перешли к следующему вопросу – международному. Суть его состояла в том, что Румыния, пойдя на соглашение с Гер-

манией, позволила ей оккупировать Бессарабию – российскую губернию, расположенную по Днестру. В зал пригласили бессарабскую делегацию, находящуюся уже несколько дней в Киеве и ведущую переговоры по этому вопросу. И сейчас глава делегации Новаковский излагал суть вопроса – русский и другие народы, проживающие здесь, хотят создать на своей территории Бессарабское государство, независимое от Румынии и Украины, с выводом оттуда немецких войск. Взаимоотношения с Россией оставались пока открытыми, – до окончательной стабилизации обстановки. В дальнейшем предполагалось включение Бессарабии в состав России. Эта перспектива вызвала недовольный шум в зале. У министров Центральной рады заблестели глаза в предвкушении расправы над бессарабцами. Они стали так громко высказывать с мест свое мнение, что Новаковского стало не слышно.

Немцы стали ускоренно записывать выступления в свои тетради. Новаковский пытался еще что-то объяснить, но его не слушали. Грушевский стал объяснять позицию Украины по этому вопросу, но было видно, что он это говорит для своего правительства, а не для бессарабцев.

– Все империи рано или поздно распадаются, и Россия – не исключение, – но, почувствовав что-то не то в своих словах и увидев насторожившиеся взгляды немцев, поправился: – Имеются ввиду азиатские. Цивилизованные, – как, например, Австро-Венгрия – вечны. Так вот, могу ответить господам бессарабцам, что на этой территории проживает

значительное количество украинцев, и они проживали там издревле, еще до прихода валахов, молдаван, гагаузов. У вас нет общих границ с Россией, и эта небольшая частичка бывшей империи должна войти в состав нового государства, – я имею ввиду Украину. Я понимаю, что у вас могут быть различные интерpellации по этому вопросу, но мы придерживаемся единой линии – Бессарабия должна быть включена в состав украинской державы, и мы ведем в этом направлении переговоры с нашими союзниками – Германией и Австро-Венгрией... и надеюсь, они закончатся положительным результатом. А теперь пусть выскажутся члены кабинета министров.

Грушевский величественно поднял руку, приглашая членов рады к дискуссии. Но дискуссии не получилось. Все поддержали точку зрения головы. А предварительный итог подвел премьер-министр Голубович, который терялся или просто не умел выступать перед публикой. Его анемичное лицо от волнения несколько заалело:

– Мое правительство не может признать Бессарабию... вот... там могилы наших предков, – он взглянул на Грушевского, будто ища помощи и, поймав одобрителный кивок его головы, заикаясь от волнения, продолжал: – Там же живут украинцы! Они всей душой желают присоединиться к своей родине... вот... мы не оставим их без поддержки. Нет! Это, значит, решение моего кабинета, – заключил он и, словно стыдясь своего невразумительного выступления, резко,

будто подломились ноги, сел.

Бессарабская делегация, видя, что ее предложение не нашло отклика в украинском правительстве, заметно потускнела, и тогда ее руководитель Новаковский обратился к председательствующему с просьбой еще раз прояснить свою позицию. Но Грушевский холодно ответил, что они заседают достаточно долго, а вопросов для обсуждения еще много, и позволил только высказать свое мнение по решению украинского правительства. Новаковский, еще не старый человек, с пронзительно белой сединой в черных волосах, покраснел от гнева, и его смуглое лицо еще более потемнело. Четко выговаривая по-русски слова, сдерживая этим себя, чтобы не сорваться, дрожащим, тихим голосом произнес:

– Вы стремитесь любой ценой попасть на страницы исторического учебника, не замечая народов, которые живут рядом с вами. Если бы не Брестский мир и не ввод на нашу территорию, – по вашему согласию, – немецких и австрийских войск, проблема нашей самостоятельности не встала бы. Ваши претензии насчет украинцев, проживающих по Днестру, смешны. Их всего пятнадцать процентов, русских намного больше. За украинским народом вы признаете национальные чувства и стремление к объединению, зачем же бессарабским народам отказывать в этом? Мы не претендуем на новороссийские и малороссийские земли. Мы говорим об исторических границах Бессарабии в рамках России. Почему же к большим народам, как к Германии, вы относитесь по-

добоэрастроно, а к малым – нет? Такое разлнчне отношений достоно хулиганов, панове...

Но Грушевский не дал ему договорить и, впервые за время сегоднашнего заседания, схватил колокольчик, и он непри- вычно чисто, для этой пропахшей политическими интрига- ми комнаты, серебристо зазвенел. И сразу же, как по коман- де, раздался неодобрительный шум сидящих министров, су- рово смотревших на бессарабцев, топорщивших кверху в ви- димом каждому неодобрении, усы. Грушевский понял, что ему необходимо сейчас перед всеми показать твердость сво- его духа и смелость. Другого такого момента может еще дол- го представиться. Он резким движением скинул свои оч- ки, зажав их в протянутой в сторону гостей руке, и гневно прокричал:

– Украина – это Украина! Это – держава! У нее великое будущее! А Бессарабия – ничто!

Раздались аплодисменты членов рады. Они по достоин- ству оценили мужественный политический выпад своего го- ловы. Делегация Бессарабии встала и покинула зал. Грушев- ский внутренне был доволен собой. Он проявил политиче- скую волю в такой щекотливой ситуации, он показал зеленой молодежи, – то есть министрам, – как надо отстаивать инте- ресы державы. Грушевский снова сел за стол, перебрал бу- мажки и нарочито усталым голосом, чтобы было видно всем, произнес:

– Осталось насколько небольших вопросов, и будем закан-

чивать сегодняшнее заседание. К нам поступает много жалоб об искажении украинского языка. Вот, как, например, переделана вывеска магазина на Софиевской площади. Раньше было «Продажа и подборка мховъ». Согласно нашего постановления все вывески должны быть на украинском языке. Владелец магазина исполнил наше распоряжение, и вот как переделал: «Продажа й подборка міховъ». Это безграмотность. Надо писать правильно, хотя бы так: «Продаж і вибір хутра». Министру просвещения и культуры предлагаю создать комиссию из грамотных лиц, чтобы она ходила по городу, указывала на ошибки, и они быстро исправлялись на украинский язык.

– Надо попросить немцев, чтобы их командование писало сводки и объявления на украинском языке. А то все на русском, – ответил министр просвещения.

– При встрече с командованием немцев я попрошу об этом, – ответил Грушевский. – Думаю, вопрос понятен, интерpellяций быть не может. Давайте бороться за чистоту нашего языка.

Немцы, наблюдавшие за заседанием, явно заскучали, отложили тетради в сторону и больше ничего не записывали. Один из них, дождавись паузы, подошел без спроса к Грушевскому и что-то прошептал ему на ухо. Потом сел на место. Грушевский некоторое время сидел молча, втупившись очками в стол, потом сказал:

– Сейчас мне напомнили, что ранее германское командо-

вание просило нас рассмотреть вопрос о запрещении празднования годовщины революции и отречение царя от престола. Есть опасения, что могут появиться антигерманские лозунги, листовки, призывы... я думаю – это разумная просьба наших союзников. Скоро мы установим дни своих национальных праздников. Какие есть мнения?

Ранее предполагаюсь широко отметить дату годовщины создания Центральной рады. Теперь все планы менялись. Но никто не возражал, и Грушевский продолжил:

– Тогда, министр внутренних дел, дайте соответствующие распоряжения и проследите за порядком в столице и в других городах, освобожденных от большевиков.

Он снова порылся в бумагах на столе:

– В связи с победной офензивой мы не смогли по-настоящему отметить день рождения и кончины нашего великого кобзаря – Тараса Шевченко. Необходимо, хоть и с опозданием, но широко развернуть шевченковские чтения, издать его книги, чтобы они были в каждой семье, открыть памятники. Для этих целей министерство финансов выделяет два миллиона карбованцев. Сами понимаете, это немного, но ради народа, чтобы до него донесся голос великого украинца, мы готовы пойти на такие расходы. Сегодня же начинаем эту работу.

Он пожевал бесцветными губами:

– Министерство финансов выделяет триста тысяч карбованцев на издание иллюстрированной книги по истории на-

шего флага, герба и другой символики. Почему – вы спросите – нужна эта книга? Я отвечу. В непросвещенных массах, в результате большевистской пропаганды, существует мнение, что это галицийский флаг, а не украинский, дарованный нам австрийским императором; трезубец – знак вражды и раздора и вообще, будто бы это – упрощенный герб. Привыкли к царскому двуглавному уроду-орлу, хочется видеть что-то более сложное. Надо провести такую линию, что наша символика имеет многовековые исторические корни и берет начало от киевских князей, а не недавно нами приобретенная и чуждая остальной Украине. Коллектив историков, знакомые мне люди, подготовили по моей просьбе книгу о родословной наших символов. На мой взгляд, аргументация исторических корней нашей символики получилась основательной. Ее надо внедрять в народ. Никто не возражает против таких расходов? Также у меня просьбы... заявления о выделении денег на открытие украинской библиотеки, театра, постановку пьесы, пошив национальных костюмов, смену табличек с названием улиц по-украински и еще много другого. Я думаю – пусть министерство финансов рассмотрит и удовлетворит такие запросы.

Один из немцев вышел из зала и через несколько минут вернулся. Не останавливаясь у своего места, он напрямую прошел к Грушевскому и что-то зашептал на ухо председателю. Было заметно, что Грушевский краснеет – первый признак недовольства. Немец пошел к своему столику. Грушев-

ский достал из-за борта пиджака часы:

– Панове! Я забыл вам сказать, что у меня сегодня назначена встреча с начальником штаба германских войск, генералом Гренером. Вот пунктуальный немецкий офицер мне об этом напомнил.

Грушевский поморщился и всем стало ясно, что их голова – уважаемый профессор – просто врет. Никакой договоренности ранее не было, немец передал телефонный приказ – немедленно прибыть в штаб оккупационных войск. Такие случаи срочного вызова были и раньше, но в отсутствии соратников по национальной борьбе. А в присутствии их такой срочный вызов был уже оскорблением его чести – главы украинской державы. Но он своим видом не показал признаков оскорбленности, только понял, что предстоит серьезный и нелицеприятный для него разговор с командованием немцев. Он торопливо объяснил, какие еще решения принимаются по другим вопросам. Но был щекотливый вопрос о выделении денег членам рады для обустройства квартир, приобретения необходимого гардероба, содержания семей. Грушевский знал, что большинство членов кабинета министров не женаты, но семейные деньги требовал каждый из них. Он предложил вот этим, каждым, выделить, кроме штатного пособия, дополнительно по сто тысяч карбованцев. Все были довольны, что вопрос о деньгах не обсуждался. Грушевский хотел было попрощаться, но Голубович попросил его задержаться на минутку.

– Пан голова! Всем известно, что из-за варварских бомбардировок большевиками города вы остались без крова, – он имел ввиду сгоревший шестиэтажный особняк Грушевского. – Правительство, за ваши огромные заслуги перед народом, желает вам подарить новый дом...

Грушевский засобирался еще быстрее. Сгоревший дом достался ему бесплатно, по наследству от отца, новый должны подарить от имени государства.

– Мне некогда, некогда обсуждать этот вопрос, – торопливо ответил он, внутренне довольный сообразительностью своего премьера.

В штабе главнокомандующего немецких войск Грушевского быстро провели к генералу Гренеру – начальнику штаба оккупационных войск на Украине. По-военному подтянутый адъютант открыл перед Грушевским дверь, и он вошел в кабинет генерала. В большом кабинете было сумрачно из-за плотных портьер, наполовину закрывающих окна, и Грушевскому пришлось некоторое время протирать свои очки и шурить глаза, пока они не привыкли к слабому освещению. Генерал Гренер – невысокий, склонный к полноте человек при виде председателя рады быстро встал, отдал ему честь, вскинув руку под козырек военной фуражки, которую он успел надеть при виде входящего Грушевского, вышел из-за стола и подал широкую руку для приветствия. Потом пригласил его сесть напротив себя, а сам сел на свое место. Разговор шел на немецком языке, который Грушевский хорошо знал – недаром он долгое время жил в Австро-Венгрии. За небольшим столиком у стены сидел еще один человек, в гражданском, и Гренер представил его:

– Герр председатель. Прошу вас познакомиться с известным в Германии публицистом – Колином Россом. Он побывал на всех фронтах, и его статьями и заметками зачитывается немецкий народ. Сейчас он готовит серию очерков по Украине. Если не будете возражать, герр председатель, то

разрешите ему присутствовать при нашем разговоре. Я надеюсь, что услышанные из уст украинского руководителя мнения и оценки помогут ему написать объективные – как и всегда – статьи о положении на востоке.

Гренер почему-то не произнес на Украине, а подчеркнул – на востоке. Но на это Грушевский не обратил внимания, ему льстило, что его видение обстановки услышит известный немецкий журналист и донесет его до немецких читателей, что, несомненно, прибавит ему популярности в Европе. Но Гренер промолчал о самом главном – Колин Росс уже полгода, с осени семнадцатого, служил в военном отделе министерства иностранных дел и снабжал немецкую дипломатию своими, отличающимися от информации военных, сведениями. За это его военные не любили, но и боялись одновременно – разрешали ему пользоваться служебными материалами, присутствовать на отдельных оперативных совещаниях, что не допускалось в отношении других журналистов.

Колин Росс – полнеющий мужчина средних лет, встал и с доброжелательной улыбкой подал руку Грушевскому:

– Я не помешаю вашей беседе с начальником штаба. Мне бы хотелось узнать из ваших уст о положении на Украине. Редко выпадает возможность присутствовать при таких встречах, в которых участвует сам глава государства. Понимая, что вы неимоверно заняты государственными делами, я не отниму у вас ни минуты драгоценного времени, посижу

в стороне и послушаю, а после, если разрешите, я задам вам несколько вопросов. Вы мне разрешите, герр председатель?

– Да-да, – поспешно согласился Грушевский. – Не только присутствуйте, но и включайтесь в наш разговор, задавайте вопросы. Я буду рад на них ответить.

Гренер повернулся на стуле к карте, которая находилась на стене за его спиной, раздвинул черные шторы, взял в руки указку и приготовился говорить. Его фигура сейчас выражала деловое отношение к беседе:

– Я вас проинформирую о положении на фронте. Вот, посмотрите – линия фронта, – он указкой с севера на юг стал проводить линию по карте. – Киев, Чернигов, сегодня наши передовые части вошли в Одессу.

– Как, неужели Одесса уже наша? – радостно всплеснул руками Грушевский. – Это так важно для Украины, так важно! Старинный запорожский город Гаджи-бей снова наш! Спасибо вам, герр генерал!

Росс при виде этой сцены что-то записал. Снисходительная улыбка тронула губы Гренера:

– Наступление успешно продолжается, – Гренер понял, что пора заканчивать военный обзор, потому что голова рады впал в радостно-созерцательное состояние от неожиданно свалившейся на него новой украинской победы, и уже неспособен воспринимать какую-то информацию. Но впереди предстоял серьезный разговор, который должен привести главу Украины в разумное чувство. – Нашим войскам потре-

буется еще месяца полтора, чтобы очистить Украину от противника.

– Большевиков, – поправил его Грушевский. – Московской армии. А раньше нельзя очистить от них Украину? – умоляюще спросил он.

Гренер снова едва заметно улыбнулся, удивляясь наивности гражданского профессора:

– Можно было бы. Но, к сожалению, от вашего правительства мы практически не получаем никакой помощи. Военная поддержка от вас мизерная. Гайдамацких частей едва хватает на то, чтобы дать возможность жителям освобожденных городов посмотреть на своих освободителей – и то на параде, потом мы их перебрасываем в другой освобожденный город для проведения очередного парада. А наши солдаты и офицеры вынуждены сами наводить необходимый для военного времени порядок. Ваши части показывают очень низкую военную выучку.

Грушевский понял, что период равноправной беседы закончился. Сейчас начнутся упреки в адрес украинского правительства, и ему их предстоит выслушивать. И он решил перехватить инициативу в разговоре.

– Уже на подходе части галицийских стрелцов, – заторопился он. – Австрийский император предоставил их нам для борьбы с большевизмом. Как только они пройдут переформирование, мы их сразу же отправим на фронт. Скоро они должны быть в Киеве.

Гренер снова снисходительно улыбнулся:

– Эти части уже переформированы, и мы направили их на харьковское направление. В Киев они не придут.

– Как!? Они должны принять присягу на верность Украине в столице! Меня что, военный министр дезинформировал?

– Нет. Это решение принято нами, но мы не успели уведомить об этом вас. Пусть галицийские стрельцы непосредственно сразятся с большевиками в их цитадели, увидят настоящую войну.

– Да, да. Нельзя, конечно, терять время в столь напряженный период... присягу примем у них позже. Вы правильно сделали.

Росс, внимательно слушая, делал записи в блокноте вечным пером. Гренер перешел к основному вопросу встречи:

– Герр председатель. Наши солдаты проливают кровь на фронте, немецкий народ в тылу старается сделать все возможное, чтобы одержала победу его армия. Он, – я имею в виду народ, – недоедает, недосыпает и ждет обещанной от Украины продовольственной помощи. Что вы на это скажете?

Это была самая сложная и большая проблема для украинского правительства. Каким образом взять хлеб у крестьян?

– Как мы договорились, все имущество военных складов переходит к вам. Как только мы наладим свой продовольственный аппарат, то сразу же произведем закупку продо-

вольствия у крестьян.

Но этот ответ, судя по выражению лица, не удовлетворил Гренера.

– Нам продовольствие нужно сейчас. Надо кормить полумиллионную армию, находящуюся на Украине, отправить продукты в рейх. Неужели нельзя использовать уже ранее существующий аппарат: советы, продовольственные комитеты, земства и другое. Дайте им работу – и они восстановятся.

Грушевский уныло подумал: «Начался не разговор, а пытка».

– Вы не учитываете специфических особенностей Украины. Большинство советов настроены пророссийски, за большевиков. Земства – еще старая государственная власть. Они всегда выступали против украинства, и мы не можем восстанавливать враждебные нашей державе органы. Продовольственные комитеты не представляют собой былой силы. Их функции взяли на себя советы. Мы из принципиальных положений не можем использовать старый аппарат.

– Так и что же делать? – уже без улыбки спросил Гренер.

– Нам с вами надо вернуть то продовольствие, которое разворовали крестьяне с военных складов. Мы уже обратились к ним с призывом, чтобы они вернули награбленное.

Неожиданно задал вопрос до сих пор молчавший Росс:

– Насколько мне известно, награбленное досталось не беднякам, а зажиточным крестьянам. Вы надеетесь все это забрать у них обратно?

– Да. То, что взято ими – противозаконно, и должно вернуться государству и их владельцам. Основная часть возвращенного будет передана вам. Но вы должны помочь нам в возврате принадлежащего Украине имущества. Мы вас об этом просим.

– Имущество военных складов принадлежит России, а не Украине, а в условиях войны они являются нашей добычей. Это закон войны и вы, как историк, это знаете, – холодно отрезал Гренер, показывая всем видом, что не хочет говорить о складах – для него этот вопрос решенный. – Мне хочется узнать: что сделало ваше правительство, чтобы положить начало выполнению продовольственных обязательств?

Грушевского коробил бесцеремонный тон Гренера – самого могущественного ныне человека на Украине, с которым была знающая свое дело армия.

– Мы, вместо старого аппарата, организовываем на местах самоуправление, которое уже приступило к работе. Но необходимо время для его организационного укрепления, приобретения опыта...

– Вы настроите своими реквизициями ранее награбленного из складов... – вернулся к предыдущему разговору Росс, – так называемых у вас куркулей против себя. А они, судя по статистике, составляют у вас основную массу крестьянства. Я подчеркиваю – не бедняки, а именно зажиточная часть. А в украинском селе, всем известно, находится огромное количество оружия. Я сомневаюсь, что можно вернуть то, что

раньше принадлежало государству. Оно так и останется у них.

– Может быть, – согласился Грушевский. – Существует опасность противостояния села законному правительству. Но вы упускаете важный момент. Село населено украинцами, в отличие от городов, и крестьяне несомненно отзовутся на наш призыв о сдаче излишков хлеба ради укрепления своей державы. Я уверен, в ближайшее время, по нашему призыву, хлеб из села пойдет.

Гренер и Росс недоуменно переглянулись. Они не могли понять рассуждений председателя Центральной рады.

– Понимаете, – еле сдерживая злость, ответил Гренер, – наши первые попытки приобрести хлеб у крестьян потерпели неудачу. Они отказываются его продавать, как и другое продовольствие, необходимое нашим солдатам, проливающим кровь за вас. Я не хочу сравнивать, что дороже – кровь или хлеб, но этот фактор вы должны учитывать в наших взаимоотношениях. Верные, по вашим словам, крестьяне прогоняют с оружием в руках заготовительные команды, не пускают их в имения помещиков. К нам в штаб об этих эксцессах поступают ежедневно десятки телеграмм.

– Да, я знаю... – пробормотал Грушевский. – Они поступают и нам.

– При заключении Брестского мира вы обещали нам благожелательное отношение к нам местного населения. Выходит, вы нас обманывали? Вы не контролируете положения на

Украине! Теперь для нас, в связи с созданием Донецко-Криворожской республики со своим правительством, складывается новая ситуация. Что делать? Приостановить наступление? Идти на переговоры с тем правительством? Или идти дальше и завоевывать для вас новое государство?

Гренер уже явно игрался с Грушевским, и тот совсем сник, что всегда бывало с ним при встрече с более сильным человеком, особенно европейцем.

– Нет, – ответил он слабым голосом. – Это самозванная республика, ни в коем случае не приостанавливайте наступления. Донбасс – большевистский район, его надо хорошо почистить от большевизма. Продолжайте наступление.

– Конечно, – смягчившись, ответил Гренер, чувствовавший, что сейчас разговаривал с главой украинской державы резко. – Наступление будет продолжаться, но и вы оказывайте нам всевозможную помощь. Кстати, как вы хотите решить аграрный вопрос?

– Будет проведена социализация земли в интересах украинского крестьянства.

– А разве не оставите все так, как было до войны?

– Нет. К старому возврата не будет.

Гренер и Росс снова переглянулись, и последний задал вопрос:

– Мелкие хозяйства не дадут товарного хлеба, особенно сейчас, в условиях войны. На данном этапе, этой весной, не следует проводить аграрную реформу. Пусть старые вла-

дельцы имений проведут посев, соберут урожай, а осенью можно и подумать о проведении аграрных преобразований.

Собеседников Грушевского пугала мысль о том, что в результате земельных преобразований на Украине Германия может остаться без хлеба.

– Нет, – Грушевский отрицательно покачал головой. – Мы должны выполнить свое обещание, данное селянству.

– И когда вы хотите принять закон о социализации земли? – осторожно спросил Росс.

– Мы обнародуем свой закон как можно более раньше, – может, в первой половине апреля.

Гренер в очередной раз переглянулся с Россом и вкрадчиво спросил:

– В апреле у вас уже идет посев зерновых и других сельскохозяйственных культур. Вы, как знаток народа, это прекрасно знаете. Принять в такое время закон о земле, значит – сорвать посевные работы. Украина останется без хлеба, не говоря уже о нас. А нельзя ли этот закон принять после окончания военной кампании против большевиков? Нам бы не хотелось серьезных политических потрясений в период существования фронта. Вы понимаете, мы можем лишиться поддержки круга влиятельных лиц в Германии. Зачем мы тогда пришли вам на помощь? Может произойти раскол в лагере наших сторонников, а это будет не на пользу ни вам, ни нам.

Грушевский задумался. В словах Гренера был здравый

смысли. Но, с другой стороны, раде в аграрном вопросе надо было идти следом за большевиками. Крестьяне руководствовались большевистским декретом о земле и брали ее себе. Надо было усилить влияние на село, – этим целям и служил закон о социализации земли. Но не учитывать мнение союзников Грушевский не мог.

– Мы не можем не принять этого закона, – мягко ответил он. – Это наш программный документ.

– Мы это понимаем, – так же мягко ответил Гренер. – Мы вас просим только отложить его принятие до окончания военных действий, до окончания посевных работ. Вы же понимаете – в стране военное положение, и любой, даже нужный, но поспешный шаг может ухудшить внутреннюю и внешнюю обстановку. Отложите принятие этого закона. Выполните нашу просьбу, – может, Гренеру хотелось сказать «приказ», но он подчеркнуто произнес слово «просьбу».

Грушевский сидел, уткнувшись глазами в стол. Потом поднял голову и ответил:

– Добре. Правительство пока не будет принимать этого закона, – он внимательно посмотрел на Гренера и добавил: – Хотя бы до тех пор, пока я являюсь председателем рады.

Гренер и Росс удовлетворенно переглянулись. Потом Гренер, добившийся своего, мягко сказал:

– Мы уверены, что вы еще долго будете руководить Украиной. Наша поддержка вам обеспечена навсегда.

Волна удовлетворения охватила душу Грушевского – ему

еще долго можно будет руководить Украиной при такой поддержке.

Гренер продолжил разговор:

– Наши производители сельскохозяйственной продукции, – он не стал называть германских помещиков-юнкеров уже принятыми терминами, – хотят купить немного украинской земли, которая у вас называется «черноземом»...

– Мы своей землей не торгуем! – гордо выпрямив голову, возмущенно перебил его Грушевский.

– Вы не дослушали меня, – укоризненно произнес Гренер. – Мы говорим не о земле Украины, а о почве, о черноземах. Эта земля находится в частном владении. А раз владение частное, то его можно покупать и продавать. Германские землевладельцы, а среди них достаточное число весьма влиятельных лиц в правительстве и в военных кругах, хотели бы этот чернозем приобрести, и они были бы вам очень благодарны.

Грушевский понял, что Гренер разделяет понятия «земля» и «почва-чернозем», чего он вначале не понял.

– А что нужно от меня? – спросил Грушевский.

– Ни-че-го, – подчеркнуто по слогам ответил Гренер. – Надо просто не мешать этим частным сделкам. Не принимайте запретительных мер в этом вопросе. Проще говоря, не мешайте людям торговать. Вы сами видите, как мы ввели свободную торговлю – в Киеве стало полно продуктов. Запреты в торговле приводят к дефициту товаров. Поэтому вот

такая просьба – не мешать торговле, – повторил свою мысль Гренер.

Помешать такой торговле рада могла бы, но упоминание о влиятельных силах, которые могут оказать покровительство и сейчас, и в будущем было более сильным аргументом, чем какие-то патриотические чувства, и Грушевский ответил:

– Частной торговле мы мешать не можем, это не в наших интересах. Кроме того, я надеюсь, в казну державы будут поступать налоги от таких сделок?

– Несомненно! – твердо ответил Гренер, довольный быстрым согласием Грушевского на эту, как он считал, сложно-щекотливую проблему. И генерал продолжил: – Я хочу с вами решить еще один вопрос... еврейские погромы, устроенные вашей доблестной армией, вызвали ужасно неприятное впечатление во всем мире. Да, во всем мире, я не преувеличиваю. С нашим приходом Украина стала открытой страной, не так, как это было месяц назад, когда никто не знал, что здесь происходит. У меня на руках сводка за вчерашний день, – что делают так называемые сичевики, с евреями. С первого по восьмое марта зафиксировано сто восемьдесят два случая насилия над евреями. Михайловский монастырь превращен в тюрьму для пыток над ними. Трупы убитых евреев валяются на Владимирской горке, их не успевают хоронить. Убили даже какого-то инвалида... – Гренер прочитал: – Борух Зак. А теперь приходят сведения о нападениях на квартиры жителей Киева, где евреи не живут. Это совсем

непонятно. Это уже выходит за все человеческие рамки, даже в военное время.

– Мы боремся против этих погромов, – перебил генерала Грушевский. – Выпустили специальное воззвание, где заклеямили позором тех гайдамаков, которые допускают насилие над мирными евреями. Наши агитаторы разъясняют позор таких действий. Но поймите, нам сложно бороться с традициями галицийских сичевиков – у них ненависть к жидам в крови. Но мы выясним и накажем виновных.

– Не надо. Я три дня назад распорядился арестовывать злостных погромщиков, а вчера мы расстреляли нескольких гайдамаков, совершивших наиболее тяжкие преступления. Я надеюсь, вы одобрите эти суровые меры, которые мы применили против нарушителей закона военного времени?

Грушевский был ошарашен. Украинские части подчинялись немцам только в оперативном отношении. Но командовали ими не немцы, а Петлюра, Присовский, Болбочан... немцы явно превысили свои полномочия, тем более в расстреле гайдамаков без суда и без сообщения об этом правительству. Но Грушевский, гневно заикаясь от такого бесцеремонного вмешательства немцев в внутренние дела Украины, ответил совершенно другое:

– Да... я поддерживаю эти меры. Виновных давно следовало наказать.

– Я так и ожидал, что вы поддержите предпринимаемые нами меры по прекращению еврейских погромов и укрепле-

нию дисциплины. И еще. В Киеве находится слишком много украинских солдат. В столице мы сами поддержим порядок. Вы направьте их не на фронт, – наша армия сама справится с большевиками, а в сельскую местность. Пусть помогают нашим интендантам в заготовке хлеба, реквизициях продовольствия. Я думаю, что украинец с украинцем быстрее договорятся об этом. Хорошо?

– Да, – послушно кивнул Грушевский, который был совершенно смят собеседником.

– И еще. Усиьте разъяснительную работу среди населения, чтобы на нас не смотрели, как на оккупантов, а как на друзей, которых вы пригласили для оказания вам помощи в восстановлении вашей власти.

– В наших газетах уже появились статьи с таким разъяснением. Их подготовили и руководители Центральной рады. Но мы еще более усилим агитационную работу. Но у меня есть, в свою очередь, просьба и к вам. Немецкое командование издает приказы, объявления, сводки на русском языке. Не могли бы вы писать их на украинском?

Гренер едва заметно улыбнулся:

– У меня есть данные переписей населения, где указывается, что абсолютное большинство киевлян говорит по-русски. Насколько я помню, более девяносто процентов. Шесть или семь процентов говорят на еврейских языках, но хорошо знают русский язык. Остальные – три или четыре процента говорят на других языках, в том числе и на украинском. Мы

не хотим создавать киевлянам сложностей в общении с нами. Но мы подумаем и, возможно, будем издавать свои распоряжения на двух языках.

Судя по объяснению, – Грушевский это понял, – вряд ли немцы будут использовать украинский язык. Он глубоко вздохнул и сказал:

– Скоро украинцев будет в Киеве больше. Прибудут новые курени сичевых стрельцов из Галиции, и люди оттуда уже начали переселяться в Киев. Поэтому сфера применения украинского языка скоро значительно расширится. Я знал, что вы правильно отнесетесь к моей просьбе, всегда будете поддерживать наше стремление к возрождению национальной культуры, государственности... спасибо!

– Да. В этих вопросах вы полностью самостоятельны. Не надо такие мероприятия согласовывать с нами. Но, извините, в других вопросах согласование необходимо. Я думаю, вы правильно понимаете – время военное, сложное... – сейчас Гренер говорил искренне.

Грушевский еще раз поблагодарил генерала за понимание украинских проблем. Разговор был закончен. Росс, пожимая руку Грушевскому, сказал:

– Я рад был с вами познакомиться, – он почему-то не задал обещанных ранее вопросов руководителю Украины. – Из моих статей немецкий народ узнает, что дружественной нам страной руководит не только политик, но и известнейший ученый, действительно просвещенный человек.

Волна теплой радости залила грудь Грушевского. Ради этих слов можно было перенести те унижения, которым он подвергся сегодня в штабе союзников. О нем узнает Европа, и он был счастлив. С чувством глубокой благодарности он пожал руку Россу. Гренер довел его до двери и приказал адъютанту, чтобы тот проводил руководителя державы к выходу и, еще раз пожав главе руку, молодцевато щелкнул каблуками. Потом подошел к Россу:

– Ваше мнение о руководителе Украины?

Росс, закрыв блокнот, в котором делал записи, ответил:

– У меня складывается впечатление, что он не знает обстановки в своей стране. Как созревающая фрейлейн – витает в идиллических облаках. Мы для них являемся единственной поддержкой. Только наши штыки позволяют им существовать. Мне кажется, что это правительство не сможет выполнить тех обязательств, которые оно на себя взяло.

Гренер усмехнулся:

– Ваше мнение практически не расходится с моим. Единственное, что сейчас требуется от главы так называемой украинской державы – подписание продовольственных договоров, точная детализировка их объемов и сроков, а там судьба рады будет зависеть от нее самой. С этим надо поспешить, наш народ уже устал от голодного существования. Надо его пожалеть... и именно нам, – кроме нас никто не даст ему продовольствия.

Вскоре Росс ушел, а Гренер стал диктовать адъютанту от-

чет о встрече с Грушевским, чтобы отправить его в Берлин.

Грушевский после того, как его дом сгорел во время бомбардировки, временно жил в гостинице «Метрополь». Это было удобно – от гостиницы до Педагогического музея всего метров пятьдесят, и Грушевский в прямом смысле слова на работу по руководству державой ходил пешком.

В номер зашел Орест Яцишин. Со времени памятного боя под Крутами прошло больше месяца. Орест изменился внешне и внутренне. Еще недавно шаткие юношеские черты лица заострились и посуровели. Рана зажила. Он стал молчаливым и подозрительным. Всей своей молодой душой он переживал позор под Крутами. Их, молодых людей, живыми вышло из боя немного. Мало кто знал всю правду об этом событии. Их попросили не рассказывать, как они расстреляли солдат с Румынского фронта, а только о самом бое с москвинами. Ореста мучил вопрос: «А правильной ли была жертва под Крутами? Что она изменила в положении Украины?» И, когда он задавал себе такой вопрос, перед его глазами вставал белый снег, красный от крови, и смертные оскалы его убитых товарищей, и он вновь задавал себе вопрос: «Зачем и кому нужна была наша жизнь, только начинающих расцветать людей? Ведь война с москалями была уже проиграна. Зачем нас послали на безнадежное дело? Зачем?» И он вспоминал молодого, но уже сурового красного командира, который был с Украины и знал украинский язык. Он отпустил его, даровал жизнь, но опозорил на всю жизнь –

ему пришлось говорить на его, ворожейей галицийцам, мове. Лучше бы убил, как других. Но об этом позорном для себя случае он никому не говорил.

Грушевский сидел в кресле и мысленно прокручивал сегодняшнее заседание рады и встречу в немецком штабе. Как он был красив и уверен на заседании рады, показывал пример государственной мудрости своим молодым коллегам, и как низок и беспомощен перед немецким генералом. Он сейчас до глубины души возмущался бесцеремонностью немцев. Как они смеют вмешиваться во внутренние дела суверенной Украины? В мирном договоре ясно сказано о разграничении полномочий между Германией и Центральной радой. На Украине одна власть – Центральная рада. А германский штаб должен подчиняться ей! А они что делают? «Пусти свинью за стол, она и ноги на стол», – к неожиданному для себя выводу о немцах пришел Грушевский. Из этого подавленного состояния его вывел приход Ореста. Он коснулся губами щеки Грушевского, что вызвало у последнего прилив сыновней нежности.

– Садись, Орест. Что привело тебя ко мне? Ты занимаешься в университете? – старчески суетясь, засыпал он его вопросами, чтобы быстрее отвлечься от неприятных дум.

– Да, занимаемся. Только учебный процесс оставляет желать лучшего.

– Почему?

– Многие преподаватели уехали, другие отказываются

проводить занятия из-за непонятного положения Украины, – как выразился один из них. Он сказал, что не знает, что читать нам и о чем. А те книжки об украинцах, которые сейчас изданы, он называет историческим бредом. Состояние обучения плохое, – заключил Орест.

– А мне так иногда хочется войти в аудиторию, заполненную студентами, жадно желающими получить знания... – замечтался Грушевский. – И рассказал бы я им, как надо бороться за свой народ и не сомневаться в этой борьбе. Нам надо воспитывать не сомневающих в своей борьбе людей, бескомпромиссных. Сейчас их мало. Так бы я воспитывал студентов.

Орест, словно собравшись с духом, ответил:

– Были такие люди – бескомпромиссные, молодые, красивые. Полегли под Крутами. За что?

Грушевский от такого неожиданного вопроса открыл рот: «Какое право он имеет так меня спрашивать, зачем?» Но вслух ответил:

– Да, они погибли. Но их подвиг только подчеркивает величие нашей идеи и наоборот – слабость и жестокость москалей, которые зверски убили их. Да, по-звериному.

– Так, отец... но красные нам только отомстили за нашу жестокость, которую мы сотворили первыми.

– Расскажи об этом подробнее, как очевидец. А то ходит много разных слухов об этом бое... расскажи мне все как было?..

И Орест стал рассказывать, как накануне боя с красными их командиры дали им понюхать вкус человеческой крови. Как они стреляли и кололи штыками безоружных, демобилизованных солдат с Румынского фронта. И он заколол одного, и до сих помнит запах его крови. Тихим, но полным чистого трагизма голосом он рассказывал, как командиры выбрали неудачное место для боя, и все они очутились под прицельным огнем пулеметов красных. Не скрывая слез рассказал, как они, отступая, заблудились и вышли на станцию, где уже были красные, и он видел оставшихся в живых солдат с Румынского фронта, и как эти солдаты безжалостны убивали его товарищей. Его спасло только то, что он вышел на станцию позже других. Потом дрожащим от волнения голосом рассказал, как красный командир не дал убить его солдату-румынцу, а наоборот – отпустил. А почему он так сделал, он не знает до сих пор.

Грушевский слушал его со слезами на глазах и испытывал к сыну своего товарища жгучую любовь. Запинаясь, он сказал:

– Тебя отпустил русский командир потому, что увидел стойкость твоего духа, твою готовность, как Сцевола, пожертвовать собой. И он тебя испугался. Ты оказался сильнее его духом – и победил.

– Командир не был москалем. Он из Донбасса.

– Это почти одинаково. За Донбасс нам придется долго бороться, чтобы он соответствовал нашему духу.

– Почему нас не поддержали солдаты украинских полков?

– Два полка – Богдана Хмельницкого и Сагайдачного – оказались распропагандированы большевиками, и выступили против нас. Эти солдаты предали национальную идею, и им воздаться должно. Надо армию создавать из преданных национальной идее воякив, которые бы ни в каких трудных условиях не предали нас, – как вы не предали, сражавшиеся под Крутами... или галицийские курени. Настоящих украинцев еще надо долго воспитывать, – с горечью закончил Грушевский после своего простого объяснения этого сложного обстоятельства.

– Как вспомню своих товарищей, то так горько становится на душе... а сейчас чуть ли не все газеты пишут, что это была напрасная жертва, что в нашей гибели виновата Центральная рада.

– Да, – мягко прервал его Грушевский, – но так пишут пророссийские газеты, типа «Киевлянина». Они обвиняют раду и прежде всего меня, что гибель гимназистов и студентов – на моей совести. Я не снимаю с себя ответственности. Она присутствует. Надо было мне вас, молодых и горячих, остановить. Но я тогда не успел этого сделать. Работы было много, даже спать приходилось в кресле, под снарядами красных. Но гордись, Орест, тем, что ваш подвиг будут помнить в веках. Эта кровь, которая пролита сейчас вроде напрасно, в дальнейшем станет символом нашей борьбы. На вашем героическом примере будут воспитываться новые по-

коления борцов, таких же, как и вы – смелых и прямодушных, и они свернут шею московскому зверю. В Круты уже выехал поезд, который привезет в Киев тела двадцати девяти юнаков, погибших на станции. Мы их при всем народе торжественно, с траурными залпами похороним на Аскольдовой могиле, в древнем, святом месте Киева, где хоронили только героев, пострадавших за высокую идею.

Он посмотрел на Ореста. Тот смущенно склонил голову, и слезы текли по его щекам, орошая солью первые пробившиеся усы.

– Я бы мог быть тридцатым, – глухо произнес Орест. – Был бы ровный счет. Зачем я остался жить?

– Чтобы всем рассказать об этом подвиге. Но только не о том, как вы убивали безоружных солдат, а как лежали под беспощадным огнем красных, как вас двадцать девять – раненых и уставших – кололи штыками жестокие москали. Об этом расскажешь. Понятно? – и он ласково потрепал курчавые волосы Ореста. – Вот, почитай стихотворение в газете – на смерть героев.

Грушевский дал ему газету «Нова рада», и Орест стал вслух читать стихи, подписанные фамилией П. Тычина.

На Аскольдовой могиле

Поховалы их –

Тридцать мучнив-украинцев,

Славных молодых.

– Их – двадцать девять, а со мной было бы тридцать. Тогда

бы автор не ошибся.

– Перестань думать об этом и не критикуй поэта. Он округлил количество погибших для рифмы.

На Аскольдовой могиле

Украинский цвит! –

По кривавий по дорози

Нам иты у свит.

– Да, – эхом откликнулся Грушевский, – много еще прольется украинской крови с нашей стороны.

– Но еще больше украинской и москальской крови прольется с той стороны! – неожиданно со злой угрозой произнес Орест.

На кого посмила знятысь

Зрадныка рука?..

...На кого завзявся Каин?

Боже, покарай!

– А кого он имеет ввиду под словом зрадник – предателя? – спросил Орест.

– Видимо, тех украинцев, – жестко ответил Грушевский. – Как тот командир с Донбасса, отпустивший тебя... тех, которые пошли не с нами, а с большевиками! Они, конечно же, хуже Каина. Тебе понравились стихи?

– Да.

– Побольше бы таких людей, как вот этот поэт Тычина, тогда бы наше дело стало крепким и надежным.

– А когда похороны?

– Как только их тела привезут, так сразу же на другой день. Я лично буду на похоронах. Я уже продумываю речь, которую там скажу. Начну ее словами по-латыни: «Dulce et decorum est pro patria mori!» – «Сладко и хорошо умереть за отчизну». Звучит? Я скажу так, чтобы все почувствовали величие их подвига. «Вы, как защитники Фермопил, легли на украинской земле, чтобы своей кровью смыть позор, нанесенный нашей земле за много веков нашими врагами». Как ты думаешь, Орест, хорошее будет сравнение?

– Да. Но только царя Леонида поддержала вся Греция, а нас Украина не поддержала.

– Не говори так, Орест. Мы заставим Украину поддержать нашу идею! Должны это сделать! А сейчас мне надо заняться делами. Приходи на ужин.

– Хорошо, отец, – ответил Орест и вышел.

Грушевский подошел к столу и стал просматривать документы. Вдруг он вспомнил, что обещал немцам задержать принятие закона о социализации земли. Как это сделать? Объяснить ситуацию некоторым членам кабинета и заручиться их поддержкой. Нет, этого никому говорить нельзя. Пока просто не надо ставить его в повестку дня. Но как быть с крестьянством? Оно сейчас бунтует, а потом поднимет восстание... что будет? И, чтобы не думать больше о насущных проблемах, он стал продолжать писать брошюру «На пороге новой Украины» – малороссов нада просвещать в галицийском доме.

Шульгин находился в своем рабочем кабинете, расположенном в редакции «Киевлянина». Собственно, газета не выходила с первого марта, со дня прихода немцев в столицу. Шульгин, как ее издатель, прекратил выпуск, посчитав за низость продолжать издание газеты в условиях оккупации. Все равно он не печатал бы хвалебные статьи во славу рады и ее союзников, а наоборот – язвительные, в адрес людей, унизивших свой народ. А за это газету все равно закрыли бы. Шульгин просматривал свои рабочие записи, которые он сделал во время ареста и нахождения в тюремной камере в период кратковременной большевистской власти. Он ждал прихода немецкого журналиста Колина Росса, который в телефонном разговоре просил его о личной встрече.

Росс, с немецкой педантичностью, пришел ровно в четыре. Он представился почти по-военному, что понравилось Шульгину. Опытным взглядом журналиста-психолога Росс сразу же понял – перед ним незаурядная личность: недаром этот человек год назад принимал отречение русского царя от престола. Ему хотелось узнать о положении на Украине из уст противника Центральной рады. Шульгин пригласил гостя за стол и сел напротив, ожидая вопроса. Росс, кашлянув, начал:

– Господин Шульгин. Я готовлю для германских газет и

журналов серию обзорных статей и репортажей об Украине... – он, естественно, промолчал о том, что сейчас работает в военном министерстве Германии. – Я уже встречался здесь со многими местными деятелями. Но мне хотелось знать точки зрения на положение Украины различных сторон.

Он замолчал, пытаясь угадать реакцию Шульгина на свои слова. Но лицо того выражало только внимание к собеседнику и готовность начать беседу.

– Если бы не вы не возражали, – продолжал Росс, – я бы у своего коллеги журналиста, издателя, писателя не брал бы интервью, а мы просто побеседовали бы по некоторым вопросам развития нынешних событий.

Шульгин кивнул головой в знак согласия и ответил:

– Господин Росс, я также думаю, что беседа даст больше, чем интервью. Я готов выслушать ваш первый вопрос и этим начать нашу встречу.

Колин Росс раскрыл свой блокнот, посмотрел в него и задал первый вопрос, потом он его закрыл и до конца беседы не открывал, и записей в нем не делал.

– Я сформулирую вопрос как можно короче. Как вы оцениваете перспективы развития России при большевиках и в чем их сила?

Росс, к удивлению Шульгина, не задал вопрос об Украине, к чему тот внутренне готовился, а сразу же поставил перед собеседником объемный вопрос, на который у того еще не

было точного ответа.

– Я, пожалуй, начну со второй половины вопроса, а потом перейду к первой, – размышляя, ответил Шульгин. – Их сила, как ни обидно это признавать, в народе, в самой его обездоленной и обиженной части. Эта бунтарская масса существует в любой стране, только в большей или меньшей степени. У нас эта часть многочисленна. Мы не успели – как на западе – создать достаточно крупную и крепкую прослойку обеспеченного класса. Нам просто не хватило времени. Всего-то каких-то тридцать лет мы развиваемся как цивилизованная страна. С одной стороны – у нас немного богатых, мыслящих высокими категориями; с другой – миллионы бедняков, которые хотели бы жить хорошо, но как это сделать – не знают. Но зато у них безобразнейшим образом развито чувство зависти к тем, кто умеет жить. В них сила большевизма. Они опираются на них и их феерические мечты о лучшей жизни. Поэтому в данный момент большевики победили. Жить хорошо – это естественное желание человека. Но один человек может работать и жить хорошо, а другие просто не хотят работать. Им нравится жизнь бездельника – они, как горьковские босяки, гордятся такой жизнью. Но все равно хотят жить хорошо в своем безделье. Большевики им пообещали равенство во всем, а главное – в еде. Им больше ничего и не надо. Но государство никогда не сможет обеспечить сытную жизнь всем своим подданным. Равенство будет только во всеобщей нищете. Этого не понимают даже

вожди большевиков. Уже сейчас имеются факты, что каждый руководитель большевиков живет как богатый человек. Для примера, посмотрите на деятелей Центральной рады. У всех хорошие оклады, пользуются бесплатно автомобилями, кушают в ресторанах и так далее. Победе большевиков помогли различные националистические силы, в том числе – и на Украине. Быстро организовавшись, они повторили лозунги большевиков, чем укрепляли разрушительные силы. Но они, в отличие от большевиков, не выполнили ни одного своего обещания. Но если революция, как ни прискорбно признавать, объективный процесс, национализм – искусственно привнесенное течение, присосавшееся к революции, как клещ. Если же большевики победят окончательно, то это будет иметь самые ужасные последствия для России. Она вынуждена будет закончить эволюционный путь развития человеческой цивилизации и пойдет по пути мрачного средневековья.

– Но революции всегда служат прогрессу страны и человечества, и история нас в этом убеждает.

– Да, но только не эта революция, которая хочет изменить не только материальные устои общества, но и поломать природные взаимоотношения между людьми – сделать их равными во всем. Но этого природа не предусмотрела. В лесу есть трава, кустарник, маленькие, средние, большие деревья, которые уживаются мирно и не могут просуществовать отдельно. Они нужны друг другу. У себя в имении, в Волин-

ской губернии, я неожиданно для себя открыл закон неравенства у курей. Младшая курица не посмеет клюнуть старшую...

– Да, может быть, все это так, – осторожно прервал его Росс, – но мы говорим о людях, которые в течение тысячелетий создали определенные взаимоотношения, сознательно сформулировали законы и порядок своего поведения, и равнять с ними лес или курей – не совсем равнозначно.

Шульгин устало улыбнулся в свои рыжеватые усы:

– Вы хотите сказать, что я мыслю вульгарно. Это достаточно ходкое слово в Европе. Но вы не знаете русской действительности, ее истории. У нас восстаниями и революциями руководили агрессивные и злобные мечтатели, а мечты, не подкрепленные конкретным делом, всегда ведут к разрушению. И у мечтателей главная мысль – о вырождении человечества, чтобы снова вернуться в лоно природы, диких обезьян, где все равны и нет проблем. И сами революционеры – вырожденцы. Я ознакомился с марксизмом и с биографией Маркса. У меня сложилось впечатление, что ваш земляк – вырожденец. Из его шести детей трое умерли в детстве, двое покончили жизнь самоубийством. То есть его род вырождался. Поэтому и идеи его эгоистичны и ведут к саморазрушению. Я не знаю точно биографии Ленина и других известных большевиков, но знаю, что у них, в крайнем случае у большинства, детей нет, как и у деятелей Центральной рады. Вопрос: для кого они свершают революцию, если у них нет бу-

дущего – собственных потомков? Ответ: видимо, для себя, руководствуясь собственными эгоистическими целями с патологической потребностью – иметь власть, заниматься садизмом, а потом саморазрушиться и оставить жалким остаткам некогда великого народа пепел творений и мыслей их великих предков.

Росс с сомнением покачал головой:

– Революцией в России, насколько мне известно, руководят умные люди. Руководители большевиков написали много книг не только по политическим и философским вопросам, но и художественной литературы. Я верю в их разум.

Шульгин снова усмехнулся:

– Я понимаю, почему вы их защищаете. Без вашей германской помощи большевики бы не оказались у власти. И, возможно, мы сейчас так просто не разговаривали бы с вами.

Росс понял намек Шульгина. Не окажись сейчас немцы на Украине, действительно – этого разговора у них не состоялось бы. Ему не хотелось развивать эту неприятную для него тему и он ответил:

– Я читал вашу статью по этому поводу в последнем номере «Киевлянина». Ваша статья мне кажется честной и патриотичной. Но вы зря закрыли газету. Как журналист я считаю, что без нее духовная жизнь Киева станет беднее... а теперь мне бы хотелось узнать более подробно, – как у человека, находящегося в оппозиции нынешнему правительству, – мнение о сегодняшнем дне и о будущем страны, в которой вы

живете. Конкретно: может ли быть Украина самостоятельным государством, о ее правительстве и политике.

Шульгин некоторое мгновение думал и ответил:

– Германия сейчас является союзником этого правительства, и я могу высказать мысли, неприятные для вас.

Росс с пониманием улыбнулся:

– Нам, журналистам, часто приходится иметь встречи с неприятными людьми и выслушивать много неприятного. Но мне с вами интересно беседовать, и если я что-то услышу от вас из того, в чем наши взгляды расходятся, я не обижусь, и это не повлияет на мое мнение о вас.

– Хорошо, – Шульгин разгладил лихо закрученные вверх усы. – Я снова начну с революции. Я думаю об этом практически беспрестанно, и у меня на проходящие ныне события возникает больше вопросов, чем ответов. Я подолгу размышляю – что сейчас происходит, и пришел к выводу, что с большевиками необходимо бороться так же, как и с украинским, – я бы сказал точнее: с галицийским национализмом. Как я говорил, ко всякой революции примыкают, а вернее – примазываются мелкие силы, со своими мелкими, частными, эгоистическими программами. Такое произошло на Украине. Не было бы революции, так бы и осталось национальное движение в зародыше, толком никому неизвестное, до революции хулиганское, пустословное, не имеющее опоры у трудящегося народа. Это можно сравнить с извержением вулкана – идет смертная магма и пепел уничтоже-

ния. Также одновременно выделяются ядовитые газы, которые страшнее огня, убивающие не только тело, а душу, – убивающие человека, как личность. Так и в нашей революции – вместе с взрывом, который выделил мощную энергию различных социальных сил, выделилось большое количество вонючего ядовитого газа. И этот газ вышел в виде национализма. И я подчеркиваю, что такое происходит во всех революциях. Этот дым скоро рассеется, оставив кучи мусора из того, что создано людьми, да и самих людей. Но в дыму национализма задохнется огромное количество ничего не понимающих людей, он только несет дополнительные жертвы всему человечеству.

Шульгин замолчал. Было видно, что эти красивые, как из книжки взятые литературные обороты, он сейчас специально подбирал для своего собеседника. Росс это понял:

– А могу ли я задать вам неприятный вопрос?

– Конечно.

– Россия дала Болгарии независимость, государственность, а сейчас она воюет против вас. Почему Россию не любят многие народы, проживающие в России, другие славяне, а в целом, многие в Европе и мире?

– Вопрос очень сложный и неоднозначный. Но я постараюсь выделить в ответе самое главное. Насчет народов, проживающих в России... – Шульгин задумался. – Мы природой, исторически обречены жить дружно с другими народами. Рядом со славянами с древности жили другие народы,

и русский человек, согласно природе существования, мирно уживался с ними. Дружба, если хотите интернационализм, заложен в нас природой. У нас проживают народы, находящиеся на разных ступенях исторического развития. От родоплеменного строя до народов, которые когда-то имели свою государственность. Малые народы, наверное, и не слышали о революции, – они счастливы в единении с природой. Другие народы потеряли свою государственность, – в основном, по причине своей малости, слабости и эгоизма правителей. Единственное спасение, а народы это понимали – в единении с Россией. Россия – страна многонациональная, все народы в ней уживутся. Здесь не будет происходить уничтожение народов. Так было и есть. Но они не понимали и не понимают, что происходит процесс ассимиляции народов. Россия своей экономической и культурной мощью позитивно влияла на другие народы, которые стали переходить в общении на русский язык и нашу культуру. Так происходило с народом. Но есть так называемая национальная интеллигенция, в частности, поэты и писатели. Они считают себя великими литературными творцами, хотя ничего значительного не написали. И они считают, что русская культура мешает развитию национальной культуры и, конкретно, их творчеству. Вот они то и составляют костяк националистического движения. Посмотрите на Центральную раду – там сплошь несостоявшиеся писатели и прочая околотворческая бестолочь, не сделавшая чего-то мало-мальского интересного для своего окру-

жения, не говоря уже о народе. Ими руководят эгоистические, личные интересы – стать заметной личностью, хотя бы и на политическом поприще в смутное время, так как другого времени для них не представится. Это – шелуха человечества. Что касается южных и западных славян – то их успешно перемалывает Европа в своем духе. И некоторые славянские народы, особенно их верхушку, уже с натяжкой можно считать славянами. В Европе процесс ассимиляции народов выше и злее, чем в России. И вот здесь вступает в действие еще один фактор – ни один славянский народ не достиг таких вершин своего развития, как русский народ. Отсюда и зависть, переходящая в ненависть к России. Это можно видеть на примере Галиции, которая в хозяйственном и культурном развитии находится намного ниже, чем российская часть Украины. Вот отсюда проистекает их зависть и ненависть к России – она достигла многого, а они – ничего. Ну, а насчет Европы и мира, которые нас не любят – здесь все проще. У нас огромная неосвоенная территория, и поэтому нам завидует весь мир. Мы ее освоим, и количество территории перейдет в качество жизни. Мы обойдем весь мир в хозяйственном развитии, наша русская культура, воспринимая культуру других народов, станет ведущей в мире, – мы может быть мировым гегемоном. Вот это пугает мир, и он не хочет допустить мощного развития России. Поэтому вы, европейцы, вырастили большевиков и сами воюете с нами. Вы насаждаете всему миру мысль, что мы – азиатская держава, и

соответственно так к ней и надо относиться, – как к отсталой восточной стране. Но мудрость мира находится на востоке... я надеюсь, что хоть кратко ответил на ваш вопрос?

– Да, – ответил Росс. – Но многое, что вы сказали, не так однозначно. Например, наша европейская культура, на данный момент, как мне кажется, не уступает русской, а может, и превосходит. А всем известный великий европейский гуманизм?.. Вы видите, я говорю об этом очень осторожно.

– Согласен. Но все-таки будущее не за Европой, с ее мелкими странами, а за крупными странами. Поэтому Европа и хочет расчленивать Россию... а насчет европейского гуманизма... его уже нет. Закончилась эпоха великих немецких философов и гуманистов. Вы, европейцы, стали антигуманистами. Яркий пример этому – мировая война. Не Россия ее развязала, а Европа. Россия только больше вас от нее страдает, потому что тяжесть войны вы умело переложили на ее плечи. И европейцы с каждым новым поколением становятся все более упрощенными, эгоистичными, не понимающими человечество и даже себя, и поэтому – более злыми и подлыми к другим народам, которые духовно стали богаче и интереснее вас. И вы хотите эти народы уничтожить, а если не удастся, то опустить их до своего сегодняшнего, все более принимающий вид примитивизма, уровня. Нынешней Европе уже не постичь высокого интеллекта своих великих гуманистов.

– Вполне возможно, но мне бы не хотелось в нашем раз-

говоре углубляться в мировые проблемы, а то мы будем беседовать бесконечно. Я здесь начитался и наслушался, что украинцы всю жизнь мечтали о своей самостоятельности, и они непримиримо боролись за нее против России и Австро-Венгрии. И вот их мечта осуществилась, и они не отдадут никому своей независимости. Я не думаю, что это дым.

– Это не совсем так. Украина не едина. В Левобережной ее части национализма не наблюдалось. Два дружественных по языку и обычаям народа не мешали жить друг другу. Они сливались в один народ и от этого становились только лучше и красивее. В Галиции же наоборот. Они многие века жили в других условиях – среди чужих по языку, верованию и обычаям народов: поляков, венгров, австрийцев и других. У них оказались законсервированными во времени язык, обычаи, традиции, которые они, за неимением культурной отдушины, стали считать эталоном человечества. В головы интеллигенции вошла бредовая идея – навязать свою отстало-законсервированную культуру близким им по культуре народам. Что они и пытаются сейчас сделать на российской части Украины, а в перспективе – и в более широких границах. У них выработалось двойное сознание – подчиняться сильному и унижать слабого. Сильные – это хозяева, которые их унижают, слабые – малочисленные народы. Вы думаете, еврейские погромы случайность? Нет. Меня считают анти-семитом. Но, когда судили Бейлиса, я выступил в его защиту, за что евреи пообещали молиться за меня в определен-

ный день по всему миру, чтобы я жил долго. Дай Бог, чтобы это сбылось. Еврейские погромы сопровождают всю украинскую историю. Почему Богдан Хмельницкий проиграл войну с Польшей? Да потому, что все Правобережье было охвачено еврейскими погромами! А они в то время были, в основном, ремесленниками. Хмельницкий лишил себя экономической базы. Остался без оружия и снаряжения. И сейчас нынешнее руководство внушает гайдамакам, что эти погромы имеют под собой историческую основу. У них в лексиконе нет слова «еврей», а только «жид». Это пренебрежение галицийцев к более слабому народу. Еврейские погромы – удел слабой нации. Нынешний погром на Подоле по жестокости и размаху превзошел все предшествующие в мире, и кто их провел? Галицийцы. На Левобережье местное население мирно уживается с ними. Но самое страшное, что Европа, в частности Австро-Венгрия, выпустила галицийского джина из бутылки, дав ему возможность завоевания территории, которую сейчас называют Украиной. Пока у них этого не получится. Большевики и другие российские силы им этого сделать не дадут. Но джин все же должен когда-то выскочить из бутылки, и спустя какое-то время Галиция повторит попытку завоевания остальной Украины и огаличивания всего завоеванного населения.

Росс кивнул головой:

– Сложный вопрос. Я, в некотором смысле, согласен с вами. Есть целые страны, которые, чтобы укрепиться в наци-

ональном отношении, изгнали евреев, а теперь мучаются от этого не только духовно, но и экономически. Я сейчас много читаю о том, что украинцы были рабами своих правительств. А раб всегда хочет свободы.

– Раб-бунтарь действительно хочет свободы, но их единицы, и они всегда погибают. У галицийских идеологов независимости психика вывернута наизнанку. Они не думают освободить свой народ из-под ига Австрии, но мечтают освободить от рабства российских украинцев. Галицийский раб желает не свободы – он хочет иметь собственных рабов. На западе – он понимает – их не получить, остается только восток. Вот здесь он желает получить рабов и полностью жить за их счет. Такая жизнь – их многовековое желание. Вот и сейчас – чтобы реализовать свою чудовищную идею, они пригласили для этого вас...

Но, увидев, что эти слова пришлись Россу не по нутру, Шульгин замолчал.

– Продолжайте, – переборков неприязнь к собеседнику, сказал Росс. – Я же журналист, и не всегда приходится слушать приятное. Хотя, хочу заметить, для вступления сюда у нас есть юридические основания.

Теперь разозлился Шульгин:

– Вы эти юридические права создали себе искусственно! Сначала признали самостоятельное государство и правительство, от которого отвернулся народ. Потом с ним, а точнее – с самими собой, – подписали договор и послали вой-

ска, как в свою вотчину. Большевики совершили самую громадную ошибку для своей будущности – в Бресте признали права украинской делегации. Этим признанием они согласились с границами Украины, территорией, которая ей никогда не принадлежала. Через какое-то время им трагически аукнется эта ошибка. В переломные моменты истории снова выплзет наружу национализм, и с ним большевики уже не смогут справиться. Если Украина останется отдельным государством, то в Европе появится никогда не заживающий гнойник. Он будет смердить, прежде всего, России. А Европа в своей ненависти к России будет этот гнойник еще больше расширять и наполнять болезнетворными бактериями. До тех пор, пока не поймет, что этот гнойник опасен и для нее. Тогда она просто поделит Украину на части. Приграничные районы отдаст ближайшим соседям, а из маленькой части создадут этническое государство истинных украинцев, например, Галиция. К этому решению когда-то придут Европа и мир. А теперь я скажу вам самое неприятное... – он посмотрел на Росса, и тот в знак согласия кивнул головой. – Брестский договор заключили правительства, страны которых обречены на поражение.

У Росса лицо стало каменным, и он четко произнес:

– Я – представитель одной из этих стран. И мне, при всем к вам уважении, неприятно слушать слова, пророчествующие поражение моей страны. Тем не менее, как журналист я обязан выслушать и эту точку зрения.

Шульгин, видимо, решил сказать Россу все до конца:

– Вы с радой подписали договор и обязаны относиться к ней, как к равноправному партнеру. Но вы так к ней не относитесь. Потому что понимаете – эту националистическую силу основные революционные силы сотрут в порошок, а вам покажут на дверь. Вы уйдете отсюда живыми, но униженными. Вы не сможете противостоять всему миру, и ваше поражение является вопросом времени. Оккупация вами Украины даст вам сырье и продовольствие, позволит вам продлить войну на полгода-год, но все закончится неудачей. Эта нагрузка войны принесет дополнительные жертвы и вам, и всем воюющим странам. И эта вина за потери будет целиком лежать на... – он заколебался, какой сделать вывод, и закончил: – На украинской раде. И этого вы и другие страны ей не простите. Они предали Антанту, они предадут и вас. Идеология, подчинившая себе мозг, здравый смысл человека – готова на любую подлость.

Росс встал:

– Я вам благодарен господин Шульгин за откровенную беседу. Надеюсь, что не все сказанное вами сбудется.

Шульгин развел руками, как бы говоря – все может быть. Они расстались, пожав друг другу руки, и Шульгин, оставшись один, стал по горячим следам делать дневниковые записи.

Колин Росс ехал в автомобиле по улицам древней русской столицы. Вечерело. В окнах ресторанов светились электри-

ческие огни, слышалась веселая музыка. У синематографа толпился народ. По улицам передвигались редкие автомобили, но зато, как челноки, сновали извозчики, по тротуарам прогуливались горожане и приезжие. А между ними с карабинами на плечах, как гаранты спокойствия, с невозмутимыми лицами ходили немецкие патрули.

«Необходимо внести коррективы в свой отчет в Берлин, – подумал Росс. – Шульгин мне рассказал то, о чем я раньше старался не думать, хотя все понимал. Надо предугадать развитие событий на ближайшее и дальнейшее будущее. Пока в России смута, надо ее окончательно ослабить... – и с грустью констатировал, что мысленно соглашается со словами Шульгина о скором поражении своей страны в войне. – Но это уже дело не Германии, а всего мира. А с игрой в самостоятельное украинское государство надо кончать, если мы хотим закрепиться здесь. Надо, чтобы Берлин взял протекторат над этой территорией. Думаю, Европа и мир, после подписания перемирия или мира, этот наш шаг поддержит. А украинских политиков спрашивать не будем. Идеология готова на любую подлость, а националистическая – тем более, – вспомнил он слова Шульгина. – Поэтому не стоит церемониться с нынешним украинским руководством. Надо отправить его в архив истории».

Мартовский вечер был прохладен. Росс плотнее закутался в пальто и, подъехав к гостинице, войдя в свой номер, сразу же сел за исправление отчета.

Часть VIII

45

Херсон. Один из первых городов на Юге России, заложенный в Причерноморье более века назад. Россия отвоевала северное побережье Черного моря у Турции и по-настоящему стала морской державой. Хотя Херсон носил официальный статус губернского города, но в отличие от своих соседей – Одессы и Николаева, имеющих яркую и громкую славу на всех морях – был тихим провинциальным городком. В морском обороте он не мог сравниться с соседями, а предприятия, кроме верфи Вальдона да завода сельскохозяйственных машин Гуревича, носили полукустарный характер: пивоваренные, мыловаренные, консервный, конфетный, макаронный, табачный, гильзовый – но не для производства патронов, а для папирос.

Херсон, особенно летом, изумительно красив – как девушка в ярком народном наряде. Стройный, из-за прямых, точно луч света, пересекающихся под прямым углом улиц, выложенных гранитным булыжником, и тротуаров с аккуратно подогнанными плитками из вулканических пород, привезенных из Италии от знаменитых Везувия и Этны, Херсон одновременно напоминал элегантного мужчину.

Роскошные кроны величественных благородных каштанов и когда-то завезенных из южных краев зеленоглазых, с карими рябинками бесстыдниц, придавали городу идиллический, томно-лукавый вид, где хотелось наслаждаться, созерцать и отдыхать.

Открывающийся с Суворовского проспекта царственный вид заросших девственными кустами и травами островов Днепра будил лирическое настроение в душе. Морские суда в порту, грохот кранов, пароходные гудки манили романтикой нелегких дальних морских дорог. Но, когда взгляд падал на Забалку, Военный Форштадт, то безмятежность и созерцательность в душе исчезали. Было больно смотреть на камышовые, иногда наполовину врытые в землю мазанки; баб, несущих по грязным от дождя улицам коромысла с ведрами днепровской воды; грязных мужиков, не имеющих, особенно зимой, возможности отмыть свое тело от железной копти и масла.

Но город все-таки покорял вкусом прекрасно отделанных трех-четырёхэтажных зданий, приветливостью жителей. Возле дверей многочисленных парикмахерских, лавок, трактиров стоял служка или сам хозяин и приглашал зайти к нему, картавя по-русски неповторимым причерноморским наречием, сотканным из самых красивых мелодий и звуков различных языков многочисленных народов, проживающих здесь. Каждое предложение заканчивалось тоном выше его начала, как бы задавая вопрос: «Мы сделаем прическу не

только по вашему вкусу, но и еще лучше. Если у вас мало волос на голове, не беспокойтесь. После моего искусства у вас будет шевелюра, как у Иисуса». «Сегодня в мой магазин... – хозяин никогда не скажет, что у него лавка... – специальным рейсом из Нагасаки доставлен изумительный шелк, которым обряжают ихнего микаду. Заходите, не пожалеее. Вам, как новому клиенту, я солидно уступлю». «На сцене нашего трактира сегодня выступают артисты интимного театра Мушка Езерская и Куця Копляевич. Только один вечер! Вы думаете еще – посетить или нет? Нате вам рюмочку водочки, на улице она намного дешевле, почти даром, а теперь думайте. Думайте и придете к правильному для вас решению. Это представление нельзя не посетить».

Милый, наивный город, мнящий себя центром Северного Причерноморья, которому мировая война принесла некоторое запустение. Стали реже гудеть пароходы, греметь портовые краны, но стало больше начальников и солдат. И именно этому городу история весной восемнадцатого года дала возможность постоять за честь и достоинство России против германо-галицийского нашествия.

Только на четвертые сутки после расставания с Сергеем Артемовым Бард с большой Эльвирой добрались до Херсона. До Николаева доехали быстро, а вот до Херсона, который был рядом, пришлось потратить около двух суток. Эльвире стало хуже, и она металась в жару. Бард на вокзале нанял извозчика и поздно вечером доехал до дома Фишзонов. Ста-

рики-родители долго не могли понять, что от них хочет давно не бритый, худой человек, но потом мать выскочила на улицу и, плача, вместе с Бардом ввели в дом совсем обессилившую Эльвиру. Старый Дувид – ее отец, захлопотал, позвал младшую сестру и брата, которые помогли отвести Эльвиру в спальную комнату. Она слабо, улыбалась, отвечая на поцелуи и рукопожатия родных. Потом вышел в прихожую Дувид, удивленно посмотрел на Барда – почему он еще здесь – и спросил:

– Младой человек! Я понимаю, что моя дочь принесла вам много хлопот и, возможно, затрат. Я денежные затраты готов возместить. Сколько мы вам должны?

Уставший от тягот пути и многосуточной бессонницы, Бард с трудом понимал происходящее и не понял вопрос Дувиды. Тот снова переспросил:

– Сколько я вам должен за заботу, проявленную о моей дочери?

– Нисколько. У меня деньги есть, – и, в подтверждение своих слов, вытащил из кармана горсть смятых ассигнаций. – Я муж вашей дочери.

Теперь у Дувиды полезли на лоб из-под кустистых бровей глаза, жидкая седая борода поднялась вверх. Опомнившись, он часто-часто заморгал подслеповатыми глазами:

– Как муж!? Как!? Как?! – он словно заикнулся на слове «как» и вдруг закричал фальцетом: – Ента! Ента! Сюда!

И, не дождавшись ответа на свой крик, побежал в ту ком-

нату, куда увели Эльвиру. Бард устало сел на табуретку. Он был готов уйти, но – только увидев жену.

В прихожую вошли старые Фишзоны – родители Эльвиры. Дувид на ходу что-то шептал жене на ухо, которая недоуменно смотрела на Барда. Дувид подошел к нему и, обращаясь к жене, произнес:

– Ента, этот человек говорит, что он – муж нашей дочери. Ты, дорогая, что-нибудь понимаешь?

Та посмотрела на Барда, который молчал и не считал нужным что-то говорить, и отрицательно покачала головой:

– Нет.

– Тогда пойди и спроси у своей дочери, что все это значит и правда ли это? И разужай хорошо! А я пока поговорю с ним.

Ента ушла, а Дувид сверлящими от удивления и гнева глазами, уставился в Барда:

– Я, молодой человек, не могу понять – по какому праву вы заявляете, что являетесь мужем моей дочери? Вы где венчались – в синагоге, церкви, кирхе или еще где-нибудь? Отвечайте!

Но Барду не хотелось отвечать, ему хотелось сказать несколько слов Эльвире, а потом заснуть и спать, спать, спать...

Вошла Ента. Увидев возбужденного с поддрагивающей бородой мужа, она скороговоркой стала говорить:

– Дувид, душа моя, успокойся. Загони свой гнев вовнутрь

души и будь спокоен. Ты познакомился с ним? Как? Еще нет? Он и вправду наш зять. Эльвира подтвердила это. Будь спокоен, Дувид. Встречай не гостя, а родственника. Его звать Дмитрий.

У Дувиды сразу же опустились плечи, поникла седая борода. Если чуть раньше он был похож на старого ворона, нахохлившегося и готового защищать свое семейное гнездо, то теперь стал похож на того же ворона, внезапно попавшего под холодный ливень, свернувшего крылья и ждущего, когда эта стихия закончится. Он забормотал:

– Ента, я спокоен, как Соломон на суде. Готовь на стол. Не видишь что ли – наш зять хочет есть? Не видишь? Быстрей! – прикрикнул он на жену. – А то раскудахталась, как курица! Правильно я говорю, Дмитрий? Ты же хочешь ужинать? Пойдем на кухню.

– Я сейчас мигом соберу стол, а ты сбегай за врачом.

– Да где ж его сейчас взять? Все врачи далеко живут, уже темно, и ходить в это время опасно.

– Сходи к Лейбе. Это рядом.

– Да. Но он же ветеринар.

– Он и людей лечит. Забыл, как тебя он лечил?

– После его лечения у меня спина до сих пор болит... только меньше.

– Беги к нему, и пусть он возьмет лекарства.

– Хорошо, но у нас гость. Пусть сбегает Исак. У него быстрее получится. Исак! – закричал он. – Исак!

Из соседней комнаты вышел подросток, с пробивающимися черными усами, худой и не по возрасту сутулый.

– Исак. Иди бегом к Лейбе, скажи, чтоб взял лекарства и пришел сюда. Хорошо?

Юноша молча кивнул, накинул куртку и вышел. Ента на кухне собирала стол. Дувид пригласил Барда пройти туда.

– Я бы хотел увидеть Эльвиру.

Но Ента вмешалась в разговор:

– Идите ужинайте. Я переодену Эльвиру к приходу врача.

Бард ел неохотно, сказывалась апатичная усталость. Дувид, разглядывая зятя, предлагал:

– Вот горох с бобами. А вот мясо. Оно холодное, но вкусное. Завтра приготовим побольше, а то сегодня не ждали ни гостей, ни родственников. А где вы познакомились с Эльвирой?

И такие вопросы – где они были и что делали эти два с половиной месяца, Дувид задавал Барду вперемежку с предложениями отведать какое-то блюдо. Бард отвечал односложно, что не удовлетворяло Дувид.

Пришел Лейба – ветеринарный врач, мужчина с черной густой бородой, лет под шестьдесят. Он прошел в комнату, где находилась Эльвира, и был там не менее получаса. Исак сидел с ними. Дувид нервно ходил, выходил в прихожую, подходил к двери комнаты, где находилась больная, прислушивался и возвращался обратно. Бард продолжал тупо сидеть на кухне, к еде он больше не притрагивался, только за-

торможенная мысль билась в его мозгу: «Почему так долго там доктор? Что он скажет?» Но вот вышел Лейба и, картавя, сочным густым басом сказал:

– Сильная простуда. Много времени провела на ветру и на морозе. Если не будет воспаления легких, то через неделю она выздоровеет. Она молодая, крепкая, все будет хорошо.

– Так доктора вызывать?

– Не надо. Я ее сам вылечу.

Дувид полез в карман, вынул потертый кожаный портмоне и отсчитал несколько купюр. Лейба взял деньги и произнес:

– Я ей дал очень редкие лекарства.

Дувид снова торопливо полез в портмоне и вытащил еще несколько кредиток. Лейба удовлетворенно проговорил:

– Я завтра утром зайду к вам и дам рецепт на лекарства.

– Хорошо. Спасибо.

Дувид склонился перед Лейбой. Ветеринара пошел провозжать Исаак. Бард спросил:

– Можно я поговорю с Эльвирой и пойду отсюда?

– Можно, – ответила Ента. – Только вы никуда не пойдете, а останетесь у нас жить. Это ты обидел зятя!?! – накинулась она на Дувиду.

– Нет! Нет! Я никогда не обижал его и не думал об этом. Скажите ей, что я вам не сказал ни одного плохого слова? – взмолился он, обращаясь к Барду.

– Меня никто в этом доме не обижал, – подтвердил Бард.

Ента удовлетворенно посмотрела на мужа и распоряди-

лась:

– Подготовь Мите комнату. Внизу. А мы пойдем к Эльви-
ре.

– Сейчас, – заторопился Дувид. – Все сделаю.

Бард вместе с Ентой зашли в комнату. Там же была млад-
шая сестра Эльвиры – Иза. Эльвира лежала на кровати. На
ней была свежая ночная рубашка, до груди ее прикрывало
толстое стеганое ватное одеяло. Иза что-то ласково говори-
ла сестре на своем языке. При его появлении она замолкла.
Эльвира повернула к Барду голову и прошептала:

– Подойди ближе... сядь.

Бард сел на стул, который ему уступила Иза. Эльвира про-
тянула руку и он обхватил ее горячую ладонь своими руками.

– Митя. Я скоро выздоровею. Не бойся...

Она слабо сжала его руку.

– Не тревожься и иди спи. Тебе надо отдохнуть, а то сам
на себя не похож. Тебе постелят в нижней комнате. Ну, иди.
Обо мне не беспокойся.

Бард хотел поцеловать ее перед сном, но рядом находи-
лись все Фишзоны, и он не стал этого делать. Только про-
бормотал:

– Выздоровливай скорее.

Исаак отвел его по лестнице вниз, где была расстелена по-
стель. Бард успел только снять пиджак и брюки, завалился
на свежие простыни и заснул черным, непробудным сном.
Исаак накрыл его одеялом, затушил свечу и ушел.

Ента решила спать в одной комнате с дочерью, чтобы оказывать помощь больной. Все остальные ушли.

Мать не ложилась спать до тех пор, пока не догорела свеча. Она прикладывала свои толстые ладони к лицу дочери, осторожно гладила щеки, лоб, поправляла кудрявые черные, потерявшие от болезни свой цвет волосы и то ли шептала, то ли про себя думала:

– Дочка. Свет мой. Зачем ты пошла из дома? Какой ветер понес тебя в это серое время от семьи? От меня, от отца, братьев и сестер. Жила бы себе спокойно, по-нормальному бы вышла замуж, были бы у тебя дети, а у нас с отцом внуки. Мы бы с ними нянчились. Только на тебя была надежда. А то есть у нас где-то внуки, но они далеко. Рвешь ты наши сердца, опустошаешь наши души своей жизнью...

При ровном свете свечи Ента вдруг увидела, что из густых волос Эльвиры, с виска на горящий лоб, выползла вошь. На секунду онемев, Ента схватила это безобразное насекомое пальцами и раздавила, подумав: «Хоть она больная, но завтра ее надо помыть. Наверное, и у зятя их куча. Надо достать дегтя».

И снова ее мысли от практических дел понеслись в необозримую без границ времени и места даль:

– Дочь, разве мы желали тебе такой жизни? Зачем ты ее такой делаешь?

И снова и снова Ента терзала свое материнское сердце неразрешимыми вопросами, выливающимися в скорбные

упреки, но никто ее не слышал, только душа ее наполнялась морем беспокойства и туманом тревожности. Свеча догорела. Ента зажгла другую, прилегла на соседнюю кровать, но заснуть не удавалось. Она постоянно вставала при каждом движении дочери.

Утром она сказала Дувиду, чтобы он шел и привез настоящего врача, и муж молча пошел выполнять ее приказ.

Бард проснулся поздно. Увидев, что спит в рубашке, кальсонах и носках, он застыдился и хотел их снять с себя, чтобы все видели, что он знает правила хорошего тона, как пришел Исаак. При дневном свете Бард рассмотрел, наконец, Исаака. Это был юноша лет восемнадцати, чертами лица похожий на Эльвиру, но более замкнутый, что в дальнейшем подтвердилось. Исаак поздоровался и сдержанно сказал:

– Пора вставать. Скоро будет обед.

Бард постарался улыбнуться, хотел взять пиджак и брюки, но их не оказалось. Пока он удивленно раздумывал над этим, Исаак сказал:

– Ваши вещи мы унесли и позже их сожжем. Что было в карманах: деньги, документы и другое я выложил на стол. Вот они.

Бард понял – пока он спал, в его комнату заходили и увидели, в чем он спит. Исаак по-деловому сказал:

– У вас с Эльвирой вши. Она уже помылась в своей комнате, а вы идите за мной – я вам покажу, где мыться.

Он повел Барда в комнату, которая находилась на пер-

вом этаже и представляла собой небольшую семейную баню. Исаак ушел, а Бард с удовольствием стал плескать горячую воду из шайки на свое давно не мытое тело.

Вскоре постучал Исаак, и Бард, одетый во все чужое белье, прошел на второй этаж. Там уже был накрыт стол, но он за него не сел, а попросил, чтобы его допустили к Эльвире. Когда он прошел в комнату, то увидел, что Эльвира разговаривает с Изой, и ей стало лучше, болезненный румянец хоть не пропал, но стал меньше, она могла сидеть в кровати. Он сел рядом с кроватью на стул. Ему было радостно видеть, что Эльвира выздоравливает.

– Как спал? – спросила она его.

– Как убитый, – честно признался Бард. – А ты?

– Хорошо. Сегодня приходил врач и сказал, что через несколько дней я буду летать, как ветерок. Ты и сам видишь, что мне лучше. Это я не столько простудилась, сколько устала за эти месяцы. Ты иди сейчас и обедай, а потом отдыхай и приходи ко мне. Хорошо?

Бард прошел в столовую. Старый Дувид сидел за столом и при свете дня старательно рассматривал своего зятя. Сначала ели молча, и Бард, будучи голодным все эти дни, старался сдерживать свой аппетит. Ента предлагала ему всякие незатейливые блюда, старалась подсыпать ему побольше, что стыдило Барда, не привыкшего к такому обращению. Наконец она ушла, и Дувид, сдерживающий до этого свое любопытство, навалился на Барда с вопросами: откуда он? Где

познакомились с Эльвирой? Была ли свадьба? Как поженились? Краснея, Бард, обходя слишком острые вопросы, старался давать более полные ответы, чтобы не обидеть неожиданно появившегося у него тестя. Было видно, что Дувида разочаровали отдельные моменты его знакомства с Эльвирой и особенно то, что все обошлось без свадьбы. Потом Дувид пошел в лавку, торговать.

Несколько дней Бард был предоставлен сам себе. Он отдыхал, наслаждался тишиной и спокойствием. Работать его не заставляли, хотя некоторую работу он делал по своей инициативе. Эльвира выздоравливала. Большую часть времени Бард проводил с Исааком, от которого он узнал многое о семье и деле Фишзонов. Они имели лавку, которая располагалась на первом этаже их небольшого двухэтажного домика, сложенного из мягкого ракушечника. Торговали мануфактурой, которую приобретали, в основном, жители близлежащих улиц. Также торговали керосином, но это происходило в кирпичном сарае, который находился во дворе. Но сейчас с керосином стало плохо, трудно его доставать, поэтому торговля им практически прекратилась. С началом войны дела идут неважно, но пока семье хватает. Товары стали дорогими и их сложно достать, а у покупателей денег хватает только на еду, – сатин и ситец покупают редко, не говоря уже о всяких побрякушках.

Бард узнал, почему отца называют старый Дувид. Действительно, разница в возрасте родителей и детей была до-

статочно велика. Но в еврейских семьях – это распространённое явление. Оказывается, у Дувиды и Енты было шесть детей. В молодости у них появилось трое детей. Первый, старший, ещё в детстве утонул в Днепре. Дочь вышла замуж за грека и уже двадцать лет как живет в Греции. Сын, третий ребенок, на которого так надеялся Дувид, что он поможет ему в расширении дела, ещё ребенком увлекся идеями построения еврейского государства и, будучи ещё юношей, уехал в Палестину. Раньше писал восторженные письма о том, как они осваивают бесплодные каменистые пустыни Ближнего Востока. Но, в связи с войной, писем от него нет давно, и старые Фишзоны сильно переживают по этому поводу, – что не имеют возможности видеть внуков. Когда старшие дети разъехались, то у Дувиды и Енты появились ещё трое детей: Эльвира, Исаак и Иза. Когда родилась старшая – Эльвира, Дувиду было почти пятьдесят лет, Енте – немного меньше. Поэтому-то отца все и называют – старый Дувид.

На вопрос Барды, не хочет ли Исаак куда-нибудь уехать или переменить род деятельности, тот серьезно ответил:

– Нет, не могу. Отец уже стар и не может вести дело с прежней энергией. А я наследник, и мне будет принадлежать лавка. Я обязан быть рядом с родителями.

Исаак много расспрашивал Барду о революции, чего хотят большевики. Слушал с интересом, цокал языком, когда был недоволен и, несмотря на свой юный возраст, предпочитал не делать никаких выводов. Всю информацию, которую он

получал – носил в себе, был замкнутым и подчеркнута молчаливым.

Но вскоре их жизнь круто изменилась. Дней через десять после приезда, когда Эльвира почти поправилась, к ним пришел товарищ из городского совета. Эльвира радостно всплеснула руками, увидев его:

– Алексей!

Тот весело поздоровался с ней за руку, она представила ему Барда, назвав его мужем. Фамилия Алексея была Рудненко, и он был членом военной секции совета. Он расспрашивал, где все это время была Эльвира, и они рассказывали обо всем, что видели. А когда рассказывали об «Арсенале» и отступлении из Киева, его желваки на скулах натягивали кожу.

– Вот что, Эльвира, – сказал он, выслушав их рассказ, – дела заворачиваются очень серьезные. Немцы совместно с гайдамаками заняли Одессу. Не сегодня – завтра возьмут Николаев, а там будет очередь за Херсоном.

– Знаю. Читала в газетах...

– Наш город последний на Юге России, где можно попытаться остановить немцев и показать предателям из Центральной рады, что народ против их сговора с немцами. Уже формируются отряды красной гвардии из рабочих и фронтовиков для обороны города. Но у нас мало агитаторов, поэтому заканчивай болеть и приходи, помогай нам.

У Эльвиры заблестели глаза и щеки покрылись румянцем,

на что обратил внимание Бард – его жена снова была готова окунуться в революционную стихию.

– Конечно, я согласна. Завтра же пойду в совет и давайте мне работу. Но почему так быстро пала Одесса?

– Не успели подготовиться. Немцы совершили быстрый бросок из Бессарабии, куда вошли заранее по соглашению с радой. Да и сами одесситы больше любят торговать, чем воевать. Поэтому им подходит любая власть.

Когда Рудненко употреблял слово «рада», ему как будто от страшно кислого, недозревшего яблока, которое он стал жевать, сводило скулы.

– Не могу спокойно говорить о людях, которые предали свой народ, – честно признался он. – В Одессе делят флот. Чей он будет – российский или украинский? Флот сейчас расколот и потерял свою силу. Матросы не знают, кому верить. Сейчас те офицеры и матросы, которые хотят, чтобы флот был российским, собираются в Херсоне.

– А много здесь матросов из Одессы?

– В основном с тех кораблей, что стоят на ремонте. Но прибывают небольшими группами. Нам надо их сейчас организовать в боевые отряды. А почему ты меня об этом спрашиваешь?

Эльвира промолчала и за нее ответил Бард:

– У нас есть друг, он помог Эльвире, когда она болела, а сам уехал в Одессу. Может появиться здесь.

– Кто знает, куда их отряд направят. Выздоровливай, Эль-

вира, и к нам. А мужа отпускаяй сейчас же. Нечего ему за тес-тем прятаться, – он собрался уходить.

– Алексей, – сказала Эльвира, – я завтра схожу в последний раз к врачу, и завтра же мы придем в совет. Распоряжайся нами.

– Вот это хорошо. Ждем.

Рудненко, крепко пожав им руки, ушел. Эльвира некоторое время сидела молча, потом спросила у Барда:

– Митя, наганы у тебя?

– Да.

– Почисти их и приведи в порядок. Пора браться за работу, у нас еще много врагов.

На следующий день пошли к врачу. Но это был не последний врач в этот день. От второго врача Эльвира вышла взволнованной, с растерянным лицом. На вопросы Барда отвечала рассеянно и односложно, на что Бард обиделся. В городском совете былолюдно, не только в здании, но и вокруг него. Было много вооруженных людей. Стоял шум и гомон.

Бард и Эльвира вошли в здание совета. Долго искали Рудненко, но так его и не нашли. Эльвиру многие знали, на ходу с ней здоровались, задавали ничего не значащие вопросы, на которые она не всегда успевала отвечать, так как задававший их зачастую исчезал, не выслушав ответа. Наконец, добрались до кабинета Михайловича – председателя совета. В комнате было накурено, беспрерывно звонил телефон, и председатель постоянно кричал что-то в трубку. Наконец,

оторвавшись от телефона, он бросил Эльвире:

– Привет. Наконец-то явилась.

– Да я болела, – стала оправдываться Эльвира.

– Знаю. Как сейчас себя чувствуешь?

– Уже хорошо.

– Тогда давай за работу. Не знаешь еще новости?

– Какой?

– Немцы взяли Николаев.

– Как?

– Вот так. Теперь через пару дней их надо ждать здесь.

Эльвира не успела ответить, как в комнату вбежал Рудненко, а с ним еще несколько человек. Не здороваясь, Рудненко прямо с порога прокричал Михайловичу:

– Николаев пал! Знаешь?!

– Знаю.

– У нас не хватает оружия! Нечем вооружать рабочих.

– А фронтовиков вооружили?

– Да. Им выдали винтовки. Но их не хватает.

– Надо попросить винтовки у морских экипажей, стоящих на ремонте.

Михайлович быстро написал записку и протянул ее Рудненко.

– Иди и от имени совета проси оружие у матросов.

Рудненко взял листок и кивнул Эльвиру и Барду:

– Идем!

На улице он сказал:

– Ты, наверное, Эльвира иди домой, а то вид у тебя еще болезненный. А твой муж пойдет со мной и включится в работу.

Эльвира попыталась возражать, но Бард поддержал Рудненко:

– Иди домой и жди меня, а завтра решим – включишься ты в работу или нет.

Эльвира по-особому, затаенно вздохнула и согласилась. Бард с Рудненко, взяв извозчика, помчались в порт.

Дома Эльвиру ждал неожиданный сюрприз. Родители были настроены на решительный разговор с дочерью. Первым начал Дувид, подталкиваемый взглядом жены:

– Эля, у нас с мамочкой к тебе серьезный разговор. Ты всегда росла послушной девочкой... ну, хотя бы до того времени, пока не связалась с этими... как их...

– Революционерами, – подсказала Ента.

– Нет... Не то... – замотал бородой Дувид.

– Большевиками, – подсказала Эльвира.

– Да, да! Именно с ними. Так вот, дочка, мы хотим, чтобы ты с ними разорвала и вернулась к нормальной жизни.

– Я что, живу ненормально?

– Нет, доченька... – Дувид замялся и снова посмотрел на Енту, словно ожидая от нее помощи, и мать стала говорить:

– Я думаю, Эля, что тебе надо жить, как положено женщине, будущей матери, – надо обрести семейный покой. У тебя есть муж, ты имеешь основу для нормальной жизни. Поэто-

му мы с папой долго думали и хотим, чтобы ты перестала мотаться по революционной жизни и стала вести добропорядочную жизнь, достойную замужней женщины.

– Я вас поняла. Вы хотите, чтобы я жила так же бесцветно, в страхе перед каждым днем, каждым неизвестным человеком, как живете вы? Я не желаю такой жизни! Вы знаете, что дает революция всем народам? Равенство, свободу, уважение к каждому, – она произнесла великие слова всех революций по слогам. – И это касается нас – евреев.

– Дочка, миленькая, – ласково ответил Дувид, – об этом может мечтать только великий Иегова, и только в его царстве можно получить все то, что ты говорила сейчас. На нашей земле этого не никогда не будет. Так говорит наш раввин, а он мудрый человек и ближе всех нас к Богу. А сейчас я только слышу – свобода, равенство... толку нет. Одумайся, Эльвира.

– Папа! – со смехом ответила ему Эльвира. —Талмудские рассказы не только не убеждают меня, а наоборот – мне хочется доказать вам, что человек сознательно может перестроить свою жизнь к лучшему. Большевики возглавили эту борьбу за человека, за его полное освобождение от предрассудков и темноты, которые прививались веками всякими священниками и раввинами.

Дувид как набожный человек обиделся на Эльвиру:

– Не говори так, доченька. Не говори так. Бог за надругательство над ним может мстить. Я хочу, чтобы ты просто

жила достойной жизнью. Ты с Митей не зарегистрировала брак, это плохо. Но ничего не потеряно, это можно поправить. Хочешь – венчайся по-нашему, можешь в православной церкви или заключить брак в городской управе. Сделай, как хочешь, мы с матерью не будем возражать. Но чтобы вы жили по закону.

– Да, дочка, – со слезами на глазах подхватила Ента. – У нас есть немного денег. Давай справим свадьбу, чтобы все видели, и нам не было стыдно перед людьми, и чтобы они не говорили, что у нас дочь распутная и непутевая. Давай оформим твои отношения с Митей по закону.

Дувид согласно кивал седой головой. Эльвире вдруг стало жалко своих старых родителей. Они ничего ей плохого не сделали. Она сама сломала их веками сложившийся уклад жизни, принесла им страдания. И Эльвира ответила:

– Хорошо. Мы с Дмитрием заключим гражданский брак, но никакой церкви...

– Хорошо, хорошо, – затряс бородой Дувид. – Как хотите, но только по закону. Мы всех соседей пригласим на свадьбу, пусть смотрят на вас и знают о том, что наша дочь вышла замуж.

Рыхлая фигура Енты тоже затряслась в знак согласия с решением дочери.

– А когда объявим о свадьбе?

– В ближайшее время свадьбы не будет, – ответила Эльвира. – Позже. Немцы взяли Николаев... и скоро будут в Хер-

соне.

– Как? Уже? Так быстро? – удивленно вскинул брови вверх Дувид.

– Да. Идут они быстро. Поэтому договоримся так: как установится нормальное положение в городе, так сразу же сыграем не свадьбу, а проведем небольшую вечеринку.

– Пусть будет так, – поспешно согласился Дувид и снова подчеркнул: – Только по закону, – он помолчал и потом продолжил: – А позже я найду ему компаньона, и он организует свое дело, и будете хорошо и славно жить, у вас будут дети, у нас внуки... – Дувид мечтательно зажмурил глаза, видимо, такая перспектива устройства дальнейшей жизни дочери его удовлетворяла.

Видя его состояние эйфории, Эльвира снисходительно улыбнулась: «Как знать, что будет дальше?». Она согласилась на предложение родителей из-за жалости к ним, чтобы их успокоить и закончить этот неприятный для нее разговор.

Поздно вечером пришел Бард. Как всегда после чего-то необычного он был возбужден. Эльвира накормила его, ему хотелось поделиться впечатлениями сегодняшнего дня с женой, но в присутствии Енты он не решался этого сделать. Потом они пошли спать в отдельную комнатку на первом этаже, где через стенку располагалась лавка.

– Ты знаешь, Эля, – взволнованно говорил Бард, – все рабочие готовы дать отпор немцам. Крестьяне, которые приезжали в совет, также обещают помощь. Они дадут продукты.

Немцы не возьмут Херсона! Не веришь?

– Верю. Но нас все равно мало, да и оружие не то, что у немцев. Тяжело будет.

– Ничего. Скоро должны подойти моряки. А они воевать умеют.

– Ложись спать, а то ты устал.

Но и лежа рядом с ней в постели, Бард не мог успокоиться и все рассказывал, где был сегодня и что там происходило. Наконец Эльвира прервала его изливания и тихим, затаенным голосом спросила:

– Митя! Хочешь я тебе что-то такое скажу, что у тебя голова закружится?

– Говори, – Бард не мог отключиться от сегодняшних впечатлений.

– Ты еще не готов слушать. Остынь... – она глубоко вздохнула. – Ты знаешь, я была сегодня у врача? Так знаешь, что он мне сказал?.. – она заколебалась и потом шепотом, но решительно продолжила: – У меня, Митя, будет ребенок.

Потрясенный этим известием, Бард сначала молчал, а потом, почему-то тоже шепотом, ответил:

– Это хорошо. Хорошо!

Он сделал попытку обнять и поцеловать ее, но она отвела его руки сторону и отклонила голову.

– Я понимаю, что хорошо, но в такое время... как мне быть, что делать дальше? Я ведь выйду из строя на какое-то время... или вообще... и не смогу помогать товарищам по

борьбе! Ты об этом задумывался?..

– Нет. Но я рад, что у нас будет ребенок. Понимаешь? А с остальным мы справимся.

– Спасибо тебе, Митя. Ты добр. Мы с тобой живем сейчас просто так, а надо заключить брак. Родители не против.

– Я всегда согласен. Я ж тебя люблю, моя родненькая! Ты просто не знаешь – как. Я так не любил ни мать свою, ни братьев, никого...

Его голос прерывался от волнующего известия, он обнял Эльвиру и поцеловал ее долгим и нежным поцелуем. Она мягко отстранилась от него:

– Я знала, что ты будешь рад этому. Но как все не вовремя... обидно!

– Ничего нет обидного. Мы поедem к моим родителям, и они будут рады тебя встретить.

– Нет. Туда мы не поедem. Видимо, придется нам пробыть в Москву или еще куда-то, – там у нас есть родственники, – и начинать жить по-новому. Здесь нам оставаться нельзя – придется скрываться от немцев и гайдамаков. Они не пожалеют меня в любом состоянии, не говоря о тебе.

– Давай переберемcя туда, – согласился Бард. – Но на меня надеются здесь, в Херсоне. Я сегодня это понял. Вот отгоним немцев и поедem.

– Все не так просто, Митя. Конечно, мы пока не покинем город. Будет нечестно его в такое время покинуть. А позже надо будет что-то решать серьезно.

– А теперь я прошу тебя: не участвуй в опасных делах. Береги себя и больше будь дома.

– Не смогу. Это будет подло по отношению к моим товарищам. Они об этом ничего не знают, пока по мне не заметно, что будет ребенок, я буду участвовать в агитационной работе и даже в боях, как на «Арсенале». Помнишь?

– Да. Но все равно – береги себя.

Теперь уже Эльвира, что случилось с ней нечасто, обняла и поцеловала Барда:

– Ты у меня добрый, хороший. А теперь спи.

Через три дня в город вошли немцы. Кратковременные, небольшие бои произошли на северных и западных окраинах Херсона, и красные отряды отступили в низ города, к Днепру, куда немцы и гайдамаки в первые дни решили не соваться. Сразу же по городу были расклеены заранее заготовленные афиши с приказом: немедленно сдать оружие, соблюдать порядок и полностью подчиняться новым властям. Но оккупанты, одновременно с призывами о лояльности, начали врывать в квартиры и дома и грабить херсонцев. Сопrotивляющихся убивали на месте. И в первый же день в сердцах горожан вызрели гнев и ненависть к врагам, как немецким, так и галицийским. Город представлял как бы слоеный пирог, где действовали одновременно и красные, и захватчики – открытой линии фронта не было.

Отряд рабочих и солдат из пятнадцати человек под командованием Рудненко занимал позиции на Забалке, – там,

где начинались рабочие кварталы. Ему был дан строгий приказ – в бой не вступать, чтобы не спровоцировать крупных военных действий, и дать возможность переформировать отряды для завтрашнего наступления. Но в случае наступления немцев дать им бой и не допустить их продвижения к Днепру, а также не позволить врагу совершить погромы рабочих и еврейских кварталов.

В этом отряде находились Эльвира и Бард. Она, несмотря на уговоры мужа, решила защищать родной город. В этот день немцы и гайдамаки, видимо, не ставили своей целью полностью захватить город, укреплялись в центре, совершали налеты на магазины и склады, одновременно грабили дома евреев, в том числе – расположенные в рабочих районах.

После полудня отряд Рудненко получил приказ скрытно передислоцироваться ближе к центру города. Там бойцы перекрыли улицу старыми деревянными ящиками, взятых из неподалеку находящегося магазина, а бойцы заняли позицию вдоль улицы – во дворах и хатах. Ближе к вечеру на улицу, которую контролировал их отряд, въехала открытая бричка, запряженная одной лошадью, в которой сидели несколько гайдамаков, остальные шли рядом. Они громко разговаривали, находясь в веселом состоянии. Их усатые рожи настороженно присматривались к окружающим домам. Гайдамаки ехали грабить. Видя приближающегося противника, Рудненко приказал:

– Огня не открывать. Я сейчас с ними поговорю.

Когда бричка остановилась в метрах десяти от жиденской баррикады, Рудненко, сунув маузер в кобуру, резко вышел из ворот дома и остановился в метрах пяти от брички. От неожиданности гайдамаки открыли рты и стали хвататься за винтовки.

– Стоп! – закричал Рудненко. – Один выстрел и всех перекрошим с пулемета! Куда едете, панове?

Гайдамаки, не ожидавшие отпора со стороны красных почти возле центра города, где они укрепились, стали затравленно озираться вокруг, видя стволы винтовок, направленные на них из щелей заборов, и поняли, что дело разворачивается нешуточное.

– Куда ж вы, хлопцы, направляетесь? – снова насмешливо переспросил Рудненко, понимая, что инициатива сейчас в его руках.

Толстый гайдамак с багровым, мясистым лицом, – видимо, старший, – запинаясь, ответил:

– Да с жидками побалакать хотим. Рабочих не будем трогать.

– И для разговора бричку взяли?! – заорал вдруг Рудненко и, выхватив маузер, приказал: – Бросай оружие!

Бард не заметил, как вспорхнула со своего боевого места Эльвира и в несколько шагов оказалась у брички, размахивая наганом. Она крикнула старшему гайдамаку:

– К жидам в гости едешь!? А «Арсенал» помнишь?!

И выстрелила в гайдамака. Тот с раскрытым от удивления

ртом осел и повалился на дно бочка. Бард бежал следом за женой. Из дворов выскочили красногвардейцы и окружили гайдамаков. Видимо, хмель у воякив вышел, и они испуганно смотрели на расшарившие лица рабочих и солдат, которые выхватывали у них из рук винтовки. У Барда настойчиво билась в голове мысль: «Зачем она это сделала? У нее ж будет ребенок. Ей нельзя убивать людей!»

Разоруженных гайдамаков затолкнули в один из дворов. Рудненко не знал, что с ними делать – или отвести в штаб, или расстрелять здесь же. Но судьбу гайдамаков решил разговор между ними. Один из гайдамаков дрожащим голосом спросил, обращаясь к Рудненко:

– Пан и панове, вы теж украинцы?

– Украинцы, – ответил Рудненко. – Только не паны, а товарищи. И мы не такие украинцы, как вы.

– А яки?

– Мы черноморские казаки, из запорожцев. А вы яки украинцы?

– Мы з Галиции.

– Значит, австрийские, – засмеялся один из рабочих,

– Так, так, – согласился гайдамак.

– А мы, значит, российские украинцы. Ха-ха!

– Мы, панове, первый раз так решили съездить к жидам.

Вы нас простите? Мы больше не будем.

Но эти слова вызвали возмущение рабочих.

– Вы залили кровью нашу Украину, в каждом городе уби-

ваете рабочих и их семьи! Теперь расплакались, прощения просят!

Рудненко после этих слов что-то шепнул одному из своих солдат. Тот взял винтовку наперевес и скомандовал гайдамакам:

– Руки назад! В колонну по одному – вперед!

Гайдамаки, с которых слез лоск победителей, удивленно загудели:

– Да мы зараз позовем немцев, они вас с пушек разнесут в дребезги. Только троньте нас!

– Не успеете, – и солдат взмахнул винтовкой. – Стройся! Пошли!

Гайдамаки затравленно поглядывали на красных:

– А куда?

– Хотели в штаб, но раз вы угрожаете, разберемся с вами сейчас.

Их окружили и повели через внутренний двор на другую улицу. Рудненко приказал Барду и еще нескольким красногвардейцам остаться здесь и наблюдать за улицей, сложить во дворе отобранные у гайдамаков винтовки, а сам пошел следом за арестованными. Через несколько минут послышались беспорядочные выстрелы.

– Что там творится? – спросил Бард Эльвиру.

– Расстреляли гайдамаков, чтобы не повадно им было ходить не только в еврейские кварталы, но и в наши города, – жестко ответила она и так крепко сжала губы, что они побе-

лели.

Бард хотел сказать, что она неправильно поступила, застрелив гайдамака сама, – его бы и так расстреляли, но, увидев ее ожесточившееся лицо, решил не заводить пока этого разговора.

Вскоре пришел Рудненко, а с ним другие красногвардейцы. Пряча друг от друга глаза, будто они совершили недостойный проступок, стали занимать свои позиции.

– А вдруг немцы сейчас нагрянут? – спросил солдат, который приказывал гайдамакам строиться.

– Уже не придут, – ответил Рудненко. – Темнеет. А они не любят воевать ночью.

Когда совсем стемнело, к ним пришел отряд матросов. Позже подошли рабочие, которым отдали захваченные у гайдамаков винтовки. Матросы изредка прикладывались к горлышкам бутылок, которые были с ними, расспрашивали рабочих, как им удалось взять в плен гайдамаков, одобрительно похлопывали их по спинам и говорили:

– Так и надо с ними. Нечего ходить им в наши края.

К утру красные отряды выдвинулись к центру города и, когда весенний чистый рассвет забрезжил на востоке, началось наступление. Немцы и гайдамаки, непонимающие спросонья, что происходит, выскакивая на улицы, становились жертвами пуль и штыков разъяренных рабочих, солдат и матросов. Но уже через полчаса немцы пришли в себя и начали вести оборонительные бои по всем правилам военно-

го искусства. Здания, которые были ключевыми в обороне, спешно укреплялись, солдаты окапывались, пулеметы занимали позиции с наибольшими секторами огня, пушки из полузакрытых позиций вели огонь по городу. Красных поддерживала только артиллерия двух миноносцев, стоящих на ремонте в доке. Вулканические плитки тротуаров и гранит улиц были скользкими от застывшей крови. Но ярость наступающих была столь велика, что пулеметы и пушки не могли их остановить. Они мстили захватчикам за свой, впервые за всю его историю поруганный врагами, город.

К полудню немцы отступили к вокзалу и стали грузиться в вагоны. Гайдамаки отступали в пешем порядке, и к вечеру оказались в пятнадцати километрах от города. Победа херсонцев над иностранными пришельцами была полной.

Газета «Солдат и рабочий» восторженно писала о победе херсонцев: «Героическим ударом доблестные товарищи-фронтовики выбросили из ворот города наглую шайку немецких грабителей вместе с кучкой предателей Украины – наемников Украинской буржуазной рады, как выбрасывают из комнаты противную ядовитую гадину. Пять суток длился бой между храбрыми самоотверженными защитниками Родины и революции, с одной стороны, и бандой германских империалистов, с другой. Пять суток город испытывал все ужасы войны. Снаряды с визгом носились над городом, наводя панику на жителей; трещали пулеметы и ружья, унося десятки жертв с обеих сторон. И тяжело ухали пушки...

Необходимо воздать должное товарищам-фронтовикам и рабочим, живущим на Забалке, Сухарном и Военном форштадте, и преклониться перед их храбростью и безумной отвагой. Даже дети в этих районах – и те, не покладая рук, работали наравне со взрослыми: носили снаряды, пищу, перевязочные материалы и сами участвовали в боях.

А тем товарищам, которые защитили свободу от грубого насилия германских варваров и кровью начертали свои славные имена на страницах истории великой русской революции – вечная память.

Херсон – маленький городок – сделал величественный, прекрасный жест протеста против насилия со стороны германских захватчиков и империалистов. Кто знает, быть может, искра, брошенная Херсоном, обнимет пожаром восстания всю Россию! Кто знает, быть может, этот жест будет навсегда запечатлен на страницах истории. Голодные и босые войска Советской Российской республики сумеют отстоять свою свободу, защитить завоевания революции и не дадут задушить ее германским грабителям – виновникам мировой войны. Разгневанный народ укажет им их место...»

Новороссия не считала себя частью Украины – это была часть великой России.

Когда, поздно вечером, Бард и Эльвира пришли в совет, там царило радостное возбуждение.

– Город наш! – закричал Бард Михайловичу.

– Да, наш! – эхом отозвался Михайлович и, увидев Эль-

виру, обратился к ней: – А знаешь, какой ценой досталась нам победа? Более двухсот наших товарищей погибли сегодня. Более двухсот!

– Но врагов же больше полегло?! – снова крикнул Бард.

– Больше. Но жалко наших товарищей. Вечная им память. Эльвира, ты далеко не уходи, – снова обратился Михайлович к Эльвире. – Можешь нам потребоваться. Найди где-то место здесь, и ночуй с мужем.

Они остались в здании совета. Бард всю ночь сидел на стуле. Эльвира спала, положив голову на его колени и, когда Бард скидывал с себя дремоту, то ласково гладил ее волосы, чувствуя себя защитником не только родины, но и ее, а самое главное – кого-то другого, еще неизвестного ни им, ни миру.

Так началась семнадцатидневная жертвенно-величественная эпопея маленького южнорусского городка – Херсона, бросившего неравный вызов внешнему врагу Украины – Германии и Галиции.

Следующие дни город представлял собой радостно-расстроженный улей. Немцы с сичевиками несколько раз пытались атаковать город, но неудачно. В Херсон стекался народ со всего Причерноморья. Весть о победе разнеслась по всем новороссийским губерниям, и люди шли сюда, чтобы дать отпор захватчикам – мужчины и женщины, говорящие по-русски и по-украински, с оружием и без него, но с мыслью, что врага надо наконец-то остановить любой ценой, хоть цена эта будет – жизнь.

Разнеслась еще одна радостная весть – в Николаеве началось восстание против захватчиков – николаевские докеры и матросы Черноморского флота ведут упорные бои с врагом. Ликование охватило защитников Херсона – не допустим врага на Черное море! Идем на помощь николаевцам! А потом на Одессу! И южные губернии станут Новороссийской Республикой! Черное море и Северное Причерноморье наше, не зря за него наши предки проливали кровь, отвоёвывали море у турок. И такое лихорадочно-радостное настроение херсонцев было доминирующим над реалиями военно-политической обстановки.

Эльвира работала в совете. Ее, как образованного человека, Михайлович попросил вести протоколы заседаний совета, а позже «комитета пяти», руководившего вооруженным

восстанием.

Сегодня в зале собраний присутствовали деятели всех партий города, всех слоев общества. Обсуждался вопрос о дальнейших действиях против оккупантов. Михайлович открыл собрание. Он кратко рассказал о героизме херсонцев и провозгласил в конце:

– Да здравствует социалистическая революция!

Одна часть зала из рабочих, солдат и матросов, радостно вскинула руки вверх. Другая часть промолчала, нервно стиснув руки.

От меньшевиков и эсеров выступал общий представитель. Он также вначале приветствовал победу революционных сил в Херсоне и сказал:

– Несмотря на наши разногласия с большевиками по вопросам дальнейшего развития революции, мы едины в том, что враг у нас один – немецкий империализм и националистическая украинская рада. Наши сторонники участвовали в боях за освобождение Херсона. Сейчас мы полностью вливаемся в ряды защитников, разногласия с большевиками нами забыты! Да здравствует революция!

Председатель земельных комитетов Херсонской губернии заявил, что продовольствие они городу поставят, и пообещал направить всех желающих, особенно бывших фронтовиков, на помощь Херсону.

В ответ на эти слова Михайлович встал и торжественно произнес:

– К нам, в Херсон, из соседней Таврической губернии прибыл крестьянский полк в тысячу человек во главе с товарищем Матвеевым. Спасибо нашим землякам за такую помощь! Давайте слово дадим товарищу Матвееву.

Зал бурно заплодировал. Матвеев, грузный мужчина с окладистой бородой, встал и, комкая грубыми руками военную фуражку, глухим голосом стал ронять деревянные слова:

– Мы хотим вместе с вами бить этих... гадов... немцев и раду. Если их не рострошим вот здесь... они пойдут дальше... к нам. Таврия всегда была с Расеей... и мы все запорожцы... стояли на шляху врагов забором... мы раздавим всех басурман немецких и украинских... да здравствует революция! Земля все равно станет селянской!

Так неожиданно закончил Матвеев. Но ему бурно рукоплескали и кричали «ура»!

Потом слово попросил товарищ председатель херсонского дворянства Всеславский, мужчина лет пятидесяти, с холеным лицом. Встав перед залом, он развернул газету «Солдат и рабочий» и громко, с чувством стал читать: «Героическим ударом товарищи-фронтовики выбросили из ворот города наглую шайку немецких грабителей вместе с кучкой предателей Украины, наемников украинской буржуазии, как выбрасывают из комнаты противную ядовитую гадину».

Всеславский отложил газету и посмотрел в зал. Публика, вначале готовая принять его свистом, после услышанных га-

зетных строк притихла и с вниманием слушала оратора. Все-славский понял, что он сумел заставить слушать себя, поломал лед недоверия толпы к дворянству, и продолжил:

– Я зачитал отрывок из вашей газеты, потому что хочу приветствовать доблестных защитников нашего родного города.

И снова в зале раздались крики «ура!».

– Настоящие патриоты России, несмотря на политические разногласия, должны объединиться перед лицом опасности отечеству. Я понимаю, как пишут газеты, – мы являемся классовыми врагами, а наш-то класс и хотят уничтожить. Но сейчас интересы родины должны быть выше классовых интересов, и все мы должны встать на ее защиту. Наше дворянское собрание решило поддержать патриотов отчизны и жертвует в фонд обороны города один миллион рублей, собранных по подписке.

Он повернулся к Михайловичу и протянул ему пакет, в котором лежали деньги. Поклонившись головой к залу, он сел на свое место.

Вначале зал, изумленный таким поступком своего классового врага, молчал, пока не раздался крик:

– Откупиться хотят за нашу пролитую кровь!

И зал, перед этим внимательно и уважительно слушавший выступления дворянина, возмущенно зашумел. Михайлович поднял руку, призывая всех к порядку.

– Давайте вначале поблагодарим наше дворянство за та-

кой подарок. Нам деньги сейчас крайне необходимы. Но гражданин России Всеславский сказал не все. У дворян создан офицерский союз. Вот сейчас выступит представитель от союза – гражданин... он сам представится.

Встал офицер в форме, но не представился:

– Мы не знали о готовящемся восстании, а то бы приняли в нем самое активное участие. Мы готовы оказать не только консультативную помощь, но и лично возглавить соответствующие нашему рангу и званиям подразделения. Мы уже обсудили этот вопрос с гражданином председателем совета. Он дал на это согласие. Когда вопрос стоит о защите России, мы всегда вместе со своим народом. Сейчас именно такая ситуация – на нас идет внешний враг. Распрей у нас не должно быть, мы должны выступить, как в Отечественную войну против Наполеона, в одних рядах. Мы должны защитить наш город и показать им, что перед врагом мы едины.

Он сел, и зал с удовлетворением захлопал в ответ на его слова. Потом выступил командир интернационального отряда, заявивший, что немцы, чехи, австрийцы, сербы, греки, болгары и представители других народов его отряда – всех Эльвира не успела записать – готовы умереть за мировую революцию, и до последней капли крови будут защищать революционный Херсон.

От немецких колонистов, которых много проживало на Юге России, выступал Бауэр:

– Я прошу не путать нас с теми немцами, которую идут

сейчас сюда, – начал он. – Наш народ живет здесь больше ста лет, и всегда дружно с другими народами, как братья. Наши деды, отцы, сыны служили в российской армии и продолжают служить. Мы верно служили и служим России. Мы давно стали русскими людьми немецкой национальности. У нас даже партия так называется – «Русские люди немецкой национальности». Мы поддерживаем революционный Херсон, и в обороне города поможем продовольствием и материально.

Ему тоже хлопали, понимая моральную щекотливость его положения. Выступил представитель еврейской общины, который также приветствовал победу революционных сил, считая их главной опорой, которая способна защитить его народ от погромов.

Эльвира записывала, что успевала. Ей нравилось собрание, выступающее за объединение всех сил. Это же отметил и Михайлович в заключительном слове:

– Я хочу поблагодарить всех, кто оказал нам поддержку. Пусть она выражалась словами, деньгами, военной силой – спасибо всем! Если бы мы всегда так дружно действовали, то никакая сила, будь то немцы или националистическая рада, отдавшая народ на позор нашему общему врагу, не сломила бы нас.

Эти слова понравились всем без исключения, но, когда он стал говорить дальше, это вызвало кривые улыбки у дворянства, состоятельной части собрания:

– Сейчас к нам подходят все новые и новые силы. Мы не

только можем отстоять свой город, но и окажем помощь Николаеву, а потом пойдем на Одессу и Киев, а там на Берлин, поднимем немецкий народ на революцию, а потом и всю Европу. Товарищи! Близка мировая революция, и воплотится в жизнь многовековая мечта угнетенных о полной свободе без буржуев...

При этих словах Всеславский и другие представители дворянства встали и пошли к выходу. Михайлович, увидев это, сказал им вслед:

– Уходите! – а потом к залу: – Вот видите, когда речь идет о России – они «за». Когда говорим по-классовому – мировая революция, нет угнетенным и эксплуататорам, – им не нравится. Только на коротком пути они попутчики. Но пусть пока будет так. А теперь, соблюдая революционную дисциплину, укрепляйте свои боевые ряды и готовьтесь в поход против мирового империализма. Да здравствует мировая революция!

Еще долго в ушах Эльвиры звучали крики «ура!» ликующих людей.

Но события на следующий день резко изменились. Из Николаева стали приходить сообщения, что немцы артиллерийским огнем уничтожили рабочие кварталы и установили контроль над городом. А потом стали прибывать в Херсон уцелевшие николаевские защитники – кто по суше, кто по морю. Усталые, израненные бойцы рассказывали о беспощадности немцев и гайдамаков к населению, о массовых рас-

стрелах николаевцев. «Пригласили освободителей на Украину», – горько шутили они. Эти события охладили революционный пыл херсонских руководителей. Стало ясно, что о наступлении не может быть и речи. Надо было готовиться к серьезной обороне. В Херсон продолжали стекаться новые отряды для его защиты. Все были настроены на серьезные бои, на уничтожение. Прибыл из Крыма отряд моряков под командованием Мокроусова. Собирались значительные силы, но их было явно недостаточно не только для наступления, но и для обороны города. Но народ шел и записывался в красные отряды.

Возле здания совета круглыми сутками толпились люди. Селяне привозили хлеб и другое продовольствие и сдавали совету по твердой цене. Часть полученных денег отдавали революционной власти. Здесь же записывались в красногвардейские отряды. Приходили старики и дети. Некоторых пацанов Бард, который участвовал в формировании отрядов, отправлял домой, к родителям. Но они снова возвращались и просили записать их в красные отряды «для борьбы с врагом». Рядом, в городском саду, проводились военные занятия с вновь записавшимися. Немцы, покончив с Николаевым, сосредотачивали силы против Херсона, и кровопролитные бои были близки.

Был конец марта. Яркое по-весеннему, но еще не жгучее солнце прогревало чистый приморский воздух, вселяло жизненные силы в людей. В один из таких дней Бард, отводя но-

вую команду на военное обучение в парк, увидел на улице Сергея Артемова в морском бушлате. От неожиданности у него перехватило дух, но Сергей уходил, и он закричал ему во весь голос:

– Сергей! Серега!

Но тот не слышал и уходил дальше. Тогда, оставив свою команду, Бард бегом бросился вслед. Схватив его за плечо, он еще раз срывающимся голосом произнес:

– Сережа!

От неожиданности, что кто-то положил ему руку на плечо, Сергей отпрянул, но, увидев радостное лицо Барда, воскликнул:

– Дмитрий? Ты?!

– Я! Подожди минуту, а лучше пойдём со мной. Он схватил за руку Сергея, словно боясь, что он уйдет, и потянул к группе вновь записавшихся красногвардейцев.

– Я сейчас освобожусь. Только отведу их в парк, – объяснял Бард. – Идем со мной?

Сергей пошел рядом с ним. Отдав команду инструктору – бывшему солдату-фронтовику, Бард спросил Сергея:

– Как ты очутился здесь? Какими ветрами?

– Не видишь по форме – морскими ветрами! – ответил Сергей, который тоже был очень рад этой встрече. – Я все хочу разыскать тебя с Элей. Да все времени не хватает. Как вы здесь?

– Пока все нормально. Пойдем в совет, Эльвира сейчас

там.

– Некогда, – возразил Сергей. – Давай лучше встретимся вечером.

Бард согласился, и решили, что вечером Сергей придет в Совет, и они расскажут друг другу о своей жизни, за время пока не виделись.

Вечером Сергей был в совете, который не прекращал своей работы и ночью. Все куда-то спешили, все были заняты делом. Он разыскал комнату, в которой находились Эльвира и Бард. Они радостно его встретили, а Эльвира расцеловала в щеки. Сергей отметил, что Эльвира похудела, на смуглых щеках появился розоватый лихорадочный оттенок – признак не прошедшей болезни или усталости. Только глаза стали еще больше, чем были раньше, и сверкали гранатово-черным блеском.

Сели за стол. Эльвира достала из тумбочки ужин и бутылку водки, но Сергей запротестовал:

– Нет. Сегодня выпивать не будем.

– Почему? – спросил Бард.

– Матросики каждый день к вечеру напиваются, часовых не выставляют. Надо хоть кому-то быть трезвым.

– Неужели так пьют?

– Да. Я с ними уже месяц нахожусь и заметил – в море не употребляют. Как выйдут на берег – как с цепи сорвались. Никакой дисциплины, не говоря уже о революционной. Но сражаются они храбро, хотя и безграмотно.

– Да, я слышала об этом. Расскажи, Сережа, где ты был все это время?

– Везде, – Сергей тяжело вздохнул. – Сначала расскажите, как вы сюда добрались и как сейчас твое здоровье?

– О, сюда мы добрались вроде бы нормально, – со смехом начал рассказывать Бард. – Денег хватило, даже осталось. Когда ее отец предложил мне деньги, так я в ответ вытащил ему целую пачку из кармана. Он сразу же и сел...

– Не болтай, Митя, – остановила его Эльвира. – Я все-таки сильно переболела. Спасибо тебе, Сережа, что ты поступил благородно и отправил нас сюда.

– Как? – удивился Сергей. Впервые в жизни он слышал, как его назвали словом «благородный».

– Если бы не моя болезнь, ты бы ушел на Донбасс, а так пришлось ехать с матросами в Одессу. Я ж знаю, что ты пошел на это ради нас. А нас довезли вполне приемлемо. Еще б немного промедлили – и оказались бы у немцев в тылу. Так?

– Да, такая опасность была. Могли бы попасть и к немцам. Но я думаю, что-нибудь другое придумали бы. Ну, а как вас родители приняли?

Бард, который был недоволен высказыванием Эльвиры в свой адрес, недовольно ответил:

– Я у них последнее время не мог есть. Все по-отдельности – мясо, рыба, картошка, бобы, – при упоминании о бобах он сморщился, видимо, они ему уж очень надоели. – Но так все хорошо. У нее родители – добрые люди.

– Не слушай его, Сережа. Он привык уже все есть по-отдельности. Но как ты? Расскажи, что делал этот месяц?

Сергей вздохнул и закурил папиросу. Ему не хотелось рассказывать о себе и поэтому он коротко сказал:

– Стал моряком за этот месяц. Из Одессы отправились в Крым, а потом сюда с отрядом Мокроусова. Хотелось узнать о вас, да и пора снова сразиться с немцами – с июня прошлого года не встречался с ними. Они хорошие вояки, не то, что гайдамаки.

– Спасибо, что еще помнишь о нас. А что случилось с Черноморским флотом? Почему матросы разбежались по разным сторонам?

Сергей затаился папиросным дымом и, выпустив его изо рта, медленно произнес:

– Флотские офицеры открыто выступает против советской власти. Здесь еще рада вмещалась и претендует на флот. Ее политика такая – как можно больше сделать не только новой власти, но и всей России. Так вот, многие офицеры решили передать российский флот раде. По существу – предали. А матросы... что с них взять? Революционности много, а идейной закалки никакой. Большинство из них идет за анархистами. Никого и ничего не признают. Только революция, а какая – все равно. Поэтому у них нет ни дисциплины, ни порядка, а только пьянки и самосуды. Да еще многочасовые собрания – как дальше двигать революцию. Многие матросы запутались во всех этих событиях, поэтому и пьют.

– А ты сейчас кем у матросов? – спросил Бард.

– Я начальник пулеметной команды в отряде Мокроусова.

Но всего пять пулеметов. Вот сейчас разбросал их по всему фронту, чтобы закрыть дырки в обороне, а теперь хожу переживаю – эффективно ли они расположены? Неудачная оборона. Надо было оборону вынести подальше от города. Вы ж немцев только выгнали из города, а не погнали их дальше. Вот это плохо. А теперь они рядом, тянут артиллерию, броневики... тяжело придётся, – Сергей глубоко вздохнул.

– Ты думаешь, немцы возьмут Херсон? – спросила Эльвира.

– Да. Это дело времени.

– Но у нас такой революционный подъем среди народа... даже богатеи – и те нас поддерживают. Никто не хочет отдавать Херсон немцам. Это же будет впервые в истории нашего города – чтобы вместо российского флага, развевались немецкий и жовто-блакитный флаги. Лучше умереть, чем это видеть! – у Эльвиры на глазах появились слезы. Видимо, ей было до боли обидно за свой город. Она закончила: – Все погибнем. Только по нашим трупам они войдут в город!

– Да. Наверное, будет так, – подтвердил Сергей. – Я смотрю, народ настроен очень решительно. Но немцы нас сомнут. У них армия, а у нас разрозненные отрядики, которые подчиняются своим командирам. Вот в чем беда. Но бой дадим им очень серьезный. Это не Круты, где против нас пустили необученных пацанов. Здесь немцы. Против них тяжело. Но

я хочу посчитаться с ними за свое ранение.

Все на некоторое время замолчали. Потом Эльвира спросила:

– Раз не будешь выпивать, то что-нибудь поешь?

– Я не голодный, – возразил Сергей, но взял в руки кусок колбасы с хлебом и стал жевать.

В дверь заглянули и позвали Эльвиру. Она вышла. Сергей посмотрел на Барда:

– Стихи еще пишешь?

– Некогда. Все дела, война, времени нет.

– А как война закончится, снова начнешь писать?

– Не знаю, – ответил Бард и, наклонившись к уху Сергея, он шепотом сказал: – Серега, знаешь? У нас будет ребенок.

У Сергея от такого признания кусок колбасы застрял в горле. Он кашлянул и выдавил из себя:

– Поздравляю. Вы молодцы. Так держать, как говорят матросы. Давно об этом узнал?

– Совсем недавно, – наивно ответил Бард. – Вот еще почему нельзя отдавать Херсон немцам. Лучше, как сказала Эльвира, умереть.

Сергею не хотелось больше, после такого известия, огорчать Барда:

– Может, и не отдадим. Посмотрим. Серьезные бои впереди.

Вошла Эльвира.

– Пришли отец и Исаак. Это мой брат, – пояснила она. –

Зовут домой. Мы уже дома не были неделю. Я сказала, что мы сегодня придем к ним. Собирайтесь.

– Я не пойду, – ответил Сергей. – У меня заботы совсем другие. Пока матросы отдыхают, мне надо за них нести вахту. Кто знает, может, завтра утром начнется штурм города. Надо быть готовым ко всему.

Эльвира собрала остатки еды, пожурила мужчин, что они ничего не ели, и они все вышли из совета. В темноте весеннего вечера, на улице их ждали старый Дувид и Исаак. Сергей поздоровался с ними и сразу же стал прощаться.

– Папа! – с упреком обратилась к отцу Эльвира. – Это Сергей. Я вам рассказывала, как он спас меня больную. Уговори его, чтобы он пошел к нам в гости и переночевал у нас.

– Да! Да! – засуетился Дувид. – Я вас приглашаю, молодой человек, спаситель моей дочери, к нам.

Но Сергей решительно отказался, и они расстались.

По дороге домой старый Дувид выговаривал Эльвире, что она забыла не только дочерний долг, но и заставляет стариков переживать за нее. Исаак, не отличавшийся разговорчивостью, всю дорогу молчал, как и Бард.

Дома старая Ента со слезами на глазах так же, как ранее, стала укорять дочь, что она совсем забыла дом и ей мило где-то быть с чужими людьми, а не с родными. Снова Барду пришлось есть отдельно рыбу и бобы, хотя он признавался сам себе, что они приготовлены вкусно. После ужина Эльвира зашла в комнату к сестре Изе. Та радостно бросилась

сестре навстречу, обняла за шею и поцеловала в губы, чем очень удивила Эльвиру – такое раньше редко бывало.

– Изочка, что с тобой?

– Сестричка, дорогая, – тараторила Иза. – Я так рада, так рада!

– Чему?

– У тебя будет ребенок! – задыхаясь от восторга, быстро проговорила Иза. – Я так рада. Отец с мамой тоже.

– Откуда они узнали?

– Маме сказали. Я так рада, – щебетала Иза.

– Так вот почему за нами пришли отец и брат, – только дошло до Эльвиры. – Спасибо, Иза, что радуешься за меня.

Эльвира в ответ поцеловала сестру. Она ее очень любила – за искренность и непосредственность, что было так несвойственно Исааку. Эта любовь была обоюдной, – впитанная со дня рождения младшей сестры, когда старшая сестра относилась по-матерински к крохотному существу, одновременно заставляя относиться к себе как к мудрому и всезнающему человеку, с которым сестра всегда может посоветоваться и получить авторитетный совет. Эта любовь, замешанная на одной крови, покоилась не на сознании, а на чувствах инстинктивного понятия болей и радостей каждой из них.

Когда Эльвира снова вышла в кухню, со стола было все убрано. Дувид о чем-то беседовал с Бардом, и тот в ответ все время согласно кивал. Но это он делал всегда при разговоре с родителями Эльвиры, стараясь не вступать в спор. Она

села за стол. Дувид замолчал и посмотрел на Енту. Та села напротив Эльвиры, и возникло неловкое молчание, которое наконец прервала Ента.

– Доченька. Мне жена того врача, к которому ты ходила, сообщила радостную новость, – она заулыбалась. – У тебя будет ребенок. Надо, чтобы он родился по закону.

– А что здесь незаконного? – спросила Эльвира, которую этот разговор раздражал, и она чувствовала себя в данный момент как-то неуютно. Бард смущенно молчал и не вмешивался в разговор.

– Эленька, – твердо, что было ему не свойственно, сказал Дувид. – мы с тобой говорили уже по этому вопросу. Оформите свои отношения с мужем официально и никогда больше об этом говорить не будем. Послушай нас, старых, мы хотим вам добра.

Чтобы закончить этот неприятный разговор, Эльвира решительно сказала:

– Хорошо. Мы завтра распишемся с Дмитрием в совете. Это вам подходит?

– Да, да. Правильно. Хоть где-нибудь зарегистрируйте брак, лишь бы по закону. А я завтра позову соседей, и мы сообщим им об этом, они вас от всей души поздравят, и проведем если не настоящую свадьбу, то свадебный вечер.

После этого решения пошли спать. Уже в постели Эльвира сказала Барду:

– Никуда не денешься от этой регистрации. Мы и без вся-

ких бумажек – муж и жена. Но, сам видишь, какие у них взгляды – устаревшие. Завтра все оформим, как они говорят, по закону. Хорошо?

– Да, конечно, – согласился Бард.

Он обнял ее и поцеловал, зарылся лицом в ее волосы:

– Я люблю тебя, слышишь?

– Слышу. И я тебя.

А в другой комнате, также в постели, довольный Дувид шепотом говорил Енте:

– Я так мечтаю о внуках. А то старших внуков не видел, не разговаривал. Я им чужой дед, там у них есть свой дед, родной. А это будет свой внук, будет знать меня с детства.

– Дувид, – укоризненно ответила ему Ента, – когда ты перестанешь быть ребенком и бросишь мечтать. Лучше подумай, какие завтра сделать покупки и кого пригласить.

Дувид обиженно замолчал. Он понимал, что жена права. Как ни говори, а последнее слово всегда оставалось за ней. За это и любил Дувид свою Енту.

Но утром, только начало светать, послышались залпы орудий и разрывы снарядов в городе. Начался штурм Херсона немцами. Немного погодя по немецким позициям ударили орудия миноносцев, стоящих на ремонте в порту. Эльвира и Бард, в эту ночь крепко спавшие на мягкой постели после стольких дней недосыпания, вскочили с кровати, быстро оделись и выскочили из дома.

– Куда вы? – прокричал им вслед растерянно Дувид. – Не

задерживайтесь вечером! Ждем!

– Ждите! – ответила Эльвира. – Постараемся прийти.

Но они не пришли ни в этот вечер, ни на другой... и напрасно ждала их семья в этот вечер, собравшаяся за недорогим праздничным столом. Не пришли и соседи, напуганные наступлением немцев на город. И старый Дувид от недоумения выдергивал белые волоски из своей бороды и в ярости бросал их на пол, ругая непутевую дочь. А Ента то вслух, то про себя повторяла:

– Будь проклята эта война! Пропади пропадом революция!

Немцы, расправившись с восставшим Николаевым, бросили все силы южного направления на Херсон. Надо было взять его быстро, иначе останавливалось общее наступление по Украине. Оставлять непокоренный город в своем тылу немцы никак не могли. Артиллерийская подготовка проводилась по всем правилам позиционной войны – пока не будет разрушен передний край обороны, немцы в атаку не шли. И, только убедившись, что обороняющиеся не стреляют, бросали пехоту на безмолвные позиции. И так день за днем. Десять дней! Но потери у немцев и гайдамаков все равно были большими, и в ярости они срывали свою злобу на мирных жителях в занятых ими жилых кварталах. Кровью и слезами захлебывался Херсон, бои шли за каждую улицу, за каждый дом.

Сергей Артемов подкатил свой пулемет к последнему рубежу обороны – Ганнибальской площади. Защитники, с лицами, обожженным огнем, невероятно усталые, возводили на скорую руку укрытия из брусчатки мостовой, укрепляли окна домов мебелью, взятой из этих же квартир. Из пяти пулеметов, которые были в распоряжении Сергея при приезде в Херсон, остался только один – его. Он расположился в окне второго этажа двухэтажного дома, позади передней линии обороны. В полдень его позвали к Мокроусову, ко-

мандиру отряда черноморцев, там же находились другие командиры. У всех был усталый вид, бушлаты пообтрепались в боях, бескозырки запылились, только в глазах горел огонь борьбы. Мокроусов уже вел разговор со своими командирами. Он также выглядел измотанным, его небольшие усы заросли с боков черной щетиной. Вопрос стоял об отходе морского отряда в Крым. Собственно говоря, вопрос был уже решен – прошедшей ночью матросы уже стали покидать город. Дальнейшая оборона становилась бессмысленной. Немцы превосходили их в количестве живой силы, а главное – в артиллерии. Мокроусов обратился к Сергею:

– Сколько у нас осталось пулеметов?

– Один, мой.

– А остальные где? – Мокроусов спрашивал сурово, и этот тон злил Сергея.

– Ты сам знаешь! Превратились в куски железа. Еще спрашиваешь...

Мокроусов знал, что Сергей не только прекрасный пулеметчик, но и храбрый солдат, за это он и заимел авторитет среди матросов, и поспешил сбросить свой резкий тон:

– Да, знаю. Ты, Артемов, не злился. Я хочу знать, что у нас осталось. Больше половины наших товарищей полегло здесь.

– Могло бы меньше полечь, если бы товарищи матросы, кроме «полундра», знали бы другие команды и умели бы на суше воевать, – снова зло ответил Сергей.

Черные глаза Мокроусова сузились и, буравя ими Сергея,

процеживая каждое слово через крепко стиснутые зубы, тот медленно произнес:

– Я знаю, Артемов, ты гнил в окопах на фронте, насмотрелся, как царские офицеры и генералы руководили атакой по всем правилам, делая вас пушечным мясом. Мы, конечно, безграмотные, и поэтому немцы пускают нас на фарш. Генералы сидели в блиндажах и вами...

– Ты не прав, Мокроусов, – перебил его Сергей, – генералы и офицеры тоже ходили с нами в атаки, на поле боя учили нас...

– Я знаю, что говорю! – перебил уже Сергея Мокроусов. – Я только хочу сказать, что мы воюем как умеем. Понял? И от нас бегают не только немцы, но и наше офицерье, не говоря о гайдамаках. Поэтому не стоит бросать в нас камни. Понял?

Он был прав – матросы бились до последнего, и это Сергей видел собственными глазами.

– Понял, – согласился он. – Твои моряки – бойцы отменные. Я только хотел сказать, что им надо учиться тактике сухопутного боя. А многие офицеры сражаются сейчас в наших рядах.

– То-то! – удовлетворенно произнес Мокроусов. – Научимся еще. Впереди нешуточная война. Но мы сегодня вечером уходим из Херсона. Подготовь свой пулемет и, если есть возможность, то и разбитые возьми, и сегодня эвакуируемся в Крым.

– Я не пойду с вами, – ответил Сергей. – Останусь здесь

до последнего.

Все командиры удивленно вздернули брови, а Фисенко присвистнул:

– Серега. Ты ж видишь – немцы уже в городе, и завтра весь город будет ихним. Надо уходить. Мы немцам много крови пустили, будут долго помнить черноморцев. На всю жизнь.

– А куда ты пойдешь, когда немцы займут город? – спросил Мокроусов.

– Останусь жив, пойду в Донбасс. Там наши товарищи создали Донецко-Криворожскую республику. А если немцы захотят ее проглотить, то донбасские рабочие дадут им хороший отпор. Херсон – один город, а нас – весь Донбасс. Пойду туда.

– Домой захотел? – зло спросил Мокроусов.

– Не домой. Я не хочу всяким немцам и гайдамакам отдавать своего дома.

– Ты – большевик, а я – анархист, оба делаем одну революцию. Я анархист с восьмого года. Мне, чтобы не идти по сибирскому тракту, пришлось скитаться по всему миру, китов бить, акул ловить... но Россию я не бросил. Вернулся. Здесь я, в революции...

– Я с шестнадцатого года большевик. С фронта. Вас, анархистов, в ссылку отправляли, а если бы обо мне узнали на фронте, что я большевик, то сразу бы расстреляли. Понял?

– Понял, – ответил Мокроусов. – Ну, и иди куда хочешь... но пулемет свой сдай Фисенко.

Сергей кивнул. Было решено, что через два часа после наступления сумерек черноморцы грузятся на минный заградитель и уходят. Прикрывать их не надо. Немцы по ночам не воюют. Все разошлись.

Когда Сергей пришел к своему пулемету, то увидел, что для него бойцы сделали хорошее укрытие. Одновременно он увидел, как немцы готовятся к атаке. «Не дают ни минуты передышки, гады!» – со злостью подумал он. Сергей лег за пулемет, прикинул расстояние ближней и дальней точки через прицел, сектор обстрела который он будет контролировать. Он видел переднюю цепь залегших за слабым укреплением матросов и красногвардейцев и подумал: «Тяжело им снова придется. Надо не допустить к ним близко немцев, не дать возможность прорвать им фланг».

Начался артиллерийский обстрел. Шрапнель скакала по булыжникам, поражая всех, кто не успел укрыться в домах. На всякий случай Сергей со своим расчетом отполз вглубь здания, – на случай, если снаряд ненароком в окно попадет. Через полчаса артиллерийский огонь прекратился и, выглянув из окна, Сергей увидел, как по улице перебежками приближаются к Ганнибаловой площади фигурки солдат с островерхими касками. Красногвардейцы выбегали из домов и занимали свои позиции. Он ждал, когда немцы подойдут поближе, его второй номер уже неоднократно шептал: «Давай огонь!», но Сергей ждал и, когда до передних укрытий немцам оставалось метров шестьдесят, нажал гашетку. Пули

ровной чертой прошли поперек улицы, а потом стали ровно ложиться в рядах наступавших. Пулеметный огонь вызвал у немцев замешательство, часть их залегла на открытой улице, другие стали прятаться в дома, третьи – повернули назад. Сергей продолжал нажимать гашетку пулемета, выискивая себе новые жертвы... и вдруг произошло неожиданное, заставившее Сергея выругаться. С криком «полундра!» матросы с отомкнутыми штыками вскочили и пошли в атаку, а за ними пошли солдаты и красногвардейцы, – стрелять из пулемета не имело смысла – можно было поразить своих. Сергей оторвался от пулемета и закурил. Посмотрел на ленту, патронов оставалось немного. «Дураки! – со злой болью подумал он о пошедших в атаку. – Я бы через несколько минут почти всех немцев перебил бы». Он увидел, как навстречу красногвардейцам, с конца улицы и из дворов, с винтовками наперевес бегут немцы. «Все», – подумал он, и вслух сказал второму номеру:

– Новую ленту заряжай!

Он видел, как некоторые матросы, забросив за спину винтовки, вытянули бедуны и кортики и, увертываясь от широких немецких штыков, старались заколоть врага. И это им удавалось, но немцев было больше, и к ним прибывали новые силы. В штыковом бою немцы не уступали славянам. Число матросов и красногвардейцев убывало на глазах и, дрогнув, они стали пятиться к своим позициям, а потом побежали назад. Разъяренные немцы мчались за ними, закалывая на ходу

оставших и раненых.

Сергей прицелился и, когда до передних позиций матросам оставалось метров двадцать, нажал гашетку и длинной очередью прошелся по средней линии наступавших немцев, переводя огонь ближе к своим, но так, чтобы не задеть красногвардейцев. Он видел, как под его огнем падают немцы, видел, как его пули прорывают тела убитых матросов, лежащих на площади, но ничего не мог поделать с тем, чтобы не попадать по телам своих. Немцы, идя в атаку, забыли о пулемете, и теперь поворачивали назад, стараясь выйти из-под обстрела. Но Сергей с какой-то злостью перевел огонь на задние шеренги наступающих и стрелял почти непрерывно. Он видел, как опомнившиеся матросы расправлялись с немцами, забежавшими вперед. Лента закончилась, и стрельба оборвалась. Сергей посмотрел на обороняющихся. Они подтаскивали трупы убитых товарищей и залегали в своих убогих укрытиях. Он посмотрел вдоль улицы. Она была усеяна трупами, брусчатка из красного гранита была желто-серой от шинелей убитых немцев. Но среди серого цвета густыми пятнами темнели матросские бушлаты и рабочие куртки.

– Берем пулемет и уходим отсюда! – приказал Сергей второму номеру, и они стали спускаться по лестнице вниз.

Все Сергей сделал вовремя потому, что в дом, где он находился, врезался снаряд, от которого содрогнулась земля. Немцы по-новой, яростно стали обстреливать снарядами позиции красных. Сергей со вторым номером перешли в под-

вал соседнего дома. Вскоре сюда же пришли матросы во главе с Фисенко. Он был ранен – немецкий штык пропорол бушлат и прорезал левое предплечье. Кровь скатывалась по внутренней стороне бушлата и капала вниз. Морщась от боли, он снял бушлат и увидел перед собой врача, под полупальто которого был надет белый халат.

– Кто ты? – вместо того, чтобы подчиниться доктору, спросил Фисенко.

– Я врач. Давайте посмотрю ваше плечо.

Фисенко отклонился, чтобы врач лучше рассмотрел рану, и все же спросил:

– А как доктор вас звать? – теперь он обращался к нему на «вы».

– Зовите просто – доктор Файвель. Вы, командир, распорядитесь, чтобы все раненые были готовы к оказанию медицинской помощи.

– Слышали? – громко обратился Сергей к матросам. – Кто раненый – к доктору!

Сергей подошел к Фисенко.

– А ты, Серега, молодец. Когда меня немец ковырнул штыком, то я ему в этот же момент загнал бебут в живот. Будет меня добрыми словами вспоминать на том свете. Быстро, без мук отошел туда. А потом посмотрел и думаю: «Каюк нам». Но ты их стал ложить по-мастерски, – как говорил наш боцман. Ты просто-напросто спас нас! Сейчас после обстрела пойдем на боевые места.

Он сморщился. Доктор Файвель промывал йодом его рану и накладывал повязку.

– Терпите, господин матрос, терпите, – успокаивал его Файвель.

– Не надо вам идти на позиции, – сказал Сергей. – Сегодня немцы сюда не сунутся. Будут подсчитывать потери да думать, с какого другого места напасть. Так сегодня уходите?

– Да. Ты ж слышал, как стемнеет.

– Тогда можете уходить сейчас, – произнес Сергей. – По-матросили на берегу – и снова подальше в море.

Файвель сделал перевязку Фисенко и пошел к другому.

– Не язви! – ответил Фисенко. – Меня самого тошнит от мысли, что отдаем Херсон. Но зато мы их не пустим в Крым и создадим там советскую республику.

– Ладно. Но пулемет я тебе не отдам. Он мне еще завтра пригодится.

– Добро, – легко согласился Фисенко. – Скажу, что он разбит снарядом, и расскажу, как ты спас нас в этом бою. Всем расскажу.

Сергей отошел к пулемету. Второй номер уже успел его немного почистить и заряжал ленту патронами. Сергей сел возле него.

– Уходишь со всеми?

– Да. Приказ.

– Счастливо. Только поможешь мне его попозже вынести наружу.

– Угу.

Обстрел прекратился. Доктор Файвель осмотрел раненых и распорядился некоторых отправить на корабль. Часть матросов ушла с ранеными. Все вышли во двор. Темнело. Легкий ветерок разогнал тучи, и в сгущавшихся сумерках мерцали по-осторожному весенние звезды. Сергей отвел от них взгляд, чтобы не раствориться в космической глубине. В темноте возникли фигуры вновь подошедших красногвардейцев. Это были коренные херсонцы, рабочие верфей и заводов, им уходить было некуда. Оставалось только дать последний бой неприятелю. Вместе с ними пришли Бард и Эльвира, которых Сергей не видел со дня их первой встречи. Как всегда они были рады встрече с Сергеем. Вместо расспросов о жизни, что всегда случалось при встрече, Сергей спросил:

– С пулеметом умеешь обращаться?

– Нет, – почему-то виновато ответил Бард.

– Ничего, я покажу. Будешь мне помогать. Где командир?

Нужны патроны.

Командир, по-видимому, из рабочих, сначала спросил:

– Это ты здесь улицу немцев накопил?

– Да.

– Тогда дам патронов, но немного. Бойцам не хватает.

Сергей попросил, чтобы Барда и Эльвиру он оставил с ним. Командир согласился. Вскоре подошел Фисенко. Он окликнул Сергея:

– Мы уходим. Ты все-таки остаешься?

– Да.

– Нам будет не хватать хорошего пулеметчика, – Фисенко дернулся перевязанным плечом и сморщился от боли.

– Ничего, обойдетесь. Другого найдете.

– Насчет пулемета – договорились. Я Мокроусову скажу, что он разбит снарядом.

Они замолчали, и Фисенко, чувствуя неловкость от такого расставания, тоскливо произнес:

– Ну, тогда прощай... или до свидания. Не знаю, как и сказать. Мы пойдем защищать Крым, и туда уже немца не пустим. Ну, а ты защищай свою Донецко-Криворожскую республику. А потом мы республиками объединимся – и создадим единую Новороссийскую рабоче-крестьянскую республику, без националистов. Там люди будут просто равны, без национальности, – он вздохнул. – Но это будет после войны. Но будет. Ты прости нас, что уходим. Прости... нам пора.

Он хотел правой рукой обнять Сергея, но тот протянул ему руку для прощания, и Фисенко крепко пожал ее. Потом, повернувшись, пошел, а с ним – еще остававшиеся здесь матросы. Сергей повернулся в Барду и Эльвире:

– Пойдем в соседний дом и там заночуем, а утром оборудуем позицию.

Это было какое-то административное здание, и они заняли одну из комнат. Было темно, лампы и фонаря у них не было, и они поели в темноте. Потом Сергей предложил супругам спать на диване, а сам решил перейти в другую ком-

нату. Но Эльвира запротестовала:

– Оставайся здесь и сам спи на диване. По тебе видно, что ты чертовски устал. А мы, по привычке, переспим на стульях.

Сергей не возражал, он действительно устал, и даже не по-чертовски, а дьявольски. Глаза слипались, но его друзья хотели с ним поговорить.

– Сережа, – начала Эльвира, – что будет с Херсоном, когда придут немцы?

– Большевиков и красногвардейцев расстреляют. И ограбят всех.

– А с евреями?

– Немцы их трогать не будут, а гайдамаки обязательно устроят погром.

– Когда прекратится ненависть одного народа к другому? – дрогнувшим голосом спросила Эльвира, и Сергею показалось, что она заплакала.

– Как только мы победим, – успокоил ее Сергей.

– Быстрее бы мы победили, – произнес Бард. – Скорее. Мне уже надоело воевать. А ты, Серега, воюешь два года. Не надоело?

– Надоело. И не два года, а третий. Страшно надоело! – повторил Сергей. – Но пока эту буржуйскую и националистическую сволоту не уничтожим – придется воевать. Давайте спать. Завтра тяжелый и, может быть, последний день для Херсона.

Он повернулся на бок и сразу же заснул. Бард поставил в ряд стулья, сел на крайний и шепотом сказал Эльвире:

– Ложись, а голову положи мне на колени.

Она легла, и он осторожно дотронулся до ее лица. Оно было мокрым от слез. Бард наклонился и нежно поцеловал ее в глаза:

– Успокойся. Не плачь. Все будет хорошо, и мы завтра уйдем из Херсона на Донбасс. И там остановим немцев. Не волнуйся. Надо было бы тебе сейчас быть дома, а не здесь.

– Нет! – шепотом, но резко ответила Эльвира. – Я в это время не могу быть дома, когда мои товарищи сражаются. Я люблю этот город, в нем родилась, всю жизнь жила и не могу представить, что сюда придет кто-то чужой. Митя, я последнее время чего-то боюсь, такое непонятно тревожно состояние. Как будто с нами должно случиться что-то ужасное.

Бард почувствовал, что у нее снова потекли по лицу слезы:

– Успокойся. Все будет хорошо, не вбивай дурного в голову. У нас будет ребенок, и ради него мы должны жить. Завтра пойдешь домой.

– Нет, я буду с вами. И больше не говори мне о доме. Если останемся живы, уйдем отсюда.

– Хорошо, а теперь спи.

Он положил руку на ее живот, но сквозь куртку ничего не чувствовал. Тогда он просунул руку под куртку и почувствовал живое женское тепло.

– Уже твердый живот, – шепотом сказал он, наклонив-

шись к ее уху.

– Да. А теперь давай поспим.

Они замолчали, и скоро сон взял их в свои тревожные объятия.

Сергей спал, как убитый – почти до рассвета. Когда его молодой организм немного освободился от усталости, стали приходить сны, – сначала непонятные, отрывочные, а потом сформировавшиеся в непонятные видения. И снова, как когда-то раньше, он идет по длинному темному туннелю. Впереди виден свет. Это, видимо, выход из туннеля. Он стремится к нему, но не может приблизиться, а сзади обрушивается кровля, и назад хода нет. Он бежит... и вдруг цепляется ногой за какой-то предмет и падает! В ярости он рассматривает, за что споткнулся, и видит – это человек. Человек, улыбаясь черным лицом, уплывает от него по воздуху в сторону света. Он пытается его поймать, но не может. Вдруг человек хватает его за руку и начинает тянуть ближе к выходу. Он бьет его с размаху по руке и вырывается. Человек плывет по воздуху, Сергей бежит за ним, а тот, поднявшись выше, исчезает в каменном своде. «Стой! – кричит Сергей. – Стой!» И неожиданно просыпается. Над ним стоит Эльвира и трясет его за плечо.

– Что ты кричишь? Страшное приснилось?

Сергей в рассветных сумерках оглядел комнату. Бард спал, склонив голову к коленям, Эльвира стояла рядом.

– Знаешь, что, Эля... – не отойдя еще от сна, неожиданно

для себя сказал Сергей. – Собирайся и иди лучше домой. Тебе не место с нами. Побереги себя и ребенка.

Эльвира широко открыла глаза и с неудовольствием посмотрела на спящего Барда – это он сказал об этом Сергею, больше некому.

– Мы... я уйду только вместе с вами... со всеми. Пока я могу исполнять все, что положено бойцу, а потом, когда стану ограниченной в движениях, буду сидеть дома. Ты сам понимаешь, что немцы, заняв город, не простят нас. Надо будет уходить куда-то. Я остаюсь, чтобы вместе с вами уйти.

Сергей потянулся, расправляя затекшие мускулы, и подумал: «Она права. Кого немцы и гайдамаки найдут, тому – конец». Но вслух ответил:

– Но все-таки лучше тебе уйти, спрятаться у родни, а потом переехать в другое место.

Но в ответ Эльвира отрицательно покачала головой. Вопрос был исчерпан, и Сергей это понял. От их разговора проснулся Бард, и Эльвира, подойдя к нему, что-то шепотом стала выговаривать, что было заметно по виноватому лицу мужа.

Вскоре пришел командир отряда. При свете дня Сергей рассмотрел его усталое, словно прокопченное едким дымом лицо. Он сказал, что отряд решил переменить позицию для обороны и отойти в конец Ганнибаловой площади. Решено было держать площадь под обстрелом, а не оборонять ее. Сергей обходными путями, через дворы, перешел с друзья-

ми на новое место. Позиция не нравилась Сергею, но делать было нечего, и он решил расположиться на углу двух улиц, чтобы, в случае обхода с тыла, можно было быстрее перенести туда огонь своего пулемета.

Немцы не шли в атаку почти до полудня. Слышалась стрельба на окраинах города и ближе к Днепру. И, когда солнце подошло к зениту, появилась разведка противника с броневедомобилем. Выйдя из-за крайнего дома, броневедомобиль развернул свой пулемет в сторону их отряда, позиция которого была на виду у неприятеля. Скрыть ее было невозможно. За броневедомобилем перебежали немецкие солдаты. Видимо, в отличие от вчерашнего дня они не собирались идти в открытую атаку. Башня пулемета повернулась в их сторону и, будто наслаждаясь своей безнаказанностью, стала медленно и томительно выискивать себе жертвы. И вот жерло пулемета разразилось маленькими, горячими, но беспощадными смертями. К Сергею подполз командир, и он не услышал, а почувствовал его умоляющий шепот:

– Открывай огонь! Прошу, быстрее!

Сергей прицелился и дал очередь по резиновым колесам броневедомобилья. Пулемет броневедомобилья приостановил огонь, словно недоумеая, откуда у врага пулемет, а потом стал медленно разворачиваться в сторону Сергея. И снова грянула из-за его брони очередь, но в это время передние колеса, пробитые пулями, стали оседать, и веер пуль рассыпался по булыжникам площади далеко впереди от защищающихся. Броневедомобиль

дал задний ход и стал уходить за угол, откуда вышел.

– Давай по нему! – горячо шептал на ухо Сергею командир. – Добивай его!

– Нет. Пусть уходит. Патронов мало.

Командир понимающе кивнул – из пулемета броневик не уничтожишь, и отполз. Немного погодя немецкие пехотинцы стали обстреливать их из пулеметов и винтовок, и Сергей сказал Барду:

– Будь здесь. Пойду к командиру, может, разживусь патронами.

Но далеко отойти он не смог. Единственное, на что он обратил внимание – это на доктора Файвеля, который прямо на земле, за домом, перевязывал раненных. Он удивился этому – думал, что Файвеля сегодня не будет на позициях, а он здесь, в своих очках-пенсне, с подрагивающей седой бородкой-клинышком. Начался артиллерийский обстрел. Снаряды шестидюймовки разрывались у них в тылу, метрах в ста дальше передней линии. Видимо, немцы задались целью разрушить все за ними, что могло бы служить им для дальнейшей обороны. Пришлось Сергею возвращаться. Он подполз к пулемету, за ним лежал Бард, но не стрелял, а только целился. Сейчас снаряды должны были лечь на обороняющихся, и Сергей резко оттолкнул его от пулемета и крикнул, больше обращаясь к Эльвире:

– Уходим отсюда!

Бард кинулся назад.

– Стой! – заорал на него Сергей. – Помогай переносить пулемет!

Эльвира привстала и схватилась за ствол, но Сергей резким ударом уложил ее на землю:

– Не поднимайся! Ползком!

Бард повернулся к нему и протянул зачем-то руки – то ли помочь тащить пулемет, то ли подать руки Эльвире. Но Сергей крикнул:

– Уходи с дороги!

И покотил пулемет, ползя впереди него. Он понимал, что надо было уйти раньше первого разрыва снаряда, а эти не понимали. Но куда идти? Где подвал или укрытие – он не знал. Но он знал одно – это место надо немедленно покинуть. Но было поздно. Немецкая батарея взяла их позицию вилку. Один снаряд разорвался впереди в десяти метрах, другой позади на том же расстоянии. Взрывной волной Сергея отбросило в сторону, и он на мгновение потерял сознание. Когда пыль рассеялась, он увидел перевернутый пулемет, лежащую ничком Эльвиру и, преодолевая боль, неожиданно появившуюся во всем теле, рывком подполз к ней.

– Жива?

Она открыла глаза и кивнула.

– Ползи туда, – он показал рукой за дом. – А где Бард?

– Не знаю.

Он оглянулся вокруг и увидел неподвижно лежащего в куче щебня Барда. Он подполз к нему и перевернул на спину.

Его лицо было в крови, – но это не страшно, порезы от осколков камней, но зато на груди и животе куртка промокла и набухла от крови. Сергей, не обращая внимания на обстрел, легко схватил его на руки, как ребенка, и бросился за угол дома. Эльвира, не прячась, бежала за ним.

– Где доктор Файвель? – спросил пробежавшего красногвардейца Сергей.

– Там! – неопределенно махнул тот рукой.

Доктора Файвеля нашли во дворе дома, а вернее – в балке, куда стекались раненые. Сергей, положив Барда на землю, обратился к Файвелю:

– Доктор, посмотрите этого раненого?

– Сейчас, сейчас, – картаво ответил Файвель.

Бард, застонав, открыл глаза. Эльвира вытирала его лицо от крови носовым платочком. Файвель снял с Барда куртку и осмотрел рану:

– Вам повезло, раненый. Еще бы левее – и в вашей жизни была бы поставлена точка.

Он вытащил белую холстину – бинтов уже не было – и стал перевязывать его. Эльвира поддерживала Барда и молчала. «Может, от испуга или не пришла в себя, – подумал Сергей, потом перевел взгляд на доктора. – А что ему тут надо? Заставить насильно лечить раненых на месте боя его не могли». Но ответа он не нашел и сказал, обращаясь к Эльвире:

– Оставайся с ним, а я пойду назад. Я вас найду.

И, не успела Эльвира ответить, как он исчез. Обстрел пре-

кратился, значит – надо ждать атаки. Возле его пулемета, где он его бросил, находились командир и еще несколько бойцов. Когда Сергей подошел, командир, сморщившись, ядовито спросил:

– Что, солдатик. Как немцы прижали, деру дал?

– Нет. Раненого отнес, – и, чтобы закончить этот разговор, распорядился: – Помогите перенести пулемет. Сейчас будет жарко, как вчера.

Командир замолчал и приказал двум рабочим:

– Будьте с ним, – и, словно заглаживая свою вину, что говорил резким тоном, добавил: – Вчера он столько немцев положил. Храбрец.

И ушел.

Сергей потянул пулемет в сторону метров на пятьдесят от предыдущего места. Немцы двумя цепями выходили на площадь. Они шли вперед уверенно, стреляя на ходу стоя или с колена. Сергей заправил ленту, прицелился и, когда до первой цепи оставалось метров сто, дал по ним длинную очередь. Немцы сразу же залегли и открыли ответный огонь. Сзади наступавших заработал пулемет, видимо, с противоположного дома. Сергей снова нажал на гашетку, пулемет рванул очередью и смолк. Из патронника выпала пустая лента. Патроны закончились. Немцы, словно поняв это, поднялись в атаку – и были они уже рядом. И тут он увидел командира отряда, который с маузером в руке выскочил из укрытия и с криком «вперед!» бросился навстречу немцам. За ним под-

нялись люди в рабочих фуфайках и куртках, солдатских шинелях. У многих были белые повязки на рукаве. «Раненые пошли в атаку», – подумал Сергей и приказал двум своим новым помощникам.

– Примыкайте штыки, идем в рукопашную!

Произведя два выстрела из нагана, Сергей с криком «ура!» бросился вперед. Немцы, видимо, не ожидали рукопашной, – вчера была рукопашная – откуда сегодня у этих измученных людей взялись силы. И немцы дрогнули, начав отступать, – сначала с достоинством, прицеливаясь с колена, а потом побежали. Им вслед неслась беспорядочная стрельба. Но тут, так же, как вчера поступил Сергей, немецкий пулемет стал отсекал херсонцев от немцев. Зашатался и упал, схватившись за горло, из которого горячим кипятком била кровь, командир. Пали другие бойцы, и Сергей понял, что контратака провалилась, и закричал, чтобы его как можно больше бойцов слышали:

– Назад! В окопы!

Он в злости выстрелил из револьвера в немцев, удиравших от них, и теперь, повернувшись к ним спиной, побежал в другую сторону. Оба его помощника были рядом.

– Берем пулемет и уходим! – приказал Сергей.

Последние позиции, которые назвал Сергей окопами, оставили все и собирались в балке. Молодой парень, взявший на себя командование отрядом, приказал уходить улочками к Днепру, забирать раненых и ни в коем случае не

оставлять их врагу, распределить по домам к надежным людям. Сергей поспешил во двор дома, где остались раненый Бард и Эльвира. Недалеко от них, сложенные рядком, лежали убитые, и среди них Сергей увидел доктора Файвеля.

– Что, доктора убило?

– Ты только ушел, как здесь разорвался снаряд. Его сразу же наповал. Жаль. Хороший был человек.

Бард не мог идти, и Эльвира нашла санитарные носилки. На них и положили Барда. Во двор зашли человек десять солдат в шинелях. Из их разговора Сергей понял, что они собираются идти на восток – в Таврические степи, к красным. Сергей подошел и спросил:

– Пулемет нужен?

– Он завсегда нужон. Да патронов немає до него.

– Достанем патроны.

– Тоды мы пишлы за ним.

– Договорились. Но только помогите мне моих товарищей доставить до дому, а потом идем.

– Ранетым помогим. Как стемнеет, надо выйти с миста, щоб к утру быть подальше отсюдова, а то гайдамаки и немцы лютые зараз, никого из нас не оставят в живых.

Сергей, подойдя к Эльвире, сказал:

– Пойдем к твоим родителям, там оставим Барда и тебя.

– Сережа, я не хочу... – начала было отказываться Эльвира, но, увидев жесткий взгляд Сергея, запнулась и закончила: – Идем к моим.

Когда Сергей с солдатами нес Барда, стало темнеть. Эльвира шепотом сказала Сергею:

– Боюсь я оставаться со своими родителями, чуёт мое сердце какое-то несчастье.

– Не бойся. Это тебя взрывы снарядов напугали. Некуда его девать. С собой не возьмешь, а твоя родня хоть позаботится о вас.

– Ох, Сережа, не знаешь ты еврейские семьи... чтобы их не трогали, они готовы присягнуть любой власти. Но ничего, доктор Файвель перед смертью сказал, что Мите надо с месяц полежать, а потом начнет ходить... вот мы и уйдем отсюда в Россию.

Они подошли к дому Фишзонов. На стук Эльвиры дверь открыл старый Дувид. Сначала он хотел побранить дочь, но, увидев вооруженных людей, передумал. Барда занесли в дом. Солдаты торопились, и Сергей это видел. В ночной херсонской тишине раздавались одиночные выстрелы. Видимо, немцы зачищали последние очаги сопротивления. А завтра немцы и гайдамаки полностью начнут хозяйничать в городе. Сергей наклонился к Барду и тихо сказал:

– Ну, Дмитрий, выздоравливай быстрее и снова становись в строй.

Тот в ответ прошептал:

– Хорошо, Сергей. Мы еще встретимся...

В его голосе было столько безнадежности, что у Сергея, привыкшего за эти годы к смертям, перехватило дыхание.

– Встретимся. До свидания, Эльвира.

Она стремительно сделала к нему шаг и, обняв, поцеловала в щеку.

– До свидания. До встречи.

Она смотрела в темноту, куда ушел Сергей с солдатами, и подумала: «Снова помог нам. Встретимся ли мы с ним? А?» Но темнота поглотила звуки их осторожных шагов и Эльвира пошла в дом.

Всю ночь семья Фишзонов не спала. Все были растеряны и не знали, что делать с зятем, таким ныне опасным для них родственником. Но к утру решили спрятать Барда и Эльвиру в каменном сарайчике, где раньше хранили и продавали керосин. Сейчас керосина осталось немного, и Исаак перенес бидоны из дальнего помещения, служившего складом, в ближнее, бывшее лавкой. К утру, затемно, чтобы не видели соседи, Барда перенесли туда, и с ним осталась Эльвира, которой тоже было небезопасно оставаться дома. Да и мужу надо было помогать.

Рана на груди Барда была неглубокой, но обширной – он был слаб от большой потери крови. Эльвира надеялась, что недели через две-три, – месяц она не брала в расчет, – они покинут Херсон. Куда конкретно направиться, они еще не решили. Мать предлагала временно пожить у родственников в Одессе или Балте, недалеко от Херсона. Это было самым реальным предложением, но Эльвира его отвергала.

Оконце в сарае было открыто полностью, но в первые дни ощущался резкий запах керосина. Потом к этому запаху привыкли и почти не ощущали. Договорились, что еду днем будет приносить Исаак, который в последнее время, пока был керосин, торговал им и наводил в лавке порядок, а по вечерам, когда стемнеет, будут приходить остальные члены се-

мьи. Ночью Эльвира могла приходиться в дом, но днем они с Бардом не должны были высовываться из сарая. На следующий день с Исааком пришел ветеринар Лейба, который осмотрел Барда, смазал рану лампадным маслом и сделал перевязку. Это был его основной способ лечения ран животных. Он приходил к Барду еще два дня, всегда унося с собой бидончик с керосином, который еще оставался в лавке. Барду стало лучше, и на четвертый день он стал приподниматься в постели.

Но именно в этот вечер к старому Дувиду пришел Лейба и, поговорив немного с семьей, попросил хозяина проводить его. Когда они вышли на улицу, Лейба в тяжелом раздумье обратился к Дувиду, словно решая – говорить с ним по этому вопросу или нет.

– Дувид, ты сам знаешь, в городе полно гайдамаков. Они уже возле порта устроили еврейский погром. На нашу улицу пока наложили контрибуцию – сто тысяч рублей...

– Я знаю, и завтра утром отдам тебе свою долю...

– Да, деньги надо отдать срочно. Они установили нам трехдневный срок, если не отдадим деньги, то с нами будет то же, что в порту. Их никто не может остановить в погромах. Но они еще ищут большевиков, и где находят – расстреливают всю семью, а соседей грабят, что они не донесли. Я к чему веду разговор... у тебя дочь и ее муж – большевики. Если их найдут, то будет плохо не только тебе, а всем нам.

У старого Дувиды от горестного волнения выступили сле-

зы на глазах, которые в темноте собеседник не заметил, а голос задрожал:

– Дорогой Лейба, я понимаю, куда ты клонишь. Но она ж моя дочка, любимая, разве я могу ее выдать! Подождем еще неделю, муж выздоровеет, и они уйдут отсюда. И еще хочу сказать, я готов для откупа внести большую сумму, чем мне положено...

– Дело идет не о деньгах, – сурово ответил Лейба как старший на улице. – Вопрос стоит не только о твоей дочери, а о всех нас. Ты слышал о киевских погромах... а такое гайдамаки устраивают в каждом городе. В Херсоне они пока выжидают, боятся сразу же после таких боев взяться за нас. Даже разрешили торжественно похоронить доктора Файвеля, который помогал большевикам. Но, когда у них пройдет испуг от боев, гайдамаки возьмутся за нас. Нельзя давать им повода для еврейских погромов, – и укоризненно добавил: – Если такое произойдет по твоей вине, то наша община никогда тебе этого не простит. Подумай, Дувид?

У старого Дувиды слезы потекли уже по-настоящему, но проклятая еврейская коллективистская психология – боязнь всех: и друзей, и врагов – заставила его задать традиционный русский вопрос:

– А что же делать?

Лейба заметно оживился:

– Ты, Дувид, задал сейчас правильный вопрос. Твоя дочь беременна, вот и скажи ей, что я договорился с врачом, ко-

торый хочет ее осмотреть. Пусть она завтра утром придет ко мне, а я приведу врача. А в это время я, рано утром, сообщу новой власти, что у тебя находится большевик, они его арестуют, и твоя дочь не будет знать...

– Так, Лейба, подлю... – со слезами в голосе перебил его Дувид. – А нельзя ли как-то по другому? Я не могу таким образом продать свою дочь, ее счастье...

– Какое счастье? – голос Лейбы посуровел. – А по-другому нельзя! Твой зять еще не скоро поправится. И если нагрянут к нам гайдамаки? Или кто-то узнает и донесет? Плохо придется нам. Скоро Пейсах, и ты, наверное, не хочешь, чтобы этот праздник был испорчен, и все евреи плакали и проклинали тебя, как великого грешника, нарушившего их мир.

– Не хочу... но я не знаю, что делать!

– Все сделаю я, тебе надо будет только уговорить дочь прийти ко мне домой. Ты не совершишь никакого греха. В талмуде сказано: «Твоя мудрость будет способствовать счастьем всей семье и всем евреям». Будь, Дувид, мудрым, выбери из двух зол наименьшее...

Дувид, уже не стесняясь, плакал, тряс седой бородой и повторял заученно:

– Ты, Лейба, мудр, и я сделаю, как ты хочешь...

Лейба еще раз повторил ему свой план и закончил:

– Только об этом никому не говори, особенно жене.

Дувид еще долго ходил по улице, чтобы успокоиться, а по-

том пошел в дом. Там была Эльвира. Ночью она приходила сюда на час-два – поговорить с семьей. Дувид, прокашлявшись, стараясь придать голосу твердость и обыкновенное звучание, сказал Эльвире:

– Завтра утром пойдешь к Лейбе. Он позовет тебе врача, который посмотрит твоё здоровье и даст советы – как тебе быть дальше, чтобы ребенок родился здоровым.

– Может, пока не надо, – запротестовала Эльвира. – Вот, как мы уйдем, я в другом месте схожу к врачу.

Дувид заморгал глазами от неожиданного отказа и со слезами, старческим надтреснутым голосом произнес:

– Надо, дочка. Лейба добрый человек, он заботится о всех нас на улице, – Дувид смахнул ожидаемую слезу. – Завтра на рассвете, но пока еще будет темно, оденешься в материю платье и пальто, и дворами пройдешь к Лейбе. Там подождешь врача, и после будешь находиться у него до вечера, и придешь по темноте обратно. Поняла, дочка?

– Хорошо. Но я приду сразу же после встречи с врачом. Меня никто не узнает, оденусь как вылитая мама.

Но Ента была недовольна и, видимо, чувствовала что-то нехорошее:

– Что этот Иуда еще выдумал? Он бесплатно и на собаку не глянет, хоть та умирай.

И неожиданно Дувид, что случилось с ним очень редко в их совместной жизни, прикрикнул на жену:

– Ты, старая, молчи! Он заботится о нас всех... всех...

всех... – как эхо повторил Дувид последние слова и пошел спать.

Вошла Иза. Она уже сегодня видела сестру, но все равно присела рядом и, обняв за шею, шепнула:

– Эля, я приготовила сегодня тебе с Дмитрием манделах. Он на кухне. Будешь уходить – не забудь его взять.

Вскоре Эльвира ушла, унося кулечек с манделахами. А Дувид лежал в постели и в отчаянии дергал свою седую бороду. Его мучил вопрос – рассказать обо всем Енте или нет? За всю их долгую совместную жизнь он привык делиться с ней всеми своими радостями и сомнениями. Но, когда вошла Ента, он притворился спящим и решил, что все расскажет ей завтра утром. Но этой ночью он не спал, разные думы роились в голове, а тело окаменело от неподвижности.

Эльвира кормила Барда шариками манделаха, посыпанного сахаром, и делилась с ним своими планами на завтра, при этом добавила:

– Ты не бойся здесь один. Я там долго не пробуду и быстро вернусь.

– Хорошо, – согласился Бард. – После всего того, что ты перенесла, тебе надо сходить в врачу. Мне уже надоело здесь. Весь провонялся керосином. Быстрее бы уйти отсюда... куда угодно.

– Да, – согласилась с ним Эльвира. – Ты ешь, набирайся сил. Вкусно готовит моя сестра?

– Да. Очень. Она такая добрая у тебя.

– Иза все умеет делать. Я вот никак не могла научиться женской работе.

– Появится сын, всему научишься.

– Почему сын? Я хочу дочку, – игриво ответила Эльвира.

– Потому что в такое время должны рождаться сыны.

Мужчин много гибнет, и им нужна замена. Будет сын.

– Пусть будет сын. Но я не хочу, чтобы он воевал, как мы... – Эльвира глубоко вздохнула. – Не хочу за него переживать, как мои родители за меня. Мне хочется, чтобы все это быстрее закончилось, и мы снова стали мирно жить.

– Конечно, лучше бы уже войны не было. Пусть только останутся революции против эксплуататоров. И вот в этих революциях пусть и участвует наш сын. Революции в пользу бедных – благородное дело. Я вот сейчас лежу, времени у меня много, и сочиняю стихи. Ты завтра принеси мне бумагу и карандаш, я их запишу.

– Хорошо, а теперь давай засыпай.

Бард лежал на достаточно широкой скамейке, похожей на топчан, а Эльвира спала на узенькой лавочке. Бард попросил ее, чтобы она посидела рядом с ним. Он взял ее за руку и тихо сказал:

– Я скоро встану на ноги, верь в это.

– Я верю, иначе бы за тебя не боролась.

Вскоре Бард заснул, а она еще долго держала его руку в своей, боясь пошевелиться, и в ее мозгу мелькали различные обрывочные мысли и эпизоды ее жизни, пока не почувство-

вала, что засыпает. Она легла на свою лавку.

Утром Дувид ничего не сказал Енте. Зато Исааку строго наказал, чтобы сопровождал сестру к Лейбе и не выпускал ее оттуда до вечера. Исаак был удивлен строгостью приказа отца. Но он привык выполнять указания старших, и поэтому молчаливо согласился с таким наказом. Правда, у него появилось сомнение в добропорядочности действий отца. Но об этом он вслух не сказал.

Уже светало, когда Исаак провел дворами одетую в материнский балахон Эльвиру к Лейбе-ветеринару. Лейба был на ногах, на нем было пальто, видимо, он давно ждал Эльвиру. Лейба посадил ее на кушетку, где обычно сидели хозяева четвероногих пациентов, и сказал, что он сейчас же идет за врачом, а она может на кушетке даже поспать, потому что он может задержаться. Исаак, чувствуя неладное, молчал и сел на стул в этой же комнате. Ему хотелось высказать свою тревожную мысль сестре. Но он ясно понимал, что она – уже отломанный ломоть от их семьи, и поэтому не стал делиться с ней своими сомнениями, а решил выждать – что будет дальше.

Прошло часа два. Врача и Лейбы не было, и Эльвира действительно стала дремать на кушетке, когда неожиданно на улице послышался цокот копыт и ржание лошадей. Предчувствуя недоброе, она подбежала к окну и посмотрела на улицу. Впереди, на бричке, рядом с усатым в голубых шароварах гайдамаком, сидел Лейба. Двое всадников ехали по бокам,

а сзади пешим порядком шло еще гайдамаков десять. Сразу пронзила мысль: «Так вот для чего ее отец и этот презренный ветеринар сговорились и отправили ее сюда до вечера! Они хотят выдать Барда гайдамакам! Ее мужа!» Она резко бросилась к двери. Непонимающий Исаак хотел ее удержать, но она оттолкнула его так, что он больно ударился о косяк двери, и выскочила во двор. Исаак выбежал на крыльцо и увидел слезающего с брички Лейбу.

– Где Эльвира? – резко спросил он.

– Убежала. Она в окно увидела вас, – дрожащим от страха голосом ответил Исаак.

– Дурак! Надо было ее удержать! – и он, повернувшись, что-то сказал гайдамаку. Тот отдал короткую команду, и верховые помчались вперед по улице к дому Фишзонов. За ними, на бричке, гайдамаки с Лейбой, следом побежали пешие.

Эльвира на бегу сбросила материнский балахон и с одной мыслью: «Быстрее!» проскочила три двора и вбежала в свой. Навстречу ей бежал растрепанный Дувид, без шапки:

– Эльвира! Дочка! Подожди?!!

– Уйди прочь! – и она взглянула на отца с такой ненавистью, что тот отшатнулся.

Верховые были рядом, но не знали – в какой двор въезжать, ждали брички с Лейбой. Это помогло Эльвире раньше их заскочить в керосиновую лавку и крикнуть Барду:

– Вставай! Уходим! Ну! Быстрее!

Бард смотрел на нее, ничего не понимая, пытаясь сесть на

кровати. Она схватила его за поясницу и поставила на пол:

– Пошли! Может, убежим!

Бард в одной рубашке шагнул на своих ослабевших ногах в ту комнатку, которая служила лавкой для продажи керосина. Эльвира распахнула дверь и увидела, что уходит поздно – к сараю мчались два спешившихся гайдамака. Она вскинула револьвер и метров с пяти выстрелила в ненавистную усатую рожу. Второй гайдамак остановился и стал стрелять из винтовки, но мимо. Эльвира увидела, как во двор вбегают другие гайдамаки в голубых шароварах. «Совсем поздно!» – мелькнула отчаянная мысль. Она захлопнула дверь, притворив ее крепким железным засовом.

Во двор из дома выбежала Ента. Ее рыхлая фигура бросилась вначале к вошедшему во двор Лейбе:

– Иуда! Тебе Бог не простит проклятых серебряников! – а потом, обернувшись к Дувиду, пронзая его взглядом черных, неумолимо горящих глаз, закричала: – Так и ты продал свою совесть дьяволу! Дочь продал! Проклинаю тебя! Проклинаю!!

– Ента! Ента! – только и повторял растерянный Дувид.

– Уйди, асмодей!

И Ента бросилась к сараю. Путь преградил гайдамак, старавшийся винтовкой, взятой в обе руки, не пропустить ее дальше. Но она в материнском гневе отбросила винтовку, и тогда разозленный гайдамак ударил ее сзади прикладом по голове. Ента покачнулась и медленно опустилась своим

грузным телом на землю. Иза бросилась к матери и пыталась ее поднять, но сил не хватало. Подбежавший Дувид, глотая слезы, начал помогать ей оттаскивать мать в сторону. Исаак, спрятавшись в сарае соседа за забором, наблюдал за тем, что происходило в его дворе. Лейба вышел со двора на улицу, как только начались эти дикие крики – видеть дальнейшее ему не хотелось.

В сарае Эльвира, сжав губы до нитки, невидящим взглядом смотрела на Барда. Как ее обманули! Как неопытную девчонку приманили конфеткой, и она даже не догадалась о сговоре старших. Бард, чтобы прервать эту паузу, обнял ее:

– Эля, может, ты выйдешь, а я здесь буду драться с ними до последнего патрона.

– Нет! – она гордо качнула головой. – Это все мой отец сделал, и я ему докажу, что он был неправ!

Окошечко со звоном разлетелось, и в нем показалась винтовка. Бард выстрелил, и винтовка убралась. В ответ раздались выстрелы, и пули стали прошивать деревянную дверь. Они прижались к стенке каменного сарая, которую пули взять не могли. Гайдамаки сосредоточили огонь по деревянным дверям сарая – самом слабом месте. Пуля попала в бидон с керосином, и он синевато-искрящей струйкой устремился на пол. Они не могли отойти от стены – сразу бы попали под пули. Но вот в соседней комнате, где они спали, раздался взрыв – гайдамаки бросили в окошечко гранату. Бидоны с керосином перевернулись, и из той комнаты выскочило

веселое пламя, охватившее вначале глиняный пол, глубоко пропитанный за много лет душистым керосином. Расширенными от ужаса глазами Эльвира смотрела на этот огонь, который молнией приближался к ним. Стрельба прекратилась, видимо, гайдамаки увидели, что сарай горит, и ждали выхода осажденных.

– Эля! Иди отсюда! Сохрани себе жизнь и сыну, – прокричал ей Бард. – Уходи!

Но она, заворуженно, как первобытный человек впервые увидевший огонь, смотрела широко открытыми глазами на неумолимо приближающее пламя. Вот оно охватило ее ноги и заставило вскрикнуть от боли и, обхватив руками Барда, всем телом прижалась к нему.

– Митя, помоги! – стонущий крик вырвался из нее.

У Барда загорелась рубашка, но, не обращая на это внимание, он пытался руками сбить пламя с ее ног. Но пламя резко бросилось на промасленную годами стенку и взметнулось к потолку. И вдруг низ живота Эльвиры пронзила страшная живая боль – это еще не родившаяся жизнь стремилась к жизни.

– А-а-а!!! – закричала она последним смертным криком животного, и резко вскинувший голову Бард увидел, как черные, густые волосы Эльвиры превратились в факел. Он, не чувствуя боли в ране, резко распрямился и стал сбивать пламя с ее головы. Но оно охватило их обоих. Эльвира стала падать, и он увидел ее, но уже не черные, а вышедшие из глаз-

ниц, побелевшие глаза.

– Эля! – закричал он, но звука не было потому, что он вместо воздуха заглотил пламя.

Она, бесчувственная, падала на пламенный пол, он старался не отпускать ее, но вдруг все вспыхнуло у него, но не перед глазами, а в мозгу и, стараясь не выронить Эльвиру из своих рук, он вместе в ней рухнул в жидкий огонь.

Гайдамаки не предпринимали попыток потушить пожар. Они были обозлены гибелью своего товарища. Вахмистр распорядился арестовать Дувида и Изу. Кто-то должен был за все заплатить. Изу, недоумевающую, плачущую от испуга, вместе с отцом посадили в бричку. Больше места в бричке не было. Енту, бесчувственно лежащую на земле, еще раз огрели прикладом по голове, решив, что для старухи этого достаточно. Вытащив из дома Дувида самые ценные вещи, гайдамаки часа два ждали обратного прихода брички и, погрузив все, что считали нужным, уехали. Все это видел Исаак, не смея пошевелиться в сарае за забором, чтобы его не заметили.

Сарай догорел, а Ента лежала во дворе до самого вечера, не приходя в сознание. Соседи боялись прийти ей на помощь, боясь мести гайдамаков, вывозивших вещи Фишзонов. И только к вечеру они подошли к Енте. К удивлению всех, она была жива. Подняв голову, она бессознательным взглядом смотрела в землю и вдруг, будто что-то вспомнив, повернула голову к сараю с обрушенными стенами. Потом,

опершись на руки, тяжело поднялась и, шатаясь, пошла в до-
слевающий сарай. Соседи слышали оттуда не то крик, не то
плач, не то вой обезумевшего от горя зверя, а потом увиде-
ли вышедшую Енту, которая держала в руках нижнюю обуг-
лившуюся челюсть человека, на которой сохранились чер-
ные потрескавшиеся зубы. Она прижимала их к своим гу-
бам и целовала. Соседи отобрали у нее этот кусочек бывше-
го человека, решив завтра предать останки земле. Но Ента
после посещения сгоревшего сарая улыбалась. Добросердеч-
ные соседи решили приютить ее у себя, предлагали ей пойти
к ним в дом, но она, улыбающаяся грязным от пепла лицом,
ничего не говорила, только отрицательно качала головой. Ее
на время решили оставить в покое, но, когда хватились, уже
не нашли. Кто-то видел, как старая, грязная, полная женщи-
на шла к Днепру. Некоторые утверждали, что это была Ента,
они ее узнали. Другие видели, как какая-то женщина поздно
вечером бросилась в холодные апрельские воды Днепра, но
тела не нашли. Знающие соседи, многозначительно подни-
мая палец вверх, утверждали, что старая Ента утопилась как
раз в том самом месте, где давным-давно утонул ее старший
сын.

Дувида и Изу с этого времени никто не видел. В одну из
весенних ночей они были расстреляны. Раз они не верну-
лись, то такой их конец можно предположить с полной уве-
ренностью. Но вот в какой балке или овраге упокоились их
тела – никто не знает. Сколько таких оврагов со времени

гражданской войны, набитых телами людей всех военных лагерей, осталось в южнорусских степях – никто не подсчитывал. Их просто бесконечно много.

На следующий день после погрома Фишзонов явился Исаак, который ночевал у Лейбы. Вместе с соседями, в одном простом ящике, отнес он останки сестры и ее мужа на кладбище, где на окраине погоста их закопали, не поставив никакого прощального знака. После этого Исаак навел порядок в доме, раздобыл немного товара и снова начал торговлю.

Еще долго херсонцы – и богатые, и бедные – с гордостью рассказывали, как они, объединившись воедино, защищали свой город, и почти каждый вспоминал о своем самом памятном бое. Слава им, всем херсонцам, живым и погибшим, с честью и достоинством отстоявшим славу своих предков, непоколебимость русского духа.

Часть IX

49

Уже больше месяца жил Тимофей Радько дома, в Липовой Долине. Село было волостным центром, большим и богатым. Неширокий, но полный величия больших рек Хорол пересекал село, деля его надвое. Южная часть традиционно считалась более состоятельной. Северная – заселялась позднее, и этим селянам земли досталось меньше, вот и жили здесь семьи победнее.

Прекрасна Липовая Долина летом – в изумрудном мареве зелени, как юный пастушок. А какие здесь липы! Трое мужиков одну липу обнять не могли, а каждой из них было по двести-триста лет, и многое сохранилось в памяти этих мудрых деревьев. А какой высоты были липы! Люди шутили: «Взобраться на вершину липы – надо полдня, а потом до вечера спускаться». Красива Липовая Долина и зимой, в торжественно-белом убранстве, как юная невеста. И все бы у липоводолинцев было хорошо, но пришла война и обезлюдило село – мужиков позабирали в армию, на фронт, а бабы сами не могли с такой богатой землей и хозяйством справиться, вот и стало больше бедняков и обездоленных.

Радько жил в южной части Липовой Долины и, хотя хо-

зьяйство его было некрупное – Тимофей только десять лет назад отделился от родителей, – но достаточно крепкое, и до войны он вплотную приблизился к середнячеству. Но пока он два с половиной года служил в армии, без его мужских рук многое обветшало, заржавело и порушилось. Старший сын – двенадцати лет – не мог его полностью заменить, а с младшей дочери вообще никакого спроса – ей надо готовить приданое, чтобы достойно передать в другую семью. Его фронтового пособия, которое выплачивалось семьям солдат, едва хватало для прокормления детей, а о покупке мануфактуры не могло идти и речи. За хозяйство надо было сызнова браться, как в начале – десять лет назад.

Спрятав винтовку на сеновале, чтобы ненароком дети не нашли, Тимофей с упоенной радостью окунулся в каждодневную, утомительную, но такую приятную для души и тела крестьянскую работу. Вместе с сыном он настелил новую крышу на хлеве и сам хлев поправил – в апреле корова должна была принести приплод, навел порядок на сеновале, заделал дырки в плетне новыми ветками таволги. Жена его, Дарья, вроде бы увядшая в войну от непрерывных забот, с приходом мужа расцвела, исчезли резкость движений и приниженность, а появилась плавность не только в повороте головы, а всего тела, лицо зарумянилось, а волосы, ранее прихватываемые небрежным узлом на затылке из-за недостатка времени и внимания, теперь, заплетенные в тугие косы, аккуратно укладывались сверху и не были припрятаны, как

раньше – под косынкой или платком. Удовлетворенность и взаимопонимание воцарилось в доме с приходом хозяина. Да и было чему радоваться домочадцам – Тимофей спиртным не злоупотреблял, с утра до вечера по хозяйству, с женой и детьми ласков и рассудителен. Сын и дочь весь день ходят за ним по пятам, ловят каждое слово, не жалея ног, – смотри, лоб разобьют! – бросаются выполнять отцовские просьбы принести что-то, поддержать это, ответить на такой-то вопрос, – всего и не перечислишь. Дарья аж завидовала сыну и дочери, что они могут проводить больше времени с отцом, чем она с мужем. Уже планировали расширение хозяйства – купить лошадь на деньги, взятые у родителей, – но опасно, как бы не реквизировали, что происходило при всех властях. Но лошадь все равно в хозяйстве нужна. И еще одна причина, которая беспокоила не только Тимофея, но и всех селян – что делать с землей? Время подходит сеять. Советская власть им дала землю, а украинская власть призвала землю не делить, а ждать какого-то закона. А куда дальше ждать? Уже весна, – неделя-две и пора сеять. Не посеешь вовремя – не соберешь ни шиша.

Сегодня Тимофей собрался идти на сход. Приехали какие-то эмиссары и будут обсуждать селянский вопрос. Этот вопрос очень волновал Тимофея, – к своему законному участку в пять десятин, он хотел прихватить, пока на этот год, еще столько же. И, когда яркое весеннее солнце, склоняясь к земле, зарумянилось розовым цветом, как августов-

ское спелое яблоко, Тимофей пошел на сход.

Селян собралось много, и решили проводить его не в волостной хате, а на улице. Мужики стояли группками, курили самокрутки с крепким самосадам и обсуждали меж собой вопрос, – что скажет новая власть о земле, и приходили к выводу: если разговора о земле не состоится, то в ближайшее время они вместе с головой совета начнут делить ее сами. А то идут разговоры, что скоро должен вернуться сюда барин – Апостол, а пока его нет, надо землю поделить, а потом будь, что будет. Так была настроена гольтьба, так же были настроены заможные селяне или куркули. Только одно смущало гольтьбу – куркули возьмут земли больше, – те-то поднять ее могут, а они нет. Но все были едины в том, что землю делить треба и негайно.

Наконец из хаты сельсовета на крыльцо вышел его голова Печенег – богатый куркуль, имеющий землю еще от своего деда, а с ним какой-то эмиссар. Это слово селяне произносили уважительно шепотком, правда, не понимая его смысла, но чувствуя – это важная персона, от которой во многом зависит их жизнь. Эмиссар был в сером, хорошо подогнанном демисезонном пальто, – худощавый мужчина лет тридцати с усами и бородкой. Его сопровождали двое, также в городской одежде, и один в папахе, который распорядился пятью конными гайдамаками. Народ на площади замолчал, крепче затянувшись самокрутками, и повернул головы в сторону приезжих. Все ждали, что скажет городской деятель, какие

известия, радующие душу селян, он привез.

– Громада! – прокашлявшись, обратился к сходу голова совета Печенег. – К нам с Киеву приехал пан... – он запнулся и посмотрел в бумажку, которую держал в руке, – пан Свищук. Он расскажет, как нам дальше жить и шо робить. Он эмиссар, а не какой-то комиссар. Прошу пана.

По толпе прошел шумок, – это не безграмотный советский комиссар, который только мог твердить – делите землю панов, а грамотный эмиссар – он-то научит, как надо делить землю.

Вышел вперед эмиссар Свищук. Подняв вверх правую руку, он то ли поприветствовал громаду, не то призвал к тишине, хотя селяне стояли молча, приготовившись внимательно слушать гостя из города. Опустив руку, он попутно пригладил волосы на голове и начал:

– Вельмишановни панове! Я от имени Центральной рады приветствую вас, граждан вольной и независимой Украины!

Он сделал паузу, словно ожидая аплодисментов или приветственных криков, но селяне молчали, надеясь на более существенные слова, которые бы прояснили положение на селе. Не услышав аплодисментов, Свищук с апломбом продолжил:

– Громадяне незалежной Украины! Вы чувствуете, каким свежим и чистым воздухом вы дышите!?! Это наш вольнолюбивый дух Украины, который наши враги пытались испоганить! Но это им не удалось!

По толпе прошел неодобрительный шумок. Остряки сразу же отметили, что кто-то здесь постоянно портит воздух. В воздухе стоял пряный запах навоза, но селяне, привыкшие к такому запаху, его просто не унюхивали, это – обычное в их быте. Стоявший в передних рядах известный липоводолинский балагур по прозвищу Балаболка, пришедший с японской войны с изуродованной рукой, сразу же вмешался в речь эмиссара и пустил одну из своих колкостей:

– Дивно вы балакаете, пан, ни як наша громада, а як дуже образована людина...

Свищук, который не знал, что дальше говорить, был рад вмешательству кого-либо, чтобы продолжить свою речь и дать ей какой-нибудь импульс, укоризненно взглянул на Балаболку и мягко произнес:

– Ничего, пан селянин, мы вас обучим, и все будете образованными, не как сейчас. Вы не знаете даже украинской ридной мовы, а говорите на каком-то суржике...

По толпе прошел недовольный гул. Все ждали серьезного конкретного разговора. Послышались недоброжелательные выкрики в адрес эмиссара. Тимофей Радько стал пробиваться в первые ряды, поближе к крыльцу, чтобы лучше слышать оратора. А тот отвечал на заданный ему вопрос – кто он такой и откуда родом.

– Я из Дрогобыча. Журналист и поэт...

По громаде прошел шумок уважения: «Поэт! Вирши слагает – конечно, нашу мову он знает краще нас».

Свищук, выкинув руку вперед, как бы показывая, что он переходит к серьезным вопросам, сообщил:

– Наша молодая держава переживает сейчас трудное время, и вы, громадяне, должны это понимать. Наши доблестные войска, – Свищук повернулся в сторону гайдамаков, словно показывая – вот они, войска, – совместно с нашими друзьями и союзниками успешно выгоняют с Украины ваших злейших врагов – московских большевиков. Еще немного времени – и вся наша родная земля станет свободной от москалей. Победа близка, и мы все с затаенным чувством многовековой мести ждем ее. Не мне вам говорить, как москали много веков угнетали вас, запрещали вашу родную, такую мелодичную, певучую мову. Не мне вам об этом говорить! – с пафосом, входя в ораторский раж, испражнялся Свищук.

Но мужики уже слушали плохо. Они переговаривались между собой, неодобрительно глядя на эмиссара. Только Балаболка снова крикнул:

– А я размовляю на мове, яку знаю. Мне ее никто не заборонял, и все у нас так балакают.

Но Свищук этого не слышал, он продолжал витийствовать:

– Мы с нашими союзниками – немецкими и австрийскими войсками – заключили договор, как друзья, и они выполняют свой долг – очищают землю от москвинов. Теперь настала пора и нам выполнять свой долг перед союзниками. За их

помощь мы должны им дать определенное количество хлеба, мяса, яиц и другие продукты. Поэтому от имени украинского правительства прошу вас начать немедленную сдачу продуктов нашим властям. Этим вы поможете победе над большевизмом. А то, я знаю, вы месяц назад не пустили наших союзников – немецких интендантов – в свое село, даже стреляли по ним. Так нельзя, – укорил он громаду.

Действительно, крестьяне с оружием в руках не дали небольшому отряду немцев войти в их село. Была даже перестрелка, и немцы отступили. Пока в Липовую Долину чужеземец не вступал. По толпе снова прошел неодобрительный гул. Старый дед, стоявший ближе к крыльцу, перебив эмиссара, сказал вслух:

– По нашей земле никола не ходили басурмане. Этого не помнит ни мой прадед, ни его прадед. А зараз враги стали друзья...

Он горестно махнул в сторону выступающего, показывая всем видом, что нечего с ним разговаривать. Но Свищук быстро отреагировал на его жест:

– Басурмане – это азиаты. А немцы – цивилизованный народ. Я ж говорю, что они помогают нам избавляться от азиат-москалей, а потом они уйдут к себе домой. Но мы должны им дать хлеб...

Но дед снова безнадежно махнул на него рукой.

– Если хорь поселился в курятнике, то пока всех кур не слопает, не уйдет. Его только можно поймать в капкан и

убить. Другого выхода не мае. Так и с вашими друзьями – германцами и австрияками. Хорь по доброй воле не уходит из курятника.

– Нет, пан, вы не правы. Немцы нам помогают только военной силой, а руководим здесь мы сами – украинцы.

– А ты, пан, ненастоящий малоросс, – с ухмылкой прокричал Балаболка. – Ты хвальшивый малоросс.

– Почему? – удивился Свищук.

– А у тебя не мае шаровар, тому ты хвальшивый украинец, – ответил Балаболка, и все мужики, впервые на сходе, шумно захохотали.

Свищук был явно растерян, но вмешался Печенег:

– Ты, Балаболка, чому так балакаешь с нашим гостем? Вин эмиссар. Поняв? А шароварах ты ходи, если не заробив на штаны. Ще раз щось скажешь, я упеку тебя в холодную на недельку. Зрозумив?

– Нет. Не надо его в холодную, – проявлял Свищук истинно начальническое благородство. – Он, видите ли, пан голова, говорит образно, красиво. Такие люди – душа украинского народа, их надо уважать и прислушиваться.

Ободренный похвалой, Балаболка с вызовом поглядел на Печенегу – мол, видишь, каков я! А Свищук продолжал:

– Вот пошутили, и веселее стало. Но я хочу снова вернуться к нашим делам. Надо дать хлеб. Не бесплатно, а за деньги. Держава его у вас купит, а потом, когда изгоним москалей, Немеччина нам поставит инвентарь, машины, мануфактуру

– и мы их раздадим тем, кто сейчас сдаст хлеб. Это вам очень выгодно. Подумайте только – все у вас будет для того, чтобы работать на земле.

Теперь не выдержал Тимофей и перебил оратора:

– Шо ты нас москалями пугаешь? Мы с ними здесь живем веками и завсегда дружно. Воны нас не забижали...

В ответ послышался уже одобрительный шум. Но Свищук быстро возразил:

– Я говорю о том, что они не разрешали пользоваться украинскими книгами, родным языком...

– Я всю жизнь балакаю по-малороссийски, мне никто не запрещал этого робить, – раздался голос из толпы. – Може, вас москали забижали?

– Да. Нам, интеллигентам, они, выражаюсь образно, затыкали рот.

– А де це було?

– В Галиции...

– Це ж не російская сторона, а австриякская. Так вам затыкали рот австрияки, а не москали!

Раздался дружный гогот. Всех селян забавляло незнание эмиссаром острых нужд деревни. Тимофей снова задал вопрос, который интересовал присутствующих больше всего:

– Вы, пан, требуете от нас хлеб для тех, с которыми мы воевали, проливали кровь, умирали под их пулями. Это вы, паны, заключили с ними мир, а не мы. Не треба болтать, шо наши и ваши интересы совпадают. У вас, панов, интересы

одни, у селян – другие. Поэтому хлеба вам лично я давать не буду, у меня его немає, – Тимофей замолчал, но, чувствуя поддержку селян продолжил: – Вот, вы часто-густо пугаете нас москалями, што они враги, шо мешали нам жить. А вот в России селяне поделили землю, и уже готовятся ее пахать и сеять, а колы вы нам землю дадите?

Судя по выражению лица Свищука, он был растерян таким приемом, но отступать от той линии, которую ему дали сверху, он не хотел, а может, просто не мог, не зная характера и интересов малороссийского села.

– Уже у рады готов закон о земле, – начал он, – прорабатываются последние его, самые важные статьи. Еще немного – и он будет опубликован и вынесен на ваше обсуждение...

В ответ раздался откровенно издевательский хохот селян:

– Обсуждать будем! Го-го!

– Нас спросят. Гы-гы!

– Свистит Свищук!

Свищук старался перекрычать толпу:

– Это ж делается в ваших же интересах! Нам нельзя допускать анархии и беззакония в этом вопросе! Этим законом о земле должны быть довольны все – и заможные, и бедные селяне. Понятно?

– А колы цей закон буде?

– Скоро!

– Когда Илья придет на порог? Чи на Маковея?

– Я сказал, что скоро!

– Хлопцы, нечего ждать, пора землю самим делить, как в Расее!

Наконец Печенег рявкнул так, что сумел перекрыть крик схода:

– Замовчъ! Вы що не даете пану говорить?! Он для вас ехал аж с Киева, чи ще дальше. Рассказать вам хотел, прояснить ваши липовые головы. А вы як собаки на него накинлись. Замовчъ! Ще раз говорю! Пан эмиссар, продолжайте.

Но у Свищука весь ораторский запал пропал, и он выглядел сейчас, в отличие от начала схода, подавленным, стал как бы меньше ростом. Он уже не протягивал, как раньше, руки вперед, а как-то буднично произнес:

– Кто начнет делить землю без разрешения правительства, не дожидаясь закона о земле, тот будет наказан. Отряды гайдамаков и вольного козацтва не допустят анархии и предпримут все меры, чтобы законность была соблюдена.

Снова раздались злые выкрики из толпы, горящие ненавистью глаза селян мрачно смотрели на эмиссара, который не оправдал их надежд. Свищук о чем-то шептался на крыльце с Печенегой; последний, сделав шаг вперед эмиссара, закричал:

– Послушайте! Эмиссар зараз уезжает. Ему надо засветло добраться до города. Но он согласен, щоб наша депутация приихало до него или до другого начальства и обсудили вопрос о том, как следует произвести засев земли, щоб вси были довольны. Ясно?

Но в ответ раздались крики:

– Колы мы соглашались обсуждать с ними цей вопрос? Ты щось голова балакаешь не те.

– Завтра ж делимо землю!

– Пора вже сеять, а не балакать!

Но эмиссар уже сходил с крыльца, и Печенега, не отвечая на крики толпы, бежал за ним. Тот сел в дрожки с гайдамаком, охрана верхом расположилась по сторонам.

– Простите им, пан эмиссар, – торопливо извинялся Печенега. – Темные они люди – селяне. Ничего не понимают, как дети. Как какую-то игрушку хотят землю, а дальше своего носа не видят.

– Да, вы правы, пан голово. Крестьян еще надо воспитывать до понимания ими национального сознания, – Свищук, как и все его соратники, был зациклен на идее возрождения нации. – Но знайте – самовольства в отношении земли не допустим. Так еще раз им и скажите от моего имени.

И он, с сопровождавшими гайдамаками, уехал. Печенега снова поднялся на крыльцо.

– Громада! – зычно крикнул он и все замолкли. – Хотите земли! Я ее тоже хочу. Вы скажите – у меня ее и так много? Это так. Но мне, как селянину, тоже причитается пай земли помещика. И я ее тоже хочу немедленно поделить. Но я боюсь, што к нам придут солдаты, землю отберут и нас раззорят. Вот чего я боюсь. Земля приводит к смертоубийству. А теперь решайте – будем делить землю или нет. Весна уже на

носу. Как громада решит, так и будет.

Сход единогласно стоял на том, чтобы землю делить немедленно. Была избрана земельная комиссия, которая должна была в три дня на полях помещика определить деланки земли и отмерить их каждому – что кому причитается. В состав комиссии избрали Тимофея Радька.

Два дня, до хрипоты, спорили члены комиссии, исходили по барской земле, наверное, два десятка верст и приняли решение – пока нет пана, а он, судя по слухам, должен был вот-вот приехать, нарезать этой весной каждому столько земли, сколько тот сумеет обработать. Но это решение не удовлетворило всех. Печенега требовал к своим уже имеющимся тридцати десятинам еще столько же, и с уверенностью говорил, что он эту землю поднимет. Другие куркули также просили им выделить земли побольше. Это вызывало ропот незаможных мужиков, которые не могли в этом году засеять даже свои родные делянки, но хотели, чтобы им земля помещика была выделена сейчас, – что положено, а они будут сами решать, что с ней делать – обрабатывать, продать или сдать в аренду. Но в восемнадцатом году арендаторов не было, а продать – не было закона. Но каждый селянин желал иметь свою собственную землю, хоть не обработанную, но свою, чтобы знать и чувствовать: это – мое, и до земли-матушки еще дойдут когда-нибудь его руки, пусть не сейчас, а потом... и это чувство хозяина наполняло души крестьян чувством собственного достоинства и мечтами – вот пройдет это лихое время, и он примется за нее, за свою родную, любимую, самую-самую... и перестанет наконец быть голытьбой, а станет заможным селянином – господарем. Но мужи-

ки, которые проживали в Липовой Долине, не все были дома – война выгнала их из села, разбросала по свету, кто-то погиб, – а им тоже положен пай барской земли. Но все-таки комиссия настояла на том, что пока пусть каждый возьмет столько земли, сколько сможет обработать, а позже поделить ее по закону, если таковой будет, или как они сами еще решат.

На четвертый день, как только закончились утренние хозяйственные заботы, мужики, а с ними и солдаты – жены, потерявшие мужей на фронте, собрались на правом берегу Хорола, чтобы поделить ближний к селу участок панской земли. Накануне Печенега предупредил, что, возможно, придут гайдамаки и не позволят самочинно делить землю. Поэтому комиссия по разделу земли предупредила фронтовиков, чтобы они взяли винтовки, и если потребуются – дать прямо на поле отпор гайдамакам, – пусть не лезут не в свои дела на чужой земле. Голова сельсовета – Печенега – на поле не пришел, жена сказала, что он приболел. Многие селяне догадывались о причине болезни – нежелание лично участвовать в разделе земли. Но охваченные страстным порывом сегодня же ликвидировать существовавшую многие века земельную несправедливость, селяне устремились в поле.

Тимофей пришел на поле с винтовкой, которую вчера достал из сховища. Там он про себя отметил, что многие бывшие фронтовики не взяли оружия, сославшись на одну при-

чину – у них его нет. «Есть же у них винтовки и наганы! – с горечью подумал Тимофей, видя в этом крестьянскую осторожность и неорганизованность. – Только боятся при заварухе взять на себя часть вины. Дурачками прикидываются».

Дележ земли, на удивление, шел организованно. Обычных в этих случаях склок, криков, тем более драк не было. Землемер с аршином отмерял десятины, мальчишки подносили деревянные колышки и размечали поделенную землю. Дележка земли пока шла тихо, но впереди было самое сложное и страшное – часть земель, примыкающих к Хоролу, с хорошими заливными лугами, решили разыграть по жребью – уж многие, особенно зажиточные селяне, хотели получить себе здесь участки. Время перевалило за полдень, а толпа как привязанная ходила за землемером и внимательно следила, чтобы ни один колышек, ни на каплю, не отходил в сторону от намеченной межи.

Неожиданно взоры крестьян обратились к дороге. Тимофей посмотрел туда же и увидел конных, человек десять, а в телегах, которые шли за ними, людей в голубых шароварах и серых жупанах. Их было, на первый взгляд, человек с полста. «Гайдамаки!» – мелькнуло у него в голове и, обратившись к селянам, он сказал:

– Спокойно. У кого есть оружие, приготовьте его на всякий случай и давайте выйдем вперед, поговорим с вояками. Может, они не до нас идут. Может, мимо пройдут.

Но на сердце у него было беспокойно. Беспокойство уси-

лилось после того, как гайдамаки стали соскакивать с телег, разбирать винтовки и неровной цепью двигаться по полю. Они быстро приближались. От цепи наступавших отделились двое верховых, и галопом через поле поскакали к толпе крестьян. В одном из верховых Тимофей узнал гайдамака, который сопровождал эмиссара. Другой – сын старого пана Апостола. Верховые остановились метрах в десяти от крестьян, и молодой Апостол, щелкнув по голенищу хромового сапога нагайкой, не сказал, а скорее прокричал:

– Расходись отсюда по домам! Немедленно! Я сегодня же разберусь с теми, кто подстрекнул вас взять нашу землю, не дожидаясь закона! А теперь в село, домой, по хатам! Марш-марш!

Но крестьяне не спешили расходиться и исподлобья, с ненавистью глядели на барина. Судя по всему, как определил Апостол, они нынче не намерены были выполнять его команду. Старые времена прошли. Приподнявшись в стремени, он еще раз крикнул:

– Или по домам, или я дам команду разогнать вас. Лучше давайте миром расходитесь! А потом разберемся, кто зачинщики!..

– Барин, а вы по совести разберетесь со всеми? – угодливо спросил Балаболка, снимая перед паном потрепанную шапку.

– Да! Но с теми, кто вас подбил на это дело, я разберусь сурово! Но по совести. А сейчас расходитесь! Не позволяйте

мне грех брать на душу! По хатам! – скомандовал молодой Апостол.

– А, ты барин, нас не пужай... – неожиданно вмешался Тимофей. – Земля наша. Так решила громада. Тебе земли в этом году останется, и нам будет.

Апостол от такого резкого ответа вздыбил коня и бросил его к толпе, остановившись лошадиной мордой прямо перед Тимофеем.

– Ты кто такой?! – закричал он и поднял вверх нагайку, замахиваясь на Тимофея. – Ты главный бунтовщик! Ответишь за всех!

Тимофей привычным движением сорвал с плеча винтовку и поднял перед собой, изготовившись к рукопашному бою. Этот военный профессионализм и готовность защитить себя остудили пыл Апостола.

– Или расходитесь, или гайдамаки выгонят вас отсюда в три шеи! – закричал он и вместо Тимофея хлестнул нагайкой коня, помчавшись прочь от бывших своих крестьян.

Селяне, понурившись, стояли молча, опустив глаза в казавшуюся уже свою землю. Никто из них не уходил, но в их облике отсутствовало желание борьбы. Приезд и требования барина остудили их пыл. Тимофей, проводив глазами мчавшегося к гайдамакам Апостола, не глядя никому в глаза, сказал:

– Давайте сделаем так. Бабы и диты нехай идут в село, а мы, мужики, останемся здесь и еще раз поговорим с паном и

гайдамаками. Может, все миром решим. А если они начнут стрелять, то им ответим. Кто с оружием, оставайтесь.

Все торопливо согласились с ним. Солдатки, прихватив детей, сначала шагом, а потом бегом бросились к окраине Липовой Долины. Вместе с ними, как заметил Тимофей, побежали мужики и даже те, кто был с винтовками. На поле осталось человек двадцать. И в это время из-за небольшой купки деревьев с окраины поля выскочили верховые гайдамаки, размахивая саблями, а за ними цепью бежали пешие. Оставшихся крестьян охватил страх, и некоторые из них бросились вслед за бегущими в село. Никто не хотел проливать своей крови. И тогда Тимофей скомандовал:

– Стой! К бою!

Он вскинул винтовку и прицелился в одного из всадников. Раздался выстрел, и Тимофей увидел, что всадник мчится к нему, как ни в чем ни бывало. «Промазал!» – зло подумал он. Тимофей оглянулся и увидел, что рядом с ним уже никого нет. Все бежали в село, стараясь скрыться от конных гайдамаков в переулках, за плетнями дворов. Выругавшись сквозь стиснутые зубы, Тимофей бросился вслед за ними. Бежать было вроде недалеко – метров триста до окраины села, но всадники приближались к селу в несколько раз быстрее и догоняли бегущих селян. Тимофей оглянулся и увидел, как прямо на него мчится конный гайдамак с поднятой вверх для удара саблей. Он остановился и снова вскинул винтовку к плечу, но нажать на спусковой крючок не успел. Лошадь,

обдав горячей пеной изо рта, твердой грудью сбила его, и в то же время он почувствовал сильный удар саблей по голове, который снес ему шапку и рассадил скользом голову до кости. Он упал и уже не ощущал, как копыта задних ног лошади вдавили его грудь в прошлогоднюю черную стерню.

Сколько времени был Тимофей без сознания, он определить не мог. Немного приподнявшись, увидел, как на окраине села верховые гайдамаки, догнавшие селян, лупцевали их нагайками, топтали копытами лошадей. Видимо, его беспомощность длилась несколько секунд. А на него набегали пешие гайдамаки. Глаза застилала кровь, и он ладонью вытер ее, попытался привстать, опираясь обеими руками на винтовку, но снова не успел этого сделать. Здоровенный гайдамак подбежал к нему и ударил его прикладом в грудь:

– Ляг по-новой, сволочь! – услышал Тимофей приглушенный голос гайдамака, показавшийся ему знакомым.

Он повернул голову на голос, и сквозь кровавый туман, увидел как Панас Сеникобыла, вскинув винтовку, хочет ударить его прикладом еще раз.

– Панасе! – торопливо, с болью в голосе выкрикнул Тимофей. – Друзьяка!

Приклад винтовки, готовый еще раз опуститься на Тимофея, замер в воздухе, потом безжизненно опустился на землю, которую так хотели запахать крестьяне. Панас склонился над ним и произнес дрожащим от горечи голосом:

– Тимак? Радько... – Панас поднял его шапку и вытер

кровь с лица Тимофея, взяв его поперек спины, помог приподняться. – Я зараз тебе допомогу. Зараз.

Так участливо говорил Панас своему неожиданному противнику, который еще недавно был его другом. Чувство непримиримости к врагу уступило чувству сострадания – нужно было немедленно помочь фронтовому другу. Он посадил Тимофея и стал искать в своих карманах бинт. У Тимофея все плыло перед глазами от нанесенных ударов по телу и раны на голове, но он по привычке подтянул поближе к себе свою винтовку, глядя благодарными глазами на своего фронтового друга, который не стремился его убить, как врага, а наоборот – оказывал помощь. Но Тимофей не видел, как на него сбоку набегает с винтовкой наизготовку молодой, редкоусый гайдамак. И он вонзил штык своей винтовки в не подозревающего ничего плохого Тимофея, и одновременно прогремел выстрел в упор. Тимофей с широко раскрытыми, но уже ничего не видящими глазами, успел прошептать:

– Панасе... за што?..

И он завалился набок, уткнув окровавленное лицо в трухлявую прошлогоднюю стерню, в ту самую землю, которую так хотел получить. Панас резко обернулся к Шпыриву, который, вытащив штык из тела Тимофея, чистил его, втыкая в вечную землю, готовую принять в себя все – от горячей крови и плоти, до сгоревшей на войне совести. Панас повернул голову Тимофея вверх и увидел, что глаза его друга становятся серыми, стеклянно уставившимися в синюю бездон-

ность неба. Панас, не отводя своего завороженного взгляда от этих обледеневающих глаз, глухо спросил Шпырива:

– Зачем ты це зробив?

– Так он тебя ж хотив убить, хватався за винтовку. Ты сам не бачив того?

– Ни. Мы с ним вместе воювали на фронте. Он мой друкьяка.

– Був другом, а зараз став ворогом, – ответил Шпырив, разгоряченный боем, вытаскивая штык из земли, наполовину очищенный от крови. – Да шо его жалеть? Одним ворогом меньше – нам краще.

Панас бережно опустил голову Тимофея на землю, резко выпрямился и двинулся всей своей тяжелой фигурой к Шпыриву. Тот испуганно отскочил, увидев ужасное в гневе и скорби лицо Панаса. Может быть, и хватил бы его Панас по-хорошему, но рядом очутился Гетьманец, отставший от других в атаке.

– Панас, шо ты робышь десь? Глянь, вси наши вже в селе, по хатам шугають, тильки мы отстали. Пишлы швыдче!

Панас остановился, не доходя до Шпырива и, буравя его отрешенными от действительности происходящего глазами, ответил:

– Беги в село и назад с телегой, увезем его отсюда.

Шпырив в испуге согласно закивал головой и опрометью бросился в село. Гетьманец укоризненно, как старший по возрасту и более образованный, сказал Панасу:

– Панасе, ну брось переживать про каждого мертвеца. Це ж война. Пора привыкнуть...

– Пошел, геть! – неожиданно заорал на него Панас. – Геть! Вин мой товарищ, а не мертвец! Ты хоть учитель, но скот!

Гетьманец понял, что надо негайно уходить, и торопливо затараторил:

– Ухожду, Панасе, ухожду. Зараз приидемо за тобой и за ним на лошади...

И Гетьманец суетливо, постоянно оглядываясь на Панаса, побежал, насколько позволял ему возраст, к селу.

Панас выпрямил начинающие коченеть ноги Тимофея, потом аккуратно сложил руки крестом и попытался закрыть мертвые глаза. Но плоть была еще теплой, и глаза никак не смыкались, а безразлично смотрели в беспредельную синь мира с белесыми островками облаков. Панас скинул со своей головы островерхую шапку с малиновым шлыком и сел на землю рядом с убитым Тимофеем. «За что убили? – звучал в его ушах шепот мертвого. – За что?» Действительно – за что? Он хотел немного – иметь больше своей земли. Он хотел на ней трудиться, набивать мозоли, поливать своим потом, брать с нее только то, что сам, вместе с ней вырастит. Панас вспомнил, как они расставались в последний раз в Киеве. Они уже тогда были по разные стороны войны, но человеческая теплота не позволяла им стать врагами. Тимофей решил бросить войну, пошел домой, навстречу своей смерти. Он ему помог – дал денег и патронов на дорогу,

а мог бы отговорить. Но кто его знает, что ждало бы его в другом месте – кругом война: сзади, спереди, с боков, снизу, сверху... а что его еще ждет впереди?.. И Панас ужаснулся этой неожиданно-негаданно пришедшей в голову мысли. Что!?! Пусть будет, что будет. Лишь бы поехать домой, найти семью, жену и своих детей. А кругом война – и в душе война. Что он скажет вдове Тимофея? Как подивится ей в очи? А детям? О них Тимофей всегда вспоминал часто и душевно. И зачем его послали из Киева сюда, на усмирение непокорных селян? Чтобы в конце концов он убил своего фронтового товарища?! И Панас аж заскрежетал от внутренней боли зубами. Кому надо, чтобы люди убивали друг друга? Кому? Буржуям, большевикам, галицийцам или еще кому-то? Всем им нужна человеческая кровь! Власть всегда ненасытна, она постоянно требует жертв, и все новых и новых – безрассудно, безжалостно, безумно... и она не может остановиться в своем животном вожделении до тех пор, пока не выпьет всю кровь у этих жертв, а их обескровленные тела не превратит в землю, чтобы потом на ней вырастить новые жертвы и упиваться кровью и страданиями новых поколений. Кому это надо? Тем сумасшедшим, которые хотят переделать веками сложившуюся, размеренную в радостях и горестях жизнь ради своих бредовых идей и целей. Это они готовы положить в могилу весь свой народ, а рядом с ним и другие народы, чтобы позже, оставшись небольшой кучкой, представить себя мучениками и героями в глазах будущих бездушных и

бестелесных поколений, подчинить их себе и сделать духовными рабами. Панас посмотрел на Тимофея и притронулся к его глазам, – они закрылись. Тело остыло. А кто виноват в смерти Тимака? И Панас представил в своем воображении самодовольную от совершенного геройства морду Шпырива. Он виноват! Он пришел сюда в этот край из чужой Галиции. Его сюда позвали враги украинского народа. С каким наслаждением этот двадцатилетний молодец разрушает здесь все: православные иконы ворует, а какие не нравятся – разбивает и сжигает; людей и целые семьи убивает, считая их недостойными жить на этой земле, потому что их жизнь не похожа на его. И все это он делает с наслаждением, получая удовольствие от страданий других. «Я его убью, – мрачно решил Панас. – И сегодня же». И в знак того, что этот вопрос для него стал решенным, ударил кулаком в землю и вслух повторил: – Я за тебя, Тимофей, отомщу. И сегодня же.

Из села слышались выстрелы и крики, но подводы не было. И тогда Панас, закинув винтовку за спину, взял Тимофея на руки и понес в село. На окраине его встретил Гетьманец с телегой. Подъехав к Панасу, он сказал:

– Пан ищет того солдата, который осмелился возражать ему. Хочет повесить на гиляке. Це не той солдат? – и, не дождавшись ответа, продолжил: – Клади его на дно, здесь есть немного соломки. Если це той солдат, то влетит тебе, Панасе, от пана.

Панас бережно положил тело Тимофея в телегу, взял вож-

жи и пошел рядом. Гетьманец говорил:

– Пан распорядился немедленно собрать сход. Хочет, щоб вернули ему весь реманент, хлеб и все остальное. А ще он после схода распорядился пройти по дворам и реквизиловать хлеб для германцев. Лаврюк со Шпыривом облюбовали уже одну хатку, где будут ночевать, и присмотрели кабанчика. Так шо вечером поедим вволю, как уже давно не ели. Зараз хлопцы по дворам шастають, а я видишь – с тобой. Ты це учти, Панас, и выдели мне за это немного грошей... – увидев, что Панас его не слушает, он поспешил расстаться с ним: – Ты, Панасе, сам его домой вези, а я пиду хлопцам помогу...

И Гетьманец убежал. Панас хотел спросить у сельчан, где хата Тимофея, но деревня, еще недавно многолюдная, казалась вымершей. Все попрятались по хатам и сеновалам, лишь по улицам скакали верховые, призывающие селян идти на сход, да слышался плач и крики баб, отбивающих свою живность и скарб от гайдамаков и умоляющих не разорять их и их детей.

Панас не знал, куда ему ехать дальше, и остановил лошадь. Из проулка выскочил мальчишка, подбежал к телеге, заглянул в нее и не по-детски надрывно закричал:

– Батька!!! – и полез в возок.

Панас подошел к нему и, удерживая за плечи, не позволил ему этого сделать.

– Поехали домой. Показуй куды.

Сын Тимофея продолжал плакать, судорожно глотая

крупные слезы, но уже молча, закусывая до крови губы. Только недавно пришел его отец домой с войны, все было так хорошо, а теперь его нет, осталось только сиротство, безотцовщина и его мальчишеская ответственность за семью. Панас, не снимая свою руку с его плеча, тронул лошадь. Но из того же проулка выскочила Дарья и, ничего не спрашивая, с криком бросилась в телегу, на окровавленную грудь мужа, и забилась в уже беззвучных, тоскливых рыданиях. Панас понял, что семье Радько уже кто-то сообщил, что Тимофея убили. Стали сходитья соседи, и Панас, поняв, что он здесь лишний, попросил их помочь вдове, а лошадь отвести хозяину, а сам пошел искать свой курень.

Схода в Липовой Долине, как того требовал Апостол, не состоялось. Крестьяне не пришли. Но уже арестовали несколько человек и на завтра утром готовились отправить их в уезд. Лаврюк нашел хату небольшую, но опрятную, с глиняным полом. Вообще, Лаврюк был на эти дела мастер. Большая хата, если бы они в ней расположились, вызвала бы зависть других стрельцов и их командиров, а эта не бросалась в глаза. У одного из арестованных крестьян «реквизировали» кабанчика, пригрозив его семье молчать, если не хотят сидеть рядом со своим хозяином в холодной, и сейчас готовились этого поросенка зарезать. Лаврюк, увидев Панаса, сказал:

– Иди к куренному, он хочет с тобою сурьезно побалакать.
Положив вещмешок возле хлева, Панас пошел искать ко-

мандира. Разговор был короткий и грубый. Куренной знал, что Панас оказал помощь ворохобнику, то есть бунтовщику, и единственно пожалел, что тот погиб, лучше бы висел на гиляке. На бессвязные разъяснения Панаса, что это его фронтовой друг, он не обратил особого внимания, только предупредил:

– Дивись, пан хочет разобраться с тобой, зачем помогал этому мерзотнику. Если сегодня он тебя не вызовет, твое счастье. А завтра утром пойдешь в конвой, поведете арестованных на суд, в уезд. И бильш щоб без дурнощив... – пригрозил куренной и для вескости своих угроз поднес свой кулак к носу Панаса. Но его не тронул, как некоторых, знал – что в бою он храбрый вояка, а сегодняшняя слабость – это временное явление. – Будь мне благодарен, если спасу тебя от пана. Зрозумил?

Панас только молча кивал головой. Куренной его отпустил. Во дворе шла разделка кабана. Лаврюк рубил хрящи грудины на свеженину и бросал куски мяса на большую сковороду, взятую у хозяйки хаты. Изнутри туши он зачерпнул кружку крови и стал пить. Панас порылся в вещевом мешке, взял деньги и золотые часы, положил их в карман жупана и молча пошел со двора.

– Не затримувайся, а то не достанется свинины, – крикнул Лаврюк ему вслед, допивая кружку со свиной кровью.

Панас все так же молча кивнул головой, осмотрел двор – Шпырива не было.

«Подойдет», – подумал он и пошел к хате Радька.

Тимофей лежал на лавке в гостиной комнате, уже обмытый, одетый в свежее белье. Когда вошел Панас, бабки, сидевшие вокруг покойника и тихо перешептывающиеся, вспоминая все хорошее о Тимофее, замолчали и настороженно смотрели на гайдамака, решившегося войти в дом человека, которого они же убили. Панас также молча стоял возле дверного проема, не шевелясь. Слова с его стороны были сейчас неуместны. Наконец увидев, что Дарья вышла во двор, он пошел за ней. Она стояла на крыльце и уже не плакала, только на лице отражалось чувство скорбной обиды – как же это все случилось? Панас тронул ее за плечо, и Дарья медленно повернула к нему голову.

– Я... – задыхаясь, с трудом выжимая из себя слова, сказал Панас, – вместе служил... он мне був, як брат.

– Тому ты його убив? – сухо спросила Дарья.

– Я не убивал его... я ему помочь хотел... это другой...

Он замолчал, не зная, что дальше сказать. Безмолвствовала во вдовьей скорби Дарья. Чтобы разрядить затянувшееся молчание, Панас вынул из кармана деньги и протянул их Дарье:

– На возьми... все, що есть. Пригодится...

И он сунул ей в руку деньги и хотел отдать золотые часы – последнюю и единственную ценность, оставшуюся у него

с фронта, но резко отпрянул, увидев гневные глаза Дарьи. Она медленно поднимала руку с деньгами и вдруг с полной высоты руки, яростным махом швырнула ему деньги прямо в лицо и, заломив в кручине руки за головой, неистово закричала:

– Забери свои поганые гроши! Ты пришел сюда и убил его, а теперь хочешь откупиться! Уходи, Каин, видсися!

Деньги разлетелись вокруг Панаса, и он молча смотрел в несчастное от постигшей скорби лицо Дарьи и не пытался что-либо возразить или защититься. Он чувствовал себя глубоко неправым, и для объяснений не находилось слов.

– Уходи! Откуда вы взялись на нашу голову! Будьте вы прокляты! Все, кто пришел сюда! Чтобы Бог вас всех наказал так же, как меня и его детей! Скоро дытына народиться, а отца николы не побачит... – тихо закончила Дарья.

При ее последних словах Панас вздрогнул и мучительная, судорожная гримаса исказила его лицо:

– Я уже и так наказан Богом, – хриплым голосом ответил он. – Не знаю, где моя дружина, где мои диты. Всих унесла вийна...

Дарья притихла и воспаленными от слез глазами внимательно вгляделась в Панаса, скорее почувствовав, а не услышав в его словах неприкрытую боль.

– Мы с Тимофеем вместе воевали. Дружили... – снова теми же словами сказал Панас. Он наклонился, собрал рассыпанные ассигнации и протянул их Дарье. – На возьми... –

потом вынул из кармана золотые часы и тоже протянул их Дарье. – Все, шо есть... пригодится... – как-то заученно повторял он одни и те же слова. Он помолчал, а потом твердо произнес: – А хто убив Тимофея, сегодня живет последний день. Я его убью... поверь мне... разреши мне попрощаться с Тимкой? – и вложил в ее руку деньги и часы.

Дарья молча кивнула, и Панас пошел в хату. Не глядя в глаза, сидевшим вокруг покойника старухам, снова при виде его прекратившим разговор, он подошел к лавке, где пока без труны лежал Тимофей, и посмотрел на его спокойное и умиротворенное лицо, окровавленную белую повязку на голове, перевел взгляд на простыню и увидел, что она пурпурна от крови, и как-то обыденно подумал: «Человек мертв, а тело еще живет». Потом склонился и поцеловал его в лоб. «Я отомщу за тебя, Тимак!» – клятвенно сказал он сам себе и, повернувшись, вышел из комнаты, провожаемый ненавидящими немymi взглядами домочадцев и соседей.

Он пошел к Хоролу, сел на берегу и сидел до тех пор, пока не стало вечереть. Он не думал ни о чем конкретно, не размышлял ни о ком и ни о чем. Это было душевное отупение, из которого его могло вывести новое, тоже душевное, но уже потрясение.

Огромное багровое солнце наполовину вошло в весеннюю землю, когда Панас появился в своем курене. Все уже знали о том, что произошло с их товарищем, и при его появлении прекратили на время веселые балачки, дали ему место за де-

ревянным, грубо сколоченным столом. Лаврюк из железного бачка зачерпнул алюминиевой кружкой самогона и протянул ему:

– Пей да бросай по пустякам переживать.

Панас взял кружку и большими глотками выпил ее до дна, сказав сам себе: «В память о Тимаке». Взял кусок свеженины, откусил, долго жевал, но проглотить не мог. Он видел сидевшего на углу стола Шпырива, уже изрядно опьяневшего и бросающего на Панаса осторожно-пугливые взгляды.

– Брось, Панасе, переживать, – вступил в разговор с ним Гетьманец. – Я, коли работал в школе, воспитывал настоящих борцов за Украину, твердых и не сомневающих ни в чем. Вот, если бы ты у меня поучился, тебя никогда бы не мучила совесть. Когда человек уверен в правоте своего дела – ему совесть не нужна.

Заметив, что к его словам сидящие за столом прислушиваются, Гетьманец решил раскрыть секреты своего педагогического мастерства.

– Я делал все очень просто. Главное в моем воспитании учеников было – привитие им чувства гадливости к некоторым народам. У меня был набор цветных картинок людей в национальных костюмах. Их было двадцать: папуасы, эскимосы, негры, индейцы, азиаты и европейцы. Я установил так – все они являются нашими врагами, и определил каждой картинке определенное количество баллов. Главного врага – москвина, я оценил в двадцать баллов, жида – в девятна-

дцать, молдаванина – в восемнадцать, турка – в семнадцать, за русифицированного украинца давал шестнадцать баллов и так далее. Всего получалось двести двадцать баллов.

– А сколько баллов стоил австрияк и поляк?

– Кажется, пять и шесть, точно не помню. Они меньшие враги нам, чем москаль или жид. А меньше всего папуасы – один балл. Я решил, что они от нас далеко, к нам не доберутся и не представляют опасности, да и отсталые очень. Побольше негры и индейцы. Они могут до нас добраться в составе других армий. Так вот, как я строил это обучение. Каждую картинку я намазал или облил определенным запахом. Москаль пах нечистотами, русифицированный украинец – старым вонючим салом, турок – тоже вонючим, но табаком, австриец – одеколоном, француз – духами, и так все картинки у меня чем-то воняли. Это, скажу я вам, трудное дело – каждое утро заряжать картинки запахами, но для национального воспитания учеников был готов на все. А в классе ученики по запаху должны были определить своих главных и второстепенных врагов. Вариантов воспитания у меня было несколько. Один, самый простой, заключался в том, что надо было по запаху определить трех главных врагов с завязанными глазами. Здесь надо было набрать максимум пятьдесят четыре балла. Набрал меньше – получи указкой по рукам столько ударов, сколько недобрал баллов до максимальной суммы. Другой вариант, также с завязанными глазами – разложить по запаху картинки по мере убывания или усиления

враждебности к этим народам. Там система наказания была более сложная. Но главная трудность у меня была с теми, у кого плохо работал нос – они не могли правильно выбрать главного врага, не говоря уже о второстепенных. Я заставлял их нюхать баночку со своим дерьмом из выгребной ямы. Дерьмо хоть и мое, но я им внушал, что это запах москаля, и заставлял их подолгу нюхать, пока некоторым не становилось плохо. Так после моих занятий учни лютой ненавистью горели к москалям, жидам, украинцам, которые продались им в рабство, и открыто мне говорили, что при встрече с ними готовы их убить и, в крайнем случае, плевали им вслед... так вот, о чем я хочу сказать тебе, Панас – если бы ты у меня поучился во Львове, а не в своей сельской школе, то у тебя не было бы угрызений совести, что убил русифицированного хохла. В скором времени мы переедем сюда жить – хватит галицийцам уезжать куда-то в Америку, пора занимать нам вот эти земли, которые испокон веков являются нашими, и перевоспитывать здешних украинцев в нашем духе...

– Запахами? – мрачно перебил его Панас.

– Если потребуется – и запахами, ты над этим не смейся. Это дюже плодотворный способ воспитания у них чувства национального самосознания, идеи нашего превосходства над всеми и того, что мы выполняем Божью миссию на земле. Здесь нельзя брезговать никакими способами, надо только вбить эти чувства в сознание наших граждан – и тогда мы непобедимы. Поэтому совесть – удел слабых и неполно-

ценных людей. А мы должны быть сильными и цельными, в этом залог нашей победы, и для этого мы должны воспитывать всех в нашем истинно украинском духе. Вот, ты сейчас бросаешь злые взгляды на Шпырива, готов его убить. А ведь он правильно сделал, что убил врага. К тому же он не знал, что этот осколок украинца – твой фронтовой друг. Прости его и не злись. Бог велел прощать не только врагов, но и друзей. Эх, многого еще не понимают украинцы...

Педагогические разглагольствования Гетьманца слушали с пьяным вниманием, хихикали и весело загудели, когда он закончил. Всем понравилась идея о том, что они должны любой ценой стать непобедимыми и что будущее за ними. Панас зачерпнул полную кружку самогона из бачка и залпом выпил. Снова стал жевать свинину, но проглотить ее опять так и не смог. Перед глазами вставал мертвый Тимофей. Он выплюнул мясную жвачку из рта, поднялся и сказал:

– Я пиду спать. Сегодня устал, да и настроение не для пьянки, – пояснил он гайдамакам.

– Иди в гумно, там мы все будем спать.

– Ни, не хочу. Я на воздухе устроюсь, на сеновале. Вроде уже не холодно. Зима закончилась...

Он пошел к стогу под камышовым навесом, защищающим сено от дождя, но с боков открытого всем ветрам. Выбрав место, с которого хорошо был виден весь двор, он влез по лесенке почти на самый верх, подтрусил немного созревшего за зиму сена, лег и стал внимательно наблюдать за сидящими

гайдамаками. Со стороны ясно было видно, что многие из них уже пьяны – некоторые от усталости и бурных событий сегодняшнего дня преклонили голову на стол, поднимая ее только для того, чтобы выпить очередную порцию горилки. Панас со злым удовлетворением видел, что Шпырив не отставал от других – заглывал самогон жадными глотками. «Давай пей. Пей побольше... в последний раз наслаждаешься, подлюка», – зло проносилось у него в голове. Он видел, как Лаврюк что-то рассказывает компании, а та в ответ гнусно-похотливо смеялась. А Лаврюк рассказывал о том, как хорошо он проведет сегодня ночь в объятиях хозяйки хаты.

– Я цю хозяйку сразу же заприметил. Зайшов во двор, в хату – чистенько, житом пахнет. Без хозяина такого не бывает. Я тогда к хозяйке и говорю ей – а где, мол, хозяин. Она сначала отнекивалась – мол, свекор помогает. А я в ответ – мол, сейчас узнаю, кто твой чоловік, и если он с москалями-большевиками, то бережись, раззорим дотла. Ну, тут она и разревелась. Тогда я ей говорю – ладно, громить не буду, но вечером приду к тебе, постелись отдельно от детишек, а то разберусь, ежели будет не так, с тобой и мужем твоим. Докажу, шо он большевик. Ничого не сказала, пишла в хату. Но не отказала. «Нет» не сказала. Да, это не то, что в Италии... – Лаврюк любил вспоминать об этой стране и рассказывать о ее определенных нравах. – Там итальянки, увидев нас, сразу же, не успеешь и слова произнести, щебечат: «Си, сеньор». Мол, согласны, – так означает это в ихнем языке, лишь бы

ничего плохого не сделали. А здесь гордая, молчит и будет молчать всю ночь, губ не разомкнет, не скажет «нет», хотя, может быть, и против. И все для того, шоб мужа своего спасти и хозяйство. Он, может, еще не ушел с большевиками, только хочет к ним и прячется где-то недалеко...

Все вокруг загоготали.

– А вдруг муж под лижком ховається?! Да за ноги тебя с жинки стянет и голым пустит из хаты.

В ответ на эту шутку все еще громче зареготали. Лаврюк, смеявшийся со всеми, вдруг посерьезнел и пьяно ухмыльнулся:

– Да я цього страхопуда вместе с дверями выкину с хаты, не слезая с лижка.

Все снова пьяно захохотали, и Гетьманец вступил в разговор и наставительно сказал:

– Ты, Лаврюк, с ними храбренький, но когда пойдешь туда, то действительно посмотри по всем углам, да под кроватями и за столами. Не дай Бог, чтобы мужик ее где-то там спрятался. Если шо – кричи, мы в гумне услышим, прибежим на допомогу...

– За кого ты меня считаешь? Шоб я не справился с каким-то засратым мужичишкой... да я его... – он растер грязной рукой свиной смалец по своему лицу, но в голосе его зазвучали нотки сомнения – правильно ли он сделает, что не будет ночевать вместе со всем куренем?.. Он бросил боязливый взгляд на серую в ночи хату.

– Слухай, друже? – обратился к нему Шпырив. – А пидем к ней вместе. Ночь длинна пока, времени всем хватит. Ты як завжди будешь первым...

– Да, да, – подхватил Гетьманец. – Идите оба, так будет безопасней. Да и шо жалеть какую-то хохлушку, у которой муж большевик!

– Нет, – ломался Лаврюк. – Я сегодня хочу отдохнуть сам и мне никто не нужен.

– Не надо упрячиться и быть эгоистом, – по-учительски проникновенно, словно бы перед тем, как разнести ученика в пух и прах за неблагоприятный поступок, внушал Гетьманец. – Ты устал сегодня, да и пьян. А Бог говорит – поделись со своим близким самым дорогим. А Шпырив тебе ближе всех, я знаю, – голос Гетьманца стал ласковым. – Он молод, ты его научишь тому, что сам знаешь и умеешь. Ты для него уже давно учитель.

– Он и сам это умеет. А может, ты пойдешь?

– Ни. Я вже старый для таких утех, – отрицательно замотал головой Гетьманец под ржание гайдамаков, слушающих этот интимный разговор. – Идите сами, а наш дух и наша сила вам в помощь.

Лаврюк округлил и без того выпученные жабыи глаза, и его засаленное угрюмое лицо при свете керосиновых ламп казалось покрытым копотью.

– Гаразд. Вначале осмотрим хату, шоб ничего поганого не случилось и никто не помешал, а потом шоб молодка не пе-

релякалась и не засоромилась нас двоих, ты, Шпырив, выйдешь и будешь сторожуваты, а я тебя писля того, як управлюсь, позову. Идет?

– Идет! – радостно согласился довольный этой подачкой Шпырив. Ему также не хотелось сегодня находиться под одной крышей с Сеникобылой.

Вскоре все стали расходиться. Гайдамаки размещались на полу гумна, застеленного соломой и сеном, и вскоре оттуда послышался густой пьяный храп. Часового не ставили, понимая, что опасности никакой нет. Село было напугано и притихло, со страхом ожидая утра. Только в хате Радька горела перед иконой Христа свеча и бездонными, сухими глазами не отводила взгляда от лица Тимофея Дарья.

Панас видел, как все его сослуживцы не спеша укладывались в гумне спать. Потом увидел, как Шпырив вместе с Лаврюком зашли в хату. Он не слышал разговора за столом, но понял, что Лаврюк направился к хозяйке хаты. Такого момента, чтобы овладеть униженным человеком и окончательно превратить его в своего раба, Лаврюк пропустить не мог. Но почему туда же пошел Шпырив? Панас не мог дать себе ответа. Он встал, оставил винтовку в сене, и осторожно вдоль плетня подошел к хате и из-за ее угла стал всматриваться в темень. Он уже решил заглянуть в окна, но дверь скрипнула, и на порог вышел гайдамак в папахе. Панас облегченно вздохнул, узнав по фигуре, что это не Лаврюк, а Шпырив. Тот постоял с минуту на крыльце, осмотрелся и пошел в сто-

рону Панаса. С замиранием сердца – такого давно с ним не бывало – Панас мягко отпрыгнул за плетень и, лежа на холодной земле, смотрел, куда пойдет Шпырив. Тот шел вглубь сада, спускающегося к Хоролу. Панас, склонившись, чтобы его не было видно за плетнем, осторожно пошел за ним. В метрах двадцати от хаты Шпырив остановился и осмотрелся, и Панас понял – медлить нельзя. В три прыжка Панас пересек расстояние от плетня до Шпырива. Тот лишь успел повернуть голову в сторону нападавшего, как резкий удар огромного кулака вырубил его сознание. Панас брезгливо вытер о жупан Шпырива руки, забрызганные мочой, осмотрелся – вроде никого нет и, схватив в охапку неподвижное тело, бегом бросился с ним к реке. За пределом огорода Шпырив зашевелился и Панас бросил его на землю. Потом, наклонившись, вытащил из его кармана револьвер. «Вояка, – презрительно подумал он о Шпыриве. – Даже к бабе с оружием ходит». Шпырив приподнял голову:

– Кто це?

– Я. Бачишь?

Шпырив резким рывком попытался встать на ноги, но сильные руки Панаса удержали его и позволили только сесть.

– За што убил неповинного человека?

– Я не хотел. Он же враг... – и Шпырив, увидев горящие в темноте гневом глаза Панаса, неожиданно истошно закричал: – А-а-а!..

Но грубая крестьянская ладонь зажала ему рот, больно

сжала скулы, сдирая нос с усами с лица.

– Вякнешь еще, голову отверну, – услышал Шпырив хриплый шепот. – Шо ж вы к бабе пошли вдвоем, по одному боитесь?

– Это не я. Это Гетьманец посоветовал, а Лаврюк согласился. Я ж не бесплатно, я деньги ей дам. Поверь мне? Отпусти меня, Панасе. Я и твоему другу денег дам.

Панас вспомнил, как Дарья бросила ему деньги в лицо, и злоба вспыхнула в нем с новой силой:

– Деньги, говоришь? Да мертвому деньги не нужны. Я поклялся перед мертвым Тимофеем убить тебя...

– Панасе! Не гневи Бога, не бери грех на душу. Нам же говорили – все, кто здесь живет, наши враги, засоряющие нашу Украину, и их всех надо перебить или переселить. Помнишь? Мы ж всего одного-то и убили. Панас, не губи меня, я еще молод, мало жил. Я все тебе отдам, что у меня есть. Только пожалей, умоляю. Даже Бог всех жалеет, а ты ж человек! – Шпырив разрыдался, и его всхлипы могли слышать. – Хочешь золота? А? Я все отдам. Только прости. Хочешь, я твои ноги поцелую?

– Жидовское золото? Молод, говоришь, а уже много награбил...

– Есть и жидовское. Все отдам, сам видишь – я молод... еще собираю...

И Шпырив, думая, что он отвлек внимание Панаса, резко вскочил, пытаясь убежать от своего мстителя. Но Панас

успел схватить его обеими руками за голову и рывком повернул ее вокруг своей оси. Послышался хруст шейных позвонков, и тело Шпырива ослабло, лишь хрип застрял в горле. Панас, наступив ногой на упавшее тело, наклонившись, крутил голову все дальше, пока лицо Шпырива с выпученными от боли глазами не оказалось против него, и из рта не потекла кровь, усиливаемая конвульсивными судорогами тела. Панас оглянулся и, схватив Шпырива в охапку, побежал к реке. Там, у заросшего кустарником берега Хорола, он опустил его в воду и толкнул тело к середине реки. Потом бросил туда же револьвер Шпырива, вымыл липкие от крови руки и поглядел на неширокую гладь Хорола, тускло блестящую в свете узкого клинка луны. «Хорол, – подумал Панас. – Для кого ты жизнь, а для кого могила. Для нас, пришедших – могила». Он повернулся и пошел прочь от реки, не оглядываясь назад. До самого рассвета он не мог заснуть, но лежал, не шевелясь, несмотря на то, что все тело занемело от холода и неподвижности. Когда утром из гумна стали выходить гайдамаки, он встал. Никто никому вопросов не задавал – у всех с похмелья болели головы, и многие прикладывались к самогону. Но пили немного, понимая, что сегодня впереди у них тяжелый день – надо будет помогать пану разбираться с крестьянами.

Лаврюк вышел из хаты поздно. Хозяйка к этому времени успела накормить скотину, приготовить завтрак детям. Наехидные ухмылки гайдамаков демонстративно не обращала

внимания, только ниже опускала к земле почему-то виноватые черные очи. Пришедшему свекру что-то со злостью выговорила, и тот торопливо ушел. Лаврюк, не умывшись, сел за стол, опрокинул кружку горилки в рот, грязными пальцами засунул туда же застывший кусок мяса и хлестнул прихваченным из хаты кнутом. Остался доволен резким и сухим щелчком. Подошедший к столу Гетьманец, спросил:

– А зачем тебе хлыст?

– Сегодня будут сечь селян, яки грабили маеток пана. Так я хочу пройтись по их спинам, шоб неповадно было воровать чужое. Да и плечи надо размять...

– Правильно. Таких людишек надо наказывать по-серьезному, как в школе. Я по собственному опыту знаю – не накажешь вовремя ученика, он снова повторит такую же или еще худшую гадость. Ну, как ночь провел?

– Гарно. Но, видимо, устал и больше спал. Сегодня наверстаю. Как я понял, ее мужик награбил у пана хорошо, и где-то здесь прячется в деревне. Но мне-то все равно.

– Нет, – возразил Гетьманец. – Это не все равно. Его надо найти и наказать.

– Как хочешь. Но бабенка не то, что итальянки. Холодная, бревно бревном. Но сегодня я ее разогрею. Вот отдохну! – и он снова щелкнул кнутом.

– А Шпырив, как он там? Научил его чему-нибудь новому?

– Его не было. Наверное, ушел спать, не дождавшись ме-

ня, – и Лаврюк, снова выпив самогона, стал глотать холодные, с застывшим жиром куски свинины, поигрывая кнутом в одной руке.

Панас Сеникобыла, не завтракая, пошел к сельраде. Там двадцать арестованных, по указке Печенеги селян, должны были под конвоем немедленно отправиться для суда в Ромны. Остальных селян, кто грабил имение Апостола, должны были согнать на сельскую площадь и примерно, при всем народе, наказать кнутами и забрать у них наворованный осенью хлеб и инвентарь. Кроме этого крестьяне должны были возместить материальный ущерб деньгами. Печенега составлял для барина списки виновных, в которые себя не включил, хотя ему от панского имущества досталось как бы и ни больше всех. Так Панас, избежав разбора с паном, рано утром отправился с арестованными в уезд.

Гетьманец искал Шпырива до полудня, но не нашел. У него было подозрение, что Сеникобыла все-таки расправился с ним ночью, но тот уже ушел с конвоем. Гетьманец попросился у куренного быть часовым. Когда гайдамаки пошли арестовывать и наказывать селян, Гетьманец стал рыться в вещах Шпырива. В кожаном мешочке, инкрустированном затейливым еврейским орнаментом, он обнаружил золотые и серебряные кольца, серьги, брошки и даже монисто с красными камнями. Посмотрев на камни, Гетьманец вздохнул: «Эх, молодь! Не мог отличить стекло от бриллиантов». Но золота было достаточно много, что удивило Гетьманца –

когда и как этот молодец успел столько его набрать? Золото и серебро он сложил обратно в мешочек и переложил в свои вещи. Деньги разных властей и правительств, завернутые в рушник, он пока брать не стал. К вечеру он обратился к хмельным хлопцам, размявшими свои плечи о спины селян.

– Щось Шпырива не видно?

Никто не знал о его нахождении, и только один предположил, что он, видимо, пошел конвоировать арестованных. Гетьманец участливо подхватил его слова:

– Да, да. Он не ночевал с нами. Видно, вышел рано в село, и его срочно заставили идти с конвоем, даже пожитки не успел собрать. Но я ему их при встрече передам.

Засыпая поздно вечером, Гетьманец снова и снова цепкими, тонкими пальцами ощупывал содержимое вещмешка Шпырива, довольный тем, что деньги еще там, а золото уже у него. О своих подозрениях в отношении исчезновения Шпырива он решил не распространяться. Вещи Шпырива для него сейчас были дороже, чем он сам живой. Засыпая, он подумал: «Надо бы завтра доложить пану, что муж хозяйки ховається где-то в селе и поискать. Может, пан премию за это даст».

Часть X

52

В Харькове большевистское правительство готовилось к эвакуации. В город с запада приходили потрепанные в боях красные отряды, а из города на запад и юг выходили вновь сформированные советские части. С заводов снималось оборудование и вместе с продовольствием отправлялось по железной дороге на север. По городу на полной скорости проносились автомобили с вооруженными людьми, в каждом из них находился комиссар, отдававший распоряжения. Но подъезжал другой комиссар, с более высокими полномочиями, тоже с вооруженными красногвардейцами, и давал другое приказание, исключаящее предыдущие. Железнодорожники их молча выслушивали, обещали исполнить, но ничего не делали. Только когда конкретно формировался состав и было ясно – куда он направляется, цеплялись паровозы и увозили кого на запад, кого на север, а других на юг и восток. Ходили слухи, что красные разбили немцев под Дубовязовкой и те вместе с гайдамаками бегут обратно к себе на родину. Но потом выяснялось, что немцы рядом и вот-вот войдут в Харьков. Не только афишные тумбы, но и стены домов пестрели различными призывами и воззваниями к горожа-

нам. В одном из них говорилось:

«Товарищи и граждане! Всем, кому дороги идеалы пролетариата, все, кто ценит пролитую кровь наших братьев за освобождение России, все до единого – к оружию! С оружием в руках, стройными железными рядами ударим на врагов труда – немецких, русских и украинских трутней! Донецко-Криворожская республика была и будет неотъемлемой частью России, а не галицийско-немецкой колонией! За нами правда! Мы победим! Да здравствует социализм!»

Но мнение харьковчан на складывающееся положение было неоднозначным. Беднота записывалась в ряды защитников социализма и рвалась в бой с внешним врагом. Состоятельная часть горожан была напугана трехмесячным правлением большевиков, их реквизициями и постоянным патрулированием с арестами, и жаждала спокойной и сытной жизни. Два обстоятельства тяготили всех, независимо от класса и богатства – предстоящий разрыв с когда-то единой и неделимой Россией, духовной и материальной родиной, и то, что приходят не свои, внутренние враги, а чужие – немцы и галицийцы. Если рабочий и ремесленный люд ясно определил своих врагов, то аристократическая и бюргерская верхушка отрицательно относилась и к большевикам, и к приходящим чужеземцам, и не знала, что лучше – как бы не получилось из огня, да в полымя.

Аркадий Артемов, несмотря на то, что в стране происходили страшные и непонятные события, жил в своем ми-

ре, сотканном из музыки и неразделенной любви. С установлением советской власти и введением комендантского часа некоторые из сценаристов закрылись, другие сократили количество сеансов, и его работа музыкального иллюстратора из постоянной превратилась во временную. Но, благодаря своему музыкальному таланту, он мог зарабатывать на жизнь, давая частные уроки, выступая на частных концертах. Но все равно денег хватало только на еду да одежду. Он с благодарностью думал о Гардинском, который не брал с него квартирную плату. Но самым большим чувством для него были отношения с Татьяной. В начале восемнадцатого года она жестоко простудилась и долго болела. Сначала Аркадий дал себе слово как можно меньше бывать у Гардинских, но с болезнью Тани чуть ли не каждый день посещал основную часть дома, старался как можно больше побыть с Таней. Позже она стала заходить к нему, похудевшая и бледная после болезни, и от того еще более привлекательная в своей слабости и незащищенности. Ее родинки на прозрачных щеках выделялись особенно ярко и как будто светились. Гардинские обсуждали вопрос о том, чтобы отправить Таню на лечение и отдых в деревню, к родственникам, но решили подождать до прояснения обстановки в стране. Отдых за границей не представлялся реальным – война перекрыла все привычные пути путешествий и связей. Поэтому окончательно было решено не торопиться с этим вопросом – ждать, что будет дальше. Когда Таня приходила в комнату Аркадия,

то они беседовали обо всем, кроме своих отношений. Обычно эти беседы заканчивались тем, что Таня просила его исполнить что-то меланхолическое. Во время исполнения она сидела тихо, впитывая звуки мелодий, сочиняемые по ходу игры Аркадием, переводила затуманившиеся воспоминаниями глаза от клавиш, по которым перелетали чуткие и тонкие пальцы музыканта, на выцветшие обои, а потом за окно, где раскинулась весенняя глубина небосвода. Потом глубоко вздыхала и произносила таинственно-тоскливые фразы. И сегодня, заломив сплетенные пальцы, произнесла, вздохнув:

– Когда все это закончится? Когда? Когда можно будет жить и не бояться, не переживать за родных, знакомых и себя?.. Когда?

Эту фразу Аркадий часто слышал из ее уст. Он понимал ее переживания потому, что сам оказался выбитым из привычной, наполненной грезами жизни, а сейчас, как и она, находился в растерянности, в ожидании не лучшего, а наоборот – чего-то худшего, непредсказуемого. Он вполоборота повернулся к ней, оторвал пальцы от клавиш и закрыл крышку фортепиано.

– Я разделяю твою тоску, Таня. Я сам чего-то жду, чего-то хочу, а чего конкретно – не знаю. Вот, может, закончится вскоре вся эта заваруха, и мы снова начнем жить, как хотим, а не так, как нас сейчас заставляют... будем заниматься любимыми делами.

– У тебя есть любимое дело, а у меня его не было и нет. Певицы и музыканта из меня не получилось. Была возможность устроить личную жизнь, окунуться в семейные заботы, воспитывать детей, – то, к чему я так стремилась... и все сгорело в пламени войны и революции! Остался только пепел, пока еще теплый, но остывающий на глазах.

– Таня, ты завораживающе красива. У тебя еще будет любовь и семья. Пепел сохраняет искры, и от него снова возникнет огонь. Верь в это.

– Нет, Аркаша, я уже не та, что была три-четыре года назад, – легкая, как пушинка, воздушная, как зефир, бездумная, как птичка, счастливая в своей молодой глупости. Я уже сейчас чувствую, представляю себя в будущем неразборчивой, брюзгливой, с тяжелой, намокшей душой...

– Нет, нет! Не надо брать в голову мрачные мысли. Вот закончится война, и все наладится. Ты забудешь об этих безумных днях, память сгладит все обиды, притупит их, и снова мы окунемся в мир музыки, поэзии и любви.

– Спасибо тебе, Аркаша, что утешаешь. У меня действительно все время какое-то растерянное и подавленное настроение. Оно у меня уже давно, а пока болела – хандра обострилась. Пока я лежала – столько передумала, столько вспомнила и буквально по-новой все оценила. И все это память. Это – самое страшное, что могла вложить в мозг человек природа. От памяти не убежишь, к ней можно только приспособить жизнь. Воспоминания о прошлом! А от памя-

ти остается только боль, которая свербит и ноет, и она сидит занозой в голове, которую не выковыряешь. А счастливое – как блеск в памяти, чтобы было больнее вспоминать обиды жизни... – Таня вздохнула. – Да что мы все время говорим о мрачном и тяжелом! Скажи, написал что-нибудь новое?

Аркадий привык к ее тоскливым самокопающимся разговорам. Он понимал ее смятение. Пока именно ей из всей семьи Гардинских война принесла больше всего горестей и душевных разрушений. Но ему было приятно, что она доверяет ему свои мысли и душу. Он очнулся от размышлений над ее словами:

– Нет. Пока не сочиняю. Так, иногда для себя играю, что идет изнутри, но я, как ты знаешь, такое не записываю.

– А жаль. У тебя не только прелестные, но и глубокие мелодии. А тот романс просто прекрасен. Он всем нравится... говорят, его другие уже поют. Спой его? А я постараюсь подпевать...

Аркадий, не отвечая, повернулся к фортепиано, снова открыл крышку и взял первые аккорды вступления и запел. Таня вполголоса подпевала, но глаза ее блуждали по стенам и не углублялись в смысл мелодии и слов, что несколько обидело Аркадия. Но после окончания исполнения Таня обратилась к нему очень просто, чем сгладила обиду Аркадия:

– Очень красиво. Напиши еще такой же нежный романс, чтобы мы могли его исполнить при публике вдвоем.

– Хорошо. Постараюсь, – ответил Аркадий, хотя не был

уверен, что в ближайшее время он напишет что-то новое.

– Аркадий. К нам придут сегодня вечером гости. Всего несколько человек. Среди них будут офицеры.

Увидев, как при упоминании офицеров лицо Аркадия нахмурилось и напряглось от вспыхнувшей в груди ревности, Таня поправилась:

– Эти офицеры уже в возрасте. Маман их приглашает для меня – может, я сделаю партию. Но поверь – они не в моем вкусе. Они не герои. Скажу тебе честно, Аркадий, ты ярче их, хотя тоже не герой.

– А кто?

– Человек с божественным дарованием лиричности и рас-терянности. А знаешь – почему? Потому что родился в одной среде, а судьба тебя направила в другую. Ты не смотри на меня так обиженно, а то я расплачусь, – Таня засмеялась. – Тебе просто не хватило времени вращаться в нашу среду – интеллигентную, но на девяносто процентов никчемную и пустую. Но, тем не менее, я тебя отношу к оставшимся десяти процентам. Ты – будущее нашей интеллигенции... – и без всякого перехода снова предложила: – Приходи сегодня к нам. Если будет возможность – исполнишь свои произведения. А будет у меня настроение, то спою, а ты будешь аккомпанировать. У меня сейчас после встречи с тобой появилось весеннее настроение, ты на меня благотворно влияешь... а может, заканчивается период уныния и расстройств. Придешь?

Она, конечно же, знала его ответ. Он не мог отказать в

ее просьбе, но ей хотелось услышать и его утвердительное согласие.

– Да, приду.

– Вот и чудесно. Я жду... и все ждут тебя. Папа будет рад, – Таня удовлетворенно улыбнулась и, неожиданно наклонившись, коснулась его щеки своими мягкими губами, прошептав: – Жду!

И упорхнула из комнаты. А Аркадий, ошеломленный ее поцелуем, остался сидеть у пианино. Это был ее первый, мимолетный поцелуй. Почему она так поступила? Может быть она возвращается к жизни и он ей в этом помогает? И радостное чувство участия в судьбе Татьяны теплой волной разлилось в его груди.

Потом, успокоившись, он стал думать – что бы значили ее слова. Да, действительно – по уровню образования, да и просто по знаниям, ему далеко до Гардинских и их окружения. Да, это так! Он родился в рабочей семье, а не в богатой или интеллигентной. Ему не пришлось по-хорошему учиться в школе и пройти регулярный курс обучения музыке. Но он, и это видят все, превзошел многих в искусстве воспринимать и отдавать музыку. Он с жадностью впитывал в себя мелодии природы, отчасти жизни, он пока их копил, как скопец, в себе, и только часть их он отдавал другим: в синематографе, в гостиных залах, близким знакомым, но больше всего – себе самому, стенам, воздуху, миру... но пройдет еще немного времени, и он положит свои мелодии на алтарь

всему человечеству, как только насытитесь ими сам. Но почему он так растерян? И Аркадия вдруг осенило. Он знает, умеет и чувствует все происходящее тоньше других, не через обыденность жизни, крики и стенания людей – он выше этого, – а через музыку времени и пространства, в котором все слилось органично, в едином сплаве материи и духа. Но дух в нем мощнее материи. Вот в чем его сила, компенсирующая недостаток общих знаний и отсутствие профессионального образования! Все это видят и понимают, а он до сегодняшнего дня этого не знал, и только слова Тани заставили его взглянуть на себя несколько иначе. Но куда девать свое плебейское прошлое? Гордиться им? Унижаться? Молчать? Этого он не мог сейчас решить и, уже успокоившись от душевного самокопания, подумал, что надо бы написать письмо в Луганск, родителям. Как там у них? Уже давно он не сообщал им о себе. Его размышления прервала вошедшая в комнату Арина.

– На, поешь, – она поставила на стол тарелку, накрытую чистым полотенцем. – Небось, проголодался сегодня.

– Нет, милая тетя Арина! – весело ответил ей Аркадий. – Спасибо вам, но я есть не буду, так как иду к профессору на ужин. Понятно?

– Сейчас у профессора сильно не наешься. Они сами досыта не наедаются, – ворчливо ответила Арина. Она сняла с тарелки полотенце, и Аркадий увидел кусочек отварного мяса с небольшой порцией гарнира. – Вот такие порции я

и буду подавать сегодня гостям. Я тебе специально отрезала кусочек мяса, а то ты стал плохо питаться.

Зная ее добрую душу и привязанность к чужим, но ставшими родными людям, Аркадий не стал огорчать ее отказом. Он сел за стол и торопливо стал глотать, что находилось в тарелке.

– Не торопись, – все так же ворчливо приговаривала Арина, – а то вкуса не поймешь. Здесь нечего есть барышне, не то, что мужику. Вот видишь, как приходится жить... не то, что раньше. И так стараюсь на кухне что-то выкроить, да разве с малого сделаешь вкусное. Танечку жалко, еще не выздоровела. Ей бы сейчас хорошее питание дать, а в городе продуктов не найдешь. На рынок крестьяне боятся везти – большевики все заарестуют, а может, и их самих. В магазинах по карточкам дают немного... рабочим, а буржуям совсем не дают. А Танечке нужен покой. Смотрю на нее и плачу в душе, как она мается, бедняжка. Был муж, так убили. А ей хочется, чтобы ее любили. А мужчин путевых да красивых стало мало, – кто погиб, а кто скоро погибнет. Останутся одни поганцы...

Аркадий оторвался от тарелки:

– Что вы говорите, тетя Арина? Большевики говорят наоборот, что революция очистит страну от скверных людей.

– Я, Аркаша, много прожила. Всегда погибают честные да путевые. Они знают за что погибать, и смерть им не страшна. Поэтому они добрые и красивые. А гадины притаются да

еще кусают их. А когда красивые погибнут, гадины выползают из своих нор и начинают ругать погибших, что они погибли по-глупому. Видал, сколько этих гадин посылают людей на смерть? А сами сидят под охраной, ждут, когда перебьют самых лучших, чтобы потом глупыми командовать и хвастаться своими подвигами. А сейчас готовы убежать из города первыми, а честные люди из-за них головы положат.

Аркадий доел, вытер салфеткой губы, а Арина продолжала:

– Вот и снова она приходила к тебе, бедняжечка, – Арина говорила о Тане. – Ты стал ей самым дорогим человеком. Только с тобой она чувствует счастливой и делится своими горестями. С родителями этого не делает. Мне ее жаль... и тебе, я вижу, тоже. Вот она к нам и тянется. Относись к ней, Аркаша, по-братски, несмотря ни на что. Она больше не выдержит несчастья.

– Я к ней отношусь хорошо. Лучше некуда, – весело ответил Аркадий. – И она ко мне, вроде бы, неплохо относится.

– Она к тебе не плохо относится, а хорошо. Ты ей нравишься. Я ж вижу все... и говорила с ней. Она боится поломать твою жизнь, поэтому не хочет большего, чем отношений как у брата и сестры... она себе внушила, что мужчины, которые с ней знакомы близко, потом погибают. А ты ей сейчас дороже всех, и она тебя бережет, не дает повода для какой-нибудь угрозы тебе. Она добрая и чуткая, – Арина, вырастившая Таню, говорила эти слова с сердечной болью.

– Неужели? – удивленно приподнял брови Аркадий. – А я думал, она во мне видит неграмотного простолюдина и учит меня, как подняться до ее уровня... – а сам подумал: «Идиот, что говорю! Это ж неправда».

Но Арина будто не слышала его слов:

– Истинно так, как я сказала. Будь ты ей братом, чтобы она могла хоть к кому-то в горькую минуту прислониться. Я ее с пеленок знаю и никогда за нее так не переживала, как сейчас. Побереги и ты ее сейчас... ох, и заболталась я с тобой!

Спohватилась Арина, но по ее виду было заметно, что она довольна разговором с Аркадием; а вот с какой целью так рассказывала о Тане – Аркадий не мог понять. Арина собрала посуду и ушла, а Аркадий до вечера размышлял над ее словами, находясь в самом возвышенном состоянии от того, что Татьяна не равнодушна к нему. От этой мысли он приходил в трепет, еще не зная, что над этой милой и душевной женщиной довлеет рок, уничтожающий мужчин.

На ужине у Гардинских присутствовало около десятка человек. Были военные и гражданские. Разговор проходил вяло. Аркадий откровенно скучал и обрадовался, когда Гардинский попросил его сыграть для гостей что-нибудь из Чайковского. Ася Михайловна подхватила:

– Да. Сыграйте нам что-нибудь, Аркадий. И, может, Танечка споет... если у нее не болит горло?.. – осторожно добавила она.

Аркадий подошел к фортепиано «Рёниш», на котором он хотел бы играть всегда за его очень хорошее звучание, медленно и аккуратно поднял крышку, сцепил пальцы и с хрустом выгнул их в обратную сторону, опустил их мягко на клавиши... и полились созерцательные и меланхолические мелодии из «Времен года» Чайковского. Присутствующие с подчеркнутым вниманием слушали музыку, но было заметно, что их мысли сейчас занимают совсем другие проблемы. Когда в зале растаял последний звук, раздались короткие, вежливые хлопки.

– Может ты, Танюша, споешь? – обратился к дочери отец,

– Нет, – ответила Таня, недовольная такой творческой атмосферой. – Я сегодня петь не буду. У меня нет настроения.

– Хорошо, доченька, хорошо, – поспешно согласился с ней Гардинский, а потом медленно, чтобы в его слова вникли

гости, продолжил: – Да. Когда-то мне прочили композиторскую судьбу. Сам Танеев был в восторге от моей симфонии, но не получилось из меня композитора. Творчество и любовь несовместимы... – Гардинский ласково взглянул на жену, и у них обоих от этих слов затуманились глаза. – Встретилась на моем пути моя любимая Ася, и я всю энергию направил на то, чтобы заслужить ее любовь... а потом уже Танечка заняла все мое время и мысли. Уже позже, став зрелым человеком, профессором консерватории, понял, что надо было выбирать что-то одно. Вот сейчас, впитывая в себя бессмертные мелодии Чайковского, я подумал – а почему он стал великим композитором? Да потому, что он отказался от семьи и посвятил всего себя музыке. В творчестве необходима отрешенность от всего, даже от любимых людей. Я по своей натуре не являюсь аскетом. Для меня любовь жены и дочери являются главными. А творчество, к сожалению, отошло на второй план. Да, жалко, конечно, что я оставил композицию, не написал публично исполняемых произведений... зато я приобрел другое – любовь, благодарность и понимание близких мне людей.

Теперь на затуманившиеся глаза Гардинского навернулась слеза, и он с каким-то слепым обожанием переводил взгляд с жены на дочь. Таня смотрела на отца насмешливо, не разделяя его чувствительности, а Ася Михайловна крохотным платочком смахнула слезинку с ресниц. Гардинский, словно очнувшись от задумчивости, продолжал:

– Но я воспитал многих учеников, достойных – в высоком смысле слова – продолжить мелодическое искусство великих российских музыкантов. Вот вы сейчас слушали Чайковского в исполнении моего ученика Аркадия Артемова. Все у него есть... прекрасная техника, умение вжиться в музыку и интерпретировать ее по-своему, оригинально, так, как он ее чувствует. Но Аркадий, – я открою его и нашу тайну гостям, они, наверное, этого не знают... этот будущий композитор – выходец из народа, глубоко знающий его музыку. И это, я считаю, очень важно для творчества – знать народ. Может, сейчас и не время заниматься композицией, – революция и музыка несовместимы. Грохот барабанов заглушает скрипку... но, когда все вернется на круги своя, поедет Аркадий в Италию и там займется совершенствованием своего таланта. Я уверен, что он вырастет в истинного композитора, а техника исполнения, как вы убедились, у него прекрасная уже сейчас. Я надеюсь, что он не забудет своего учителя и хотя бы одно свое, пусть и самое маленькое сочинение, посвятит ему...

Аркадий с благодарностью смотрел на Гардинского. Ему нравилась непосредственная увлеченность профессора музыкой, но он видел, как его учитель далек от повседневной жизни.

– Вы правы, – ответил Гардинскому один из гостей, мужчина лет тридцати пяти, в черном костюме с бабочкой. – Но, чтобы все вернулось на круги своя, – как вы вырази-

лись, господин профессор, – нужно не только ждать, но и бороться против врагов... – он сделал паузу, ожидая реакции присутствующих на свои слова и, увидев только внимание, а не протесты, продолжил: – Вы, конечно, интересуетесь, кто сейчас наши главные враги? Я не думаю, что немцы. Германия все равно проиграет войну. Ее силы истощены во всех отношениях. Единственное, на что им сейчас хватит сил – оккупировать Юг России, и то – в результате предательства галицийских украинцев и большевиков. Но это временно. Немцам придется с позором уйти из России, против них уже ведет войну малороссийский народ. Серьезным врагом я галицийцев не считаю, они с немцами уберутся отсюда с еще большим позором. Славяне объединились с германцами против славян! Большого предательства история не видела. Если большевики идут по основной дороге революции, как и мы с вами, то украинская рада цепляется за наши ноги, пытаясь залезть на эту дорогу. И мы, настоящие патриоты России, и большевики носком сапога отпихнем их обратно на обочину, а потом разотрем кованым каблуком. Из этого следует сделать вывод, что главным нашим врагом являются большевики. Вот их надо как можно быстрее уничтожить, и навсегда, чтобы не осталось и духу на нашей земле. А остальные враги, которых я назвал или забыл назвать, сами опадут, как сухой лист от здорового дерева. Вот тогда мы действительно вернемся на круги своя, и Аркадий... извините, не знаю вашего отчества, – только тогда сможет по-

ехать в Италию и продолжить обучение музыке. А пока будут большевики – это неосуществимо.

Гость замолчал. Его по-военному четкое выступление задело за живое многих. Они уже жили при большевиках, и такая жизнь им не понравилась. Разговорились и другие, и как обычно в это время – о политике. Гардинский, понимая свою слабость в политических вопросах, как-то потускнел и замолчал. Ася Михайловна беседовала с женщинами. Таня, так же, как отец, молча слушала разговоры. Аркадий подошел к мужчине в черном костюме с бабочкой и представился:

– Мое отчество – Федорович. Аркадий Федорович.

Собеседник выпрямился, щелкнул каблуками туфель и представился:

– Ротмистр Веденяпинский. Пока, в связи с известными событиями, о которых я сказал, нахожусь вне рядов нашей армии. Садитесь, – пригласил он Аркадия к низкому игровому столику. – Вы прекрасно играете, насколько я понял. Хотя, должен признаться, у меня небольшой музыкальный слух... а, проходя службу в армии, приучил себя различать звуки барабана и то – под левую ногу, – Веденяпинский рассмеялся своей шутке. – Что поделаешь! Но вы играли действительно хорошо. А что вы хотели от меня, мой юный друг?

– Не знаю... стоит ли об этом говорить?..

– Если вам действительно необходимо услышать разъяс-

нение, то никогда не стесняйтесь, иначе у вас продолжительное время будут сомнения. Я к вашим услугам.

– Хорошо, – решил Аркадий. – Вы говорили сейчас очень отрицательно о большевиках. Но у меня, признаюсь вам честно, брат большевик, и я думаю, что он не такой плохой, как вы сейчас о них говорили.

Веденяпинский снисходительно улыбнулся:

– Мой юный друг. Может быть, каждый в отдельности большевик – неплохой человек, тем более если он – ваш брат, а братские чувства я понимаю. Пусть, для примера, у меня брат тоже был бы большевиком, – я бы к нему, пока идет война, относился бы как к врагу, со всеми вытекающими последствиями. А после нашей победы я бы непременно помог ему встать на правильный путь. Но один человек – это безликая личность. Когда же таких безликих личностей, объединенных какой-то идеей, как большевики, много, то они представляют страшную разрушительную силу. Поэтому, пока они не набрали еще большей силы, не вовлекли в свой водоворот других людей, всю страну и даже мир – их надо остановить. Вам понятно, Аркадий Федорович, почему я сегодня говорил так не патриотично, не с российской точки зрения. Выделил главным врагом не немцев, а большевиков?

– Да, – безвольно согласился Аркадий, который многого из разъяснений ротмистра не понял.

– Я так и думал, что вы меня поймете. Лучше вернуться к хорошо известному старому, чем ринуться сломя голову в

непонятное новое, – Веденяпинский замолчал, оценивающе разглядывая Аркадия, и потом вкрадчивым голосом продолжил: – Аркадий Федорович, я хочу вам доверить одну тайну и, естественно, рассчитывать на вашу помощь. Если вы согласны, я вам сообщу нечто важное, которое поможет решить, в частности, и ваши проблемы дальнейшего обучения музыке.

Аркадий заколебался. Ему не хотелось брать на себя какие-то обязательства, но в тоже время ему льстило доверие такого, внешне загадочного человека, нуждающегося в его помощи. Не знал еще Аркадий того, что посвящение в тайну делает человека рабом и полностью подчиняет хозяину – сообщающему загадочную тайну.

– Если я смогу вам в чем-то помочь, то не буду отказываться, если это в моих силах... понимаете?

– Да, – с удовлетворенным вздохом поспешно ответил Веденяпинский. – Если не сможете, то это просто останется тайной. На днях немцы вступят в Харьков, и мы хотели, чтобы городская власть была сформирована не киевскими националистами, которые отдают страну на разграбление захватчикам, а нашими сторонниками. Мы будем препятствовать такому ограблению. Мы хотим перед вступлением немцев в город поднять восстание, арестовать руководителей большевиков и сформировать в ходе восстания свою городскую думу, которая поставит немцев перед фактом о наличии новой власти в городе. Этим мы отстраним от власти галицийцев,

и немцам придется иметь дело не с предателями народа, а с нами. Вы поняли?

– Но вы все равно будете сотрудничать с врагами?

Веденяпинский жестко улыбнулся:

– Вы хотите сказать, что это не патриотично. Так? Не отвечайте, я понял ваш намек. Есть два вида патриотизма – фанатичный или животный. Его исповедуют галицийцы и прочие националисты, к тому же на нашей, а не на своей территории. И есть патриотизм сознательный или разумный, который всегда был присущ трезвомыслящим людям. Я уже сказал, что немцы уйдут бесславно, рада – с позором, большевики будут уничтожены. Останемся мы – настоящие патриоты, и, отталкиваясь от того прошлого, что является лучшим, построим новую страну. Это произойдет скоро. А пока, – временно, чтобы сохранить единое и неделимое государство, – мы будем разумно строить свои отношения с немцами, не поступаясь, как радовцы, своими государственными интересами.

Аркадий с сомнением смотрел на него. В его голове не укладывалось – как это можно ненавидеть захватчиков и одновременно сотрудничать с ними. Но он не знал, что сил для восстания у сторонников Веденяпинского было немного, и сейчас они усиленно вербовали в свои ряды непонимающую многого молодежь. Но Аркадий был уже посвящен в эту тайну, и отказываться окончательно было неудобно.

– А вдруг немцы останутся тут надолго? Что тогда, вечно

с ними жить вместе?

– Аркадий Федорович, вы не поняли разницы между нами и галицийцами. Они идут с нашими врагами нас завоевывать, чтобы остаться здесь навсегда и с помощью внешних врагов угнетать нас. Кроме наглости у них силы нет. Мы же хотим оккупационный режим взорвать изнутри, и нас в этом поддерживает народ. Он уже борется против немцев и радовцев. Мы подготовим всенародное восстание и выгоним врагов совместно с украинским и русским народом.

Он вздохнул. Длинный разговор заронил в нем сомнение о возможности привлечения Аркадия к восстанию, и Веденяпинский, подчеркивая, что он намерен прекратить этот разговор, нарочито устало, обиженным голосом произнес:

– Я вижу, вы пока не можете меня понять, а раз так, то и не сможете нам помочь. И, в конечном счете, решить положительно свое будущее.

Его слова уязвили Аркадия, который от природы был боязливым человеком и, чтобы почувствовать себя на уровне такого отважного бойца, как ротмистр Веденяпинский, он торопливо произнес:

– Я не отказываю вам в помощи, но я не знаю – что я должен делать?

У Веденяпинского удовлетворенно вспыхнули глаза и, наклонившись ближе к уху Аркадия, он прошептал:

– Через несколько дней мы выступим против большевиков. Уже сформированы боевые отряды. Но я понимаю – вы

ни разу вы жизни не держали в руках винтовку и пистолет. Я правильно говорю?

– Да.

– Но нам нужны трубачи, чтобы подавать сигналы и вселять боевой дух в наших солдат. Вы умеете играть на трубе?

– Когда-то умел. Я начинал учиться музыке в духовом оркестре.

– Вот и хорошо. Военные сигналы, как вы знаете, весьма легкие, даже примитивные. Вы с ними справитесь. Так согласны вы оказать нам такую помощь?

– Да. Согласен.

– Вот и хорошо. Ждите от меня посыльного в ближайшие дни. Он скажет, куда вам явиться. И запомните – это тайна. Утечка информации поставит под угрозу срыва всю операцию. Я в вас надеюсь, как на патриота.

На всякий случай Веденяпинский записал адрес Аркадия и еще раз подчеркнул, что посыльный может прийти в любое время суток, и чтобы Аркадий сразу был готов идти туда, куда ему прикажут. Веденяпинский крепко, уже товарищески пожал руку Аркадия и пошел к гостям. Но общий разговор, вроде бы начинавшийся интересно, угас, и гости стали расходиться. Таня подошла к Аркадию и спросила:

– Ты уединился с ротмистром, как никогда не уединялся со мной, – она засмеялась. – Я знаю, какую тайну вам доверил ротмистр! – увидев недоумевающий взгляд Аркадия, она засмеялась еще веселее, казалось, что и родинки на ще-

ке вспыхивали яркими огоньками. – Не бойся, это известно всем в нашей семье и нашим друзьям. Он тебя уговорил вступить в боевой отряд, чтобы поднять восстание против большевиков и прочих врагов. Я правильно говорю? – кокетничала Татьяна над ошарашенным Аркадием. Она уже давно не смеялась вот так, от души. Ася Михайловна и Гардинский, глядя на них, тоже улыбались от радости – наконец-то дочка веселится, как когда-то давно – в детстве. Неужели тоска и безысходность покинули ее? И они смеялись вместе с дочкой, не зная – над чем.

– Откуда ты все знаешь? Меня он пригласил не в боевой отряд, а в качестве музыканта. Трубача, – серьезно говорил ей Аркадий, не смея поверить, что тайна Веденяпинского известна всем.

Неожиданно Таня посерьезнела, придвинулась так, что ее груди прикоснулись к его предплечью и прошептала:

– Правильно ты сделал, что согласился. Пора тебе совершить мужественный поступок. Я ж люблю сильных людей, героев. Когда тебя позовут на бой, скажи мне. Я тебя благословлю на сражение, а может быть, и на любовь... – она сложила купоном губки и как бы поцеловала его издалека, уже не прикасаясь к нему. – Скажи, когда тебя позовут... – выдохнула она ему в лицо и отошла от него.

У Аркадия блаженно закружилась голова и он так же не сказал, а выдохнул:

– Скажу. Обязательно сообщу!

А потом, уже лежа в постели на жестком диване, он ощущал прикосновение ее нежных, под шелком платья, грудей к своей руке и боязливо, чтобы не потерять это ощущение, прикоснулся к своему предплечью. Его голова кружилась от счастья, он готов был на подвиг ради нее и с нетерпением ждал прихода посыльного от Веденяпинского, не думая о том, что эта тайна известна всем.

Посыльный пришел через три дня, к вечеру, когда темнело и, подозрительно оглядываясь вокруг, шепнул:

– Сегодня в десять, на Сумской, в доме... – он назвал фамилию известного политического деятеля в городе и исчез.

Аркадий с облегчением вздохнул, будто сбросил с себя невероятный груз. Через комнату Арины прошел к Гардинским, нашел Таню и сказал, что через полчаса он выходит из дома по приказу Веденяпинского. Таня вначале испуганно взмахнула руками, видимо, этот вызов для нее был неожиданностью – прошло совсем немного времени. Страшно побледнев, она прерывисто шепнула Аркадию:

– Иди к себе, я сейчас приду туда.

Аркадий пошел, и через несколько минут к нему зашла Таня. На плечах ее была шаль, которая закрывала ее руки. Глядя на Аркадия неподвижными огромными глазами, она дрожащей рукой протянула ему спрятанный под шалью маленький блестящий пистолет.

– Возьми браунинг. Мне его подарил близкий знакомый, чтобы я могла защищаться. Возьми. На память... навсегда.

Ты умеешь им пользоваться? Нет. Ладно, потом научишься. Пусть тебе кто-то покажет, как он стреляет. Я тоже не умею из него стрелять. Береги себя. Третьей смерти близкого человека я не вынесу. Иди, но береги себя.

Она подошла к нему и обняла его голову трясущимися от волнения руками и крепко поцеловала его в губы.

– Когда уходишь?

– Сейчас.

Она снова прижалась к нему и коснулась поочередно обеих его щек.

– Я виновата, что посылаю тебя неизвестно куда. Но ты должен это пройти! – слезы выступили у нее на глазах. – Еще раз прошу: береги себя. Там все воюют за свои интересы, а у тебя их интересов нет. Они там будут другими. Я не буду спать, буду тебя ждать и за тебя молиться, чтобы с тобой ничего не случилось. Обними и поцелуй меня сам.

Аркадий неловко обнял Таню за плечи и коснулся ее губ. Она прижалась к нему и глубоко, как после стремительного бега, задышала, а потом оттолкнула его от себя:

– Иди, мой герой, я буду тебя ждать. Награда тебе – моя любовь.

– Я вернусь. Не бойся! – прошептал Аркадий.

Они вышли вместе, и Таня, еще раз взглянув на него и что-то прошептав губами, безвольно взмахнула рукой и бегом вошла в комнату Арины, чтобы пройти к себе.

Аркадий вышел на улицу. Было темно, прохожих почти

не было видно, только редкие их фигурки торопливо пробежали по тротуарам. Он быстро нашел нужный дом. Там находилось уже человек двадцать молодых людей без оружия. Веденяпинский был здесь же, давал распоряжения, переговаривался с проходящими к нему людьми. Прошло часа два, действий никаких не предпринималось, и Аркадий даже заскучал. Но где-то около полуночи Веденяпинский распорядился, чтобы все выходили во двор. В дверях подвала им начали выдавать винтовки. Аркадий нащупал браунинг, подаренный Таней, и спросил Веденяпинского:

– Мне тоже брать винтовку?

– Да! – отрывисто ответил Веденяпинский.

– Но вы говорили, что я буду подавать сигналы трубой.

– А-а. Да, – видимо, Веденяпинский вспомнил его. – Трубу дадим позже. А сейчас винтовку, и не задерживайте меня.

Аркадий получил винтовку, которая оказалась чуть ли не в его рост. В темноте он увидел, что многие так же, как и он, внимательно рассматривают винтовки – видимо, впервые держат их в руках. Но Веденяпинский это предполагал и приказал:

– Становитесь вокруг меня. Смотрите, как пользоваться винтовкой. В магазине уже есть патроны. Вам стоит только оттянуть затвор, послать патрон в патронник, прицелиться и нажать спусковой крючок. Понятно? Да не трогайте затворы! – зло зашипел он, увидев, что кто-то начал повторять его движения. – А то перестреляете друг друга. Запомните

и повторяйте это упражнение в уме. Я дам команду, когда заряжать. А теперь тихо пошли за мной.

На этом все обучение военному делу закончилось. Веденяпинский пробормотал что-то ругательное, и ближайшие к нему расслышали: «Послал Бог недорослей на мою голову».

Потом дворами, прячась в ночной тени серых громад зданий, они пошли, – как определил Аркадий, – к центру города. В одном из дворов больше часа ждали дальнейших распоряжений. Аркадий замерз и мысленно ругал себя за то, что пошел в плаще, а не в пальто. Наконец Веденяпинский, переговорив с пришедшим к нему соратником, дал новую команду – передвинуться к площади и коротким броском занять здание харьковского совета. Всех, находящихся там депутатов, арестовать, а кто окажет сопротивление – уничтожить. От этого приказа у Аркадия чаще забилося сердце, а в голове появилась несвойственная ему ранее туманная пустота, которая оставалась у него до самого утра. С шумом ворвавшись в совет, они там ничего не обнаружили – большевики покинули его еще днем и не оставили даже сторожа. Все нападающие, ожидавшие хотя бы небольшой стрельбы, были разочарованы. Веденяпинский был разозлен, что не успел застать врага, и вся подготовка с атакой пришлась на пустое место. Он приказал всем ждать нового приказа.

Большинство расположились на диванах и стульях и, делая равнодушный вид, попытались заснуть. Аркадий сел на стул, пытался сосредоточиться, но не мог – в его сознании

вставала то Татьяна, с умоляющими глазами вручающая ему браунинг и одновременно просящая его остаться живым, то брат Сергей, воевавший за большевиков, а, следовательно, против него, то обрывки сцен из его жизни. Но мелодии в его голове отсутствовали, и он даже не пытался их вызвать к себе. Происшедшее подавляло его и не способствовало творчеству. Наконец Веденяпинский, отсутствовавший долгое время, вернулся и скомандовал:

– Подъем! Хватит спать! Всем выходить на улицу!

Там, уже не скрываясь дворами, они быстрым шагом пошли по улицам – не строем, а скорее толпой – в направлении звучащих в утреннем воздухе выстрелов к заводу «Гельфердих-Саде». По мере приближения выстрелы становились явственнее – там шел настоящий бой. Выскочивший из подъезда одного из домов человек в офицерской форме что-то сказал Веденяпинскому и сразу же скрылся. В ответ тот распорядился, чтобы отряд шел не на завод, а на перекрытие пустыря. Как позже Аркадий понял, остатки красных с завода должны были отступать в этом направлении.

Уже светало. Восток горел багряными полосами рассвета, хотя солнце еще не вышло. И в этом слабом отсвете зари Аркадий увидел бегущие фигурки людей с винтовками от заводского забора в их сторону. В смятении екнуло сердце и забилося бешеными толчками, перехватило дыхание в груди. Аркадий понял, что сейчас все будет по-настоящему, и ему придется убивать или быть убитым самому. А с востока

наступал карминный, равнодушный ко всему, много повидавший в своем многомиллиардном цикле, рассвет. И Аркадию вдруг остро захотелось раствориться в этом вечном его бездушии, порвать с так называемыми людьми, непонимающими, что природа обычна и непрестанна, а они поступают необычно и зло, вопреки заданному ей всемогущим космосом ритму, не замечающему их сутолочь. Она вечна, а они твари, которые скоро превратятся в прах, в неживую природу. И Аркадий со страхом глядел на разливающееся марево рассвета и ему сейчас хотелось стать песчинкой и унести туда, к далеким невидимым звездам и не видеть никого – ни людей, ни землю.

Из оцепенения его вывел резкий крик Веденяпинского:
– К бою! По врагам... огонь!

Торопливо дернув затвор и услышав выстрелы своих товарищей, Аркадий, не целясь, выстрелил. Но бегущие, рассыпавшись цепью, стреляя на ходу, быстро приближались к ним. Аркадий еще не успел перезарядить винтовку, как услышал грубый мат Веденяпинского – такого он от интеллигентного человека не ожидал – относящийся к их умению стрелять. Он судорожно клацнул несколько раз затвором, не целясь, выпустил пули в бежавших на него людей и почувствовал, что винтовка не отдает огнем, а железный затвор шелкнул о железо. «Кончились патроны, – подумал он. – Неужели мне конец?» И вдруг он вспомнил о браунинге, сунул руку в карман и нащупал его. «А как из него стрелять?» –

мелькнула паническая мысль. Но в это время раздался новый мат Веденяпинского, вместе с командой:

– Примкнуть штыки! К рукопашному... товсь!!

Но Аркадий не успел выполнить этой команды. К нему приближался здоровый рабочий-красноармеец в черном ватнике, лет тридцати. Его возраст почему-то навсегда врезался в память Аркадия. Может, потому, что это был его первый враг, которого он увидел вблизи. Он своей винтовкой без штыка, стволом ударил Аркадия в ухо, и тот упал. Но эта неожиданная боль придала ему злости и он, резко вскочив, бросился без винтовки, оставшейся валяться на земле, за рабочим. Он не видел, что к ним пришла помощь. Люди в военной и полувоенной форме стреляли в рабочих, и ряды красных становились все реже. Он, как борзая собака, догнал работягу, и сзади, смаху бросился ему на шею. Они оба упали, но красноармеец свободно, как пушинку сбросил с себя Аркадия, и его кулак врезался в лоб музыканта, на мгновение выключив сознание. Остался бы жив Аркадий? Кто знает. Но в это время человек в офицерской форме без погон мощным коротким ударом жажнул прикладом винтовки работягу по затылку, и тот свалился набок, запрокинув к рассветному небу лицо, в которое сразу же пришелся еще один удар прикладом, размазавший красному нос, а разлетевшиеся капли крови попали на Аркадия, отчего он испуганно отшатнулся в сторону.

– Вставай, студент, – обратился к нему человек в офицер-

ской форме. – Если бы не я, тебе бы конец.

От этих слов у Аркадия замерло в груди, но следом в это мертвое пространство хлынуло злобное бешенство.

– Я его сейчас убью! Убью! – прошипел он.

– Не надо. Вот сейчас поймают остальных, и тогда всех кучей прихлопнем. Вставай! – приказал офицер застонавшему работяге. – Пойдем!

Тот сел на землю и рукавом ватника провел по развороченному носу, оставив на ткани густую полосу крови. Он зло смотрел на своих врагов и хотел что-то сказать, но изо рта послышалось бульканье, и кровь побежала по подбородку.

– Вставай! – снова приказал офицер.

Работяга устало поднялся на ноги, зажимая лицо рукавом ватника. Ему, несомненно, было очень больно, но Аркадий увидел, что на него тот смотрит насмешливо и снисходительно, как на ребенка, совершившего плохой поступок. И несоответствие его бесформенной физиономии и добродушных глаз потрясло Аркадия. Ему захотелось бежать отсюда, но он услышал голос офицера:

– Бери винтовку и поведем его вместе. Связывать не будем. Замараться можем. Но следи за ним зорко, эти бестии у могут убежать, даже если у них не будет головы и ног.

Бой закончился. Пленных красных отводили к одиноко стоявшему на пустыре складу. Туда же Аркадий с офицером привели своего пленного. Веденяпинский подбежал к офицеру, шедшему с Аркадием. Тот приложил руку к козырьку

и начал рапортовать:

– Господин ротмистр...

– Не надо, я видел! – перебил его рапорт Веденяпинский. – Если бы вы вовремя не пришли сюда, господин капитан, был бы нам конец. Красные прорвались бы и ушли!

– Сами видите, господин ротмистр, разве это солдаты. Дрянь!

– Я с трудом уговорил их идти на борьбу с большевиками. Кому родители запрещали – того стыдил, что он не мужчина, кому рисовал угрожающее будущее при большевиках, кого запугивал, а некоторых просто обманывал, лишь собрать что-то подобие отряда. Разве это солдаты? Поэтому я этих неумех и возглавил, – если уж что, так погибну вместе с ними. Но вы пришли вовремя. Спасибо.

– Ну, что ж. Они сегодня обстрелялись, теперь надо закрепить их навыки и привить ненависть к врагам. Всех пленных к стенке, и пусть ваши студенты их расстреливают. И побыстрее, а то в город вот-вот войдут немцы.

Веденяпинский начал отдавать приказания. Красных, – а их было более двадцати человек, считая раненых, – поставили перед стеной склада. Некоторые из них не могли держаться на ногах сами, и ротмистр заставил здоровых пленных поддерживать таких вертикально. Гимназистов и студентов, тоже человек двадцать, Веденяпинский поставил против красных. Патронов у многих не осталось, и им их дали. Аркадию уже не хотелось ничего, тем более – расстрели-

вать людей, и он попытался затеряться в кучке пришедших из нового отряда. Но капитан увидел его:

– А, герой! Куда же вы прячетесь? Совсем недавно вы хотели убить красного. И вы знаете, – обратился он к стоящим рядом, – он хотел убить его на моих глазах. Без хвастовства скажу – если бы не я, то этот молодой человек давно бы уже был на том свете. Не трусьте, молодой человек, станьте мужчиной! – с издевкой произнес капитан.

От таких обидных слов кровь бросилась в лицо Аркадия, и он почти с ненавистью посмотрел на своего спасителя:

– Я не трус. У меня патронов нет. Поэтому я не пошел...

– Идите. Я дам вам патроны.

Получив патроны, Аркадий встал с левого края шеренги расстреливающих. Он посмотрел на стоящих у стены красных. Никто из них не молил о пощаде, эти люди знали, на что шли. Неожиданно его глаза встретились с насмешливыми глазами того работяги в ватнике, который еще совсем недавно мог его убить. Аркадию показалось, что тот смотрит на него, и на лице, как на маске, недавно раскрашенной художником, невысохшей краской блестела свежая кровь, и только глаза, выделявшиеся черными дырами, смеялись: «Давай, сынок, не трусь». И Аркадий отвел свой взгляд от этих глаз.

Раздалась команда Веденяпинского, и все приложили винтовки к плечу и прицелились.

– Пли!

Аркадий взглянул в насмешливые глаза красного, – чело-

века, которого он должен убить, выстрелил намного выше его головы и закрыл глаза, чтобы не видеть происходящего. Когда он открыл их, то увидел, что его работяга лежит на земле, не шевелясь. «Это не моя пуля, не моя...» – лихорадочно успокаивал он себя, раненые корчились на земле, но человек пять-семь красных стояли на ногах, – кто держась за стенку, а кто даже не прислонившись к ней. Аркадий видел, как Веденяпинский, капитан и другие офицеры вышли впереди шеренги гимназистов и из револьверов стреляли по оставшимся в живых красным. Ему стало плохо, и он, пошатываясь, вышел из строя и, опершись на винтовку, старался подавить подступившую к горлу тошноту. Пустой желудок не выделял ничего, мучая организм своими судорогами, и только горькая слюна свисала из рта и не хотела отрываться от губ.

Веденяпинский подошел к нему, зло взглянул, выхватил у него винтовку и презрительно произнес:

– Пшел отсюда вон, музыкант! – этим он как бы подвел итог его никчемности перед другими.

Аркадий, не дожидаясь следующих бранных слов, бросился бежать, не оглядываясь, под язвительными взглядами других. Его только заставил вздрогнуть еще один залп из винтовок, но он уже не слышал револьверных выстрелов, добивающих раненных.

В своей квартирке, сбросив плащ, он ничком упал на диван и, впервые за всю эту страшную и бурную ночь, запла-

кал. Его чувствительная натура, привыкшая видеть ломающиеся страдания в кино, читать о них в книгах и выражать постороннюю боль в музыке, сегодня столкнулась лицом к лицу с жутким водопадом жизни, который невозможно выразить ничем. Водопад его скомкал, сжал, превратил в ничтожество и отбросил в первобытное состояние. Прежней осталась только оболочка, а внутри все другое – рваное, раздробленное и уже больше никогда не совместимое друг с другом. Значит, познал реальную жизнь? Нет! Нет!! И еще раз нет!!! Такой жизни не желаю, не приемлю, ненавижу! Он любил свою жизнь, пусть и шедшую понарошку, на острие чужих бед и страданий, но не эту, которую навязывают ему сейчас. «Будь проклята война и революция! – в отчаянии думал, вытирая слезы, Аркадий. – Пропади все это пропадом! А что да здравствует? Что?..» Неужели сейчас не возможно какое-то стремление? Ждать, когда все закончится? Ждать, ждать, ждать... а может, окунуться в ту жизнь, каковой она является? Нет, нет, нет! Где выход? Где!!!

Скрипнула дверь, и Аркадий, повернув голову, увидел входящую Татьяну. Он сейчас смотрел на нее не просто недоброжелательно, а враждебно. Если бы не она, он никогда бы не пошел туда, где мужчины становятся героями.

Таня сразу же заметила – это не восторженно-влюбленный взор, а другой – обвиняющий. И она действительно чувствовала себя виноватой, что раньше никогда не проявлялось в ее отношениях с ним. Она подошла к дивану, присела на крае-

шек и тихим, извиняющим голосом произнесла:

– Я постучалась, но ты не ответил. Я сама вошла, без приглашения. Ты плачешь? Не отвечай, я вижу.

И она ласково, по-матерински погладила его по голове, отчего слезы у Аркадия потекли еще обильнее.

– Я понимаю, что виновата. Могла бы запретить тебе идти туда. Прости меня. Прости... я сама, когда убили мужа, так же плакала, думала – не выживу, наложу руки... – она вздохнула. – Но выжила, стала равнодушной и счастливой в несчастье.

Она гладила его рукой по волосам. Заметив синяк, вздувшийся на щеке, нежным, тонким прикосновением погладила и, наклонившись, поцеловала его. Когда-то, может, несколько часов назад, Аркадий затрепетал бы от этого прикосновения, щекотания светлых волос, но сейчас остался холоден. И это Таня заметила:

– Ты всегда был добр со мной, утешал, стремился во всем помочь, часть моей боли разделить со мной или всю ее взять себе. Спасибо тебе за это. Теперь я обязана тебя утешить, отвлечь от пережитого. Если бы я знала, что на тебя это так серьезно подействует, я бы тебя не отпустила, и все бы у нас осталось по-прежнему. Сейчас у нас все будет по-новому, я искуплю свою вину. Прости мою жестокость к тебе. Будь тоже жестоким ко мне.

Аркадий уже не плакал, а с недоверчивым изумлением слушал ее слова и не заметил, как под влиянием ее слов чув-

ство отчаяния, еще недавно владевшее им, стало таять. Таня встала, сняла платье и аккуратно положила его на стул, сняла заколку, и волосы разметались по голым плечам, потом медленно сняла с безымянного пальца обручальное кольцо и положила его на пианино...

– Что ты делаешь? – почему-то робко спросил Аркадий. – Зачем? Возьми лучше свой пистолет обратно.

– Я дарю тебе – моему герою – этот браунинг. Он мужчине пригодится больше, чем мне – женщине. Встань я поправлю постель...

Аркадий встал, а она расправила простынь, поправила подушку и одеяло, снова села на край, опустив босые ноги на пол.

– Иди ко мне, мой несчастный герой.

И Аркадий, сам не ожидая от себя такого поступка – это он видел в кино, вдруг с трепетом опустился перед ней на колени и поцеловал ее обнаженное колено – сначала одно, потом другое.

– Богиня моя, – почему-то возвышенно прошептал он. – Я твой раб.

– Нет. Сегодня я – твоя рабыня, – прошептала Таня в ответ. – Поднимись, прижми меня к себе... крепче, еще крепче... мой герой, целуй меня... возьми на руки... я твоя.

Аркадий поднял ее на руки и осторожно, как хрупкий сосуд, положил на постель.

В окно пробился весенний, утренний, поэтому пока еще

робкий лучик света, пробежал неслышно по потолку и, став крепнуть, опустился ниже, пробежал по стене, но так и не достиг пола.

Солнце к полудню ушло из квадрата окна.

Киев. Апрель восемнадцатого. Мягкое весеннее солнце облило золотые купола православных храмов свои теплом, и они пламенели янтарным маревом в лазурном бесконечье. Красавец-Днепр, как и много тысячелетий подряд, медленно и величественно катил свои воды. Его острова вспыхнули легким изумрудным весенним пламенем, и напоминали историческое прошлое Руси: вот шапка Владимира Мономаха, то – Ярослава Мудрого, а это —Владимира-Ясное Солнышко, а эти шапки – других древнерусских деятелей, разбросанные ими на могучем течении реки в память потомству. В древнерусской столице приготовились распуститься знаменитые на весь свет киевские каштаны, выбросив прямо к небу пирамидки своих зеленых мягко-колючих шариков. Еще неделя – и шершаво-белые, с красными прожилками цветы вспыхнут маленькими каштановыми елочками. Живописна весенняя палитра Киева, контрастирующая с голубым небом, зеленью парков, темнотой воды и древними разноцветными постройками. И только по булыжным улицам, рядом с резиновым шорохом проносящихся экипажей, размеренно цокали железные копыта лошадей, со всадниками, пришедшими из Германии, а рядом с русскими названиями улиц красовались эти же надписи на немецком языке. Гуляющая публика была довольна покоем, который ей обеспечи-

вали немецкие штыки. Опозоренный Киев – колыбель городов русских – добровольно, по милости непонятных Украине руководителей, отдан в руки чужеземцев. Такого в истории православного города не было – без боя он еще не сдавался ни басурманам, ни католикам, ни протестантам, ни какому-нибудь другому врагу.

Винниченко по Владимирской направлялся в Педагогический музей – резиденцию Центральной рады. Недавно он вернулся из Геническа, где переждал большевистское и немецкое нашествия, и ему хотелось снова попасть в водоворот политической борьбы, интриг и подлостей. Многие ему пришлось за эти три с лишним месяца передумать. Ошибки, допущенные им в бытность его руководителем правительства, по прошествии времени вырисовывались более выпукло и намного ярче, чем раньше. Главное, что он понял – национальное движение и социально-экономические реформы должны идти совместно, рука об руку, и ни в коем случае борьба за национальное возрождение не должна обгонять материальную основу существования народа. Иначе идея национального возрождения останется лишь идеей, парящей в пустоте и непонятной населению. Но существовала и другая опасность – если полностью удовлетворить социально-экономические требования народа, постоянно не подсовывать ему образ врага, то народ, удовлетворенный материальной жизнью, может откинуть национальную идею. Вполне возможно, он будет хорошо трудиться, растить своих де-

тей и внуков, решать свои личные проблемы, но он не должен замыкаться в себе, в своей будничности. Ему нужно подбрасывать идеи, ведущие его к борьбе, той борьбе, которую укажут руководители. Ему нужны постоянные потрясения, чтобы руководители национальной идеи оставались у власти. Ему нужен образ не временного, а постоянного врага. Но как все это провести в жизнь? И Винниченко приходил к парадоксальному выводу – чтобы бороться за национальное возрождение, народу необходимо чего-то не додавать, держать в напряжении – военном и социальном. Без этого борьба за идею невозможна. Да, народ надо держать в постоянном напряжении! Его душа писателя и драматурга, хорошо знающая и с большой любовью описывающая украинскую жизнь, не могла совместить этих двух противоположных начал – философского и экономического. И вот сейчас он шел в тот дом, из которого раньше пытался управлять народом – с целью поговорить с соратниками по национальной борьбе, поделиться своими мыслями и сомнениями и, быть может, помочь им в исправлении предыдущих ошибок и не допускать новых. Так же ему хотелось вновь получить какую-то должность в руководстве державой. Но он сам просить об этом не будет – пусть его попросят помочь в этом руководстве.

При входе в здание гайдамак долго мусолил его документ, удостоверяющий личность. Для справки спросил, где родился. Уязвленный таким приемом – его, бывшего голову правительства еще о чем-то расспрашивают, – Винниченко рез-

ко ответил гайдамаку:

– На Херсонщине. И бегом приведите своего начальника!

Гайдамак презрительно скривил губы – Херсонщина разве это Украина! Но начальника, на всякий случай, позвал. Пусть он разбирается.

Винниченко обратил внимание на то, что резиденция рады заполнена большим, чем раньше, количеством гражданских и военных, говорящих не как его земляки-херсонцы, а с великой примесью польских, немецких, венгерских и других иностранных слов, не отчетливо, степенно и ясно, выговаривая слова и предложения, как его земляки Приазовья, а как-то быстро, перешептывая, комкая слова. Винниченко знал галицийское наречие, но в своих произведениях старался применять красивую задушевную мову Поднепровья. И Винниченко сделал неутешительный вывод – дела рады плохи, раз она опирается на галицийские политические и военные силы. В его время в составе рады было больше выходцев с российской Украины, и то их украинский народ не поддержал, а сейчас... он мысленно с безнадежностью махнул на все это рукой.

Его пропустили в здание, и по широкой лестнице он поднялся на второй этаж, где встретился в коридоре с министром земледелия, бывшим секретарем продовольствия в его кабинете – Ковалевским. Тот обрадованно пожал руку Винниченко и пригласил его в свой кабинет.

– Рассказывайте, дорогой Владимир Кириллович, где вы

были, что видели? – радушно приветствовал его Ковалевский.

– Многого насмотрелся, дорогой Николай Николаевич, – в тон ему ответил Винниченко. – Много продумал. Уже несколько дней нахожусь в Киеве, анализирую состояние дел на Украине и, увы, прихожу к нерадостному выводу – в политике Центральной ряды ничего не изменилось.

– Ну что вы! – будто от удивления поднял вверх брови Ковалевский. – Конечно, после прихода немцев мы стали другими. Мы пригласили немцев для борьбы с большевиками, а оказались спутанными ими по рукам и ногам. Вот в чем наша сложность. Но я думаю – как закончатся военные действия, у немцев исчезнет главный козырь в давлении на нас, и тогда в мирных условиях мы заставим их выполнять наши указания.

– Сомневаюсь. На их стороне сила. А у кого сила, у того и правда, и потребуются сверх усилия, чтобы наша правда оказалась сильнее! – блеснул литературным красноречием Винниченко. – Читайте газеты – кругом скандалы, и везде рядом с ними упоминается рада. Вот – похищение какого-то банкира...

– Но, – перебил его Ковалевский, – то директор русского банка для внешней торговли Добрый! О нем и идет в газетах речь. Похищение банкира – не наших рук дело. Это обычное сведение счетов между евреями. А Добрый – жид... и это всем известно!

– Я хотел сказать не только об этом. Вот вы, Николай Николаевич, министр земельных дел, а закона о земле, столь нужного украинскому крестьянству – нет. Разве селянин поддержит раду за такую бездеятельность? А ведь вам хорошо известно, что именно селянство является опорой нашего национального возрождения – и вы сами эту опору и разрушаете.

– Вам легко критиковать, Владимир Кириллович! Вы отошли от дел. Закон о земле готов, но, скажу между нами, Грушевский почему-то упорно откладывает его рассмотрение и принятие. И еще более откровенно скажу... захочешь провести какое-нибудь хорошее, нужное постановление – так набегает куча критиков и недоброжелателей. Начинают мешать, откладывают обсуждение, а потом и минует в постановлении надобность. Каждый в раде вредит другому, зависть процветает безудержно. Не успели мы сформироваться, а бюрократизма больше, чем при старом режиме. Мы взаимно исключаем работу друг друга. Но это между нами, Владимир Кириллович! А крестьяне – наша опора – воюют против немцев, а значит – против нас. Вон, у нас под боком – в Таращанском и Сквирском уезде – уже целый месяц бушует крестьянское восстание, и ни немцы, ни наши части не могут с ним справиться. Мы проводим цензуру газет, и пока эти материалы не полностью дошли до читателя, но долго скрывать такое восстание невозможно... лично я хотел бы удалиться уже от политических дел и отдохнуть где-нибудь

в небольшом городке или...

Ковалевский не успел закончить свою мысль. В кабинет без стука вошел, а точнее вбежал Порш, занимающий ныне пост председателя Хлебного бюро, которое организовывало вывоз хлеба и другого продовольствия в Германию, Австро-Венгрию, Турцию и Болгарию – страны-союзницы. В его руках была газета «Киевская мысль», и он ею возбужденно размахивал. Увидев Винниченко, он умерил свой пыл, поздоровался за руку со своим бывшим непосредственным начальником и, больше его не расспрашивая ни о чем, разложил газету на столе:

– Читали? – саркастически спросил он у Ковалевского, а потом сардонически добавил: – Чи-та-ли?!

– Что?

– Вот, полюбуйте, милый министр земледелия – приказ генерал-фельдмаршала Эйхгорна, немецкого главнокомандующего на Украине. Это к вашему сведению. Его приказ называется коротко и ясно «О весеннем севе». Почитайте?

Ковалевский пробежал глазами по газете и поднял на Порша глаза.

– И что вы хотите мне этим сказать?

– А то, что этот приказ подписан Эйхгорном две недели назад и разослан на места! А его нам даже не соизволили передать, и мы, правительство, об этом до сегодняшнего дня не знали! Вот только узнали из этой газеты, которая опубли-

ковала его! Немцы плюнули на нас в прямом смысле слова!

Ковалевский молчал, и тогда Порш обратился к Винниченко:

– Уважаемый Владимир Кириллович, вы еще не ознакомились с этим приказом?

– Нет. Я сегодня еще не просматривал газеты.

– Тогда почитайте? – и он протянул Винниченко газету.

Приказ о весеннем севе, как понял Винниченко, ставил крест на законе о социализации земли, который он лично разрабатывал с осени прошлого года. «Затянули с его принятием – и вот получили немецкий закон об украинской земле», – резюмировал про себя Винниченко. Крестьянам, которые захватили землю и засеяли ее, эта земля оставалась, но они обязаны были выплатить четверть урожая с этой земли помещикам как арендаторы. Помещикам предписывалось засеять всю землю. Винниченко про себя подумал, что немцы решили этот вопрос в чисто прусском аграрном варианте. А тем временем Порш спрашивал у Ковалевского, как прокурор:

– Вы знали об этом приказе раньше?

– Да, знал. Мы точно такие же телеграммы рассылали на места от своего имени. Эйхгорн сделал самое главное – он подкрепил наши указания и просьбы в отношении весеннего сева своим приказом, то есть придал авторитетность.

Теперь уже был ошарашен Порш.

– А почему я об этом не знал?

– Надо глубже вникать во все дела, а не только в вопрос скорейшего вывоза хлеба в Германию, – съязвил Ковалевский.

Винниченко внимательно прочитал приказ в газете и теперь слушал перепалку между двумя министрами. Порш снова обратился к нему:

– А как ваше мнение, Владимир Кириллович?

– Как и ваше. Вы правильно сказали – они плюнули на вас образно и конкретно. Точнее не придумаешь.

– Я думаю, Владимир Кириллович, – Порш возбужденно заходил по кабинету, – что пора немцев поставить на место. Мы окрепли, и с ними уже можно вести себя строго. Пусть они не забывают, что они – слуги украинской власти! Народ нам верит и не позволит разрушить добытые нами для них с таким трудом национально-революционные завоевания. Сегодня на подписании продовольственных соглашений я скажу об этом немецкому командованию! Пора их ставить на место! – повторил Порш, не замечая едкой улыбки Винниченко. – Я сейчас доложу об этом приказе немцев Грушевскому, пусть он скажет фельдмаршалу-солдафону о превышении им полномочий. Я боюсь, что вам, министр, видимо, придется уйти в отставку. Я тороплюсь, извините Владимир Кириллович, сегодня подписание с Германией всеобъемлющего договора о поставках продовольствия с Украины. Если вы желаете, то приходите в штаб немецкого главнокомандующего и посмотрите, как все будет происходить.

Порш умчался, а Ковалевский по-шалльному улыбнулся:

– В отставку, так в отставку. Я вам уже сказал, что я готов к этому. Мало кто хочет идти работать министром. Мне, думаю, найдут другую министерскую должность. У нас уже чуть ли не все были главой правительства, а потом продолжали работать просто министрами. Очень узок наш круг. Но вы это и сами знаете. Извините, Владимир Кириллович, что не удалось поговорить с вами по-нормальному. Но я надеюсь, что мы с вами скоро встретимся и, возможно, мне потребуется от вас помощь. Не откажете?

– Если буду в силах оказать такуюю, не откажу, – ответил Винниченко, не вникая в смысл сказанного. Он еще не знал, что помощь Ковалевскому потребуется очень скоро.

Они попрощались, и Винниченко решил пойти в немецкий штаб, чтобы присутствовать на столь важной процедуре подписания хлебных, – как их называли в прессе, – договоров.

В штабе немецкого главнокомандования все было готово для подписания договора. Зал был небольшой, Грушевский тепло поздоровался с Винниченко, и вопрос о его присутствии сразу же был решен положительно. Начались выступления. Сначала выступил, – как хозяин дома, где происходит подписание договора, – посол Германии, барон Мумм. Он сухогато поздравил Грушевского и присутствующих украинских деятелей с освобождением державы от большевиков и выразил уверенность, что после подписания хлебного до-

говора связи Украины и Германии станут еще более крепкими и дружественными, достойными двух великих народов. Мумм сделал намек на то, что после окончания войны Украина сможет кое-что получить от раздела Европы и, естественно от России, но что конкретно – не сказал. Винниченко, в ответ на эти льстивые слова, насмешливо улыбнулся. Немец льстил своим новым неожиданным союзникам уж очень прямолинейно. А когда Мумм стал расхваливать государственную мудрость Грушевского, зная слабость головы Украины к похвальбам в свой адрес, Винниченко стало стыдно и неудобно за ласковое унижение его страны. Но Грушевский от слов немецкого посла зарделся, и глаза под маленькими круглыми очками повлажнели. Закончив говорить, Мумм, торжественно склонив голову, двумя руками пожал маленькую руку Грушевского, отчего тот еще более покраснелся, да так, что борода на этом фоне стала выделяться ярко-белым пятном. Немецкие генералы стояли молча по стойке смирно. Генерал Гренер стоял с гордым, надменным видом человека, честно выполнившего долг перед своей родиной. Генерал-фельдмаршал Эйхгорн – невысокий, пухленький старичок, недавно назначенный главнокомандующим германских войск на Юге России – вытянув короткую шею, прислушивался к каждому слову выступающего посла и к выступлениям других лиц, словно намечая планы на будущее.

Вторым выступал Грушевский. Он поблагодарил освободо-

дителей Украины от Московщины, клялся в вечной дружбе немецкому народу. Но потом в его речи проскользнули слова, заставившие всех насторожиться. Гренер впился в Грушевского таким взглядом, будто хотел его съесть вместе с хлебными договорами. А Эйхгорн сбывчил свою шею, будто готовился протаранить выступающего. Винниченко внимательно прислушивался к глухому с нечеткой дикцией голосу Грушевского, стараясь вникнуть в смысл его слов. Грушевский, как старый сокол, выпущенный из клетки перед последней охотой, расправив грудь, шелестел:

– Дорогие наши союзники. Подписывая договор о поставках продовольствия, мы и наш народ надеется на вашу лояльность по отношению к нам и честность. Мы думаем, что в ближайшее время Германия отдаст селянству то, что он вам сейчас дает в долг. Я имею ввиду не наличные деньги, а товары, необходимые нашему селу: сеялки, веялки, молотилки, ну и еще, что нужно... – Грушевский запнулся. – Да, еще косы, серпы, сапки, грабли... ну и всякая мануфактура. И я снова прошу поставить эти необходимые крестьянам товары как можно скорее.

Эту сбивчивую часть речи, выпадающую из общего контекста, он произнес неуверенно и вяло, а потом снова стал благодарить союзников за освобождение их от московского ига и закончил, что он часто делал, латинской крылатой фразой: «*Officii fructus, ipsum officium est*» («Вознаграждением за оказанную услугу является сама услуга»).

Немцы стали перешептываться, как перевести эту фразу, и, узнав ее содержание, позволили себе улыбнуться. Винниченко не понял этого выражения и с сожалением смотрел на украинскую делегацию. Премьер-министр Голубович краснел от удовольствия, явно наслаждаясь свершаемой процедурой и тем, что ему тоже придется подписать документ, – его подпись навечно попадет в историю и сохранится в архивах. Порш стоял по стойке смирно и по его поведению было незаметно, что он хочет сказать немцам что-то резкое, в чем несколько часов назад клялся в разговоре с Винниченко, и тот с презрением смотрел на Порша: «Умеет говорить правду по за углами, постельный герой!».

Слово предоставили послу Австро-Венгрии графу Форгачу. Он также поклялся в вечной дружбе с Украиной, но потом сказал, видимо, в ответ на неосторожные слова Грушевского о поставках товаров на Украину:

– Конечно, справедливо, что необходим товарообмен, но доставка готовых продуктов сельского хозяйства – вещь совсем другая, чем доставка товаров, которые еще надо изготовить. Мы уже помогли Украине военной силой. Хотя кровь и жизнь наших солдат ни в коем случае не может быть товаром для обмена, но этой помощи Украина не должна забывать при подписании торговых договоров.

И посол Австро-Венгрии сурово посмотрел на украинскую делегацию. Потом перешли к процедуре подписания. С германской стороны подписывал генерал-фельдмаршал

Эйхгорн – командующий немецкими войсками на Украине, с украинской – Грушевский, – голова Центральной рады.

Винниченко читал данный ему, размноженный немцами рабочий экземпляр: «...зерно до 31 июля 1918 г. поставить 60 миллионов пудов. Украинское правительство приложит все старания увеличить, насколько возможно, установленное количество поставки... яиц – 400 миллионов штук. Украинское правительство приложит старания повысить доставку до 500 миллионов штук... украинское правительство обязуется доставить центральным державам 2750 тысяч пудов живого веса рогатого скота. Минимум живой вес отдельной штуки – 15 пудов... картофеля... масла растительного... овощей...».

«Все расписано с немецкой педантичностью, – подумал Винниченко, – указаны даже овощи. Но откуда же все это взять? Почти четыре года войны разорили крестьянство. Неужели нет реально мыслящих людей в раде? Это ужасно! Это грабеж! За такой короткий срок столько продовольствия не соберешь. Терпи, украинец! Мы, твои возродители, тебе это устроили. Терпи! – думал с грустью Винниченко. – Смотри, украинец, договор подписан от имени правительства, а не государства. Нас немцы даже не считают державой – так, германская провинция с местным правительством. Терпи, брат украинец, тебе всё это отдавать чужому дяде».

Перешли к валютным соглашениям. Украинский карбованец устанавливался в два раза дороже немецкой марки.

Члены украинской делегации выглядели в этот момент гордо. Как никак, а карбованец сильнее марки. Но никому из них в голову не приходило то, что в этом году в Германии стало так много марок, как никогда еще не было, и планировалось выпустить еще больше. Вот их и должны были скупать украинцы, не надеясь на прочность своей валюты – марки все же лучше, чем карбованцы. Национальная гордость еще более разрослась, когда украинское правительство подписало соглашение о предоставлении Германии – самой Германии! – оккупировавшей пол-Европы, кредита на 200 миллионов карбованцев для того, чтобы она закупила за украинские деньги у украинских же селян хлеб. Конечно же, не все время Германии помогать Украине, должна и она помочь союзнику, а он после победы возвратит долг, да еще с процентами.

Винниченко смотрел на довольные лица всех сторон. Порш осклабился в подобострастной улыбке, Голубович искрился счастьем – он подписал валютный договор. Ему также позволили поставить свою подпись под документом, где Украина обязывалась без согласия союзников не продавать хлеб другим державам. Фельдмаршал Эйхгорн отложил в сторону вечную ручку и долго жал руку Грушевскому, потом ему жали руку другие генералы и послы, а он краснел от смущения. Эйхгорн пригласил присутствующих в соседний зал, где был накрыт торжественный стол.

– Вы знаете, – говорил не выступавший до этого фельд-

маршал, – эти соглашения сделали нас полноправными союзниками во всех отношениях, а не только в военной сфере. Наше военное искусство, ваша продовольственная сырьевая база сделают нас непобедимыми, и мы скоро одолеем всех врагов. А теперь я приглашаю всех в зал, на торжественный банкет. Вы увидите и почувствуете, какие неповторимые блюда изготовили наши немецкие повара из украинской свиньи. И по разнообразию блюд и по их выдумке, им нет равных в Европе, – Эйхгорн, довольный проведенной процедурой, теперь явно издевался над правительством Украины. – Проходите в банкетный зал.

Винниченко стоял на месте и не собирался идти в банкетный зал. К нему подошел Порш.

– Владимир Кириллович, – обратился он к Винниченко, – к сожалению, мы не можем пригласить вас на банкет. Немцы очень пунктуальны, и подготовили определенное количество приборов. Если бы эта встреча происходила у нас, то проблем бы не было... но понимаете, эти немцы...

Винниченко с презрением взглянул на него, и Порш, уловив этот взгляд, отвел в сторону глаза.

– Вы сегодня говорили, что на приеме выскажете немцам все свое возмущение и поставите их на место. Но я ни слова протеста не услышал из ваших уст?..

– Поймите пожалуйста, Владимир Кириллович, это же официальный прием, и один неправильный жест, не говоря о словах, может испортить все наши взаимоотношения... ска-

жу больше – отношения между государствами! Но я им все выскажу при удобном случае... может быть, в ближайшие дни.

Винниченко снова смерил его презрительным взглядом с ног до головы:

– Я и не собирался присутствовать на обеде. Я уже поел. А генерал красиво выразился, надо запомнить и записать – украинская свинья, приготовленная по-немецки и в разных кулинарных вариантах. Великолепно! Ха-ха! Идите и ешьте нашу свинью по их рецептам. Вы ж на чужом приеме. Ха-ха! – Винниченко, не прощаясь с Поршем, пошел к выходу из немецкого штаба.

Домой он шел пешком. На душе было горько и муторно. Дома его встретила жена – Розалия Яковлевна. Она сразу же поняла, что у мужа сегодня не самый приятный день. Розалия помогла ему снять плащ, и он прошел в свой кабинет.

– Володя, ты будешь обедать? – спросила она мужа по-русски.

Жена плохо знала украинский язык, и дома они говорили по-русски.

– Спасибо, Роза. Принеси мне рюмку водки в мой кабинет.

Винниченко сел за письменный и стал переключивать исписанные листы бумаги. Розалия принесла на подносе рюмку водки и кусочек хлеба, поверх которого лежал кусочек сала. «Наше сало, – подумал Винниченко. – На хлебе. Так его

ест весь наш народ. Просто ест, а не приготовленное по-особому». Он одним глотком выпил рюмку и взял в рот все вместе – хлеб и сало. Долго с удовольствием жевал, ощущая всем организмом их сладко-соленую прелесть. Проглотив, сказал:

– Спасибо, Роза. Я поработаю немного, запишу, что сегодня видел и как понял. Не мешай мне. Хорошо?

Он поцеловал ее в щеку – свою любимую Розу, хотя не всегда был ей верен. Она, в свою очередь, любила мужа-литератора – импульсивного мистика, а не политика – умного и наивного. Но какой уж есть, лучшего мужа не найти.

Винниченко взял вечную ручку и стал записывать в дневник: «Читать украинскую историю надо с бромом – потому что это самая главная из несчастных, бестолковых, беспомощных историй, до того больно, горько, печально ее перечитывать. В истории Украины есть две истории: одна – народа, другая – гетманов и старшин. И они развивались параллельно. Гетманы обычно убегали за границу, и тогда эти две истории пересекались, и за это пересечение украинский народ платил своей кровью и свободой... Неужели такой великий разрыв существует между идейными руководителями и народом Украины?»

Он долго вдумывался в написанное, поправил несколько раз текст и стал записывать в дневник сегодняшние события. Пригодятся для истории. Уже стемнело, когда Розалия, до этого не заходившая к нему по его просьбе – он работал, вошла и сообщила, что пришел Ковалевский и хочет с ним по-

говорить.

– Пусть проходит сюда, – ответил Винниченко.

Вошел Ковалевский, протянул руку Винниченко, и они вторично поздоровались в этот день.

– Я сейчас распоряжусь, чтобы приготовили ужин.

– Не надо. Я ненадолго, – запротестовал Ковалевский. – Я пришел рассказать о том, что не договорили днем, и попросить вашей помощи.

– Я буду рад услышать от вас что-нибудь новое, – с иронией ответил Винниченко, насмотревшийся за этот день достаточно много неприятного для себя.

– Я вам сегодня не стал объяснять детали некоторых запутанных дел нашего правительства, а сейчас хочу восполнить этот пробел... – начал Ковалевский, словно не замечая иронии собеседника. – В отношении банкира Доброго, тайно и кем-то похищенного. Я говорю откровенно, между нами, вы понимаете это, Владимир Кириллович. Сугубо конфиденциальная информация.

Винниченко кивнул в знак согласия, что сохранит все сказанное в себе. Ковалевский продолжал:

– Так вот, банкир Добрый арестован по секретному приказу нашего министра внутренних дел Ткаченко. Все было сделано тайно, как в приключенческих книгах. Пришли за ним люди в масках, связали, посадили насильно в автомобиль, потом в поезд и увезли.

– Куда?

– Не знаю точно, но, кажется, в Харьков.

– А для чего была осуществлена такая детская шалость.

– Обидно, но скажу честно, Владимир Кириллович, – немцы нас полностью игнорируют, совсем не считаются с нами. Вот и сегодняшней приказ о весеннем севе это ярко продемонстрировал. И некоторые наши руководители решили шантажировать немцев и похитили банкира. Хотят, чтобы немцы с нами считались. Для них Добрый представляет большую ценность. Он осуществляет банковские связи с Германией, пока мы их не наладили на государственном уровне. А немцы рано или поздно, а точнее – рано – разузнают все, и тогда дни нашей рады сочтены. Это была не шалость, как вы изволили выразиться, а глупость со стороны головы и премьера нашей рады. Немцам нужен лишь повод, чтобы убрать нас с политической арены. И мы сами этот повод положили им в ручки.

– Так Грушевский и Голубович в этом замешаны? Не думал. А почему вы считаете, что дни рады сочтены?

– Владимир Кириллович, вы отсутствовали некоторое время в Киеве и не знаете многих тонкостей наших взаимоотношений с немцами. Мы им были нужны для окончательного оформления хлебных договоров. Сегодня они подписаны. А политический состав рады вы знаете: эсдеки, эсеры, эсефы – все называют себя социалистами и все представляют интересы рабочих и крестьян, хотя от них далеки, как звезды от земли. А у кого надо будет брать продовольствие? У

крестьян. Немцы понимают, что мы напрямую им помогать в выкачке хлеба и сырья с Украины не будем, а им хотелось бы это делать не своими, а чужими руками, точнее – украинскими. Поэтому мы им уже не нужны, а нужно правительство или из помещиков и буржуазии, или антиукраинское.

– Я сегодня пришел к такому же выводу. За нашу политику придется расплачиваться народу. Вас не было, а я присутствовал на подписании, как вы их назвали, хлебных договоров. Большого унижения Украины я в истории не встречал. Знаете, что сказал Эйхгорн Грушевскому?

– Нет.

– Он пригласил нашего профессора откусать украинскую свинину, приготовленную по-немецки. Так. Дословно! И у того не хватило ни совести, ни такта отказаться. Какой позор!

– Я давно заметил, что Грушевский, когда находится с нами, то старается подавить нас. А когда он говорит с немцами или вообще с европейцами, у него теряется столь острый при нас ум, логика, зато появляется неуверенность, заискивание и даже подобострашие.

– Я так же заметил – кто прошел львовскую школу, лебезит перед сильными и считает слабого ниже себя. Может, у них выработалась такая психология, будучи австрийской провинцией? Часто не пойму я их...

Возникла пауза, собеседники не хотели углубляться в разъяснение этого вопроса, и Ковалевский, поколебавшись,

осторожно произнес:

– Я сегодня, Владимир Кириллович, подал в отставку. Теперь я фактически не у дел. Преемника мне не назначают, а отставку принимают. Некому и дела сдать. Чем дальше заниматься буду – пока не знаю. Год назад я еще выступал на митингах, призывая к отделению от России, а сейчас ничего не хочется. Устал от закулисных дрызг и болтовни... посоветуйте, как быть дальше?

– У нас так мало, Николай Николаевич, преданных нашей идее людей, и ваш уход из политики ослабит наши ряды.

– Мне сейчас нужен небольшой перерыв, отдых... потом бы снова включился в работу...

Ковалевский явно чего-то не договаривал, испытующе смотрел на Винниченко, колеблясь – говорить ему самое главное сейчас или вообще не говорить – и, наконец, решился:

– Вы меня давно знаете, Владимир Кириллович, по совместной революционной борьбе. У меня никогда не было большого состояния... вернее, никакого не было. Работая на различных министерских должностях, я много не заработал. Можно сказать так – работал за идею, на наше дело, за украинское возрождение. Мне бы после министерской работы не хотелось оставаться нищим на оставшуюся жизнь, тем более когда дни рады сочтены. Я вам открою свой план. Вы только меня правильно поймите и не осуждайте. Я решил – пока у меня есть возможность, завтра, выписать себе некоторое

количество денег, купить недвижимость и положить деньги в европейские банки. Я понимаю, что это уголовное дело, и банк подложный чек обнаружит, но это займет определенное время. Я должен некоторое время где-то переждать, пока не сменится власть, а она неоднократно будет меняться, я в этом уверен...

– Вы что от меня хотите? – резко перебил его Винниченко. – Чтобы я пособничал воровству?!

Ковалевский съезжился в кресле и злыми глазками насто-роженно смотрел на Винниченко. Но у того гнев уже прошел. «Когда разрушается общество – разрушается и личность, и я не лучше его», – подумал Винниченко. Ковалевский перешел в наступление:

– Когда вы были в Геническе и прятались от большевиков, я знал об этом. Большевики вас искали, и стоило кому-то из нашего самого узкого круга намекнуть им об этом, они бы вас нашли. А последствия...

– Значит, это вас я должен благодарить, что меня не нашли большевики? – язвительно спросил Винниченко.

– Нет! Хотя, в некотором смысле, да. Просто я и все знающие вас испытывают к вам уважение, я бы даже сказал – любовь. Помогите мне еще и потому, – пошел напролом Ковалевский, – что немцы, удалив нас, реквизируют всю нашу казну, наложат арест на банковские счета, и эти деньги не достанутся украинскому народу. Дайте мне адреса ваших людей, у которых вы скрывались! Я не останусь в долгу и часть

этих денег отдам вам.

– Мне от вас никаких денег не нужно, я достаточно зарабатываю литературной работой, – Винниченко задумался. – А может, вы и правы. Рада доживает последние дни. Действительно, деньгами воспользуются немцы, ничего нам не достанется. Так пусть ими воспользуется хоть один человек из нашего окружения! Казна – не вдова, – ее не оберешь до конца. Я дам вам адрес в Геническе, очень надежного человека. Он поможет вам переждать трудное для вас время.

– Спасибо, дорогой Владимир Кириллович! – прочувственно, с искренней благодарностью, чуть ли не готовый целовать ему руки, ответил Ковалевский.

Винниченко написал короткое письмо и отдал Ковалевскому.

– Только прошу вас, чтобы это письмо не попало в другие руки. Очень прошу. Моя репутация не должна ставиться под сомнение.

– Будьте во мне уверены! Никогда, никому кроме адресата я его не отдам! Я не забуду вашей доброты, Владимир Кириллович, никогда! Как только политическая обстановка прояснится, и я начну действовать легально, я вам тоже куплю недвижимость... или сделаю ценный подарок.

Винниченко поморщился, но отказываться от будущего подарка не стал.

– До свидания.

Ковалевский крепко, с чувством благодарности пожал его

руку и вышел. Вошла жена. Она облокотилась на плечо Винниченко и ласково поцеловала его в щеку.

– Володя, ты сегодня как не свой. Ты устал. Иди отдыхай. Винниченко ласково погладил руку Розалии.

– Ты права, пора отдыхать. Надо забыть о том, что я сегодня видел. Забыть о том, что я только что совершил подлость. Но об этом не жалею. Если не могут быть счастливы все в государстве, пусть будет счастлив хотя бы один человек, хотя он и зарабатывает счастье нечестным путем.

– Не мучай себя, Володя. Подлость и честность – две стороны одной монеты. Только как на нее смотреть? Монета – всегда есть монета.

Винниченко с благодарностью прижался к плечу жены.

В этот же день вечером, после подписания хлебных договоров, в немецком штабе проходила тайная встреча генерал-фельдмаршала Эйхгорна и генерала Скоропадского. В затемненной комнате за небольшим столиком они вели беседу. На столе стояла бутылка шнапса и скромная закуска. За последнее время это была не первая их встреча. Бывший потомок запорожских козаков, командир дивизии, отличившейся в боях на Юго-Западном фронте с немцами, приближенный к царскому двору, крупнейший помещик Юга России Павло Скоропадский и пожизненно военный Фридрих Эйхгорн были, если можно так сказать, родственниками. Это выражалось в том, что их жены были сестрами из известного дворянского гнезда в России – Дурново. Поэтому между генералами существовала личная симпатия, и Эйхгорн прочил своего родственника в правители Украины. Но личные симпатии не заслоняли те задачи, которые поставил перед Эйхгорном Берлин.

Скоропадский родился в Германии и жил там до семи лет. Русский язык он освоил уже после приезда в Россию. Сейчас он учился говорить по-украински. Поэтому беседа с Эйхгорном шла на немецком языке. Эйхгорн – внук известного философа Шеллинга, выбрал военную карьеру. По молодости лет он любил щегольнуть умными цитатами своего деда. С

возрастом однако понял, что и сам может сформулировать умную, а главное – емкую мысль, и надобность цитирования философских фраз деда отпала. Но на разговор двух генералов оказывала влияние большая разница в возрасте и занимаемые должности.

– Генерал, – говорил семидесятилетний Эйхгорн своему сорокачетырёхлетнему родственнику, – Берлин дал добро на смену власти на Украине. Я не против смены, и сообщил об этом кайзеру. Я предложил, чтобы будущее правительство сформировали вы.

– Я об этом знаю. Генерал Гренер сказал это мне, – как он пояснил, с вашего разрешения, – чтобы я все обдумал перед встречей с вами.

– Грушевский и его компания себя полностью скомпрометировали. Следователи нашей разведки обнаружили банкира Доброго, и он завтра прибывает их Харькова в Киев. Уже есть точные данные, что он был выкраден по приказу министра внутренних дел рады... как его фамилия?

Скоропадский задумался:

– Не помню.

– Это не важно. Важен факт. На основе его мы арестуем этого министра внутренних дел, который не имеет ни полиции, ни тюрем, а заодно все правительство, и предадим их военно-полевому суду. С завтрашнего дня отменяются все гражданские суды на Украине, и будут только германские военно-полевые суды. В военное время все должно быть по-

военному. Я уже подписал об этом приказ, и он завтра будет опубликован. Сегодня мы подписали соглашение с радой о поставках в Германию продовольствия. Потом был банкет. Поэтому, генерал, вы не смотрите на меня, выпейте и закусите.

– Спасибо, я сыт. Но если позволите... – Скоропадский налил в маленькие рюмочки шнапса. – Позволите, господин фельдмаршал, с вами выпить.

Эйхгорн взял поднесенную Скоропадским рюмочку, благосклонно кивнул, поднес к губам и медленно стая тянуть шнапс, смакуя его. Скоропадский брезгливо посмотрел на смакующего фельдмаршала и быстро опрокинул рюмку в рот. Он почувствовал вонючий вкус шнапса, сделанный непонятно из чего, но точно не из хлеба. Но махонькая доза растворилась во рту и лишь малая ее часть попала внутрь. «Мерзкий шнапс, кукольная рюмка!» – неудовлетворенно подумал Скоропадский и мило улыбнулся Эйхгорну.

– Так вот, – как ни в чем не бывало продолжал свою мысль фельдмаршал, ставя пустую рюмку на столик, – выполнять эти продовольственные соглашения придется вам. Сможете обеспечить их плановое выполнение?

– Приложу все усилия, – почти по-военному ответил Скоропадский.

– Готов ли форум, который передаст вам легитимную власть? Хлеборобская партия вас поддержит?

– Я говорил с председателем хлеборобской партии – Ли-

зогубом. Он из Полтавы. Эта партия действует только в этой губернии, в других ее нет. Поэтому съезд будут представлять, в основном, полтавчане. Такая политическая уозость съезда меня смущает. Кроме того, Лизогуб ставит условие, чтобы ему предоставили пост премьера.

– Пока соглашайтесь на его условие, а я попрошу нашу разведку дать мне полные сведения об этом человеке – и позже решим, какой пост он заслуживает. То, что вас изберут представители Полтавы – неплохо. Там же ваши земли, – Эйхгорн знал о своем родственнике многое. – Но на всякий случай вызовете на съезд сотни две-три своих друзей из других губерний. Вызовите лично сами. А у вас есть друзья?

– Несомненно. И не две-три сотни, а тысяча. Если вы разрешите мне пригласить их на съезд, то территориальное представительство будет обеспечено.

Эйхгорн удовлетворенно кивнул в знак согласия.

– Я дал распоряжение через своих людей, чтобы газеты как можно больше и чаще писали о вас.

– Зачем... – смущенно ответил Скоропадский. – Меня достаточно хорошо знают на Украине. Самое главное, чтобы никто не узнал, что мы являемая родственниками.

– Эта информация не должна просочиться нигде по Украине. Но в Берлине об этом знают и считают, что мы как родственники можем работать очень эффективно. А теперь давайте подумаем, какое имя дадим будущему диктатору Украины.

– Мои предки были запорожскими козаками. Один из них был гетманом в восемнадцатом веке. Наш род всегда занимал высокие посты. Я думаю, надо вернуться к старине и назвать будущего руководителя Украины гетманом. Это придало бы ему народности и популярности.

– Хорошо. Так и назовем – гетман. Царь, – так царь в России, кайзер, – так кайзер в Германии, а на Украине будет гетман...

– Нет, только не царь и не кайзер. Лучше по-народному – гетман.

– Конечно, не царь. Это я просто размышляю. У меня к вам больше нет вопросов. А у вас?

– У меня тоже.

– Налейте, герр Павел, рюмки, – Скоропадский недовольно поморщился, и это не ускользнуло от зоркого взгляда Эйхгорна. – Вы, русские, всегда хотите иметь всего больше. Налейте себе шнапса в стакан. А мне рюмку. Я уже стар, а вы молоды, вам еще многое дозволено.

Скоропадский налил себе стакан, рюмку подал Эйхгорну.

– Я все хочу спросить вас, герр фельдмаршал, как живут наши родственники в Германии. Связи у нас с ними прервались в войну. Вот и хочу все время спросить вас, но не хватает времени на личные вопросы.

– Вы правы – времени на личные беседы не хватает. Но станете гетманом, будем встречаться чаще, и поговорим о родственниках. Отвечу коротко – сейчас они живут плохо. В

стране голод. Чтобы ваши родственники не умерли, вы должны дать как можно больше продовольствия. Тогда они вас будут вспоминать с благодарностью. А теперь давайте выпьем за гетмана Украины.

Скоропадский встал, Эйхгорн остался сидеть. Разгладив усы, Скоропадский в три глотка осушил стакан шнапса и крикнул. Эйхгорн с любопытством смотрел на него: «Вытрет губы рукавом или нет? Не забыл немецкое воспитание?» – думал он. Но этого не произошло. Скоропадский сел, осторожно взял несколько кусочков белоснежного сала с мясной прорезью. Одного кусочка было мало потому, что сало было нарезано по-немецки, – тоненькими ломтиками, и стал жевать. Он не сморщился, выпив стакан шнапса, не ощутил его противного вкуса, как это было немного раньше, не перевел дух, – а коротко поблагодарил:

– Спасибо, герр фельдмаршал, за заботу обо мне. Я в долгу не останусь – и отблагодарю и Германию... и вас лично.

Радость переполняла его грудь – он продолжит славную линию гетманства семьи Скоропадских. Только надо бы побыстрее освоить украинский язык – все-таки он будет гетманом Украины.

28 апреля 1918 года. Зал заседаний в Педагогическом музее был переполнен праздной публикой, которая, в большинстве своем, поддерживала раду. Она сидела в основном на хорах. Места в партере занимали члены Центральной рады. Сегодня проходило открытое заседание. В Киеве ходили упорные слухи, что немцы хотят разогнать раду. Многим хотелось посмотреть, как и когда это сбудется – может быть, сегодня? Было видно, что у членов рады настроение подавленное. Накануне рада провела три заседания и усталость давала себя знать. За столом президиума появился Грушевский. Вид батьки Украины был неважнецкий. Щеки со всегда аккуратно прибранный бородой обвисли, рубашка-вышиванка была смята. Все члены рады были напряжены. Рада решилась провести открытое заседание потому, что вести, полученные из Берлина были обнадеживающими – Германия заверяла Центральную раду о своей поддержке.

Когда шум стих, Грушевский приступил к рассмотрению вопросов повестки дня. От предыдущего заседания остался вопрос о гражданстве Украины. Сегодня доработанное решение лежало перед Грушевским.

– Панове, – обратился к кабинету министров и публике Грушевский, – вчера мы долго дебатировали вопрос о гражданстве. Полтора месяца назад, в марте, было принято реше-

ние, что все, кто хочет стать гражданином, должны прийти в соответствующие органы и зарегистрироваться. К сожалению, я вынужден констатировать, что, кроме членов кабинета, никто больше для принятия гражданства не явился. Сведения, полученные с мест, рисуют еще более безрадостную картину. На местах до сих пор не знают о принятии нами закона о гражданстве. При проведении этого закона в жизнь возникли финансовые трудности. Необходимо двадцать пять миллионов карбованцев из казны государства. Мы планировали, что принятие гражданства каждым украинцем будет проходить в торжественной обстановке – с хором и оркестром, и думали, что те два карбованца, которые должен платить вступающий в гражданство, будет небольшой суммой. Но мы ошиблись... два карбованца для бедняка – это все-таки много. Поэтому возникла необходимость изменения закона. Комиссия по делам о гражданстве рекомендует новый вариант закона. Вот, как он звучит: «Нет никакой необходимости накладывать на всех жителей Украинской Народной республики обязанность на свое право о гражданстве. Есть личности, которые признают себя только гражданами России. Поэтому пусть эти граждане, а они составляют меньшую часть населения, которые не хотят быть гражданами Украинской Народной республики заявят об этом. Остальные же граждане, кто не подаст такого письма-обращения, будут считаться гражданами нашей державы». Комиссия пришла к выводу, что такая процедура будет более простой... и де-

шевле. Согласны с такой формулировкой члены рады?

Публика оживилась. А кто же подаст заявление об отказе от гражданства? Только придурок! Остальным это просто не нужно. Все уже много веков граждане России. Если закон о гражданстве стоял на ногах – если можно так о нем выразиться, то теперь его поставили на голову. И вообще, неужели так важно рассматривать этот вопрос в такой непростой час? Есть более важные проблемы. Но кабинет министров без обсуждения проголосовал за принятие закона о гражданстве. Потом перешли к обсуждению вопроса о текущем положении. Учитывая важность вопроса, каждому выступающему было дано на выступление по полтора часа. Свою точку зрения должны были изложить все партии, входящие в состав рады.

От имени украинских социал-демократов выступал Порш. В течение часа – на полтора часа его не хватило – он достаточно полно и верно обрисовал обстановку, сложившуюся на Украине. Выступал горячо, страстно, темпераментно и, когда он произнес фразу: «Господин Эйхгорн, знайте свое место! Украиной руководим мы, а не вы!», присутствующие наградили его аплодисментами за смелость. Это была не просто революционная фраза, а призыв к какому-то, только ему понятному, действию. Поршу вынесли желто-голубое знамя и, развернув его по всей ширине своей неширокой груди, торжественно выговаривая слова, он снова повторил: «Герр Эйхгорн, знайте свое место! Слава Украине!»

и ушел с трибуны.

Потом, впервые после приезда в Киев, на заседании выступил бывший глава кабинета – Винниченко. Он говорил точно полтора часа, отведенные ему регламентом. Это была красивая, теоретическая речь, в которой Винниченко с огромной глубиной обосновал необходимость возрождения украинской нации. Она явно готовилась для книги и просилась в печать. «Народ Украины всей своей историей выстрадал свое освобождение от российского империализма». О том, что галицийцы живут под игом австро-венгерской империи, он не упомянул. Он был единственным выступающим, который также затронул вопрос о необходимости социально-экономических изменений. Ему также хлопали долго и внушительно.

Потом выступили представители национальных меньшинств, проживающих на Украине – от евреев, молдаван, поляков, караимов. Все они клялись в верности Украине, полностью поддерживали Центральную раду. Особенно понравился – всем без исключения – еврейский социалист Шац. Он назвал семидесятилетнего генерал-фельдмаршала Эйхгорна «прусским лейтенантиком с нафабранными усами». Зал взорвался громкими аплодисментами, перешедшими в овацию. Все от таких фраз чувствовало себя сильными и уверенными, а зажигательные речи способствовали личному возвышению, а значит – повышению значимости Украины. Центральная рада представлялась мощной, крепко стоя-

щей на ногах, и никакая сила, тем более немецкая, не могла ее сокрушить.

Министерская ложа вначале была полна, но постепенно министры, видимо, по государственным делам, уходили из нее.

После перерыва, в четыре часа, заседание продолжилось. Слово для полуторачасового доклада предоставили бундовцу Рафесу – от партии еврейского рабочего класса. Это было последнее выступление на заседании, и последняя речь, произнесенная в истории деятельности Центральной рады. Она была удивительно красивой. Бывший парикмахер Рафес дал анализ реального положения вещей, сложившихся на Украине. Его слова: «В море слов, сказанных сегодня к делу и не к делу...», вызвали сочувствие зала. Действительно, выступающие перед ним много о чем-то говорили, но вот где было что-то конкретное – не вспомнишь. Слова «немцы хозяйничают и не считаются ни с радой, ни ее правительством...» вызвали гневный шепот зала. Но об этом уже говорили и предыдущие ораторы – это не ново, все это знают.

А министров в ложе становилось все меньше и меньше. К Грушевскому, ведущему заседание и возвышающемуся на высоком подиуме над всеми, подошел технический работник рады и что-то прошептал на ухо. У Грушевского пенсне упало на стол. Но он молчал столько времени, сколько секунд потребовалось работнику рады, чтобы отойти от него, и произнес:

– Пан Рафес, ваше время закончилось.

Но Рафес, вошедший в ораторский раж, не слышал его слов. С неприкрытой болью в голосе он говорил:

– Я говорю это не со злорадством, а с печалью в душе...

Все присутствующие с глубокой тоской в душе ощутили безвыходность положения рады и, чуть ли не со слезами на глазах, воспринимали самобичующие слова Рафеса. Грушевский снова произнес:

– Ваше время закончилось.

– Я заканчиваю, только в заключении подведу некоторые итоги...

Вдруг тяжелая дверь зала с грохотом, – из-за резкого удара подкованным сапогом, – распахнулась, и в зал начали вбегать немецкие солдаты. Немецкий лейтенант вбежал на подиум и на ломаном русском языке закричал:

– По распоряжению германского командования объявляю всех присутствующих арестованными! Руки вверх! – он вытащил револьвер, солдаты взяли винтовки на прицел, направив их в зал. Все члены рады встали и начали поднимать руки. Грушевский страшно покраснел от крови, бросившейся в лицо, и единственный из всех остался сидеть на месте за председательским столом, и не поднял вверх руки. Рафес с поднятыми руками, саркастически улыбаясь, стоял за трибуной, будто подтверждая свои недавно сказанные слова, – я был прав, предупреждая вас, что на Украине хозяева не мы, а немцы. Порш, забывший о своей недавно произнесенной

боевитой речи, будто в знак лояльности к Германии, в поднятой левой руке, держал газету «Neue Freie Presse». Потом правой рукой из внутреннего кармана пиджака достал свой паспорт украинского гражданина и удостоверение, и поднял их вверх, как бы удостоверяя немцев в том, что он председатель «Хлебного бюро», которое должно снабдить Германию продовольствием. Винниченко с критической улыбкой смотрел на своих бывших соратников, словно спрашивая: «Доигрались? Дождались своего конца».

Только Грушевский продолжал сидеть в кресле, не поднимая рук, и объяснял по-немецки лейтенанту, что он своими действиями нарушает неприкосновенность парламента. Лейтенант, наоборот, отвечал что-то по-русски. Грушевский, подняв голову вверх, сказал:

– Я вас прошу уважать украинское правительство, и если вы пришли сюда – извольте говорить по-украински.

– Это очень важно? – осведомился лейтенант.

– Да! Вы ворвались в здание правительства – территорию суверенного государства, и должны уважать его законы.

– Гут, – по-немецки согласился лейтенант. – Где ваши министры, укравшие банкира Доброго: Ткаченко, Жуковский, Ковалевский, Любинский, Гаевский?.. Мы должны их арестовать.

– А причем здесь министр земледелия Ковалевский?

– Он вор. Украл из банка пять миллионов рублей и миллион марок. Его тоже надо арестовать.

Грушевский опустил голову. Теперь он понял, почему уже три дня не видел Ковалевского, которому хотел предложить другое министерское кресло.

Из присутствующих, фамилии которых назвал лейтенант, здесь оказались двое – управляющий министерством иностранных дел Любинский и директор департамента внутренних дел Гаевский. Самих министров уже не было. Они ушли из зала в процессе заседания и скрылись. Грушевский указал на этих двоих. Лейтенант что-то скомандовал, и немецкие солдаты, поставив Любинского лицом к стенке и не разрешая ему опускать рук, обыскали дрожащего от страха двадцатилетнего юношу, ничего не смыслившего в жизни. С Гаевским такой процедуры не проводили, потому что он и так дрожал от неподдельного страха.

Лейтенант предложил Грушевскому пройти в другую комнату.

– Я пойду, – с пафосом, вспомнив как профессиональный историк античных героев, ответил Грушевский по-русски, – если буду уверен, что к остальным членам рады не будут приняты насильственные меры.

Лейтенант ехидно улыбнулся:

– Обещаю – насильственные меры ни к кому, кроме названных преступников, применены не будут.

Грушевский с лейтенантом вышли. В командование залом вступил фельдфебель. Всем было приказано идти на выход, к дверям. Каждого ошупывали, ища оружие, но его ни у кого

не было. Потом всех развели по двум комнатам. Винниченко и Порш оказались в одной комнате. Винниченко было стыдно за ту унижительную процедуру, которой немцы подвергли членов украинского правительства. Порш был доволен тем, что немцы обходятся с ними хоть и не тактично, но без насилия. Дверь в комнату была заперта на ключ. Арестованных было человек сорок, стульев не хватало, и Винниченко вынужден был ходить по комнате, периодически останавливаясь у окна, чтобы посмотреть на улицу. К нему подошел Порш.

– Владимир Кириллович, думали ли мы о таком исходе?.. Так старались для народа, чтобы он стал свободным... но нам не дали довести дело освобождения народа до конца. Что теперь будет с нами? Отправят в концентрационный лагерь в Австрию или поведут в тюрьму при стечении народа? Не знаю. Вы, Владимир Кириллович, опишите все эти надругательства над нами в своих романах. Пусть потомки узнают о нашей борьбе без прикрас.

– Не знаю, опишу ли я это, или нет. Я думаю, этот позорный для нас факт надо умолчать, если мы уважаем себя как революционеры. Такого унижения от наших союзников я не ожидал.

Порш подхватил его мысль:

– Да, удивительно бесцеремонно обошлись с нашим правительством! Мы ж не какие-то прохожие, а государственные люди. А еще называют себя цивилизованной нацией! Им

еще далеко до цивилизации.

– Вы говорите не о том, – оборвал его Винниченко.

– Да, – безропотно согласился Порш.

Они помолчали, и Порш снова начал говорить.

– Раньше, при царизме, я мечтал, что когда-нибудь сбудутся все наши чаяния, будем жить свободно, не зависимо ни от кого, – он глубоко, как это умеют делать обиженные женщины, вздохнул. – А теперь предвижу снова революционную борьбу, снова подполье, снова прятаться от властей. Но жизнь революционера такова – постоянно находиться в борьбе с существующим режимом. Вы согласны? – и, не дождавсь ответа, продолжил: – Как мне все это надоело.

– Вам сколько лет? – спросил Винниченко.

– Двадцать семь.

– А мне тридцать семь. И я жил при царизме и ощущал его на своей шкуре. Но таких революционеров, как вы и я, царизм в тюрьмы не садил. Мы ему нужны были на свободе, чтобы своим тьяканием укреплять его. Если для царизма был опасен Чернышевский, то его сослали в Туруханский край. Был опасен Достоевский – восемнадцать лет прослужил в рядовых и ни одного произведения не написал.

– И Шевченко тоже был сослан в солдаты.

– Боже мой! Неужели вы не знаете, что Шевченко только в пьяном виде произносил что-то революционно-похабное? За это и был наказан. И солдатская служба у него была легкой. И в солдатах он был немного. Его русские ученые приглашали

работать художником – то описывать Аральское море, то еще куда-то. Печатали его стихи. Все было сделано, чтобы он не служил рядовым в армии. У него жизнь была полегче нашей с вами. Надо это знать и не верить выдуманым легендам о Шевченко.

Порш молчал, а потом произнес:

– Но мы тоже революционеры? И нас могут сослать... если не в Сибирь, то хотя бы на Аральское море.

– Боже мой! – ужаснулся такой непонятливости министра Винниченко. – Мы ж объявили себя независимым государством – и у нас уже нет ни Сибири, ни Аральского моря!

Порш немного помолчал и, зацикленный на одной мысли самопожертвования, упрямо продолжил:

– Неужели нас посадят? Я раньше мечтал об этом. А сейчас боюсь... не хочется в тюрьму. Я уже не просто революционер, а один из руководителей европейской державы. Мне стыдно сидеть в тюрьме.

Но в это время заскрипел ключ в замке двери, и обе створки широко распахнулись. Немецкий фельдфебель, не входя в комнату, с порога прокричал:

– Paus! Nach House gehen! (Вон! Расходитесь по домам!)

Порш застыл, ошарашенный такой наглостью какого-то фельдфебеля. Он еще продолжал мечтать о своей дальнейшей мученической судьбе, а все окончилось так обыденно и серо.

– Вы пойдете домой? – спросил он Винниченко. – Может,

в прокуратуру?!

– Домой, – ответил Винниченко, водружая на голову фетровую шляпу. – Неужели вы не знаете, что у нас нет прокуратуры, а есть немецкие военно-полевые суды, которые судят настоящих украинских революционеров, а не нас – министров. Мы для них уже дерьмо, о которое они не пачкают руки. Здесь мне уже нечего делать. *Finita la comedia!*

– Я вас понимаю... а мне надо на работу. Я ж председатель «Хлебного бюро»! Там ни минуты нет покоя. А может, надо сдать дела?..

– Да, спешите быстрее распродать Украину. А то вас скоро сменят, – брезгливо ответил Винниченко и, не подавая руки Поршу, пошел к двери.

Он вышел на улицу. Владимирская улица была перекрыта с Фундуклеевской и Бибиковского бульвара редкой цепочкой немецких солдат. Вокруг прилежащих домов толпились киевляне. Им можно было бы давно разойтись по домам, но подлая жажда любопытства заставляла толпу оставаться на месте. Хотелось увидеть унижение так называемых министров Центральной рады – арестованных немцами, в наручниках или, в крайнем случае, с поднятыми вверх руками. Но насладиться унижением министров не удалось. Они выходили из здания музея, садились в автомобили и пролетки и разъезжались по домам. Винниченко хотелось крикнуть: «Народ! Почему вы молчите! Скажите нам хоть слово одобрения и поддержки!». Но народ, как в пушкинской трагедии,

безмолвствовал. Народ злорадно ждал – ну, может быть, хоть одного из членов украинского правительства выведут в наручниках, и он получит удовольствие от этого зрелища... но, увы, этому зрелищу не суждено было сбыться.

На следующий день киевляне устремились к цирку. Здесь начал работу съезд хлеборобов Украины. Хлеборобы были разные люди – от помещиков до некоторого количества бедняков. Все делегаты были в вышитых замысловатыми, красивыми узорами сорочках, и направлялись в цирк.

Никого не смущало то, что на куполе цирка была установлена деревянная площадка с глухим ограждением, внутри которой, в надраенных до блеска касках, сидели немецкие солдаты с пулеметом. Они зорко следили за тем, что творилось на площади, о чем свидетельствовало постоянно поворачивающееся в разные стороны рыло пулемета. Но народ будто не замечал этого. В цирке возможно всякое. Цирк существует для народа. Но это был не народный цирк. Этот цирк жонглировал судьбой народа. Но сам народ этого сейчас не видел. Нужно время страданий, чтобы народ на своей шкуре прочувствовал политическое цирковое представление. Прочувствовал революционное время...

Хлеборобы шли через человеческий коридор, как простые люди. Бедным делегатам вышиванки дали в Киеве, бесплатно. Они охотно откликались на вопросы и шутки киевлян. Ответные их шутки были сочными, красивым и добрыми. В них чувствовался народный дух людей от земли, при-

выкших к тяжелой селянской жизни, не сетующих на это, именно кормильцев остального народа. Неважно, кто это был – помещик или бедняк – они вызывали всеобщую симпатию по сравнению с болтунами-интеллигентами из Центральной рады. А немецкий наряд сидел на крыше и безразлично вертел пулемет в разные стороны, – видимо, для того, чтобы народ чувствовал силу и серьезность этого мероприятия.

Подъехал автомобиль, за рулем которого сидел немецкий унтер, и из него вышел генерал Скоропадский. Он был одет не в привычный генеральский мундир, а как клоун – на его плечи была накинута черкеска, которая развевалась при ходьбе, а на черной гимнастерке искрились серебряные мундштуки. Такой формы народ еще не видел даже в синематографе. Он был красив. Смуглолицый и черноволосый, стройный и без намека на полноту, шел он легко, бесшумно, будто паря в воздухе, не останавливаясь но, тем не менее, успевая шутливо отвечать на вопросы народа. И этот народ, восторгаясь, шептал в благоговении: «Это он, это тот человек, который нужен сейчас Украине!» На самом входе в цирк, на последней верхней ступеньке, Скоропадский обернулся к толпе, поднял руки над головой, потом сжал их в рукопожатии и с минуту стоял так перед народом. «Как скромн, – умиленно шептала толпа. – Это наш человек. Никому не пожал руку в отдельности, а сразу всем». Сердобольные старушки прикладывали платочки к глазам. Стоявшая возле

ступеней цирка группа мужчин в вышиванках, которые им тоже – как делегатам – выдали утром, воздев, как и Скоропадский, руки над собой, грянула: «Ура!» И народ дружно подхватил: «Ура! Ура!! Ура!!!». Почему «ура» – никто, наверное бы, и не объяснил, но всем хотелось выразить признательность будущему хозяину Украины.

А в это время Грушевский с некоторыми членами кабинета добивался приема у Эйхгорна. Но адъютант не пропустил их к фельдмаршалу, объяснив, что главнокомандующий немецкими войсками на Украине сейчас очень занят, и так будет очень занят весь день. Стало ясно, что Эйхгорн просто не хочет с ними разговаривать. Грушевский с соратниками пошел к генералу Гренеру. Продержав около часа в приемной, их наконец допустили к начальнику штаба оккупационной армии. Грушевский, волнуясь при виде более сильного человека, торопливо, стараясь не забыть мелочей, доказывал, что не надо их – Центральную раду – лишать власти. Они готовы отказаться от многих своих программных положений, даже отказаться от еще не принятой аграрной программы, не будут мешать проведению в жизнь немецкого закона «О весеннем севе», но только дайте им возможность продолжить дело возрождения Украины. Гренер слушал его, одновременно просматривая бумаги, лежащие перед ним. И, когда Грушевский закончил свою сбивчивую речь словами:

– Мы просим вас позволить нам продолжить управление страной или, в крайнем случае, просим, чтобы наших пред-

ставителей допустили к работе в будущем составе правительства...

Гренер поднял голову от стола и бесстрастно произнес:

– Zu spat. (Слишком поздно).

Раньше немцы не встречали Грушевского так. Раньше его считали почти равным с ними. И, повысив голос, он трагически произнес:

– Герр генерал, вы унизили нашу национальную гордость!

Впервые за время этой встречи Гренер оторвался от чтения документов, и в его выцветших глазах мелькнул огонек.

– Вы читали Шопенгауэра?

– Да, – как-то неуверенно ответил Грушевский.

– Знаете, что он сказал о национальной гордости?

– Не помню! – с вызовом ответил Грушевский,

– Шопенгауэр сказал так: «Самая дешевая гордость – это гордость национальная». Далее я дословно не помню. Но смысл таков – если у человека мало индивидуальных качеств, которыми он мог бы гордиться, он гордится своей нацией – это единственно возможное для него в поддержании своего лица. Умный человек всегда подмечает недостатки своей нации, чтобы она была лучше. Растворение индивида в нации – верх разложения личности. Вот так!

Такого удара от своего союзника Грушевский не ожидал. Он сразу же обмяк, лицо приняло просящее выражение. Но зашел адъютант и подал Гренеру папку с документами, которую тот раскрыл и стал читать. Грушевский понял, что при-

ем закончен. Он встал, растерянно моргая подслеповатыми глазками, похожий сейчас больше на обиженного хлопчика, а не на профессора и голову Украины, и попрощался. Гренер небрежно протянул ему на прощание руку.

В этот же день, в одной из квартир, бывшие члены рады приняли конституцию Украины и одобрили закон о социализации земли. Пусть эти законы и не будут действовать, но хоть чем-то надо насолить своему союзнику на прощание. Была бы у союзника корова, то лучше бы она сдохла.

Но в этот день злоключения Грушевского не закончились. Возле дома, где он жил, собралась толпа возмущенных киевлян, которые требовали суда над бывшим председателем Центральной рады. Раздавались крики: «Смерть предателю!», «Он присвоил себе украинскую казну!», «Хватит измываться над народом!» Дело принимало нешуточный оборот. Но союзник не выдал своего бывшего партнера, и немецкие солдаты оттеснили толпу. Остаться в доме было небезопасно, и немцы отвезли Грушевского на автомобиле в казармы галицийских стрельцов, где он переночевал. А на следующий день он поспешно уехал из непонятной его уму страны в милую его сердцу Австро-Венгрию, в которой он раньше жил и считал образцом устройства многонационального государства. Но его согревала мысль о том, что заложенное им дело когда-нибудь возродится. Всегда найдутся люди, недовольные объективными процессами в развитии народов.

А киевляне, стоявшие 29 апреля возле цирка, передавали из уст в уста, что происходило на манеже цирка.

– Скоропадскому предложили стать гетманом Украины. Он отказался. Ему говорят об этом второй раз – он снова отказывается. Действительно скромный человек! Потом дают ему булаву в третий раз... по старому козацкому обычаю отказываться больше нельзя. В четвертый раз быть гетманом не предлагают – оставайся простым козаком. Не оказалось в цирке, кроме него, человека достойного этого поста. Скоропадский был вынужден согласиться и взять на себя трудную ношу гетмана. Теперь он – наш батька. А вот и он! Смотрите! Ура!!

Двери цирка широко распахнулись, и народ увидел своего гетмана – должность, ликвидированную полтора века назад за исторический анахронизм. Скоропадского вынесли на руках из дверей, потом пронесли сквозь толпу к автомобилю, охраняемому немцами. Он возвышался над народом, отвешивал поклоны в разные стороны, прижимал руки к сердцу, а потом разводил их, будто бы отдавал его народу. А на крыше цирка немецкие солдаты, на всякий случай, навели пулемет на толпу.

Чуть позже, на Софиевской площади, гетман Скоропадский, рядом с памятником другому гетману – Богдану Хмельницкому, принимал поздравления, и народ шумно кричал «ура!». Обнародовали грамоту к украинскому народу: «Всем вам, козаки и граждане Украины... как верный

сын Украины, я решил отозваться на ваш поклик и взять на себя всю полноту власти. Этой грамотой я провозглашаю себя гетманом всей Украины!»

До позднего вечера радовался народ смене власти, ругал Центральную раду, нахваливал новую власть, в надежде, что она будет лучше предыдущей. Омрачала праздник одна мысль – а как быть с немцами? Уйдут ли они с Украины после смены власти? А может, предстоит жить с чужим дядей еще долгое время? Но никто не знал, что родным племянником чужеземного дяди был Павло Скоропадский.

В Луганск стекались, отступающие под натиском немцев, красные отряды. Усталые и израненные, они приводили себя наспех в порядок и опять шли против немцев, чтобы потерпеть поражение и снова привести в порядок свои части в Луганске, и по-новой идти в бой, в безнадежной схватке защищая свою землю. Луганск остался последним островком Советской власти на Юге России, отступить практически было некуда. На западе – немцы и галицийцы, на востоке – донские казаки, не принимавшие новую власть. Красные отряды оказались как бы между молотом и наковальней: молот – немцы, терпеливо и методично долбившие красных; наковальня – Всевеликое Войско Донское, со своим многовековым социально-экономическим укладом, дававшим ему земную прочность и военную силу. Пока казаков слегка придавила Советская власть, но они были готовы распрямиться, как пружина, и ударить по врагу. Но вот тут-то и возникал вопрос: а кто враг? Свои – русские и украинцы, решившие строить что-то новое или немцы, против которых еще недавно дончаки сражались на фронтах? И задумывались буйные казацкие головы – кто больший враг? Против кого воевать? Против своих единоверцев или против иноземцев? И приходили к нерадостному выводу – придется воевать против тех и других. Защищать свой привычный уклад от красных и не

допустить чужеземцев на свою территорию. А силы были явно неравными. Но казачество было настроено решительно – воевать против всех врагов Земли Русской. А красные бросались под пулеметы и пушки немцев, зная, что за их спиной искрятся под солнечным светом острые казацкие шашки.

Артемовы жили привычной размеренной жизнью. Отец продолжал работать на заводе, работы было много, патроны требовались всем. Мать так же мыла полы в приходе, жаловалась на ноги, которые «подводят ее». Петр постоянно находился в разъездах и редко бывал дома – железнодорожникам работы хватало. Весенними теплыми вечерами заходила Полина. Они сидели с матерью под абрикосой, которая в этот года цвела необыкновенно ярко, обещая богатый урожай, разговаривали о жите-бытье, и Полина, словно ненароком, спрашивала, нет ли писем от Сергея. Мать отрицательно качала головой: «Нет». Полина и сама понимала, что почта почти не работает, а на войне Сергею некогда писать письма. Обсудив житейские дела, женщины расходились по домам, лелея надежду, что вскоре все изменится к лучшему. Но вести приходили все тревожнее и тревожнее. На восток потянулись эшелоны с эвакуированными из Донецко-Криворожской республики, составы с оборудованием заводов.

В конце апреля Петр был в Дебальцево. На станции творилось что-то невообразимое. Составы сбились в кучу, и вывести их на перегон представлялось огромной задачей. А где-то западнее города грохотали немецкие пушки. Вокруг сно-

вали военные, слышалась командирская ругань. У Петра появилась мысль, что придется ему вместе со своим паровозом остаться здесь и дожидаться немцев. И вдруг он остановился, как вкопанный, вглядываясь в красноармейца, идущего по насыпи железнодорожного полотна. И Петр, еще не видя лица солдата, интуитивно понял, что это – Сергей.

– Серега! Брат! – закричал он и бросился к нему.

Сергей поднял голову и увидел бегущего к нему в грязной спецовке Петра. Его склоненная на бок голова, улыбающийся рот, вся неказистая фигура излучали радость от неожиданной встречи. Да, это была нежданная встреча, хоть в другом городе, но недалеко от семьи. Сергей крепко сжал старшего брата в своих объятиях и поцеловал в чумазую от угольной пыли щеку.

– Петя! Брат! Вот это встреча! Не думал, не гадал.

Немногословный Петр грязной щекой терся о выцветшую гимнастерку Сергея и повторял:

– Брат...

Оба были рады встрече. Сергей разглядывал Петра и не находил изменений в его лице за прошедшие полгода. А Петр заметил – черты лица брата обострились, взгляд стал холоднее и жестче, резче прорезались морщины на лице, особенно вокруг глаз, а в русых волосах, на висках тоненькими паутинками светилась седина. «Тяжело ему видно пришлось», – с состраданием к брату подумал Петр.

– Где тебя столько носило, Сережа? Почему ничего не со-

общал о себе?

– Ох, Петя, везде меня носило и мотало. В Киеве, Харькове, Херсоне и Бог знает, где еще. Уже и позабыл, где пришлось побывать. Бил врагов, да сил не хватило их разбить, – он улыбнулся своей невеселой шутке. – А как вы поживаете? Как мать, отец, Полина?

– Да все живем потихоньку. Мать болеет ногами, но крепится. А Полина ждет тебя. И знаешь, ждет серьезно. Видимо, влюбилась в тебя.

Сергей, склонив голову, тихо улыбался в ответ его словам, он как будто очутился в родном доме, а Петр продолжал:

– Тебя все часто вспоминают, Аркашку.

– Передай нашим, что я встречался с Аркашкой в Харькове. У него все идет нормально. Стал почти интеллигентом, но буржуазным. Революция ему не нравится. А в целом хороший парень. А Иван как?

– Изредка заходит к нам. С торговлей у него сейчас плохо. Приносит нам иногда муку, другие продукты.

– Ну, Иван полный буржуй. Видишь, какая судьба? Мы с тобой рабочие, стоим за революцию, а другие братья – буржуи. Почти контра.

– Нет, они не контра. Просто делают, что умеют. Я видел, как большевики расстреливают людей. А там контры было – раз-два и обчелся. А всех расстреляли. Так тоже нельзя.

– Так необходимо, – жестко ответил Сергей. – Я этой контры посмотрелся – от националистической до немецкой. На-

воевался я с ними от души, но не до конца. А душа у меня, Петя, тоже болит. Слишком много убитых. Больше, чем на фронте. Там только во время наступления, да, может быть, после обстрела были убитые, а сейчас все время по всей стране гибнут люди. Без передышки народ погибает. Ходим по трупам.

Он вздохнул и Петр его спросил:

– Ты сейчас направляешься в Луганск?

– Нет. Иду из Херсона, через Бердянск, Горловку, а сейчас вместе с екатеринославским отрядом отступаю на Лихую. Потом или на юг, или на север. Не знаем сами точно, куда прорвемся. Вот соберемся по новой с силами – и выгоним отсюда и немцев, и галицийцев. Так что я вернусь домой. Ждите!

Рядом двинулся на восток состав с солдатами.

– Следом за ними поедет и мы, – сказал Сергей. – Только, где очутимся – не знаю. Вернусь – расскажу.

– А когда вернешься?

– Не знаю. Но мы вернемся – точно, – жестко повторил Сергей, и его непреклонный тон немного смутил Петра. Таким упрямым брат раньше не был.

Они отошли подальше от пути, по которому шел эшелон. На обочине насыпи росли воронцы – в хвоистых листьях пунцово рдели еще нераскрывшиеся крупные капли бордовых цветов. Они молчали. Вроде давно не виделись, можно говорить и говорить о многом, но Петр понимал, что брат

устал от войны, и ему не хотелось напоминать о ней брату. А Сергею было больно расспрашивать о семье, о их делах в столь тяжелое время, – он ничем не может им помочь. Эшелон прошел, и послышался крик:

– Артемов! Иди сюда! Отправляемся!

Сергей печально улыбнулся:

– Вот, видишь, пора расставаться. Не успели и поговорить толком. А так хотелось узнать от тебя побольше о всех.

Он глубоко вздохнул, наклонился и стал рвать воронцы. Потом протянул Петру маленький букетик невысоких цветов:

– На! Передай маме от меня. А несколько штук отдели и отдай Полине. Скажи, что я ее помню.

Паровоз дал гудок и выпустил пары, эшелон тронулся.

– Ну, я побежал, – сказал Сергей.

– А когда ты вернешься? – снова, с затаенным щемящим чувством братской любви, спросил Петр, и слезы навернулись на его глаза.

– Не знаю. Но скоро... я ж тебе говорил.

– Ты береги себя. Не суйся, куда не следует, – снова жалостливо попросил его Петр, понимая, что его просьба к Сергею невыполнима.

– Не бойся. До сих пор пуля не взяла, снаряд напрямую в меня не попал. А их у меня за это время было достаточно.

Сергей порывистым движением схватил старшего брата за плечи, поцеловал резко в обе щеки и, чтобы тот не заметил,

как и у него слезинки накатываются на глаза, повернулся и побежал к поезду.

– До свидания! Передавай всем привет! – крикнул он на бегу.

– Возвращайся! – крикнул в ответ Петр.

Он видел, как Сергей на ходу вскочил в открытые двери теплушки и оттуда махал брату рукой.

– До свидания! Приезжай. Храни тебя Бог, – шептал Петр, смотря на набиравший ход состав.

Через два часа паровоз Петра прицепили к составу, направляющемуся в Луганск. Машинист, постоянный его напарник Максим Корчин, удовлетворенно вздохнул:

– Хорошо, что отправляемся домой. А то хотели отправить в другую сторону. Давай, жарь! – прикрикнул он на кочегара, молоденького парнишку, чтобы тот подбрасывал в топку побольше угля.

Луганск гудел, как растревоженный улей. Люди бегали по улицам, на спинах и на подводах подвозили на станцию свой небольшой скарб. Старались уйти вместе с красноармейцами, но мест не хватало, и приходилось им возвращаться в свое гнездо и ждать оккупантов. А вагоны забивались военным людом, оборудованием, снятым с заводов, и уходили на восток и на север.

Петр, после приезда из Дебальцево, сразу же побежал домой и, захлебываясь от переполнявших его чувств, рассказывал матери и отцу, как он неожиданно встретился с Сер-

геем.

Федор хотел было уехать из Луганска вместе с отступающими подальше в Россию, но не поехал – встретил непреклонный отпор со стороны Анны. «Никуды не поиду. Здесь диты и внуки. Сергей и Аркадий возвратятся сюда, надо их ждать». Федор решил, что жена права, и притих.

Отец только спросил Петра:

– Здоров Сережа?

И, получив утвердительный ответ, успокоился. Мать долго расспрашивала:

– Какой он стал? Чисто ли одет? Когда обещал вернуться?

А потом по-новой расспрашивала Петра о том же самом, потихоньку шептала молитву, крестясь на икону Христа. Воронцы, переданные Сергеем, она поставила в банку с водой на стол под иконами. «Спаси тебя Господь», – шептала она сухими губами.

Полина так же долго расспрашивала Петра о Сергее.

– Каков он? Что конкретно говорил обо мне?

Петр честно передал слова Сергея, что он помнит ее и обещал скоро вернуться. Полина так же, как и мать, поставила цветы в вазочку на стол и долго, немигающим взглядом смотрела на распускавшиеся багровые цветы, вспоминала их встречу и такую короткую совместную жизнь и мысленно желала ему: «Приезжай быстрее, быстрее... быстрее...»

Лихая полностью простреливалась немцами из артиллерийских орудий. Эшелоны, скопившиеся на станции, не могли двинуться ни на юг, ни на север, а с запада были выдавлены немцами. Донские казаки блокировали железную дорогу по всем направлениям, и красные оказались в мышеловке.

Сергей злился на свое командование за то, что они задержались на четыре дня в Должанской, наводя там порядок среди казаков. Некоторых казаков расстреляли за неподчинение. Время, чтобы оторваться от немцев, было потеряно. Преследуя красных, немцы вступили на территорию Всеволодского Войска Донского – землю, ни разу до этого не видевшую иностранных захватчиков. И красные оказались как в мешке без прорех, – куда идти дальше? А мешок этот немцы уминали все плотнее, готовились завязать его крепкой мотузкой и уничтожить.

Уже светало, когда в здании небольшого вокзала, находящегося среди путей, закончилось совещание командиров красных отрядов. Бойко, командовавший всеми отрядами, обвел присутствующих красными, опухшими от бессонницы глазами, и подвел итог совещания.

– Значится, так. Обратной дороги у нас немає. С нами тыща бойцов и несколько тыщ эвакуированных. Рассосаться среди казаков мы не сможем. Остаться на станции нам

нельзя, немцы разобьют нас из орудий. На юг дороги нет. Там белые. Надо пробиваться на север. Быстрее соединиться с отступающими из Луганска в Миллерове или Черткове. Потому двести бойцов будут держать немцев с запада, а остальные пойдут на прорыв казаков. Их надо сбить с позиций, снова настелить рельсы, которые они разобрали, и уходить. И надо казаков прогнать как можно быстрее. Ясно?

Все согласились. Действительно, других вариантов больше не было. Командиры разошлись по своим частям. Сергей поднял свой отряд – усталых и невыспавшихся красноармейцев – и приказал им готовиться к новому бою. Сколько было боев за последние дни, он не считал, но только после каждого боя в отряде оставалось все меньше и меньше людей. Сегодня ему вместе с другими отрядами предстояло сбросить казаков с железнодорожной линии как можно быстрее, не считаясь с потерями. Дорога была каждая минута. Немцы за ночь подтянут тяжелую артиллерию и догрянут их. Сергей со своими бойцами выдвинулся до перегона, где множество путей сливались в две линии. Впереди, в полукилометре, на возвышенности, виднелись укрепления окопавшихся казаков, а между ними пустое, пристрелянное казаками пространство, которое предстояло преодолеть. Рядом готовились к бою другие отряды. На рельсах, готовый двинуться вперед, стоял под парами бронепоезд – обшитый полудюймовым железом паровоз с платформой, на которой находилась пушка.

Через час все было готово к атаке, ждали только приказа. У казаков также было заметно оживление – готовились к отражению атаки. Но вдруг из-за возвышенности показались трое всадников. У одного из них на пике развевался белый флаг. Коня шли осторожным шагом, видимо, всадники опасались огня со стороны красных и были готовы, в случае непредвиденных обстоятельств, скрыться. «Чего они хотят? – думал Сергей. – Чтобы мы сдались?» И он побежал к Бойко.

– Видишь? Едут предлагать нам сдаваться. Увидели, гады, нашу слабинку!

– Вижу, – спокойно ответил Бойко, наблюдавший за всадниками. – Пока они едут на переговоры. Нам надо тоже идти к ним. Пойдем им навстречу. Давай возьмем еще одного. Их трое, и мы будем втроем. Сидоренко, пошли с нами! – приказал одному из бойцов Бойко. – Если они будут тянуть с разговором, быстро уйдем. У нас мало времени.

Они вышли из укрытия и пошли к неторопливо едущим на лошадях казакам. Винтовки они оставили в укрытии, но у каждого был револьвер. Казаки остановились приблизительно на середине между противоположными позициями и стали ждать красных. Сергей видел казачьего полковника – пожилого, плотного, седого человека с пышными, закрученными вверх усами и с бакенбардами. С ним был молодежавший есаул и рядовой казак с белым платком на пике. И вдруг Сергею пришло на память плачущее лицо урядника, племянни-

ка которого он убил на Острой Могиле. Но он усилием воли отогнал от себя эти воспоминания и сосредоточил взгляд на мужественном лице полковника.

Красные остановились в метрах пяти от казаков. С минуту обе стороны молчали, глядясь в друг друга. Полковник видел простые, усталые лица славян с землистым оттенком, оборванную, грязную одежду и, как инициативная сторона, первой вызвавшая противника на переговоры, не здороваясь, спросил:

– Тяжело, ребята?

– Не то слово. Еще хуже, – спокойно, как будто не в первый раз он вел подобные переговоры, ответил Бойко.

– Вижу. Как вы это немчуру допустили до Дона? Силенок маловато?

– Маловато, – согласился Бойко. – Если у вас много, то остановите их.

– Остановим. Советы же с ними договорились, что они на территорию России вторгаться не должны. Вот вас разобьют и уйдут. А вас жалко. Украинцы вас предали, вы воюете, а они целуются с бывшими врагами. Тьфу! – брезгливо сплюнул полковник.

– Ты неправ, полковник. Раз немцы пришли сюда, то уже не уйдут. Им плевать на договоры. И не украинцы нас предали, а полуляхи с Галиции.

– Все равно – ваши. Если бы не хотели, не допустили бы их к власти. А теперь вам трудно воевать против германца.

Да и вижу – нет у вас настоящих молодцов.

– Есть, – оскалился Бойко. – Мои молодцы готовятся сейчас скинуть с высоты вас и вырваться отсюда. Вы нас боитесь, поэтому и хотите затянуть время переговорами, пока немцы не придут.

– Не вырветесь. Немцы вон, уже садят по вам из орудий. Действительно, на окраинах Лихой шел бой, гулко рвались снаряды, трещали пулеметы. Бойко прислушался к дальнему бою и снова, оскалив зубы, грубо спросил:

– Ну, полковник, хватит балачек. Говори, што тебе нужно. Нам некогда.

Полковник, прищутив глаза под утренним степным солнцем, как бы прислушивался к бою, разворачивающемся в Лихой.

– Вы, полковник, воевали в эту войну? – спросил Сергей.

– В эту нет, – ответил полковник. – А в японскую пришлось.

– Поэтому вы и проиграли ее, – язвительно вмешался Сидоренко.

Полковник побагровел от гнева, и усы поднялись выше к скулам.

– Юнец ты еще! – с презрительным негодованием воскликнул полковник. – Понюхай порошу хотя бы с четверть моего! Мы бы разбили япошек, если бы не подлые приказы об отступлении. Сбросили бы их в море. Вся бы Маньчжурия с Порт-Артуром были бы наши! Ты не знаешь об этом,

ребятенок, и может, никогда не узнаешь...

– Господин полковник, – вмешался доселе молчавший есаул. – Што с ними говорить, нехай сами выкручиваются без нас.

Но полковник, словно не слыша его слов, продолжал спокойно:

– Вот что, ребята. Мы вас выпустим из Лихой, езжайте в Расею. Не хочется, чтобы вы погибли от германской пули.

Он замолчал. Красные слушали его и не верили своим ушам. Казаки хотят пропустить их через свои позиции беспрепятственно.

– Все-таки вы храбро воевали против врага за землю Русскую, не ваша вина, что отступаете. Позволить вам здесь погибнуть от немецкой пули – не по-христиански с нашей стороны. Поэтому быстрее разводите пары и уходите отсюда. Вы еще пригодитесь, чтобы гнать германца обратно с нашей земли. Даст Бог, может, и среди нас все закончится миром, а не кровью.

Он вздохнул и мудрыми, из-под мохнатых с проседью бровей глазами посмотрел на красных.

– Все мы славяне. Хоть веры у нас сейчас стали разные, но корень православный. К нему вернемся еще, – и вдруг, с болью в голосе, крикнул: – Уходите! И быстрее!

Есаул, гарцуя на горячей лошади, добавил:

– А когда выгоним германца, то с вами посчитаемся за Глубокую, Должанскую... за все. Поняли?! – рявкнул он.

– Не пужай, – ответил Бойко. – Еще посмотрим, кто с кем разберется. А тебе, полковник, спасибо. Этого мы никогда не забудем. Благородно. Спасибо еще раз.

– Уходите быстрее, пока не поздно. Немцы Дон не возьмут, подавятся южнороссийскими землями!

Он повернул коня и, не прощаясь тронулся; за ним есаул и казак. И снова Сергею вспомнились слезы урядника, которые он пролил за убитого племянника. «Где он сейчас? – подумал Сергей о казачьем уряднике. – Живой ли? А может, уже где-то голову сложил... или пустили его враги в расход». И они быстрым шагом пошли обратно.

Через полчаса, под прикрытием бронепоезда, пошел первый эшелон. Казаки не стреляли. В течение трех часов ждали бойцов, которые сдерживали немцев, и, когда они пришли, стали поспешно садиться в вагоны, забирая с собой раненных и убитых, чтобы похоронить последних где-нибудь на остановке.

Немцы, словно поняв, что красные уходят, вернее – уползают из уже вроде завязанного мешка, резко усилили обстрел станции. Матерясь и кривясь от боли в ранах, последние бойцы влезали в вагоны. Сергей видел, как Бойко махнул рукой, давая машинистам сигнал об отправлении последнего состава и побежал к своему вагону. Но раздался свист, и вблизи рванул трехдюймовый снаряд. И Сергей, пронизанный его осколками, в невероятной боли далеко вперед выгнул грудь и в последний раз увидел степное, голубое небо, и с неболь-

шим пером облако. Свет в глазах стал сбегаться в одну точку и померк. И в этой личной темноте он успел еще подумать: «Конец!»

Но к нему бежал все видевший Бойко с Сидоренко. Его безжизненное тело подняли и втокнули в первую попавшуюся открытую дверь теплушки уже тронувшегося поезда. Состав уходил, а немцы снарядами молотили Лихую в бесильной злобе, – будто вороны клевали мертвое тело.

В теплушке Бойко, склонившись над Сергеем, приложил свою руку к его груди.

– Живой. Перевяжите его! – распорядился он.

Потом он вылез из дверей вагона, залез на крышу и побегал по крышам теплушек в штабной вагон.

Сидоренко снял с себя мокрую от пота нательную рубашку, разорвал ее на куски. Потом растегнул гимнастерку Сергея, но снять ее не мог, и разорвал ее, промокшую от крови, на несколько частей. Вся грудь и спина Сергея была в крови, и невозможно было определить – где раны. Сидоренко обернул его тело своей грязной рубашкой и кусками гимнастерки, перевязал все узлами.

В Каменской казаки уже не пропустили красных. Вместе с подошедшим ранее отрядом из Луганска, в двухчасовом бою, пришлось выбить казаков со станции. Сергея перенесли в санитарный вагон другого состава. Врач на скорую руку вынул часть осколков из его груди, наложил плотную повязку на раны. Поезд тронулся дальше – на Миллерово. Врач со-

крушенно качал головой и говорил двум молоденьким медсестрам:

– Надо ж сделать ему операцию! Но в таких условиях невозможно... да и морфия уже нет.

Потом посмотрел на юных медсестер: – А вы откуда? – спросил он их, будто увидел впервые.

– Мы вам говорили. Из Екатеринослава.

– Что вам здесь нужно?

– Мы революционерки. Хотем, чтобы революция победила, и помогаем, чем можем.

– Эх! Горе вы луковое, а не революционерки... – снова сокрушенно произнес доктор. – Революция не для вас. Идите домой, к матерям и сестрам, здесь вам не место. Поняли?

– Да.

– Революция не для барышень. Революция – это мужское дело. Чтобы в Миллерово я вас в вагоне больше не видел. Мне хватит медбратьев.

– Хорошо. А этот солдат будет жить? – спросила медсестра, указывая на Сергея.

– Кто его знает? – равнодушно ответил врач. – Если организм крепкий, то будет жить. А если нет... сколько таких же, как он, уже погибло... а сколько еще погибнет.

И врач устало пошел к другим раненым.

В Миллерово встретились с основной массой отступавших из Луганска. К эшелонам, которые прорвались из Лихой, подошел Ворошилов. Бойко доложил ему, каким обра-

зом им удалось вырваться из самой пасти немцев. Ворошилов долго чмокал губами, приглаживал усы, пытаясь понять, почему же казаки пропустили красных на север, но, видимо, не нашел удовлетворительного ответа, ограничившись словами:

– Боятся казачки рабочего класса. Иногда вместо кнута суют пряник. Заботятся о будущем. Вспомнят этот случай и скажут – мы вас пожалели на Лихой, теперь ваша очередь нас пожалеть. А в революции нет половины – или все, или ничего.

В его голову, забитую идеей классовой борьбы, не могла пробиться мысль о том, что другие люди в своих действиях руководствуются другими, гуманистическими и патриотическими категориями. Но, заучив красивые агитационные штампы, он не мог от них отрешиться и постоянно повторял их, – даже не на трибуне, а в простом разговоре.

Узнав, что ранен Сергей Артемов, и сейчас находится в тяжелом состоянии, он вспомнил его:

– Крепкий большевик. Таких бы побольше, так давно бы прикрутили все буржуев колючей проволокой к камням и отправили бы их на дно...

На какое дно – он не уточнил, но распорядился, чтобы Сергея срочно перенесли в санитарный поезд, который должен был отправиться на север, в Лиски, а потом еще дальше, куда будет возможность. Бессознательного Сергея на носилках перенесли в тот поезд, куда распорядился Ворошилов.

Вскоре состав отправился в путь.

Трехдневное стояние в Миллерово, бездеятельность Ворошилова привели к тому, что немцы вошли на территорию России и перерезали отступление на север. Оставался один путь – на восток, к Царицыну, через земли Войска Донского, через казачьи станицы, враждебно настроенные к новой власти. Поход отчаянный, почти безнадежный, с огромными потерями людей и техники, вывозимой с Донбасса, в зной и в дождь, под непрерывным винтовочно-пулеметным огнем донских казаков.

Люди уходили на восток, оглядываясь на запад, – туда, где еще недавно они жили и работали, на места, что называли Родиной. До хруста в костях сжимались их железные кулаки, гневно глядели их бездонные глаза, а в головах носились невеселые, скорбные мысли, которые изредка срывались с растрескавшихся губ: «Это была наша русская свара. Зачем позвали чужеземцев в наш спор? Кому это нужно? Мы Новороссия, а не Украина!» И губы, распухшие от обиды за себя и за свою землю, роняли шепот: «Мы еще вернемся! Мы выгоним иноземцев. Мы разберемся с теми каинами и иудами, которые предали народ. Мы разберемся. Разберемся... жди нас, Луганск! Мы вернемся, Донбасс!»

1992-1995 гг.

Конец